Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Соловьев, Е.А.
X

Андреевичъ.

ОПЫТЪ
ФИЛОСОФІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.



ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Центральная Рабочая
Библиотека
Моск. Губ. Сов. [illegible]

Цѣна 1 р. 20 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1909.

ПРОВ. 1954

Пр.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

1546
31

Типографія Первой Спб. Трудовой Артели.—Лиговская, 34.

Центральная
Библиотека
Новг. Губ. Сов.

Предисловіе.

Я назвалъ свою книгу «Опытомъ философіи русской литературы», и если это заглавіе не требуетъ оправданія, то все же нѣкоторыя разъясненія къ нему будутъ не лишними. Оправданія не требуется потому, что терминъ «философія литературы» распространенъ уже на Западѣ *) —что всякій, кто признаетъ законность философіи исторіи, не можетъ не признать законности философіи литературы,—что, наконецъ, если не философіи собственно, то философствованія надъ литературой и у насъ дома было очень достаточно.

Философія литературы означаетъ разсмотрѣніе ея *господствующей идеи и воли* (стремленія), въ которыхъ опредѣлились ея особое лицо и характеръ, а также ея жизни въ ея *необходимомъ* **) развитіи. Въ этомъ смыслѣ не разъ дѣлались попытки, и въ виду трудности задачи, я и свою работу охотно причисляю къ опытамъ, къ попыткамъ.

Господствующую идею нашей литературы я опредѣляю какъ аболиціонистскую, освободительную. Для меня литература—борьба за освобожденіе *личности* и *личнаго начала* прежде всего. Указать и опредѣлить главные моменты этого процесса—вотъ моя цѣль.

Поэтому я рѣшительно не посягаю на то, чтобы дать читателю исторію литературы въ обычномъ смыслѣ этого слова.

Я оставляю въ сторонѣ формальное развитіе литературы: ея долгіе ученическіе годы, пути и способы, какими она обучалась языку, умѣнью выражать свои мысли и даже имѣть ихъ. Одинаково въ сторонѣ остается и физіологія литературной жизни, процессъ ея «кровообращенія»: завоеваніе читателя, ростъ числа подписчиковъ на журналы и поку-

---

*) Въ переводѣ на рус. яз. есть книга Кранца „Философія литературы". Но лучше всего, конечно, напомнить предисловіе Тэна къ его исторіи англійской литературы, главы Бокля о духѣ покровительства во Франціи и т. д. Новую точку зрѣнія на исторію литературы устанавливаетъ даже такая поверхностная книга, какъ „Эволюція литературы" Летурно. Къ сожалѣнію, слишкомъ мало касается этой темы Спенсеръ въ своихъ „Principles of sociology" (т. III).

**) Въ своемъ изложеніи я примѣняю діалектическій методъ. Мнѣ думается, что только при пользованіи имъ отчетливо выступаетъ на сцену и *логика* и *необходимость* литературной эволюціи.

пателей на книги, борьбу книги съ журналомъ, журнала съ газетой.

Больше даже: я почти не говорю объ отдѣльныхъ писателяхъ, даже самыхъ крупныхъ. Философія литературы ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть обращена въ исторію генераловъ, хотя бы и замѣчательныхъ.

Мнѣ думается, что личность писателя, во всей пестротѣ и капризности ея обстановки и проявленій, все рѣшительнѣе должна изъ области исторіи литературы и тѣмъ болѣе ея философіи переходить въ критическія монографіи, которымъ однѣмъ только и возможно сосредоточить на ней все вниманіе.

Общій научно-философскій духъ XIX-го вѣка, вооруженный микроскопомъ и проникнутый идеей эволюціи, которая есть, въ сущности, идея безконечно малыхъ измѣненій, дѣлаетъ намъ понятной такія вотъ мысли:

«Всѣ истины, открытія и изобрѣтенія не обязаны своимъ существованіемъ одному какому-нибудь человѣку. Для нихъ наступило свое время, и вотъ руки со всѣхъ концовъ земли, повинуясь инстинкту, начинаютъ вездѣ шарить и захватываютъ, кто сколько можетъ. Дюжина забытыхъ изслѣдователей, чувствовавшихъ, что Америка гдѣ-то существуетъ, подготовили Колумбу путь для его открытія. *Мысль не зарождается въ нашемъ умѣ. Она существуетъ отдѣльно*, т. е. въ жизни, раздробленная на тысячи тысячей частичекъ».

Или: «Величайшей ошибкой было бы признавать, что мыслитъ отдѣльный человѣкъ. Мыслятъ общественныя группы, общественные классы». Съ отдѣльными именами связаны только наиболѣе удачныя формулы.

Конечно, для исторіи литературы очень важны эти «наиболѣе удачныя» формулы, и естественно, если въ обычномъ изложеніи она разлагается на рядъ именъ, готова долго и много спорить о преимущественномъ значеніи Пушкина, или Гоголя, или Бѣлинскаго, но и въ нее съ каждымъ днемъ проникаетъ стремленіе освободиться отъ этого культа полубоговъ и героевъ, царей и царьковъ литературнаго міра. Она не отказалась еще вполнѣ даже отъ біографій отдѣльныхъ лицъ, и вездѣ вы можете узнать, что Радищевъ отравился царской водкой, или что Пушкинъ былъ высланъ въ свое Михайловское, гдѣ и похороненъ, хотя каждый понимаетъ, что и эти миріарды имъ подобныхъ «литературныхъ» фактовъ никакого отношенія къ исторіи литературы не имѣютъ. Однако, говорю я, наряду съ подобными «пережитками» отводится все больше мѣста общественнымъ условіямъ жизни, характеристикѣ соціальной группы, къ которой принадлежалъ писатель. Есть уже попытки (особенно на Западѣ) давать исторію идей и настроеній, а не лицъ, и внести идею закономѣрности и эволюціи въ этотъ капризный и призрачно-свободный міръ литературно-художественнаго творчества. Съ исторіей литературы постепенно происходитъ тотъ же процессъ, какъ и съ исторіей собственно. Все равно какъ эта послѣдняя, которая раньше была лишь исторіей царей и генераловъ, стремясь все къ высшимъ обобщеніямъ, къ созданію своихъ схемъ, къ ознакомленію со своими законами, обратилась въ исторію массъ, сословій, экономическихъ отношеній и приблизилась,

насколько это для нея возможно, къ соціологіи,—такъ, тѣмъ же путемъ идетъ исторія литературы.

«Къ чему, спрашиваетъ Лакомбъ, служитъ простое знаніе сырыхъ фактовъ?*) Какая польза, напр., знать, что македонецъ по имени Александръ одержалъ побѣду надъ персами, или что дѣйствительно такой-то ораторъ составилъ рѣчь, ложно приписываемую Демосѳену? Этотъ вопросъ возможенъ лишь потому, что всякое знаніе должно, въ концѣ концовъ, привести насъ къ истинѣ и эмоціи».

Если всякое знаніе, то, конечно, и историко-литературное.

Необходимый путь развивающагося ума—путь обобщенія, синтеза. Только онъ вдохновляетъ «великую черную работу» точнаго опредѣленія исторической дѣйствительности. Когда появился въ Россіи первый журналъ, кто былъ его авторомъ, его читателемъ? Какимъ матеріаломъ наполнялись его столбцы? Какую цѣль въ своемъ самосознаніи ставилъ онъ своей работѣ? Или: каковы были внѣшнія условія жизни русской литературы? Какую борьбу съ цензорами выдержала она? Какъ и кѣмъ наполнялись кадры писателей? — вотъ вопросы историко-литературной реальности, вопросы критико-біографическихъ словарей, монографій, исторіи литературы въ собственномъ смыслѣ слова.

Только на почвѣ этой великой черной работы (обязанность которой при нормальномъ положеніи вещей должна быть возложена на академіи, которыя пока ничего не дѣлаютъ, и на ученыя общества, которыхъ слишкомъ мало) возможно итти дальше, искать типичное и необходимое въ огромной грудѣ сырого матеріала и стремиться къ созданію философіи и науки.

И въ исторіи литературы, повторяю, этотъ процессъ начался уже давно. Моя книга по моему плану должна войти въ его русло, но опредѣленіе дальнѣйшей ея участи зависитъ, разумѣется, не отъ меня.

Первое и самое элементарное мое требованіе это отрѣшиться отъ біографическаго матеріала. Признаюсь, мнѣ совершенно никакого нѣтъ дѣла до того, былъ ли, напр., Некрасовъ честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, какъ утверждаетъ А. Н. Пыпинъ, или героемъ-рабомъ (?), какъ нелѣпо доказываетъ Г. Е. Елисѣевъ, или литературнымъ Ruffiano (разбойникомъ), какъ звалъ его Герценъ; но мнѣ есть дѣло до поэзіи Некрасова, особенно же до тѣхъ ея мотивовъ, въ которыхъ я слышу народолюбіе или голосъ городского пролетарія. Мнѣ важно отношеніе Некрасова къ мужику, землѣ, Россіи, какъ важно такое отношеніе разныхъ писателей вообще, даже всей нашей литературы; а откуда Некрасовъ досталъ деньги на изданіе «Современника», это уже дѣло его біографа.

Тамъ и здѣсь изучаютъ уже нарастаніе и образованіе литературныхъ типовъ (напр, Донъ-Жуана, Фауста и т. д.), его развѣтвленія, какъ будто рѣчь шла о какомъ-нибудь пластѣ земной коры или животномъ видѣ. Литературные типы имѣютъ свою исторію; произ-

*) Развѣ нравоучительнымъ цѣлямъ. См. Лакомбъ, „Соціологическія основы исторіи“, стр. 3.

вольность и оригинальность художественнаго творчества подвергается все большимъ ограниченіямъ. Мы имѣемъ теперь право говорить о литературѣ и ея жизни, а не о жизни писателей...

Конечно, свести роль отдѣльныхъ писателей, роль героевъ литературы къ quantité negligeable трудно, да и не къ чему. Новая, едва намѣченная наукой сила жизни, *сила внушенія* несомнѣнно закрѣпляетъ ихъ значеніе*). Но все же исторія литературы дальше и дальше уходитъ отъ критики и монографій, становясь исторіей идей, типовъ, настроеній... Воспринявъ идею необходимости, она преобразуется въ *философію исторіи.*

Въ пестромъ разнообразіи историко-литературныхъ фактовъ я ищу господствующую идею, общій центръ притяженія. Для меня такимъ центромъ является борьба за *освобожденіе личности*, и общества также; но говорить объ этомъ излишне, ибо не свободно то общество, въ которомъ не безусловно свободна личность.

Тому, кто скажетъ, что вытягивать все разнообразіе литературныхъ явленій въ одну линію и сводить ихъ къ одному центру незаконно, я отвѣчу: если политическая экономія имѣетъ право разсматривать человѣка только какъ производителя и потребителя цѣнностей, если физіологія видитъ въ немъ только организмъ, а соціологія только члена общества, то почему исторія литературы, какъ наука, изъ всей огромной массы біографическаго, библіографическаго и пр. матеріала, подлежащей ея разсмотрѣнію, не можетъ выдѣлить одинъ, наиболѣе существенный для нея элементъ, одну наиважнѣйшую сторону? Я выдѣляю борьбу съ крѣпостнымъ правомъ и официальною жизнью *во имя интересовъ развитія личности.* Я думаю, что это и есть та ось, вокругъ которой «вертятся» у насъ литературныя явленія XIX вѣка.

Выдѣленная мною идея сама по себѣ слишкомъ проста, чтобы надо было ее разъяснять. Но то, что она важна и центральна, можетъ стать очевиднымъ лишь послѣ ознакомленія съ ея историческимъ развитіемъ. Это историческое развитіе идеи заняло у насъ почти 100 лѣтъ, такъ какъ уже въ 1790 году появилось знаменитое «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», гдѣ впервые былъ ярко выставленъ весь ужасъ крѣпостной зависимости, весь ужасъ рабства. Авторъ книги (Радищевъ) былъ пораженъ нищетою крестьянъ, ихъ безправнымъ положеніемъ, произволомъ помѣщиковъ, и каждая написанная имъ глава дышитъ гнѣвомъ и страстнымъ призывомъ къ освобожденію. Здѣсь въ жалости къ закабаленному мужику, въ протестѣ, начало потока. Литература наша стала жить своей самостоятельной жизнью.

Это невеселая жизнь, полная лишеній, жертвъ, подвижничества, страстныхъ порывовъ и часто безпомощныхъ жалобъ и проклятій передъ глухою стѣной. «Крѣпостное право стояло какъ скала», говоритъ

---

*) Интересны изслѣдованія Тарда („Законы подражанія"), Н. К. Михайловскаго („Научныя Письма"), проф. Бехтерева.

о своей эпохѣ Тургеневъ, и это на самомъ дѣлѣ было такъ въ странѣ, про которую Пушкинъ сказалъ:

Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ,
Надеждъ и помысловъ въ душѣ питать не смѣя...

Вотъ великій жизненный фактъ, съ которымъ прежде всего встрѣтилась литература, и этотъ фактъ, расползаясь по жизни какъ зараза, истощалъ, коверкалъ, грязнилъ силы людей, ихъ души и волю. Его могущество видно уже изъ того, что въ своихъ многочисленныхъ переживаніяхъ онъ живъ еще и теперь.

Стоило только столкнуться съ крѣпостнымъ правомъ, чтобы сейчасъ же столкнуться и со всѣмъ строемъ русской жизни и съ всемогущей государственностью, съ патріархальными условіями семьи, съ рабскимъ подчиненіемъ женщины и дѣтей, даже съ церковью, потому что крѣпостное право то и дѣло толковалось, какъ институтъ божественнаго происхожденія.

Преувеличить значенія крѣпостного права нельзя. Едва ли достанетъ у кого-нибудь силъ, чтобы обхватить его истинные размѣры. Борьба съ нимъ—это тѣ дрожжи, на которыхъ взошла, или, вѣрнѣе, только всходитъ мысль новой Россіи.

Я слѣжу, такимъ образомъ, въ своей книгѣ за развитіемъ идеи свободы и освобожденной личности. При этомъ мнѣ, пожалуй, безразлично, къ какой собственно области принадлежитъ нужный мнѣ и характерный литературный матеріалъ: будетъ ли это публицистика, или критика, или художественное творчество. Правда, послѣднее выдѣляется обыкновенно въ особую категорію, но очень сомнительно, чтобы на самомъ дѣлѣ было нужно такъ дѣлать. «Умственное стремленіе человѣка удовлетворяется не образомъ самимъ по себѣ—давно уже замѣтилъ одинъ изъ нашихъ ученыхъ (А. Потебня),—а идеею, т. е. совокупностью мыслей, пробуждаемыхъ образомъ и относимыхъ къ нему, какъ къ источнику». Мнѣ думается, что это такъ и есть. Замѣчу только, что художественный образъ особенно цѣненъ. Менѣе опредѣленный, онъ охватываетъ огромное содержаніе, его корни запрятаны глубоко въ землю, въ дѣйствительность, прошлое. По богатству своего синтеза онъ часто является какъ бы настоящимъ откровеніемъ.

Задача моей книги опредѣлила, разумѣется, и ея фактическій матеріалъ и ея программу. Въ особенныя подробности я не вдавался. Для нихъ нужно еще много и много подготовительной работы. Прослѣдить развитіе нашихъ литературныхъ взглядовъ на любовь, женщину, счастье, отношеніе личности къ обществу, смыслъ жизни, христіанскую мораль и т. д.—это, конечно, увлекательная задача, но одному человѣку съ ней не справиться.

Еще разъ повторяю: моя книга—опытъ.

Я говорю въ ней о томъ, какъ литературная личность стремилась къ свободному самоопредѣленію, какія препятствія встрѣчала она на своемъ пути, какъ боролась она съ обезцвѣчивающимъ и нивеллирующимъ вліяніемъ государства, защищая свое достоинство, честь, творчество и иниціативу.

Задавленная теперь личность, разумѣется была еще больше задавлена въ нашемъ прошломъ. Всемогущее государство, охранительная система канцелярій, крѣпостное право, слабое развитіе классоваго начала и классовой борьбы, отсутствіе какихъ бы то ни было воспоминаній о борьбѣ за право, наша нищета и наше невѣжество, наша лѣнь, воспитанная и выхоленная въ разныхъ обломовкахъ, въ канцеляріяхъ бюрократизма, въ общей неподвижности жизни, чисто хищническая система хозяйства и т. д. и т. д.,—все это принижало личность, отдавая ее подъ опеку семьи, общины, климата, государства. Она проснулась подъ громъ наполеоновскихъ пушекъ, когда, казалось, наступалъ конецъ нашему національному бытію, подъ чарующіе звуки романтической поэзіи и ея гордаго протеста противъ «тираніи» во всѣхъ ея видахъ (байронизма); но это движеніе, заброшенное въ нашу глухую, полудикую страну съ прочными укладами общинно-земледѣльческаго строя жизни, должно было вобрать въ себя его характерныя особенности. Идея свободной личности, какъ увидимъ, то стушевывалась, то даже затерывалась въ борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ, въ проповѣди «служенія» народу и «расплаты» съ нимъ, въ идеяхъ «*крестьянскаго царства*».

Я обращаю особенное вниманіе на послѣднее обстоятельство. Его значеніе и интересъ велики. Земледѣльческая убогая жизнь въ особыхъ укладахъ крѣпостного права и крестьянской поземельной общины создала и опредѣлила многія своеобразныя черты нашего литературнаго мышленія. Шла борьба земледѣльческаго народа съ промышленной культурой, сохи съ плугомъ. Освободиться изъ-подъ внушенія было очень тяжелой задачей, тѣмъ болѣе, что большую часть нашего прошлаго мы думали не объ освобожденіи, а, напротивъ, о сліяніи съ народомъ и строемъ его жизни.

Въ этомъ наше «*свое*», и такъ какъ въ разработкѣ этого своего мы проявили особенную любовь и настойчивость, такъ какъ образъ народа общинника и даже коммуниста неотступно преслѣдовалъ нашу литературу, опредѣляя ея вдохновеніе, то, конечно, тѣмъ больше стройности и значенія въ нашемъ литературномъ творчествѣ.

Нашу литературу преслѣдовала мечта о счастьи народа, о сохраненіи коммунистическихъ устоевъ его жизни. Во имя этого мы отрицали литературу, какъ искусство, требуя отъ нея проповѣди, защиты мужика, «устроенія его быта»; во имя этого мы вели упрямую борьбу съ Западомъ и его культурой, отрицали личность или всю ея свободу сводили къ служенію народу, подвижничеству за народъ. Мы были въ узахъ государственно-канцелярскихъ программъ, бюрократическаго произвола, идей и переживаній первобытнаго земледѣльческаго строя, морали долга и самоотреченія...

Какъ могла наша литература выдержать борьбу со всѣмъ этимъ, и что эта за прекрасная и величественная картина!.. Это драма нашего вчерашняго дня, закончившаяся героической эпохой 70-хъ годовъ, когда убогая земледѣльческая Русь въ лицѣ представителей своихъ народническихъ идеаловъ, дала свою послѣднюю битву западному міру.

Мы вступили теперь на новый путь, и прошлое настойчиво требуетъ итоговъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Особенный характеръ русской литературы.

1. Роль идеи въ русской литературѣ.—2. Нѣсколько мнѣній западной критики о русской литературѣ.— 3. Требованія русской литературы къ себѣ самой. — 4. Литература, какъ проповѣдь. — 5. Аболиціонизмъ. — 6. Литература и государство. — 7. Исключительная обстановка литературной борьбы за освобожденіе.—9. Личность.—10. Роль западно-европейскаго вліянія.—11. Опрощеніе.—12. О нѣкоторыхъ народническихъ идеяхъ.—13. Еще о томъ же. — 14. Литература и христіанская мораль. —15. Къ чему сводятся отличительныя черты русской литературы. — 16. Діалектика литературной идеи.

I. Роль идеи въ русской литературѣ.

Въ этой первой главѣ намъ надо отдать себѣ отчетъ въ особенномъ характерѣ русской литературы.

Этотъ особенный характеръ нашей литературы чувствуется всѣми ея историками и они видятъ его обыкновенно въ томъ, что нигдѣ, какъ у насъ, литература не имѣла такого ясно и рѣзко выраженнаго характера „общественнаго служенія“ и проповѣди. Такъ думаютъ гг. Пыпинъ, Венгеровъ, Скабичевскій. Особенно дорожа именно этой стороной литературнаго прошлаго, Михайловскій говоритъ: „журналистика играла столь важную роль въ исторіи новѣйшей русской литературы, что обойти ее нѣтъ никакой возможности. Не будетъ даже чрезмѣрною смѣлостью утверждать, что в с я исторія есть собственно исторія журналистики“.

Сообразно съ этимъ взглядомъ, новѣйшую исторію литературы начинаютъ или съ Гоголя, или съ Бѣлинскаго, или философскаго броженія мысли 30-хъ годовъ. Къ тому, что было раньше, относятся, какъ къ періоду подготовительному, къ больше или меньше удачнымъ усиліямъ пріобрѣсти свою самобытность, свое лицо, къ великолѣпнымъ порою, хотя и единичнымъ, попыткамъ въ этомъ смыслѣ.

Если это и справедливо въ общемъ, то слѣдуетъ теперь точнѣе опредѣлить „характеръ общественнаго служенія новой русской литературы“

и ближе, интимнѣе связать ее съ прошлымъ, т. е. XVIII-мъ вѣкомъ. Слѣдуетъ признать, что:

1) Русская литература, привитая къ нашей жизни государствомъ, пріобрѣтаетъ свой самостоятельный характеръ лишь въ отдѣленіи отъ него.

2) Это отдѣленіе было естественно для литературы, какъ искусства, основное требованіе котораго — свободное проявленіе личности художника.

3) Не менѣе естественно было оно потому, что, благодаря главнымъ образомъ вліянію Запада, уже въ XVIII в. была намѣчена основная задача нашей литературы — борьба съ крѣпостнымъ правомъ.

4) Эта борьба, одинаково напряженная въ области философіи, морали, семейныхъ и общественныхъ отношеній, придала нашей литературѣ особый — аболиціонистскій (освободительный) характеръ.

Дѣло вообще представляется мнѣ въ такомъ видѣ.

Литература, конечно, есть прежде всего искусство. Какъ искусство, она стремится выразить въ словѣ внутренній міръ художника, его интимную жизнь, его отношеніе къ міру и обществу.

Но въ то же время несомнѣнно, что въ литературѣ есть многое отъ науки: научнаго духа познанія въ литературѣ во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ въ живописи, скульптурѣ, музыкѣ. Она хочетъ отдать себѣ отчетъ въ окружающей дѣйствительности, опредѣлить „смыслъ и разумъ“ явленій, сведя ихъ къ типичнымъ формамъ, и, соединивъ результаты такой работы съ внутреннимъ міромъ художника, выразить волю послѣдняго и поставить свои цѣли жизни.

Преслѣдуя такія задачи, русская литература ничѣмъ—развѣ только недостаткомъ своихъ силъ и умѣнья, недостаткомъ своей самостоятельности—не отличалась отъ другихъ.

Въ сущности, на нее въ огромной ея части можно было бы смотрѣть, какъ на одинъ сплошной переводъ съ иностраннаго, чѣмъ она и представлялась, напр., Бѣлинскому, еще въ 1834 г., если бы исключительныя обстоятельства русской жизни не придали ей очень рано протестующаго характера и не выдвинули на сцену той идеи, которая стала господствующей. Эта идея, какъ я уже сказалъ, отрицаніе — въ той или другой формѣ и степени — крѣпостного права.

Когда появилась эта идея? Мнѣ бы не хотѣлось точно отмѣчать ни дня, ни часа, потому что это ровно ничего не скажетъ читателю. Каждая рѣка составляется изъ тысячи ручьевъ или ключей, и какой изъ нихъ назвать ея началомъ? Всякая излишняя точность въ данномъ случаѣ лишь поводъ къ ненужному препирательству. Достаточно сказать, что эта идея стала сознаваться уже во второй половинѣ XVIII вѣка.

Мнѣ кажется, съ отдѣленіемъ литературы отъ государственной жизни; т. е. съ эпохи пріобрѣтенія ею интимнаго или протестующаго характера и съ появленія на сцену отрицанія крѣпостного права (что совпадаетъ хронологически), и слѣдуетъ начинать ея исторію.

Быть можетъ, вѣрно вообще, но въ отношеніи русской литературы особенно вѣрно, что разъ появилась идея, близкая и дорогая массѣ народа, явилась и литература. Здѣсь, надо думать, наша психологическая особенность, но на всемъ протяженіи нашего историко-литературнаго прошлаго можно замѣтить, что безъ идеи литература распадается на слова — умныя и глупыя, смѣшныя и печальныя, красивыя, неуклюжія— но слова и слова. Безъ идеи, безъ вдохновенія ею — литература слишкомъ литературна; не сегодня — завтра она впадаетъ въ профессіонализмъ, въ напряженное выдумываніе эффектовъ, вычурныхъ оборотовъ, лакированныхъ фразъ, вздутыхъ чувствъ.

Поставимъ ли мы себѣ это обстоятельство въ плюсъ или минусъ, это вопросъ другой, но у насъ оно такъ было и внѣ служенія освободительнымъ задачамъ, у насъ есть отдѣльныя крупныя явленія, но нѣтъ литературы собственно. Начавъ съ отрицанія крѣпостного права или, лучше сказать, „сеньоріальныхъ правъ и сеньоріальныхъ безобразій“ нашихъ помѣщиковъ, мы перешли къ отрицанію зависимости человѣка отъ человѣка вообще, къ проповѣди освобожденія личности отъ всякой кабалы — экономической, духовной, семейной и кабалы его эгоизма, мистическихъ и метафизическихъ стремленій его натуры.

Итакъ, жизнь нашей литературѣ дала ея идея, наиболѣе ясно выразившая стихійныя стремленія массы. Съ появленія этой идеи (въ томъ или другомъ видѣ) начинается исторія литературы въ собственномъ смыслѣ этого слова, вмѣсто „оправданія воли монаршей“.

Этой одухотворяющей, дающей смыслъ и цѣльность всему нашему литературному движенію, идеей была, говорю я, идея освобожденія народа отъ крѣпостного права. Изъ этой основной и главной, какъ вѣтви изъ ствола, выходятъ всѣ другія.

2. Нѣсколько мнѣній западной критики о русской литературѣ.

Западная критика давно почувствовала нашу индивидуальность, наше особое мѣсто въ міровомъ литературномъ творчествѣ.

Въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка, когда Западъ открылъ нашу литературу, онъ съ удивленіемъ спросилъ себя (особенно по поводу Толстого), кѣмъ она создается—дикарями или святыми?

Западная критика отмѣтила прежде всего любовь къ природѣ, часто

суровую простоту разсказа, углубленія въ вопросы религіи и нравственности. „Насъ поражаетъ эта серьезность русскихъ во всемъ. Они какъ будто не пишутъ, а священнодѣйствуютъ, какъ будто не пьютъ, а причащаются... Они постоянно въ заколдованномъ кругу вопросовъ „зачѣмъ и почему?“ — выйти изъ котораго зачастую не могутъ иначе, какъ съ помощью креста и молитвы. Повидимому, у нихъ нѣтъ ничего рѣшеннаго, установленнаго... Каждый ихъ писатель, берясь за перо, одержимъ стремленіемъ создать свою религію, свою нравственность. Поэтому все это у него выходитъ и очень глубоко, и немного скучно... Они не жалѣютъ тратить лучшихъ лѣтъ жизни на вопросъ: „что дѣлать“. Главныя силы ихъ героевъ уходятъ на исканія, которыя заканчиваются печальнымъ признаніемъ, что сами искатели ненужные или лишніе люди. Мы поражаемся глубиной запросовъ, удивляемся дѣтской наивности большинства рѣшеній и не можемъ не пожалѣть, что лучшіе люди, несомнѣнно богато одареннаго народа, не могутъ столковаться о самомъ незначительномъ“...

Очень основательный изслѣдователь „Реализма и натурализма въ искусствѣ и литературѣ“, Д. Соважо, подводитъ всѣ выдающіяся особенности нашей литературы подъ понятіе „дидактическаго“, т. е. поучающаго реализма.

„Главною добродѣтелью тѣхъ русскихъ романистовъ, говоритъ онъ, которые смѣнили собою романтиковъ, служитъ теплое сочувствіе къ себѣ подобнымъ. Это истинное, искреннее сочувствіе, доходящее до проповѣди о помощи, исходитъ изъ христіанской любви къ ближнему, которая предписываетъ любить людей въ Богѣ и укрѣпляетъ человѣческое сознаніе общаго братства чувствомъ поклоненія“.

„Я слѣдилъ за жизнью въ дѣйствительности, а не въ мечтахъ, и достигъ таки того, что есть источникъ жизни“, говоритъ намъ Достоевскій.

„Его книги вытекаютъ непосредственно изъ „Дѣяній Апостольскихъ“ и имѣютъ цѣлью подѣйствовать на общество, принести ему исцѣленіе отъ его бѣдъ или, по крайней мѣрѣ, надежду, что страданія не проходятъ безполезно; по его мнѣнію, страданіе хорошо, его слѣдуетъ принимать какъ милость, въ особенности, когда его переносимъ въ братскомъ общеніи. Здѣсь тенденціозный реализмъ переходитъ уже въ область общественныхъ отношеній. Въ средніе вѣка существовали подобныя же стремленія, но они были слишкомъ рѣдки и слишкомъ разбросаны. Въ Россіи совсѣмъ иное: Достоевскій и Толстой думаютъ пересоздать общество проповѣдью христіанской любви и милосердія“ [1]).

[1]) Очень близки къ этимъ и взгляды Ж. Леметра.

Къ именамъ Толстого и Достоевскаго можно было бы прибавить и много другихъ именъ, начиная съ Гоголя, или даже Радищева. Проповѣдническая, дидактическая струна звучитъ, не переставая. Литература обращается въ концѣ концовъ въ потокъ поученія и на вершинахъ своихъ стремится къ созданію соціальной религіи.

Отмѣченныя западной критикой особенности нашей литературы сводятся въ концѣ концовъ къ слѣдующему:

1) Строгое, даже ригористическое отношеніе къ общественнымъ задачамъ литературы.

2) Признаніе человѣка нравственнымъ, т. е. существомъ отвѣтственнымъ за свои поступки предъ лицомъ своей совѣсти прежде всего.

3) Взглядъ на жизнь, какъ на нравственную проблему, проблему добра и зла, рѣшеніе которой въ торжествѣ перваго.

3. Требованія русской литературы къ себѣ самой.

Нѣсколько изреченій и афоризмовъ введутъ насъ въ круговоротъ этого движенія.

„Опомнитесь, заблудшіе, смягчитесь, жестокосердые, разрушьте оковы братіи вашей; отверзите темницу неволи!“ — писалъ Радищевъ, обращаясь къ русскимъ помѣщикамъ еще въ 1790 г.

О тридцатыхъ годахъ, годахъ своей юности, Герценъ вспоминалъ: „Проповѣдь шла все сильнѣе, все одна проповѣдь. И смѣхъ, и плачъ, и книга, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на движеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце“.

„Въ наше время поэтическое произведеніе, писалъ К. Аксаковъ, хотя написанное съ талантомъ, можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: „что этимъ доказывается?“ Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Такова наша эпоха“.

Въ предсмертномъ письмѣ Бѣлинскаго къ Боткину мы находимъ такія строки: „Будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, хоть сколько-нибудь реальна, — я не читаю, а пожираю. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество

нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой нѣли и безъ поэзіи, и безъ художества, — она для меня тѣмъ не менѣе интересна".

„Безполезное не имѣетъ права на существованіе, училъ Чернышевскій. Человѣкъ — самъ себѣ цѣль, но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни. Его цѣль — воспроизвести, по мѣрѣ силъ, драгоцѣнную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее. Искусство — замѣна дѣйствительности и учебникъ жизни".

Для Добролюбова мѣрою достоинства писателя или отдѣльнаго произведенія является то, насколько они служатъ выраженіемъ естественныхъ стремленій извѣстнаго времени и народа. Естественныя стремленія человѣчества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: „чтобы всѣмъ было хорошо".

Эти взгляды нашей критики, отводящіе искусству чисто служебную роль, настолько въ ней укрѣпились, что вліяніе ихъ чувствовалось еще вчера, особенно въ статьяхъ Михайловскаго. Но самое интересное это, конечно, то, что и большинство нашихъ художниковъ держится совершенно тѣхъ же взглядовъ на искусство. Въ этомъ случаѣ скорѣе критика училась у нихъ, чѣмъ наоборотъ.

Свою творческую дѣятельность Гоголь объясняетъ жаждой самосовершенствованія и желаніемъ принести пользу другимъ. „Взявши дурное свойство мое, пишетъ онъ, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и чѣмъ ни попало"... Жажда просвѣтить, принести пользу заставила Гоголя сказать объ искусствѣ: „Оно стремится непремѣнно къ добру, положительно или отрицательно выставляетъ намъ красоту всего лучшаго, что ни есть въ человѣкѣ, или же смѣется надъ безобразіемъ всего худшаго, что есть въ человѣкѣ".

Ту же черту подчеркиваетъ въ себѣ и Тургеневъ: „Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣй напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я рѣшился никогда не примиряться. Это была моя Аннибаловская клятва. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить".

Некрасовъ совсѣмъ не видѣлъ въ своей поэзіи „свободнаго проявленія своей творческой личности“. Онъ говоритъ о себѣ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ,
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ...

Для многихъ и многихъ характерны слова Рѣшетникова изъ его письма къ Некрасову: „Я задумалъ, говоритъ онъ, описать бурлацкую жизнь, съ цѣлью хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ“.

Высшей задачей въ глазахъ Толстого является проповѣдь, ученіе людей ихъ благу. „Учить тому, сколько козявокъ на свѣтѣ, разсматривать пятна на солнцѣ, писать романы и оперу можно не страдая, но учить людей ихъ благу, которое все только въ отверженіи себя и служеніи другимъ, и выражать сильно это ученіе нельзя безъ отреченія отъ себя“. Писатель, художникъ, учитель „благу“ и проповѣдникъ, въ глазахъ Толстого, одно и то же лицо.

Ту же проповѣдь гуманности, блага, христіанскихъ основъ жизни видѣлъ въ своей дѣятельности Достоевскій.

Я не стану больше приводить ни афоризмовъ, ни изреченій. И приведенныхъ уже достаточно, чтобы отмѣтить общій проповѣдническій и учительскій характеръ нашей литературы. На первомъ планѣ въ ней—служеніе народу, обществу, благу людей, идеаламъ равенства и братства. Она, очевидно, понимала себя, какъ исполняющую миссію. Ея критика, развивавшаяся рука объ руку съ художественнымъ творчествомъ и подъ прямымъ его вліяніемъ, создала для нея настоящій студійскій уставъ, суровую регламентацію, гдѣ настаивала на учительской роли литературы, ею, впрочемъ, самой признанной и ею облюбованной... Наша литература—это будто маленькій народецъ, заброшенный въ дикую и пустынную мѣстность, куда-нибудь на вершины горъ, въ непроходимыя и таинственныя ущелья, народецъ, окруженный могущественнымъ врагомъ, стѣснившимъ его, какъ желѣзное кольцо, и желающимъ во что бы то ни стало отнять у него—маленькаго, но героическаго—и независимость, и вѣру, и мечты... Врагъ дѣйствуетъ разными путями: и насиліемъ, и соблазномъ, и подкупомъ, и внушеніемъ, но народецъ, перенося всяческія лишенія, борется до конца, не уступаетъ и пяди земли... Онъ привыкъ къ суровой жизни, облюбовалъ ее. Красота вымысловъ, внѣшній блескъ, золото и пурпуръ не прельщаютъ его. Онъ строгъ и ригористиченъ, не допускаетъ легкомыслія, веселаго смѣха, смѣющихся красокъ. Его любимыя пѣсни тѣ, которыя зовутъ къ борьбѣ и подвигу, воспроизводятъ легенды и правду изъ

жизни его вождей и героевъ, и какъ о великой мечтѣ, говорятъ о возвращеніи въ обѣтованную землю, гдѣ не будетъ ни уничтоженныхъ, ни оскорбленныхъ, гдѣ всѣ будутъ счастливые и радостные. Въ этомъ боевомъ положеніи все служитъ одной цѣли, все стремится поднять духъ героизма и подвижничества, все полно тѣмъ же призывомъ, тѣми же настоятельными требованіями отъ человѣка и личности. Сурово и скорбно смотрятъ изъ мрака прошлаго на протекающую жизнь лица погибшихъ вождей и „печальниковъ горя народнаго“ и въ ихъ взглядѣ—напоминаніе „завѣтовъ“, требованіе продолжать ту же борьбу, итти тою же дорогою—суроваго служенія массѣ [2]).

4. Литература, какъ проповѣдь.

Только что приведенные мною афоризмы слишкомъ настойчиво и упрямо повторяютъ ту же мысль, чтобы считать ее случайностью. Едва ли, однако можно считать ее результатомъ западнаго вліянія, такъ какъ, съ одной стороны, на Западѣ искусство давно уже дифференцировалось отъ общественной жизни и нравственности, а съ другой—такой послѣдовательности и настойчивости эстетическія теоріи Запада никогда не проявляли. Тамъ это было бы даже излишне, потому что общественная жизнь имѣетъ много способовъ для своего выраженія, и ей не зачѣмъ брать себѣ въ прислужницы художественную литературу.

У насъ, русскихъ, дѣло обстояло иначе. „Историческое прошлое русскаго человѣка цѣлые вѣка представляло однообразный процессъ; государственныя формы его жизни вырабатывались большею частью помимо его воли и прямого участія; достоинства его живописи, музыки, науки, скульптуры и т. д. проявляются лишь очень и очень поздно; только въ одной литературѣ успѣлъ онъ проявить себя съ самой лучшей и богатой своей стороны. Здѣсь, несмотря на всѣ многочисленныя препятствія и преграды, несмотря на то, что необходимый элементъ литературнаго развитія—читатель—заставилъ ждать себя почти до 40-хъ годовъ прошлаго вѣка, успѣхи наши поразительны“. „Такъ относиться къ своей литературѣ, какъ относится къ ней русскій человѣкъ, европеецъ едва ли можетъ. Мало ли у него предметовъ гордости и въ области искусства, и общественной жизни, или науки, или религіи, появленіе и развитіе которыхъ онъ одинаково приписываетъ себѣ. За нихъ онъ боролся въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, за нихъ шелъ на костеръ и плаху, любитъ и почитатъ ихъ онъ училъ своихъ дѣтей въ предсмертномъ словѣ; въ нихъ онъ выра-

[2]) Полагаю, что это давно и прочно установленный взглядъ.

зилъ свою личность и личность своего народа, свои стремленія и стремленія своего народа. У насъ, въ нашей духовной и общественной жизни— литература и только литература“ [3]).

Литература, какъ единственное прибѣжище общественной мысли,— вотъ наше и—наше не далекаго прошлаго, а вчерашняго или даже сегодняшняго дня. Какъ единственная арена общественной борьбы, она пріобрѣла совершенно особый характеръ.

Но, проникшись идеей служенія, она не могла не подчиниться своеобразному уставу, не могла не выработать своей внутренней цензуры, очень вліятельной и требовательной, которая зачастую съ рѣзкимъ и комическимъ негодованіемъ „отметала“ отъ себя все, что не было похоже на „дѣло“, на „поученіе“. Такое направленіе, разумѣется, только закрѣплялось пристрастіемъ полуобразованнаго читателя къ дидактизму и морализированію. Пушкинская толпа высказываетъ самыя задушевныя читательскія мысли, когда говоритъ поэту:

„Пѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй,
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки.
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя“.

Литература также развивала это требованіе, отчасти сама шла къ нему навстрѣчу. И, насколько это было важно, рѣшительно и опредѣленно, лучше всего указываетъ примѣръ самого Пушкина, чьи предсмертныя мечты сосредоточились возлѣ журнала,—кто въ своей эпитафіи не обмолвился ни словомъ „о звукахъ сладкихъ и молитвахъ“ и поставилъ себѣ въ заслугу:

Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что вслѣдъ Радищеву прославилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Литература есть дѣло, служеніе, а не свободное проявленіе художественной личности творца. Это наше общепризнанное, нашъ догматъ. Отсюда своеобразный ригористическій уставъ, длинный рядъ поученій,

[3]) См. мои „Очерки по исторіи русской литературы XIX в.“, предисловіе.

продолжающійся еще и теперь, постоянный переходъ отъ художества къ публицистикѣ, пренебреженіе къ формѣ, боязнь фразъ и даже красоты, потому что освободительной, революціонной роли красоты мы не поняли еще и теперь.

Словомъ: если мы вспомнимъ безконечные споры прошлаго о роли литературы, объ ея отношеніи къ жизни, о томъ, свободное ли она искусство или нѣтъ, о назначеніи таланта, о необходимости для художника нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ; если мы вспомнимъ, кромѣ того, низкую оцѣнку и невниманіе, которыя получили на свою долю представители такъ называемаго чистаго искусства,—короткія, ясныя и настойчивыя формулы нашей журналистики, требовавшія отъ художника служенія обществу, общему благу, практическимъ задачамъ современности,—то станетъ яснымъ, что литературѣ, какъ искусству, мы всегда отводили послѣднюю роль и очень высоко ставили ее, какъ проповѣдь, поученіе или какъ пособницу точной науки въ дѣлѣ познанія жизни.

Литература, какъ искусство, конечно, чувствовала себя стѣсненной въ рамкахъ проповѣди, все равно какъ идеи красоты и свободы не могли не вянуть тамъ, гдѣ говорилось исключительно о жалости и состраданіи къ печальной участи народа. Занятые „устроеніемъ народнаго быта", мы готовы были даже отказаться отъ философіи, которая представлялась намъ лишь безплоднымъ умствованіемъ. Все это необходимо, разъ свобода личности (принципъ искусства) подчинена чему-нибудь другому, хотя бы это другое было счастье народа.

5. Аболиціонизмъ.

Все это указываетъ на могущество „идеи" въ нашей литературной исторіи, большее, быть можетъ, чѣмъ могущество первоклассныхъ талантовъ.

То, что осталось, что пережило, что еще и теперь способно волновать насъ въ памятникахъ нашего недолгаго литературнаго прошлаго—все это полно ужаса передъ окружающею жизнью и жажды сбросить и съ себя, и съ человѣка ея иго. Злыя насмѣшки Крылова и Грибоѣдова, скорбный смѣхъ Гоголя, проклятія Лермонтова и страстное желаніе его „смутить веселость ихъ и дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью", безнадежный приговоръ всему русскому прошлому и настоящему — Чаадаева, сарказмъ и иронія Герцена, рѣзкая критика Бѣлинскаго и т. д. и т. д.—вѣдь, конечно, это самое цѣнное и значительное, что осталось отъ нашей литературной юности, какъ первыхъ дней ея сознательной жизни. И тотъ же ферментъ, то же бродило продолжаетъ вліять и теперь.

Вѣдь всякій, я думаю, понимаетъ, что какъ ни прочно было крѣпостное право, какъ ни было велико его вліяніе на окружающую жизнь—борьба съ нимъ и противъ него была лишь частнымъ случаемъ и частнымъ проявленіемъ другой, большей: борьбы за освобожденіе личности. Потому что въ концѣ концовъ затронуть крѣпостное право значило затронуть всю область господства человѣка надъ человѣкомъ и подчиненія человѣка человѣку.

Если, кромѣ этого, мы вспомнимъ, что крѣпостное право, его основы, его духъ насилія, произвола, паразитизма и эксплуатаціи проникали всю область семейныхъ и общественныхъ отношеній—мы поймемъ, что борьба съ нимъ готовила орудія, аргументы и выковывала начала для борьбы за свободную личность вообще.

Поэтому я и говорю, что аболиціонизмъ—вотъ знамя, вотъ идея, возлѣ которыхъ собрались лучшія силы нашей литературы.

Аболиціонизмъ—это борьба съ рабствомъ во имя свободы человѣческой личности и ея достоинства. И наша литература вся, въ главномъ руслѣ своемъ, въ тѣхъ своихъ произведеніяхъ, которыя дали ей лицо и опредѣлили ея самостоятельный характеръ, прежде всего аболиціонистская. Она вышла изъ отрицанія крѣпостного права и его „надстроекъ“, изъ борьбы съ его философіей, религіей, моралью.

Изъ этой рамки освободительной борьбы выглядываетъ строгое, часто суровое, полное то грусти, то проповѣдническаго экстаза лицо нашей литературы. Здѣсь почва, образовавшая ея идею. Здѣсь источникъ ея вдохновенія, ея святого негодованія и святой ненависти. За предѣлами этой освободительной борьбы нѣтъ литературы въ строгомъ смыслѣ слова, есть письменность или словесность, т. е. все безбрежное море написаннаго и напечатаннаго. Но только—повторяю—освободительная борьба, сначала съ крѣпостнымъ правомъ, затѣмъ съ рабствомъ человѣка вообще, создала собственную литературу во всей важности и серьезности этого имени.

Въ своей борьбѣ за освобожденіе литература естественно и необходимо столкнулась съ офиціальной или, какъ ее иначе называютъ, „казенной народностью“. Ниже мнѣ придется подробно и исторически разобрать этотъ терминъ. Пока же достаточно будетъ замѣтить, что офиціальная или казенная народность была въ сущности системой оправданія, своего рода теодиціей крѣпостного права и основаннаго на немъ общежитія. Признавалось и вѣрилось, что сила государства, его безопасность, его благополучіе требуютъ безусловнаго подчиненія одного человѣка другому, что это подчиненіе санкціонировано религіей, табелью о рангахъ, всѣмъ историческимъ прошлымъ Россіи, нравственными началами и поземельными отношеніями. Въ этомъ-то, строго говоря, и заключается смыслъ нашего

литературнаго развитія, что, поднявъ борьбу съ крѣпостнымъ правомъ и за освобожденіе личности, литература отдѣлилась отъ офиціальной жизни и пошла своей дорогой[4]).

Мнѣ кажется, что здѣсь, въ этомъ пунктѣ, судьбы русской литературы имѣютъ много общаго съ судьбами русскаго раскола, что наша литература тоже своего рода расколъ. Пока, впрочемъ, говорю объ этомъ мимоходомъ.

6. Литература и государство.

Какъ ни сильно на самомъ дѣлѣ было русское государство, какъ ни однообразно дѣйствовала въ теченіе столѣтій его политика, нивеллируя области, людей, вѣрованія,—всего русскаго человѣка и его души захватить оно не могло. Народъ не совсѣмъ пересталъ проявлять себя, и его жизнь въ значительной степени уклонялась отъ казеннаго офиціальнаго русла. Создался расколъ, вызванный, правда, къ бытію самимъ государствомъ, но все же отдѣлившійся отъ него, въ значительной степени ему чуждый и даже враждебный. Темная, порою изувѣрская, но все же своя мысль таилась въ расколѣ, свое исканіе правды дробило его на секты и толки. Это была какая-то вѣковая подземная работа, совершавшаяся въ темнотѣ, среди ожесточенныхъ споровъ о какомъ-нибудь словѣ или даже буквѣ, упрямая работа кротовъ, понарывшихъ цѣлый лабиринтъ. Большая часть этихъ ходовъ шла подъ землей или внутрь земли, но были и такіе, которые выходили на поверхность, на свѣжій воздухъ и показали большую склонность воспринять въ себя раціоналистическіе элементы мысли.

Такимъ же расколомъ въ отношеніи къ офиціальной мысли явилась и русская литература со своими сектами и толками. Здѣсь, метафорически выражаясь, свое единовѣріе, своя штунда и даже своя хлыстовщина (напр., нигилизмъ). Здѣсь, во всякомъ случаѣ, свой путь, а не казенный. Разница между расколомъ и литературой лишь въ томъ, что послѣдняя взошла на дрожжахъ Запада и какъ никакъ, такая закваска всегда чувствуется. Эта закваска—идея личности.

Конечно, офиціальная мысль не могла не найти себѣ сторонниковъ въ литературѣ и выдѣлить изъ ея среды своихъ офиціозовъ, какъ, напр., Каткова, но ихъ дѣятельность относится болѣе къ области политики, чѣмъ литературы. Ихъ передовыя статьи о мѣрахъ пресѣченія, предупрежденія или искорененія—только комментаріи къ полицейскимъ циркулярамъ.

Литература собственно—строго офиціальна. Перерабатывая западныя идеи, перенося на русскую почву лучшія созданія европейской мысли,

---

[4]) А. Н. Пыпинъ въ своей „Исторіи Литературы“ только намекаетъ на это.

приспособляя ея образы къ русской дѣйствительности, она роковымъ образомъ сталкивалась на каждомъ шагу съ охранительными и государственными требованіями офиціальной народности, тѣмъ болѣе, что на Западѣ, откуда шло вдохновеніе, въ это время идея свободы личности, благодаря романтизму, идеалистической философіи и т. д., достигла уже высокой степени развитія.

Поэтому, съ внѣшней стороны, судьбы русскаго раскола и русской литературы одинаковы. И тотъ, и другая—неофиціальные пути русской мысли со всѣми, разумѣется, тяжелыми послѣдствіями такого исключительнаго положенія. Это въ сущности, такъ ясно и такъ общеизвѣстно, что достаточно будетъ и нѣсколькихъ словъ.

Главной особенностью нашей культуры является ея подражательный, заимствованный характеръ. Проводникомъ чужихъ вліяній съ незапамятныхъ временъ было правительство или высшіе классы общества, и мечами, кнутами, батогами они „проводили“ все, начиная отъ христіанства и кончая картофелемъ. Жизнь сложилась такъ, что въ теченіе цѣлыхъ столѣтій иниціатива всегда принадлежала центру, а народъ все это время игралъ пассивную роль.

Благодаря этому, все, что у насъ есть—наша вѣра, наше положеніе въ обществѣ, наша нравственность—имѣли, а въ значительной степени имѣютъ еще офиціальный или казенный характеръ. Все казенное, и сами мы въ томъ числѣ, какъ чиновники, какъ слуги государства, какъ его наемники. Процессъ „эмансипаціи“ происходитъ преимущественно въ области мечты, стремленія, въ области же дѣйствительности регуляторомъ и руководителемъ общественныхъ силъ является казна. Мы всю нашу жизнь чувствуемъ на себѣ ея требованія, ея внушенія, приказанія, запретъ, обязательства передъ ней. Въ ея рукахъ наука, потому что она ее содержитъ и наблюдаетъ за ней. Изъ профессоровъ и академиковъ она сдѣлала чиновниковъ, мало чѣмъ, а въ иныя эпохи и совершенно ничѣмъ не отличающихся отъ акцизныхъ или иныхъ. Въ ея рукахъ всѣ среднія и высшія школы; народное образованіе находится подъ ея непосредственнымъ контролемъ. Она вѣдаетъ церковь и всѣ церковныя дѣла, т. е. религіозную жизнь большей массы народа. Черезъ цензуру она оказываетъ огромное вліяніе на прессу и литературную дѣятельность. Все расширяя и расширяя свое хозяйство, она содержитъ у себя на службѣ большую часть нашей так. наз. интеллигенціи. Вся власть жизни принадлежитъ ей и ея агентамъ. Она указываетъ путь, составляетъ программы, разрѣшаетъ и запрещаетъ все, начиная отъ исповѣданія вѣры вплоть до празднованія юбилея и товарищеской вечеринки. Въ ея вѣру долженъ быть крещенъ человѣкъ, разъ къ ней принадлежали его родители; ему не миновать ея школы, потому что другихъ или не надзи-

раемыхъ ею школъ нѣтъ: черезъ всегда трепещущую прессу и цензурованную литературу онъ будетъ подвергаться ея внушенію, или не знать того, что ей представляется излишнимъ: почти неминуемо будетъ онъ служить ея интересамъ, заниматься ея дѣлами, потому что больше некуда итти: такъ мало у насъ вольныхъ профессій, такъ не обезпечено существованіе человѣка внѣ государственной службы, такъ мало въ насъ самихъ инициативы, жажды самостоятельной и независимой жизни и такъ мало еще, въ концѣ концовъ, развита наша промышленность, въ области которой главнымъ предпринимателемъ является все та же всюдѣсущая, всевѣдущая, все регулирующая казна [5]).

Вспоминается анекдотъ изъ прошлаго. Цензоръ Красовскій какъ-то запретилъ невиннѣйшее стихотвореніе, авторъ котораго изъявлялъ свое романтическое желаніе улетѣть на необитаемыя, надзвѣздныя сферы вмѣстѣ съ своей возлюбленной. Цензоръ Красовскій нашелъ, что авторъ, какъ состоящій на государственной службѣ человѣкъ, „не можетъ никуда летѣть безъ разрѣшенія начальства“. Красовскій, съ точки зрѣнія факта и отношеній русскаго человѣка къ казнѣ, былъ какъ нельзя болѣе правъ.

Но, конечно, никакіе анекдоты не могутъ скрыть отъ насъ трагической стороны самаго процесса. Этотъ трагизмъ не въ жестокости—нѣтъ, потому что его жестокость у насъ на Руси не больше и не меньше, чѣмъ въ другихъ странахъ и государствахъ. Политика „крови и желѣза“ стояла въ немъ на первомъ планѣ, потому что это единственная политика, которая остается и должна оставаться господствующей до полнаго измѣненія экономическаго фундамента жизни. Трагизмъ не въ жестокости, а въ томъ, что въ концѣ процесса народная жизнь оказалась совершенно обобранной, превратилась въ служилую или платежную единицу, и вся красота самостоятельности, творчества и свободы была принесена въ жертву единству государственнаго колосса, его мощи, правильному дѣйствію его механизма.

Исторія литературы необходимо должна отдать себѣ отчетъ въ этомъ процессѣ, потому что литература съ первыхъ же шаговъ своей самостоятельной жизни встрѣтилась съ идеей государственнаго всемогущества и пошла *другой* дорогой.

Эта другая дорога оказалась хожденіемъ души по мытарствамъ: но что иное могло быть, когда требованію государственной жизни—приготовить, воспитать, образовать столько-то и столько *казенныхъ* людей—надо было противопоставить идею творческой, *самостоятельной* личности и свободной кооперації?

[5]) Объ офиціальной народности см. Пыпинъ „Характеристика литературныхъ мнѣній“ и пр.

Все равно, какъ государство стихійно и необходимо стремилось къ созданію единаго, хорошо спаяннаго и хорошо цементированнаго тѣла; все равно, какъ въ жертву этому оно приносило отличія мѣстной и областной жизни, отрицало, начиная съ XV-го вѣка, свободу вѣры и совѣсти, нивеллировало личности, приводило или старалось, по крайней мѣрѣ, приводить все къ казенному образцу, потому что прежде и больше всего ему была нужна правильно и быстро функціонирующая государственная машина, нуженъ былъ механизмъ, приходящій въ дѣйствіе по первому слову или толчку съ его стороны,—такъ литература стала убѣжищемъ для человѣческаго „я“, защитницей творческой личности, всего оригинальнаго, индивидуальнаго, а также и всего интимнаго, на что отчасти по инерціи, отчасти по недовѣрію государство или накладывало, или старалось наложить свою тяжелую, все нивеллирующую руку.

Въ одномъ процессѣ честь, совѣсть и творчество личности подвергались механической переработкѣ во имя единства и государственнаго могущества.

Въ другомъ процессѣ честь, совѣсть и творчество личности были объявлены ея святынями, ея неприкосновенными благами.

Надо замѣтить, что и у насъ, на русской почвѣ, литература явилась не первымъ убѣжищемъ человѣческаго „я“ внутренняго человѣка вообще. Мы знаемъ еще: а) аскетическое подвижничество; б) расколъ и сектантство; в) вольницу.

И тамъ и здѣсь человѣкъ уходилъ отъ государства, скрывался отъ его всевидящаго ока, отъ его требованій, нарушалъ его предписанія, ставилъ жизни свои идеалы и цѣли, сбрасывалъ съ себя обязательства казенныхъ нивеллирующихъ программъ, устраивалъ по собственному разумѣнію свою интимную жизнь, былъ или въ „нѣтяхъ, или „въ бѣгахъ“ отъ государства. Все это, конечно, создало своеобразную традицію, своеобразный противовѣсъ торжествующему и побѣдоносному развитію государственнаго объединенія. Литература въ томъ смыслѣ, какъ я ее понимаю, т. е. какъ служеніе освободительному началу, выступила на этотъ путь очень поздно, въ концѣ XVIII-го вѣка, но быстро, въ теченіе одного какого-нибудь столѣтія, достигла неожиданнаго расцвѣта и общественнаго величія.

Это потому, что исторія и Западъ дали ей богатую объединяющую идею, которая обратилась въ хотѣніе, въ волю.

7. Исключительная обстановка литературной борьбы за освобожденіе.

Но если освободительная идея и является душою нашей литературы, то слишкомъ даже очевидно, что проповѣдь ея у насъ происходила въ средѣ земледѣльческаго народа, и носитъ на себѣ опредѣленное вліяніе его быта. Своеобразныя черты земледѣльческаго строя жизни, привычки мышленія, выработанныя за сохой и въ томъ трудѣ, который весь цѣликомъ зависитъ отъ стихійныхъ силъ природы, хоровое начало, закрѣпленное и воспитанное общиной, міромъ, артелью,—все это оставило рѣзкіе слѣды на литературѣ.

На ряду съ западно-европейскими, эта послѣдняя вынашивала въ себѣ идеи русской народной жизни, и трудно сказать, какія были для нея дороже. Какъ бы то ни было, начиная съ сороковыхъ годовъ, она старалась говорить и отъ лица народа, массы. Это сомнительно, чтобы она на самомъ дѣлѣ говорила отъ ихъ лица, но, повторяю, старалась.

Народъ молчалъ или давалъ знать о себѣ своими волненіями, о которыхъ разговаривать можно было только шопотомъ. Что эти волненія не проходили безслѣдно для интеллигентной мысли, что она знала о нихъ, это мы увидимъ послѣ. Но само собою разумѣется, что знать о волненіяхъ это не значитъ еще знать народъ. Онъ былъ и есть, по остроумному выраженію Базарова, „таинственный незнакомецъ".

Во всякомъ случаѣ, освободительная идея наша развивалась подъ знаменемъ „мужика".

Въ этомъ—ничего страннаго, ничего выдуманнаго, ничего натасканнаго на себя.

Наша литература въ ея прошломъ (съ Л. Толстымъ, какъ ея завершеніемъ и лучшимъ ея выразителемъ, познавшимъ и передавшимъ всѣ ея завѣтныя думы и стремленія и смѣло договорившимъ всѣ ея недоговоренныя слова) создана помѣщичьимъ слоемъ нашего общества, близкимъ къ деревнѣ и мужику, для котораго земледѣліе одинаково являлось главнымъ дѣломъ жизни, который и не могъ иначе мыслить себѣ Россію, какъ страну земледѣльческую, патріархальную по своимъ занятіямъ, образу жизни, общественнымъ отношеніямъ. Такъ именно и выразили ее славянофилы. Они первые попытались формулировать общинно-земледѣльческое мышленіе, какъ нашу истинную сущность и нашу главную особенность; они первые указали на „міръ", на общину, какъ на прочныя основы нашего соціальнаго строя, на любовь и довѣріе, какъ на принципы общественныхъ отношеній. Они, несомнѣнно, сосредоточили наши мысли на крестьянствѣ.

...ТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ.

Но къ тому же вела и начавшаяся еще въ XVIII в. борьба литературы съ крѣпостнымъ правомъ, протестъ противъ него. Къ тому же велп и западно-европейское освободительное вліяніе и все крѣпнувшее сознаніе государства, что ни жить, ни увеличивать свой бюджетъ, ни играть роль европейской державы при крѣпостномъ правѣ ему больше нельзя, и крестьянскія волненія...

Все, словомъ, выдвигало на первый планъ крестьянскій вопросъ, все заставляло думать о мужикѣ.

Но именно потому, что не только подумали, но и много думали о мужикѣ, что дѣлали изъ него постоянно предметъ жалости и восхищенія, что идея свободы приняла прежде всего исторически обусловленную форму—освобожденія отъ крѣпостного права[6]), что все это совершалось въ обстановкѣ, гдѣ земледѣльческій трудъ крестьянина является фундаментомъ государственнаго и общественнаго строя, гдѣ этотъ земледѣльческій трудъ разсматривался „критической мыслью", какъ единственно, несомнѣнно полезный и даже единственно праведный,—борьба за свободнаго человѣка то подмѣнялась борьбой за свободнаго поселянина-земледѣльца, то сливалась съ ней въ органическое цѣлое[7]).

Наше народолюбіе, наше стремленіе стать ближе къ народной массѣ вошли въ литературу и не меньше, чѣмъ западно-европейское вліяніе, опредѣлили ея отличительный характеръ.

Западъ далъ намъ идею освобожденной личности. Эту освобожденную личность мы долго, пожалуй, даже въ теченіе всего девятнадцатаго вѣка, особенно же напряженно въ 70-хъ годахъ, не могли представить себѣ иначе, какъ въ обстановкѣ земледѣльческаго труда. Высшій нашъ идеалъ заключался въ томъ, чтобы всякій сталъ свободнымъ поселяниномъ, чтобы вся Россія обратилась въ одну огромную земледѣльческую общину, въ одно крестьянское царство.

На этой почвѣ выросло, быть можетъ, единственно оригинальное теченіе нашей мысли—наше народничество.

Здѣсь, я думаю, многое безспорно наше. Здѣсь уже ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть рѣчи только о повтореніи Руссо и Жоржъ-Зандъ; здѣсь сосредоточилось и нашло себѣ опредѣленное и ясное выраженіе все самое дорогое и цѣнное, что завѣщано намъ литературой за весь періодъ ея сознательнаго развитія.

---

[6]) Это важно. На Западѣ та же идея вырабатывалась, главнымъ образомъ, въ борьбѣ съ церковнымъ автократизмомъ. Эта борьба вдохновлялась идеями свободной совѣсти и свободной мысли, а не блага народнаго. Естественно, что на Западѣ ея характеръ по преимуществу индивидуалистическій.

[7]) Упреки литературѣ нашей въ культѣ народа то и дѣло шли изъ либеральнаго лагеря (напр., статьи А. В—на (Пыпина) въ „Вѣстникѣ Европы".

Народничество—это наша своя религія, нашими собственными руками выстроенная церковка, на скудный алтарь которой лучшіе люди нашей литературы несли свою любовь и ненависть. Въ ихъ смѣлыхъ мечтахъ эта маленькая церковка разрасталась, однако, во всемірный храмъ, гдѣ должны найти себѣ пріютъ и убѣжище усталые и обремененные всей земли, всѣхъ народовъ.

Итакъ, заглядывая впередъ на литературную жизнь нашей освободительной идеи, мы видимъ, что первымъ шагомъ ея было отдѣленіе личности отъ государства, или, проще, пробужденіе личнаго самосознанія. Это случилось подъ вліяніемъ роста жизни вообще, особенно же подъ вліяніемъ Запада. Человѣкъ призналъ законнымъ и интереснымъ свое собственное существованіе, сталъ говорить о своихъ чувствахъ и мысляхъ, о жизни своего собственнаго сердца, о своей грусти и радости. Сначала, конечно, онъ говорилъ робко и неувѣренно. Русская исторія, которая почти не знала борьбы за право, за свободу мысли и совѣсти, которая прошла въ созиданіи государства и въ борьбѣ со стихіями, которая выросла въ нищетѣ на скудной почвѣ и при постоянной неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ,—давала слишкомъ мало основаній человѣку для вѣры въ себя.

Поэтому тѣ литературныя теченія, въ которыхъ пыталась выразить себя проснувшаяся личность, какъ напр. сантиментализмъ и романтизмъ, носятъ, главнымъ образомъ, подражательный характеръ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ это только переводъ съ иностраннаго, переводъ не только словъ, но и чувствъ и мыслей. Къ счастью, освободительная тенденція нашла себѣ твердую опору въ борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ. Конечно, это въ значительной степени сузило ее, придало ей спеціальный характеръ, но, благодаря именно этому союзу, она оказалась не случайнымъ гостемъ изъ лучшаго міра, а живою и насущною потребностью русской дѣйствительности... Она окрѣпла и выросла, направляя свои усилія къ опредѣленной цѣли; она находила себѣ сторонниковъ, хотя при болѣе отвлеченномъ характерѣ рисковала остаться при однихъ мечтателяхъ и идеалистахъ на своей сторонѣ. Очень важно было и то, что крестьянская масса, волнуясь постоянно, напоминала о свободѣ, какъ непремѣнномъ своемъ требованіи, а крѣпостное право, сводясь въ концѣ концовъ къ физическому насилію надъ человѣкомъ, не требовало ни особенной утонченности, ни культурнаго воспитанія для пониманія его отрицательныхъ сторонъ. Грубое, развратное, наглое, оно было на виду у всѣхъ, ничѣмъ не прикрытое, ничѣмъ даже не старавшееся прикрыться. Въ борьбѣ съ нимъ освободительная тенденція, говорю я, пріобрѣла силу и значеніе, въ то же время и особый характеръ народолюбія, который на-

долго закрѣпился за русской литературой и русскимъ мышленіемъ. Наиболѣе опредѣленно этотъ особый характеръ русскаго освободительнаго движенія выразился въ народничествѣ, которое считаетъ своими вождями и представителями такихъ людей, какъ Чернышевскій, Некрасовъ, Герценъ, Огаревъ, группу „Отечественныхъ записокъ", Лаврова и Толстого.

Таковъ нашъ аболиціонизмъ. Это освобожденіе народа отъ крѣпостного права и его переживаній, это освобожденіе человѣка въ условіяхъ, подсказанныхъ земледѣльческимъ трудомъ и общинно-земледѣльческимъ строемъ жизни. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, что, развивая свой идеализмъ именно на этой почвѣ, наша литература показалась западной критикѣ созданіемъ дикарей или святыхъ. Дикарей, потому что превозносились архаическія формы жизни, давнымъ давно разрушенныя культурой, самая память о которыхъ стерлась въ умѣ западныхъ людей; святыхъ, потому что эти архаическія формы толковались въ смыслѣ древней христіанской общины, какъ высшее по формѣ и типу проявленіе соціальныхъ инстинктовъ, нравственной связи между людьми и общежитія, обезпечивающаго счастье, равенство и братство всѣхъ людей.

Здѣсь я позволю себѣ уклониться нѣсколько въ сторону и изложить нѣкоторые свои взгляды на свободу личности и на отношеніе къ ней нашего общественнаго строя.

Такъ какъ это ось моей книги, то такое уклоненіе неизбѣжно и должно быть сдѣлано здѣсь же, въ предисловіи, иначе останется непонятнымъ мое отношеніе ко многимъ и многимъ литературнымъ явленіямъ.

9. Личность.

Искать сущность личности въ данную минуту — задача чисто метафизическая. Никакихъ данныхъ для ея опредѣленія у насъ нѣтъ. Мы знаемъ личность только по ея проявленіямъ, которыя отдѣляютъ ее отъ массы и отъ другихъ ей подобныхъ особей.

Поднимая вопросъ о происхожденіи „личности", приходится признать, что она вырабатывалась, главнымъ образомъ, въ процессѣ отрицанія, скептицизма, борьбы. Это ея прошлое не только въ Европѣ, но и въ Россіи, и совершенно естественно, если реальная соціологія нашихъ дней, выросшая на почвѣ ученія Маркса, разсматриваетъ личность, какъ „результатъ столкновенія различныхъ общественныхъ слоевъ". Тамъ, гдѣ нѣтъ общественной борьбы классовъ, гдѣ нѣтъ высшихъ и низшихъ, нѣтъ неравенства, недовольства, протеста, жажды подняться выше въ своемъ общественномъ положеніи,

нѣтъ гнѣва, зависти, властолюбія — словомъ, гдѣ нѣтъ такъ называемыхъ антисоціальныхъ чувствъ, — нѣтъ и личности. Возстаніе противъ обычая и закона вскормили ее; она выросла въ „преступленіи".

Конечно, слово „преступленіе" тутъ надо понимать въ самомъ широкомъ смыслѣ. Человѣкъ переступаетъ черезъ извѣстную границу, которая „назначена" ему всѣмъ укладомъ окружающей его жизни. Онъ рвется изъ общественнаго положенія, къ которому принадлежатъ его родители, выбивается изъ-подъ патріархальной власти семьи; отвергаетъ общепринятые догматы вѣры, настаиваетъ на своемъ правѣ слѣдовать своему влеченію или инстинкту и производитъ изслѣдованія въ заповѣдныхъ областяхъ установленной морали или религіи. Нечего и говорить, что въ этомъ смыслѣ всѣ новаторы — преступники, и если сегодня ихъ жгли на кострахъ, какъ еретиковъ, то завтра имъ могутъ воздвигнуть памятники.

Если представить себѣ обстановку какой-нибудь древней земледѣльческой общины, гдѣ всѣ члены находятся въ положеніи „простого сотрудничества", матеріально обезпечены и духовно удовлетворены, ни о какомъ развитіи личности не можетъ быть и рѣчи. Возможна, конечно, индивидуальность, какъ отличіе субъекта А отъ субъекта В, такое же, какое существуетъ между двумя березами, но личности здѣсь нѣтъ. Нужно недовольство своимъ положеніемъ, чтобы она зародилась и выросла.

Какъ всѣ процессы, которые мы объединяемъ подъ именемъ прогресса, такъ и процессъ выдѣленія личности, ея отпаденія отъ однородной массы, болѣзненный. Но спѣшу оговориться—этотъ процессъ, хотя и болѣзненный, не есть дегенерація, т. е. вырожденіе, а прогенерація, т. е. подготовленіе новаго, другого, высшаго (въ смыслѣ разнообразія потребностей и средствъ ихъ удовлетворенія) человѣческаго типа.

Основное чувство, движущее личностью, это голодъ, въ смыслѣ неудовлетворенности. Голодъ, въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, заставляетъ ее искать, стремиться, доводить до высшаго напряженія свои дремлющія при покоѣ и сытости творческія способности. Какъ только личность удовлетворилась обладаніемъ, ея больше нѣтъ: она обратилась въ растительный процессъ [8]).

„Ростъ" личности есть прежде всего ростъ ея потребностей, разныхъ: потребностей матеріальнаго комфорта, разнообразія впечатлѣній,

[8]) Конечно, при извѣстномъ культурномъ воспитаніи потребность творчества можетъ получить и самостоятельное значеніе и способность къ самоинициативѣ, не нуждаясь болѣе въ „героическихъ" стимулахъ. Вообще, никакой нормы я не устанавливаю. Такъ оно было. Это лишь схема прошлаго, въ значительной степени приложимая и къ исторіи нашего литературнаго развитія.

ускореннаго темпа жизни, красоты, знанія, свободы. Никакой границы этимъ потребностямъ установить нельзя, кромѣ, быть можетъ, чисто матеріальныхъ, почему въ этомъ смыслѣ ростъ личности можетъ пріостановиться, но конца ему нѣтъ.

Въ ея поступательномъ движеніи личностью руководятъ эгоизмъ, властолюбіе, ея творческая индивидуальность и жажда безсмертія. Какъ ни отвлеченно, повидимому, это послѣднее чувство, оно—въ видѣ жажды славы—извѣстно одинаково и на высшихъ, и на низшихъ ступеняхъ развитія. Платонъ говоритъ, что самые срединные обычные люди удовлетворяютъ свою жажду безсмертія производя на свѣтъ дѣтей, въ которыхъ и продолжаютъ жить. Даже нашъ Аракчеевъ твердилъ: „Надо строить, какъ можно больше строить, иначе тебя забудутъ на другой же день послѣ твоей смерти". Поэтъ нашихъ дней захлебывается отъ восторга при мысли, что онъ будетъ жить въ памяти людей „отнынѣ до незапамятныхъ временъ". Воздвигнуть себѣ памятникъ „нерукотворный" мечта каждаго развитого, утонченнаго духа.

Истиннымъ своимъ проявленіемъ личность всегда считала: власть надъ людьми или признаніе съ ихъ стороны своего превосходства, собственность, творчество въ искусствѣ, наукѣ и жизни[9]).

Бѣдная голодная земная жизнь заставила ее съ особой силой прилѣпиться къ собственности, месть за вынесенныя униженія—къ властолюбію; но на извѣстныхъ ступеняхъ общественнаго развитія и собственность, и властолюбіе вступаютъ въ слишкомъ очевидное столкновеніе съ требованіями красоты и свободы—все равно, какъ и съ сознаніемъ неустранимаго „трагизма жизни", чтобы не уступать имъ порою, чтобы не отодвинуться по крайней мѣрѣ на второй планъ. Быть можетъ, съ особой силой этому процессу помогаетъ идея смерти, непрочности всего матеріальнаго, скоротечность грубыхъ плотскихъ наслажденій и та тяжелая оскомина, которую она оставляетъ въ душѣ. Жажда безсмертія, запуганная нашей жизнью, ею отрицаемая, заставляетъ человѣка искать все болѣе и болѣе прочныхъ проявленій своей личности, которыя онъ и находитъ въ творчествѣ, въ созданіи новыхъ образовъ искусства, новыхъ истинъ науки, новыхъ формъ семейныхъ и общественныхъ отношеній.

Творчество, въ элементарномъ смыслѣ этого слова, есть созданіе непохожаго, необычнаго. Это не есть непремѣнно созданіе лучшаго (часто, несомнѣнно, худшаго), но все же такого, въ которомъ есть какіе-то намеки на новыя, болѣе совершенныя формы, какое-то предчув-

---

[9]) Я не называлъ здѣсь чувствъ, которыя скрѣпляли связь личности и вида. Служа сохраненію послѣдняго, они, разумѣются, только понижаютъ личность, какъ таковую.

ствіе ихъ, какое-то ихъ искапіе. Нужна со стороны общества огромная вѣротерпимость даже по части заблужденій, чтобы творчество личности оказалось въ хорошихъ для себя условіяхъ. Иногда даже прямая ошибка способна навести на „истину", какъ, скажемъ, ошибочны были расчеты и соображенія Колумба.

Такъ какъ нѣтъ двухъ людей абсолютно другъ на друга похожихъ, то, при извѣстной смѣлости и благородной самоувѣренности, человѣкъ, выдѣляя, объективируя это свое не похожее въ той формѣ, которая подсказана ему самымъ его сильнымъ органическимъ стремленіемъ, несомнѣнно создастъ нѣчто свое, новое.

Въ этомъ смыслѣ всякій можетъ быть творцомъ. Но будетъ ли онъ имъ? Все растущая жажда новизны, разнообразія, совершенствованія, все растущее признаніе творческихъ силъ, скрытыхъ въ каждомъ человѣкѣ, разумная расчетливость по отношенію къ человѣку, проникающая въ наше сознаніе, обѣщаютъ, что каждому когда-нибудь будетъ представлена возможность и средства для развитія своихъ творческихъ силъ. Но пока внутренняя организація (также, впрочемъ, и международная) нашихъ обществъ—чисто хищническая. Хищникъ не думаетъ о будущемъ. Онъ срубаетъ вѣковой кедръ, чтобы собрать орѣхи, истощаетъ почву, не давая ей ни отдыха, ни удобренія, сводитъ съ земли воды, лѣса, звѣрей въ своемъ стремленіи къ быстрой наживѣ. Ближайшая выгода закрываетъ въ его глазахъ завтрашній день. Уходя, онъ оставляетъ за собой голое мѣсто.

Совершенно такъ же поступаемъ мы съ человѣкомъ. Все разнообразіе его силъ, способностей, дарованій намъ совершенно не нужно. Мы не знаемъ даже, что съ ними дѣлать, и не могли бы найти этому разнообразію никакого примѣненія... Мы обращаемъ его въ плохую машину, примѣняемъ къ его мускульной силѣ „потогонную" систему, сознательно держимъ въ невѣжествѣ милліоны людей, потому что наша бѣдная, жалкая, ницшеская жизнь просто не „вмѣщаетъ" всего человѣка, боится его скрытыхъ силъ и, быть можетъ даже, сразу бы расползлась, если бы въ нее хлынула огромная волна теперь сдержаннаго, запуганнаго, забитаго человѣческаго творчества. Мы хищники. Спартанцы въ свое время выкалывали глаза своимъ рабамъ, чтобы тѣ, перемалывая зерно, на ручныхъ жерновахъ, не развлекались ничѣмъ. Людоѣды просто пожираютъ плѣнниковъ. Спартанцамъ нужны были только мускулы, людоѣдамъ только мясо. Намъ отъ милліоновъ и милліоновъ людей нуженъ только ихъ черный трудъ, ихъ подневольная работа, ихъ пониженное, полуживотное состояніе. Это все равно, какъ употреблять на кирпичи фарфоровую глину, золотыя розсыпи на песокъ, обратить Штука или Беклина въ живописца вывѣсокъ. Человѣкъ въ нашей жизни не только орудіе или

средство, а средство или орудіе для самыхъ ничтожныхъ и малоцѣнныхъ цѣлей, самая дешевая и грубая машина, зачастую нѣчто гораздо болѣе дешевое, чѣмъ рубище или ветошь, прикрывающія его тѣло. Это предѣльная драма нашей нищенской жизни съ ея хищными цѣлями, слѣпой жадностью, потогонными и иными системами, при которыхъ ни о какомъ „творчествѣ“ не можетъ быть и рѣчи, а можетъ быть рѣчь только о работѣ, корень которой (какъ слова) сближаетъ ее съ понятіями „раба“, „рабства“.

А между тѣмъ въ творчествѣ, т. е. созданіи своего—высшее наслажденіе, высшая радость, всѣ муки, достойныя человѣка, его единственная надежда.

Мы знаемъ, что если не давать выхода даже мускульной силѣ человѣка, она можетъ „задавить“ его своей тяжестью и броженіемъ. То же и съ силою духа, творческими порывами. Прекрасныя слова находимъ мы по этому поводу:

„Природа души человѣческой есть жизнь, акція, инпціатива. Пассивность же наша достигла высокой степени уже къ концу московскаго періода и съ тѣхъ поръ все увеличивается. Невыносимо это для души человѣческой. Дайте сотворить человѣку, иначе онъ завертится“...

Но сотворить ему не даютъ, и онъ дѣйствительно начинаетъ „вертѣться“. Вся наша литературная мысль учительская, пропагаторская, проповѣдническая прежде всего проситъ себѣ выхода въ жизнь. Она ищетъ своего осуществленія и не находитъ его. Двѣсти лѣтъ говоритъ она о пользѣ наукъ и просвѣщенія, и все же мало науки и мало просвѣщенія, и царитъ въ жизни одна скука, полуграмотность и полуневѣжество, необходимыя и неизбѣжныя, разъ существуетъ боязнь знанія и изслѣдованія, разъ каждую минуту можетъ появиться Магницкій и заявить о зловредности „преподаванія естественнаго права изъ здраваго разума человѣческаго, а не изъ евангелія“... или что-нибудь въ этомъ родѣ... Сто лѣтъ на разные лады переворачиваемъ мы мысль о пользѣ общественной самодѣятельности, но и изъ нея не выходитъ ничего. Затаиваются, мутнѣютъ мысли, чувства, настроенія. Смѣлые порывы переходятъ въ хлыстовщину—въ ученіе Кирѣевскихъ, въ нигилизмъ, въ идолопоклонство передъ Бюхнеромъ и въ надорванные стоны Гаршина... Великія мысли, брошенныя Западомъ, тускнѣютъ и мельчаютъ; недоговоренныя, съ печатью унынія и сѣрой скуки, наполняютъ онѣ наши журналы и книги, разбиваются на куски въ литературныхъ дрязгахъ и полемикахъ, которыя тянутся годами, потому что вещи нельзя назвать своимъ именемъ.

Наученные горькимъ опытомъ, мы знаемъ теперь, что нужно для развитія личнаго творческаго начала. Мы знаемъ, что и народническіе идеалы—идеалы крестьянскаго царства, и мораль долга мало пригодны для

этой цѣли. Личность требуетъ свободнаго броженія общественныхъ силъ и классовыхъ противорѣчій. Она должна признать во всей полнотѣ свое эгоистическое стремленіе къ свободному творчеству и развитію, должна признать законность своихъ философскихъ, религіозныхъ и правовыхъ запросовъ, не жертвуя ими ничѣмъ и никому. Не въ порядкѣ подчиненія, самопожертвованія, а лишь свободнаго сотрудничества должны опредѣляться ея отношенія къ обществу... Мы знаемъ все это, наученные горькимъ опытомъ, какъ знаемъ и то, что въ нашей жизни черевѣсъ былъ всегда на сторонѣ условій, пригнетающихъ личность [10]).

10. Роль западно-европейскаго вліянія.

Было бы, конечно, нелѣпостью утверждать, что идея личности въ нашей литературѣ обязана своимъ происхожденіемъ только западному вліянію, что она переводная отъ начала до конца. Кое-что, хотя бы возмущеніе противъ существующаго, давало ей извѣстную пищу и у себя дома, но все же, конечно, съ Запада получала она главное свое вдохновеніе, и оттого такъ безмѣрно переросла она жизнь, такъ рано встрѣчаемся мы съ ней, почти на зарѣ нашей литературы. Конецъ XVIII-го вѣка говоритъ уже о раціонализмѣ, о „естественныхъ“ правахъ человѣка, о равенствѣ людей, и это въ тѣ дни, когда Державинъ съ полной искренностью, даже съ желаніемъ сказать комплиментъ и въ то же время съ большой проницательностью называетъ Екатерину В. царицей „киргизъ-кайсацкія орды“...

Сколько искренняго, сколько наивнаго и дѣтскаго, а часто и глубокаго въ нашемъ увлеченіи Западомъ! Карамзинъ отъ всей души цѣловалъ землю, на которой жили свободные „швецары“, какъ онъ называлъ швейцарцевъ. Правда, это обстоятельство нисколько не помѣшало тому же Карамзину написать потомъ свою „Записку о старой и новой Россіи“ (1811), гдѣ говоритъ съ вами не просвѣщенный человѣкъ, а помѣщикъ-полицеймейстеръ, но все же въ каждую эпоху нашей жизни передъ нами группа лицъ—то массоновъ, то либераловъ временъ Александра I-го, то декабристовъ, то московскихъ студентовъ тридцатыхъ годовъ, для которыхъ въ извѣстные годы ихъ жизни идеи „свободы, равенства, братства“—святыня, а Западъ—учитель и наставникъ, въ жизни котораго всѣ мечты, всѣ упованія. Потому что жить русской дѣйствительностью—нельзя. Это мы давно уже, больше ста лѣтъ, какъ поняли.

---

[10]) Пониманіе этого началось еще со дней Бѣлинскаго и Герцена.

„Европейское просвѣщеніе, пишетъ Гоголь, было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка".

А вотъ извѣстныя слова Салтыкова:

„Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ—единственно авторитетному тогда въ литературѣ, которое занималось популяризованіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда".

„Всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрагивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи—все какъ будто только что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться".

Достоевскій называетъ Жоржъ-Зандъ одной изъ нашихъ „святыхъ". Вспоминая о ней, онъ говоритъ: „Прочтя о смерти Жоржъ-Зандъ, я понялъ, что значило въ моей жизни это имя, сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій и сколько далъ когда-то радостей, счастья... Это одна изъ нашихъ современницъ, вполнѣ идеалистка 30-хъ и 40-хъ годовъ, это одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго, самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія, которыя, возникнувъ тамъ въ странѣ святыхъ чудесъ, переманили изъ нашей вѣчно создающейся Россіи слишкомъ много думъ, любви".

Впрочемъ, эти цитаты излишни. Намъ надо только посмотрѣть вокругъ себя, вспомнить недавно, вчера пережитую литературную бурю марксизма, вчитаться въ новую поэзію или статьи новорожденнаго „идеализма", чтобы понять всю огромность, все постоянство западнаго вліянія. Все время ученики, мы даже свою „самобытность" теоретически обосновываемъ на ученіяхъ Запада, что случилось съ нашими реакціонерами, самобытниками начала вѣка, подчинившимися вліянію Де-Местра,

со славянофилами, обильно черпавшими у Гегеля, Гакстаузена и особенно Шеллинга, позже—съ почвенниками [11]).

Большая часть фактовъ начала нашей литературной исторіи имѣетъ лишь чисто формальное отношеніе къ ея органическому росту, потому что они — переводы, передѣлки, подражанія, заимствованіе словъ. Вспомнимъ, что еще Бѣлинскому въ 1834-омъ году русская литература въ одно и то же время казалась и „французской, и англійской, и нѣмецкой, и итальянской".

Новыя изслѣдованія только подтверждаютъ взгляды Бѣлинскаго.

Проф. Весловскій дѣлаетъ къ нимъ еще печальное прибавленіе, что и брали-то мы обыкновенно изъ вторыхъ рукъ. „Зародившись подъ покровомъ живого движенія французской или англійской общественной мысли, говоритъ онъ, то или другое ученіе находило бывало благопріятный пріемъ въ нѣмецкой, голландской, польской сферѣ; когда-то еще дойдетъ оно до насъ, сохранитъ ли оно еще всю первоначальную силу, переданное изъ вторыхъ рукъ? Могутъ, конечно, сложиться благопріятныя обстоятельства, которыя какъ будто ослабятъ географическую отдаленность и перенесутъ сразу мысль, точно легкое сѣмя, черезъ огромное пространство. Но для этого необходимо всегда чье-нибудь особенно сильное личное вмѣшательство, напр., увлеченіе энциклопедизмомъ у Екатерины въ раннюю пору; пересадка имѣла поэтому иногда характеръ тепличной культуры и замирала съ той минуты, когда лично заинтересованнаго двигателя не было больше въ живыхъ... Такъ это было у насъ до ближайшей къ намъ поры".

Читая изслѣдованія такого спеціалиста, какъ проф. Весловскій, удивляешься силѣ, разнообразію и постоянству западныхъ вліяній. Оттуда — вольнодумство, политическія идеи, научныя свѣдѣнія, художественные образы. Даже нашъ охранительный „Домострой" имѣетъ свои параллели и источники въ западной литературѣ. Случайность заимствованій одинаково бросается въ глаза. Свое — своимъ, но подражаніе и внушеніе сыграли огромную, еще не опредѣленную въ своихъ истинныхъ размѣрахъ роль [12]).

Для насъ, русскихъ, это было неизбѣжно, и никто не думаетъ отрицать важности и значенія этой чужой мысли. Переводы и переложенія пустили въ обращеніе массу идей, гуманныхъ, просвѣтительныхъ, прямо революціонныхъ въ отношеніи къ нашему строю, но этимъ идеямъ было

---

[11]) Н. Я. Данилевскій, напр., заимствовалъ свою теорію культурно-историческихъ типовъ у Рюккерта, что блестяще доказано Вл. С. Соловьевымъ (томъ V-ый, стр. 293), и т. д.

[12]) Поучительна вообще работа А. Н. Весловскаго „Западно-европейское вліяніе въ русской литературѣ".

холодно въ нашемъ климатѣ. Намъ передалась, напр., англійская сатира, французская псевдо-классическая трагедія, нѣмецкая литературно-критическая систематика Готшеда и т. д. Все это производило только рябь на поверхности огромнаго, молчаливаго и мертваго моря.

О началѣ XIX-го вѣка проф. Веселовскій говоритъ:

„Отдѣльныя личности отваживаются отклоняться отъ принятой рутины псевдо-классицизма и, поддаваясь стремленію къ творческой свободѣ, отвоевываютъ шагъ за шагомъ почву для русской литературы".

„Рано, продолжаетъ онъ, замѣтны у насъ предвѣстія приближающагося романтизма. Оссіану пришлось быть его пророкомъ и Ермилу Кострову, первому переводчику оссіановыхъ пѣсенъ, его вѣстовымъ: еще не затихло раціоналистическое направленіе галломановъ, а уже показался таинственный поѣздъ всадниковъ, богатырей дальняго сѣвера, и повѣяло суровымъ привольемъ моря и горъ — и передъ прелестью Оссіана преклонились поэты въ родѣ Державина. Обаяніе романтизма увлекло „чувствительную" натуру Жуковскаго въ подражательность. Онъ увлекался Греемъ, Бюргеромъ, Фуке, Новалисомъ, Тикомъ, но всѣ оригиналы въ его передѣлкахъ являлись измѣнившимися и суженными". „Отъ широкаго изученія романтиками нѣмецкой старины, которымъ наука обязана развитіемъ занятій народностью и языкомъ, отъ странной, но во всякомъ случаѣ своеобразной философіи романтизма, стремившейся охватить и осмыслить всѣ жизненныя явленія, почти не осталось въ русскомъ переложеніи ни слѣда. Вадимы, Громобои, Свѣтланы, спящія дѣвы — красивыя поддѣлки подъ русскую старину, но сквозь народную одежду ея то и дѣло выступаютъ чужеземныя черты".

„На Батюшковѣ особенно замѣтно вліяніе итальянскихъ поэтовъ — Петрарки, Аріосто, Тасса. Онъ не могъ уберечься и отъ обаянія поэзіи Байрона и присвоилъ себѣ, скрывъ это, что съ нимъ случалось нерѣдко, правда, прекрасно переведенную имъ строфу „Чайльдъ Гарольда" (пѣснь IV, строфа 174), воспѣвающую наслажденіе дикостью лѣсовъ". И т. д.[13]).

При нашей бѣдности и нашей нищетѣ все шло впрокъ. И, разумѣется, не жаловаться на эти заимствованія и переложенія приходится намъ, а просто слѣдуетъ признать въ нихъ школу нашей литературной мысли. Весь періодъ подражанія, который не закончился еще и теперь.— это ученическіе годы нашей литературы.

Больше всего въ этихъ заимствованіяхъ руководила мода. Слава, созданная за границей, долетала и до насъ. Мы увлекались тѣмъ же, чѣмъ увлекались въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Геттингенѣ, иногда

[13]) Вообще надо осторожно говорить о самостоятельности нашего творчества.

даже увлекались гораздо болѣе страстно, чѣмъ сами соотечественники, напр., толкователями и учениками Гегеля, или книгой Бокля „Исторія цивилизаціи", постоянно проявляли наклонность возводить въ религію и догматъ различныя доктрины въ родѣ матеріализма или „принципа пользы", совсѣмъ не имѣвшія у себя дома такого значенія; и надо удивляться, какъ за всѣмъ этимъ не стерлось лицо нашей литературы, не затерялась ея идея.

„У насъ русскихъ, говоритъ Достоевскій, двѣ родины—Россія и Европа. Европа—но вѣдь это страшная и святая вещь!.. Знаете ли, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и родной намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ! Русскому Европа такъ же драгоцѣнна, какъ Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ мнѣ милѣе, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго Божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ, и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ".

Двѣ родины—да. Но нельзя не признать тысячи случайныхъ заимствованій. Когда при Петрѣ переводятъ овидіевскій „Метаморфозеосъ, сирѣчь премѣненія", когда весь XVIII и часть XIX вѣка (простите за выраженіе) потѣетъ въ путахъ ложно-классицизма: когда у насъ являются пастушескіе романы, сантиментальныя повѣсти, восточныя повѣсти, или когда русскій человѣкъ сочиняетъ свирѣпый романъ „Донъ Коррадо де-Геррера или духъ мщенія у Гишпанцевъ",—во всемъ этомъ, какъ и многомъ другомъ, нельзя не видѣть пробы пера, упражненія въ стилѣ наивнаго умничества, считавшаго, однако, себя нисколько не хуже оригиналовъ. Это все равно какъ Сумароковъ, который искренно вѣрилъ, что превзошелъ „господина Вольтера" [14]).

За два вѣка книгъ написано, конечно, невообразимое количество. Одно ихъ перечисленіе, какъ это доказываетъ опытъ Публичной библіотеки и С. А. Венгерова, должно занять томы. Но если мы спросимъ себя, что выжило и что должно выжить изъ этой вавилонской башни книгъ, мы едва ли назовемъ тридцать-сорокъ именъ [15])...

---

[14]) Въ этомъ смыслѣ у насъ имѣются любопытные писатели. Напримѣръ, М. В. Сушкова была извѣстна тѣмъ, что сочиняла „гишпанскія повѣсти, итальянскія идилліи, французскія оперы и англійскій юморъ".

[15]) Наши прабабушки и прадѣдушки установили слѣдующія категоріи для пишущей братіи: „Писецъ называется тотъ, кто чужое переписываетъ; писатель, кто сочиняетъ прозою. Сочинитель, кто пишетъ стихами. Творецъ, кто написалъ знаменитое сочиненіе стихами или прозою". Это и теперь можетъ пригодиться.

Изъ другихъ, болѣе спеціальныхъ работъ читатель убѣдится, что зап.-европейское вліяніе это общій множитель огромнаго большинства произведеній русской литературы. Попытаюсь теперь свести это вліяніе къ самому общему и существенному.

Самое общее и существенное — это, конечно, идея личности въ ея противоположеніи обществу, государству, традиціонной морали и традиціонной религіи. Въ своемъ стремленіи къ самостоятельности и свободѣ личность, разумѣется, должна пережить это состояніе противоположенія. Она не можетъ не возстать, не можетъ не отдаться отрицанію, мистицизму и критикѣ, разъ хочетъ въ концѣ концовъ сказать что-нибудь свое. Рутина, традиція и догма дѣлаютъ рабами ея мысль и чувство.

Нашихъ прадѣдушекъ и прабабушекъ Западъ уже съ середины XVIII-го вѣка училъ невѣрію, атеизму и вольтеріанству; въ книгахъ массоновъ онъ намекаетъ имъ о возможности какихъ-то новыхъ „евангельскихъ“ отношеній между людьми, не имѣвшихъ ничего общаго ни съ крѣпостнымъ правомъ, ни съ табелью о рангахъ; главнымъ образомъ въ сочиненіяхъ Руссо узнали они о естественныхъ правахъ человѣка и гражданина, о правѣ каждаго на равную съ другими долю счастья и свободы, о „естественномъ правѣ самозащиты въ случаѣ невыносимаго гнета“. Подъ вліяніемъ энциклопедистовъ Екатерина В. такъ рѣшительно, хотя и неудачно, поставила вопросъ объ освобожденіи крестьянъ.

Западъ, давая ученія и готовыя формулы своей болѣе развитой жизни, внушая, очаровывая, гипнотизируя, дѣлалъ критику существующаго не только возможной и легкой, но прямо необходимой для людей, особенно подпавшихъ его вліянію.

Въ процессѣ отдѣленія личности отъ государства онъ сыгралъ первенствующую роль. Онъ научилъ личность интересоваться собой, говорить о своей интимной жизни, смѣло высказывать свою тоску, недовольство окружающимъ, свои требованія отъ жизни. Такъ возникъ нашъ романтизмъ—эта лучшая литературная школа. Конечно, Пушкинъ и Лермонтовъ не созданы Западомъ, но сомнительно, чтобы они могли появиться безъ его постояннаго и долгаго предшествующаго вліянія, или даже безъ поэзіи Байрона.

Идеалистическая философія не только окрылила духъ личности идеей развитія, но въ лицѣ Гегеля поставила вопросъ о правѣ Россіи и славянства на самостоятельное существованіе, заставила всѣхъ мыслящихъ людей отдать себѣ отчетъ въ томъ, что понимаютъ они подъ „русскимъ народомъ“, устоями русской жизни и т. д.,—словомъ, выдвинула на первый планъ проблему общественныхъ и народныхъ идеаловъ.

Съ тѣхъ же тридцатыхъ годовъ начинаетъ чувствоваться вліяніе

западныхъ соціалистовъ—Сенъ-Симона, Леру, Фурье, Жоржъ-Зандъ разбрасываетъ идеи женской эмансипаціи, народолюбія, того же утопическаго соціализма... И это особенно важно, потому что, начиная съ этихъ поръ, соціализмъ въ той или другой формѣ становится руководящимъ ученіемъ для нашей передовой мысли.

Все, что шло съ Запада, внушало недовольство окружающимъ, заставляло внимательно присматриваться къ нему, говорило о необходимости знанія, внушало, что человѣкъ свободенъ лишь постольку, поскольку онъ овладѣлъ природой и поколебалъ „власть земли и неба". Оттуда же потокомъ лились идеи гражданскихъ правъ и правового устройства.

Западъ, въ концѣ концовъ, далъ намъ идею свободной развивающейся личности и свободной общественности, вплоть до анархизма и коллективизма.

Въ томъ, какъ эти идеи перерабатывались на русской почвѣ, принимали своеобразную окраску и своеобразное толкованіе въ зависимости отъ особеннаго нашего положенія, и заключается главный смыслъ нашего литературнаго прошлаго.

Несмотря на наше ученичество, у насъ все же было кое-что свое, и это свое мы почерпали главнымъ образомъ въ общинно-земледѣльческомъ строѣ русской жизни.

Благоразумно или неблагоразумно, но съ огромнымъ увлеченіемъ, часто страстно, во всякомъ случаѣ всегда изъ благороднѣйшихъ побужденій преслѣдуя мечту „о счастіи всѣхъ", мы противопоставили идеи общинно-земледѣльческаго строя жизни западно-европейскимъ, то въ надеждѣ ихъ полнаго примиренія[16]) и синтеза, то чувствуя ихъ полную непримиримость. У насъ была жажда опрощенія, жажда счастья и праведности, которая встрѣтилась съ гордой жаждой развитія западнаго человѣка, чтобы уступить ей въ концѣ концовъ. Наша община и общинность цѣнились нами не меньше, а иногда гораздо больше, чѣмъ наука и политическая свобода.

Амальгама западно-европейской мысли съ идеями и стремленіями, выработанными общинно-земледѣльческимъ строемъ, создала различныя теченія нашей литературно-общественной мысли.

---

[16]) См. гл. VI „Народничество". Самая крупная попытка—это, конечно, примирить русскую земледѣльческую общину и западно-европейскій соціализмъ, который, однако, былъ вызванъ противорѣчіями промышленнаго строя.

11. Опрощеніе.

Общинно-земледѣльческое мышленіе не призракъ, выдуманный славянофилами, а фактъ нашей исторіи. Не спорю: мужикъ-общинникъ навѣрное понималъ его въ значительной степени иначе, чѣмъ наша интеллигенція, которая возилась съ нимъ такъ долго и настойчиво и въ немъ искала указанія путей. Въ этомъ „общественно-земледѣльческомъ мышленіи“ мы видѣли и начало коммунизма, и основы истинно-христіанскаго, братскаго общежитія, и какъ бы почву, выращивающую „праведную народную интеллигенцію“ и „святыхъ народныхъ угодниковъ“,—мы видѣли даже панацею всѣхъ соціальныхъ золъ Запада. Мы увлекались, конечно. Но все же несомнѣнно, что кое-какія стороны этого мышленія русская литература носила въ себѣ, какъ стихію, какъ инстинктъ, какъ смутное воспоминаніе, и носила ихъ въ сердцѣ своемъ. Голосъ общинно-земледѣльческой стихіи то покрывалъ и заглушалъ собою, какъ у славянофиловъ и Толстого, голоса и хоръ европейскихъ идей, то, какъ у народниковъ радикаловъ, переплетался съ послѣдними. Но въ томъ и другомъ случаѣ онъ всегда слышался. Послушные ему, мы въ теченіе всего XIX в. вели свою упрямую „борьбу съ Западомъ“ [17]), мечтали о немедленномъ осуществленіи „крестьянскаго царства, сторонились соблазновъ западно-европейскаго либерализма и западно-европейской свободы. Русская община, представлявшаяся наиболѣе увлекающеюся, какъ христіанское братство, была постояннымъ источникомъ вдохновенія. Поэтому-то вѣроятно, нѣтъ ничего въ русской литературѣ болѣе яркаго, характернаго и настойчиваго, какъ „опростительная тенденція“.

Опроститься—значитъ сдѣлать простымъ себя, свои потребности, свою жизнь, отказаться отъ всей сложности культурной обстановки, ея условностей. Въ крайней своей цѣли—это стремленіе физически и духовно слиться съ народомъ и его земледѣльческимъ бытомъ, даже мышленіемъ. Стремленіе, хотя имѣющее много причинъ вплоть до личной разочарованности, но въ основѣ своей чисто нравственное. Оно—одно изъ воплощеній христіанскаго идеала. Исходитъ изъ предположенія, что земледѣльческій трудъ самый естественный и праведный, и что въ земледѣльческой крестьянской общинѣ полнѣе всего осуществляется „братство, равенство и общее счастье“. Это тяга къ землѣ, къ массѣ, къ чистой совѣсти, боязнь культуры и развитія, или разочарованіе въ ней.

---

[17]) Терминъ, распространенный Н. Страховымъ. Но Страховъ понимаетъ его иначе, чѣмъ я. Въ этой борьбѣ Страховъ видитъ какую-то особую доблесть русскаго духа и проникновенность русской мысли. Для меня это лишь естественное слѣдствіе встрѣчи убогой жизни земледѣльческаго народа съ цивилизаціей.

Тяга къ стихіи, къ чему-то огромному, поглощающему личность и индивидуальность.

Мнѣ кажутся совершенно элементарными слѣдующіе тезисы:

1) Борьба съ крѣпостнымъ правомъ и другія условія русской жизни—въ свое время по преимуществу деревенской,—хотя и не сблизили литературу съ народомъ, толпой, но сдѣлали эту массу необходимымъ элементомъ литературнаго мышленія.

2) Теоретическая связь литературы и массы выразилась: а) въ аболиціонизмѣ, б) въ проповѣди жалости, жалѣнія къ закабаленному народу; с) идеализаціи общинно-земледѣльческаго строя народной жизни.

3) На почвѣ этой идеализаціи выросла и окрѣпла такъ наз. опростительная тенденція литературы, которая окрасила собою ученіе славянофиловъ, народничество (въ первую его эпоху) и нашла свое завершеніе въ толстовствѣ.

4) Эта тенденція наша старая, исконная. Изъ глубины первыхъ же десятилѣтій XIX вѣка до насъ доносятся свѣдѣнія о ней.

Еще въ романѣ Нарѣжнаго „Россійскій Жильблазъ“ (1814 г.) мы встрѣчаемся съ одной оригинальной фигурой. Это „доморощенный философъ“, вышедшій изъ среды русскаго достаточнаго дворянства, который выработалъ своеобразную теорію на основаніи евангелическихъ истинъ, изреченій греческихъ философовъ и взглядовъ Руссо. Мудрецъ этотъ называетъ себя Иваномъ; онъ не признаетъ сословныхъ и другихъ отличій; при полномъ отрицаніи имущественной и денежной собственности, является врагомъ всякаго насилія и лжи и настолько чуждъ всѣхъ потребностей цивилизаціи, что считаетъ трудъ излишнимъ и ведетъ нищенскую созерцательную жизнь среди природы[18]).

Въ этой оригинальной фигурѣ трудно не видѣть какого-то не совсѣмъ, впрочемъ, яснаго предисловія къ Толстому. Здѣсь тѣ же главные руководители духовнаго переворота—Руссо, массоны и евангеліе; та же обстановка достаточнаго русскаго дворянства, тотъ же конечный выводъ—отрицаніе собственности. Мудрецъ Иванъ пошелъ немного дальше и считалъ излишнимъ всякій трудъ; несомнѣнно, однако, что подобныя мысли не разъ мелькали у Толстого и были остановлены въ своемъ развитіи лишь его огромнымъ здравымъ смысломъ, его общимъ практическимъ, пожалуй, даже „хозяйственнымъ“ складомъ натуры.

5) Опростительная тенденція, воля, хотѣніе которой въ сліяніи съ народомъ предполагаетъ (въ разной степени, конечно): а) борьбу съ Западомъ; б) отказъ отъ культуры; в) бѣгство на лоно природы, въ народную массу, въ нищету; г) этику равенства и братства.

---

[18]) Бѣлозерская „В. Нарѣжный“.

6) Опростительная тенденція разсматриваетъ всѣ явленія съ точки зрѣнія этической и даже христіанской. Ея идеалъ—любовь между людьми. Всѣ движенія, принципъ которыхъ другой, напр., общій классовый интересъ, насильственная борьба за право, не только не пользуются ея сочувствіемъ, а, напротивъ того, отрицаются ею, какъ нѣчто враждебное.

7) Въ глубинѣ опростительныхъ стремленій—идеалъ первобытнаго христіанскаго братства. Въ русской крестьянской общинѣ опростители нашли наилучшее его воплощеніе; въ „дѣяніяхъ апостоловъ"—свою программу. Тамъ, въ „дѣяніяхъ", сказано о первыхъ христіанахъ: „И они постоянно пребывали въ ученіи апостоловъ, въ общеніи, въ преломленіи хлѣба и молитвахъ". „Былъ же страхъ во всякой душѣ, и много чудесъ и знаменій совершалось черезъ апостоловъ въ Іерусалимѣ"... „Всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли все общее". „И продавали имѣнія и всякую собственность и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ каждому. И каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и, преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца... Хваля Бога и находясь въ любви у всего народа".

Что опростительная тенденція находится въ прямомъ противорѣчіи съ прогрессивными дѣяніями Запада, это само собой понятно. „Мудрость, знаніе—то же, что власть и свобода", говоритъ намъ западный раціонализмъ. Мы свободны постольку, поскольку мы знаемъ, т. е. умѣемъ управлять естественнымъ ходомъ вещей и подчинять этотъ естественный ходъ своимъ человѣческимъ цѣлямъ. Эти догматы суровы и требовательны. Они декретируютъ постоянное стремленіе, борьбу, процессъ развитія, не назначая ему опредѣленнаго конца. Въ сущности, они оправдываютъ жертвы, лишенія, страданія. Области, въ которыхъ они сознаютъ себя особенно непререкаемыми, это области знанія, техники, политики. Санкція ихъ чисто человѣческая, земная. Ихъ истинный носитель—личность, стремящаяся къ завоеванію природы и тѣхъ слѣпыхъ силъ, которыми все еще обусловлено распредѣленіе удобствъ, правъ и наслажденій въ нашей соціальной средѣ.

Цѣли опростительной тенденціи чисто нравственныя, христіанскія. Въ ней нѣтъ ничего завоевательнаго. Она хочетъ равенства, братства и мира на землѣ. Она считаетъ себя осуществимой на любой степени развитія. Входящее въ ея программу сокращеніе потребностей дѣлаетъ, въ сущности, излишними знаніе и технику. Чисто этическая, она чужда политики. Она стремится къ христіанскому общежитію, праведности; склонна даже проповѣдывать нищету. Она идеализируетъ русскій народъ, его общинно-земледѣльческій бытъ, его бѣдность, его золотое христіанское сердце. Съ умиленіемъ, обращаясь къ нему, спрашиваетъ:

Не тебя ль, страна родная,
Въ рабскомъ видѣ царь небесный
Исходилъ, благословляя?[19])

Ее не пугаетъ рабій видъ, нищія селенія, бѣдная природа. Она хочетъ лишь внутренней свободы для человѣка, какъ будто эта внутренняя свобода не гибнетъ отъ нищеты и внѣшняго насилія...

12. О нѣкоторыхъ народническихъ идеяхъ.

Совершенно ложная мысль о возможности внутренней нравственной свободы, при полномъ рабствѣ природѣ, лежитъ въ основѣ опростительной тенденціи.

Вспоминая о своемъ прошломъ, Западъ горделиво говоритъ намъ:

И знаніе, упорный врагъ преградъ,
Поколебало мощные оплоты земли и неба...

Этотъ путь мы знаемъ, хотя и теоретически, съ чужихъ словъ. Но все же мы видимъ, что, величественный и прекрасный, взятый въ общемъ своемъ развитіи и за вѣка исторической жизни, онъ жестокъ и часто отвратителенъ въ своихъ частностяхъ, разложенный на дни и часы. Мы слишкомъ даже хорошо видимъ или видѣли это всегда, потому что выросли и воспитались, главнымъ образомъ, на тѣхъ западныхъ книгахъ и ученіяхъ, которыя критиковали западную же жизнь. Мы и теперь, пожалуй, готовы держаться той же точки зрѣнія, хотя съ каждымъ днемъ насъ все больше смущаетъ мысль, не единственный ли это возможный путь развитія, и нѣтъ ли тамъ того огромнаго плюса, котораго мы, ничего въ сущности не испытавъ, а главное ничего еще не создавъ, не можемъ даже оцѣнить?

Какъ бы то ни было, взрощенная земледѣльческой средой, выхоленная въ помѣщичьихъ гнѣздахъ—съ ясными слѣдами разложенія отихъ послѣднихъ на себѣ,—русская литература XIX в. выдѣлила изъ себя упрямое и эксцентричное теченіе, которое въ разное время, подъ разными именами, съ разными цѣлями—то какъ славянофильство, то какъ народничество, то какъ толстовство,—является для нея въ высшей степени характернымъ и важнымъ. Это сонъ едва пробудившагося народа о своемъ золотомъ вѣкѣ, это христіанская мечта о праведной жизни. Оно, это теченіе признало путь западно-европейскаго

[19]) Стихи Тютчева читаются: Всю тебя, земля родная, и т. д.

развитія ложнымъ и страшнымъ [20]), только подозрительно присматривалось къ нему; въ общемъ же относилось къ нему недовѣрчиво, неохотно уступало его натиску, боролось съ нимъ, какъ могло, во имя традицій, общинно-земледѣльческой морали, особыхъ свойствъ русскаго народнаго характера, и даже теперь продолжаетъ въ лицѣ Толстого [21]) эту свою борьбу. Русскій человѣкъ—я говорю о томъ, который проявился въ литературѣ,—всегда вѣрилъ и даже жилъ той вѣрой, что въ народной жизни таится сокровище, передъ которымъ ничтожны всѣ завоеванія западно-европейскаго раціонализма и западно-европейской мудрости. Это сокровище тотъ духъ братства и равенства, та христіанская праведность [22]), которой проникнутъ общинно-земледѣльческій строй крестьянской жизни.

Въ нашей литературѣ столько же жажды опрощенія, сколько жажды развитія.

Уже въ сороковыхъ годахъ появляется у насъ настойчивая и дальше все растущая идея русской соціальной обособленности, отдѣльности путей нашего развитія и русскаго мессіанизма.

Объ этомъ заговорили славянофилы, съ торжествомъ указывая на крестьянскую общину, на нравственныя, а не политическія основы русской жизни. Ту же мысль ясно и опредѣленно высказалъ Герценъ.

„Мы, писалъ онъ въ 53-мъ году, государство сельское, наши города—большія деревни, тотъ же народъ живетъ въ селахъ и городахъ; разница между крестьянами и мѣщанами выдумана петербургскими нѣмцами. У насъ нѣтъ потомства побѣдителей, завоевавшихъ насъ, ни раздробленія полей въ частную собственность, ни сельскаго пролетаріата; крестьянинъ нашъ не дичаетъ въ одиночествѣ; онъ вѣчно на міру и съ міромъ; коммунизмъ его общиннаго устройства, его деревенское самоуправленіе дѣлаютъ его сообщительнымъ и развязнымъ. Народъ русскій все вынесъ, но спасъ общину; община спасла народъ русскій. Тутъ нѣтъ большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину въ то время, какъ германскіе народы утеряли ее, но это большое счастье, и его не надо выпускать изъ рукъ“.

Въ нашей общинѣ и артели Герценъ видитъ тѣ же тенденціи, какъ въ западномъ соціализмѣ.

---

[20]) Это признаніе безразлично принадлежитъ и славянофиламъ, и Толстому, и Герцену, и Михайловскому, и большинству нашихъ народниковъ-революціонеровъ. Смгл. VI-ую.

[21]) См. его послѣднія брошюры о рабочемъ вопросѣ.

[22]) Lemaitre назвалъ какъ-то соціализмъ христіанствомъ безъ Христа. Это въ особенности справедливо въ отношеніи русскаго народничества.

Разъ высказанная, эта мысль приросла къ нашей литературѣ, и вы встрѣчаете проходящую красной нитью черезъ любую ея страницу. Ей отдано столько любви, столько вдохновенія и таланта, что она воистину реликвія нашего прошлаго. Ею мы возвышались въ нашихъ собственныхъ глазахъ, на ней основывали лучшія свои надежды и готовы были сказать спасибо нашей скудной и суровой исторіи за то, что она не пошла западно-европейскимъ путемъ политической борьбы, политическаго развитія.

Славянофилы, Герценъ, Кавелинъ, Михайловъ, Чернышевскій, Лавровъ, „Отечественныя Записки“, Толстой—всѣ сходятся въ своемъ умиленіи передъ общиной, въ признаніи ея основой будущаго нашего строя.

„Человѣкъ будущаго въ Россіи—мужикъ“, резюмируетъ Герценъ, и эта мысль не только вдохновляла, но и обязывала, опредѣляя наши взгляды на народъ, на европейскую культуру, на смыслъ исторіи и развитія.

Мы поторопились увидѣть въ нашей общинѣ и другихъ устояхъ крестьянской жизни (артели, мірѣ) живое, хотя бы даже несовершенное воплощеніе идеаловъ соціализма и евангельской морали. Этого было достаточно, чтобы создать у себя дома огромный источникъ очарованія и внушенія.

13. Еще о томъ же.

Мы всегда боялись роста потребностей, доходя до комическаго ужаса передъ ихъ вторженіемъ въ народную жизнь. Мы какъ будто чувствовали, что нашъ народъ можетъ сохранить свои „добродѣтели“ только внѣ западно-европейской культуры. На словахъ такъ преданные просвѣщенію, начиная отъ азбуки копейки, вплоть до Либиха и аккумуляторовъ, мы всегда таили въ душѣ мысль, что культура и знаніе—это яды, что путь, которымъ идетъ исторія Запада съ ея раздѣленіемъ труда, гордыней ея человѣческой мысли и личности,— ложный и страшный путь. Оно и понятно, такъ какъ самымъ дорогимъ для насъ въ нашемъ земледѣльческомъ бытѣ были община и міръ, на которые и „раздѣленіе труда, и гордыня человѣческой личности“ не могутъ не дѣйствовать безусловно разрушительнымъ образомъ. Окруженная ореоломъ святости, народная жизнь наша была въ глазахъ нашихъ народолюбцевъ тѣмъ конечнымъ пунктомъ, къ которому должны привести людей всего міра ихъ борьба, ихъ усилія, ихъ страданія.

„Вѣроятно, послѣ морей крови и страданія, они, т. е. западные

люди, придутъ путемъ огромныхъ усилій знанія и воли къ тому, что ассоціація-то должна быть въ одномъ человѣкѣ, что въ немъ одномъ должны сосредоточиваться, если такъ можно выразиться, всѣ знанія, всѣ науки, ремесла, а союзъ такихъ всесторонне развитыхъ людей будетъ община, общество... То-есть придутъ къ типу нашего мужика-общинника, который **все самъ**, на всѣ руки, **все можетъ**, ни въ комъ не нуждается и, сосредоточивая въ одномъ себѣ возможность всесторонняго развитія врожденныхъ въ немъ физическихъ и нравственныхъ силъ, представляетъ типъ „полнаго человѣка“, а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но за то, если культурный человѣкъ послѣ всѣхъ усилій ума, знанія и воли, послѣ всѣхъ страданій, послѣ морей крови придетъ къ тому же типу, который въ нашемъ крестьянинѣ уже есть, существуетъ во всей красѣ и силѣ—не завоеванныхъ имъ, а взятыхъ даромъ—тогда уже и самостоятельность, и независимость этого, своей волей выбившагося изъ мрака и холода, человѣка будетъ вѣковѣчная“... [23]).

Это исповѣданіе вѣры нашего народничества. Мы твердо были убѣждены, что высшій типъ уже есть, и въ томъ величайшая наша мечта и величайшая наша ошибка. По какой-то странной иллюзіи крестьянина, спутаннаго цѣпями крѣпостного права, варварскаго невѣжества, общины, мы спокойно провозглашали типомъ „полнаго человѣка“. Мы видѣли въ немъ всю возможную красоту и силу, передъ которой оставалось склоняться и намъ, и человѣку Запада.

Въ центрѣ нашей литературы въ теченіе цѣлыхъ 50-ти лѣтъ стоялъ **народолюбецъ**. Какъ славянофилъ, онъ исповѣдывалъ православіе, какъ народникъ—христіанскую мораль любви, самоотреченія, подвижничества. Онъ могъ быть атеистомъ, православнымъ, могъ пытаться создать собственную свою религію, какъ Толстой—безразлично: христіанство давало ему его идеалы общественной жизни. Онъ былъ христіаниномъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, потому что дѣйствительную силу жизни видѣлъ въ любви, ея идеалъ—въ братствѣ и равенствѣ.

Въ той или другой степени европейская культура перерабатывала различныя секты и толки нашего народолюбія и нашего народничества, надѣляя ихъ большимъ или меньшимъ уваженіемъ къ мысли, знанію, развитію. Но зерно нашего міросозерцанія, мозгъ костей его почти не поддавались ни переработкѣ, ни воздѣйствію. Это, повторяю, признаніе себя „высшимъ типомъ“.

Въ этомъ зернѣ все время упорно таилась мысль, что мы первые скорѣе и лучше, и проще другихъ народовъ можемъ осуществить идеалы

[23]) Успенскій „Изъ разговоровъ съ пріятелями“.

равенства и братства, и что наша жизнь заключаетъ въ себѣ всѣ подходящія условія для такого осуществленія.

Въ этомъ зернѣ, повторяю, была боязнь передъ ростомъ потребностей, передъ городомъ и городской жизнью, передъ личностью. Если оно допускало знаніе и просвѣщеніе, то скорѣе какъ печальную необходимость, какъ вынужденную уступку, а не какъ органическое стремленіе человѣка, не какъ его новое знамя.

Мы часто говоримъ объ утопизмѣ или даже о недомысліи такой точки зрѣнія. Но само собой разумѣется, что совсѣмъ не о недомысліи должна итти тутъ рѣчь... Самое простое, что можно сказать не только въ оправданіе, но и въ объясненіе нашего народничества, это почти то же, что сказалъ въ свое время Ницше о „честномъ“ Брутѣ: оно в ѣ р и л о въ народъ, мужика, въ праведность общинно-земледѣльческой жизни и не бросило въ нихъ добродѣтель ни одной песчинки недовѣрія. Имъ посвятило оно лучшее свое вдохновеніе, лучшіе порывы своего сердца,—имъ и тому, чьимъ воплощеніемъ оно ихъ считало,—соціализму и христіанской морали. Независимость и свобода народной души, растлѣваемой государственной и промышленной,—вотъ въ чемъ тутъ дѣло, высшій интересъ, святая забота. „Нѣтъ достаточно великой для этого жертвы“... Надо пожертвовать собой, культурой, развитіемъ, разъ они представляютъ опасность для цѣлости и праведности народной жизни.

Такъ думали, вѣроятно, лучшіе,—Бруты нашей общинной, крестьянской Россіи.

14. Литература и христіанская мораль.

Какую бы формулу нашей прежней литературы вы ни взяли, кромѣ, разумѣется, офиціальной, государственной, вы найдете въ ней проповѣдь любви, состраданія, жалѣнія, гуманности и подвига, который цѣненъ даже не по своимъ результатамъ, а самъ по себѣ. Это вѣчная жажда искупленія грѣховъ, расплаты съ народомъ, работа примиренія со своей совѣстью. Вотъ что, говорю я, находимъ мы въ нашей литературѣ, какъ ея отличительное и ей присущее. В с е э т о, в ъ к о н ц ѣ к о н ц о в ъ, п е р е р а б о т а н н а я х р и с т і а н с к а я м о р а л ь. И на это послѣднее обстоятельство обращаю особенное вниманіе.

Я пока только высказываю и ничего не доказываю. Но доказательства читатель найдетъ ниже, а самое крупное и значительное доказательство—Толстой и его проповѣдь всемірной любви, всемірнаго земледѣльческаго братства всѣмъ слишкомъ извѣстна, чтобы указывать на нее постоянно. Толстой же—это истинное завершеніе цѣлаго огром-

наго періода нашей литературы, отъ перваго ея лепета до крушенія народническихъ идеаловъ. Онъ пережилъ только глубже, чѣмъ другіе, и ненависть къ казенному мышленію, и органическое стремленіе нашего прошлаго къ мужику, народу, и стихійное, опять-таки органическое недовѣріе къ Западу, наукѣ, искусству, и всегда имѣлъ смѣлость доводить свои посылки до конца, не заботясь о томъ, куда онѣ его заведутъ. Жалобы на европейскую культуру, особенно ея промышленный строй, ея ложь и лицемѣріе, ея пресмыкательство передъ силой, мечту перенести ее къ намъ въ „исправленномъ и улучшенномъ“ видѣ— онъ свелъ къ полному отрицанію культуры, знанія, просвѣщенія. Онъ вынулъ изъ народничества его зерно и, съ горделивымъ презрѣніемъ ко всему условному, выставилъ его подъ видомъ „дуракова“ царства, сказавъ еще, что это вотъ и есть настоящее! Онъ угадалъ тайные помыслы нашего земледѣльческаго строя жизни и сталъ проповѣдывать общее равенство. Языческій идеалъ внѣшней силы, власти надъ природой, борьбы за право—онъ отвергъ до конца, и мы услышали отъ него проповѣдь непротивленія злу, нищеты, христіанскаго коммунизма. Онъ свелъ смыслъ жизни къ любви, самоотреченію, подвигу. Какъ въ морѣ, въ немъ собрались наши литературные ручьи и рѣки. Онъ одинъ высказалъ самыя затаенныя думы литературы, часто неясныя ей самой. Ни по силѣ признанія, ни по силѣ отрицанія ему нѣтъ равнаго. Повторяю, онъ итогъ, завершеніе, гранъ нашего литературнаго „общинно-земледѣльческаго мышленія“ [24]).

По своей альтруистической морали, по своему центральному типу— печальника горя народнаго, по настойчивой проповѣди состраданія, жалости, по своему идеалу равенства въ бѣдности, по своей готовности отречься отъ завоевательныхъ и властолюбивыхъ стремленій мысли, личности, знанія, разъ этимъ возможно обезпечить общее счастье или крестьянское царство здѣсь на землѣ, наше народничество—ученіе чисто христіанское [25]).

Въ сущности, интеллигенція всегда была очень далека отъ народа, но, благодаря нѣкоторымъ особенностямъ нашей жизни, только въ сліяніи съ нимъ видѣла рѣшеніе всѣхъ проклятыхъ вопросовъ, выходъ изъ ужаса своего положенія, изъ путаницы своихъ мыслей и настроеній, изъ мукъ своей совѣсти. Она создала себѣ величавый образъ страдальца-народа, обладающаго „той внутренней и сознательной

[24]) Ученіе Толстого вызвало жестокія нападки со стороны крайнихъ нашихъ либераловъ. Но эти нападки были направлены главнымъ образомъ на пути, которые указывалъ Толстой для осуществленія идеала. (См. мои „Очерки“, предисловіе.)

[25]) Психологія христіанства знаетъ два основныхъ чувства: любовь и состраданіе. Они связаны неразрывно.

силой, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками; той внутренней и сознательной силой, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія“ [26]). Этотъ величавый образъ, внушая любовь и состраданіе, такъ же пригналъ личность, какъ и весь варварскій патріархальный строй.

Первоначальная и, какъ оказалось, самая крѣпкая связь между интеллигенціей и народомъ выросла на чувствѣ жалости. Оно уже ярко и сильно въ книгѣ Радищева. „Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя страданіями человѣческими уязвлена стала“, писалъ Радищевъ о крестьянахъ еще въ 1790 г. Тотъ же мотивъ мы находимъ у многихъ декабристовъ. Призывомъ къ состраданію Григоровичъ началъ новую литературную эпоху. Это было уже въ 46-мъ году. Характерныя и знаменательныя строки видимъ мы въ дневникѣ петрашевца Момбелли: „И теперь еще пробѣгаетъ холодный трепетъ по жиламъ при воспоминаніи о видѣнномъ мною кусочкѣ хлѣба, которымъ питаются крестьяне Витебской губерніи: мука вовсе не вошла въ его составъ; онъ состоитъ изъ мякины, соломы и еще какой-то травы и видомъ похожъ на высушенный конскій навозъ, сильно перемѣшанный съ соломою“. Мы знаемъ, какую огромную роль, быть можетъ, даже первенствующую, сыграли разсказы о бѣдствіяхъ народа въ движеніи 70-хъ годовъ. Мнѣ думается, совершенно излишне приводить примѣры изъ Некрасова и Щедрина; излишне указывать и на Гаршина, въ жизни котораго это чувство жалости сыграло прямо трагическую роль. Жалость и жалость! Всегда она на первомъ планѣ, вовущая, ослабляющая. Если иногда, въ видѣ исключенія, она и дѣлала изъ человѣка героя, то въ большинствѣ случаевъ только отвлекала его отъ себя, отъ сознанія своей личности, своихъ личныхъ человѣческихъ

---

[26]) Или у Некрасова:

Въ рабствѣ спасенное,
Сердце свободное,—
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная—
Сила могучая!
Совѣсть спокойная,
Правдой живучая. (т. II, 287).

правъ и, запугивая огромностью подвига, обращала его или въ циника, или лишняго Гамлета.

Мы видимъ въ нашей литературѣ цѣлый рядъ лицъ, зараженныхъ жалостью, когда это чувство становилось какъ бы эпидемическимъ, доходило до болѣзни, до безумія, терзало и мучило, выкрикивало странныя слова, заставляло метаться въ отчаяніи.

Оно было бродиломъ, красотой и отравой жизни десятковъ и сотенъ людей и создавало имъ мученическіе вѣнцы. Оно было безмѣрно, и въ своей безмѣрности не знало жертвы, не знало подвига, которымъ могли бы удовлетвориться. Оно поглощало всего человѣка, все же оставаясь ненасытнымъ. Молодость, любовь, свободу, всѣ радости жизни, восторги передъ красотой брало оно, становясь только требовательнѣе. Оно вырастало на почвѣ безусловныхъ христіанскихъ требованій отъ общественной жизни.

Жалость была главнымъ первымъ проводникомъ соціальныхъ чувствъ въ нашей литературѣ. Отрицать ея заслуги въ этомъ отношеніи было бы совершенно напрасно. Она заставила не только подумать о народѣ, но и почувствовать его.

Чѣмъ больше вчитываешься въ прошлую литературу нашу, тѣмъ больше утверждаешься, до чего она была христіанской. Борьба Герцена съ христіанствомъ и его моралью, единственно серьезная и философски глубокая, не произвела на нее никакого впечатлѣнія. Раздѣленіе человѣка на тѣло и духъ, подчиненіе тѣла, даже пренебреженіе къ нему, и возвеличеніе духа—это наше обычное и настойчивое. Мы и въ культурѣ видѣли всегда расширеніе тѣла, его потребностей. Къ христіанской морали состраданія и самоотреченія мы всегда обращались, какъ къ верховному трибуналу, непререкаемому критеріуму и авторитету. У насъ, въ сущности, не было никогда ни философіи, ни науки, ни даже религіи, была только евангельская мораль, которая за все и на все отвѣчала[27]).

Быть можетъ, въ этой связи, въ этомъ союзѣ нашего народолюбія съ традиціоннымъ очарованіемъ христіанской морали и надо видѣть одну изъ причинъ его напряженности, его абсолютной власти надъ нами.

Толстой всю жизнь пытался и никогда не могъ вырваться изъ круга христіанскихъ понятій и представленій. Идеи грѣха и покаянія живутъ въ немъ въ самой грубой и примитивной ихъ формѣ, почему, напр., ученіе Ницше не можетъ даже казаться ему инымъ, какъ отвратительнымъ. Онъ ищетъ примиренія со своей совѣстью, ея безусловной чистоты, и

[27]) Первенство этицизма, т. е. добронравія для нашей литературы отмѣчалось очень часто. Помню мнѣнія проф. Кирпичникова, Бороздина и т. д.

ради этого проповѣдуетъ самоотреченіе и подвигъ. Онъ клеймитъ развратомъ всѣ пути, какими личность ищетъ своего свободнаго самоопредѣленія.

И во всей этой работѣ мысли и совѣсти отношенія къ мужику, къ народу на первомъ планѣ.

Но не то же ли самое было и до Толстого и около Толстого?

Съ народомъ у интеллигенціи разыгрывался романъ, обратившійся со временемъ въ трагедію.

Это большой, еще не законченный романъ въ нѣсколькихъ частяхъ, написанный разными поколѣніями, въ разныя эпохи. Исторія сплела эти разныя главы въ одну большую общую книгу, которую мнѣ, по крайней мѣрѣ, хочется назвать исторіей русской литературы.

Въ частности, это біографія Толстого, въ жизни и произведеніяхъ котораго всегда надо искать крупныхъ штриховъ и крайнихъ выводовъ тамъ, гдѣ другіе ограничивались намеками.

Самъ вышедшій изъ родовитой среды, Толстой почти всю жизнь промучился надъ противорѣчіемъ между барином и мужикомъ, особенно послѣ того, какъ ему пришлось побывать на севастопольскихъ бастіонахъ. Тутъ онъ научился уважать „простыхъ“ людей, великихъ въ своемъ смиренномъ и молчаливомъ героизмѣ. Онъ понялъ, что чѣмъ-то онъ обязанъ передъ ними, и вскорѣ, въ началѣ 60-хъ годовъ, находясь еще весь во власти теоріи совершенствованія, онъ принялся учить крестьянскихъ дѣтей въ своей яснополянской школѣ. Но это ученіе быстро пріѣлось ему, какъ барская затѣя, и онъ занялся своими хозяйственными и интеллигентными дѣлами. Только все же ни литературой, ни домашнимъ счастьемъ, ни великой славой, ни полнымъ успѣхомъ во всѣхъ дѣлахъ не могъ онъ вытравить изъ души своей какого-то стыда, какой-то совѣстливости за свое привилегированное положеніе. И вотъ настала минута, когда этотъ стыдъ и совѣстливость всецѣло овладѣли его душой, когда онъ сталъ мечтать о самоубійствѣ, о раздачѣ имѣнія, когда онъ захотѣлъ стать мужикомъ, какъ всѣ мужики вокругъ него, когда онъ отрекся отъ своего художества и предалъ анаѳемѣ науку и искусство [28]).

Въ этой личной драмѣ Толстого—всѣ мотивы, пережитые нашей интеллигенціей въ отношеніи къ народу. Сначала спокойное пользованіе дарами судьбы и чужимъ трудомъ крѣпостныхъ; потомъ уваженіе къ этой „округлой“, гармонической жизни мужика и его смиренному героизму, какое-то смутное пониманіе, что тревоги интеллигентнаго сердца могутъ прекратиться, лишь когда оно проникнется стихійнымъ міросозерцаніемъ народа; потомъ желаніе 60-хъ годовъ „учить мужика“, до

[28]) „Очерки“, глава Толстой и Достоевскій.

себя поднять его и, наконецъ, упреки совѣсти за свое привилегированное положеніе и стремленіе учиться у народа правдѣ его трудовой жизни.

Баринъ и мужикъ—вотъ основное противорѣчіе. Какъ и въ чемъ примирить его? Толстой всю жизнь искалъ этого примиренія и не нашелъ, потому что примирить—значитъ въ этомъ случаѣ разрѣшить всѣ сомнѣнія нашей прошлой исторіи. Толстой былъ то бариномъ-мужикомъ, то мужикомъ-бариномъ и лишь въ рѣдкія минуты однимъ чѣмъ-нибудь. Стихійно влекла его къ себѣ барская жизнь, въ обстановкѣ которой цѣлые вѣка жили его предки; стихійно влекла его къ себѣ и мужицкая жизнь, чья красота постоянно „металась“ ему въ глаза, чьей правды онъ не могъ не признать. И онъ сталъ на распутьи, не разрѣшивъ ни одного изъ своихъ сомнѣній, но собравъ въ своей личной жизни всѣ исканія русскаго прошлаго, исканія осмысленнаго и правдиваго „бытія“. Онъ—великій мечтатель, каждый новый день увлекающійся новымъ идеаломъ во имя голоса своей непримиримой совѣсти и неудовлетвореннаго представленія о правдѣ личной жизни и общественныхъ отношеній[29]).

Онъ, несомнѣнно, прошелъ весь рядъ философскихъ ступеней, начиная отъ полнаго отрицанія личности до ея увѣнчанія. Какъ славянофилы, онъ училъ, что личность должна быть поглощена природой и народомъ, массой. Иначе ея существованіе незаконно, случайно и даже преступно. Въ этомъ поглощеніи онъ видѣлъ смыслъ жизни и счастья. Роль личности въ исторіи онъ низводилъ къ нулю, самую личность онъ приравнивалъ къ дифференціалу, т. е. безконечно малой, единично неуловимой и неисчислимой даже величинѣ. Когда, послѣ долгихъ усилій, онъ отдѣлилъ личность отъ народной массы, все же выше ея поставилъ Любовь и идею Божества, которыми и ограничилъ какъ ея свободу, такъ и свой анархизмъ.

15. Къ чему сводятся отличительныя черты русской литературы.

Мораль Толстого, все равно какъ и нашей литературы, была евангельской и христіанской. Она требовала жертвъ и отказа отъ себя.

Правда, литература очень рано отреклась отъ метафизики христіанства, и были даже эпохи, когда держалась въ отношеніи послѣдней самымъ вызывающимъ образомъ, называя христіанскаго Бога „Одиномъ“ и проповѣдуя естествознаніе, какъ панацею всѣхъ золъ. Но мораль оставалась христіанской, опредѣляясь идеаломъ общаго равенства, счастья, братства.

[29]) См. главу 7-ую, 6.

Что могло случиться въ такомъ случаѣ съ другой идеей, взятой нами у Запада, даже болѣе, чѣмъ взятой—воспринятой нами отъ него,—идеей освобожденія личности? Эта идея явилась къ намъ въ бенгальскомъ освѣщеніи романтической поэзіи и ослѣпила насъ; мы научились уважать и цѣнить ее въ философіи Шеллинга и Гегеля; мы все свели къ ней, увлекшись Фейербахомъ; наша жизнь вся офиціальная, казенная, государственная по преимуществу, ея патріархальный варварскій строй вступали въ ежеминутныя столкновенія съ личнымъ началомъ развитія и укрѣпляли его, возбуждая недовольство, подсказывая отрицаніе, протестъ. Эта идея была безмѣрно дорога. Мы чувствовали въ ней обаяніе свободы, залогъ развитія.

Въ жизни все было противъ, кромѣ стихійныхъ стремленій развивающагося и растущаго человѣка. Ея отрицаніемъ въ жизни народа являлись сначала крѣпостное право, затѣмъ община, міръ, всегда—невѣжество и фетишизмъ мысли; въ жизни интеллигенціи—вся та сложная комбинація чувства, которая говорила о долгѣ народу, о расплатѣ съ нимъ, о служеніи ему, и тотъ же фетишизмъ. Личность приподнималась только въ тѣ полосы нашего развитія, когда какъ-то временно и какъ бы даже случайно забывалось о народѣ. Но въ этомъ случаѣ ея положеніе ей самой казалось до того необычнымъ, что она, растерянная и измученная, очертя голову добѣгала до тупиковъ нигилистической мысли, чтобы сейчасъ же повернуть назадъ и, опять очертя голову, броситься въ народъ, проклиная свои вчерашнія „короткія и ясныя“ формулы, отрицающія жертву, служеніе, подвигъ, состраданіе.

Здѣсь, гдѣ я даю только самые общіе, самые крупные штрихи своей работы, мнѣ не надо останавливаться на подробностяхъ. Я хочу сказать, что нужно было все огромное вліяніе Запада, чтобы идея личности могла привиться къ нашей литературѣ, стать въ концѣ концовъ ея камнемъ краеугольнымъ, потому что ничего болѣе противорѣчащаго, болѣе чуждаго нашей жизни и ходу нашего развитія нельзя себѣ и представить. Нашу личность всегда тянуло внизъ, въ массу; наша личность даже въ огнѣ нигилизма не могла освободиться отъ христіанской морали долга.

Но внушенія Запада были могущественны. Самая близкая, самая подчиненная ему литература наша настойчиво, хотя то и дѣло противорѣчиво и опасливо, говорила объ освобожденіи личности, смутно чувствуя въ этомъ какую-то высшую правду и высшій призывъ. Она поступала въ этомъ случаѣ очень своеобразно. Она воспѣвала личность и эту только воспѣтую личность сейчасъ же торопилась утопить въ какомъ-нибудь долгѣ, идеѣ „расплаты съ народомъ и отвѣтственности за счастье всѣхъ“ или даже „растворить“ въ массѣ народа. Она мечтала о томъ, что

личность овладѣетъ всѣми благами культуры, достигнетъ гармонически развитого состоянія, и тотчасъ же поднимала борьбу съ раздѣленіемъ труда, безъ чего не только благъ культуры, но и самой культуры не было, нѣтъ и, насколько видно впередъ, не можетъ и быть. Она украшала личность идеей прогресса, какъ ей присущей, и тутъ же проповѣдывала христіанскую мораль долга, самоотреченія, любви къ ближнему, стараясь не видѣть, что христіанство не имѣетъ ничего общаго съ идеей прогресса и даже отрицаетъ ее, предсказывая впереди не радость и счастье, а пришествіе Антихриста и мерзость запустѣнія[30]). Самое чувство жалости въ томъ размѣрѣ, въ какомъ это проповѣдывалось у насъ, отрицаетъ идею личности. Ницше даже думаетъ, что съ проповѣдью жалости неразрывно связана проповѣдь пренебреженія и презрѣнія къ себѣ.

Рядомъ съ этимъ настойчиво и упрямо, а порою неожиданно выступаетъ на сцену опростительная тенденція, являясь поэтому какъ будто подпочвой нашего литературнаго мышленія. Въ ней трудно не видѣть глухой, часто безсознательной борьбы земледѣльческаго народа съ духомъ европейской промышленной цивилизаціи. Ее одинаково вдохновляютъ и Руссо съ своей любовью къ природѣ и естественному, и евангеліе, и соціализмъ, и наша общая безграмотность.

* * *

Такимъ образомъ, отличительныя особенности русской литературы, до ея рѣшающаго кризиса въ 80-хъ годахъ, легко сводится къ слѣд. пунктамъ:

1) Отрицательное отношеніе къ системѣ офиціальной народности (государственности).

2) Господство освободительной идеи и служебная роль литературы, готовой даже отказаться отъ себя, какъ отъ искусства, чтобы сосредоточить свои силы на проповѣди.

3) Своеобразная опростительная форма освободительной идеи, выработанная нашей дворянской средой подъ вліяніемъ борьбы съ крѣпостнымъ правомъ, идеализаціи мужика и общинно-земледѣльческаго строя народной жизни, принимаемаго за соціалистическій и христіанскій.

---

[30]) Я говорю объ ученіи „отцовъ церкви“. Конечно, опорой имъ служили слова Христа, что „царство Мое не отъ міра сего“. См. „О безбожіи и Антихристѣ“, А. Вѣляева. Спб. 1893 г., т. I-й.

16. Діалектика литературной идеи.

Теперь мнѣ уже не трудно выяснить задачу и планъ своей книги. Говоря вообще, я хочу прослѣдить развитіе освободительной, аболиціонистской идеи въ ея главныхъ и необходимыхъ моментахъ. На первомъ планѣ у меня борьба этой идеи съ системой или теоріей офиціальной народности.

Я начинаю свое изложеніе съ очень отдаленныхъ временъ, не изъ научнаго педантизма, конечно, а просто, чтобы дать читателю представленіе о той великой стѣнѣ, съ какой освободительная идея встрѣтилась съ первыхъ же дней своего появленія на свѣтъ Божій. Въ томъ, чтобы въ общихъ штрихахъ прослѣдить жизнь освободительной идеи, заключается для меня весь интересъ и смыслъ этой работы.

Если освободительная идея въ большей или меньшей степени является задачей и смысломъ всякой литературы, всякаго искусства, то (я старался уже показать это) у насъ въ Россіи она приняла очень своеобразную форму народолюбія и народничества. Нельзя не признать эту форму наиболѣе характерной для насъ и даже тѣмъ, въ чемъ особенно ярко проявилась самобытность нашего литературнаго развитія. Поэтому о народничествѣ я говорю довольно подробно, не ограничиваясь общими указаніями, совершенно достаточными для меня при характеристикѣ другихъ направленій.

Методъ моей книги—діалектическій. Онъ состоитъ въ разъясненіи тѣхъ противорѣчій, развитіе которыхъ обусловило органическій ростъ нашей литературы.

Первое, основное противорѣчіе я вижу между литературой и офиціальной жизнью: литературой, всѣ требованія, „надежды и основанія" которой сводятся къ тому, чтобы обезпечить свободное проявленіе творческой личности человѣка, и офиціальной народностью съ ея единственной задачей приготовить нужныхъ государству слугъ и плательщиковъ налоговъ. Это великій споръ и великая борьба, далеко еще не рѣшенная; однако, ясно, что литература наша росла вмѣстѣ съ разложеніемъ нашего дворянскаго и патріархальнаго общественнаго строя, основаннаго на земледѣліи и крѣпостномъ правѣ.

Идетъ затѣмъ рядъ противорѣчій внутри самой литературы. Прежде всего мы видимъ группу идей и настроеній, выросшихъ и формулированныхъ въ дворянскій періодъ нашей литературы, который длится вплоть до 60-хъ годовъ. Освободительная идея въ эту эпоху имѣетъ прежде всего характеръ гуманизма, покровительственнаго состраданія къ закабаленному народу. Но это не просто гуманизмъ, не просто состраданіе,

Здѣсь всякое чувство окрашено эстетизмомъ, а его объектъ созерцается, какъ нѣчто прекрасное, и потому достойное свободы. Какъ нѣчто прекрасное, созерцается Россія въ ея будущемъ или прошломъ, русскій народъ; даже въ психологіи крестьянина стараются выдвинуть на первый планъ или ея артистическія стороны, или красоту этическую, т. е. праведность. Отражая на себя полупраздную, полусозерцательную жизнь нашего дореформеннаго дворянства, литература, по любовно-сатирическому выраженію Щедрина, походитъ въ это время на спящую царевну, которая спитъ и во снѣ видитъ „хорошіе сны“.

Наступаетъ „буря и натискъ“ 60-хъ годовъ. Во главѣ литературы становится разночинецъ, слишкомъ, однако, слабый и слишкомъ лишенный общественной почвы, чтобы надолго удержать за собой позицію. Но все же онъ вноситъ въ литературу опредѣленное хотѣніе, опредѣленную волю. Всѣ силы своего отрицанія и протеста онъ направляетъ на дворянскій эстетизмъ, на гуманность, не выходящую за предѣлы краснваго слова и созерцанія. Онъ требуетъ прежде всего работы и пользы; онъ увлекается естествознаніемъ, а не метафизикой. Онъ вноситъ съ собой въ литературу всю ту связку чувствъ, которая обусловлена хотѣніемъ жизни, свободы, правъ, развитія и ненависти къ препятствіямъ, стоящимъ на дорогѣ этого хотѣнія. Онъ думаетъ о народѣ, но это не главная его забота. Главная забота сосредоточилась на освобожденіи личности изъ-подъ власти стихійнаго и патріархальнаго, путемъ положительнаго знанія прежде всего. Но разночинецъ, говорю я, не удержался на позиціи. Онъ быстро почувствовалъ свое одиночество, и въ этомъ одиночествѣ онъ затерялся и стерся. Его оружіе—отрицаніе—притупилось, главные его вожди выбыли изъ рядовъ, самая идея „эмансипаціи“ была такой чуждой и необычной для русской жизни, а естествознаніе давало въ сущности такъ мало для сложныхъ запросовъ сознанія, что было мудрено не затеряться. Быть можетъ, отъ этой растерянности и одиночества, слѣдуя въ то же время стихійному развитію своей идеи, разночинецъ ударился въ чистое отрицаніе, для котораго и раньше были готовы всѣ посылки... Здѣсь онъ дошелъ до тупика мысли, и мало кто послѣдовалъ за нимъ. Большинство, по крайней мѣрѣ, лучшую часть этого большинства, опять потянуло къ нашей традиціонной идеѣ „служенія народу“, къ вѣрѣ, къ положительнымъ догматамъ поведенія, къ созиданію жизни...

Наступаетъ эпоха 70-хъ годовъ. Это, прежде всего, отрицаніе отрицанія, т. е. нигилизма, борьба съ нимъ, стремленіе къ религіозному мышленію, т. е. къ признанію такихъ нравственныхъ цѣнностей, которыя дороже самой жизни.

Во многомъ это возвращеніе къ идеямъ 40-хъ годовъ. Опять идеали-

зируется мужикъ, опять народная жизнь съ ея общинно-земледѣльческими устоями созерцается, какъ нѣчто прекрасное, больше даже, чѣмъ прекрасное—какъ единственно праведная. Христіанская мораль, выросшая на идеяхъ служенія народу и расплаты съ нимъ, замѣняетъ мораль личности, стремящейся къ силѣ, т. е. къ полнотѣ саморазвитія и самоудовлетворенія.

Таковъ фактическій ходъ нашего литературнаго развитія вплоть до крушенія народничества и его идеаловъ, т. е. до 80-хъ годовъ. За весь этотъ долгій процессъ общинно-земледѣльческая Русь, со своимъ органическимъ стремленіемъ къ счастью, равенству и братству, со своимъ глубокимъ, такимъ естественнымъ и понятнымъ недовѣріемъ къ Западу, его наукѣ, служащей сильнымъ, его раціонализму, его идеѣ личнаго начала, высказалась цѣликомъ. Толстой подвелъ итоги, вскрылъ затаеннѣйшія думы пережитаго нами общинно-земледѣльческаго періода.

Послѣ него наступаетъ уже эра иной литературы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О нѣкоторыхъ моментахъ отдѣленія литературной личности отъ государства.

1. Литература государственная и академическая. — 2. Меценатство. — 3. Борьба съ крѣпостнымъ правомъ. Радищевъ. — 4. Сантиментализмъ. — 5. Романтизмъ. — 6. Броженіе философской мысли. Идея развитія. — 7. Скептицизмъ, сатира.

1. Литература государственная и академическая.

Въ этой главѣ я разсмотрю нѣсколько фактовъ нашего литературнаго прошлаго, чтобы указать главные моменты въ процессѣ отдѣленія литературной личности отъ государства.

1) При Петрѣ В., если не считать нѣсколько строкъ изъ сатиръ Кантеміра, литературы въ собственномъ смыслѣ слова нѣтъ. Недаромъ историки той эпохи говорятъ главнымъ образомъ о „Духовномъ регламентѣ", „Завѣщаніи" Татищева, книгѣ Посошкова, о проповѣдяхъ Прокоповича и т. д.—однимъ словомъ, о произведеніяхъ, не имѣющихъ къ искусству никакихъ „родственныхъ" отношеній. Литературы не было, было лишь „оправданіе воли монаршей", защита реформъ просвѣщенія. Государство и его жизнь представлялись единственно достойными предметами для писателей.

2) Послѣ Петра В., не теряя своего государственнаго характера, литература становится отчасти придворной, отчасти академической; на сцену выступаютъ одописаніе, ложно-классицизмъ, беззастѣнчивая лесть.

3) Мало-по-малу литература переходитъ въ руки средняго дворянства, гдѣ и остается въ теченіе цѣлаго столѣтія, все совершенствуясь, осложняясь, дорастая до Тургенева и Толстого.

4) За это время начинаетъ понемногу звучать голосъ разночинца-

интеллигента, этого случайнаго гостя русской исторіи. Въ лицѣ Полевого, Бѣлинскаго, журналистовъ-шестидесятниковъ этотъ разночинецъ-интеллигентъ завоевываетъ себѣ прочное мѣсто въ исторіи литературы.

Несомнѣнно, однако, что главнымъ дѣятелемъ нашей литературы вплоть до 80 годовъ XIX в. было наше дворянство, а главными ея „соціально-педагогическими“ условіями—дворянская помѣщичья среда, въ которой и перерабатывались умственныя движенія Запада.

Въ этой эволюціи есть нѣсколько характерныхъ фактовъ, которые можно отмѣтить, не вдаваясь въ подробности. Эти факты: 1) ничтожное развитіе духа покровительства, меценатства, что облегчало переходъ литературы въ „расколъ“; 2) упорное развитіе духа скептицизма, отрицанія; 3) общій процессъ отдѣленія литературы и, главнымъ образомъ художественной личности отъ государства.

Если мы приступимъ къ разсмотрѣнію русской литературы XVIII-го вѣка съ вопросомъ, что сдѣлала она для идеи свободы, то, разумѣется, найдемъ очень немногое, заслуживающее памяти.

Это прежде всего ученическіе годы, что совершенно естественно. Литература такой бѣдной и мало культурной страны, какъ Россія, подавленная и загипнотизированная богатствомъ чуть ли не сразу нахлынувшихъ на нее съ Запада идей, формъ, теорій, по необходимости играла роль „верблюда, покорно несущаго чужія тяжести“. Или, какъ говоритъ А. Н. Пыпинъ: „Цѣлый вѣкъ ушелъ на усвоеніе литературныхъ понятій и формъ, раньше невѣдомыхъ, на выработку языка, на усвоеніе классическаго и западно-европейскаго поэтическаго матеріала, которое впервые открывало путь къ самостоятельнымъ поэтическимъ опытамъ“.

Несмотря на это, есть все же намеки на литературный путь будущаго, есть подготовка къ нему, его предчувствіе. У литературы появляется постепенно стремленіе отойти въ сторону отъ официальной дороги и подъ видомъ сатиры, поученія начать свою критику окружающаго.

Только при Петрѣ В. она имѣетъ исключительный характеръ государственнаго служенія. Но этотъ характеръ, слѣды котораго видны, впрочемъ, долго, не закрѣпляется за литературой. Благодаря западному вліянію, въ ней рано можно различать признаки самостоятельной жизни, самостоятельнаго броженія. Мы знаемъ, что массонство, къ которому такъ или иначе прикосновенны всѣ просвѣщенные люди XVIII в., проповѣдуя христіанскія начала въ области взаимныхъ отношеній людей, сторонилось официальной церкви. Еще дальше отъ официальнаго мышленія

были идеи просвѣтительной философіи, естественнаго права, раціонализма, быстро вторгавшіяся въ литературу нашу.

Нечего, конечно, увлекаться и переоцѣнивать значеніе первыхъ моментовъ нашей литературной жизни. Всѣ эти идеи, всѣ эти направленія затрагивали лишь единицы. Читатель былъ случайностью; книги печатались въ самомъ незначительномъ количествѣ экземпляровъ[31]), или по цѣлымъ десятилѣтіямъ залеживались въ рукописи (напр., соч. Кантеміра, увидѣвшія свѣтъ лишь въ 1764 г.), но и эти намеки на „свой путь", на свою идею имѣютъ смыслъ; они создавали традицію, они указываютъ на стихійное стремленіе литературы.

2. Меценатство.

Не имѣя въ сущности никакой общественной почвы подъ собой, литература скоро перешла ко двору или заперлась въ стѣнахъ Академій. Но, къ счастью для нея, особаго на нее вниманія никто не обращалъ. Ее терпѣли, презирая, покровительствовали мало и неохотно. Меценатство не было въ нравахъ ни нашего двора, ни высшаго сословія.

Исторія русскаго меценатства должна начаться, повидимому, съ преданія о той „всемилостивѣйшей пощечинѣ", которую получилъ профессоръ элоквенціи Тредьяковскій, онъ же поэтъ, за свою торжественную оду отъ императрицы Анны. Затѣмъ, въ качествѣ мецената мы встрѣчаемъ Ив. Ив. Шувалова. Этотъ „вельможа" прикармливалъ около своего стола писателей и академиковъ, но, повидимому, смотрѣлъ на нихъ немного лучше, чѣмъ на шутовъ. Мы знаемъ, по крайней мѣрѣ, о томъ, какъ неприлично любилъ онъ натравливать другъ на друга Ломоносова и Сумарокова, доводя ихъ своими подстрекательствами чуть не до драки, или держа впроголодь въ своей прихожей несчастнаго Кострова. Къ чести нашей литературы надо сказать, что эти пошлыя забавы Шувалова вызвали полный достоинства протестъ со стороны Ломоносова въ его письмѣ къ забавнику. Другого мецената, хотя бы подобнаго Шувалову, назвать трудно. Русское вельможество по этой части было неподвижно и скупо. Отдаривалъ одописцевъ и риторовъ Потемкинъ, очень рѣдко Безбородко. Это вообще исключительные факты, и надо прямо сказать, что русская литература знала гораздо больше преслѣдованія, чѣмъ покровительства. Школа ея сурова, ее держали въ черномъ тѣлѣ.

Опасные размѣры покровительство могло принять при Екатеринѣ

[31]) Знаменитое „Путешествіе Радищева" было отпечатано въ 50 экземплярахъ. Число экземпляровъ опредѣлялось обыкновенно подпиской среди просвѣщенныхъ „покровителей".

Великой. У нея было несомнѣнное желаніе сосредоточить при своемъ дворѣ умственную и художественную жизнь „общества“.

Ее соблазнялъ Версаль, весь блескъ царствованія Людовика XIV-го, музы, окружающія тронъ. Она не жалѣла похвалъ и табакерокъ.

Но дѣло налаживалось лишь отчасти. Комнатная собачка нѣтъ-нѣтъ оскаливала зубы (Новиковъ, Фонвизинъ, Радищевъ)...

Раздражительной и самолюбивой императрицѣ все чаще приходилось обращаться за содѣйствіемъ къ тайной канцеляріи, гдѣ кнутобойца Шешковскій творилъ судъ и расправу

„Въ общемъ несомнѣнно, что въ ея царствованіе самое ничтожное просвѣтительное движеніе прерывалось, едва успѣвъ высказать нѣсколько мыслей, издать нѣсколько книгъ... Скоро наступили иныя заботы: дальніе раскаты французской революціи поставили поверхъ всего инстинктъ самосохраненія; прежніе сборы къ просвѣтительной и преобразовательной дѣятельности остались словами, факты пошли съ ними въ разрѣзъ: покровительница французскихъ идей предалась заботамъ о томъ, чтобы не дать проникнуть въ страну французскимъ принципамъ; старые боги были покинуты и преданы порицанію, бюстъ Вольтера былъ сосланъ изъ кабинета царицы въ подвалъ, и мыслящіе люди, заликовавшіе было при наступленіи „золотого“ вѣка, доживали его втихомолку, съ постояннымъ трепетомъ за свою цѣлость, „мучимые призракомъ Шешковскаго и видѣніями его пытокъ“. „Послѣ Екатерины В. меценатство становится дѣломъ случайнымъ и исключительнымъ[32])...

. . . . . .

„Литература состояла изъ отдѣльныхъ людей, кормившихся заказами государства и, рѣдко, подачками меценатовъ. Въ ихъ произведеніяхъ мы учились писать, и естественно, что больше всего насъ привлекали стихи, сочиненія которыхъ казалось дѣломъ и особенно труднымъ и наиболѣе литературнымъ. Цѣнили ихъ особенно потому, что давались они „въ нотѣ лица“. Писатель былъ пѣвцомъ по преимуществу. Онъ воспѣвалъ просвѣщеніе и заботы о немъ государства, воспѣвалъ самое государство, которое выражало въ его глазахъ Россію; онъ старался быть важнымъ, величественнымъ, старался гремѣть и изрекать. Читая его оды, намъ трудно представить его иначе, какъ въ напудренномъ парикѣ, въ мундирѣ и при шпагѣ. Самые стихи его одинаково напудрены и выступаютъ мѣрно и торжественно, будто на парадѣ. Тредьяковскій воспѣваетъ въ стихахъ Анну, пророчествуетъ торговый договоръ съ Японіей, Ломоно-

[32]) А. Веселовскій, l. c.

совъ—Елизавету, взятіе Хотина, науку и стекло, Сумароковъ—высокія чувства и союзъ съ Китаемъ...

Вплоть до сатирическихъ журналовъ, поэзіи Фонвизина и Державина, мы почти не видимъ художественной личности въ литературѣ. Эта личность не смѣетъ и не рѣшается говорить о себѣ. Она вся поглощена техническими трудностями, подобострастіемъ къ піитикѣ Буало и реторическимъ образамъ; идетъ она въ ногу съ правительствомъ, привѣтствуетъ его начинанія, восхваляетъ его гремящими фразами своей лирики и стоитъ передъ нимъ вытянутая, напудренная, чаще всего подобострастная.

„Извѣстно, говоритъ А. Н. Пыпинъ, что обширная, даже наибольшая часть тогдашней литературы, насколько она касалась современной жизни государства и общества, была наполнена безусловнымъ панегирикомъ, нерѣдко терявшимъ всякую мѣру вѣроятія, доходившимъ до той степени лести, которую авторитетный историкъ литературы назвалъ прямо пресмыкательствомъ“ [33]).

Но, очевидно, „сильные міра сего“ и государство такъ мало нуждались въ литературѣ, что даже пресмыкательство не дѣйствовало на нихъ. Литература была предоставлена или самой себѣ, или тайной канцеляріи.

3. Борьба съ крѣпостнымъ правомъ. Радищевъ.

Несомнѣнно, однако, что на литературномъ горизонтѣ этого времени начинаетъ свѣтить освободительная идея. Правда, эпоха Екатерины не только не рѣшила вопроса о крѣпостномъ правѣ, но фактически даже усилила этотъ институтъ; все же вопросъ былъ поставленъ, и прежде всего самой Екатериной В. Оставляя въ сторонѣ всю пестроту отвѣтовъ, полученныхъ на него, скажемъ нѣсколько словъ о главнѣйшемъ, чего достигло въ этомъ смыслѣ русское самосознаніе.

Я имѣю въ виду знаменитую книгу Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ (1790 г.).

Радищевъ выросъ на западно-европейскихъ идеяхъ—это конечно. Очень нетрудно, какъ это давно уже и сдѣлано, отмѣтить на его книгѣ вліяніе Стерна, Руссо, Мабли, Гельвеція и т. д. Въ свое время онъ увлекался естественнымъ правомъ и повторилъ нѣкоторыя изъ его положеній, въ родѣ того, что гражданинъ имѣетъ право самозащиты, что всѣ люди равны и никто не родится ни рабомъ, ни господиномъ.

Смыслъ его „Путешествія“—возстаніе на крѣпостное право. Озна-

---

[33]) А. Н. Пыпинъ, „Исторія“. Т. IV, гл. 1-я.

ѣомившись съ книгой, Екатерина В. замѣтила, что здѣсь Радищевъ „надежду полагаетъ на бунтъ отъ мужиковъ". Это не совсѣмъ такъ. Надежды на бунтъ отъ мужиковъ Радищевъ не полагалъ, но, разочарованный въ „добрыхъ" чувствахъ помѣщиковъ, онъ дѣйствительно высказалъ предположеніе, что „свободы не отъ ихъ помѣщиковъ ожидать должно, а отъ самой тяжести порабощенія"...

Это замѣчаніе почти случайно, но, на ряду съ другими мѣстами книги, оно даетъ возможность утверждать, что Радищевъ былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ русскихъ людей, на которыхъ бунтъ Пугачева произвелъ должное впечатлѣніе.

Въ то время, какъ этотъ бунтъ заставилъ большинство вопить о мѣрахъ строгости, въ значительной степени охладилъ либерализмъ Екатерины, Радищева, какъ человѣка достаточно умнаго и вдумчиваго, онъ побудилъ всмотрѣться въ дѣйствительность жизни, вызвавшую это страшное движеніе массъ, и оправдать его. Положеніе крѣпостныхъ онъ призналъ невыносимымъ. Больше—онъ опять-таки едва ли не первый оцѣнилъ размѣры зла, которое ведетъ за собою крѣпостной строй.

Онъ правдивъ и называетъ вещи своими именами.

„Звѣрскій обычай, говоритъ онъ, порабощаетъ подобнаго себѣ человѣка, знаменующій окаменѣлое сердце и совершенное отсутствіе души, простерся по лицу земли быстротечно, широко и далеко; и мы, сыны славы, мы, именемъ и дѣлами прославленные, восприяли сей обычай: и, къ стыду нашему и къ стыду нашего времени, сохранили его нерушимо даже до сего дня"...

Эпиграфомъ къ своей книгѣ онъ взялъ стихъ изъ Телемахиды: „чудище обло, огромно, озорно, стозѣвно, стоязычно и лаяй". Такимъ именно чудищемъ и представлялось ему крѣпостное право.

Правдивость нарисованныхъ имъ картинъ должны были признать самые пристрастные критики. Екатерина, въ глазахъ которой Радищевъ былъ едва ли не мартинистъ и хуже Пугачева, отмѣчаетъ, однако, на поляхъ главы „Клинъ": „Едва ли не гисторія Александра Васильевича Салтыкова". То же самое дѣлаетъ и Пушкинъ, который одно время былъ сильно настроенъ противъ „Путешествія".

Радищевъ понимаетъ въ то же время, что тяжесть крѣпостного права падаетъ не на однихъ крестьянъ, а и на помѣщиковъ, на весь государственный и общественный строй.

У него есть уже намекъ на извѣстную мысль Герцена: „Мы рабы, потому что мы—господа; мы крѣпостные, потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братій". Онъ говоритъ по существу то же самое, говоритъ о проклятіи рабства для самихъ рабовладѣльцевъ.

Къ этимъ послѣднимъ онъ обращается съ страстнымъ воззваніемъ и призывомъ:

„Отверзите темницу неволи и дайте подобнымъ вамъ вкусити сладости общежитія, къ нему же Всещедрымъ уготованы, яко же и вы. Они благодѣтельными лучами солнца равно съ вами наслаждаются, одинаковые съ вами у нихъ члены и чувства и право въ употребленіи оныхъ должно быть одинаково"...

Впрочемъ, онъ самъ прекрасно понимаетъ, что разсчитывать на разумъ и доброе сердце помѣщиковъ нечего.

Самъ же онъ полонъ жалости и состраданія. „Я взглянулъ вокругъ меня, пишетъ онъ, душа моя страданіями человѣческими уязвлена стала; обратилъ взоры во внутренность мою и узрѣлъ, что бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка же"... Когда онъ говоритъ о положеніи крѣпостныхъ, о ихъ нищетѣ, обидахъ, рекрутчинѣ, непосильномъ трудѣ, онъ находитъ яркія краски и сильныя слова. Часто онъ настоящій поэтъ.

Но главное, что тотъ самый пугачевскій бунтъ, который совершенно безслѣдно прошелъ для большинства или повелъ лишь къ воплямъ объ усиленіи строгостей, вызвалъ у Радищева защиту крѣпостныхъ... Изъ условій крестьянской жизни постарался онъ объяснить его. И въ этомъ, кажется, причина, почему его книга интересна для насъ и теперь. Мы видимъ въ ней интеллигентную мысль, идущую рука объ руку съ стремленіемъ народныхъ массъ. Не „счастливыми поселянами", не бутафорской толпой, присутствующей на всенародныхъ торжествахъ, не смиренными рабами, благословляющими своихъ господъ, а нищими, голодными и въ глубинѣ души озлобленными на невыносимую тяжесть порабощенія, постоянно готовыми на попытку вернуть свою свободу представлялись Радищеву крестьяне. Огненными буквами вписалъ онъ въ нашу литературу повѣсть о ихъ страданіяхъ, оправдалъ ихъ злобу и месть: у него, очевидно, были глаза, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать. Нужны были еще долгія десятилѣтія, чтобы русская мысль поднялась на ту же высоту, какой она уже достигла въ Радищевѣ, и поставила вопросъ объ освобожденіи крестьянъ во главу своихъ заботъ и думъ.

Книга Радищева въ смыслѣ общественнаго самосознанія—высшее, что оставила намъ литература XVIII в. Въ ней и соображенія о народной пользѣ, и признаніе естественнаго для гражданина права самозащиты, и чувство дѣйствительности, и мысль о равенствѣ людей, и печаль человѣка, пораженнаго страданіями ближнихъ, и страстный призывъ къ жалости, и угрозы местью со стороны угнетенныхъ [34])...

[34]) О Радищевѣ: М. Сухомлиновъ, статьи и изслѣдованія, т. I и В. Мякотинъ, „На зарѣ русской общественности".

Въ вѣкъ Екатерины литература выступаетъ на путь сатиры, скептицизма, борьбы съ крѣпостнымъ правомъ.

Весь смыслъ философскаго, литературнаго и артистическаго развитія Запада Ренанъ видитъ въ стремленіи къ полной автономіи личности, къ тому, чтобы освободить все человѣческое въ человѣкѣ и разрѣшить его отъ всѣхъ узъ.

Имѣя рядомъ съ собой такой огромный источникъ лучшихъ идей, лучшихъ вдохновеній, литература могла спокойно итти по намѣченной ею дорогѣ скептицизма и отрицанія. Правда, ее преслѣдовали, ей грозили разными Шешковскими, но вѣдь это слишкомъ узко думать, что всякое преслѣдованіе и во всякое время одинаково вредно.

Развѣ не оно, какъ это ежеминутно показываетъ исторія, выковываетъ души людей? Развѣ не оно создаетъ легенды, утверждаетъ традицію борьбы, мученичества и подвижничества за идею? Развѣ не оно выливается въ требованіе самаго строгаго отношенія къ себѣ, къ печатному слову?

Посмотрите на общій суровый тонъ русской литературы, на ея ригоризмъ, на ея прямо цѣломудренное и стыдливое отношеніе „къ краснымъ вымысламъ“, и вы скажете: да, она выросла въ тяжелой обстановкѣ; у нея есть свои житія святыхъ, свои воспоминанія о подвижникахъ и мученикахъ. У нея есть та высота требованій къ себѣ, „которая создается только борьбой и преслѣдованіемъ. Она, очевидно, не знала подкупа“... И на самомъ дѣлѣ она въ широкихъ размѣрахъ, по крайней мѣрѣ, никогда не знала его. На нее вліяли угрозами: она вынесла всѣ ужасы произвола; но ей не платили, ее не брали на содержаніе, ее не развращали подачками, не пытались даже сдѣлать изъ нея блудницу.

Самонадѣянное, гордое своимъ каменнымъ величіемъ государство смотрѣло на нее пренебрежительно, презирая всю пишущую братію безъ исключенія, никогда даже не пытаясь отдать себѣ отчетъ въ огромной власти литературнаго слова. Оно раздражалось не только отъ порицаній печати, хотя бы самыхъ ничтожныхъ, но и отъ ея похвалъ, хотя бы самыхъ льстивыхъ и неумѣренныхъ. И то и другое въ одинаковой степени казалось ей недостаткомъ почтительности, дерзостью. Оно не заискивало, а дѣйствовало лишь страхомъ и угрозами, „такъ сказать, въ разсыпную, иногда попадая, иногда минуя больное мѣсто“. Оттого-то литература въ истинномъ смыслѣ этого слова всегда обращалась къ обществу, а не къ сильнымъ міра сего[35]).

Это ея огромный плюсъ.

---

[35]) Конечно, къ гласности эти разсужденія не относятся.

Согласимся, во всякомъ случаѣ, что такое отношеніе ни въ какомъ смыслѣ не способно улучшить отношеніе литературы къ офиціальной жизни. Это плохой знакъ, если возмущаются люди, какъ Карамзинъ. А и Карамзинъ въ свое время называлъ цензуру „чернымъ медвѣдемъ, стоящимъ поперекъ дороги“...

Поэтому-то, быть можетъ, этотъ процессъ отдѣленія личности отъ государства, переходъ ея къ сатирѣ, отрицанію, протесту и гнѣву начался очень рано, и въ нашей литературѣ онъ выразился особенно рельефно и ярко. Я прослѣжу его въ общихъ чертахъ.

Начну съ забытаго и малаго—съ сантиментализма.

4. Сантиментализмъ.

„Чувствительная повѣсть орошаетъ сердце читателя пріятными слезами“, говоритъ въ одной изъ своихъ статей Карамзинъ, и къ этому поразительно точному опредѣленію мало что можно прибавить. Сантиментализмъ дѣйствительно плаксивъ. Объ Эрастѣ, героѣ повѣсти „Чувствительный и холодный“, мы читаемъ: „онъ скоро примѣтилъ въ себѣ какое-то чудесное расположеніе къ меланхоліи: задумывался, унывалъ и радъ былъ, когда могъ плакать“, или: „Эрастъ послѣ измѣны жены недѣли двѣ плакалъ, недѣли двѣ скитался одинъ по окрестностямъ города“, еще: „Эрастъ любилъ сидѣть съ нею у камина и читать ей французскіе романы. Иногда они плакали вмѣстѣ, какъ дѣти“; наконецъ: „въ иступленіи горести онъ каждый день ходилъ обливать слезами гробъ Каллисты“. Это обиліе слезъ прямо поразительно и у Карамзина и у всѣхъ его послѣдователей. Мокры отъ слезъ лица героевъ и страницы книги. Такъ (еще примѣры), въ повѣсти И. Свѣчинскаго „Украинская сирота, истинная повѣсть“ нѣкій безпутный майоръ „насильно выдаетъ свою дочь, Наташу, замужъ за развратнаго щеголя Евгенія, несмотря на любовь Наташи къ молодому малороссіянину Петру, который гдѣ-то служитъ чиновникомъ. Наташа въ отчаяніи, мужъ проигрываетъ все, пускается во всѣ распутства; его сажаютъ въ тюрьму и отправляютъ на поселеніе. Петръ сходитъ съ ума отъ измѣны своей возлюбленной и умираетъ; она также умираетъ, узнавъ объ его смерти; майоръ ежедневно льетъ слезы на могилѣ своей дочери“.

„Бѣдная Лиза“ Карамзина сама много плакала, но еще больше плакали читатели.

„Все содержаніе сантиментальныхъ повѣстей... направлено къ тому, чтобы тронуть сердце читателей, заставить ихъ проливать слезы... Извѣстная степень трагизма считается здѣсь неизбѣжной; отсюда различ-

ныя проявленія душевныхъ страданій, проливаніе слезъ, обмороки, иногда двухдневные, и пр. Для того, чтобы житейскія заботы не мѣшали героямъ и героинямъ предаваться въ волю своимъ чувствамъ и страданіямъ, они въ большинствѣ случаевъ выбираются вполнѣ обезпеченными въ матеріальномъ отношеніи. На сцену выведены графы, бароны, даже князья, и они всѣ богатые люди. Дѣйствіе происходитъ въ столицѣ, среди моднаго свѣта или, по крайней мѣрѣ, въ губернскомъ городѣ; если герои и героини удаляются въ свои усадьбы, то развѣ для того, чтобы насладиться счастьемъ любви среди полнаго уединенія, а также для воздыханія и пролитія слезъ, хотя видъ природы еще болѣе увеличиваетъ ихъ меланхолію“ (Н. Бѣлозерская „В. Нарѣжный“, стр. 59).

Въ сантиментализмѣ чувствуются какіе-то отзвуки массонства о равенствѣ людей—могучихъ мыслей Руссо, его восторговъ передъ природой,—но больше всего въ немъ литературничанья, искусства „орошать сердце пріятными слезами“. Пріятными, потому что это слезы грусти, меланхоліи, легкаго разочарованія въ жизни, легкихъ упрековъ непрочности человѣческаго счастья. Конечно, отъ Руссо въ русскомъ сантиментализмѣ осталось мало: какъ горный потокъ, промчавшись и пробурливъ черезъ всю Европу, они затерялись въ нашихъ лѣсахъ и болотахъ. Но все же въ этихъ мокрыхъ отъ слезъ повѣстяхъ чувствуется совсѣмъ новое для нашей литературы признаніе за человѣкомъ права жить своею интимной жизнью, итти своей дорогой, а не только туда, „куда зоветъ отечество“ или куда посылаетъ начальство. Литература впервые заинтересовалась „интимнымъ“ и стала источать слезы вмѣсто прежнихъ парадныхъ чувствъ... Заинтересовавшись интимнымъ, сама литература стала интимнѣе, ближе къ человѣку, и заговорила съ нимъ хотя и вычурно, но объ обыкновенныхъ вещахъ—объ измѣнахъ любви и дружбы и о печали „вечернихъ лучей“. Послѣ почти что офиціальныхъ реляцій въ стихахъ о побѣдахъ и одолѣніяхъ, или объ успѣхахъ наукъ; послѣ той поэзіи, гдѣ восторги гремѣли въ одахъ, а чувства и мысли трубили въ героическихъ поэмахъ; послѣ произведеній, гдѣ всѣ эти восторги, чувства и мысли являлись (за исключеніемъ развѣ Державина) одѣтыми въ парадные мундиры, въ треуголкахъ и при шпагѣ,—въ сантиментальной литературѣ чувствуется какой-то шагъ впередъ.

Скорѣе даже—только предчувствіе и намекъ...

5. Романтизмъ.

Все съ той же необходимой и скучной оговоркой, что западно-европейскія теченія мысли передавались намъ обыкновенно изъ вторыхъ или третьихъ рукъ, и очень мало отвѣчали органическому росту нашей мысли, переходимъ и къ русскому романтизму.

На Западѣ онъ широкъ, смѣлъ, размашистъ. Тамъ онъ непосредственно примыкаетъ къ возстанію человѣческой личности и новому промышленному строю, завладѣвшему позиціей и въ Англіи и во Франціи. Тамъ—личность освобождается, и отсюда романтизмъ искусства.

„Личность освобождается. Не довольствуясь пребываніемъ въ мѣстѣ, указанномъ случаемъ или рожденіемъ, не удовлетворяясь обработкой унаслѣдованнаго клочка земли, человѣкъ при наступленіи демократіи впервые чувствуетъ въ буквальномъ смыслѣ слова міръ открытымъ для себя... Сразу кажется, какъ будто все сдѣлалось возможнымъ, и какъ будто самое слово „невозможность“ утратило всякій смыслъ. Но въ то самое время, когда возможность достиженія такимъ образомъ возросла, силы не возросли въ той же степени: изъ сотни тысячъ людей, передъ которыми открылись такимъ неожиданнымъ образомъ карьеры, лишь одинъ, можетъ быть, былъ въ состояніи достичь желанной цѣли; а кто возьмется увѣрить человѣка, что не ему именно и суждено быть этимъ избранникомъ? Разнузданная меланхолія является естественнымъ послѣдствіемъ разнузданнаго желанія. А къ великой, бѣшеной скачкѣ на призы и не всякій безъ исключенія имѣетъ доступъ: ...И въ то время, когда все кажется возможнымъ, все кажется и дозволеннымъ вмѣстѣ съ тѣмъ. На каждый запретъ у него готовъ отвѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ является и страшнымъ вопросомъ—началомъ всякаго человѣческаго знанія и человѣческой свободы,—вопросомъ „почему“. Отсюда или негодованіе или меланхолія“ (Брандесъ).

Личность освобождается.

„La carrière est ouverte aux talents“—„карьера открыта для талантовъ“, говоритъ Наполеонъ, и этой самоувѣренной фразой какъ бы открываетъ XIX-ое столѣтіе. Любопытны съ этой точки зрѣнія его приказы по арміи—настоящая литература эпохи и, еще лучше, молодого общества, только что побѣдившаго средніе вѣка и его королей и бароновъ, его заставы и сословныя перегородки. Въ этихъ приказахъ говорится прежде всего о славѣ и даже только о славѣ, богатствахъ, добычѣ. „Солдаты, сорокъ вѣковъ смотрятъ на васъ съ высоты пирамидъ“, писалъ Наполеонъ. Впереди всего—открытое для карьеры и славы необозримое

полѣ, впереди человѣческое „я“, которое можетъ все смѣть и всего ждать. Самъ Наполеонъ—живое осуществленіе этого „я“. Отсюда эти короткія, точно сосредоточившія въ себѣ упрощенную мораль эпохи, это „osez“ (смѣйте), это глубокомѣщанское, но эффектное „enrichissez vous“ (обогащайтесь). Сколько энергіи, самоувѣренности, предпріимчивости появилось въ жизни: все, что таилось въ человѣкѣ, вышло, освобожденное, наружу и искало своего воплощенія...

И оно воплотилось прежде всего въ романтизмѣ. Романтизмъ это воистину XIX в., не сознавшій еще себя цѣликомъ и какъ-то странно переплетающійся съ образами и идеями средневѣковья.

Здѣсь въ романтизмѣ „личность“, человѣческое „я“ на первомъ планѣ, но личность гипостазированная, обожествленная. Выше ея нѣтъ ничего. На этомъ „я“ Фихте строитъ свою философію; Новалисъ прямо говоритъ: „Помни, что когда ты дотрогиваешься до руки человѣка, ты дотрогиваешься до колонны храма, въ которомъ живетъ божество“... Это „я“ кумиръ, фетишъ, одаренный несравненнымъ могуществомъ, въ которомъ все важно, все интересно и, прежде всего, законно, *все имѣетъ право на существованіе*.

Но романтизма, какъ философскаго или общественнаго движенія, мы, русскіе, почти не знали. Въ русской жизни есть много такого, отчасти скуднаго и нелѣпаго, отчасти быстро отрезвляющаго людей, что смѣшны заоблачныя грезы и полетъ фантазіи въ безпредѣльность. Для насъ романтизмъ прежде всего *школа, великолѣпная литературная школа*.

На Западѣ, особенно во Франціи, романтизмъ былъ возстаніемъ противъ Буало, ложно-классицизма, старыхъ и смѣшныхъ „теорій искусства“, образовавшихся въ дни париковъ и пудры при дворахъ королей... Настали другія времена...

Революція въ области техники разрушила старое хозяйство, позитивизмъ смѣло выступилъ противъ метафизики и самоувѣренно причислилъ ее къ пережиткамъ; дѣйствительность вступала въ свои права, что отразилось прежде всего на прямо невѣроятныхъ успѣхахъ исторической науки въ лицѣ Нибура, Гизо, Тьера... Чтобы выдѣлить изъ своей среды Бальзака и Жоржъ-Зандъ, а затѣмъ и реализмъ, романтики должны были прежде всего подчиниться духу нашего времени. Что взяли они у него? Они взяли оттуда идею прогресса и всеобщей измѣняемости, осмѣлились на борьбу съ авторитетами, кодексами и правилами, провозгласили полную свободу генія, обоготворили личность и почувствовали жажду дѣйствительной правды жизни.

Они говорили: „Если дѣйствительность измѣняется безпрестанно, какъ все человѣческое и жизненное, искусство должно слѣдовать за нею

въ ея безпрерывномъ измѣненіи, и очевидно, что античныя, въ сущности псевдо-классическія, правила вкуса должны быть замѣнены другими и отождествиться съ новыми привычками и новыми идеями".

Это какъ бы предчувствіе величайшей идеи XIX вѣка—идеи эволюціи. Отсюда прямой выводъ:

„Долой критику, дѣлающую изъ Парнаса вторую Сорбонну, долой Буало со всѣми его правилами; долой Comedie française, которая должна была поддерживать классическую трагедію по данной ей королемъ привилегіи; долой институтъ, академію—„святилище законовъ", и кодексъ, ихъ излагающій" [36]).

Какіе на самомъ дѣлѣ нужны правила и кодексы, когда существуетъ г е н і й человѣка, создающій каждый разъ свои правила и свои кодексы?

„Вы не заставите, говорили романтики, ни одного изъ геніевъ ждать на порогѣ: не считаясь со школами и партіями, подобно истинѣ, они выше всѣхъ системъ. Всѣ системы ложны, одинъ геній содержитъ въ себѣ истину".

Въ этой анархистской, дерзновенной теоріи искусства, сущность которой въ отрицаніи какихъ бы то ни было теорій, лучше всего сказались самоувѣренность и юность „личнаго начала". Это была литературная революція, бунтъ, производившійся съ веселіемъ сердца, и всѣ, большіе и малые, затронутые духомъ новаго времени, присоединились къ нимъ...

„Не надо стѣсняться ни правилами, ни кодексами". Садясь за письменный столъ, надо начать съ проклятія по адресу Буало, напудренныхъ париковъ и трехъ единствъ, и вспомнить объ „Эрнани" Гюго, „M-lle Monpin" Готье, „Ролла" Мюссе. Надо говорить, не стѣсняясь, о всемъ, что тебя въ данную минуту интересуетъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, къ какому роду—возвышенному или низменному—принадлежитъ вдохновившая тебя тема. Пусть этотъ „родъ" будетъ низменнымъ изъ низменныхъ. Это лишь слова. Въ концѣ концовъ, „в с е, к а с а ю щ е е с я ч е л о в ѣ к а, д о с т а т о ч н о в ы с о к о и з а с л у ж и в а е т ъ п о э з і и"...

Это расширеніе вкуса объясняется, разумѣется, тѣмъ, что среди читателей появились другіе, одинаково „расширенные" люди, признававшіе, что ничто человѣческое имъ не чуждо, и далекіе отъ всякихъ условностей, отъ всякаго этикета. Опираясь на нихъ, Гюго создалъ свою юную славу, Мюссе могъ безъ конца разсказывать о своихъ страданіяхъ, жаловаться на свою тоску и скуку, на свое одиночество, Сентъ-Бевъ

---

[36]) См. Пти де Жюльвиль, „Французская литература".

рѣшился воскресить старыхъ писателей „сереорянаго вѣка“—эту французскую вольницу, пожалуй, еще болѣе далекую отъ Корнеля, Расина и Буало, чѣмъ сами романтики.

Благодаря своему духу свободы, своей борьбѣ съ авторитетами и кодексами, тому простору, который онъ предоставлялъ личности и личному творчеству и, наконецъ, тому чувству жизненной правды, которое не покидало его въ самыхъ сумасбродныхъ увлеченіяхъ средневѣковой легендой, романтизмъ восторжествовалъ. Своимъ молодымъ духомъ, своими смутными, но могучими порывами въ область мечтательнаго будущаго, своимъ обоготвореніемъ человѣка онъ какъ нельзя лучше подходилъ къ настроенію молодого, только что освободившагося отъ путъ средневѣковья общества. Несмотря на воспринятый имъ въ себя потокъ тоски и жалобъ, онъ все же чудный памятникъ огромнаго, массоваго вдохновенія.

Онъ красивъ, какъ рабъ, осмѣлившійся сказать дерзость и заявить о правахъ человѣка. Онъ взялъ подъ свою защиту и ввелъ въ кругъ своихъ интересовъ всѣхъ людей, большихъ и малыхъ, дурныхъ и хорошихъ, всѣ времена и всѣ народы, всѣ страсти, низменныя и высокія, и этимъ побѣдилъ. Вы чувствуете въ немъ силу, огромную силу, и притомъ не отдѣльныхъ лицъ и отдѣльныхъ дарованій (когда ихъ не было?), а, повторяю, массоваго вдохновенія. Въ немъ вы видите, что европейскіе народы на самомъ дѣлѣ вступили на новый путь въ полной увѣренности, что онъ-то, наконецъ, истинный, что онъ-то приведетъ къ торжеству счастья, добра, справедливости. Своимъ духомъ свободы онъ раздвинулъ границы искусства до тѣхъ предѣловъ, за которые не смѣетъ заглядывать не только разумъ человѣка, но и его вдохновеніе. И конечно, какъ все сильное, какъ все мощное, какъ все созданное юностью духа, онъ былъ проникнутъ мессіанизмомъ. Онъ мечталъ о возрожденіи человѣчества. Въ самый короткій промежутокъ времени онъ выдвинулъ на сцену такихъ утопистовъ, какъ Сенъ-Симонъ и его ученики, какъ Контъ („Politique positive“), какъ Фурье, Леру, Кабэ, Жоржъ-Зандъ. Онъ вдохновилъ и далъ новую силу стремленія всему, къ чему онъ ни прикасался,—столько же политикѣ, сколько женскому вопросу. Не писателями и не ораторами, не политиками или поэтами считали себя романтики.

Они мѣтили выше, и въ своихъ собственныхъ глазахъ были жрецами новаго міра, новаго человѣчества. Даже спокойный и ничуть не поэтически настроенный Лавровъ отмѣчаетъ эту, такъ хорошо завершающую характеристику романтизма, его черту: „Романтизмъ, говоритъ онъ, пытается въ работѣ мысли вообще, въ формахъ культуры и въ самомъ творчествѣ общественныхъ формъ доставить преобладаніе элементу эстетическому, создать изъ поэтовъ и художниковъ новое свѣтское духовенство, продолжающее въ новомъ обществѣ ту роль, которую романтики

приписывали въ своемъ воображеніи пророкамъ и магамъ давно минувшаго времени[37]).

Романтизмъ перебросился къ намъ своимъ стремленіемъ къ литературной свободѣ и своимъ возстаніемъ личности противъ общества. Были и совершенно случайные, чуждые намъ мотивы (особенно въ поэзіи Жуковскаго) о всякой чертовщинѣ, рыцаряхъ, но если они и подкупали, то не смысломъ, а только формой...

Значеніе романтизма, какъ литературной школы, велико. Вся тяжеловѣсная, напыщенная, ложно-классическая литература наша сошла со сцены подъ его натискомъ. Жуковскій, Пушкинъ и Лермонтовъ, Баратынскій, Полежаевъ, Батюшковъ, Веневитиновъ, Рылѣевъ, Бестужевъ-Марлинскій—вотъ плеяда нашихъ романтиковъ. Романтизмъ на самомъ дѣлѣ освободилъ литературную личность отъ ига теоріи, онъ внушилъ ей безмѣрность желаній, сознаніе своей самоцѣнности, призналъ святость любви, законность личныхъ страстей, заговорилъ о чувственности.

Все это шло противъ „офиціальнаго“ и по мѣрѣ силъ боролось съ нимъ...

Установленный взглядъ на романтизмъ сводится къ слѣдующему: „1812-ый годъ былъ моментомъ пробужденія второго русскаго культурнаго слоя—средняго дворянства, и двухлѣтняя заграничная война тотчасъ привела этотъ слой въ непосредственное соприкосновеніе съ Западомъ, но уже не съ Западомъ пудры и фижмъ, а съ Западомъ романтики“. „Мы вернулись домой не завоевателями, а завоеванные духовно, пристыженными за свою отсталость... Немудрено, что мы привезли съ собой только одну сторону двойственной натуры романтизма, его, такъ сказать, оппозиціонную струю, и что изъ всѣхъ его представителей всего болѣе плѣнилъ наше воображеніе Байронъ“...

Въ центрѣ движенія, какъ источникъ его силы, ставится 12-ый годъ. Патріотическій подъемъ, громкія фразы, самодовольство продержались недолго. Мысль стала бродить, искать и, встрѣтивъ въ жизни только крѣпостное право, только Аракчеева и его военныя поселенія, только Голицына съ его ханжествомъ и Магницкаго съ его доносами, дошла до политической „утопіи“ декабристовъ, конституціи Пестеля, проекта временнаго правительства со Сперанскимъ, Ермоловымъ и Мордвиновымъ во главѣ...

Рылѣевъ пишетъ свои „Думы“, называетъ себя не поэтомъ, а гражданиномъ, старается разъяснить „истинный патріотизмъ“, видя его въ безкорыстномъ служеніи родинѣ и ея свободѣ; Пушкинъ—свои эпи-

[37]) Слова Арнольди (П. Лаврова).

граммы, летучіе и острые свои стихи и поэмы, въ которыхъ бьетъ ключемъ сила и молодость, зовущія куда-то въ сторону, вдаль отъ этой сѣрой, жестокой, выравненной капралами и фельдфебелями казенной жизни. „Не вѣчный для временъ—я вѣченъ для себя“, гордо говоритъ Баратынскій. Князь Одоевскій таинственно и смутно начинаетъ философствовать „отъ нѣмецкаго идеализма“. Литература захотѣла сильныхъ страстей, сильныхъ личностей, героевъ... Ихъ не было рядомъ, стали искать ихъ на Кавказѣ, въ легендахъ западнаго рыцарства, даже въ преданіяхъ Литвы и балтійскаго побережья возлѣ Ревеля (Бестужевъ).

Самозаконность личности—излюбленный и самый дорогой мотивъ романтизма, то и дѣло рядившійся въ демоническіе наряды или въ свою неудовлетворенность дѣйствительностью, свою разочарованность.

Рядомъ съ этимъ особый взглядъ на поэта, какъ на жреца, пророка. „Ты царь, говоритъ ему Пушкинъ, живи одинъ“.

Все это очень близко къ тому, что дѣлалось на Западѣ, часто это дословный переводъ.

Есть, однако, своеобразныя черты. Достоевскій, напр., пишетъ очень любопытную страницу на тему о томъ, что въ сущности никакого романтизма у насъ не было, что въ самыя необузданныя минуты своей романтической фантазіи русскій человѣкъ оставался прежде всего человѣкомъ дѣйствительности. А остальное все случайное, наносное[38]).

Герценъ говоритъ о гражданской скорби, замѣтной и ясной съ первыхъ же шаговъ нашего литературнаго развитія.

„Грусть, скептицизмъ, иронія—вотъ три главныя струны русской лиры. Когда Пушкинъ начинаетъ одно изъ лучшихъ своихъ твореній стихами:

Всѣ говорятъ—нѣтъ правды на землѣ...
Но правды нѣтъ и выше;
Мнѣ это ясно какъ простая драма...

не сжимается ли у васъ сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствіе разбитое существованіе человѣка, уже привыкшаго къ страданію?“

„Лермонтовъ, въ своемъ глубокомъ отвращеніи къ окружавшему его обществу, обращается къ своимъ современникамъ съ своимъ страшнымъ: „Печально я гляжу на наше поколѣнье, его грядущее иль пусто, иль темно“.

---

[38]) Еще: „Наша романтика очень скоро отбросила отъ себя все далекое, сверхъестественное, чтобы заняться близкою современной жизнью и сюда перенести конфликтъ между сильною личностью и пошлостью общественной среды. Таковы два крупнѣйшихъ произведенія нашего романтизма: „Онѣгинъ“ и „Герой нашего времени“ (К. Головинъ, „Русскій романъ“, 43).

„Я знаю только одного современнаго поэта, съ такою же мощью затрогивающаго мрачныя стороны души человѣческой. Это также поэтъ, родившійся въ рабствѣ и умершій прежде освобожденія отечества. Это пѣвецъ смерти—Леопарди, которому міръ казался громаднымъ союзомъ преступниковъ, безжалостно преслѣдующихъ горсть праведныхъ безумцевъ"...

Гораздо грубѣе ту же мысль выразилъ послѣ одинъ изъ нашихъ публицистовъ, который увѣрялъ, что всѣ Алеко, Рудины и вообще скитальцы романтизма бѣжали въ цыганскій шалашъ, на парижскія баррикады, въ вымыслы и въ полеты фантазіи, чтобы быть подальше „отъ Держиморды".

Общественные мотивы, конечно, есть у нашей литературы въ ея романтическомъ періодѣ. Такія вещи, какъ „Думы" Рылѣева или его же стихотворное проклятіе временщику (Аракчееву), какъ „Деревня" Пушкина, какъ „Дума" Лермонтова (его же на 1-ое января), говорятъ намъ о соціальной подпочвѣ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, если вспомнить, что борьба съ крѣпостнымъ правомъ дала литературѣ нашей организующую идею, а хронологически центральный моментъ романтизма совпадаетъ съ „бунтомъ" декабристовъ. Кромѣ того, не забудемъ, что Рылѣевъ, Бестужевъ-Марлинскій, Кюхельбекеръ—сами декабристы. Однако, роли этихъ общественныхъ мотивовъ преувеличивать не надо.

Нашъ романтизмъ печаленъ и красивъ. Но въ его печали больше всего слышится трагическая нота міровой, а не гражданской скорби, его красота въ этой жаждѣ расширенія личной жизни и преклоненіи передъ свободой искусства или художника-жреца, а не въ политическихъ мечтахъ... Западъ взвинтилъ нашу „личность", ея идею; геній Пушкина и Лермонтова оправдалъ и узаконилъ эти, иначе смѣшные, полеты грузнаго русскаго духа вслѣдъ за Шиллеромъ и Байрономъ... Личность впитала обаяніе свободы, прежде всего с в о е й свободы, конечно. Вмѣстѣ съ Алеко хотѣла она бѣжать въ цыганскій таборъ отъ культурнаго общества, вмѣстѣ съ „демономъ" бросить вызовъ божеству. Она не уставала говорить о своей неудовлетворенности и непримиреніи, она сознала трагизмъ жизни, какъ борьбу генія съ пошлостью. Гордость, обоготвореніе сильнаго человѣка и великой поглощающей страсти, культъ Наполеона и художественнаго творчества, пренебреженіе и гнѣвъ къ тупому самодовольству офиціальной жизни—ея мотивы...

Какой красивый, гордый, даже грозный тонъ въ иныхъ стихахъ Пушкина, какъ смѣлъ онъ въ своихъ великолѣпныхъ эпиграммахъ! Это былъ человѣкъ такъ далекій отъ казенной мысли, какъ это только возможно.

Вспомните объ его ноше̊ніяхъ къ Бенкендорфу и Дуббельту, о его

цензурныхъ и иныхъ непріятностяхъ, а больше всего, конечно, о глубокочеловѣческомъ характерѣ всей его поэзіи. Ничто человѣческое не было чуждо ей и, прежде всего, интимно-человѣческое, ни въ какомъ случаѣ не государственное.

Но за это-то больше всего его преслѣдовали и гнали. Прямое свое несогласіе съ ходомъ офиціальной государственной жизни онъ заявлялъ рѣдко и рѣдко же протестовалъ противъ самыхъ даже вопіющихъ фактовъ дѣйствительности. Онъ чувствовалъ ихъ безобразіе, какъ, напр., ясно и ярко чувствовалъ безобразіе крѣпостного права, но, натура художественная и эстетическая, прежде всего, онъ наибольшее свое вниманіе сосредоточивалъ на другомъ. Лишь въ самомъ скромномъ смыслѣ и на основаніи лишь случайныхъ строкъ можно назвать его поэтомъ-гражданиномъ. Но самый его умъ, живой и свободный, самый его характеръ, вся его личность находились въ прямомъ противорѣчіи съ офиціальной государственной жизнью. Тамъ были свои интересы, воплощавшіеся въ дѣятельности сначала Аракчеевыхъ и Магницкихъ, потомъ Бенкендорфовъ и Дуббельтовъ, у него—с в о и и, конечно, другіе, и, прежде всего, „служеніе красотѣ“, претворенія жизни въ художественные образы; и эти его интересы совершенно не мирились съ практикой и стремленіемъ офиціальной жизни. Свобода мысли и слова, свобода духа вообще—были его стихіей [39]).

Мы поняли уже теперь, что Пушкинъ не только лучшей частью своей, но весь—внѣ офиціальной жизни и казенной Россіи. Недаромъ же она и пристрѣлила его рукою Дантеса. Онъ внѣ ея какъ геній, какъ живая мысль, какъ творчество, какъ свѣтлая юность, рвущаяся на просторъ изъ-подъ власти казенныхъ циркуляровъ, людей, нравственности и религіи... „Свободы сѣятель пустынный“, онъ и тогда смѣлъ говорить противъ „дикаго“ барства и з а декабристовъ. Онъ смѣлъ и нѣчто большее: отбросить всякую мистику въ отношеніи жизни, религіи, власти. Въ немъ жило то сознаніе своего человѣческаго „я“, которое не можетъ преклониться, сойти на „нѣтъ“ ни передъ чѣмъ, потому уже, что не передъ чѣмъ преклоняться. Богъ, власть, красота, истина,—все это въ самомъ человѣкѣ, разъ онъ вѣритъ, хочетъ и можетъ, а то, что въ немъ—не больше его.

Дальше—Лермонтовъ.

Безмѣрно и могуче сознаніе своей личности у него. Оно не мирится ни съ обществомъ, ни съ землею, ни самою смертью.

Мы знаемъ, какъ относился онъ къ своему поколѣнію, которое при-

---

[39]) См. мои „Очерки“.

говаривалъ къ „проклятію родного сына надъ промотавшимся отцомъ“, къ современному ему „приличному обществу“ въ чье лицо онъ хотѣлъ бросить желѣзный стихъ, „облитый горечью и злостью“, къ самому Богу, иронически благодаря его за „жаръ души, растраченной въ пустынѣ“, за „все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ“.

Онъ полонъ протеста и негодованія.

Изо всей гаммы чувствъ особенно сильно было въ немъ развито чувство человѣческаго достоинства. Не только сильно, но часто болѣзненно, до демонической гордости, до презрѣнія ко всѣмъ окружающимъ. И во имя этого человѣческаго достоинства, обиженнаго и не признаваемаго въ жизни, онъ и негодовалъ. Ему казалось, что не только общество, не только палачи свободы и генія, но самое божество, наградившее его жизнью, посягаютъ на его неотъемлемыя права, какъ человѣка, не давая ему возможности жить той полной, вѣчной жизнью, которая единственно казалась ему цѣнной. А разъ не было этой вѣчной жизни, этой полноты существованія, любви безъ измѣны и страсти безъ пресыщенія, то онъ не хотѣлъ брать меньшаго, какъ не хочетъ развѣнчанный властелинъ брать подачку отъ побѣдителя. Оттого-то на всѣ соблазны жизни онъ отвѣчалъ презрѣніемъ, стараясь оградить себя отъ той пошлости, которую эти соблазны неминуемо вели за собою... „Какъ ты, говорилъ онъ объ окружающемъ его мірѣ, не вижу въ немъ предмета ни сильной злобы ни любви“, или же называлъ жизнь „пустою и глупою шуткой“ [40]).

Онъ самый нашъ близкій путь къ Байрону, хотя и старался отдѣлиться отъ него, таинственно намекая на свою „русскую душу“. Свою обособленность отъ современной ему жизни онъ довелъ до конца. Официальная Россія ничѣмъ не соблазняла его, ни „славой, купленною кровью“, ни покоемъ, „полнымъ гордаго довѣрія“. На его юную поэзію съ самаго начала легли мрачныя и грозныя тѣни сознаннаго имъ трагизма жизни и жестокой пошлости человѣческихъ дѣлъ.

Какъ росла въ это время литература, какъ боролась съ цензурой, какъ скрывала свое отрицаніе и скептицизмъ подъ наивностью слова, вычурностью Эзоповскаго стиля и даже намеками на то, о чемъ не вѣдаетъ никто; какъ обогатилась она журналами, а журналы читателями; какъ проникала она постепенно въ самую глушь по проселочнымъ дорогамъ, какихъ героическихъ усилій стоила ей организація доставки своихъ изданій; какъ росли кадры писателей, а извѣстное изреченіе m-me Сталь, что „въ Россіи есть нѣсколько „жантильомовъ“, которые, между прочимъ, занимаются литературой“, отошло въ область пре-

[40]) См. мои „Очерки“.

данія,—словомъ, всю эту физіологію литературной жизни я оставляю въ сторонѣ. Я буду продолжать рѣчь о ростѣ литературной личности.

6. Броженіе философской мысли. Идея развитія.

Уже въ 20-хъ годахъ начинается смутное броженіе философской мысли. Понемногу черезъ лекціи профессоровъ, въ кружкахъ студентовъ мы знакомимся съ Шеллингомъ, Фихте, нѣмецкимъ идеализмомъ вообще. Это подготовляетъ насъ къ воспріятію Гегеля и гегелизма, у котораго потомъ мы цѣлые годы „состоимъ на службѣ". Это вводитъ въ обиходъ нашей мысли идею развитія, перемѣны, неустойчивости жизненныхъ явленій, идею, такъ рѣзко и революціонно противоположную самодовольству казенной народности. Мало того, утверждая, что славянская раса безплодна, что Всемірный духъ въ своемъ торжественномъ шествіи по пути самопознанія обошелъ славянство, Гегель, естественно, вызываетъ недовольство и ставитъ вопросы:

въ чемъ же смыслъ исторической жизни славянства?

въ чемъ же смыслъ исторической жизни Россіи?..

„У насъ нѣтъ литературы, писалъ Бѣлинскій въ 1834 г., есть только отдѣльныя произведенія", или только „книжная торговля", какъ добавлялъ О. И. Сенковскій. Десять лѣтъ спустя, эта формула была бы безсмысленной. Правда, еще въ 20-хъ-30-хъ годахъ мы, благодаря лекціямъ Велланскаго и Павлова, работамъ кн. Одоевскаго, познакомились съ философіей Шеллинга. Нѣсколько позже Станкевичъ „вывезъ" изъ Германіи Гегеля и былъ отъ него въ такомъ восторгѣ, что говорилъ: если это не сама истина, то изъ за чего же жить? Восторги Станкевича умѣли заражать...

Много стоятъ одни имена нашихъ гегеліанцевъ. Это—Станкевичъ, М. Бакунинъ, Бѣлинскій (до переѣзда въ Петербургъ), Герценъ, Огаревъ, отчасти Грановскій и наши славянофилы, напр., К. Аксаковъ.

Если подъ „прогрессивнымъ" явленіемъ понимать все то, что заставляетъ людей отдать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи, въ смыслѣ и своей собственной и окружающей ихъ жизни, то гегеліанство явленіе несомнѣнно прогрессивное. Оно заставило русскаго человѣка спросить о смыслѣ жизни, и своей и жизни своего народа.

„Діалектика Гегеля, говоритъ Герценъ, страшный тиранъ; она, несмотря на свое двуличіе, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все мѣшавшее разуму".

Мы знаемъ, до какихъ степеней увлеченія, до какой странности, до какой наивности доходили русскіе люди въ своихъ восторгахъ передъ Гегелемъ...

„Нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ „Логики“; двухъ „Эстетики“ и „Энциклопедіи“; который не былъ бы взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей“. „Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиду мнѣнія объ абсолютной личности и ея по себѣ бытію“. „Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и въ другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней“.

„...Молодые философы приняли какой-то условный языкъ; они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей. Астрономъ Перевощиковъ называлъ это птичьимъ языкомъ“.

„Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болѣе глубокая... Отношеніе къ дѣйствительности стало школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все на самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью... Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего сліянія съ космосомъ, и, если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи“ [41]).

„Знаніе Гете, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что она труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть платье... Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература, а по дорогѣ все политическое“...

Это первая стадія нашего гегеліанства. Очарованная, подавленная всѣмъ: „Логикой“, „Эстетикой“ и „Энциклопедіей“, русская мысль какъ бы склонилась передъ ними и въ нихъ искала своего оправданія въ

[41]) Въ эти дни у самого Герцена попадались такія фразы: „Будь горячъ или холоденъ. А, главное, консеквентенъ и умѣй sabir истину во всемъ объемѣ“... (Т. I, 39).

уходѣ отъ дѣйствительности, въ признаніи всего существующаго, въ пантеистическомъ созерцаніи.

„Все дѣйствительное разумно", сказалъ, между прочимъ, Гегель. Эта формула вначалѣ понималась нами, какъ оправданіе жизни, даже въ невыносимыхъ проявленіяхъ ея гнета и насилія. „Она прямо вела къ признанію существующаго строя, къ тому, чтобы человѣкъ сложилъ руки. Этого-то и хотѣли берлинскіе буддисты"... Самъ Гегель помогъ имъ, склонившись подъ старость передъ величіемъ Пруссіи.

Но это было лишь неправильное пониманіе, долго державшееся, благодаря оппортунистическимъ недомолвкамъ самого философа.

Гегель не оппортунистъ и безъ недомолвокъ—видѣлъ въ жизни, прежде всего, процессъ безконечнаго развитія. Онъ „эволюціонистъ", одинъ изъ величайшихъ эволюціонистовъ XIX-го вѣка.

Ни про одну форму или явленіе жизни истинный гегеліанецъ не можетъ сказать: „оно вѣчно и незыблемо". Въ его глазахъ „все течетъ, измѣняется, и ничто не остается, какимъ оно было". Жизнь есть непрекращающееся ни на мигъ стремленіе духа познать себя, раскрыть и развернуть все свое содержаніе и воплотить въ области прекраснаго моменты своего развитія. Жизнь идетъ. Чтобы создавать, она отрицаетъ и рушитъ.

Основная идея гегелизма—идея развитія, закономѣрной и необходимой эволюціи. Это—научная сторона системы. Вѣра въ разумъ, его могущество, его способность познать всѣ тайны міра и жизни, нисколько не опираясь на откровеніе,—ея положительная сторона. Гегель былъ врагомъ мистики во всѣхъ ея проявленіяхъ. Изъ него вышелъ Фейербахъ со своими „Wesen des Christenthums", его лекціи, быть можетъ, подготовили расцвѣтъ опытныхъ наукъ въ Германіи. Удивительно ясными глазами смотрѣлъ онъ на Божій міръ; ему казалось, что онъ знаетъ все, и въ своемъ преклоненіи передъ разумомъ онъ не искалъ для него сверхчувственной опоры и указанія.

Самую жизнь міра, т. е. природы и человѣчества, онъ свелъ къ единому—къ жизни разума, который представлялся ему, какъ пантеисту, живымъ существомъ, Богомъ, только дѣйствующимъ по законамъ логики. Эти законы онъ старался постичь и формулировать въ своей философіи.

Онъ далъ грандіозную систему діалектической логики. Каждое понятіе, каждое явленіе жизни вызываетъ рядомъ съ собою „негацію", отрицаніе, которое заставляетъ его переходить въ другую высшую форму (современникъ для примѣра можетъ указать на то, какъ капиталистическое хозяйство вызываетъ рабочій вопросъ и соціализмъ, какъ офиціальная религія—расколъ и секты, всемогущая, властная государственность — анархію).

Герой Гегеля—Всемірный Разумъ. Этотъ Разумъ нѣчто цѣльное, единое, новая метаморфоза въ представленіи человѣка о божествѣ. Это богъ, одаренный единою всемогущей страстью—познать самого себя. И къ этой цѣли направлены всѣ его усилія. Временно онъ „пребываетъ" то въ одномъ народѣ, то въ другомъ, и тогда это живой народъ. Затѣмъ онъ идетъ дальше, двигаясь съ востока на западъ, и оставляетъ за собой народы-трупы: Китай, Индію, Персію. Въ славянство онъ не заглянулъ и въ германцахъ достигаетъ мудрости. Въ извѣстномъ смыслѣ, Фаустъ Гете—его символъ, его образъ.

Цѣль духа познать самого себя. „Познать можно только путемъ опредѣленія, и истинное познаніе должно совокупить въ себѣ всѣ возможныя опредѣленія даннаго понятія. Такъ и духъ, чтобы познать себя, достигнуть своей цѣли, долженъ весь безусловно использовать себя, раскрыться цѣликомъ, развернуться, какъ кусокъ матеріи, гобелены, напр., съ нарисованнымъ на немъ рисункомъ.

Это развертываніе духа и есть историческій процессъ. То та, то другая сторона этого царя исторіи проявляется и познается въ жизни данной индивидуальности—лица, націи, государства. Разумѣется, чѣмъ больше этихъ индивидуальностей, чѣмъ рѣзче онѣ отличаются одна отъ другой, чѣмъ богаче содержаніе каждой изъ нихъ, тѣмъ большихъ успѣховъ достигаетъ онъ. Представьте себѣ, что человѣкъ былъ бы въ теченіе своей жизни и нищимъ, и богачемъ, и каторжникомъ, и судьей, и рабочимъ, и капиталистомъ, и поэтомъ, и философомъ и т. д.; очевидно, что его жизненный опытъ былъ бы грандіозенъ. Но, что недоступно человѣку, то доступно духу, ибо онъ имѣетъ къ своимъ услугамъ безконечное время, безконечно различныя обстоятельства и безконечное количество индивидуальностей. Они живутъ со своими особенностями, а затѣмъ, путемъ дѣятельности, воспроизведенія и смерти, передаютъ накопленное ими въ общую сокровищницу духа. Т. е.:

„Истинный результатъ жизни состоитъ въ отрицаніи непосредственной формы идеи; другими словами, ея истинный результатъ есть знаніе"...

Гегель умѣлъ одушевлять слушателей. Глубокой вѣрой въ науку, знаніе дышатъ его рѣчи, напр., вступительная рѣчь съ берлинской каѳедры. Онъ звалъ людей „впередъ и выше". Онъ говорилъ своимъ слушателямъ-современникамъ, что своей побѣдой надъ Наполеономъ они обязаны нравственному могуществу духа. И онъ не хотѣлъ, чтобы это вдохновеніе погрязло въ пошлости мѣщанской жизни. „Наше призваніе и наша обязанность, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, чтобы развить въ философской формѣ тѣ существенные зачатки, которые съ новою силой и новою жизнью проявились въ недавнее время"... Эти зачатки сводились къ требованію, чтобы жизненные интересы были болѣе основательны и со-

вершенны. „Самая же серьезная потребность есть потребность знать истину“...

Сначала русскіе люди брали изъ гегелизма лишь элементы эстетическаго созерцанія и восторгъ, охватывающій человѣка при мысли, что въ этомъ огромномъ калейдоскопѣ явленій есть разумная цѣль, разумныя перемѣны. Мы брали у Гегеля то, что примиряло съ дѣйствительностью, оправдывало ее, раскрывало красоту и величіе міра, его единство съ человѣкомъ.

Это конецъ нашихъ тридцатыхъ годовъ, когда даже Бѣлинскій писалъ всеоправдывающія статьи въ родѣ статьи о бородинской годовщинѣ.

— Знаете ли вы, сказалъ ему какъ-то Герценъ, что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что чудовищный произволъ, подъ которымъ мы живемъ, разуменъ и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Бѣлинскій.

Но сомнѣніе было уже въ его душѣ, какъ и въ душѣ многихъ. Оно росло самостоятельно, еще больше—подъ вліяніемъ Запада, гдѣ въ это время шло сильное броженіе мысли въ сторону лѣваго гегеліанства, Фейербаха. Тамъ старались отдѣлить настоящаго Гегеля отъ Гегеля, зараженнаго пошлинизмомъ, его революціонную идею общаго развитія отъ случайнаго преклоненія передъ Пруссіей 30-хъ годовъ. „Въ Польшѣ, заноситъ въ свой дневникъ Герценъ, молодые гегелисты отрекаются торжественно отъ всякой положительной религіи, сопряженной съ формализмомъ ритуаловъ“, или: „одна изъ статей въ „Deutsche Jahrbucher“ оканчивается прямо: надо рѣшить однажды навсегда: Христіанство и Монархія или философія и республика“... Очевидно, отпадало случайное и временное, и идея развитія—этотъ ферментъ системы—дѣлала свое дѣло. Она отнимала у окружающаго ореолъ неподвижности, вѣчности, неизмѣняемости. Она настойчиво твердила, что смыслъ жизни въ постоянной перемѣнѣ и совершенствованіи. И, конечно, не примиренія намъ было нужно и не преклоненія предъ системами Аракчеева и Клейнмихеля. Мы поняли, что формула Гегеля „все дѣйствительное разумно“ означаетъ лишь, что „все дѣйствительное имѣетъ достаточное основаніе“, что дѣйствительнымъ Гегель называлъ то, что развивается, что идетъ „впередъ и выше“.

Гегеліанство скоро вошло въ критическое и оппозиціонное русло нашей мысли...

По поводу гегеліанства можно сдѣлать то же самое замѣчаніе, какъ и о романтизмѣ: особое впечатлѣніе произвело оно на насъ, взятое съ конца.

Мы вообще лѣнивы, отличаемся плохой дисциплиной мысли, особенно философской; въ каждой теоріи мы ищемъ, прежде всего, ея к о н ц а, выводовъ, нравоученія. Матеріализмъ, повидимому, былъ всегда для насъ подходящей философіей, потому, во-первыхъ, что онъ является полнымъ отрицаніемъ всякой философіи или, лучше, философствованія; потому, во-вторыхъ, что выводы, наконецъ, ясны: нѣтъ Бога, нѣтъ ничего мистическаго, не надо Бога и ничего мистическаго.

Теорія, логика, метафизика гегеліанства не дали толчка для самостоятельной работы нашей мысли. Повидимому, даже мы гораздо больше читали о Гегелѣ, чѣмъ самого Гегеля. Очень немногіе знали подлинникъ (какъ случилось потомъ съ марксизмомъ) [42]). Удовлетворились выводами, приложеніемъ. Сначала тѣмъ, что „все дѣйствительное разумно", дальше: что „сущее развивается лишь путемъ отрицанія" (знаменитая „негація").

Мы всегда чувствовали себя въ состояніи борьбы и нѣсколько на военномъ положеніи. Процессъ мысли, ея построеніе отходятъ при этомъ на второй планъ. Вопросъ К. Аксакова: „что этимъ доказывается?" выдвигается впередъ, рѣшаетъ судьбу ученія или художественнаго образа. Это потому, повторяю, что мы лѣнивы умственно и практичны.

Обстоятельства жизни, гнетъ казенщины, невозможность дорожить прошлымъ, отсутствіе этого цѣннаго прошлаго (наслѣдство Рима и Греціи, рыцарство, борьба за право и свободу совѣсти были на Западѣ, у насъ—ничего подобнаго), состояніе борьбы,—все это развило преимущественно нашу способность или увлекаться прежде всего отрицаніемъ, или дѣлать изъ всего аргументы отрицанія. Во имя лучшаго, конечно. Но все же отрицаніе впереди. Отрицаніе сущаго—рекомендація мысли. Наша литература не знаетъ положительныхъ типовъ. Больше: положительные типы кажутся намъ подозрительными, какъ бы созданными по заказу. Черезъ огромное отрицаніе доходимъ мы до вѣры.

Оттого-то, говорю я, гегеліанство скоро вышло въ критическое и оппозиціонное русло нашей мысли. Все это было въ немъ противъ традиціонной религіи, все, что осѣло изъ него въ философіи Фейербаха, отрицаніе христіанства, все, что идеей вѣчнаго развитія, вѣчной перемѣны подкапывалось подъ самодовольство официальной народности, подъ санкціонированную его неподвижность,—стало нашимъ черезъ Герцена, Огарева, Бѣлинскаго, Бакунина.

А славянофилы, пытавшіеся дать славянское положительное геге-

---

[42]) Одинаково: народникамъ въ періодъ полемики съ марксизмомъ никакой своей теоріи защищать не приходилось, а только свои пожеланія, свою мечту и любовь, свое „нравоученіе". Надо, однако, отмѣтить самостоятельную работу надъ Гегелемъ Герцена и особенно Бакунина (его псевдонимъ въ этомъ случаѣ—Jule Elisard).

ліанство, гдѣ славянству предоставлялась та же всемірно-историческая роль, какъ у Гегеля германцамъ, остались въ тѣни...

7. Скептицизмъ, сатира.

Литература зародилась и окрѣпла въ борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ, въ отрицаніи офиціальной народности и ея дикаго произвола. Идея естественнаго права была первой, которая внесла въ нее духъ философскаго мышленія. Въ годы сантиментализма и романтической литературы она выработала идею личности и ея свободы. Гегель, отрицая славянскую расу, указывая на ея безплодность, поставилъ передъ ней грозный вопросъ о смыслѣ жизни вообще, своего народа въ частности[43]). Онъ училъ, что живая жизнь это та, которая развивается.

Вѣчной угрозой висѣлъ надъ литературой Дамокловъ мечъ офиціальной народности. Но у ней были ея недовольство и жажда лучшаго, и это спасло ее.

Правда, бывали эпохи ликованія, самодовольства, но онѣ поражаютъ безплодностью своего творчества и своей лубочностью. Кому теперь дѣло до Кострова, С. Глинки, Шишкова и tutti quanti? Въ литературу вошло, прежде всего, отрицаніе, и мы жадно ищемъ его даже въ журналистикѣ временъ Екатерины.

Любопытно мнѣніе А. Н. Пыпина, высказанное имъ по поводу Чаадаева.

„Скептицизмъ, пишетъ онъ въ своихъ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній", тѣсно связанъ съ прошедшей умственной исторіей нашего общества". „Онъ кажется въ Чаадаевѣ неожиданнымъ на первый взглядъ; онъ выражается съ такою силою, такъ много захватываетъ, что мы съ удивленіемъ встрѣчаемъ его среди литературной рутины. Его появленіе будетъ, однако, понятно, если мы сопоставимъ его съ тѣми критическими запросами и сомнѣніями, которые давно высказывались въ русской литературѣ и жизни, съ первой русской литературы до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоѣдова".

„Если вспомнимъ при этомъ, что литература всегда далеко не вполнѣ высказывала накопившееся недовольство, что истинная мысль лучшихъ людей развилась вполнѣ про себя, и что нужно принять въ соображеніе эту скрытую, но тѣмъ не менѣе дѣйствительную работу мысли, мы

[43]) См. ниже главу о славянофилахъ.

найдемъ объясненіе для этой неожиданной степени скептицизма“ [44]).

Скептицизмъ въ литературѣ начинается съ Новикова и Радищева. У нихъ есть такіе предшественники, какъ Котошихинъ, Кантеміръ. Могутъ сказать, что это наносное, не русское; могутъ, конечно, всѣ тѣ, кому еще не наскучили славянофильскіе начатки, кто считаетъ смиреніе главной русской добродѣтелью. Но что въ такомъ случаѣ означаютъ наши расколъ и сектантство? А я уже говорилъ, что между литературой, расколомъ и сектантствомъ существуетъ своеобразная духовная связь.

Возьмите рядъ такихъ произведеній, какъ „Путешествіе изъ Петербурга“ Радищева, записки, доклады и книги противъ крѣпостного права, комедіи Фонвизина, „Ябеду“ Капниста, „Горе отъ ума“ Грибоѣдова, Лермонтова, Пушкина и Гоголя и т. д.—вы увидите, какую роль скептицизмъ и отрицаніе сыграли въ нашей литературѣ.

Этотъ разрывъ человѣка съ обществомъ, его отдѣленіе отъ государства, эта полная невозможность примириться съ дѣйствительностью и оправдать ее, въ сущности, очень мучительны, ненормальны. Наши герои, наши лучшіе люди то лишніе люди, то выбитые изъ колеи. Мы выстрадали всѣ муки этого раздвоенія, чтобы отказаться отъ него до конца. Жить въ презрѣніи или ненависти къ окружающей жизни подчасъ настолько тяжело, что естественно, если многія изъ нашихъ движеній носятъ характеръ отчаянія.

Нашъ скептицизмъ своеобразенъ. Опору въ наукѣ, въ знаніи онъ сталъ искать очень поздно, не раньше 60-хъ годовъ XIX в. Огромныя свои завоеванія онъ сдѣлалъ раньше. Его главный характеръ—характеръ непосредственнаго чувства. Правда, вопросъ объ освобожденіи крестьянъ часто связывался съ вопросомъ о государственной пользѣ, о преимуществахъ вольнаго труда надъ крѣпостнымъ, о разложеніи помѣщичьяго быта, обреченнаго на тунеядство и праздность, но сила освободительнаго движенія была не въ этомъ. Въ основаніи его лежали нравственныя посылки, голосъ сердца, голосъ совѣсти, непосредственное сознаніе гнета, жалость къ себѣ самому и закабаленному народу.

Ничто не шло навстрѣчу этому, ничто не радовало. Въ теченіе ста лѣтъ, отъ перваго года царствованія Екатерины II вплоть до вступленія на престолъ Александра II, у насъ не было реформъ. Какъ это ни странно, но это такъ. Жизнь росла, росла офиціальная Россія, росли мысль и самосознаніе, но формы жизни оставались все тѣми же. За счетъ всего усиливалась бюрократія и крѣпостное право. И естественно, что всякая развивающаяся мысль становилась протестомъ, всякое бла-

[44]) Пыпинъ, „Характеристика“.

городное чувство негодующимъ. Правда, и протестъ и негодованіе расплывались въ необъятныхъ пространствахъ Россіи; въ сущности, они нисколько не вліяли на жизнь, но все же они накапливались въ литературѣ, которая явилась ихъ хранительницей.

До какого ужаса доходила дѣйствительность, вы видите это по произведеніямъ Грибоѣдова и Гоголя, хотя самаго страшнаго, т. е. крѣпостного права, они или не затрагиваютъ совсѣмъ, или затрагиваютъ ихъ косвенно.

Гоголь какъ-то читалъ Пушкину отрывки изъ своихъ „Мертвыхъ душъ“. „Пушкинъ, который обыкновенно смѣялся при его чтеніи, на этотъ разъ становился все сумрачнѣе и, наконецъ, сдѣлался мраченъ. Когда же Гоголь кончилъ, онъ произнесъ голосомъ тоски: „Господи, какъ грустна наша Россія“...

Да, въ дѣйствительности грустной и мрачной была Россія. „Нечѣмъ жить“—это былъ вопль ея лучшихъ людей. Я приводилъ эти вопли раньше и не стану повторять ихъ.

Все то же—страшное, гнетущее, неподвижное...

На почвѣ такого огромнаго и яркаго, непримиреннаго и по существу непримиримаго противорѣчія развилась наша сатира, наше отрицаніе. Въ дореформенной литературѣ они взяли лучшіе соки и силы. Смѣхомъ казнили жизнь, и находили въ немъ свое утѣшеніе и свою свободу. Потому что смѣхъ освобождаетъ. Смѣшное уже не страшно, во всякомъ случаѣ, преклоняться передъ нимъ нельзя. Когда человѣкъ смѣется, онъ становится выше того, надъ чѣмъ онъ смѣется, и то, надъ чѣмъ онъ смѣется, кажется ему малымъ, ничтожнымъ. Послѣ Манилова и Ноздрева, Тентетникова и Обломова, Плюшкина и Коробочки нельзя говорить о величіи русскихъ помѣщиковъ; послѣ героевъ „Ревизора“ и „Горе отъ ума“ о „разумныхъ“ основаніяхъ русской бюрократіи. „Разумное“ основаніе и крѣпостного дворянства, и всемогущей бюрократіи было уже разрушено жизнью, смѣхъ закрѣпилъ это разрушеніе.

Нашъ смѣхъ удивительно разнообразенъ. Въ немъ много добродушія, которое переходило въ комизмъ, юморъ. Но есть и отъ бича Ювенала, готовность къ борьбѣ...

О, сколько лицъ безстыдно блѣдныхъ,
О, сколько лбовъ широко-мѣдныхъ
Готовы отъ меня принять
Неизгладимую печать!

говорилъ Пушкинъ, и это, долго спустя, осуществилъ Щедринъ.

Сначала нашъ смѣхъ, робко озираясь, дѣлалъ только случайныя вылазки на излишекъ роскоши, невѣжество, праздность. Но у него въ эти

дни былъ свой deus ex machina—просвѣщенные чиновники, которые немедленно же награждали добродѣтель и наказывали порокъ.

Пушкинъ своими эпиграммами, Грибоѣдовъ своими Фамусовыми и Скалозубами отучили отъ этихъ ребяческихъ пріемовъ. Гоголь истощался въ попыткахъ создать просвѣщеннаго помѣщика, мудраго откупщика и превосходнаго генералъ-губернатора. Онъ вывелъ на сцену всю пустоту русской жизни, и людямъ стало страшно отъ этой пустоты. Онъ ввелъ въ свою сатиру элементъ ужаса. Русская сатира съ этихъ поръ пріобрѣтаетъ особый трагическій характеръ. Къ мертвой лѣни, добродушному безплодному диллетантизму свелъ Гончаровъ русскаго барина своимъ Обломовымъ и Райскимъ. Во что же вѣрить? смѣло могъ спросить себя русскій человѣкъ послѣ такой работы.

Все, разсказанное выше, Герценъ резюмируетъ такъ:

„Двѣ батареи выдвинулись скоро. Періодическая литература дѣлается пропагандой, во главѣ ея становится въ полномъ разгарѣ молодыхъ силъ Бѣлинскій. Университетскія каѳедры превращаются въ налои, лекціи въ проповѣди очеловѣченія; личность Грановскаго, окруженнаго молодыми приватъ-доцентами, выдается больше и больше.

„Вдругъ еще взрывъ смѣха. Страннаго смѣха, страшнаго смѣха, смѣха судорожнаго, въ которомъ былъ стыдъ и угрызеніе совѣсти и, пожалуй, не смѣхъ до слезъ, а слезы до смѣха. Нелѣпый, уродливый, узкій міръ „Мертвыхъ душъ“ не вынесъ, осѣлъ и сталъ отодвигаться. А проповѣдь шла сильнѣй... все одна проповѣдь—и смѣхъ, и плачъ, и книга, и рѣчь, и Гегель, и исторія,—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу предъ крѣпостнымъ правомъ и предъ собственнымъ безправіемъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума“...

Это вотъ теченіе одолѣло. Оно выбило философское самодовольство, эстетическое созерцаніе, тихое прекраснодушіе Станкевича и его учениковъ изъ ихъ позицій. Въ философскихъ умахъ оно слилось съ лѣвымъ гегеліанствомъ, его идеями развитія и свободы... Ибо „все звало людей къ сознанію своего положенія“.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Идеи дворянскаго періода литературы.

1. Классовое самосознаніе въ русской литературѣ.—2. Историческая справка о нашемъ дворянствѣ.—3. Административный путь русской исторіи.—4. Разложеніе дворянской жизни и дворянской идеи, какъ начало самостоятельной литературы.—5. Попытка дворянскаго самоопредѣленія. Славянофильство.—6. Борьба съ Западомъ.—7. Русскій мессіанизмъ.—8. Ученіе славянофиловъ.—9. Славянофилы и община.—10. Политика и этика въ ученіи славянофиловъ.—11. Славянофильство и традиція.—12. Итоги славянофильства.—13. Разложеніе славянофильства.—14. Западники.—15. Ферментъ западнической мысли. Идея личности.—16. Проблема чести и совѣсти въ западнической литературѣ. Герценъ.—17. Герценъ о личности.—18. Самоотрицанія Герцена.—19. Честь и совѣсть.—20. Драма русскаго барства.—21. Предѣлъ самоотрицанія.—22. Еще штрихи барской психологіи.—23. Лишніе люди, эстетики, идеалисты.

1. Классовое самосознаніе въ русской литературѣ.

Быть можетъ, это одинъ изъ самыхъ интересныхъ, но все еще не рѣшенныхъ вопросовъ о томъ, насколько наша литература, по крайней мѣрѣ, въ извѣстномъ возрастѣ своемъ, служила выраженіемъ сословнаго духа, была не только просвѣтительной и аболиціонистской, но и дворянской, барской, созданіемъ привилегированныхъ?

О внѣшней сторонѣ этого послѣдняго обстоятельства нечего даже и говорить. Вплоть до 60-хъ годовъ „разночинецъ", занимающійся литературой, былъ рѣдкостью и исключеніемъ. Но и 60-е годы, какъ увидимъ далѣе, нельзя считать полнымъ торжествомъ разночинца, а только его набѣгомъ, удачнымъ нашествіемъ, за которымъ опять замѣтно возрожденіе барскаго духа и барскихъ идей, хотя и въ очень переработанномъ видѣ. Люди, создавшіе нашу литературу, принадлежали къ привилегированному сословію. Одинъ, какъ Пушкинъ, считалъ за собой шестьсотъ лѣтъ дворянства; другой, какъ Плещеевъ, могъ среди своихъ предковъ назвать св. митрополита Алексѣя; третій, какъ Толстой, — графъ, титулу котораго

200 лѣтъ. Лермонтовъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Огаревъ, Салтыковъ, Герценъ. Грановскій и т. д.,—все это столбовые. Даже крупныя имена Кольцова, Полевого, Бѣлинскаго нисколько не нарушаютъ дворянской цѣльности нашего литературнаго строя.

Совершенно вѣрно замѣчаетъ по этому поводу одинъ изъ историковъ нашего романа: „Сорокалѣтній періодъ отъ начала 20-хъ до конца 50-хъ годовъ былъ сплошнымъ дворянскимъ періодомъ нашей литературы. Не только почти всѣ выдающіеся писатели этой эпохи, но и всѣ выведенные ими типы принадлежали къ дворянской средѣ. За всю эту эпоху общественный строй оставался неизмѣннымъ; одинъ и тотъ же классъ составлялъ подавляющую массу читателей и, вслѣдствіе этого, хотѣлъ видѣть и въ литературѣ свое отраженіе“.

О внѣшней сторонѣ дѣла можно, такимъ образомъ, не распространяться. Это уже область неоспоримаго факта. Слѣдуетъ задать себѣ лишь вопросъ по существу: насколько выработанная дворянскимъ и помѣщичьимъ укладомъ жизни психологія отразилась въ нашей литературѣ, опредѣлила или окрасила ея мысли, настроенія, мечты?

Я думаю, что не только отразилась, но и в ы р а з и л а с ь.

Историческая идея русскаго барства такъ плохо ассоціируется съ идеей развитія, прогресса, протеста во имя свободы, что нѣтъ ничего удивительнаго, если мы противъ наименованія „барами“ нашихъ передовыхъ людей, если мы произвольно допускаемъ, что сословный духъ совершенно стерся въ нихъ подъ вліяніемъ „благородныхъ чувствъ и просвѣтительныхъ идей“. Но барство, какъ оспа: „болѣзнь проходитъ, знаки остаются“.

Пора, однако, признать фактъ во всемъ его „психологическомъ“ объемѣ, тѣмъ болѣе, что отъ этого признанія дорогія намъ имена нисколько не потускнѣютъ. Сдѣлать это не трудно. Всякій, напр., чувствуетъ, что самое крупное явленіе прошлой литературы нашей, во многихъ и многихъ случаяхъ ея завершеніе и итогъ,—Л. Толстой могъ появиться только въ Россіи, быть взрощеннымъ и вскормленнымъ барской помѣщичьей средой въ ея общеніи и взаимодѣйствіи съ русскимъ крестьянскимъ міромъ. Большая часть нашей литературы создана въ ту эпоху, когда жизнь знала только баръ и рабовъ, когда рабство, его духъ пронизывали всѣ отношенія людей, отравляли лучшіе помыслы, чувства и мечты и наложили свою печать даже на стремленія къ свободѣ.

„Мы рабы, писалъ Герценъ какъ бы отъ лица всего русскаго барства, потому, что наши отцы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, и мы пользуемся ими. Мы рабы, потому, что мы господа. Мы слуги потому, что мы помѣщики, и помѣщики безъ вѣры въ наше право. Мы крѣпостные потому, что

держимъ въ неволѣ нашихъ братій, равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку"... Эти слова—страстный крикъ и вопль благороднаго и великаго человѣка, но они написаны какъ будто не для насъ. Зная ихъ, мы все же постоянно забываемъ, что какъ разъ эти самые „рабы", „слуги", „крѣпостные", о которыхъ говоритъ Герценъ, и создали нашу литературу; они, по крайней мѣрѣ, положили ей фундаментъ. Они много сдѣлали, но даже и въ лучшемъ, что сдѣлано и сказано ими, не трудно различить тотъ ядъ, который они впитали изъ породившей ихъ общественной почвы, изъ грязи и униженія рабства...

Барство, какъ традиція, какъ рядъ воспоминаній и опытовъ, укрѣпленныхъ и кристаллизованныхъ наслѣдственностью, какъ сумма впечатлѣній, полученныхъ отъ извѣстнаго воспитанія, въ извѣстной обстановкѣ,—является такимъ огромнымъ психологическимъ фактомъ, что забывать о немъ, умалчивать о немъ болѣе чѣмъ странно. И зачѣмъ? „Развѣ въ этомъ обстоятельствѣ есть что-нибудь постыдное, принижающее? Развѣ для кого-нибудь секретъ, что въ такой малокультурной, тѣмъ болѣе крѣпостной странѣ, какъ Россія, все образованіе, и даже возможность образованія, вплоть до эпохи реформъ сосредоточивалось въ одномъ классѣ общества? Развѣ сообразно съ чѣмъ-нибудь предположеніе, что человѣкъ путемъ развитія можетъ до конца стереть съ своего духа всю наслѣдственность, всѣ впечатлѣнія дѣтства, все вліяніе обстановки? Требовать этого значитъ требовать большаго, чѣмъ доступно оно природѣ человѣка. Мнѣ думается, что заслуга лучшихъ нашихъ писателей дореформеннаго періода не въ томъ, что они перестали быть барами, а въ томъ, что свою барскую культуру они довели до высшей ступени ея развитія, что, оставаясь барами, они не защищали крѣпостническихъ интересовъ своего сословія, а, напротивъ, боролись съ ними и ихъ представителями, какъ и сколько могли, что защищали они и чужіе интересы, напр., закабаленной массы, но, конечно, защищали ихъ по-барски" [45]).

Кое-что въ этомъ смыслѣ было высказано и раньше. Напр., послѣ многихъ похвалъ, извиненій, всякихъ оговорокъ, М. Протопоповъ замѣчаетъ по поводу барскаго періода нашей литературы:

„Слабъ человѣкъ и охотно преклоняетъ онъ ухо къ внушеніямъ злого духа эгоизма и только въ рѣдкія, лучшія минуты своего бытія возвышается до полнаго забвенія своего себялюбиваго, неугомоннаго, вѣчно недовольнаго и вѣчно требовательнаго „я". Благородные, гуманные, совѣстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были много обязаны и своимъ блестящимъ

[45]) М. Протопоповъ, „Литературно-критическія характеристики"

образованіемъ, и своею независимостью, и всѣмъ изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бѣдой, надъ горемъ, которое—язвительная иронія судьбы—собственно имъ, лично имъ приносило или выгоду въ родѣ „легкаго оброка“ и „ярема барщины старинной“, или цвѣты удовольствія въ родѣ „младого и свѣжаго поцѣлуя смуглянки черноокой“. Дѣйствіе этого разлада, этого отсутствія гармоніи между идеалами и интересами не могло не сказаться умѣряющимъ образомъ и на силѣ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ“.

Разъ мы стоимъ на точкѣ зрѣнія апріорнаго мышленія, то все до такой степени очевидно, что обращается въ трюизмъ: баринъ есть баринъ. Привычка къ власти, къ сознанію своего превосходства надъ людьми не можетъ не вкорениться въ человѣка до такой степени глубоко, что кладетъ свою печать даже на его отрицаніе. Потому что и отрицать можно во имя самыхъ различныхъ цѣлей и исхода изъ различныхъ положеній. Однако, это больше чѣмъ трюизмъ. Это фактъ.

Кромѣ указанной выше причины—плохого реноме нашего барства, печальныхъ ассоціацій, связанныхъ съ этимъ именемъ,—есть и еще нѣсколько причинъ нашего непризнанія сословнаго духа литературы. Прежде всего напомнимъ еще разъ заимствованный характеръ нашей литературы. Большая часть ея идей не только взяты, а, если можно такъ выразиться, переведены съ иностраннаго, такъ что истинный ихъ смыслъ, истинное ихъ соціальное значеніе совершенно затерялись. „Переводилось“ зачастую просто звучное, красивое, передовое, „переводилось“ послѣднее слово, не имѣвшее никакого отношенія къ подлинному существу переводчика. Старая, трагикомическая исторія просвѣтительныхъ идей XVIII в. повторялась—хотя, разумѣется, чѣмъ дальше, тѣмъ съ большей осмотрительностью,—ежедневно на страницахъ нашей литературы. Увлеченіе идеями было головное, теоретическое или даже стилистическое, по существу же человѣкъ оставался какимъ былъ раньше.

Конечно, идея, даже словесно только воспринятая, все же лучше, чѣмъ отсутствіе всякихъ идей, потому что въ идеѣ, ея „звукѣ“ есть уже сила внушенія, способная переработать многое, чисто физіологическое или живущее въ человѣкѣ по традиціи. Но все же переведенныя идеи, даже чувства и настроенія никакъ нельзя считать собственнымъ достояніемъ. Все это наши случайные гости. И такихъ „случайныхъ гостей“ было очень много въ головахъ нашего барства.

Во-вторыхъ, мы совершенно напрасно обращаемъ слишкомъ много вниманія на отдѣльныя мысли, отдѣльныя формулы. Не въ нихъ все дѣло. Мысль можетъ быть случайностью, хотя бы, разъ высказавъ ее,

человѣкъ уже всю жизнь оставался ей вѣренъ, какъ это случилось съ героемъ одного изъ разсказовъ Л. Андреева, заявившимъ: „я люблю негритянокъ“... Негритянокъ онъ, бѣдный, въ дѣйствительности, не любилъ совсѣмъ, но это слово, подхваченное товарищами, закрѣпилось за нимъ и заставило его совершить рядъ ни съ чѣмъ несообразныхъ поступковъ и даже нелѣпо провести всю жизнь. Кромѣ того, словесная формула мысли далеко не вполнѣ передаетъ ея содержаніе: оно глубже и, быть можетъ, словами нашими всего содержанія и не выразишь. Чтобы вполнѣ постигнуть содержаніе мысли, нужно провѣрить ее на дѣлѣ, что случалось въ нашемъ прошломъ очень рѣдко. Посмотрите, напр., сколько различныхъ значеній имѣли слова: „я хочу освобожденія крестьянъ“. Это значило: 1) я хочу освобожденія крестьянъ съ землею или 2) безъ земли; 3) я хочу во имя гуманности, 4) государственной пользы, 5) во имя интересовъ самихъ помѣщиковъ, которымъ грозитъ пугачевщина и т. д.

Мысль—это еще не все въ человѣкѣ. Мысль, по терминологіи Ницше, только малый разумъ человѣка[46]). Важнѣе, дѣйствительнѣе его большой разумъ, или органическое воспріятіе, т. е. вся совокупность чувствъ, привычекъ, ассоціацій, которая связана съ данной формулой мысли. Это существенно, что человѣкъ хочетъ освобожденія крестьянъ, если доросъ до того, что видитъ въ мужикѣ человѣка. Но еще существеннѣе, какъ представляетъ онъ себѣ эту крестьянскую свободу, и какого человѣка видитъ онъ въ мужикѣ: хочетъ ли онъ сѣсть рядомъ съ нимъ за столъ, или отправить на кухню? Карамзинъ утверждалъ, напр., что и „крестьянки способны чувствовать“, но это его утвержденіе имѣетъ такую же дѣйствительную цѣну, какъ наше: „животныя чувствуютъ и думаютъ“. Или: многіе изъ дворянъ всею душою стояли за освобожденіе, однако, высказались за розгу въ крестьянскомъ самоуправленіи. Очевидно, для нихъ крестьянинъ былъ хотя и человѣкомъ, но другой кости.

„Органическое воспріятіе“ есть именно весь человѣкъ, со всѣми его заимствованными и незаимствованными идеями, привычками, предразсудками, коренными симпатіями и антипатіями. Это ни въ какомъ случаѣ не силлогизмъ, не разсудочная бухгалтерія; это натура, чей голосъ въ большинствѣ случаевъ очень трудно выразить словами. Полнѣе всего это удается „художнику“, который въ моментъ вдохновенія

---

[46]) Любопытны замѣчанія Достоевскаго: „разсудокъ есть только разсудокъ, и удовлетворяетъ только разсудочной способности человѣка, а хотѣніе есть проявленіе всей человѣческой жизни и съ разсудкомъ, и со всѣми почесываніями... Разсудокъ знаетъ только то, что успѣлъ узнать, а натура человѣческая дѣйствуетъ вся цѣликомъ, всѣмъ, что въ ней есть, сознательно и безсознательно, и хоть вретъ, да живетъ“ (т. 3, ч 2 ст. 92). Совершенно тѣ же мысли постоянно развивалъ Ницше.

открываетъ глубины своего духа, обыкновенно темныя и непроницаемыя. Оттого-то художественное слово имѣетъ для насъ такую исключительную цѣнность: въ немъ высказывается в е с ь человѣкъ, со всей своей исторической или сословной стихіей, съ такими мыслями, въ которыхъ онъ, быть можетъ, не признается или не сумѣетъ признаться въ спокойную минуту. Но когда онъ творитъ, онъ откровененъ, до мозга костей откровененъ. Онъ и самъ въ себѣ дѣлаетъ совершенно неожиданныя открытія и передаетъ не только то, что всплыло на поверхность его разума, но и чувства и думы своего „тѣла", глубокія, хотя и забытыя дѣтскія воспоминанія, весь синтезъ жизненнаго опыта... Несомнѣнно, что въ каждомъ изъ насъ есть это органическое воспріятіе, которое властно притягиваетъ насъ къ извѣстному разряду идей и интересовъ и отталкиваетъ отъ другого, независимо отъ голоса логики, внѣ его и даже—что не рѣдкость—наперекоръ ему.

Мы называемъ это безотчетными влеченіями, подсознательнымъ сознаніемъ (conscience inconscient Рибо), натурой и т. д. Но не только въ каждомъ изъ насъ есть это органическое воспріятіе, оно есть и у отдѣльныхъ сословій и классовъ, общее въ крупныхъ чертахъ своихъ цѣлой однородной группѣ лицъ. Это наслѣдство жизни поколѣній, долгаго историческаго опыта, часто незамѣтныхъ, но всегда могущественныхъ вліяній соціальной среды. И несомнѣнно, что основной типъ своего сословія человѣкъ сохраняетъ очень упрямо, такъ что попа и въ рогожѣ узнаютъ. Пусть онъ говоритъ „другое", какъ бы даже ему несродное, пусть онъ проповѣдуетъ идеи, зародившіяся въ чужой обстановкѣ, проникнутыя чужой любовью и чужой ненавистью,—онъ будетъ говорить и проповѣдывать иначе (это, разумѣется, лишь въ томъ случаѣ, если онъ достаточно талантливъ, чтобы быть искреннимъ). На самомъ дѣлѣ: давно уже и вѣрно указано, напр., что голосъ пресыщенія часто звучитъ совершенно такъ же, какъ и голосъ хроническаго недоѣданія[47]). Тамъ и здѣсь то же невѣріе, та же апатія или безволіе, усталь, разочарованность.

Пессимизмъ и отчаяніе одинаково могутъ зародиться въ той и другой средѣ, но, сходные по звуку, они будутъ глубоко различаться по существу и выльются у художника въ разные образы. Или еще примѣръ: наше барство въ періодъ особенно остраго своего покаяннаго настроенія додумалось, наконецъ, до такихъ мыслей: „пусть сѣкутъ меня, мужика сѣкутъ же"; или: „да будутъ они прокляты (права и свобода), если они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами (передъ народомъ), но еще увеличатъ ихъ". Г. Михайловскій, который такъ формулировалъ эти мысли, совершенно напрасно объяснялъ ихъ потомъ, какъ крайность, вызванную полемическимъ раздраженіемъ. Онъ, одинъ изъ

завершителей нашей барской культуры, непремѣнно долженъ былъ довести до конца кое-какія ея настроенія и въ приведенныхъ формулахъ онъ дѣйствительно довелъ ихъ: чтобы такъ говорить, надо не имѣть въ прошломъ никакихъ традицій борьбы за право, никакого даже опыта правовой жизни, а вмѣсто этого—возмущенную, больную совѣсть, отягченную мыслью о долгѣ передъ народомъ. Логика вопіетъ, говоритъ, что это „не такъ", но человѣкъ правъ: больной совѣсти нужны не права, а страданія. Еще характернѣе въ этомъ смыслѣ ученіе Толстого, но пока я не стану его касаться, потому что это завело бы меня слишкомъ далеко. Я хочу только указать, что „сословный духъ" надо искать не столько въ отдѣльныхъ мысляхъ, сколько въ органическомъ воспріятіи, итти противъ котораго человѣку не подъ силу, какъ бы ни былъ онъ зараженъ просвѣтительными идеями. Наше барство, напр., всегда „тянуло" въ сторону Руссо, опрощенія, жизни согласно съ природой, этическихъ, а не правовыхъ устоевъ жизни. Что же удивительнаго, если, въ концѣ концовъ, оно исчерпало себя въ народничествѣ и народническомъ ученіи Толстого? Вольтеръ и Монтескье не могли спасовать передъ Платономъ Каратаевымъ, на сторонѣ котораго было „органическое воспріятіе" [48])...

Заимствованныя или просто переведенныя съ иностраннаго идеи и чувства, сложность органическаго воспріятія затемняли, конечно, вопросъ о сословномъ духѣ литературы. Но въ ту же сторону клонило и еще одно обстоятельство, то именно, что освободительная идея, составляющая душу нашей литературы, все время, за самыми рѣдкими исключеніями, находилась въ фазисѣ отрицанія. Государственная ферула давала каждую минуту чувствовать себя такъ властно и самоувѣренно, крѣпостное право и духъ крѣпостничества возбуждали столько ненависти и раздраженія, что „освободительная идея", сначала очень скромная, быстро впитала въ себя и гнѣвъ, и ненависть. Гнѣвъ же, причины котораго безкорыстны и благородны, дѣлаетъ и человѣка и мысль прекрасными, освобождая ихъ отъ пошлаго и будничнаго. И что удивительнаго, если въ этомъ своемъ состояніи содержаніе нашей литературы казалось значительнѣй и шире, чѣмъ было въ дѣйствительности, а сословный духъ и его окраска исчезали или, по крайней мѣрѣ, стушевывались въ процессѣ борьбы и отрицанія?

„Всякая новая идея, воплощаясь въ жизни, писалъ я по этому поводу раньше, играетъ двоякую роль—отрицательную и положительную. Идея справедливости, равенства, братства, святости человѣческаго достоинства, кѣмъ бы она ни принималась, кого бы и когда она ни вдох-

[48]) Иначе его зовутъ „Эстетическимъ".

новляла,—не могла не встать въ противорѣчіе съ крѣпостнымъ правомъ, отрицая его всплошную. На этомъ отрицаніи должны были сойтись и дѣйствительно сошлись люди самыхъ различныхъ настроеній, самой противорѣчивой окраски: и тѣ, кто былъ воспитанъ на Сенъ-Симонѣ, Руссо и Жоржъ-Зандъ, и тѣ, кто вдохновлялся нѣмецкимъ идеализмомъ, и просто честные люди, знавшіе и видѣвшіе жизнь во всей ея неприкрашенной наготѣ. Тутъ сословный элементъ незамѣтенъ; если онъ и различимъ то лишь въ чисто субъективной окраскѣ отрицанія—большей или меньшей его страстности, большей или меньшей примѣси злобы, ненависти или добродушія, которымъ оно сопровождалось. Люди видѣли то же самое, но совсѣмъ сквозь разныя стекла. Были страстные, пожалуй, отрицатели, которые все же не могли забыть прелести старопомѣщичьей жизни и „густолиственныхъ кленовъ аллеи“, и „черноглазой младшей дочки“, и все же не безъ вздоха вспоминали объ этомъ исчезнувшемъ или, по крайней мѣрѣ, исчезающемъ прошломъ, въ которомъ имъ до конца нравились и патріархальность отношеній, и гордые дворянскіе характеры. Но очевидно, что ничѣмъ такимъ ни Рѣшетникова, ни Добролюбова, ни Чернышевскаго подкупить было нельзя. Эти люди—люди другого слоя, другихъ жизненныхъ внушеній; ихъ ненависть была дѣйствительно неподкупна; это была органическая ненависть, безъ всякихъ уступокъ, и все, принадлежавшее къ крѣпостному праву, всѣ его орудія пытки вызывали только краску негодованія, краску святого гнѣва на лицѣ. Вы знаете, что писалъ Добролюбовъ о розгѣ, и напоминать объ этомъ нечего; а скажите, почему же это такъ вышло, такъ случилось, что Юр. Самаринъ, этотъ, вѣроятно, честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, высказался въ панинскомъ комитетѣ за розгу въ крестьянскомъ обиходѣ? Почему?“

Но эта „самаринская розга“, т. е. отношеніе къ крестьянину, какъ къ меньшому брату, какъ человѣку другого типа, хотя и скрытая западными идеями и процессомъ отрицанія, встрѣчается постоянно, лишь только идея начинаетъ высказывать свои положительныя стремленія, начинаетъ создавать. Такъ случилось съ Гоголемъ, съ славянофилами; слѣдъ того же вы найдете повсюду, даже въ самыхъ передовыхъ произведеніяхъ барской литературы.

Въ этой литературѣ, начатой собственно Пушкинымъ и завершенной Львомъ Толстымъ, барство выразило не только свою гуманность, свою жажду свободы, но и свой сословный духъ. Оно внесло на ея страницы свои завѣтныя думы, особенности своей натуры, выработанныя исторіей, привычкой властвовать надъ людьми, обломовскія и маниловскія черты своего характера, чувство жизненнаго пресыщенія, злобу противъ своего историческаго вѣкового соперника—бюрократіи. Естественно, впавши въ

покаяніе, оно выдвинуло на первый планъ проблему совѣсти. Совершенно чуждое какимъ бы то ни было традиціямъ борьбы за право, лишенное (въ историческомъ смыслѣ) чувства чести, оно всегда склонялось къ этическимъ и патріархальнымъ укладамъ жизни. За вѣка своего общенія съ народомъ и близости къ нему оно заразилось влеченіемъ ко многимъ особенностямъ земледѣльческаго строя и подпало подъ ихъ очарованіе. Въ этомъ духѣ стремилось оно перерабатывать западныя идеи, освобождая ихъ отъ политическаго боевого характера. Свое классовое самосознаніе, какъ привилегированныхъ землевладѣльцевъ, выразило оно наиболѣе полно въ славянофильствѣ, муки своей совѣсти и жажду обновленія— въ народничествѣ. Проснувшись въ европейскихъ походахъ послѣ 12-го года, облюбовавъ идею освобожденія, пройдя черезъ ея литературную школу, оно осталось вѣрнымъ ей до конца, но, разумѣется, придало ей своеобразную окраску. Освобожденіе личности, кѣмъ бы ни проповѣдывалось оно, Пушкинымъ или Толстымъ, шло прежде всего подъ знаменемъ идеи прекраснаго и особаго рода „покровительствующей“ жалости. Въ стихійныхъ глубинахъ нашего барства вы всегда найдете жажду опрощенія, глухую, упрямую борьбу съ вліяніемъ Запада (чему нисколько не мѣшали постоянныя заимствованія оттуда), недовѣріе къ послѣднему, какъ представителю идей завоеванія, личнаго начала и духа раціонализма. Слѣды своеобразной мистики, корни которой скрыты, быть можетъ, еще на Востокѣ, въ Азіи, господствующій взглядъ на исторію, какъ на рядъ ошибокъ, одинаково проводимый и Хомяковымъ, и Михайловскимъ, и Толстымъ,—жажда покоя и отдыха, пріостановка исканія и развитія, жажда „мира жизни“ въ упрощенной обстановкѣ земледѣльческаго строя.—

— Все это, такое разнообразное, но единое по существу своему, я называю органическимъ воспріятіемъ нашего барства, его сословнымъ духомъ, выразительницей котораго и явилась наша литература въ продолжительный дворянскій періодъ своего развитія [49]).

---

[49]) Это— міросозерцаніе, но, конечно, не „прерогатива“. Большинство намѣченныхъ идей зародилось въ дворянской средѣ или привилось къ ней. Но идея в н у ш а е т ъ, и сила ея внушенія способна подчинять чуждые по существу соціальные элементы. Этого никогда не надо забывать. Чеховскій Фирсъ на все смотрѣлъ господскими глазами и лѣчился по ихъ рецепту. Такихъ Фирсовъ не мало и въ литературѣ. Одинаково несомнѣнно, что барская литература, какъ представительница единственнаго нашего культурнаго слоя, высказала кое-что и свойственное русской жизни вообще и особымъ условіямъ ея развитія.

2. Историческая справка о нашемъ дворянствѣ.

Былъ ли у насъ феодализмъ? Феодализма не было. Вмѣсто него кое-какія замашки феодальной жизни: дворянскія помѣстья, огражденныя пушками, перестрѣлки съ капитанъ-исправниками, иногда полная невозможность для администраціи призвать къ себѣ на судъ какого-нибудь непокорнаго помѣщика. Вотъ и все — ничтожное, почти комическое въ области „внѣшней" политики нашихъ дворянскихъ гнѣздъ. Вмѣто феодализма, какъ политической системы, — дворянскіе выборы, препирательства предводителей съ губернаторами, все равно какъ вмѣсто рыцарства — частные, хотя и не рѣдкіе случаи дворянскихъ разбоевъ на большихъ дорогахъ. Зато внутри, у себя дома, въ помѣстьи — полный произволъ, гнусная праздная жизнь, охота, кутежи и гаремы, „дѣвка Палашка, потрясающая бедрами", истязанія крѣпостныхъ, о размѣрѣ которыхъ мы, разумѣется, не можемъ составить себѣ никакого понятія. „Трудно даже перечислить и уловить роды наказаній, изобрѣтаемыхъ фантазіей помѣщиковъ", деликатно замѣчаетъ по этому поводу правдивый историкъ нашего дворянства. Чувство чести, борьба за право, рыцарская поэзія и рыцарское подвижничество—все, что украсило западно-европейскій феодализмъ, осталось намъ чуждо. Ни одной героической страницы за цѣлые вѣка жизни; зато—дѣла Салтычихи, или „исторія—какъ выражается императрица Екатерина II-я—Александра Григорьевича Салтыкова", изнасиловавшаго у себя въ имѣніи 60 дѣвушекъ.

Такъ завелось изстари. Обращаясь къ „Боярской думѣ" Ключевскаго, „Очеркамъ" П. Милюкова, „Дворянству" Словатинскаго, мы видимъ, что намъ почти не приходится говорить о нашихъ среднихъ вѣкахъ, понимая подъ этимъ преобладающую политическую роль дворянства. Ихъ, этихъ среднихъ вѣковъ, не было. Государственная власть развилась такъ быстро и утвердилась такъ прочно, что ни о какихъ соперникахъ не можетъ быть и рѣчи.

Роль нашихъ высшихъ привилегированныхъ классовъ—роль крупныхъ землевладѣльцевъ, капиталистовъ, дисконтеровъ, роль скорѣе экономическая, хозяйственная, чѣмъ политическая.

Задачей привилегированнаго сословія была организація земледѣльческаго труда, что на практикѣ сводилось къ закабаленію и прикрѣпленію къ землѣ крестьянской массы.—Таковъ общій выводъ Ключевскаго.

О „Вольномъ Новгородѣ" этотъ послѣдній пишетъ, напр.: „Новгородскія сословія были собственно торгово-промышленные разряды, политическое значеніе которыхъ точно соотвѣтствовало ихъ торговому вѣсу.

Боярство превратилось постепенно въ кругъ главныхъ капиталистовъ-дисконтеровъ, которые не столько сами вели торговые обороты, сколько направляли ихъ, ссужая торговцевъ своими капиталами".

То же самое читаемъ мы о московскомъ боярин XVII-го вѣка: „Онъ—смирившійся князь или выслужившійся разночинецъ, отказавшійся отъ политическихъ грезъ XVI-го вѣка, покорный и преданный своему государю и широкой рукой забиравшій нити крестьянскаго труда".

Вообще же: „въ XV-мъ и XVI-мъ вѣкахъ государство наше создало усиленной вербовкой многочисленный вооруженный классъ, которому постепенно передалъ путемъ вотчинныхъ и помѣстныхъ дачъ огромный земельный капиталъ. Помощью этого капитала и соединенныхъ съ нимъ привилегій, этотъ классъ въ XVII-мъ вѣкѣ взялъ въ свое распоряженіе огромное количество земледѣльческаго труда. Дворянство, образовавшееся изъ этого класса, долго и съ большой пользой служило странѣ, обороняя ее отъ враговъ, никогда не завоевывало общество, но въ XVIII в., уже освободившись отъ обязательной службы, оно такъ правило обществомъ, что въ странахъ, гдѣ дворянство считало себя потомками завоевателей, его власть не отличалась ни большой энергіей, ни большими злоупотребленіями" [50]).

Славянофилы были правы, настаивая на основномъ пунктѣ нашего отличія отъ Европы: наше общество дѣйствительно сложилось не путемъ завоеванія. Но къ этому надо было добавить печальныя слова: „а путемъ экономическаго закабаленія крестьянской массы".

Оставляю причины „въ сторонѣ". Мнѣ важенъ лишь фактъ, что Московское государство не стало аристократическимъ, что въ его жизни не выработалось никакихъ традицій, „борьбы за право", что оголенная экономическая эволюція, защита своихъ хозяйственныхъ интересовъ стояли на первомъ планѣ. Всѣ извѣстные намъ факты на сторонѣ такой именно формулы. Въ XVII-мъ столѣтіи русскіе дворяне не разъ призывались на земскіе соборы и каждый разъ спѣшили сложить съ себя свои полномочія, потому что неотложныя дѣла ихъ маленькихъ хозяйствъ стояли у нихъ на первомъ планѣ. Кое-какое политическое броженіе отмѣчаетъ Милюковъ въ сферѣ средняго (не-придворнаго) дворянства при вступленіи Анны Ивановны (1730 г.) на престолъ, но, очевидно, оно было не прочно и не глубоко, потому что позже рѣшительно ни въ чемъ не проявилось.

Комиссія, созванная черезъ 40 лѣтъ Екатериной (1767), давала

---

[50]) В. Ключевскій, „Боярская дума", предисловіе.

ему превосходный случай, но къ этому времени „русское дворянство успѣло окончательно забыть объ интересахъ общенародія и войти во вкусъ сословныхъ привилегій. Перенеся центръ тяжести своихъ желаній отъ политической реформы къ реформѣ сословной, оно получило возможность дѣйствовать по линіи наименьшаго сопротивленія и въ духѣ установившагося сословнаго эгоизма. Въ результатѣ—давленіе, такъ сказать, физіологическое оказалось гораздо дѣйствительнѣе давленія идейнаго, и русская исторія пошла далеко не тѣмъ путемъ, о которомъ мечтали руководители 1730 года".

Вѣрнѣе, русская исторія продолжала итти тѣмъ путемъ, какимъ шла раньше, съ постояннымъ преобладаніемъ „физіологическаго" надъ „идейнымъ", голой экономики надъ жизнью духа. Быть можетъ, отсюда такая поразительная скудость въ прошломъ нашего дворянства. Сословный эгоизмъ сосредоточилъ его помыслы на главномъ его хозяйственномъ интересѣ: закабаленіи массы. Все, большее этого, казалось ему какъ бы идущимъ отъ лукаваго, по крайней мѣрѣ, ненужнымъ, и во всѣхъ перипетіяхъ его жизни звучитъ и повторяется настойчиво все тотъ же мотивъ предпочтенія чечевичной похлебки праву первородства.

Это не могло пройти даромъ, не создать своеобразной психологіи, очень непривлекательной, поражающей своей скудостью. Вся забота, все стремленіе въ одномъ—упрочить свое владѣніе крестьянами, обезпечить себѣ надежныя рабочія руки, сдѣлать мужика крѣпкимъ землѣ. Что могло вырасти на такой почвѣ?

3. Административный путь русской исторіи.

Общественная жизнь нуждается, повидимому, въ сильныхъ ферментахъ, чтобы люди могли проявить глубину своего духа, чтобы изъ ряда бурь и волненій могли выйти наружу затаенные элементы ихъ мысли и чувства. Но въ московскій періодъ нашей жизни даже борьба съ татарами не сыграла такой роли и, быть можетъ, за исключеніемъ одной только Куликовской битвы, велась отъ начала до конца чисто „административнымъ" путемъ.

Западная жизнь переходила отъ одного „безумія" къ другому: отъ крестовыхъ походовъ къ грандіозной борьбѣ съ чортомъ, съ колдунами и вѣдьмами, потомъ къ страстному увлеченію древнимъ міромъ, наукой, открытіями, наконецъ, къ религіозно-соціальнымъ революціямъ XIV—XVI вѣковъ. Капиталъ въ своихъ примитивныхъ формахъ сталъ тревожить и шевелить ее еще задолго до начала такъ наз. новой исторіи. Борьба побѣжденныхъ съ побѣдителями, напряженныя исканія религіозной

мысли, все безуміе религіознаго фанатизма, упрямая и настойчивая борьба городовъ и сословій за свои права, рыцарство, имперія и папство въ ихъ сложныхъ взаимныхъ отношеніяхъ наполняютъ своимъ шумомъ исторію Запада, обращая ее въ процессъ постояннаго броженія.

Наша исторія знала мало безумій, мало массовыхъ увлеченій. Она не пережила ни одной умственной эпидеміи, ни одного періода, ярко окрашеннаго фанатизмомъ, ни одной идеи, которая заставила бы двигаться массы. Даже въ расколѣ и безпорядкахъ смутнаго времени русскому человѣку не пришлось проснуться. Расколъ сразу же усыпилъ его своей догмой; смутное время, очень непродолжительное, не захватило массъ, не дало имъ случая высказать глубину своихъ желаній, которая такъ и осталась несознанной вплоть до Стеньки Разина.

Административный путь—излюбленный путь нашей исторіи. Свое полное объясненіе и оправданіе онъ находитъ въ неподвижности русскаго человѣка, въ мѣщанскихъ и хозяйственныхъ инстинктахъ тѣхъ классовъ, которые одни могли бы претендовать на участіе въ немъ и обратить его въ общественный. Цѣлая огромная страница западной жизни—борьба за право—осталась намъ совершенно неизвѣстной.

Мы знаемъ, какъ высшее сословіе, преслѣдуя хозяйственныя выгоды, жертвовало ради нихъ своимъ политическимъ положеніемъ,—какъ земскіе соборы спѣшили передать приказамъ и подьячимъ свои полномочія, чтобы быть свободными для своихъ помѣщичьихъ и торговыхъ дѣлъ,—какъ вообще за помощь, которую администрація оказывала „дворянству“ въ установленіи кабалы и крѣпостничества, она получала взамѣнъ всю полноту власти и инициативы. „Мы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права надъ своими ближними“, съ грустью и проклятіемъ въ душѣ говоритъ Герценъ о своемъ сословіи, и эта мысль, по своей глубинѣ похожая на откровеніе, могла бы служить эпиграфомъ ко всей исторіи русскаго дворянства. Она превосходно объясняетъ торжествующій ходъ русской государственности.

Все это образовалось въ московское время. Все это—созданіе Москвы, ея психологіи, ея экономическихъ отношеній, ея скуднаго жизненнаго идеала, такого простого, хозяйственнаго и узко-практическаго, что всѣ будто-бы великія идеи, тревожившія Кремль, кажутся намъ мелкой рябью на поверхности огромнаго и спокойнаго воднаго пространства.

Мы должны принять эту скудость идеала, скудость жизни, какъ фактъ. Дѣло историка объяснить его причины; намъ достаточно признать его существованіе, его власть надъ умами и жизнью. Намъ надо признать матеріализмъ нравственной жизни Москвы, намъ надо признать, что московскій человѣкъ былъ особенно удобенъ къ прибыли и лихвѣ, „хитростью собираемой“...

Этотъ московскій человѣкъ торговалъ, занимался придворными интригами, главнымъ же образомъ, хозяйничалъ въ своихъ помѣстьяхъ. Тамъ, въ этихъ послѣднихъ, были главные его интересы, которымъ служило какъ средство все остальное. По тысячѣ соображеній—чтобы его домъ былъ выстроенъ, земля обработана и помѣстье давало доходъ,—ему надо было подчинить и закабалить себѣ крестьянскую массу, живущую въ его владѣніяхъ. Безъ этого всѣ его права и преимущества обращались въ пустое слово. Для этого жизнь не видѣла и не знала никакого другого средства помочь въ этомъ „предпріятіи", была, конечно, только центральная власть, только администрація. Сдѣлать изъ свободнаго человѣка раба, закрѣпить его въ его рабствѣ, устранить всякую возможность протеста и борьбы съ его стороны въ любое время—не легко. И эта задача цѣлые вѣка поглощала вниманіе и силы нашихъ помѣщиковъ. Они сосредоточились на ней и въ ней, забывши о всемъ остальномъ, быть можетъ, даже и не подозрѣвая о существованіи всего остального. Имъ надо было во что бы то ни стало добиться самодержавія въ своихъ имѣніяхъ. Администрація санкціонировала ихъ растущую власть, водворяла порядокъ, приковывала крестьянъ къ землѣ все болѣе короткой цѣпью,—за это ей было уступлено самодержавіе въ государственной жизни вообще.

Мнѣ не надо разсказывать перипетій этого долгаго процесса; я напомню только читателю, что Стенька Разинъ явился въ концѣ XVII в., что никакихъ ближайшихъ поводовъ къ его появленію не было и что, если бы даже исторія молчала, какъ мертвая, мы должны предположить сотни маленькихъ бунтовъ и маленькихъ Разиныхъ до него. Пусть дикая, пусть невѣжественная масса, но она упиралась, идя подъ ярмо, она всячески протестовала и боролась; ея постоянно растущее недовольство было той угрозой, которая заставляла свободную и привилегированную Русь видѣть въ центральной администраціи свою единственную опору и защитника. И ничего удивительнаго, что, какъ только правительство взялось помогать закабаленію массы, а церковь санкціонировать его,—ихъ всемогущество было признано и обезпечено на цѣлые вѣка впередъ.

Если теперь мы представимъ себѣ народную и государственную жизнь, гдѣ такой процессъ если и не единственный, то все же самый главный, всѣмъ понятный и всѣмъ нужный,—то ея психологія не можетъ не представляться во всемъ ея ужасѣ. За право лишить ближняго его свободы человѣкъ продаетъ и отдаетъ свою, за право быть рабовладѣльцемъ человѣкъ самъ становится рабомъ.

Правда, своего рабства онъ почти не чувствуетъ, по крайней мѣрѣ, долго не чувствуетъ, а лишеніе ближняго свободы приноситъ ему одну непосредственную выгоду за другой. Растутъ его доходы, украшается его домъ; возможность казнить и миловать, поступать по всей своей волѣ

тѣшитъ каждый данный моментъ его самолюбіе и его „самодурство". У себя дома, въ имѣніи, онъ деспотъ и царь, передъ которымъ склоняется все. Какъ бы ни былъ невѣжественъ, онъ превосходно понимаетъ, что только государство, только центральная власть можетъ поддержать его на этой высотѣ, и онъ спокойно идетъ въ кабалу къ этому государству и привыкаетъ понемногу видѣть въ немъ единственный источникъ всѣхъ благъ, единственаго подателя всѣхъ милостей, охотно и искренно называя себя передъ нимъ холопомъ Васькой или холопомъ Ивашкой.

Нужны были цѣлые вѣка жизни, все разнообразіе и могущество западныхъ вліяній, постоянныя напоминанія въ видѣ упорныхъ крестьянскихъ волненій, чтобы московскій человѣкъ и русскій помѣщикъ задалъ себѣ вопросъ—въ лицѣ, по крайней мѣрѣ, лучшихъ и наиболѣе утонченныхъ своихъ представителей,—да на какомъ же правѣ владѣетъ онъ себѣ подобными? На огромномъ пространствѣ временъ этого вопроса не было. Фактъ, сила служили и оправданіемъ и объясненіемъ...

Но, устраивая тюрьму и играя въ ней роль тюремщика, какой человѣкъ не загрязнитъ свою душу, не положитъ на нее клейма рабства и рабовладѣнія? Встрѣчая постоянно противодѣйствіе себѣ, онъ естественно поставитъ въ основу всѣхъ добродѣтелей подчиненіе той силѣ, которая одна обезпечиваетъ его первое мѣсто, его власть, его, тѣпанція тѣло, соблазнительныя привилегіи.

Я думаю, что вся скудость московской жизни, вся скудость и весь матеріализмъ ея мышленія и вся психологія объясняются столько же невѣжествомъ и русско-татарской расовой сущностью, сколько и (навѣрное даже больше и лучше) этимъ медленнымъ, упорнымъ и омерзительнымъ процессомъ закабаленія массы, игравшимъ первенствующую роль... Не скрываю отъ себя, что процессъ этотъ естественный и стихійный, но тѣмъ онъ сильнѣе, тѣмъ больше и глубже захватывалъ онъ и захватилъ, наконецъ, всего человѣка.

Котошихинъ разсказываетъ всякіе ужасы о психологіи москвичей. Здѣсь ложь, измѣна, предательство, пренебреженіе къ личности и достоинству человѣка достигаютъ какого-то уродства. Но не трудно видѣть во всемъ этомъ логически-неизбѣжный выводъ изъ общаго уклада московской жизни.

Картина, нарисованная Котошихинымъ,—это картина деспотизма и самодурства, проникающихъ всю общественную и семейную жизнь московскихъ людей.

„Ложь—религія рабовъ". И религія, и убѣжище, и средство самозащиты или нападенія, способъ наживы и жизненнаго успѣха. Домострой учитъ повиноваться, обманывать, устраивать свой достатокъ. Это теорія. Котошихинъ показываетъ намъ практику жизни.

Рабовладѣніе мстило за себя, понижая духовный типъ человѣка. Постоянная опасность встрѣтить противодѣйствіе и отпоръ со стороны рабовъ дѣлала людей трусливыми и жестокими, дѣлала ихъ, въ свою очередь, рабами.

О! Это воистину „хитрая механика“ закабалять себѣ подобныхъ! Не только хитрая, но и дорогая, и трудно даже сказать, кому, въ концѣ концовъ, она обходится дороже—самому ли рабу или рабовладѣльцу. Еще на Западѣ „господинъ“ какъ ни какъ могъ оправдывать себя тѣмъ соображеніемъ, что онъ—завоеватель, что его предки „проливали кровь“. У русскихъ людей не было даже и этой тѣни оправданія. Интересы хозяйства и помощь центральной администраціи—вотъ все, что составляло ихъ „права“, все, что они могли сказать на судѣ своей совѣсти.

Къ счастью для нихъ, этотъ судъ наступилъ лишь черезъ два столѣтія слишкомъ. Сами они никакого оправданія не искали. Ихъ домовитое, хозяйственное міросозерцаніе спокойно приняло фактъ насильственнаго закабаленія массы, какъ нѣчто безусловно для себя выгодное. Они думали лишь о томъ, какъ бы еще и еще укоротить цѣпи, связывавшія крестьянина съ ихъ землей, ихъ помѣстьями, и только въ этомъ проявляли свою государственную мудрость, сознаніе своихъ сословныхъ интересовъ, пониманіе общей политики. Они не замѣчали и не хотѣли (б. м., просто не могли) замѣтить, какъ вмѣстѣ съ уплотненіемъ рабства растетъ въ ихъ средѣ и „безстыдство, и ненависть, и неправда жизни“, какъ сами они все глубже уходятъ въ тину мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей, самодурства, трусости или, по терминологіи того времени, малодушества.

Рабство, повторяю, мстило за себя. Рабовладѣльцы, какъ всегда и вездѣ, сами обращались въ рабовъ [51])...

4. Разложеніе дворянской жизни и дворянской идеи, какъ начало самостоятельной литературы.

Эти скудные и скупые завѣты исторіи получило въ наслѣдство наше литературное барство. Только отказавшись отъ нихъ или опредѣляя ихъ своимъ самосознаніемъ, какъ „грѣхи“ прошлаго, барство, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, могло приступить къ освободительной работѣ. Оставляя въ сторонѣ постоянный общій множитель—вліяніе Запада, мы въ этомъ процессѣ должны поставить на первомъ планѣ

[51]) См. „Романовичъ-Славатинскій“, „Дворянство въ Россіи“, П. Милюковъ, „Изъ исторіи русской интеллигенціи“, его же „Очерки“ и т. д.

экономическое разореніе дворянства, которое дало себя почувствовать съ начала XIX в. Уже Гоголь писалъ: „Помѣщики видятъ теперь сами, что съ однимъ хлѣбомъ и винокуреніемъ нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинаютъ понимать, что пора приниматься за мануфактурныя фабрики, но капиталовъ нѣтъ, счастливая мысль дремлетъ, наконецъ, умираетъ, а они рыскаютъ съ горя за зайцами"... Мало-помалу, дворянскія имѣнія переходили подъ залогъ въ ломбардъ, дробились и истощались. Угроза нищеты, разореніе надвигались со всѣхъ сторонъ. Это было уже началомъ конца. Изъ своего прошлаго наше барство не вынесло никакихъ воспоминаній, ни одной цѣнной мечты, никакихъ опредѣленныхъ цѣлей. Всѣ долгіе годы, пока оно было здорово, оно жило молча и тускло своей полуживотной, полурастительной жизнью. Его разбудили столько же пушки Наполеона, западно-европейскія идеи, сколько и внутренній процессъ распаденія.

Смерть—муза философіи.

Предчувствіе смерти своей среды, своего слоя создало всю мудрость и красоту нашей барской литературы.

Изучая прошлое, мы видимъ, какъ каждый поступательный фактъ жизни вносилъ смерть и разложеніе въ наши дворянскія гнѣзда. Они могли держаться въ цѣльности и нерушимости, лишь при морали „Домостроя, при лѣнивомъ потребительномъ хозяйствѣ, при неподвижной въ своихъ основахъ государственной жизни. Каждая земледѣльческая машина, изобрѣтенная гдѣ-нибудь на Западѣ, каждая сознанная государствомъ необходимость сравняться въ томъ или другомъ отношеніи съ сосѣдями, каждая свѣжая мысль, новая потребность,—все это разрушало барскую среду, дѣлало бреши въ ея довольствѣ собой, ея самодостаточности.

Надо было преодолѣть ея наслѣдство, заподозрѣть законность ея бытія, подкопаться подъ крѣпостное право, сказать вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

„Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца"—

чтобы стали возможными и мысль, и творчество, и литература...

Надо было почувствовать стыдъ и приближеніе смерти.

Мы находимъ все это въ нашей барской литературѣ, мы видимъ дальше, что это почва, на которой она выросла.

Въ этомъ много героическаго. Но все же не надо забывать, что тяжелый грузъ исторіи остался и тянулъ внизъ даже лучшія стремленія.

1) Соціальнымъ факторомъ, создавшимъ нашу литературу, была

барская, помѣщичья среда, которая и наложила на всѣ ея произведенія особый отпечатокъ.

2) Въ самостоятельной своей роли литература выступила на сцену уже въ то время, когда барская среда разлагалась, стихійно идя навстрѣчу торгово-промышленному строю.

3) Поэтому въ извѣстномъ смыслѣ барская литература—орхидея, особенно роскошные экземпляры которой вырастаютъ на могилахъ или даже на трупахъ.

4) Разложеніе, предчувствіе своей соціальной смерти—тоже ферментъ, заставляющій безпокойно метаться и искать.

5) Безпокойно металась и искала наша барская литература, нервно увлекаясь западными движеніями, но выражая въ то же время свою вырождающуюся психологію.

6) Исторія не завѣщала барству идей чести, борьбы за право, развитія. Болѣе лѣнивой и грузной жизни, чѣмъ та, которую оно вело, нельзя себѣ представить. Эта обстановка, ея темныя влеченія, преображенныя художественнымъ творчествомъ, выразились въ абстрактномъ героизмѣ и меланхоліи, какъ результатѣ пресыщенности и предчувствія близкой соціальной смерти.

7) Взбродившія силы барства надъ раскрытой уже передъ нимъ могилой ушли въ художественное творчество...

8) Здѣсь оно вспоминало себя, прощалось съ собой, какъ бы говоря жизни: „не поминай меня лихомъ“...

9) Въ славянофильствѣ оно облюбовало свою давно минувшую молодость и пыталось свою жизнь, свой типъ объединить съ жизнью всего народа.

10) Это была, конечно, неудачная попытка. Этого хотѣло сердце, противъ этого возставалъ умъ, видѣвшій всю неизбѣжность рокового конца.

11) И вотъ передъ нами безконечный рядъ красивыхъ лишнихъ людей... Лучшіе изъ нихъ покорно говорили жизни: „Caesar morituri te salutant“.

Оно умирало, наше барство, умирало отъ новыхъ потребностей, новыхъ идей, собственной лѣни. Смутно чувствовало оно ужасъ грозовой тучи, раскинувшейся надъ дворянскими усадьбами, и въ минуты просвѣтленія знало, что нѣтъ средствъ предотвратить грозу, что гроза неизбѣжна. Лучшіе его люди, какъ Герценъ, Огаревъ, Тургеневъ, пошли навстрѣчу приближающейся смерти. Больше: они звали ее, привѣтствовали эту „смерть избавительницу“ и ту новую, чуждую имъ жизнь, которая должна была возникнуть на кладбищѣ средневѣковой Россіи„

Въ созданной имъ литературѣ барство исповѣдывалось, отпѣвало и хоронило себя. И это дѣлалось съ такой искренностью и вмѣстѣ съ тѣмъ такой печалью, что она, литература эта, надолго останется одной изъ самыхъ красивыхъ страницъ изъ жизни человѣческой души... Я бы сказалъ даже, что это—героическая страница, потому что преодолѣвать приходилось много: всю свою исторію, всѣ свои привычки, свою слѣпую стихійную любовь къ средѣ и обстановкѣ, создавшимъ человѣка, къ галлереѣ предковъ, къ дѣтскимъ воспоминаніямъ.

Брошенное въ противорѣчіе между разумной ненавистью и слѣпой любовью, барство попало въ истинно трагическое положеніе. Оно проклинало почву, на которой выросло, подрубало сукъ, на которомъ сидѣло, признавало безчестнымъ и постыднымъ свое собственное существованіе.

Его литература, повторяю,—исповѣдь въ день судный...

Это прошло, это умерло для насъ, но мы не можемъ еще и теперь безъ огромнаго интереса, вниманія и уваженія смотрѣть на героевъ разыгравшейся драмы.

Одинъ изъ нихъ, Герценъ, такъ глубоко выносившій идею неизбѣжной роковой смерти, неизбѣжнаго рокового конца, съ сосредоточенной грустью и страстью говоритъ по этому поводу:

„Внутри человѣка есть постоянный революціонный трибуналъ, есть безпощадный Фукье Тенвиль и, главное, есть гильотина...

„Кто не помнитъ своего логическаго романа, кто не помнитъ, какъ въ его душу попала первая мысль сомнѣнія, первая смѣлость изслѣдованія—и какъ она захватила потомъ болѣе и болѣе и дотрогивалась до святѣйшихъ достояній души? Это-то и есть страшный судъ разума. Казнить вѣрованія не такъ легко, какъ кажется; трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лелѣяли, утѣшали,—пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но въ этой средѣ, въ которой стоитъ трибуналъ, тамъ нѣтъ благодарности, тамъ нѣтъ святотатства. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвавъ передъ ея судъ и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся: одни идутъ направо, другіе налѣво; одни замираютъ на поддорогѣ, какъ верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собой“...

Въ этихъ строкахъ—весь процессъ, скрытая мука, пережитыя сомнѣнія. Таинственно, грозно, какъ смертный приговоръ, звучалъ голосъ

безпощадной жизни. Раньше она ждала долго и терпѣливо, даже поддерживая, награждая, балуя. Въ ней таилось возмездіе, что всякій, владѣющій рабами, самъ въ концѣ концовъ становится рабомъ; но, не сознанное, не формулированное, оно никого не безпокоило. Нужна была вся грубая реальность задолженности, разоренія, надвигавшейся нищеты, чтобы тайное стало явнымъ, чтобы утвержденіе и признаніе жизни перешло въ ея отрицаніе, въ проклятіе ей...

Не сразу, конечно, и не у всѣхъ. Только избранные, какъ Чаадаевъ, Герценъ, Огаревъ, Тургеневъ, поняли, что, „переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собой“. Большинство, заглянувъ въ бездну, испугалось и отошло въ сторону. На помощь ему, какъ всегда, являлись миражи и призраки—огромные миражи и огромные призраки, какъ славянофильство, какъ русскій мессіанизмъ, въ расплывчатыхъ очертаніяхъ которыхъ, въ чьихъ громкихъ красивыхъ фразахъ, словахъ, надеждахъ путалась и терялась трезвая мысль, блуждало воображеніе...

Но голосъ смерти звучалъ все ближе, все громче[52]).

5. Попытка дворянскаго самоопредѣленія. Славянофильство.

Это, несомнѣнно, большое теченіе русской мысли, имѣвшее своихъ поэтовъ, какъ С. Аксаковъ, С. Хомяковъ, Островскій, Тютчевъ, своихъ историковъ (К. Аксаковъ, Бѣляевъ), публицистовъ (К. и Н. Аксаковы, Ю. Самаринъ), философовъ (Кирѣевскій) и т. д. Въ періодъ своей юности это теченіе русской мысли было полно благороднѣйшихъ пожеланій, гуманныхъ идей, духа вражды къ бюрократической, чиновничьей Россіи. Въ концѣ концовъ, въ основѣ своей славянофильство носило идею, которую не можетъ не пережить ни одинъ народъ—или которой онъ не можетъ не переболѣть,—идею о своемъ особомъ, высшемъ призваніи[53]). Вліяніе славянофильства, даже на его противниковъ, было велико. Имъ въ значительной степени подчинился Герценъ, отчасти Бѣлинскій и Чаадаевъ. Чернышевскій находилъ, что всѣ грѣхи славянофиловъ можно простить за то, что они открыли „общину“. Народничество, особенно въ опростительномъ своемъ потокѣ, восприняло много излюбленныхъ славянофильскихъ идей. Толстой очень близокъ къ нимъ по философскимъ своимъ мыслямъ и по своимъ взглядамъ на русскій народъ.

Передъ нами, повторяю, нѣчто большое и вліятельное. „Потому

---

[52]) Герцена я вездѣ цитирую по женевскому изданію 70-хъ гг.

[53]) Конечно, это только отраженіе или одухотвореніе идеи всемірнаго владычества.

что славянофильство дѣйствительно органическая теорія, вскормленная русской помѣщичьей жизнью, русской лѣнью, русской жаждой опрощенія, и нисколько не странно предположить, что славянофильство съ его изгибами и развѣтвленіями, его странной смѣсью дерзости мысли и ея холопства, политической безтактности и свободолюбія, протеста и оправданія дастъ когда-нибудь драгоцѣнный матеріалъ соціологу, этнографу, желающему проникнуть въ особый психологическій міръ русскаго дворянства“ [54]).

Славянофильство очень сложно. Отъ своей центральной мысли, что русскому народу (и славянскому племени вообще) предназначена особая роль въ мірѣ, особый путь развитія, оно длинными лучами разошлось въ разныя стороны и на правой, въ лицѣ Погодина, Шевырева и др., слилось съ официальной народностью, на лѣвой—съ мечтами Герцена и Огарева объ освобожденіи Россіи. Въ немъ много комическаго, наивнаго, что Герценъ суммировалъ въ извѣстной шуткѣ, будто славянофилы спорятъ, „откуда русскія вѣдьмы: изъ Кіева или Новгорода“,—но видна и настоящая серьезность мысли и даже фанатизмъ вѣры. Славянофильство въ общемъ—огромная туманность, скрывшая въ своей „массѣ“ самые противорѣчивые элементы: отъ жажды опрощенія до восторговъ при мысли, что русскій народъ возстановитъ Византійскую имперію.

Славянофильство сложно. Въ русской литературѣ вы не найдете двухъ одинаковыхъ взглядовъ на него. Перебраны всѣ возможные: отъ полнаго отрицанія до преклоненія. Враги славянофильства то и дѣло становились его защитниками, какъ Герценъ, или начинали признавать „здоровый корень доктрины“, какъ Бѣлинскій.

Славянофильское теченіе мысли Герценъ хочетъ даже связать со всей русской исторіей.

„Славянофильство, писалъ онъ, или руссицизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и массовый инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало со времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ“.

„Противодѣйствіе петербургскому „объевропеиванію“ Россіи никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повѣшенное на зуб-

---

[54]) У Толстого то же, что и славянофиловъ, недовѣріе къ разуму, раціонализму,—вѣра въ интуицію, т. е. во внутреннее откровеніе (у славянофиловъ еще и во внѣшнее),—нелюбовь къ Европѣ и европейскому въ русской жизни, почему, напр., онъ не могъ заинтересоваться ни эпохой Петра I, ни декабристами. Но, конечно, ни панславизмомъ, ни проектомъ возстановленія Византіи и т. д. Толстой никогда не увлекался.

цахъ Кремля и тамъ пристрѣленное Меньшиковымъ и другими царскими „потѣшными“ въ видѣ буйныхъ стрѣльцовъ, оно—это противодѣйствіе—является, какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елизавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на престолъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей“.

Славянофилы несомнѣнно пытались говорить отъ лица русскаго народа, явиться какъ бы его духовными представителями. „Русскій народъ хочетъ“, „русскій народъ вѣритъ“, „русскій народъ знаетъ“,—это любимые ихъ обороты. Не все, однако, въ этихъ претензіяхъ можетъ быть оправдано нами, но отдадимъ имъ ту справедливость, что общинно-земледѣльческій бытъ нашелъ въ славянофилахъ своихъ влюбленныхъ защитниковъ.

Они были просвѣщенными людьми и гуманистами XIX вѣка. Защищая свободу „земли“, „земства“, т. е. народа, общины,—хотѣли и полной вѣротерпимости, и свободы слова, и земскихъ соборовъ; они мечтали объ отмѣнѣ крѣпостного права, считая его учрежденіемъ прежде всего бюрократическимъ.

„Тяга“, опростительная тяга къ народу, простонародью даже, была у славянофиловъ. Отдѣленіе отъ народной жизни они считали величайшимъ грѣхомъ привилегированнаго сословія, новой Россіи, реформы Петра и русскаго бюрократизма.

„Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души въ народѣ. Чутье ихъ было проницательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное имъ состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная болѣзнь“.

„Выходъ за нами, говорили славянофилы, выходъ въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніи къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе; воротимся къ прежнимъ до-петровскимъ нравамъ“.—И, чтобы не оставалось никакого сомнѣнія, они требовали возвращенія во всемъ—въ языкѣ, одеждѣ—презрѣнія и ненависти къ иностранцамъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ разсказывалъ Чаадаевъ.

Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости сгустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый національнымъ нашелъ себѣ убѣжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

„Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, со своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каѳедры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдовало, но все же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр., и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками".

Есть, повидимому, одинъ пунктъ, гдѣ голосъ славянофильства сливается съ голосомъ нѣкоторыхъ серьезныхъ историческихъ воспоминаній, одинаковыхъ для всѣхъ слоевъ народа. Въ этомъ голосѣ слышно недовѣріе къ Европѣ, европейской культурѣ, даже—боязнь Запада...

Славянофилы [55]) дошли до геркулесовыхъ столбовъ нелѣпости, заявивъ (быть можетъ, впрочемъ, въ припадкѣ полемическаго раздраженія), что Западъ „сгнилъ" или „гніетъ", но плохо, грубо, неумѣло они своимъ отрицаніемъ затрогивали больную струну—наше отношеніе къ культурѣ и развитію. Если теперь, съ наступленіемъ капиталистической эры, это вопросъ рѣшенный, то совсѣмъ не былъ онъ рѣшеннымъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, и земледѣльческій нищій народъ могъ, разумѣется, сказать многое, гораздо даже больше, чѣмъ славянофилы. противъ нашего государственнаго бюрократическаго прогресса, въ которомъ главнымъ образомъ и выражалось нашествіе на насъ „культуры". И здѣсь, больше чѣмъ въ какихъ бы то ни было другихъ пунктахъ, славянофилы сошлись съ массовымъ инстинктомъ, отражая въ своемъ ученіи, хотя, повторяю, и плохо, грубо, неумѣло, а часто и нелѣпо, нашу постоянную и естественную „борьбу съ Западомъ" [56]).

6. Борьба съ Западомъ.

Дѣло представляется мнѣ въ такомъ видѣ:

Не мы завоевали культуру. Это она завоевала насъ: сначала льстивыми словами и всякими соблазнами, а затѣмъ, схвативъ за горло и по-

---

[55]) Не всѣ, впрочемъ (К. Аксаковъ, братья Кирѣевскіе особенно).

[56])О славянофилахъ цѣлая литература. Пользуюсь статьями С. А. Венгерова въ I-мъ томѣ его словаря. М. Кояловича „Исторія". Вл. Соловьевъ „Національный вопросъ въ Россіи".

ставивъ вопросъ: или жизнь со мной, или смерть безъ меня. Петръ I выбралъ жизнь—плохую, скудную, но жизнь.

Но пусть культура не требуетъ никакихъ ни извиненій, ни оправданій, пусть это такая же необходимость, какъ вращеніе земли вокругъ солнца; не надо забывать страшной драмы, которую переживаетъ всякій народъ при нашествіи культуры. Значительная часть этой драмы уже забыта нами, какъ прожитое и перейденное, но кое-что осталось еще и даетъ знать о себѣ.

Теперь еще каждый день мы можемъ наблюдать смерть разнаго рода народцевъ, то заброшенныхъ въ снѣга Сибири, то въ Африку, то на острова Тихаго океана,—смерть долгую и мучительную, обратившуюся въ процессъ вымиранія. Европейцы всячески стараются ускорить его, и тамъ и здѣсь ускорили такъ, что дѣйствительно не осталось ничего отъ вчерашней жизни десятковъ и сотенъ самостоятельныхъ племенъ и народцевъ. Прямое насиліе и избіеніе, принудительныя, почти каторжныя работы, развратъ и сифилисъ, табакъ и водка, одежда и миссіонерство,—все стираетъ съ лица земли людей другой расы. Но даже тамъ, гдѣ, казалось бы, нѣтъ прямого насилія, „дикари“ уступаютъ свое мѣсто европейцамъ, потому что они не могутъ жить въ новыхъ, созданныхъ послѣдними, условіяхъ. Они вымираютъ отъ тоски, отъ недостатка простора, отъ одежды и пищи, отъ водки и Евангелія[57]).

Мы, русскіе, вынесли уже большую часть страшнаго пути. Но наивно было бы думать, что драма „цивилизаціи и дикихъ племенъ“ не разыгрывалась и у насъ. Холерные, чумные, картофельные бунты, постоянныя волненія среди крестьянъ, у которыхъ во имя государственной крѣпости и единство, во имя интересовъ ростовщическаго и торговаго капитала, (а въ свое время все это дѣйствительно было культурой) отнимали просторъ и свободу,—только слабое отраженіе этой драмы. Ея отклики, кромѣ того, найдете въ расколѣ и литературѣ... Надо предположить нѣчто большее, не закрѣпленное еще никакими памятниками и воспоминаніями: жестокія, на жизнь и смерть, схватки первобытной души съ новыми богами, новой мыслью, все распространявшими свою власть и вліяніе винтами и шатунами государственнаго механизма. Цѣлая пропасть лежитъ между вѣрой во что вѣрится и вѣрой во что указано. Безмѣрный ужасъ долженъ былъ овладѣть душой человѣка, когда ему сказали, что онъ не можетъ сняться со своего мѣста и итти куда хочетъ, какъ то дѣлали его отцы и дѣды[58]).

---

[57]) Однимъ изъ необходимыхъ элементовъ культуры является элементъ ускоренія. Ускоряется темпъ жизни, возрастаетъ ея (часто, впрочемъ, кажущееся) разнообразіе. Это требуетъ особой подготовки со стороны нервной системы.

[58]) Я говорю, конечно, о прикрѣпленіи крестьянъ, или, какъ теперь выражаются,

Недовѣріе народа къ культурѣ—дѣло совершенно понятное. Въ его жизни нѣтъ пока реальныхъ благъ, которыя онъ связывалъ бы съ ея именемъ; вводилась же она всегда путемъ насилія, батоговъ, розогъ, пила черезъ полицію и черезъ барство. Недовѣріе же къ этому послѣднему, напр., воспиталось вѣками того историческаго прошлаго, весь процессъ котораго сводился къ закабаленію массы и постепенному повышенію разныхъ оброчныхъ статей.

Но оставимъ народъ. Насъ ничуть не менѣе долженъ заинтересовать тотъ фактъ, что „опростительная тенденція" дѣйствительно еще и теперь живетъ въ насъ, а самое главное въ концѣ XIX в. въ Россіи послышалась рѣзкая проповѣдь противъ культурнаго строя жизни, и эта проповѣдь нашла себѣ откликъ какъ разъ среди интеллигенціи. Среди толстовцевъ, которыхъ, конечно, я имѣю въ виду въ данномъ случаѣ, были не только студенты и учителя, но даже профессора, чиновники, помѣщики.

Вы скажете, что это было „маревомъ", которое разошлось очень быстро... Во-первыхъ, отвѣчу я, не „очень быстро", и, во-вторыхъ, было ли это только маревомъ, а не зарождалась ли эпидемія?..

Право, я не знаю, что было бы, если бы Толстой дѣйствительно „опростился", роздалъ свое имѣніе нищимъ и вышелъ за ограду Ясной Поляны, самъ нищій, и съ посохомъ въ рукахъ?..

Неужели смѣшно предположить, что „эпидемія" въ такомъ случаѣ могла принять повальный характеръ?

Но вспомнимъ вмѣшательство администраціи, вспомнимъ и то, что нѣтъ человѣка менѣе приспособленнаго къ роли пророка, чѣмъ Толстой. Все въ немъ, отъ мелкаго до великаго, не подходитъ къ этой роли. Мелкое—это (хотя бы) привязанность къ безукоризненно чистому и даже надушенному бѣлью, которое онъ носилъ въ самую „меланхолическую" пору своего ученія; крупное и великое—фанатизмъ исканія. Мысль Толстого—это та символическая змѣя, которая постоянно гложетъ самое себя, не зная ни минуты отдыха... Въ то время, какъ толстовцы бросали семью, занятія, города и очень часто шли на страданія, по крайней мѣрѣ, на очень серьезныя лишенія, самъ Толстой занимался „критикой", не разрушая, однако, фундамента личной своей жизни, оставаясь въ семьѣ, въ имѣніи, за напряженнымъ умственнымъ трудомъ.

Конечно, это не упрекъ.. Толстой, чтобы не солгать передъ собой, и не могъ дать больше того, что въ немъ есть. Но, очевидно, его ученіе

объ „организаціи земледѣльческаго труда"—несомнѣнно и подлинно культурномъ процессѣ.

такого рода, что нуждалось въ санкціи подвижничества. И тогда слѣдованіе ему могло обратиться въ эпидемію.

Но этой санкціи не было. Ее и быть не могло со стороны Толстого, который, въ концѣ концовъ, все же утонченный скептикъ, обладающій способностью фанатически вѣрить въ свои настроенія... Въ толстовщинѣ, такимъ образомъ, недоставало самаго важнаго—самого Толстого.

Малые размѣры „толстовства"—случайность. Самая возможность его—фактъ большой важности. Она показываетъ, что мысль объ особомъ пути русскаго народа вмѣщается еще въ умѣ тѣхъ, кто даже порвалъ со всѣми призраками и самообманами офиціальной Россіи и ея казеннаго патріотизма.

7. Русскій мессіанизмъ.

Мысль о нашемъ особомъ пути—излюбленная мысль славянофиловъ. Эта мысль выросла въ цѣлую систему русскаго мессіанизма. Россія призвана стать во главѣ славянской расы и перестроить жизнь Европы и всего человѣчества на началахъ евангельскаго ученія, воспринятаго ею въ наиболѣе чистомъ видѣ,—православія. Вотъ „смыслъ" этой системы.

Это въ то же время отвѣтъ славянофиловъ Гегелю [59])...

8. Ученіе славянофиловъ.

„Россія, пишетъ К. Аксаковъ,—земля совершенно самобытная, очень непохожая на европейскія государства и страны". Смѣшивать оба эти міра нельзя. Это величайшая ошибка и даже преступленіе. „Всѣ европейскія государства основаны завоеваніемъ". „Вражда есть ихъ начало". „Тамъ всегда одинъ порабощенъ другимъ". При этой постоянной борьбѣ, самое естественное чувство „есть столкнуть побѣдителя и сѣсть на его мѣсто". Это дѣлаетъ человѣка матеріалистомъ, заставляетъ его полагаться исключительно на внѣшнюю силу—оружія, денегъ, закона. Особенно—закона. Этотъ послѣдній, „жестокій, почти непремѣнно дѣйствующій при завоеваніи и порабощеніи, долженъ былъ усилиться, развиться и одинъ стать высоко въ глазахъ человѣка". Такъ и случилось. Государство, учрежденія, кодексы стали идеаломъ для западныхъ народовъ; народъ (земля) отказался отъ внутренняго, свободнаго, нравственнаго общественнаго начала и вкусилъ плодъ на-

[59]) Конечно, и Чаадаеву и всему западничеству.

чала внѣшняго, государственнаго; народъ захотѣлъ власти, въ республикѣ онъ хочетъ для себя всей полноты этой власти. Отсюда революціи, смуты, перевороты, одинъ призракъ которыхъ не могъ не пугать не только идейную сторону К. Аксакова и другихъ славянофиловъ, но и ихъ стихійной стороны, потому что они были люди добродушные, хорошіе семьяне, хорошіе, добрые помѣщики.

Русское государство, продолжаетъ Аксаковъ, напротивъ, было основано не завоеваніемъ, а добровольнымъ признаніемъ власти. Поэтому не вражда, а миръ и согласіе есть его начало.

„Русскій народъ не хочетъ государствовать". Сознавая всю необходимость власти, онъ отдалъ ее правительству, себѣ же онъ оставилъ жизнь внутреннюю, жизнь духа, гдѣ дѣйствуетъ не власть, а только нравственныя начала.

„Пути (Россіи и Запада)—совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могутъ сойтись между собой, и народы, идущіе ими, никогда не согласятся въ своихъ воззрѣніяхъ. Западъ, изъ состоянія рабства переходя въ состояніе бунта, принимаетъ бунтъ за свободу, хвалится ею и видитъ рабство Россіи. Россія же постоянно хранитъ у себя ею призванную власть, хранитъ добровольно, свободно. Бунтовать можетъ только рабъ, свободный человѣкъ не бунтуетъ".

Еще больше отдѣлилась Россія отъ Европы въ вопросѣ о вѣрѣ. Православіе было принято нами. Западъ пошелъ по дорогѣ католицизма. „Странно въ такомъ случаѣ говорить свое мнѣніе. Но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что по заслугамъ дался и истинный, дался и ложный путь вѣры,—первый Россіи, второй Западу".

Совершенно такое же по существу, хотя и нѣсколько менѣе воинственное по формѣ, представленіе о русскомъ народѣ было у Хомякова и у другихъ славянофиловъ. Въ концѣ концовъ, для нихъ это тотъ народъ, который воплощалъ когда-то въ своей общественной (общинной) жизни евангельское ученіе въ его наиболѣе чистомъ видѣ.

„Мы, говоритъ, напр., Хомяковъ, будемъ, какъ всегда и были, демократами между прочихъ семей Европы: мы будемъ представителями чисто-человѣческаго начала, благословляющаго всякое племя на жизнь вольную и развитіе самобытное. Законы могутъ создать у насъ на время родовое дворянство, можетъ быть, и родовое боярство, могутъ учредить у насъ майоратство и право семейнаго первородства; ложное направленіе народности въ литературѣ можетъ раздувать въ насъ искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего передъ нашею братіею, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно въ насъ вселить то чувство, тотъ ладъ и строй души, изъ котораго развиваются майоратство и аристократія, и родовое чванство,

и презрѣніе къ людямъ и народамъ. Это невозможно, этого не будетъ. Грядущее покажетъ, кому предоставлено стать впереди всеобщаго движенія; но если есть какая-нибудь истина въ братствѣ человѣческомъ, если чувство любви и правды и добра не призракъ, а сила живая и не умирающая, зародышъ будущей жизни міровой,—не германецъ, аристократъ и завоеватель, а славянинъ, труженикъ и разночинецъ, призывается къ плодотворному подвигу и великому служенію".

Но вотъ любопытная черта: если для несомнѣвающагося, упрямаго и прямолинейнаго К. Аксакова совершенно очевидно, что всѣ добродѣтели русскаго народа христіанскія, евангельскія, то у болѣе утонченнаго и, несомнѣнно, остроумнаго Хомякова мелькаетъ порою досадная мысль: нѣтъ ли между этими христіанскими доблестями и другихъ—рабскихъ?

Въ его гимнѣ народу-земледѣльцу то и дѣло вплетаются эти минорные, непріятные звуки. Сначала мы читаемъ, что „народы-земледѣльцы ближе народовъ-завоевателей къ общечеловѣческимъ началамъ", что „на нихъ не дѣйствовало одуряющимъ образомъ гордое волшебство побѣды", что „они не привыкли считать себя выше своихъ братьевъ, выше другихъ людей", что „имъ недоступно чувство аристократическаго презрѣнія къ чужимъ племенамъ", что „все человѣческое находитъ въ нихъ созвучіе и сочувствіе, и т. д. и т. д. На нашихъ глазахъ гимнъ обращается въ апоѳеозъ. Но рядомъ съ этимъ Хомяковъ говоритъ, что „народы-земледѣльцы легко мѣняютъ прежнюю свободу на смиренную подчиненность, и что побѣдители дорожатъ ими, какъ слугами кроткими и послушными, чѣмъ-то среднимъ между человѣкомъ и полезнымъ животнымъ". Онъ не скрываетъ отъ себя и того, что „земледѣлецъ обыкновенно позволяетъ внѣшнимъ обстоятельствамъ стереть свою личность".

Онъ самъ чувствуетъ, что во всемъ этомъ есть уже нѣчто досадное. Въ его разсужденіяхъ начинаютъ звучать меланхолическія ноты. Его особенно смущаетъ мысль, что „народъ порабощенный впитываетъ въ себя много злыхъ началъ, душа падаетъ подъ тяжестью оковъ, связывающихъ тѣло, и не можетъ уже развивать мысли истинно человѣческія". Но у него, какъ у славянофила, немедленно же готово утѣшеніе. Это утѣшеніе и въ томъ, что „рабство въ Россіи, весьма недавно введенное государственною властью, не внушало владѣльцамъ презрѣнія къ невольникамъ-хлѣбопашцамъ", и еще больше въ мысли, что „нашъ земледѣлецъ искони былъ помѣщику роднымъ кровнымъ братомъ"... Какъ ни химерична эта мысль, Хомяковъ однако считаетъ возможнымъ снова пропѣть гимнъ Россіи:

„Россія, пишетъ онъ, увлеченная бурнымъ движеніемъ дикихъ вѣковъ и соблазномъ западной науки, давно живетъ жизнью чуждою и несогласною съ ея настоящимъ характеромъ. Она утратила свое мирное братолюбіе въ раздорахъ удѣльныхъ, свое устройство гражданское въ возрастающей силѣ князей и особенно великокняжескихъ престоловъ, свою областную жизнь въ потопѣ монгольскомъ, свой чисто демократическій ладъ въ борьбѣ съ аристократической Польшей. Наконецъ, при всемъ наружномъ блескѣ она представлялась глазамъ наблюдателя глубоко, вполнѣ, безнадежно искаженною. Пришло ей время узнать себя, и отовсюду, нежданно-негаданно, пробиваются ростки старыхъ корней, которые считались погибшими, и народная жизнь является со всѣми признаками личности самобытной"...

Не слышится ли, однако, въ этихъ неуклюжихъ гимнахъ попытка опредѣлить міросозерцаніе земледѣльческаго народа, какимъ мы и были въ дѣйствительности? Земля, близость къ землѣ и природѣ, къ правдѣ земледѣльческаго труда у славянофиловъ на первомъ планѣ. Всѣ особенности русскаго характера они выводятъ изъ условій экономическаго, т. е. общинно-земледѣльческаго быта [60]).

Но, конечно, они не ограничились этимъ. Идея всемірнаго владычества отразилась въ ученіи славянофиловъ. Особенности нашего быта и характера они возвели въ перлъ созданія. Они назначили Россіи особую миссію—спасти Европу, міръ отъ разврата, матеріализма, невѣрія. И, лежа въ своихъ богатыхъ помѣстьяхъ или сидя въ московскихъ гостиныхъ, они упивались этой мечтой, разрисовывая ее всѣми красками своего, постоянно готоваго къ восторгамъ, гимну, утопіямъ, воображенія. Оно, какъ всегда услужливое, говорило имъ о Россіи будущаго, которая во главѣ всѣхъ другихъ славянскихъ народовъ образуетъ величайшую державу, первымъ шагомъ которой будетъ занятіе Константинополя, изгнаніе турокъ изъ Европы, возстановленіе Византійской имперіи. Этимъ они отмахивались отъ тѣснившихъ и ихъ призраковъ смерти.

Но и здѣсь надо отдать этимъ добродушнымъ мечтателямъ полную справедливость. Увѣренность свою въ такомъ исключительномъ будущемъ для русскаго народа они почерпали совсѣмъ не въ той дѣйствительности, которая ихъ окружала: не въ „системѣ" Николая I-го, не въ его персидскихъ и турецкихъ войнахъ, не въ нашей военной славѣ, не въ нашемъ бюрократически-полицейскомъ строѣ,—ко всему этому они относились отрицательно. Дѣйствительная сила Россіи, по ихъ вѣрѣ, таилась въ про-

---

[60]) А. Хомяковъ, „Записки о всемірной исторіи" (тт. III и IV).

стомъ народѣ, въ крестьянской земледѣльческой общинѣ, которая въ ихъ глазахъ была какъ бы откровеніемъ и сосредоточивала въ себѣ всѣ лучшія черты русскаго національнаго характера и русскаго историческаго прошлаго.

9. Славянофилы и община.

Намъ совершенно нечего вдаваться въ подробности славянофильскаго ученія объ общинѣ. Тѣмъ менѣе интересны для насъ вопросы, кто первый—Самаринъ или Аксаковъ—открылъ ее въ нашемъ далекомъ прошломъ. Укажу только на любопытную подробность, еще и еще разъ доказывающую могущество западнаго вліянія на нашу литературу,—на возможность предполагать, что о великомъ значеніи общины въ русской жизни славянофилы заговорили со словъ „дилетанта нашего отечествовѣдѣнія, барона Гакстаузена, книга котораго, о его поѣздкѣ по Россіи вышла въ 1845 г. въ Германіи“ [61]).

Какъ бы то ни было, въ своихъ поискахъ за истиннымъ воплощеніемъ народнаго духа, славянофилы натолкнулись на крестьянскую общину, сначала заговорили о ней, а затѣмъ увидѣли въ ея строѣ возможное на землѣ воплощеніе правды человѣческаго общежитія. Община стала ихъ святыней. Они толковали ее, какъ ячейку старорусскаго быта, и преклонялись передъ ней, какъ передъ высокимъ нравственнымъ явленіемъ. Сводя ихъ разбросанные взгляды въ одно цѣлое, М. Кояловичъ говоритъ:

„Земельная община, учили славянофилы, въ которой всѣ связаны узами взаимной поддержки, гдѣ дарованіе, счастье, личные интересы добровольно подчиняются общему благу, т.е. гдѣ царствуетъ внутренняя правда, выражающаяся внѣшнимъ образомъ въ народныхъ обычаяхъ и сходкахъ,—и есть та ячейка, изъ которой и наша государственность и наша историческая жизнь.

Личность человѣка въ этой общинѣ съ нравственной стороны уважалась до того, что послѣдній сирота считался участникомъ въ правахъ и выгодахъ общины.

Но, разумѣется, полнаго простора, а тѣмъ болѣе съ эгоистической точки зрѣнія, не могло быть. Такая личность могла свободно выходить изъ общины. Выходомъ этимъ пользовались и необыкновенно даровитые люди, съ особымъ призваніемъ, какъ богатыри, подвижники, или люди съ узкополитическими понятіями, какъ „изгои“. Тѣ и другіе могли составлять добровольныя временныя или постоянныя корпораціи какъ дружины богатырей, торговые, ремесленные союзы для особыхъ предпріятій—братчины, артели, скитскіе и общежительные монастыри. Самыя общины

[61]) А. Веселовскій I. c.

тоже соединялись и группировались возлѣ городовъ, гдѣ образовалось вѣче, а московское единодержавіе собрало воедино всѣ вѣча въ земскомъ соборѣ".

Какъ снѣжный комъ, пущенный съ горы, скромная крестьянская община, какую могли видѣть передъ собой люди 40-хъ годовъ, разрослась въ нашей литературѣ сначала въ ячейку всего историческаго быта, затѣмъ—носительницу истинно христіанскихъ добродѣтелей и, наконецъ, въ преддверіе въ коммунѣ и фаланстеру.

Возвеличеніемъ общины славянофилы удовлетворяли свое опростительное стремленіе къ простонародью, подводили прочный фундаментъ своимъ историческимъ ученіямъ и, присвоивая общинную жизнь преимущественно русскому народу, несомнѣнно, утверждались на своей позиціи. Съ общиной на своей сторонѣ они смѣло могли громить не только Западъ, но и официальную русскую жизнь.

Они требовали возвращенія „назадъ", „домой", къ общественному и государственному строю московской Руси XVI-го и XVII-го вѣковъ, когда союзъ общинъ создалъ уже могущественное государство подъ единой и самодержавной властью царя. Тогда, по ихъ фантастическому убѣжденію, существовало истинное отношеніе между землей, т. е. народомъ, и государствомъ. Государство правило, вѣдало общія дѣла, вело внѣшнія сношенія. Вся власть принадлежала ему. Народъ жилъ, но жизнь его была не только растительной, а вполнѣ человѣчной. Это было не безсловесное стадо, не подневольная въ рукахъ помѣщиковъ и чиновниковъ масса, а свободный русскій народъ, который свободно выражалъ свои мысли и желанія на земскихъ соборахъ. Реформа Петра сбила насъ съ этого пути; она уничтожила всю самодѣятельность общинной жизни и ея государственное выраженіе—земскіе соборы; она положила начало безконечному возрастанію чиновничества, которое и стало, въ концѣ концовъ, непроходимой стѣной между землей и государствомъ; она утвердила крѣпостное право, нарушивъ „сердечную" связь между земледѣльцемъ старой Руси и крестьянами, жившими на его владѣніяхъ; она потянула дворянство вверхъ на службу, въ столицу, въ канцеляріи, создала для его жизни совершенно особыя условія, сдѣлавшія, наконецъ, изъ него нѣчто отдѣльное, обособленное, далекое отъ земли и крестьянства. Надо, говорили славянофилы, стряхнуть съ себя эти два вѣка западной канцелярской и бюрократической культуры, этого разъединенія съ землей; надо вернуть землѣ то, что ей искони принадлежало,—свободу общинной жизни и свободу мнѣнія (земскій соборъ), чтобы Россія, могла, наконецъ, занять свою высокую роль—главы славянскихъ народностей и исполнить свое историческое призваніе—изгнавъ изъ Европы турокъ, внести въ жизнь человѣчества Евангеліе.

Мы теперь слишкомъ хорошо знаемъ, чѣмъ было московское государство, выросшее въ процессѣ закрѣпощенія своего народа, чтобы придать истинное значеніе славянофильскому призыву домой; но самой мечтѣ нельзя отказать ни въ размѣрѣ, ни въ своеобразномъ величіи. Тѣмъ болѣе, что проповѣдывалась она съ фанатической вѣрой. Герцену, по крайней мѣрѣ, когда ему случалось слушать К. Аксакова, чуялась за его словами „готовность итти на костеръ и плаху“ [62]).

10. Политика и этика въ ученіи славянофиловъ.

Въ системѣ славянофиловъ все было подчинено этикѣ и религіи: политикѣ въ ней мѣста не было.

„Нравственный подвигъ жизни, говорилъ К. Аксаковъ, предлежитъ не только каждому человѣку, но и народамъ, и каждый человѣкъ и каждый народъ рѣшаетъ его по своему, выбирая для совершенія его тотъ или другой путь. Всякая умственная, всякая духовная дѣятельность тѣсно соединена съ нравственнымъ вопросомъ“.

Нравственный подвигъ, предстоящій русскому народу, очевиденъ для всѣхъ славянофиловъ—это образованіе православнаго, христіанскаго не по имени, а по самому существу своему государства, которое явилось бы оплотомъ противъ идущей съ Запада „заразы безбожія, матеріализма, раціоналистическаго мышленія“.

Всѣ общественныя отношенія, вся жизнь народа — мыслилась славянофилами основанной на православіи и евангельскихъ истинахъ. Отсюда ихъ—совершенно, впрочемъ, естественное для русскаго помѣщичьяго слоя—отвращеніе къ политикѣ, закону, юридическимъ нормамъ жизни. „Жизнь по совѣсти“, какъ идеалъ человѣческой жизни вообще,—вотъ что они написали на своемъ знамени. Для нихъ законъ всегда представлялся чѣмъ-то холоднымъ, мертвымъ, формальнымъ. Они презирали его въ такой же степени, въ какой и его представителей—чиновниковъ. Упорно и настойчиво проповѣдывали они государство, основанное на довѣріи, хотя по ихъ же собственному ученію довѣріе народа къ власти было нарушено и постоянно нарушаемо за весь петербургскій періодъ русской исторіи. Но даже эта очевидность нисколько не смущала ихъ, какъ не смущали и другія „несообразности“.

„Русскій народъ не хочетъ государствовать“, рѣшительно провозгласилъ К. Аксаковъ. Не ища свободы политической, онъ ищетъ

[62]) Очевидное преувеличеніе.

свободы нравственной, свободы общественной и свободной жизни внутри себя. Какъ истинно христіанскій народъ, онъ помнитъ, что „кесарево" надо воздавать кесарю. Предоставивъ государству мечъ и власть и царство „отъ міра сего", онъ избралъ для себя путь къ внутренней свободѣ.

Не законы, а любовь, взаимное довѣріе, забота старшихъ о младшихъ, естественное подчиненіе младшихъ старшимъ представлялись имъ истинною связью между людьми. Даже фабричную промышленность мечтали они организовать на патріархальныхъ началахъ и видѣли въ фабрикантѣ—отца, въ рабочихъ—дѣтей.

И вначалѣ, по крайней мѣрѣ, все это было не лицемѣріемъ, а наивностью „большихъ дѣтей" [63]).

11. Славянофильство и традиція.

Въ ихъ пониманіи исторіи на первомъ планѣ стоитъ та мысль, что не климатъ, не экономическія условія, не расчетъ двигаютъ людьми, а религіозныя представленія, вѣра. Объ этомъ одинаково краснорѣчиво говорятъ и Аксаковъ, и Хомяковъ, и Кирѣевскіе. Хомяковъ строитъ на „вѣрѣ" свою философію исторіи, свои „Записки". То же начало вносятъ они въ свою утопію государственнаго и общественнаго быта. Истинный гражданинъ является въ ихъ глазахъ прежде всего человѣкомъ религіознымъ, т. е. такимъ, который самъ въ себѣ, въ своемъ сердцѣ носитъ всѣ законы и предписанія.

Дѣло въ томъ, что славянофильство въ своемъ родѣ—сфинксъ, не въ смыслѣ загадки, а въ прямомъ: человѣческое лицо, выглядывающее изъ огромнаго животнаго тѣла. Всѣ освободительныя мысли, какія усвоили и восприняли славянофилы, это, конечно, ихъ человѣческое лицо. Но за нимъ огромное тѣло—традиція московскаго государства, которая держала въ плѣну ихъ мышленіе, заставляя самыя свободолюбивыя стремленія облекать въ формы прошлаго, традиціоннаго, установленнаго. Они цѣликомъ вобрали въ себя московскую мечту о третьемъ Римѣ. Ихъ религіозность вылилась въ православіе. Ихъ отвращеніе къ формамъ бюрократическаго и полицейскаго государства—въ восторги передъ татарскими монархіями Ивана III-го и IV. Это было что-то роковое для нихъ и въ то же время такое, что заставляетъ къ нимъ присматриваться особенно внимательно: ибо, повторяю, за ними чувствуется исторія.

Дойдя до отрицанія государства и государственнаго вмѣшательства

---

[63]) Ссылаюсь на изслѣдованіе Вл. Соловьева „Національный вопросъ въ Россіи".

въ жизнь общины, въ интимную религіозную жизнь человѣка, въ жизнь земли вообще, они поставили его тамъ гдѣ-то, очень высоко надъ головами людей,—тамъ, гдѣ сходятся и объединяются всѣ нити частныхъ жизней, гдѣ народъ или племя—въ данномъ случаѣ, русскій народъ и славянская раса—должны исполнить свое провиденціальное предназначеніе: изгнать изъ Европы турокъ или что-нибудь въ этомъ родѣ. Тамъ государство явилось интеграломъ всѣхъ народныхъ силъ и средствъ, единственнымъ распорядителемъ, единственною властью—своего рода земнымъ богомъ.

Совершенно такъ же, подчиняясь той же власти традиціи, они единственное истинное выраженіе религіознаго чувства видѣли въ православіи.

„Особенность Россіи, учитъ Кирѣевскій, заключалась въ полнотѣ и чистотѣ того выраженія, которое христіанское ученіе получило въ ней—во всемъ объемѣ ея общественнаго быта.

Корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ святой православной вѣрѣ“.

Эти мысли были ветхи уже въ 40-хъ годахъ. Ихъ никто не хотѣлъ выслушивать даже отъ Гоголя. Но здѣсь-то особенно ярко и проявилась власть московской традиціи надъ умами нашихъ славянофиловъ [64]).

12. Итоги славянофильства.

Что же такое славянофильство? Это, говорю я, человѣческое лицо, выглядывающее изъ огромнаго и грузнаго тѣла московской властной традиціи. Она, эта традиція, направляетъ мечту на Константинополь, заставляетъ пѣть гимны государству и православію; въ значительной степени она руководитъ и самой критикой славянофиловъ, указывая ей враговъ: Петра Великаго, его реформы, весь петербургскій періодъ русской исторіи, Западъ. Есть, конечно, много новаго, какъ проповѣдь вѣротерпимости и свободы мнѣнія, какъ защита самостоятельной жизни общины, земли,—и это яркіе огни ученія, но свѣтятъ они сквозь густой туманъ историческихъ переживаній, и въ большинствѣ случаевъ ихъ не видно. А тамъ, въ этомъ туманѣ—смиреніе и сатанинская гордость, вражда къ петербургской и офиціальной Россіи и преклоненіе передъ ней, христіанство и казенный патріотизмъ...

На первомъ планѣ здѣсь стихійный голосъ русскаго помѣщичьяго сословія, настроеніе, выработанное вѣками его хозяйственной, въ сущ-

[64]) Idem.

ности, лѣнивой жизни, его гражданскаго и политическаго безволія, его праздной мечтательности.

Нѣмецкій идеализмъ, гуманное настроеніе вѣка даетъ многимъ мыслямъ славянофиловъ благородную форму. Положеніе славянофиловъ, какъ представителей сословія, попавшаго въ своего рода крѣпостную зависимость отъ полицейско-бюрократическаго государства, даетъ имъ силу протеста, критики, и съ тѣмъ большимъ упоеніемъ прилѣпляются они къ народу, общинѣ, землѣ. Но ихъ критика и протестъ торопятся попасть на традиціонную колею и въ той или другой формѣ закончиться гимномъ...

Очевидно, что на многихъ и на многихъ сторонахъ славянофильскаго ученія лежитъ отпечатокъ какой-то особой очевидной духовной сытости. Сытостью, привольемъ, обиліемъ всякой живности, лѣсовъ, полей, земли, рыбъ въ водѣ, птицъ въ воздухѣ вѣетъ отъ картинъ природы и крѣпостной Россіи, нарисованныхъ намъ С. Т. Аксаковымъ. Сытостью, привольемъ, добродушіемъ, полнымъ довольствомъ вѣетъ отъ изображенія русскаго народа, русскаго характера, русской исторіи въ трудахъ К. Аксакова или Хомякова. Даже крѣпостное право изображено К. Аксаковымъ въ одной изъ его комедій такъ, что мы имѣемъ передъ собой настоящую идиллію. Всѣ сыты, довольны, благословляютъ свою судьбу. Внутри каждаго русскаго свѣтится нетлѣнная истина, а земледѣлецъ, по словамъ Хомякова, „былъ искони помѣщику роднымъ, кровнымъ братомъ“...

Эта сытость такъ естественна и понятна. Ее не могли не воспитать помѣщичья усадьба, вся исторія русскаго дворянства, праздная жизнь цѣлыхъ поколѣній, совершенно освобожденныхъ отъ всякой борьбы и повинностей. Это сытость хорошо откормленныхъ, хорошо себя чувствующихъ людей. Имъ предоставлены всѣ „блага“ жизни, вплоть до безмѣрной, чудовищной власти надъ своими ближними. Они могли писать грузныя грамматическія изслѣдованія, въ родѣ изслѣдованія К. Аксакова, изобрѣтать нелетающія летательныя машины, чѣмъ всю жизнь занимался Хомяковъ; въ ихъ распоряженіи праздность, работа, счастье и несчастье ближнихъ, великолѣпная жизнь въ деревнѣ, зимнія развлеченія въ столицѣ. Счастливые землевладѣльцы, которые для разнообразія рядились въ патріотическіе и славянскіе костюмы, чтобы все же закончить халатомъ Обломова.

Правда, въ защитѣ своей общинно-земледѣльческой мечты они проявляли и энергію и бурные порывы негодованія. Но вѣдь это совершенно естественно даже съ точки зрѣнія породившей ихъ стихіи.

Что придавало особенную силу и соль ихъ отрицанію, это то, конечно, что направлялось оно главнымъ образомъ на бюрократію, на чиновниковъ, на канцеляріи—на этихъ историческихъ соперниковъ рус-

скаго дворянства, постоянно пополнявшихъ его ряды своими выходцами и даже переполнявшихъ ихъ. Часто въ направленныхъ сюда репликахъ славянофиловъ слышится голосъ искренняго негодованія, и мы охотно вѣримъ, что юношѣ И. С. Аксакову жизнь безпаспортнаго бродяги казалась богаче, интереснѣе, лучше во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ жизнь чиновника.

Въ этомъ случаѣ голосъ славянофиловъ опять звучитъ передъ нами, какъ историческій голосъ сословія, близкаго къ землѣ, выросшаго въ патріархальныхъ условіяхъ быта, сохранившаго о нихъ, этихъ условіяхъ, какія-то воспоминанія въ своей крови и враждовавшаго съ тѣмъ слоемъ общества, который, постепенно сосредоточивая въ своихъ рукахъ власть, распространялъ и на нихъ свое нивеллирующее вліяніе.

Какъ русскихъ людей, какъ представителей земледѣльческаго строя, ихъ тянуло, конечно, къ опрощенію. И ихъ „персидскій костюмъ“ и ихъ излюбленная мысль, что русскій народъ „не хочетъ государствовать“ и ихъ утопія полнаго разграниченія земли отъ государства, ихъ отвращеніе къ техникѣ, политикѣ, ихъ боязнь личнаго начала—все это наше русское „опростительное“.

Своей излюбленной общинѣ они отмежевали, прежде всего, чисто растительную жизнь. Они рисовали ее себѣ въ мирѣ, любви и довольствѣ, какъ рабочій земледѣльческій улей, скрѣпленный прочною связью обычаевъ, христіанскаго благожелательства во взаимныхъ отношеніяхъ одного члена къ другому, естественнымъ подчиненіемъ младшихъ старшимъ, каждаго всѣмъ. Они допускали возможность выдѣленія личнаго начала, не преслѣдовали его (потому что не были изувѣрами и внимательно читали Гегеля), но сейчасъ же выводили его изъ своего улья, отправляли „полевать“, какъ богатырей или упражняться въ аскетическомъ подвижничествѣ, даже „ушкуйничать“. И это логично, потому что сильному проявленію личности не было мѣста въ ихъ мирномъ православномъ ульѣ. Они и Петра больше всего не любили, какъ яркую личность, какъ раціоналиста[65]).

Истина жизни скрывалась для нихъ въ массѣ, въ хоровомъ началѣ, и нерѣдко готовы они были сказать, что разумъ это блудница. Они всячески боролись съ этимъ разумомъ, подчиняя его откровенію, догматамъ, религіозному чувству, „міру“, всѣмъ традиціоннымъ формамъ русской жизни. Они видѣли въ разумѣ, въ его критикѣ, въ созданныхъ имъ конституціяхъ, его стремленіи къ пользѣ, къ матеріальной силѣ что-то грызущее, разъѣдающее самыя основы жизни, все обезцѣнивающее. Смутно видѣлась имъ какая-то цѣльная жизнь, тихая и радостная въ условіяхъ земледѣльческой общины, подъ покровомъ христіанскихъ истинъ; жизнь не мятежная, не стремящаяся, а довольная собой и

[65]) Это можно провѣрить и по Герцену.

праведная... но, по странному противорѣчію, идеалъ этой тихой праведной жизни они хотѣли съ государственнымъ мечомъ въ рукахъ разнести по всему міру.

13. Разложеніе славянофильства.

Въ славянофильствѣ наше барство высказало свою слѣпую любовь къ воспитавшей и вскормившей его жизни. Несмотря на недовольство окружающимъ, оно все же съ самаго начала стремится къ оправданію его, оправданію всей русской жизни и, въ концѣ концовъ, дѣйствительно оправдываетъ.

„Ты не можешь себѣ вообразить, писалъ Грановскій Станкевичу, какая у этихъ людей философія. Главныя ихъ положенія: Западъ сгнилъ и отъ него не можетъ быть уже ничего; русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ родного историческаго основанія и живемъ наудачу. Единственная выгода нашей современной жизни состоитъ въ возможности наблюдать безпристрастно чужую исторію; это даже наше назначеніе въ будущемъ; вся мудрость человѣческая истощена въ твореніяхъ св. отцовъ греческой церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ западной. Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего, все сказано. Кирѣевскій говоритъ это въ прозѣ, Хомяковъ въ стихахъ“.

Горе человѣку или людямъ, которые сказали, что вся истина въ ихъ рукахъ, что они знаютъ ее, что намъ нечего больше искать, некуда стремиться. Имъ въ такомъ случаѣ остается только одно — итти на убыль. и славянофильство, дѣйствительно, пошло этой дорогой. Пока еще ихъ преслѣдовали [66]), закрывали ихъ журналы, заарестовывали ихъ сборники, заставляли ихъ черезъ полицію сбривать себѣ бороды, тѣснили ихъ за косоворотки и кафтаны, они, своимъ протестомъ и недовольствомъ, шли навстрѣчу будущему. Но это скоро кончилось, и славянофильство выродилось въ націонализмъ, въ „славянобѣсіе“, въ оправданіе сущаго, въ злобу и раздраженіе противъ тѣхъ, кто продолжалъ звать къ борьбѣ, къ критикѣ, къ отказу отъ старо-русскихъ московскихъ преданій.

Подозрительная, скупая и злобная старость славянофильства наступила такъ скоро, что, въ сущности, оно не знало молодости. Въ лицѣ Ивана Аксакова, въ шумные годы русско-турецкой (1877 — 1878 гг.) войны, оно попыталось устроить всероссійское театральное зрѣлище, еще разъ выдать за живую, будто бы „народную“ мысль — образованіе славянскаго царства подъ главенствомъ Россіи съ Константинополемъ, какъ

[66]) За то, что они не служили, были не похожи на всѣхъ, особенно за панславизмъ.

столицей; но вся бутафорія этого зрѣлища, его холщевыя грубыя декораціи, картонные мечи и доспѣхи его „витязей“ были слишкомъ очевидны, чтобы обмануть кого-нибудь. Даже Достоевскаго и его славы не хватило, чтобы гальванизировать трупъ славянофильства. Слишкомъ близкое къ государству и его официальной жизни, слишкомъ дворянское, оно въ новой русской исторіи, наступившей послѣ освобожденія крестьянъ и севастопольской кампаніи, сразу же оказалось въ положеніи исполинскаго чудовища предшествующей геологической эпохи, которому оставался одинъ выходъ — смерть и разложеніе [67]).

---

[67]) Въ общемъ, причины разложенія славянофильства сводятся къ слѣдующимъ:

1) Несмотря на рѣзкую критику нѣкоторыхъ чудовищно нелѣпыхъ сторонъ русской дѣйствительности, несмотря на требованія крестьянской свободы, свободы слова и вѣротерпимости, теорія славянофиловъ была близка къ системѣ официальной народности, хотя бы своимъ преклоненіемъ передъ единствомъ государственнаго начала, православіемъ и миссіей Россіи, какъ третьяго Рима. Въ душѣ славянофильство *самодовольно*, Россію оно ставитъ выше Европы. То и дѣло съ пѣной у рта набрасывается оно на послѣднюю. Его политическая утопія славянскихъ ручьевъ, слившихся въ русскомъ морѣ, не помѣшала ему, однако, постоянно коситься на Польшу (напр., Хомяковъ). Славянофилы иногда забывались до того, что апплодировали приглашенію „упиться кровью мадьяровъ и нѣмцевъ“. На ихъ правомъ флангѣ Погодины, Шевыревы, Загоскины и пр. пѣли свои казенно-патріотическія пѣсни, увѣряли, что русская земля устроена святыми угодниками (Погодинъ) и пр.

2) Несмотря на свое преклоненіе передъ общиной, славянофилы были убѣжденными „землевладѣльцами“. Считая себя представителями народа-общинника, народа-христіанина, они и не думали отказываться отъ своихъ помѣстій. Въ этомъ пунктѣ они были очень тверды. Оброкъ и барщина казались имъ варварствомъ, но относительно аренды они держались „правильныхъ“ взглядовъ.

3) Я уже говорилъ о защитѣ Ю. Самаринымъ розги, Получалась чудовищная нелѣпость: пороть крестьянъ, эту черноземную силу народа-богоносца! Въ своихъ взглядахъ на мужика они сбивались: то онъ былъ „святымъ“, то святою скотиной, то скотиной просто.

4) Странно, но лучшее свое вдохновеніе они отдавали идеѣ возстановленной Византіи, всеславянскаго царства (Тютчевъ, напр.) и защитѣ преимуществъ православія. Могущественныя теченія XIX вѣка (освобожденіе личности, соціализмъ, идея развитія) были по существу чужды имъ.

5) Ихъ демократизмъ былъ достаточнаго роста, чтобы перешагнуть черезъ бюрократію, но почтительно останавливался передъ землевладѣніемъ и дворянствомъ. Это, какъ и власть надъ ихъ умами московской традиціи, позволяетъ разсматривать ихъ теорію, какъ выраженіе классоваго самосознанія.

6) Мертвецы стояли въ святая святыхъ ихъ духа: политическій строй XVI—XVII вѣковъ, патріальхальные уклады семейной жизни, боязнь личной мысли, личной свободы. Отсюда ихъ смерть, ибо живетъ лишь то, что приѣпляется къ живому...

14. Западники.

Освободительная идея только заглянула въ славянофильство, чтобы пойти своей, другой дорогой. Это дорога отрицанія, критики вплоть до нигилизма, анархіи и соціализма.

Мы совершенно напрасно думаемъ, что нигилизмъ появился въ Россіи вмѣстѣ съ Базаровымъ, „Русскимъ словомъ“ и статьями Писарева. Самый этотъ терминъ изобрѣтенъ уже въ 20-хъ годахъ, а дѣло нигилизма лучше, полнѣе, вдохновеннѣе, чѣмъ любая литература, еще въ XVII-мъ и XVIII-мъ вѣкахъ дѣлали наши сектанты.

Нигилизмъ не можетъ не появиться тамъ, гдѣ государственно-полицейская идея обращается въ Молоха, пожираетъ и поглощаетъ каждую мысль, жизнь, всякій признакъ самостоятельности и самодѣятельности. Человѣку свойственно дорожить только тѣмъ, что принадлежитъ ему, что сдѣлано имъ самимъ. Когда вокругъ него все чужое, ему навязанное, когда каждый шагъ его заранѣе „приказанъ“, когда онъ сознаетъ себя только орудіемъ,—онъ не можетъ стать, въ концѣ концовъ, никѣмъ другимъ, какъ нигилистомъ.

Странная особенность русской жизни: въ ней, какъ нигдѣ, могущественна традиція и стихія, въ ней, какъ нигдѣ, ничтожны человѣкъ и личность. Все регламентировано, приказано или запрещено. Нельзя сдѣлать ни шагу, чтобы не натолкнуться на стѣну этихъ регламентацій, приказаній или запрещеній. И между тѣмъ нигдѣ мысль не достигаетъ съ такой быстротой и прямолинейностью крайнихъ предѣловъ отрицанія. Какъ будто раньше переживала тяжелый кошмаръ и вдругъ, проснувшись, поняла, что ее окружали, ее давили только призраки.

Это говоритъ, между прочимъ, о томъ, что въ дѣйствительности у ней нѣтъ почти ничего, ею созданнаго, что все, чѣмъ она дорожитъ и что, какъ будто мило ей, ей чужое, навязанное, даже вбитое, вколоченное.

„Къ этому времени, пишетъ Герценъ (т. е. къ тридцатымъ годамъ), принадлежатъ первыя зарницы нигилизма — зарницы той совершеннѣйшей свободы отъ всѣхъ готовыхъ понятій, отъ всѣхъ унаслѣдованныхъ обструкцій и заваловъ, которые мѣшаютъ западному уму итти впередъ.

„Нигилизмъ это логика безъ структуры, это наука безъ догматовъ, это безусловная покорность опыту и безропотное принятіе всѣхъ послѣдствій, какія бы они ни были, если они вытекаютъ изъ наблюденія, требуются разумомъ. Нигилизмъ не превращаетъ что-нибудь въ ничего, а разказываетъ, что ничего, принимаемое за что-нибудь, оптическій обманъ и что всякая истина, какъ бы она ни перечила фантастическимъ представленіямъ, здоровѣе ихъ и во всякомъ случаѣ

обязательна". „Когда Бѣлинскій, долго слушая объясненіе кого-то изъ друзей о томъ, что духъ приходитъ къ самосознанію въ человѣкѣ, съ негодованіемъ отвѣчалъ: „такъ это я не для себя сознаю, а для духа?.. что же я ему за дуракъ достался, лучше не буду вовсе думать: что мнѣ за забота до его сознанія?" онъ былъ нигилистъ".

„Когда Бакунинъ уличалъ берлинскихъ профессоровъ въ робости отрицанія и парижскихъ революціонеровъ 48-го года въ консерватизмѣ, онъ былъ вполнѣ нигилистъ".

Этотъ списокъ Герцена можно было бы очень увеличить. Можно было бы припомнить и тѣхъ суровыхъ семинаровъ, въ компаніи которыхъ одно время жилъ Бѣлинскій. Тамъ, подъ густымъ навѣсомъ махорочнаго дыма, пьяно и громко проповѣдывали атеизмъ и анархію дѣти сельскихъ поповъ и дьяконовъ.

Впрочемъ, подождемъ еще спускаться сюда. Вѣдь и наверху критическая мысль, разъ начавши работу, вдругъ увидѣла, что ей нечѣмъ дорожить, не передъ чѣмъ преклоняться, что всѣ ея кумиры и идолы изъ дерева и картона. Не съ радостнымъ смѣхомъ признала она это, а съ глубокой печалью и скорбью, сознавая весь трагизмъ и ужасъ своего положенія.

„Посмотрите вокругъ себя, писалъ Чаадаевъ въ первой половинѣ 30-хъ годовъ. Все какъ будто на ходу. Мы всѣ какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... нѣтъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало наши сочувствія, расположенія. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ и даже больше, чѣмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаннѣе къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ своимъ городамъ... У всѣхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной дѣятельности, періоды юношескаго развитія, когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнѣйшія идеи; въ нихъ источникъ и основаніе дальнѣйшей ихъ исторіи. Мы же не имѣемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество татаръ-завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности: мы совсѣмъ не имѣли возраста этой безмѣрной дѣятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвѣтствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвѣтнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не най-

дете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ прошедшее сильно, живо, картинно. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что у другихъ сдѣлалось инстинктомъ, привычкою. Наши воспоминанія не дальше вчерашняго дня, мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ".

У насъ нѣтъ ничего: ни „чарующихъ воспоминаній", ни „сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ, и мы живемъ въ тупомъ равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго, безъ будущаго". Чѣмъ мы дорожимъ, что мы любимъ? Ничѣмъ и ничего. Мы — невольные бродяги вольной и широкой исторической дороги, и осмысленная жизнь Запада не для насъ. Тамъ этотъ смыслъ дается прежде всего идеями. „Хотите ли, спрашиваетъ Чаадаевъ, знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онѣ необходимыя начала міра общественнаго". Чѣмъ же мы замѣняемъ все это? Ничѣмъ или рабскимъ послушаніемъ, рабской вѣрою. Происходитъ поэтому страшное и грустное явленіе: „даже лучшія идеи отъ недостатка связи и послѣдовательности, какъ безплотные призраки, цѣпенѣютъ въ нашемъ мозгу. Человѣкъ теряется, не находя средства притти въ соотношеніе и связать себя съ тѣмъ, что ему предшествуетъ... онъ лишается всякой увѣренности, потому что имъ не руководитъ чувство общаго существованія и онъ заблуждается въ мірѣ. Такія потерявшіяся существа встрѣчаются во всѣхъ странахъ. Но у насъ это черта общая" [68]).

За эти мысли Чаадаева постигла кара: по распоряженію правительства онъ былъ объявленъ сумасшедшимъ, а журналъ, въ которомъ онъ напечаталъ свою статью, закрытъ. Зная принципы николаевской эпохи, мы удивляемся, что кара такъ мала. Почему не Соловецкіе казематы, не Сибирь, не каторга? Но дѣло объясняется просто: Чаадаевъ говорилъ общими фразами, общими формулами. Онъ не трогалъ дѣйствительности. Онъ винитъ исторію вообще, жизнь вообще, племя, расу. У него нѣтъ даже намека на какое-нибудь опредѣленное политическое зло. Онъ сплошь отрицаетъ русскую жизнь, не указывая ей никакого выхода.

Самъ онъ, какъ говоритъ Герценъ, прислонился къ католицизму. Это была странная фантазія, въ тѣ дни, впрочемъ, не исключительная [69]). Немало русскихъ лишнихъ людей увлеклись ею, въ ней запутались и погибли въ іезуитскихъ коллегіяхъ или миссіяхъ, не бросивши вѣкамъ ни единой мысли.

[68]) А. Н. Пыпинъ, „Характеристика" и т. д.

[69]) Напомню нашихъ католиковъ: Морошкина, Кн. Гагарина, ставшихъ іезуитами, Мечерина и т. д.

„Тяжело жить, нечѣмъ жить. Можно жить лишь въ томъ случаѣ, если люди работаютъ, стремятся къ опредѣленнымъ цѣлямъ, если у нихъ есть идеи, задачи, имъ дорогія, имъ кровныя, и какія-нибудь средства для ихъ осуществленія".

Это единственная реальность, которую можно было извлечь изъ философическаго письма Чаадаева. За ея предѣлами романтическая тоска, романтическое недовольство и нигилизмъ, это отрицаніе сплошь... хотя бы и барское, порою диллетантское отрицаніе „сплошь".

15. Ферментъ западнической мысли—идея личности.

Гдѣ и въ чемъ ферменты чаадаевской мысли? Въ воспоминаніяхъ ли о декабристахъ, или въ общемъ романтическомъ настроеніи эпохи, или въ немъ самомъ? На это отвѣтить пока трудно, какъ трудно сказать, чего же онъ хотѣлъ добиться своимъ письмомъ?

Онъ не хотѣлъ даже печатать послѣдняго. Оно появилось случайно, а стремительно принятыя правительствомъ мѣры преслѣдованія выдвинули его въ первые ряды литературы.

„Письмо Чаадаева заставило славянофиловъ организоваться", говоритъ Герценъ. Во всякомъ случаѣ, это была одна изъ первыхъ рѣшительныхъ попытокъ отвѣтить на вопросъ о смыслѣ Россіи и жизни русскаго народа. Чаадаевъ указывалъ на Западъ, идеи и принципы западной жизни. Въ этомъ смыслѣ онъ написалъ, пожалуй, манифестъ нашей западнической партіи, вѣрнѣе, нашего западническаго кружка.

Но Чаадаевъ не формулировалъ принципа своей критики. Онъ больше поэтъ, чѣмъ мыслитель. Русская дѣйствительность отталкиваетъ его своею пошлостью и безсодержательностью; вмѣсто идоловъ и кумировъ онъ видитъ въ ней что-то громоздкое, лѣнивое и ненужное, какъ буква ѣ,—ненужное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, гнетущее человѣка силой своей традиціи, своего офиціальнаго значенія.

Широкая, вольнолюбивая, хотя слишкомъ неопредѣленная мечта чувствуется за печальными строками Чаадаева. Откуда-то съ высоты смотритъ онъ на русскую жизнь, окидывая ее всю разочарованнымъ взглядомъ.

Въ дѣлѣ мысли, въ интересахъ ея развитія надо было назвать вещи своими именами, надо было сосредоточить въ фокусахъ разсѣянные лучи чаадаевскаго недовольства, чтобы оно засвѣтило яркими, всѣмъ видными лучами.

Люди его духа, его настроенія сдѣлали это. Они сказали: Чаадаевъ правъ въ своемъ недовольствѣ. У насъ, дѣйствительно, нѣтъ жизни. А

нѣтъ жизни потому, что существуетъ постыдное крѣпостное право, что у насъ нѣтъ никакой общественной или политической дѣятельности, что, въ концѣ концовъ, у насъ нѣтъ людей, нѣтъ личности

Разгадка Эдипа пригодилась опять [70]).

Старое, шаблонное, много разъ высказанное обвиненіе противъ нашего западничества сводится къ тому, что оно занималось только критикой, развѣнчиваніемъ кумировъ, но не указывало выхода, не формулировало программы, не отвѣчало на вопросъ, что же дѣлать. „Они знаютъ, чего не хотятъ; чего хотятъ, они не знаютъ".

Обвиненіе это поверхностно. Конечно, не у каждаго западника лежала въ карманѣ конституція Пестеля (декабриста) или „коренной проектъ" Сперанскаго. Наше западничество, въ истокахъ своихъ очень близкое къ романтизму, включало въ себѣ много элементовъ общей міровой скорби, разочарованности, но, несомнѣнно, были пункты общаго, хотя бы молчаливаго согласія — была ненависть къ офиціальной Россіи, ея будто бы патріархальной, въ дѣйствительности же построенной на іерархической кабалѣ, жизни.

Программы нужны тамъ, гдѣ есть общественная и политическая жизнь, гдѣ существуютъ партіи. Но въ той Россіи, которая только что просыпалась, Россіи, гдѣ по наивному, хотя и глубокому замѣчанію Гончарова, „только (это въ сороковые годы!) нарождалось трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія", больше всего нужны были идеи, принципы, а главное критика, раскрывающая глаза на дѣйствительность.

Россія была недорослемъ. Славянофилы ничему не могли научить ее, или, лучше, они хотѣли научить ее кое-чему дѣйствительно нужному, но по часослову. Западники отбросили часословъ. Это было уже много.

По напряженному броженію духа, по безпощадной критикѣ дѣйствительности, по своему чисто религіозному отношенію къ святынѣ человѣческой личности и достоинства, она нашъ вчерашній день. Больше даже: читая Герцена, еще и теперь переживаешь, въ сущности, свои же злобы дня.

Расчищая путь для свободнаго человѣка, формулируя требованія свободной личности отъ жизни, выдвигая знаніе, какъ новую религію, соціализмъ, какъ основу грядущей жизни,—они все еще какъ будто среди насъ. Ихъ мысли вызываютъ на споръ. Это не муміи, это живое тѣло. Ихъ усиліями русское самосознаніе нащупало себѣ путь

---

[70]) Увы! она вѣрна и теперь.

развитія, путь, по которому оно шло такъ долго, идетъ отчасти еще и теперь.

Но предварительно мнѣ хочется сдѣлать одно замѣчаніе. Я буду говорить о западничествѣ, какъ оно проявилось въ нашей барской литературѣ и выросло въ ней. Идея свободной личности вплоть до анархіи, идея правового обезпеченія вплоть до конституціи, признаніе науки и разума вплоть до атеизма — вотъ сущность западничества.

Не надо, однако, забывать, что барская среда, барская психологія и на эти идеи и на это настроеніе наложили свой отпечатокъ. Нашего барина всегда тянуло внизъ къ мужику или въ мистическій туманъ русскаго мессіанизма. Отъ соблазна опростительныхъ и мессіанскихъ перспективъ не могли удержаться даже такія сильныя натуры, какъ Герценъ и Толстой, и могли удержаться только срединные книжные люди, въ родѣ Чичерина или Кавелина.

Западническому настроенію въ его критической формѣ обыкновенно отдавались лишь молодые годы. Дальше оно увядало. Человѣкъ искалъ, къ чему прислониться, и прислонялся обыкновенно къ культу народа.

Кто бы могъ подумать, что Чаадаеву, начавшему едва ли не съ нигилизма, принадлежатъ такія вотъ слова: „Мы, русскіе, искони были люди смирные и умы смиренные. Такъ воспитала насъ наша церковь. Горе намъ, если мы измѣнимъ ея мудрому ученію; ему мы обязаны своими лучшими свойствами, свойствами народными, своимъ величіемъ, своимъ значеніемъ въ мірѣ. Пути наши не тѣ, по которымъ идутъ другіе народы“.

Это строки изъ письма Чаадаева къ Шеллингу.

Своей рѣзкой критикой Запада, полной безнадежнаго разочарованія, своей вѣрой въ особую силу русскаго народа Герценъ одинаково сблизился съ славянофилами [71]).

---

[71]) Это, дѣйствительно, замѣчательныя строки: „Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества; это нѣчто трудно уловить словами, а еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, но вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками; о той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія, которая на царскій приказъ образоваться отвѣтила черезъ сто лѣтъ колоссальнымъ явленіемъ Пушкина; о той, наконецъ, силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ всякихъ формъ; для чего?.. покажетъ время“.

Дальше: „Россія является послѣднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда другіе чувствуютъ себя усталыми и отжившими“.

Исторія не прощаетъ и не забываетъ ничего. Временами она какъ будто позволяетъ человѣку уйти отъ самого себя и своего сословія, но не совсѣмъ и не надолго. Рано или поздно человѣкъ возвращается на путь своей натуры.

Какъ бы то ни было, у западничества есть свое лицо, потому что есть своя идея освобожденной личности и есть серьезное желаніе не мириться съ окружающимъ официальнымъ міромъ; есть признаніе науки, просвѣщенія, правового порядка.

Голосъ чести звучитъ въ немъ настойчиво и громко, требуя свободы человѣка и жизни, обезпечивающей его достоинство.

16. Проблема чести и совѣсти въ западнической литературѣ. Герценъ.

Итакъ: идея личности — ферментъ западнической мысли. Ея главныя основанія: 1) сознаніе человѣческаго достоинства (чувство чести) и 2) борьба за право.

Нечего и говорить, конечно, что въ такой многогранной и утонченной натурѣ, какъ Герценъ, голосъ чувства чести не замолкалъ никогда. Обиженное и возмущенное чувство чести заставило его покинуть Россію и на всю жизнь обратиться въ международнаго скитальца, часто лишеннаго даже опредѣленнаго пристанища.

Теоретически онъ заинтересовался вопросомъ чести еще въ 1847 г., результатомъ чего была его большая статья въ „Современникѣ“: „Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести“. Эта статья осталась незаконченной, но нѣкоторыя ея страницы, впослѣдствіи развитыя и какъ бы одухотворенныя, расширенныя личнымъ опытомъ и великими страданіями великаго человѣка, интересны еще и теперь.

Съ первыхъ же строкъ окружаетъ онъ „честь“ ореоломъ.

„У человѣка, говоритъ онъ, вмѣстѣ съ сознаніемъ развивается потребность нѣчто с в о е спасти изъ вихря случайностей, поставить неприкосновеннымъ и святымъ, почтить себя уваженіемъ его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь въ длинный рядъ превращеній чтимаго, мы увидимъ, что основа ему не что иное, какъ чувство собственнаго достоинства и стремленіе сохранить нравственную самобытность своей личности — и то и другое сначала въ формахъ дѣтскихъ, потомъ отроческихъ, какъ во всякомъ человѣческомъ разви-

---

Герценъ, чѣмъ дальше, тѣмъ все больше склонялся къ славянофильству, никогда—славянобѣсію.

тіи. Сначала это чувство выражается въ семейныхъ отношеніяхъ, въ фанатической привязанности къ роду, племени, обычаю, преданію, къ своимъ богамъ въ противоположность сосѣдскимъ. Потомъ оно является свято уважаемымъ общимъ дѣломъ (res publica); государство, городъ поглощаетъ еще человѣка, но уже онъ силенъ своимъ гражданскимъ значеніемъ. Неудовлетворенный, однакожъ, общимъ дѣломъ, человѣкъ ищетъ свое дѣло, обращается внутрь себя, въ груди своей начинаетъ открывать нѣчто твердое и незыблемое, въ себѣ находитъ мѣрило своего достоинства и хладнокровно смотритъ на племя, на городъ, на государство; тогда быстро развивается въ немъ понятіе чести и собственнаго достоинства. Основа чести можетъ быть нравственна и необходима, можетъ быть случайна и безсмысленна, но всегда и вѣчно она есть отраженіе человѣкомъ своей самобытности, сообразно тому, какъ онъ ее понимаетъ, или, вѣрнѣе, какъ ее понимаетъ его эпоха".

Личность, ея свобода и самостоятельность было то „все", что Герценъ хотѣлъ и искалъ въ жизни. Это былъ его богъ и кумиръ, которымъ ни для кого и ни для чего онъ не хотѣлъ жертвовать. Идея личности и личнаго развитія, вообще говоря, проходитъ красною нитью черезъ все написанное имъ, или, лучше, черезъ все имъ продуманное и пережитое. Въ своемъ университетскомъ кружкѣ онъ увлекался Сенъ-Симономъ, а не Гегелемъ или Шеллингомъ; пройдя черезъ необходимую стадію мистицизма, онъ быстро освободился отъ него, увлекшись философіей Фейербаха. Не теоретически только, а и органически ненавидѣлъ онъ крѣпостное право и произволъ. Атмосфера современной ему русской жизни заставила его эмигрировать за границу. Во имя личности, ея правъ, ея свободы, онъ полемизировалъ со „славянами". Въ защитѣ своей личности и личнаго достоинства онъ видѣлъ первую ступень нравственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его къ себѣ. Онъ, гордый, самолюбивый и властный, преклонялся передъ Гарибальди, а въ прошломъ передъ Петромъ. И въ Прудонѣ привлекало его не столько его ученіе, сколько то, что Прудонъ былъ всегда самъ собой и даже одинъ. Онъ такъ глубоко ненавидѣлъ всякую доктрину и самодовольство доктринеровъ, потому что зналъ, что нѣтъ большихъ цѣпей для человѣка, какъ цѣпь догматическаго ученія, за которымъ не слышно ни слезъ ни стоновъ.

Ему, между прочимъ, принадлежатъ слова: „Робкая совѣсть наша боится признаться, что эгоизмъ и гуманность лишаютъ насъ половины цивическихъ добродѣтелей и дѣлаютъ насъ вдвое больше людьми" (VIII. 210).

Онъ, очевидно, за то, чтобы быть вдвое больше людьми, а не вдвое больше гражданами.

Это потому, что онъ боялся всякаго подчиненія, что мечталъ о человѣческой личности безусловно свободной, безусловно самостоятельной... Его идеалъ есть анархія въ смыслѣ признанія высшей, верховной санкціи за самымъ человѣкомъ, за его „я“.

Любопытны его строчки о властолюбіи. „Моралисты часто и умиленно говорятъ о гибельномъ порокѣ властолюбія... Властолюбіе, само по себѣ, вытекаетъ изъ хорошаго источника — изъ сознанія своего личнаго достоинства. Основываясь на немъ, человѣкъ такъ бодро, такъ смѣло вступалъ вездѣ въ борьбу съ природой и развивалъ въ себѣ ту гордую независимость, которая такъ поражаетъ въ англичанинѣ... Совсѣмъ иное дѣло умалчиваемая моралистами любовь къ подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженіи своего достоинства; она такъ обща, такъ эпидемически поражаетъ цѣлыя поколѣнія и цѣлые народы, что о ней стоило бы поговорить, но они молчатъ. Считать себя глупымъ, неспособнымъ понять истины, слабымъ, презрѣннымъ, наконецъ, и получающимъ все свое значеніе отъ чего-нибудь внѣшняго — неужели это добродѣтель?“

Съ этимъ вопросомъ Герценъ какъ будто обращается ко всей помѣщичьей и бюрократической Россіи, ко всему мѣщанству западной Европы.

Онъ переходитъ потомъ къ умственному доктринерству, разсказавъ предварительно смѣшной анекдотъ о чиновникѣ, который въ 50 лѣтъ считалъ себя „сиротою“, такъ какъ у него не было ни отца ни матери. „Не смѣйтесь надъ нимъ. Такъ же не самобытна большая часть самыхъ развитыхъ людей; вы у каждаго найдете какое-нибудь карманное идолопоклонство, какое-нибудь дикое понятіе, унаслѣдованное отъ няньки и спокойно прожившее лѣтъ тридцать съ воззрѣніемъ, вовсе несвойственнымъ нянькамъ, и, наконецъ, хоть какой-нибудь авторитетъ, безъ котораго онъ пропалъ, безъ котораго онъ круглая сирота. Вотяки трепещутъ передъ палкой, къ которой привязана козлиная борода, — это ихъ шайтанъ. Нѣмцы трепещутъ передъ странными призраками своей науки... Конечно, отъ грубаго вотяцкаго шайтана до шайтана нѣмецкой философіи большой шагъ, но родственныя черты не мудрено раскрыть между ними. „Я вижу на твоемъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ почитать тебя царемъ“, сказалъ Кентъ безумному Лиру. А мы можемъ сказать многимъ, кичащимся своей умственной независимостью: „я вижу на твоемъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ называть тебя рабомъ“...

Еще нѣсколько афоризмовъ, изъ которыхъ видно, что въ идеѣ личности, личной чести было для Герцена нѣчто абсолютное, самоцѣнное, святое:

„Нравственно принципъ поединка состоитъ въ томъ, что истина дороже жизни, пишетъ онъ, напр., что за истину, мною созданную, я готовъ умереть и не признаю правъ на жизнь отвергающаго ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверхъ того, понимать, что съ утратою его бытіе становится ничтожно; надобно быть готовымъ испустить духъ за свою истину, тогда ее уважаютъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Человѣкъ, всегда готовый принесть себя въ жертву за свое убѣжденіе, человѣкъ, который не можетъ жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдетъ признаніе". Или:

„Съ человѣкомъ, который ставитъ свою честь выше жизни, съ человѣкомъ, идущимъ добровольно на смерть, нечего дѣлать: онъ неисправимо человѣкъ".

17. Герценъ о личности.

Въ статьѣ „Omnia mea mecum porto" Герценъ рѣзко ставитъ вопросъ объ отношеніи личности и общества. Это блестящая аргументація, согрѣтая страстью, вдохновленная негодованіемъ и протестомъ. Въ ея основномъ мотивѣ: „какія мы дѣти, какіе мы еще рабы и какъ весь центръ тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности внѣ насъ!" — тоска и разочарованность.

Онъ видитъ, какъ все въ окружающей его жизни идетъ противъ свободнаго человѣка. Онъ не дѣлаетъ особеннаго различія между идеями государственнаго единства, мѣщанскимъ строемъ жизни, дуализмомъ религіи, косностью человѣческихъ массъ. И то, и другое, и третье въ его глазахъ есть одинаково то, что „нужно преодолѣть". Онъ высказывается за сильную личность, яркую индивидуальность; онъ весь на пути къ анархіи, конечно, не анархіи, вооруженной бомбами и топорами, а той, которая ищетъ для человѣка опоры только внутри его. „Масса, говоритъ онъ, хороша только, какъ безличная, и развитіе самобытной личности составляетъ всю прелесть, до которой дорабатывается все свободное, талантливое, сильное".

„Что касается до качественнаго преимущества, я его вполнѣ отдаю сильнымъ личностямъ. Для меня Аристотель представляетъ не только сосредоточенную силу эпохи, но еще гораздо большее".

Онъ спокойно принимаетъ упреки въ аристократизмѣ, хотя въ немъ и нѣтъ никакого пренебреженія къ массамъ. Онъ признаетъ даже, что общія симпатіи массъ почти всегда вѣрны, какъ вѣренъ инстинктъ животныхъ. „Но не забывайте, продолжаетъ онъ устами Крупова, что человѣкъ любитъ подчиняться; онъ ищетъ всегда къ чему-нибудь при-

слониться, за что-нибудь спрятаться, въ немъ нѣтъ гордой самобытности хищнаго звѣря. Онъ росъ въ повиновеніи семейномъ, племенномъ; чѣмъ сложнѣе и круче связывался узелъ общественной жизни, тѣмъ въ большее рабство впадали люди. Они были подавлены религіей, которая тѣснила ихъ за ихъ трусость, старѣйшинами, которые тѣснили, основываясь на привычкѣ. Ни одинъ звѣрь, кромѣ породъ, развращенныхъ человѣкомъ, какъ называлъ домашнихъ животныхъ Байронъ, не вынесъ бы этихъ человѣческихъ отношеній. Человѣкъ вноситъ въ дико независимый и самобытный міръ животныхъ элементъ вѣрноподданничества, элементъ калибана"...

Наконецъ, онъ доходитъ до „самой прочной цѣпи изъ всѣхъ, которыми человѣкъ скованъ". Эта цѣпь въ его глазахъ самая прочная потому, что „человѣкъ или не чувствуетъ ея насилія, или, еще хуже, признаетъ ее „безусловно справедливой". Онъ говоритъ:

„Подчиненіе личности обществу, народу, человѣчеству, идеѣ — продолженіе человѣческихъ жертвоприношеній, закланіе агнца для примиренія Бога, распятіе невиннаго за виновныхъ. Всѣ религіи основывали нравственность на покорности, т. е. на добровольномъ рабствѣ, потому онѣ и были всегда вреднѣе политическаго устройства. Тамъ было насиліе, здѣсь развратъ воли. Покорность значитъ съ тѣмъ вмѣстѣ перенесеніе всей самобытности лица на всеобщія безличныя сферы, отъ него независимыя. Христіанство, религія противорѣчій, признавало, съ одной стороны, безконечное достоинство лица, какъ будто для того, чтобы еще торжественнѣе погубить его передъ искупленіемъ, церковью, отцомъ небеснымъ. Его воззрѣніе проникло въ нравы, оно выработалось въ цѣлую систему нравственной неволи, въ цѣлую искаженную діалектику, чрезвычайно послѣдовательную себѣ. Міръ, становясь болѣе свѣтскимъ... примѣшалъ свои элементы въ христіанское нравоученіе, но основы остались тѣ же. Лицо, истинная, дѣйствительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятію, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, объ этомъ никто не спрашивалъ. Всѣ жертвовали (по крайней мѣрѣ, на словахъ) самихъ себя и другъ друга".

Онъ приводитъ въ связь нравственную неволю человѣка съ дуализмомъ, „которымъ проникнуты всѣ наши сужденія". „Дуализмъ это христіанство, возведенное въ логику, христіанство, освобожденное отъ преданія и мистицизма. Главный пріемъ его состоитъ въ томъ, чтобы раздѣлять на мнимыя противоположности то, что дѣйствительно нераздѣльно, напр., тѣло и духъ.

„Такъ, какъ Христосъ, искупая родъ человѣческій, попираетъ

плоть, такъ въ дуализмѣ идеализмъ беретъ сторону одной тѣни противъ другой, отдавая предпочтеніе духу надъ веществомъ, роду надъ недѣлимымъ, жертвуя, такимъ образомъ, человѣка государству, государство человѣку.

Вообразите теперь весь хаосъ, вносимый въ совѣсть и умъ людей, которые съ дѣтскихъ лѣтъ ничего другого не слыхали. Нашъ языкъ — языкъ дуализма, наше воображеніе не имѣетъ другихъ образовъ...

Само собою разумѣется, что вся наша нравственность вышла изъ того же начала. Нравственность эта требовала постоянной жертвы, безпрерывнаго подвига, безпрерывнаго самоотверженія. Оттого-то по большей части правила ея и не исполнялись никогда. Христіанство, раздѣляя человѣка на какой-то идеалъ и на какого-то скота, сбило его понятія; не находя выхода изъ борьбы совѣсти съ желаніями, онъ такъ привыкъ къ лицемѣрію, часто откровенному, что противоположность слова съ дѣломъ его нисколько не возмущаетъ.

Такимъ образомъ составилась условная нравственность, условный языкъ; имъ мы передаемъ вѣру въ ложныхъ боговъ нашимъ дѣтямъ, обманываемъ ихъ такъ, какъ насъ обманывали родители, и такъ, какъ наши дѣти будутъ обманывать своихъ, до тѣхъ поръ, пока переворотъ не покончитъ со всѣмъ этимъ міромъ лжи и притворства.

Ложь эта не только вредна, но унизительна, она оскорбляетъ чувство собственнаго достоинства, развращаетъ поведеніе; надобно имѣть силу характера говорить и дѣлать одно и то же; и вотъ почему люди должны признаваться на словахъ въ томъ, въ чемъ признаются ежедневно жизнью".

Онъ зоветъ къ откровенности, къ пересмотру понятій, къ переоцѣнкѣ цѣнностей. Онъ уже не въ силахъ выносить равнодушно эту вѣчную риторику „добродѣтели". Онъ беретъ подъ свою защиту эгоизмъ и индивидуализмъ, хотя моралисты и считаютъ ихъ „дурной привычкой".

„Разумѣется, люди эгоисты, говоритъ онъ, потому что они лица. Какъ же быть самимъ собою, не имѣя рѣзкаго сознанія своей личности". Лишить человѣка этого сознанія значитъ распустить его, сдѣлать существомъ прѣснымъ, стертымъ, безхарактернымъ. „Мы эгоисты, и потому добиваемся независимости, благосостоянія, признанія своихъ правъ, потому жаждемъ любви, ищемъ дѣятельности и не можемъ отказывать безъ явнаго противорѣчія въ тѣхъ же правахъ другимъ".

„Всего меньше эгоизма у рабовъ", рѣшительно добавляетъ онъ. Разбирая приказаніе „любить не только всѣхъ, но преимущественно своихъ враговъ", онъ находитъ, что это правило пустое. „За что же любить враговъ?" спрашиваетъ онъ. „Или, если они такъ любезны, за что же быть съ ними во враждѣ?"

„Какъ существо общежительное, человѣкъ стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа". „Ненавидѣть себя совсѣмъ не нужно", пишетъ онъ въ заключеніе. „Моралисты считаютъ всякое нравственное дѣйствіе до того противнымъ натурѣ человѣка, что ставятъ въ великое достоинство всякій добрый поступокъ, и потому-то они братство вмѣняютъ въ обязанность, какъ соблюденіе постовъ, какъ умерщвленіе плоти. Послѣдняя форма религіи рабства основана на раздвоеніи общества и человѣка, на ихъ мнимой враждѣ. До тѣхъ поръ, пока, съ одной стороны, будетъ Архангелъ — братство, а съ другой Люциферъ — эгоизмъ, будетъ правительство, чтобы ихъ мирить и держать въ уздѣ; будутъ судьи, чтобы карать, палачи, чтобы казнить, церковь, чтобы молить Бога о прощеніи, Богъ, чтобы наводить страхъ, и комиссаръ полиціи, чтобы сажать въ тюрьму".

. . . . . .

Это и есть тотъ теоретическій анархизмъ, который многими своими положеніями перешелъ въ „нигилистику" 60-хъ годовъ, въ статьи и рѣчи Бакунина, особенно въ ученіе кн. Кропоткина, съ которымъ такъ охотно сближаетъ себя послѣднее время Л. Н. Толстой. Правда, Герценъ написалъ эти строки въ годы тяжелаго разочарованія (1849 — 1851), когда ему казалось, что дѣло свободы окончательно потеряно въ Европѣ, когда его герой Круповъ находилъ, что на самомъ дѣлѣ лучше быть звѣремъ, чѣмъ „человѣкомъ второй половины XIX-го вѣка", когда Наполеонъ III пробирался уже въ императоры. Но и до конца Герценъ считалъ эти строки лучшими изъ написанныхъ имъ.

Отдѣленіе человѣка отъ офиціальной жизни своего народа, признаніе за личностью ея религіозной, нравственной и даже политической автономіи рѣзко и рѣшительно занесено на эти страницы. Дѣйствительно, свободный человѣкъ создаетъ свою нравственность, учитъ Герценъ. Онъ пришелъ къ этому черезъ романтизмъ, естествознаніе и Фейербаха, черезъ упорную критику окружающаго. Онъ остался при себѣ и при вѣрѣ въ науку.

Идея освобожденной личности дошла до анархіи и до атеизма. Вѣра въ Бога и въ безсмертіе души такъ же стерлась, какъ вѣра въ офиціальную Россію, ея кнутъ, полицію, крѣпостное право. Западная революціонная, раціоналистическая и личная мысль вошла въ плоть и кровь человѣка.

Конечно, очень и очень немногіе западники зашли такъ же далеко, какъ Герценъ. Большинство ихъ остановилось на мечтахъ объ уничтоженіи крѣпостного права, свободѣ науки и просвѣщенія, кое-какихъ гарантіяхъ личности и общества отъ произвола.

Самъ Герценъ не удержался долго въ своемъ гордомъ одиночествѣ.

18. Самоотрицаніе Герцена.

Не надо забывать, что онъ былъ русскимъ человѣкомъ и русскимъ бариномъ старой крѣпостной Россіи. Голосъ больной, „радищевской“ совѣсти (совѣсти „кающагося“ дворянина) то и дѣло переплетался въ немъ съ голосомъ оскорбленной чести, заставляя замолкать послѣдній.

Какъ у всѣхъ нашихъ баръ, у него была созерцательная натура и робкая совѣсть.

По своему положенію онъ былъ рабовладѣльцемъ, и на его психологіи, хотя и очищенный геніемъ, все же видны слѣды проклятія, запечатлѣннаго въ формулѣ: „владѣющіе рабами — сами рабы“.

Онъ прекрасно отдавалъ себѣ отчетъ въ своемъ положеніи:

„Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостного права тяготѣетъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ не оправданное рабство крестьянъ“ (Соч., т. V).

Крѣпостное право разслабляло наше барство двоякимъ путемъ. Прежде всего прямо и непосредственно, предоставляя полный просторъ лѣни, чувственности и похотливости человѣка, потомъ косвенно, вызывая муки безсильной совѣсти. Совѣсть вопіяла, признала рабовладѣніе грѣхомъ, а между тѣмъ самъ человѣкъ продолжалъ пользоваться привилегіями своего положенія: и даровымъ трудомъ, и правомъ неограниченно распоряжаться чужой жизнью, любовью, счастьемъ. Голосъ совѣсти, ея терзанія оставались только голосомъ и терзаніями, не переходили въ дѣло, вызывали муку, раздвоеніе духовнаго міра, отчаяніе.

Сколько грусти, печали, угрызеній совѣсти, меланхоліи въ литературѣ, созданной нашими кающимися дворянами! А вѣдь кто изъ лучшихъ нашихъ баръ не былъ кающимся со временъ Радищева? Это общая окраска, общее настроеніе. Безмѣрное соціальное зло, огромная неправда общественной жизни давили душу. Человѣкъ рождался и жилъ во грѣхѣ, и сознаніе грѣховности своего положенія дѣлало его совѣсть робкой.

Онъ проклиналъ, давалъ „аннибалову клятву“ бороться съ крѣпостнымъ правомъ „до послѣдняго издыханія“ и, въ то же время, продолжалъ пользоваться своими привилегіями, продавая и закладывая крестьянъ въ ломбардъ. Только у очень и очень немногихъ хватило силы сразу порвать со зломъ и отказаться отъ выгодъ рабовладѣнія. Огромное большинство, проклиная и возмущаясь, оставалось господами.

Человѣкъ не былъ „единымъ“; не будучи единымъ, онъ не могъ быть сильнымъ. Голосъ возмущенной совѣсти лишалъ его мужества, заставлялъ стремиться не къ расширенію своихъ правъ, а къ самобичеванію. Чувствуя на душѣ всю тяжесть грѣха, ослабленный сознаніемъ неправды своей жизни, онъ не умѣлъ брать и требовать. Онъ только плакалъ и

пѣлъ. великолѣпно пѣлъ о своей дряблости. о своемъ ничтожествѣ, о томъ. что онъ ненужный. лишній человѣкъ... Онъ уходилъ въ мечты и грезы. въ мистику и поэзію разочарованности и тамъ спасался отъ раздвоенія, созданнаго тѣмъ общественнымъ строемъ. который отрицало сознаніе и признавала его чувственность.

Больная, робкая совѣсть парализовала, обезсиливала оскорбленную честь, лишая ее мужества и крыльевъ... Больная. робкая совѣсть создавала каждый день все новыхъ лишнихъ людей; оскорбленная честь не имѣла не только героевъ. но и выразителей. Слово „честь". достоинство человѣка красиво звучало въ разговорѣ. красиво выглядѣло на бумагѣ, но жизнь не знала ихъ. Крѣпостной строй создавалъ общую и для рабовъ и для господъ атмосферу хамства. приниженности. произвола, неуваженія къ себѣ и къ себѣ подобнымъ. Отношеніе господъ къ рабамъ было или насмѣшкой или безсильной жалостью. Отношеніе рабовъ къ господамъ — страхомъ, покорностью, ненавистью...

19. Честь и совѣсть.

Надо сказать, что трудно найти менѣе удобную для развитія чувства чести обстановку. чѣмъ наша русская. У насъ не было рыцарства. Наше боярство всегда продавало право своего первородства за чечевичную похлебку. Самосознаніе личности почти не даетъ себя знать на протяженіи всей русской исторіи. Общинно-земледѣльческій строй Россіи, разрушаемый, но все еще не разрушенный. низводилъ человѣческое „я", его иниціативу къ нулю; къ тому же стремилась наша патріархальная государственность.

Наша литература, наша интеллигенція, отражая въ своей жизни всю слабость историческаго развитія чувства чести, въ то же время и боялась послѣдняго. Выработанныя въ борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ, съ офиціальной народностью, воспитанныя мыслью о народѣ и его страданіяхъ,—высшую свою свободу и литература и интеллигенція полагали въ подвижничествѣ, самоотрѣченіи, самопожертвованіи.

Мысль о себѣ, о защитѣ своихъ правъ была смутна и пугала „робкую совѣсть"... Все первенство, всѣ гимны, весь ореолъ принадлежали послѣдней.

Взаимное отношеніе обѣихъ идей характерно для всего нашего прошлаго,—сознанный и все еще нерѣшенный споръ.

Любопытныя строки мы находимъ по этому поводу у Н. К. Михайловскаго: „Человѣкъ, говоритъ онъ въ своей статьѣ объ Успенскомъ, охваченный угрызеніями совѣсти, стремится наложить на себя эпитимью

и всячески урѣзать свой жизненный бюджетъ. Для себя ему ничего не нужно. Напротивъ, заморить грызущаго его червяка онъ только и можетъ лишеніями, и потому онъ не только готовъ принять всякія оскорбленія, даже до мученическаго вѣнца, а самъ ищетъ ихъ. Препятствія для этой работы совѣсти могутъ найтись въ самомъ субъектѣ, въ его „свиномъ элементѣ“, если таковой сохранится, а внѣшняя обстановка съ такимъ человѣкомъ ничего не можетъ сдѣлать: для него лично, пожалуй, даже чѣмъ хуже, тѣмъ лучше... Чѣмъ больше холода и голода на него обрушивается, чѣмъ униженнѣе его положеніе, тѣмъ онъ свѣтлѣе душой. Но въ такомъ чистомъ видѣ работа совѣсти встрѣчается рѣдко, хотя бываютъ цѣлыя историческія эпохи, ею окрашенныя. Обыкновенно же коррективомъ ея является работа чести, которая столь же способна нарушать гармонію „свиного элемента“, только съ другого конца, и точно такъ же можетъ стать мотивомъ глубочайшей драмы. Работа совѣсти и работа чести отнюдь не исключаютъ другъ друга. Между ними возможно практическое соглашеніе, онѣ могутъ ужиться рядомъ, пополняя одна другую. Но онѣ все-таки типически различны“.

„Совѣсть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни, и потому въ крайнемъ своемъ развитіи успокаивается лишеніями, оскорбленіями, мученіями; честь, напротивъ, требуетъ расширенія личной жизни, и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями. Совѣсть, какъ опредѣляющій моментъ драмы, убиваетъ ея носителя, если онъ не въ силахъ принизить, урѣзать себя до извѣстнаго предѣла; честь, напротивъ, убиваетъ героя драмы, если униженія и лишенія переходятъ за извѣстные предѣлы. Человѣкъ уязвленной совѣсти говоритъ: я виноватъ, я хуже всѣхъ, я недостоинъ; человѣкъ возмущенной чести говоритъ: передо мною виноваты, я не хуже другихъ, я достоинъ. Работѣ совѣсти соотвѣтствуютъ обязанности, работѣ чести права. Повторяю, исключительные люди совѣсти, какъ и исключительные люди чести, составляютъ большую рѣдкость; обыкновенно мы видимъ смѣшеніе этихъ двухъ началъ въ той или другой пропорціи. Но въ данную минуту герой драмы можетъ находиться подъ исключительнымъ вліяніемъ того или другого элемента. И ясно, что болѣзнь чести имѣетъ полное право стоять рядомъ съ болѣзнью совѣсти. Ясно, что драма оскорбленной чести можетъ быть столь же сложна, глубока и поучительна, какъ драма уязвленной совѣсти“.

„Работа совѣсти и работа чести отнюдь не исключаютъ другъ друга“, говоритъ г. Михайловскій, и, конечно, не объ исключеніи тутъ можетъ и должна итти рѣчь, а только о центрѣ тяжести.

Какимъ, напр., образомъ разноплеменная, разночинная, вся обиженная исторіей Русь, ни въ чемъ не виноватая, хотя и находящаяся въ положеніи провинившейся, можетъ сдѣлать работу совѣсти прежде и

больше своей работой? Это было бы непонятно. Но это было понятно въ эпоху крѣпостного права и его живыхъ воспоминаній.

Для того, чтобы голосъ совѣсти властно заговорилъ въ моей душѣ, чтобы онъ сталъ господиномъ моей жизни, чтобы онъ заставлялъ меня налагать на себя эпитимьи, сознательно и преднамѣренно урѣзывать бюджетъ своей личной жизни, вдохновляться больше всего чужими страданіями, а не личными униженіями, — надо, чтобы я былъ въ чемъ-нибудь дѣйствительно виноватъ, или чтобы это сознаніе вины было внушено мнѣ.

Наше барство, разбуженное войнами Наполеона, Руссо, Аракчеевымъ и Пушкинымъ (какое странное сочетаніе именъ), почувствовало себя и виновнымъ передъ крѣпостнымъ народомъ и униженнымъ. Совѣсть нашего барства—мужикъ.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ и 50-хъ годахъ, когда, въ сущности, и создана наша литература, сознаніе униженія затушевывается, сознаніе вины выступаетъ на первый планъ. Въ лицѣ Григоровича, Тургенева, Некрасова, Герцена, Огарева, Толстого баринъ казнитъ себя. Онъ исполненъ жалости, жалѣнія, онъ ищетъ примиренія съ своей совѣстью.

20. Драма русскаго барства.

Борьба чести и совѣсти принимаетъ въ душѣ Герцена размѣры трагедіи. Первое чувство твердитъ ему, что главная задача человѣка развить свои силы до высшей степени и освободить свою личность изъ-подъ ига обязанностей. Онъ возстаетъ даже противъ брака и видитъ передъ собой время, когда брака больше не будетъ. Но рядомъ съ этими теоріями то и дѣло встаетъ приниженная, забитая фигура мужика и взываетъ къ защитѣ жалости.

„А какъ взглянешь вокругъ себя, пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ...—Бѣдный, бѣдный русскій мужикъ! Глядя на его жизнь, кажется чѣмъ-то чудовищно преступнымъ жить въ роскоши; обыкновенно мужикъ здѣшней полосы никогда не ѣстъ мяса, у него едва хватаетъ хлѣба; коли побогаче, ѣстъ капусту; онъ каждый день съ своею семьею отыгрывается отъ голодной смерти. О запасахъ нечего и думать; умри лошадь, корова—онъ идетъ ко дну.

Возлѣ нихъ (крестьянскихъ) полей богатыя поля помѣщика, обработанныя его руками, скирды хлѣба, копны сѣна. Какое ангельское самопожертвованіе! Сегодня приходили къ окну нищіе изъ сосѣдней деревни; помѣщикъ выгоняетъ ихъ ежедневно на работу поголовно—у нихъ нѣтъ хлѣба, это бросается въ глаза. Если есть только хлѣбъ, то совѣсть помѣщика чиста: чего же имъ болѣе, они сыты.

Кротко, грустно несутъ крестьяне тяжелый крестъ жизни, черно проводятъ ее, имѣя въ перспективѣ розги, голодъ и барщину.

Двѣнадцать милліоновъ людей внѣ закона!.. Ужасъ!..“

Разными философскими „заклинаніями“ старается отогнать отъ себя Герценъ тоскливый, измученный образъ и, конечно, это не дается ему. Напрасно ищетъ онъ примиренія съ собой. Нѣтъ: мужикъ стоитъ тутъ рядомъ, голодный, оборванный, весь въ рубцахъ отъ дикой расправы... и красивыя теоріи разлетаются прахомъ.

Красивая теорія говоритъ: „все наше образованіе, наше литературное и научное развитіе, наша любовь изящнаго, наши занятія предполагаютъ дорогу, постоянно расчищаемую другими; надобенъ чей-то трудъ для того, чтобы намъ доставить досугъ, необходимый для нашего психическаго развитія; тотъ досугъ, ту дѣятельную праздность, которая способствуетъ мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствуетъ пышному, капризному, поэтическому, богатому развитію нашихъ аристократическихъ индивидуальностей“.

Дальше еще рѣзче: „наша цивилизація—цивилизація меньшинства, она возможна только при большинствѣ чернорабочихъ“; или: „я не жалѣю о 20-ти поколѣніяхъ нѣмцевъ, потраченныхъ на то, чтобы сдѣлать возможнымъ Гете, и радуюсь, что псковскій оброкъ далъ возможность воспитать Пушкина“.

Теорія красива; больше: взятая какъ обобщенный историческій фактъ, она вѣрна. Но ея красоты и правды было совершенно недостаточно, чтобы отогнать отъ себя мучительный призракъ. Несмотря ни на что, призракъ звалъ въ массу, въ расплату съ народомъ, въ муки совѣсти.

Еще Станкевичъ и многіе изъ его кружка могли удовлетвориться однимъ романтизмомъ и по лѣстницѣ красивыхъ словъ, звучныхъ фразъ взбираться на высоты „прекраснодушія“, „абстрактнаго героизма“. Но Огаревъ и Герценъ, уже зараженные Сенъ-Симономъ и Фурье, пошли дальше.

Народъ, мужикъ не давали имъ покоя, и посмотрите, какимъ мучительнымъ аккордомъ звучатъ эти вотъ строки Огарева изъ одного его письма къ неизвѣстному:

21. Предѣлъ самоотрицанія.

„Ты говоришь, писалъ онъ, что для истины не нужно скорби. Какъ ты врешь, баронъ! Какъ ты говоришь противъ себя! И что тебѣ за радость увѣрять себя, что ты чрезвычайно спокоенъ, счастливъ и доволенъ и примиренъ, когда хорошо знаешь, что лжешь и что внутренно страдаешь?

Страдаешь уже тѣмъ, что истину, которую ты носишь въ себѣ, не можешь напечатлѣть вокругъ себя и что самъ не можешь жить адекватно истинѣ, которую въ себѣ носишь...

Это еще очень не много, что ты понялъ истину и сталъ очень доволенъ. Теорія весьма мало удовлетворяетъ и, не переходя въ плоть и кровь, т. е. въ практику, въ новую личную жизнь, сводится на новую абстракцію, за которую я не дамъ ни копѣйки. Если негація есть путь ума къ истинѣ, то скорбь — путь сердца къ истинѣ. Кто не шелъ этимъ послѣднимъ путемъ, тотъ никуда не придетъ. Юноша сказалъ Христу: „Я хочу слѣдовать за Тобою". — „Раздай имѣніе нищимъ, сказалъ Христосъ, и ступай за мной". Юноша не роздалъ имѣнія нищимъ и не пошелъ за Христомъ.

Что это значитъ? Что скорбь по истинѣ была не довольно сильна въ его сердцѣ, чтобы рѣшить его на поступокъ. А если бы скорбь эта была ему невыносима, съ какой бы радостью онъ роздалъ все и пошелъ за Христомъ. Какъ же скорбь не есть путь къ истинѣ? Да и зачѣмъ тебѣ истина, если ты не скорбишь во лжи? Кровью сердца покупается истина, баронъ! Не противорѣчь, потому что лгать станешь. Что сдѣлаетъ тотъ, кто насквозь прочувствуетъ всю скорбь наслѣднаго достоянія, а не труда? Онъ пойдетъ въ пролетаріи, баронъ! Замотай себѣ это слово на память, потому что я не шучу. Что вѣра безъ страданія? Что теорія безъ скорби? Что принципъ при неадекватности жизни съ этимъ принципомъ? Пуфъ, просто puff! Играніе своими умственными способностями".

Здѣсь, въ этихъ словахъ, уже не только приговоръ всякаго рода „абстракціямъ", между прочимъ, и „абстрактному героизму", а омутъ, куда остерегалась заглядывать не только мысль большинства, но и людей, равныхъ Огареву по таланту. Недоставало искренности передъ собой, и только Огаревъ, поражавшій всѣхъ знавшихъ его то своею „святостью", то „распутствомъ", въ широкой натурѣ котораго было столько христіанства, барства и босячества, рѣшился сдѣлать выводъ изъ посылокъ.

Отказъ отъ сеньоріальныхъ правъ былъ въ его глазахъ слишкомъ малымъ дѣломъ, чтобы стоило даже упоминать о немъ. Мечта его покаянной совѣсти залетѣла по ту сторону обычныхъ представленій добраго и злого и выставила единственное нравственное требованіе: быть пролетаріемъ, быть нищимъ. Но, еще разъ, сюда, въ этотъ омутъ, никто изъ сверстниковъ Огарева не заглядывалъ. Заглянули уже потомъ дѣти, создавшіе эпоху 70-хъ годовъ, заглянулъ Толстой, да такъ, что уже всю жизнь не могъ оторвать своихъ глазъ отъ бездны...

Ибо здѣсь, дѣйствительно, бездна.

22. Еще штрихи барской психологіи.

Такова, мнѣ кажется, драма, пережитая нашимъ барствомъ, разбившаяся на художественные образы, меланхолическіе аккорды настроенія; драма, пережитая большинствомъ стихійно и безсознательно, вынесенная лишь единицами: такими, какъ Герценъ, Огаревъ, Толстой. Она передъ вами — въ анархизмѣ Бакунина и Кропоткина, въ стонахъ и жалобахъ нашихъ кающихся дворянъ, въ дерзкой проповѣди общаго разрушенія, гдѣ чувствуется самобичеваніе, экстазъ наложенной на себя эпитимьи, свистъ бича, какимъ совѣсть полосуетъ грузное обломовское тѣло. Рядомъ съ ней скука пресыщенія, примѣшивающаяся къ революціоннымъ мотивамъ протеста и негодованія, покрывая ихъ дымкой невѣрія, меланхоліи.

„Русская аристократія, какъ-то небрежно и иронически замѣтилъ К. Марксъ, воспитывается въ нѣмецкихъ университетахъ и въ Парижѣ. Она всегда стремится къ самымъ крайнимъ теоріямъ Запада. Это чистое гастрономство, которымъ занималась въ XVII в. часть французской аристократіи“.

Есть, скажемъ, гастрономство, но есть и отчаяніе.

„Вы, и еще больше декабристы, обидно говорилъ Чернышевскій Герцену, были диллетанты революціонныхъ идей; для васъ ваше участіе въ дѣлѣ было роскошь, поэзія. Сами же вы говорите, что вы всѣ жертвовали общественнымъ положеніемъ, имѣли средства; для васъ, стало быть, переворотъ не былъ вопросомъ куска хлѣба и человѣческаго существованія, вопросомъ за жизнь[72]).

— Я полагаю, зло отвѣчалъ Герценъ, что для казненныхъ — да.

— По крайней мѣрѣ, не были роковыми, неизбѣжными вопросами. Вамъ нравилось быть революціонерами... для насъ же борьба не выборъ — это наше общественное положеніе. Между нами и вами та разница, которая между человѣкомъ упавшимъ въ воду и купающимся: обоимъ надо плыть, но одному по необходимости, другому изъ удовольствія“.

Слишкомъ это рѣзко, но черта диллетантизма отмѣчена вѣрно. Она чувствуется даже въ Бакунинѣ, несмотря на Алексѣевскій равелинъ.

Въ психологіи барства, класса балованнаго, шутившаго и каприз-

---

[72]) Т. IX. Впрочемъ, Герценъ не называетъ собесѣдника. Это мысли Чернышевскаго. Послѣдній хотѣлъ, очевидно, сказать, что въ движеніе разночинецъ внесъ всего себя.

ничавшаго въ жизни сколько угодно, была, конечно, и самовлюбленность. страсть къ позѣ и жесту. „Человѣкъ любитъ эффектъ, роль, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣшаетъ“. И барство куталось въ свой романтическій, чайльдъ-гарольдовскій плащъ.

Мнѣ думается, надо признать и эти штрихи, включить ихъ въ психологію барства. Но развѣ всѣ были такими „свиньми“, какъ Райскій. у котораго дѣло штрихами только и ограничивалось? Развѣ въ смерти Рудина на баррикадѣ была только поза, а не было смерти?

Я разсказалъ, какъ могъ, драму нашего барства и, „штрихи—штрихами“, долженъ признать ее глубокой и серьезной. Доказательство—глубина запросовъ, печальная красота лучшихъ произведеній барской литературы, ея самобичеваніе. Мало того: мудрая драма, такъ какъ она выросла изъ предчувствія смерти, и главные ея моменты — исповѣдь и requiem. Заглянувши въ ея глубину, вы видите, во что обходится (только, увы, рано или поздно) порабощеніе человѣка, насиліе надъ человѣкомъ. и какъ рабство мститъ за себя.

Критическая работа, произведенная нашимъ барствомъ надъ собой, надъ своимъ положеніемъ привилегированныхъ, надъ кабальнымъ строемъ крѣпостной Россіи, огромна. А кто былъ союзникомъ? Книга, Европа. Жизнь таила въ себѣ то же самое, но жизнь молчала, и было подвигомъ генія разгадать тайну этого молчанія.

Пушкинъ звалъ себя „пустынникъ сѣятелемъ свободы“. Всѣ они, лучшіе люди, были такими же, и совсѣмъ не смѣшны ихъ тоска, ихъ жалобы, ихъ органическое недовѣріе къ жизни.

Нельзя не любить ихъ призыва къ новой жизни, ихъ оргіастическаго или печальнаго:

И тутъ, у гробового входа,
Младая будетъ жизнь играть...

Они впередъ понимали, что будутъ чужими и ненужными въ этой „молодой“ жизни, что имъ не стряхнуть съ себя власти исторической традиціи и своего грузнаго чувственнаго тѣла. Но все же они шли навстрѣчу этому, борясь съ „сукомъ“, на которомъ сидѣли,—съ крѣпостнымъ правомъ, и теоретически уравнивая людей.

Все прошлое тянуло ихъ въ невѣріе, въ пессимизмъ, въ отрицаніе, въ мистику. Въ сущности, они только старались вѣрить или держаться вѣры, внушенной имъ Западомъ, и, проповѣдуя свободу, они таили въ душѣ гетевское: „Der Mensch ist nicht geboren frei zu Sein“.

Дѣйствительная жизнь со своимъ хамствомъ, приниженностью была невыносима. Человѣкъ убѣгалъ, прятался въ мечту, грезу, въ эстетическое созерцаніе, въ мистическія настроенія. И это было естественно, простительно при невѣроятномъ полицейскомъ гнетѣ, при все развращавшемъ крѣпостномъ правѣ. Гдѣ ужъ тутъ было развиться настойчивому и требовательному чувству чести?

* * *

Наши „люди сороковыхъ годовъ“, наши эстетики, художественныя натуры того поколѣнія, между прочимъ, и Герценъ, предъявляли жизни требованія прекраснаго. Безобразная дѣйствительность заставляла ихъ бѣжать отъ себя, не подчиняясь воздѣйствію. Въ самостоятельной, самобытной, достигшей полнаго своего развитія личности воплотилась, прежде всего, ихъ идея „прекраснаго въ жизни“. Съ критеріумомъ этой свободной личности подходили они къ окружающему, къ патріархальному строю, къ полицейскому государству и отрицали его.

Чувство чести, достоинства было въ центрѣ ихъ понятія личности.

Но въ борьбѣ съ дѣйствительностью они были безсильны, какъ 1 на 1.000.000, какъ русскіе баре, какъ эстетики, для которыхъ созерцаніе и художественное воспріятіе замѣняли самую жизнь.

Все, что можетъ сдѣлать идея прекраснаго для теоретическаго освобожденія „личности“, сдѣлано ею въ рукахъ нашего культурнаго барства. Представленіе о ея свободѣ они довели до предѣловъ анархіи.

Однако, борьбѣ за право, этому естественному выраженію чувства чести, они были чужды. Несмотря на весь свой европеизмъ, остался чуждъ ему и самъ Герценъ. Онъ эстетикъ, художественная натура, никакъ не политикъ. Подойдя къ жизни съ своими непримиримыми требованіями, онъ въ концѣ концовъ, отвернулся отъ нея, оставшись въ своемъ печальномъ одиночествѣ.

Натура прежде всего художественная, онъ, послѣ разочарованія 48-го года, сразу поставилъ крестъ надъ Западной Европой, заявивъ, что она „не спитъ, а умираетъ“. Парламентаризмъ казался ему огромнымъ бѣличьимъ колесомъ. Онъ ушелъ въ свое разочарованіе, свою „усталь“, воспѣвалъ Байрона, низводилъ себя къ роли лишняго человѣка. Рабочее движеніе онъ почти что просмотрѣлъ.

Въ сущности, никакой политическій строй не могъ удовлетворить Герцена. Онъ дѣлаетъ исключеніе для Швейцаріи, говоря, что это единственный клочекъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ. Въ Англіи и во Франціи невыносимо удушливо. Въ Италіи и Испаніи не такъ невыносимо, но скверно. Швейцарія лучше, потому что она не доразвилась еще до промышленной страны.

При его обожествленіи человѣческой личности, при его анархизмѣ,

онъ естественно могъ бы примириться лишь съ тѣмъ обществомъ, всѣ члены котораго связаны не договоромъ, не политическими постановленіями, а узами и отношеніями чисто нравственными, прежде всего любовью и взаимнымъ признаніемъ.

Поэтому-то борьба за право такъ мало интересуетъ его. Въ ней постепенность, постоянные компромиссы, жертвы, „бѣличье колесо парламентаризма".

Вѣдь рядомъ съ чувствомъ чести въ немъ говоритъ и кающаяся совѣсть, говоритъ властно и громко, предъявляя жизни свои абсолютныя требованія, жаждая полнаго искупленія грѣховъ и находя это искупленіе въ распластѣ съ закабаленнымъ народомъ.

23. Лишніе люди, эстетики, идеалисты.

„Вы, милостивый государь, войдите въ мое положеніе. Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью? И какъ прикажете примѣнить ее къ нашему быту? да не ее одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію, скажите болѣе—науку?".

Такъ говоритъ одинъ изъ лишнихъ людей, Тургеневскій „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда". Онъ вспоминаетъ свою молодость, и самое яркое воспоминаніе то, что онъ болталъ: „вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ Вражкѣ и все о томъ же". Правда, самъ онъ этого какъ бы устыдился. „Но, говоритъ онъ, посмотрите-ка на настоящихъ ратоборцевъ на этомъ поприщѣ: имъ это ни по чемъ: напротивъ, только этого имъ и нужно; иной двадцатый годъ работаетъ языкомъ и все въ одномъ направленіи". Онъ три года пробылъ за границей: „въ одномъ Берлинѣ прожилъ восемь мѣсяцевъ". Потомъ былъ въ Италіи. Ничего не понимая въ живописи и ваяніи, „постоялъ въ Римѣ передъ Преображеніемъ и передъ Венерой во Флоренціи постоялъ; внезапно повергался въ преувеличенный восторгъ, словно злость на меня находила: по вечерамъ вписывалъ стишки, начиналъ дневникъ; словомъ, и тутъ велъ себя, какъ всѣ". Онъ „Гегеля изучилъ", знаетъ наизусть Гете, заѣденъ рефлексіей, и непосредственнаго нѣтъ въ немъ ничего. Со всѣмъ этимъ багажемъ или балластомъ онъ оказался выброшеннымъ изъ жизни. Живетъ въ деревнѣ, оробѣлъ, смирился, ничего не дѣлаетъ, смотритъ, какъ всѣ кругомъ презираютъ его за бѣдность, за ненужность и самъ себя презираетъ. Тоскуетъ о томъ, что въ немъ нѣтъ личности, человѣка, себя, в о л и, но довольно легко обходится и безъ этого. Старѣя и принижаясь изо дня въ

день идетъ къ тому, чтобы стать шутомъ въ богатыхъ домахъ: его уже и теперь обносятъ кушаньемъ. А онъ все рефлектируетъ, рефлектируетъ и какъ будто доволенъ.

Это лишніе люди, настойчивый долгій типъ нашей дворянской литературы. Отъ Онѣгина, Чацкаго, Печорина черезъ героевъ Герцена („Поврежденный", Бельтовъ), Тургенева длинной вереницей тянутся они къ Обломову Гончарова, къ Тамарину Авдѣева, все падая и пошлѣя. Сначала ими любуются, потомъ жалѣютъ, дальше недоумѣваютъ и пожимаютъ плечами при видѣ ихъ, наконецъ, судятъ, судятъ холодно и безпощадно.

Для Добролюбова они только разновидность Обломова съ его лѣнью, прекраснодушіемъ и полной пустотой внутри. Они свищи, шелуха, тунеядцы. Для нихъ нѣтъ добраго слова, любовнаго воспоминанія, никакой пощады, даже снисхожденія.

Объ этомъ снисхожденіи напрасно хлопоталъ Герценъ. Когда Чернышевскій былъ у него въ Лондонѣ, они разговорились о „лишнихъ" людяхъ. Изъ разговора, конечно, не вышло ничего.

„Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ, дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Онѣгинъ? говорилъ Чернышевскій.—Извольте видѣть: они образовались иначе, міръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и притомъ спокойно ѣсть да пить".

Никакой защиты Чернышевскій не хотѣлъ слушать. „Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту, пишетъ Герценъ, и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солнца и и другихъ деревьевъ".

„Неужели, спросилъ Герценъ, вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали или дѣлали вздоръ?

— Безъ всякаго сомнѣнія. Они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или шило, да и того, правда, они не умѣли.

— Въ такомъ случаѣ, я буду называть имена; напримѣръ, Чаадаевъ: онъ не умѣлъ взяться за шило, но умѣлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумѣніи о себѣ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете: Чаадаевъ сдѣлался праздным человѣкомъ. Иванъ Кирѣевскій, положимъ, не умѣлъ сапогъ сшить, но умѣлъ издавать журналъ; издалъ двѣ книжки—запретили журналъ; онъ помѣстилъ статью въ „Денницѣ"—цензора Глинку посадили на гауптвахту. Кирѣевскій сдѣлался лишнимъ человѣкомъ. Николая Полевого, конечно, нельзя обвинить въ лѣни; человѣкъ онъ былъ

изворотливый, а все-таки крылья „Телеграфа“ подрѣзали, и, признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ, женатый человѣкъ, обремененный семьей, боится квартальнаго, я не смѣялся, а чуть не плакалъ“.

Герценъ ссылается на внѣшнія условія и въ нихъ ищетъ защиты и оправданія. Съ его стороны въ этомъ спорѣ слышны страсть и раздраженіе: онъ, очевидно, и себя охраняетъ отъ тѣхъ же упрековъ и той же укоризны. Ничего страннаго, потому что одно время и онъ и Огаревъ были зачислены „молодой Россіей“ въ разрядъ „ископаемыхъ“ и лишнихъ людей.

Ясно, съ какимъ обширнымъ классомъ людей и какимъ неопредѣленнымъ растяжимымъ терминомъ имѣемъ мы дѣло. Чернышевскій спокойно и самоувѣренно подводилъ подъ него всѣхъ „романтиковъ“ и аристократовъ“.

Лишніе люди дѣлали, быть можетъ, меньше, чѣмъ могли (судить объ этомъ трудно), но все же въ итогѣ ихъ работа большая часть и литературы нашей и нашего неофиціальнаго просвѣщенія. Имъ надо отдать еще большую справедливость: они не ждали 60-хъ годовъ, не ждали Добролюбова, Чернышевскаго и „молодой Россіи“, чтобы произнести себѣ приговоръ. Въ своемъ рефлектированіи они не щадили ни себя, ни своей жизни. Они какъ бы даже торопились въ этомъ отношеніи и шли навстрѣчу самымъ рѣзкимъ упрекамъ. Съ самовлюбленностью избалованныхъ, красивыхъ дѣтей они умѣли даже изъ приговора надъ собой скроить себѣ плащъ и драпироваться въ него; но все же червякъ сомнѣнія, сознанія своей ненужности, своихъ даромъ потраченныхъ силъ, не переставая, точилъ ихъ душу. Въ нихъ была стыдливость и робость, такая милая, такая странная въ Россіи, населенной Ноздревыми, Собакевичами и управляемой Сквозникъ-Дмухановскими вкупѣ съ Держимордами. Рудинъ не уводитъ Наташу, прежде всего потому, конечно, что онъ не вѣритъ въ себя. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда болталъ, болталъ: „да вотъ въ чемъ бѣда, добросовѣстность вдругъ, изволите видѣть, во мнѣ проснулась: мнѣ что-то стыдно стало болтать, болтать безъ умолку“. Они торопились, говорю я, стушеваться, умереть.

Надъ ними висѣло свинцовое небо николаевской эпохи, ихъ тяготило проклятіе собственныхъ привилегій, рабовладѣнія, отъ котораго большинство, конечно, было не въ силахъ отказаться. Съ философіей Гегеля или Фейербаха, съ Сенъ-Симономъ или сенъ-симонистами они все же попадали въ тупики русской жизни.

Въ физіологіи ихъ натуры надо отмѣтить одну черту: они быстро старѣли. Тридцать лѣтъ былъ тотъ возрастъ, котораго они всѣ боялись и послѣ котораго начинали, опять-таки не безъ самолюбія, подводить

итоги своей жизни и говорить о себѣ, какъ о конченныхъ людяхъ. Быть молодыми стариками, жаловаться на то, что ихъ сломила жизнь, дѣлать видъ, что они все испытали, имъ нравилось при ихъ романтизмѣ, и здѣсь опять они торопливо шли навстрѣчу своему утомленію.

Выросшіе на романтикахъ, на идеализмѣ, они вступали въ жизнь съ огромными, хотя туманными и расплывчатыми замыслами. Эти замыслы были, конечно, или художественными или научными. Никто изъ нихъ не хотѣлъ мириться меньше, чѣмъ на „космогоніи“, какъ Огаревъ, или „всемірной исторіи“, какъ Хомяковъ, или новой философіи. Они были проницательны, нетерпѣливы, склонны къ самымъ общимъ формуламъ, къ самымъ неуступчивымъ приговорамъ. Они постигли всю грязь, всю пошлость, всю жестокость окружающей ихъ жизни и строили себѣ одну вышку за другой, откуда было бы можно видѣть звѣздное небо и не видѣть земли. Абстрактный героизмъ, свобода внутри себя, гегеліанство, художественное творчество,—все это одно за другимъ служило вышками.

Когда Гоголь уткнулъ русскихъ людей носомъ въ ту грязь, въ которой они жили, барахтались и умирали, это произвело огромное впечатлѣніе, но было понятно прежде всего въ томъ смыслѣ, что надо уйти дальше, какъ можно дальше отъ земли, въ міръ словъ и чистаго созерцанія. Только тамъ чувствовали они себя свободными, нужными, жрецами новой вѣры.

Предчувствіе своей соціальной смерти дѣлало ихъ мудрыми и придавало особую вѣскость ихъ словамъ. Вѣдь это отказъ отъ себя, отъ своего барства и проклятіе внѣшнему гнету, принуждавшему ихъ жить въ обстановкѣ рабовладѣнія, написали они въ своемъ завѣщаніи Россіи.

Въ отношеніи къ себѣ и породившей ихъ жизни они питали сложное чувство одновременной самовлюбленности и самоотрицанія, любви и ненависти.

Какъ римляне эпохи упадка, они могли сказать: „odi cum amo“— „ненавижу, потому что люблю“. Даже у такихъ людей, какъ Тургеневъ, Герценъ, Огаревъ, вы найдете это странное соединеніе, логически безсмысленное, психологически неизбѣжное, разъ въ душѣ человѣка появился расколъ.

„Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца“, сказалъ Гейне, и эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ примѣнить къ самому себѣ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищѣ его сердца: тамъ покоились Станкевичъ и Бѣлинскій, покоились старыя дворянскія гнѣзда. Тургеневъ видѣлъ исчезновеніе этихъ гнѣздъ, видѣлъ, какъ вѣковые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плевелами, какъ покрывались плѣсенью стѣны старыхъ ломовъ,

изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падаютъ и разрушаются стѣны тюремъ, но какая же радость можетъ быть на могилѣ своего честнаго товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая начавшаяся при немъ жизнь? Онъ былъ связанъ съ нею головой, но не сердцемъ, онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша, онъ этимъ исполнилъ долгъ гражданина, но герои „что дѣлать?“—не его герои.

Тургеневъ и Герценъ только сильнѣе чувствовали то, что было на душѣ у большинства.

Я уже сказалъ выше, что оба они любили лишнихъ людей, потому что любили себя, хотя яснѣе, чѣмъ кто-нибудь, сознавали, что тѣ лишніе. Посмотрите, какими мягкими, нѣжными красками рисуетъ Герценъ своего „поврежденнаго“ или Бельтова, какъ внимательно прислушивается онъ къ жалобамъ перваго, что земля больна, или къ капризнымъ, балованнымъ разсужденіямъ второго.

То же и Тургеневъ.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ, ни политическимъ дѣятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себѣ творчество. Онъ любилъ писать, любилъ страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкѣ, своемъ стилѣ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граненые періоды, аристократическая сдержанность выраженій, умѣнье вызывать настроеніе (по преимуществу, меланхолическое) однимъ построеніемъ фразъ, ихъ созвучіемъ, — все это дѣлаетъ изъ него первокласснаго писателя и въ то же время позволяетъ намъ заглянуть въ его душу. Въ каждаго изъ своихъ героевъ онъ вложилъ частицу собственнаго духа, и посмотрите, какіе это люди: мягкіе, нѣжные, красивые, настоящія женщины безъ дерзости духа, безъ гордости, даже безъ жестокости, кромѣ развѣ одного, да и то совершенно неудавшагося, Инсарова изъ „Наканунѣ“. И самъ Тургеневъ относится къ нимъ съ такимъ же вниманіемъ, такой же предупредительной ласковостью, какъ будто всѣ они безъ исключенія, дѣйствительно, женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтомъ лишнихъ людей, этихъ героевъ слова, этихъ мужчинъ съ красивою женской душой. Одного взгляда на этихъ героевъ достаточно, чтобы сказать, что они не сдѣлаютъ ничего, что ни къ какой упрямой борьбѣ они не способны, что всякое усиліе глубоко претитъ ихъ вялой натурѣ, ихъ выхоленнымъ рукамъ, красоту которыхъ самъ Тургеневъ отмѣчаетъ постоянно, и выхоленнымъ сердцамъ, гдѣ таится все честное, хорошее, благородное, но перели-

вается не въ работу—тѣмъ болѣе, въ черную, упрямую работу 60-хъ годовъ, а въ слезы умиленія, въ восторги слова, въ художественные образы [73]). Они способны лишь на красивые порывы, какъ Рудинъ, умирающій подъ звуки марсельезы, а больше всего на тихую созерцательную грусть, какъ Лаврецкій, какъ самъ Тургеневъ. И всѣ они родные братья Тургенева по духу; оттого онъ такъ любитъ ихъ, такъ ласково относится къ нимъ и тратитъ весь свой изумительный художественный талантъ на описаніе тонкихъ изгибовъ ихъ души.

Такое отношеніе станетъ еще болѣе понятнымъ, если мы вспомнимъ, что „лишніе“ люди рано увлеклись гуманностью, работой совѣсти, покаяніемъ. Въ вѣкъ кнута, розогъ, шпицрутеновъ быть просто человѣкомъ часто значило уже быть героемъ.

Хочется сказать еще о ихъ меланхоліи, о грустномъ тонѣ ихъ произведеній. Они легко вдавались въ пессимизмъ и отрицаніе жизни. Раздвоенные внутри себя, усталые отъ вѣчной борьбы чести и совѣсти, ясно видѣвшіе, какъ почва уходитъ у нихъ изъ-подъ ногъ, часто пресыщенные, — они легко теряли духовное равновѣсіе.

Въ ихъ жизни постоянно звучала трагическая нота, сознаніе своей обреченности. Правда, все это расплывалось въ добродушіи лѣни, въ „славянскомъ туманѣ“, какъ выражался Тургеневъ, но все это было.

Еще разъ обращусь къ Тургеневу.

Въ чемъ трагизмъ его жизни?

При страстной любви къ жизни, онъ, однако, болѣзненно ощущалъ всю ея непрочность, скоротечность, ея призрачность. При страстной любви къ свободѣ, онъ не менѣе болѣзненно ощущалъ всю зависимость человѣка отъ суровыхъ, внѣ его лежащихъ силъ, отъ „стихіи ли русскаго бытія или стихіи вообще“ [74]). Въ немъ была любовь ко всему доброму, хорошему, но онъ никогда не вѣрилъ въ торжество этого добраго и хорошаго. „Кто сказалъ, что человѣку суждено быть свободнымъ?“ спрашивалъ онъ и отвѣчалъ: „исторія доказываетъ намъ противное“.

Интересъ, привязанность, любовь ко всему земному отличительная черта Тургенева, какъ художника. Онъ никогда не увлекался вопросами

---

[73]) Что онъ дѣлалъ эти 16 лѣтъ? спрашиваетъ Герценъ о героѣ своего романа, Бельтовѣ, и отвѣчаетъ: все или почти все. Что онъ сдѣлалъ? ничего или почти ничего.

[74]) Особенно любопытно стих. въ прозѣ „Necessitas, vis, libertas“ (Необходимость, насиліе, свобода). Свобода—маленькая дѣвочка, которую толкаютъ необходимость и насиліе. „Она не хочетъ итти и все-таки должна повиноваться и итти“. На ту же тему Герценъ написалъ свое „Consolatio“ (Т. V, V), Огаревъ—Монологи.

религіи, сомнѣніями и исканіями въ ея области. Онъ съ наслажденіемъ созерцалъ жизнь, какъ она развертывалась передъ его глазами, упивался этимъ созерцаніемъ; но меланхолическая мысль, что все это пройдетъ, что отъ всего этого не останется и слѣда, ни на минуту не покидала его.

Да, онъ любилъ жизнь... Припомните его описанія природы, людей, особую прелесть его страницъ, гдѣ онъ разсказываетъ о томъ, какъ возникаетъ любовь въ молодомъ сердцѣ, какіе восторги и какія муки испытываетъ оно, и вы увидите, что безъ поглощающаго интереса къ жизни, ко всему живому ничего подобнаго сдѣлать нельзя. Онъ любилъ молодость въ ея порывахъ и стремленіяхъ, въ ея неясныхъ мечтахъ и грезахъ, ея безпокойныхъ волнующихся надеждахъ; онъ создалъ чудный типъ русской женщины, особенно дѣвушки, того переходнаго времени, когда даже въ глухую провинцію пробралось какое-то броженіе, когда люди жили предчувствіемъ надвигающагося на нихъ „новаго“ и ощущали тревогу, и только ждали одного слова, указанія, встрѣчи, чтобы вступить на иной путь, чѣмъ тотъ, по которому шли отцы и дѣды... Эти-то тревоги, волненія, исканія Тургеневъ, какъ художникъ, наблюдалъ съ особеннымъ, пристальнымъ и любовнымъ любопытствомъ, радовался имъ: радовался тому, что человѣкъ хочетъ сбросить съ себя власть прошлаго, его предразсудковъ, его обязательныхъ постановленій, хочетъ быть самъ собой, поступать по своему, любить кого хочетъ. Онъ прямо упивался этимъ броженіемъ жизни, ея весенними всходами, но меланхолія, грусть никогда не покидала его. Какъ печально, уныло окончаніе всѣхъ его романовъ, или, если человѣкъ и добивается счастья, то какое это мизерное, маленькое, сѣрое счастье, такъ не похожее на тѣ яркія, полныя блеска и вдохновенія картины, которыя онъ рисовалъ себѣ (напр., „Дымъ“). Жизнь — для жизни. Въ этомъ броженіи, этихъ порывахъ, этой игрѣ красокъ, шумѣ волнъ, восторгахъ и мукахъ молодой любви, смерти, грубо обрывающей только что начатое дѣло, только что предпринятый подвигъ, чтобы сейчасъ же гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ началось то же самое, ея смыслъ, ея разгадка... Но лучше и не спрашивать себя, что изъ этого выйдетъ. „Кто сказалъ, что человѣку суждено быть свободнымъ? Исторія доказываетъ противное“... А что такое сама исторія? „Провидѣніе, случай, иронія, судьба?“ говорилъ себѣ Тургеневъ, чувствуя всю печаль, всю тяжесть такого рода отвѣтовъ. Но надо жить.

Въ этомъ волненіи житейскаго моря есть дивная красота для человѣка. Надо волноваться, чувствовать какъ можно глубже, итти новыми путями, искать... хотя бы впереди не только насъ, а всю жизнь все человѣчество ожидала холодная смерть. Что-то удивительно родное, русское чувствуется въ этой безотрадности мысли, при способности ощущать всю полноту и радость бытія и приходить въ восторгъ отъ

влюбленной дѣвушки или даже вѣтки, отчетливо вырисовывающейся на голубомъ небѣ. „Какъ подумаешь, сколько въ мірѣ дурныхъ и безтолковыхъ вещей — всѣ эти холеры, грады, бунты и т. д. и т. д. Развѣ Господь Богъ сталъ человѣконенавистникомъ?“ восклицаетъ Тургеневъ. Его доброе, щедрое сердце, полное страданія и жалости, полное благоволенія къ людямъ, такъ хотѣло радости и счастья для всѣхъ; но приходилось наблюдать другое, жить другимъ. Ошибки вольныя и невольныя, молодыя загубленныя или затерянныя жизни, надежды и подвиги, которые пошли лишь на удобреніе почвы исторіи, быть можетъ, чтобы не дать даже всходовъ, — какъ дѣйствительно, все это печально, но, въ то же время, какъ все это дорого и мило человѣку.

„Стихія русской жизни, стихія жизни вообще“ не сегодня-завтра вступитъ, конечно, въ свои права, оборветъ крылья мечтамъ и надеждамъ, отъ смѣлаго порыва оставитъ одно непріятное воспоминаніе, обратитъ подвигъ въ унылую жизнь; но въ то же время что красивѣе, что можетъ больше вдохновить, чѣмъ жажда свободы и подвига? Всемогущество смерти, безсмыслица исторіи не нарушаютъ прелести и величія этой картины; они бросаютъ на нее лишь тѣнь, лишь задергиваютъ ее траурной тѣнью. Тамъ, за жизнью, полное уничтоженіе, тамъ нѣтъ даже воспоминаній; тамъ, вдали вѣковъ, самая земля умерла, покрылась льдомъ и снѣгомъ, тамъ все молчитъ, „бѣло совсѣмъ, куда ни глянь. Вездѣ лишь снѣгъ, ровный снѣгъ и ледъ... застыло все... хорошо, спокойно“ [75])... и все же можно, надо искать, стремиться, дышать полною грудью. Совсѣмъ, повторяю, особое міровоззрѣніе.

Есть въ немъ, какъ кажется, одна замѣчательная черта... Это господствующая мысль о смерти и красотѣ жизни, рвущейся къ свободѣ, дѣлаетъ въ вашихъ глазахъ удивительно безсмысленнымъ зло, насиліе, жадность. Чтобы человѣкъ съ такими мыслями, съ такимъ настроеніемъ сталъ слишкомъ уже цѣнить собственное благополучіе, слишкомъ цѣпко хвататься за чувственныя радости, злобствовать, ненавидѣть, мстить — это почти невѣроятно. Во всякомъ случаѣ, у него должны быть такіе подъемы духа, когда все свое личное должно казаться ему особенно пустымъ и ничтожнымъ. Всеобщая уравнительница — смерть говоритъ ему это, и отъ его злобныхъ, жадныхъ усилій не остается ничего, и они теряютъ для него свою цѣну. Онъ перестаетъ вырисовываться въ своихъ глазахъ какимъ-нибудь Монбланомъ, около котораго ползаютъ и

[75]) Стих. въ прозѣ „Разговоръ“.

шевелятся другіе люди въ видѣ насѣкомыхъ, и сознаетъ, что его развѣнчанное смертью величіе равнощѣнно ничтожеству этихъ самыхъ презрѣнныхъ насѣкомыхъ. У Тургенева было это господствующимъ, постояннымъ настроеніемъ. Пусть изъ него „лопухъ вырастаетъ“, пусть все покроется льдомъ, пусть жажда свободы останется навсегда неудовлетворенной, а сама свобода, эта „маленькая дѣвочка съ оживленнымъ лицомъ“, будетъ вѣчно принуждена повиноваться и итти туда, куда ее толкаютъ насиліе и необходимость, — все же и самая жажда и усиліе человѣка въ этомъ направленіи красивы, милы, дороги, а зло, жадность, мстительный и завистливый эгоизмъ—скучны и безобразны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Всходы реализма.

1. Бѣлинскій и его пропаганда.—2. Утопическій соціализмъ.—3. Народническая окраска первыхъ шаговъ соціализма.—4. Развитіе реалистической мысли.—5. Измѣненіе взглядовъ на литературу и искусство.—6. Обращеніе къ массѣ.—7. Что выдвинуло на сцену мужика.—8. Мужикъ въ литературѣ.—9. Литературное вліяніе города.—10. Гоголь.—11. Петербургскія пѣсни Некрасова.—12. Достоевскій.

Мы только что видѣли, какъ распадалась дворянская идея, какъ броженіе мысли разрушило ея самодовольство и самоувѣренность. Въ этомъ броженіи мысли предчувствіе новой жизни, новаго строя, который подвигался стихійно и незамѣтно, заслоненный шумомъ жизни, ея парадной стороной, ея офиціальными бюллетенями.

Возлѣ земледѣльческой Россіи медленно вырастала городская.

Возлѣ „идеализма"—реализмъ и соціализмъ.

Возлѣ барской литературы— литература разночинца.

1. Бѣлинскій и его пропаганда.

Я уже говорилъ о томъ, что нашъ баринъ, отрицая, любилъ; оттого-то, конечно, его отрицаніе такъ нерѣшительно. Разночинецъ ненавидѣлъ то, что отрицалъ. Кромѣ того, онъ не только мечталъ о лучшей дѣйствительности, онъ страстно хотѣлъ ее. Въ немъ мало созерцанія, у него плохая философія, но есть „воля". И это вотъ дѣлаетъ его замѣтнымъ, сильнымъ, нужнымъ... Пасынокъ жизни, онъ не прощаетъ ей ничего, не забываетъ обидъ. Онъ мститель въ то же время. Больше всего не даютъ ему покоя традиціи, мистика, авторитеты. Онъ иконоластъ по преимуществу. Въ немъ настоящая сила, потому что онъ борется за себя и для себя.

Его естественная опора народъ, масса. Больше „за" никого и ничего, все „противъ". И онъ выдвигаетъ эту массу, какъ Н. Полевой

въ „Исторіи русскаго народа“ (не князей, не государства), какъ Бѣлинскій въ пропагандѣ „мужика“. Онъ не спускаетъ съ нея глазъ, всячески старается расшевелить ее и не жалѣетъ силъ на популяризацію.

Правда, въ этомъ его усилія совпадаютъ съ усиліями лучшихъ представителей нашего барства, но, даже идя за ними, онъ умѣетъ сохранить свою личность, свое я, дать особое направленіе своимъ мыслямъ и ужъ во всякомъ случаѣ увеличить ихъ бьющую, разрушительную силу.

Характерно, въ крупныхъ чертахъ оправдалось все это въ дѣятельности Бѣлинскаго.

Если у него нѣтъ или мало своихъ идей, которыя, смотря по періоду, взяты то въ кружкѣ Станкевича, то у Герцена, зато вся его дѣятельность — его собственная. Онъ переживалъ чужія формулы и, переживая ихъ, дѣлалъ своими, накладывая на нихъ печать своей могучей, страстной личности, своей непримиримой обиды за рабство людей, за насиліе надъ ними. Нельзя даже сомнѣваться, что отъ начала до конца заботы о массѣ, о народѣ были главными его заботами, хотя временно, въ туманѣ гегеліанства (неправильно понятаго), онъ готовъ былъ проповѣдывать примиреніе съ дѣйствительностью, буддизмъ и нирвану. Самъ несчастный, нищій, изстрадавшійся, онъ былъ другомъ и братомъ всего несчастнаго, нищаго, изстрадавшагося человѣчества...

Ту свободу человѣка, которой онъ самъ никогда не зналъ и не видѣлъ, онъ умѣлъ цѣнить дороже своей плоти и крови. Это съ одной стороны, а съ другой, если лучшія мысли, выработанныя барской культурой въ процессѣ ея самоотрицанія, стали такъ скоро общимъ достояніемъ, этимъ мы обязаны Бѣлинскому.

„Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли „Отечественныя записки“, тяжелый № рвали изъ рукъ въ руки: „Есть Бѣлинскаго статья?“—„Есть“, —и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало“.

Это какъ нельзя болѣе справедливо. Бѣлинскій былъ гораздо больше, чѣмъ литературный критикъ, и больше, чѣмъ историкъ литературы: онъ былъ трибуномъ своего времени (да и позднѣйшаго) въ области его семейныхъ и общественныхъ отношеній, его религіи и нравственности; но не только въ сторону разрушенія, но и созиданія того новаго строя, который, какъ мечта о правахъ личности и человѣка, осо-

бенно опредѣленно вырисовывался передъ нимъ въ первый и послѣдній періодъ его дѣятельности.

Онъ боролся, какъ могъ, съ крѣпостнымъ правомъ, съ тѣмъ патріархальнымъ строемъ жизни, который закабалялъ ребенка отцу, жену мужу, нищаго богатому, общество бюрократіи. Во имя независимости ума, свободы чувства возставалъ онъ противъ всѣхъ авторитетовъ, литературныхъ и нелитературныхъ. Онъ боролся съ славянофильствомъ, потому что ясно видѣлъ въ немъ примиреніе, оправданіе и самодовольство. Какъ Ломоносовъ звалъ въ Россію науку, такъ онъ, человѣкъ XIX-го вѣка, свободную личность. Онъ весь въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю по поводу „Переписки съ друзьями“ послѣдняго:[76]).

„Проповѣдникъ кнута, писалъ Бѣлинскій Гоголю, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги: вѣдь вы стоите надъ бездной... Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете, какъ великую и неоспоримую истину, будто простому человѣку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагѣ, вы вѣдали, что творили“...

„Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человѣка? Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы и, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта“.

И въ томъ, чтобы заявить объ этихъ свѣжихъ силахъ, обучить и организовать ихъ, прошла его жизнь. Ni dieu, ni maitre... Свобода общественной жизни и наука— вмѣсто нихъ.

2. Утопическій соціализмъ.

Мы познакомились съ нимъ еще въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Какъ новое ученіе, новая вѣра, новая религія, онъ явился въ восторженный и юный кружокъ, собравшійся возлѣ Герцена и Огарева при Московскомъ университетѣ, увлекъ и очаровалъ. Это было, конечно, только зерно, только ростокъ.

---

[76]) Частями приведено у А. Н. Пыпина и вполнѣ въ книгѣ г. Богучарскаго „Три западника“.

Его называютъ утопическимъ, что въ подстрочномъ переводѣ значитъ не имѣющимъ примѣненія, мѣста на землѣ. На самомъ дѣлѣ, всѣ попытки осуществить практически его принципы кончались неудачей. Но онъ поставилъ огромные вопросы, которые съ той поры уже не сходятъ со сцены. Почему такъ ужасно положеніе рабочихъ, хотя національное богатство растетъ, промышленность совершенствуется и расширяетъ съ каждымъ днемъ свои рынки? Это былъ его главный вопросъ.

Какъ отвѣтъ на него и его рѣшеніе, всѣ они: и Сенъ-Симонъ, и его ученики, и Фурье, Леру, Кабе и Роберть Оуэнъ давали свою мечту о лучшемъ устройствѣ общества, о совершенной организаціи промышленности и справедливомъ распредѣленіи продуктовъ труда. Мечта была красива и ослѣпительна. Будущую семью она рисовала какъ рай, гдѣ всѣ здоровы, красивы, умны и живутъ въ дружеской организаціи, не зная подневольной работы, необезпеченной старости и каторги трудовой жизни.

Эта мечта не казалась далекой. Проповѣдники новаго общественнаго устройства считали себя и человѣчество наканунѣ ея осуществленія. Слишкомъ довѣрчивые, слишкомъ ослѣпленные красотой и величіемъ своихъ проектовъ, ихъ кажущейся простотой, они думали, что стоитъ какому-нибудь крупному человѣку, напр., Наполеону, или даже компаніи богатыхъ и просвѣщенныхъ людей взяться за дѣло, дать ему толчекъ, и дальше оно уже пойдетъ само собой [77]).

Свое ученіе они считали новой вѣрой, новой религіей. Они сочиняли „Новое христіанство“ и, „Новое Евангеліе“. Фанатикъ Фурье, преобразуя мечту о второмъ пришествіи Христа на землю, быть можетъ, самъ себя считая вторымъ Христомъ, полный вѣры въ безмѣрную мощь и величіе человѣка, предсказывалъ наступленіе жизни, обновленной даже физически. Онъ предсказывалъ и новое море, и новую землю, и новое животное царство, и перерожденныхъ людей... Въ христіанскомъ дуализмѣ Оуэнъ видѣлъ величайшее препятствіе на пути къ человѣческому счастью..

Много страннаго въ этихъ пророчествахъ, еще болѣе странны надежды на Наполеона, на филантроповъ, на силу слова убѣжденія, на то, что люди поймутъ и сейчасъ же сдѣлаютъ. Но, повторяю, въ этихъ феерическихъ проектахъ выступали великіе и важные принципы, великія и важныя мысли.

Всѣ учили тому же: что достигнуть своей цѣли — довольства и счастья—люди могутъ только сообща, что каждый отдѣльный человѣкъ будетъ счастливъ лишь при счастьи всѣхъ.

Всѣ они указывали на вопіющую несправедливость современнаго промышленнаго строя, гдѣ трудящійся человѣкъ обреченъ на нищету,

---

[77]) Даже Консиданъ разсчитывалъ на это.

гдѣ здоровый не находитъ себѣ работы, гдѣ обычна голодная смерть среди богатства, роскоши и массы заготовленныхъ продуктовъ.

Всѣ они требовали организаціи[78]) промышленности такъ, чтобы всякая крупица человѣческой силы находила себѣ наилучшее примѣненіе, чтобы созданное трудомъ шло на поддержаніе и на развитіе работника.

Начерчивая штрихи и контуры новой религіи, Сенъ-Симонъ указываетъ и на ея основу — наук у, знаніе, которыя одни могутъ дать человѣчеству побѣды надъ природой и собственными несовершенствами.

Фурье строитъ главныя свои надежды на свободѣ человѣка. Нѣтъ страсти, чувства и мысли, которыя были бы вредны, учитъ онъ. Надо только найти имъ подходящее примѣненіе. Современный трудъ человѣка онъ считаетъ рабствомъ. Онъ хочетъ, чтобы этотъ трудъ былъ одушевленъ страстью, чтобы онъ обратился въ игру—граціозную, легкую, творческую.

Робертъ Оуэнъ училъ людей, что кооперація, товарищество должны лечь въ основу труда, что высшимъ типомъ промышленности будетъ тотъ, когда фабрики перейдутъ въ собственность рабочихъ.

Всѣ они такъ или иначе, въ большей или меньшей степени, или ограничивали или упраздняли право частной собственности. Среди фантастическихъ мечтаній и феерическихъ проектовъ выступала на сцену великая реальность жизни.

3. Народническая окраска первыхъ шаговъ соціализма.

Я уже сказалъ, что этотъ утопическій соціализмъ привился первоначально къ кружку Герцена и Огарева. Временно онъ дальше и не пошелъ. Его заслонилъ нѣмецкій идеализмъ, гегельянство, споръ о смыслѣ и назначеніи Россіи и русскаго народа. Быть можетъ, онъ все же былъ слишкомъ реаленъ и слишкомъ далекъ отъ христіанства, чтобы увлечь неподготовленную, едва проснувшуюся мысль, такъ любившую созерцаніе и капризную игру романтическихъ грезъ. Но вторая половина 40-хъ годовъ, благодаря Жоржъ-Зандъ, рѣшительно отдаетъ ему предпочтеніе. На сторонѣ его принциповъ мы видимъ Бѣлинскаго, жалѣвшаго, что у него нѣтъ „какого-нибудь“ милліона для повторенія гдѣ нибудь въ Африкѣ соціальныхъ опытовъ Кабе или Оуэна,

---

[78]) Т. е., чтобы работали всѣ, и жизнь не знала больше ни тунеядцевъ, ни паразитовъ, чтобы не было перепроизводства и кризисовъ, конкуренціи на рынкахъ, словомъ, чтобы промышленность работала планомѣрно.

юнаго Щедрина, В. Майкова, петрашевцевъ... О фаланстерахъ Фурье грезили 60-е годы.

Въ странную и глубоко характерную амальгаму вылились идеи утопическаго соціализма на русской почвѣ. Это случилось уже послѣ того, какъ Гаксгаузенъ и славянофилы „открыли“ русскую общину.

Выслушаемъ Герцена—онъ иниціаторъ движенія.

Вотъ строки, которыя онъ написалъ Мишле въ отвѣтъ на его мысль, что „Россія не существуетъ, что русскіе не люди, что они лишены нравственнаго смысла“.

„У русскаго крестьянина нѣтъ нравственности, кромѣ вытекающей инстинктивно, естественно изъ его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что извѣстно ему изъ Евангелія, поддерживаетъ ее; явная несправедливость помѣщиковъ привязываетъ его еще больше къ его правамъ и къ общинному устройству.

Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства и отъ канцелярской цивилизаціи, отъ выкрашенныхъ по-европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательства власти; она благополучно доросла до развитія соціализма въ Европѣ.

Это обстоятельство безконечно важно для Россіи.

Народъ начинаетъ роптать подъ игомъ помѣщиковъ; безпрестанно вспыхиваютъ мѣстныя волненія. Партія движенія прогресса требуетъ освобожденія крестьянъ“.

Герценъ думаетъ (1851 г.), что мы наканунѣ его, и опять возвращается къ общинѣ:

„Какое счастье для Россіи, пишетъ онъ, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европейской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ соціализмѣ до самоотрицанія“.

„Европа на первомъ шагу къ соціальной революціи встрѣчается съ русскимъ народомъ, который представляетъ ему осуществленіе, полудикое, неустроенное, но все-таки осуществленіе постояннаго дѣлежа земель между земледѣльцами. И замѣтьте, что этотъ великій примѣръ даетъ намъ не образованная Россія, но самъ народъ, его жизненный процессъ. Мы, русскіе, прошедшіе черезъ западную цивилизацію, мы не больше какъ закваска, какъ средство, какъ посредники между русскимъ народовъ и революціонной Европой. Человѣкъ будущаго въ Россіи — мужикъ, точно такъ же, какъ во Франціи работникъ“.

Въ этихъ строкахъ вы встрѣчаете всѣ посылки нашего народничества. Здѣсь впервые высказаны онѣ ясно и опредѣленно; здѣсь говорится объ особомъ счастьѣ Россіи, сохранившей свою общину, а самая община съ своимъ передѣломъ земель разсматривается, какъ превосходная почва для осуществленія идей соціализма.

„Человѣкъ будущаго въ Россіи—мужикъ", говоритъ Герценъ, и сколько десятковъ и даже сотенъ разъ у М. Михайлова, Чернышевскаго, Лаврова, Михайловскаго, будетъ повторяться этотъ лозунгъ русской литературы. Это и лозунгъ и боевой кличъ, годный, между прочимъ, и для того, чтобы прямолинейно и рѣзко порицать промышленный строй Европы, ея мѣщанскую жизнь, мѣщанскую конституцію.

Живымъ, сознательнымъ, нравственнымъ тѣломъ является община въ глазахъ Герцена: живою, сознательной, нравственной личностью — русскій мужикъ. Любовно и съ умиленіемъ говоритъ онъ о нихъ и въ этой своей статьѣ („Русскій народъ и соціализмъ" 1851) и въ слѣдующей, написанной 2 года спустя („Крещеная собственность"). Совсѣмъ не слѣпой исторической случайностью объясняетъ онъ сохраненіе общины, а сознательными усиліями народнаго самосознанія и народной совѣсти.

Въ томъ же тонѣ говоритъ онъ о нашемъ казачествѣ, нашей артели.

„Артель, продолжаетъ онъ, лучшее доказательство того, естественнаго безотчетнаго сочувствія славянъ съ соціализмомъ, о которомъ мы столько разъ говорили. Артель вовсе не похожа на германскій цехъ, она не ищетъ ни монополіи, ни исключительныхъ правъ; она не для того собирается, чтобы мѣшать другимъ, она устроена для себя, а не противъ кого-либо. Артель — соединеніе вольныхъ людей одного мастерства на общій прибытокъ, общими силами".

„Казачество было отворенная дверь людямъ, не любящимъ покоя, ищущимъ движенія, опасности, независимости. Оно соотвѣтствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое рядомъ съ мирнымъ и добродушнымъ нравомъ славянъ составляетъ ихъ характеристику. Запорожцы были славянскіе витязи, витязи-мужики, странствующіе рыцари чернаго народа".

Все это романтизмъ и утопія, но эти романтическія грезы взошли яркой зеленью возлѣ послѣдняго откровенія западной мысли— ея соціализма, ея протеста противъ хищной и жестокой частной собственности.

И общину, и артель, и казачество Герценъ показываетъ Европѣ въ отвѣтъ на нападки лучшихъ ея людей. Основы нашей сельской жизни онъ объединяетъ съ основами соціализма. Ему первому принадлежитъ мысль, что русскій народъ въ устояхъ своей

жизни, въ голосѣ своей совѣсти соціалистъ и коммунистъ по преимуществу.

Это единственное, что у насъ есть.

„Народъ русскій, резюмируетъ Герценъ, ничего не пріобрѣлъ со времени Владиміра и кіевскаго періода; подъ монгольскимъ гнетомъ хановъ, подъ византійскимъ — чиновниковъ, подъ нѣмецкимъ — коллегій и канцелярій, подъ суринамскимъ — помѣщиковъ онъ сохранилъ только свою незамѣтную скромную общину, т. е. владѣніе сообща землею, равенство всѣхъ безъ исключенія членовъ общины, братскій раздѣлъ полей по числу работниковъ и собственное мірское управленіе своими дѣлами. Вотъ и все приданое Сандрильоны, зачѣмъ же отнимать послѣднее?“

Народническая программа опредѣлилась черезъ общину, артель, воспоминанія вольнаго казачества, коммунизмъ сектантовъ въ сознательный соціализмъ, „выработанный кровавой исторіей Запада и его мощной мыслью“.

4. Развитіе реалистической мысли.

Здѣсь же, въ этомъ увлеченіи соціализмомъ, можно найти мѣрило и тѣхъ успѣховъ, которые сдѣлала въ эти богатые 40-е годы реалистическая мысль.

Р. Оуэнъ былъ, конечно, наивенъ, когда разсчитывалъ, что Николай Павловичъ заведетъ въ Россіи образцовыя (въ смыслѣ положенія рабочихъ и производительности труда) фабрики. Но не наивна его теорія, гдѣ онъ довольство, счастье и добрые нравы людей ставилъ въ прямую зависимость отъ воспитанія, обстоятельствъ жизни и условій труда.

„Характеръ человѣка, говоритъ онъ, существенно опредѣляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства общество легко можетъ такъ устроить, чтобы они способствовали наилучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя при этомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многоразличіемъ физической и умственной натуры“.

Въ общихъ чертахъ это принципъ и Сенъ-Симона и Фурье. Они реалисты, потому что наука (какъ точное знаніе, какъ власть надъ природой), организація труда и положеніе трудящейся массы—главные предметы ихъ заботъ, основы ихъ мышленія. Они стремились снять оковы традиціонной религіи съ человѣческаго ума и сложить на обстоятельства отвѣтственность человѣка за его поступки.

Это и есть реализмъ.

Надо было дорасти до увлеченія имъ, а жизнь, несомнѣнно, толкала къ нему навстрѣчу. Въ сороковыхъ годахъ литература уже начинаетъ пестрѣть словами „дѣйствительность“, „наука“ „естествознаніе“; появились слова „народъ“, „мужикъ“, заговорили объ экономикѣ.

Герценъ и Бѣлинскій стоятъ здѣсь во главѣ движенія. Ихъ область—область идей, принциповъ, отвлеченной мысли. Григоровичъ и Тургеневъ, введя въ литературу „мужика“, дали художественный образъ новому потоку.

Уже 1-е письмо Герцена „объ изученіи природы“ носитъ многообѣщающее заглавіе: „эмпирія и идеализмъ“. На третьей же его страницѣ мы встрѣчаемъ утвержденіе, что „философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи“. Онъ говоритъ дальше объ огромныхъ успѣхахъ „физическихъ наукъ“. Онъ ясно намекаетъ (въ предѣлахъ цензуры того времени), что религіозное мышленіе только подготовка къ научному или научно-философскому, и что второе необходимо должно вытѣснить первое. Онъ выводитъ знаніе изъ разрыва человѣка съ природой; въ религіи онъ видитъ стремленіе возстановить эту порванную связь; наука это стремленіе осуществляетъ.

Заговорили о дѣйствительности, какъ бы почувствовавъ жажду власти надъ ней. Въ объясненіи мысли и жизни стали ссылаться на экономическія условія.

5. Измѣненіе взглядовъ на литературу и искусство.

Къ концу тѣхъ же сороковыхъ годовъ мало что осталось отъ прежнихъ чисто эстетическихъ взглядовъ на искусство и литературу.

Стали думать, что своими типами литература должна разъяснять „разумъ явленій“, т. е. смыслъ и содержаніе жизни и быть руководительницей человѣка въ его познаніи окружающаго, быть дѣломъ „способнымъ возбуждать вопросы и производить нравственное впечатлѣніе на общество“.

Приближеніе 48-го года давало чувствовать себя и въ Россіи.

Бѣлинскій-разночинецъ, Бѣлинскій-публицистъ, въ которомъ, въ концѣ концовъ, такъ властно заговорили практическія, дѣйственныя стремленія, страстно увлекся такимъ вотъ взглядомъ на искусство, видя въ немъ выходъ изъ безцѣльнаго существованія литературы. Имъ все больше овладѣвало желаніе прямого воздѣйствія на жизнь, но, очевидно, чтобъ воздѣйствовать, надо знать и знать самую жизнь во всей ея глубинѣ. Но о чемъ же могло говорить это знаніе жизни?

О пошлости окружающаго? о преступно-ничтожномъ содержаніи человѣческихъ стремленій, то-есть о всемъ томъ, о чемъ твердили Гоголь, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ? Да, объ этомъ, но къ концу сороковыхъ годовъ воспроизведеніе дѣйствительности, все углубляясь, дошло, наконецъ, до истинной подпочвы: до крѣпостного мужика и его ужаснаго безправнаго состоянія.

Слово было найдено, и у литературы явилось знамя. Это слово, говорю я, былъ мужикъ. Это знамя—жалѣніе мужика, печаль о немъ.

6. Обращеніе къ массѣ.

Безпокойныя, томительныя исканія литературы закончились. Она вышла на свою настоящую дорогу и нашла свое настоящее дѣло. И въ сущности, все давнымъ-давно, уже со времени Радищева, вело къ этому, все кричало о немъ, все указывало здѣсь единственный выходъ. Весь идеализмъ 30-хъ и сороковыхъ годовъ, все увлеченіе западной философіей и западнымъ искусствомъ должно же было вылиться въ опредѣленную форму. Тутъ и мечты о нравственномъ самоусовершенствованіи, и увлеченіе соціалистическими утопіями, и вліяніе народолюбивой Жоржъ-Зандъ,—все сошлось въ томъ, чтобы указать русскому лишнему, безпочвенному человѣку его настоящее дѣло.

Съ 1847 года мужикъ становится властителемъ думъ. И въ этомъ, повторяю, нѣтъ ничего страннаго. Русское самосознаніе доросло теперь до пониманія, что въ основѣ всѣхъ бѣдъ, всей этой безцѣльности жизни лежитъ безправное состояніе народной массы и существованіе на чужой кабальный трудъ... Но это было не просто сознаніемъ. Это было чѣмъ-то большимъ, что, въ концѣ концовъ, захватило всего человѣка и прежде всего его совѣсть, властный и настойчивый голосъ которой можно отмѣтить у всѣхъ лучшихъ представителей литературы.

О народѣ много говорили уже славянофилы. Лучшіе изъ нихъ возмущались крѣпостнымъ состояніемъ. Но, странно, это возмущеніе сопровождалось всегда такой массой восхищенія передъ нравственными качествами и достоинствами закабаленнаго народа, что никакого вліянія на русскую мысль оно оказать не могло.

Но вотъ заговорили западники, т. е. люди, наиболѣе подчинившіеся вліянію демократическихъ европейскихъ идей: заговорилъ Григоровичъ своей „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, заговорилъ Герценъ своей „Сорокой-Воровкой“, Тургеневъ „Записками охотника“, Бѣлинскій своими статьями о натуральной школѣ; и вмѣсто „восхищенія“ выдѣлился во всемъ ужасѣ своемъ фактъ, поражавшій еще Радищева,—

тотъ, что человѣкъ съ человѣкомъ можетъ дѣлать все, что ему угодно, что у милліоновъ людей отнята личность и всякая тѣнь права, что существуетъ русская деревня не какъ мѣсто пребыванія пейзановъ, не какъ хранительница принциповъ русскаго духа, а какъ тюрьма и каторга.

На самомъ дѣлѣ это была торжественная и памятная минута въ исторіи нашей литературы.

Что создало ее и что заставило выдвинуть на первый планъ мужика, деревню, и уже не въ прежнемъ видѣ камаринскаго и не какъ бутафорскую толпу патріотическихъ пьесъ, а какъ „существо, по образу и подобію своему напоминающее человѣка“?

7. Что выдвинуло на сцену мужика.

На этотъ вопросъ отвѣчаютъ чаще всего, называя имя Жоржъ-Зандъ.

Не спорю, вліяніе ея романовъ было велико. Возможно, что ея народныя повѣсти, все равно какъ деревенскіе разсказы Ауэрбаха, натолкнули и Григоровича, и Тургенева, и Герцена на ихъ первыя произведенія изъ крестьянскаго быта. Общее огромное обаяніе Жоржъ-Зандъ одинаково должно было подготовить новому слову благосклонную встрѣчу. Но, какъ раньше въ главѣ о Радищевѣ, хотѣлось бы отмѣтить одну внутреннюю причину.

Это крестьянскія волненія, значительно усилившіяся какъ разъ къ этому времени, съ одной стороны, а съ другой настойчивые разговоры „наверху“ объ отмѣнѣ крѣпостного права.

„Съ 1826-го по 1829-й годъ былъ 41 случай волненій среди крестьянъ; съ 1830-го по 1834-й — 46; съ 1835-го по 1839-й — 59; съ 1840-го по 1844-й—161; съ 1844-го по 1849-й—172; съ 1850-го по 1854-й—137“ [79]).

Таковы данныя офиціальной статистики. Правда, о подобныхъ фактахъ не говорили, боялись говорить о нихъ, но не знать ихъ не могли. Сто семьдесятъ два волненія за пять лѣтъ! вѣдь ни скрыть, ни замолчать этого огромнаго событія было нельзя. О немъ шептались, его обсуждали. Тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя волненія были значительны. Такъ, напр., „весной 1847 г. волновались крестьяне въ Витебской губ. Бѣжало отъ помѣщиковъ свыше 10.000 человѣкъ; 95 чел. преданы суду, около 4.000 наказано розгами“. Чтобы помѣщики, изъ которыхъ состояла литература, не интересовались ничѣмъ подобнымъ, допустить немыслимо.

[79]) Цифры взяты изъ сборника „За сто лѣтъ“, которымъ я много пользовался.

Крестьяне изо дня въ день, изъ года въ годъ напоминали о себѣ литературѣ, и я не удивляюсь, если бы она вспомнила о нихъ даже безъ Ауэрбаха или Жоржъ-Зандъ.

Раздраженно развивая ту же мысль, І. Юзовъ говоритъ:

„Право, намъ трудно даже понять, какимъ путемъ можно было прійти къ мысли о необходимости заимствованія элементарныхъ понятій о свободѣ личности у западно-европейскихъ народовъ, въ то время какъ многіе періоды исторіи нашего народа задолго раньше были отмѣчены сильными движеніями именно по поводу исканія народомъ освобожденія отъ крѣпостной зависимости. Г. Славатинскій говоритъ, что до освобожденія крестьянъ нашъ государственный строй стоялъ на пороховой почвѣ. Извѣстно, что число убійствъ помѣщиковъ въ 1848 г. поднялось до небывалыхъ размѣровъ. Безчисленные факты доказываютъ, что чувства и мысль всего народа были противъ крѣпостного права".

Наша интеллигенція все это слышала и знала. Ея несчастіе въ томъ, что она была недостаточно внимательна ко всему этому.

Въ концѣ концовъ, Юзовъ думаетъ, что культурный слой совершенно напрасно приписалъ себѣ идею освобожденія, не замѣчая, что крестьяне вообще и крѣпостные крестьяне въ частности никогда не считали крѣпостное право справедливымъ учрежденіемъ.

Не только само крестьянство, но и правительство напоминало литературѣ о крѣпостномъ правѣ.

Въ одномъ изъ своихъ писемъ Бѣлинскій, сообщая петербургскія новости, пишетъ между прочимъ: „Теперь вдругъ смоленскимъ депутатамъ велѣно явиться въ Петербургъ. Государь перешелъ къ слѣдующей рѣчи: „я буду говорить съ вами, какъ первый дворянинъ имперіи. Земля принадлежитъ намъ, дворянамъ, по праву, потому что мы пріобрѣли ее нашей кровью, пролитою за государство; но я не понимаю, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли силой". Недавно, продолжаетъ Бѣлинскій, государь былъ въ Александровскомъ театрѣ съ гр. Киселевымъ и оттуда взялъ его съ собою, къ себѣ пить чай. Фактъ, прямо относящійся къ освобожденію крестьянъ [80]). Конечно, несмотря на все, дѣло это опять можетъ затихнуть. Но тогда вопросъ рѣшится самъ собой, другимъ образомъ, въ тысячу (разъ) болѣе непріятнымъ для русскаго дворянства".

„Крестьяне сильно возбуждены, слятъ и видятъ осво-

[80]) Привожу эти строки во всей ихъ наивности.

божденіе. Все, что дѣлается въ Питерѣ, доходитъ до нихъ, разумѣется, въ смѣшныхъ и уродливыхъ формахъ, но въ сущности очень вѣрно. Они убѣждены, что царь хочетъ, а господа не хотятъ. Обманутое ожиданіе ведетъ къ рѣшеніямъ отчаяннымъ"...

Такихъ отрывковъ изъ писемъ (а въ письма ушла наиболѣе интересная часть литературы того времени) можно привести не мало. Изъ нихъ видно, что крестьяне сильно возбуждены, а помѣщики затолковали. И въ отвѣтъ на эти толки литература „наводнилась" мужиками [81]).

8. Мужикъ въ литературѣ.

Литература „наводнилась" мужиками.

Но вспомнимъ, что вѣдь это была барская литература, которая, очевидно, не могла дать *больше*, чѣмъ въ ней заключалось по существу, и не могла дать *иначе*, чѣмъ это было ей свойственно. Въ дѣйствительности даже она дала гораздо меньше, чѣмъ мы привыкли думать.

Говоря какъ-то о „Запискахъ охотника" Тургенева и ихъ спеціальномъ значеніи, г. Михайловскій прибавляетъ:

„Надо, однако, замѣтить, что это спеціальное значеніе протеста противъ крѣпостного права было впослѣдствіи *преувеличено*. Многія изъ этихъ акварельныхъ картинокъ, и отнюдь не слабѣйшія, вовсе не имѣютъ такого спеціальнаго характера. Какъ бы то ни было, но отъ этихъ записокъ охотника въ общемъ дѣйствительно вѣетъ протестомъ, и не то, чтобы именно противъ крѣпостного права, а противъ всей болотности тогдашняго склада помѣщичьей жизни; протестомъ, смягченнымъ кровными связями автора съ бытомъ и акварельной манерой писанья".

Замѣчаніе вѣрное: значеніе протеста „Записки охотника" получили извнѣ столько же, сколько извнутри послѣ того, какъ первое отдѣльное изданіе ихъ было изъято изъ обращенія въ 1852 г., а самъ Тургеневъ, отчасти за нихъ, былъ высланъ въ деревню.

Рѣзче и вмѣстѣ съ тѣмъ гораздо грубѣе выразился протестъ въ повѣстяхъ Григоровича „Деревня" и „Антонъ Горемыка", особенно въ послѣдней, и въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова, относящихся къ деревенской жизни, даже въ „Губернскихъ очеркахъ" Щедрина; вообще же въ смыслѣ протеста сдѣлано такъ мало, что

---

[81]) „Анненковъ и его друзья".

мы только тѣшимъ свое интеллигентное самолюбіе, стараясь слѣпить большой комъ изъ крошекъ. Во всякомъ случаѣ, ничего подобнаго „Путешествію“ Радищева и „Деревнѣ“ Пушкина барская наша литература не создала вплоть до освобожденія.

Конечно, не позволяла цензура. Но и кромѣ цензуры отмѣченныя въ этотъ разъ г. Михайловскимъ „кровныя связи“ стояли поперекъ дороги, такъ что аннибаловская клятва Тургенева является очень преувеличенной.

Значеніе этихъ первыхъ шаговъ народолюбивой литературы скорѣе чисто литературное, чѣмъ „спеціальное“ освободительное. Для литературы, дѣйствительно, важно было найти мужика, народную жизнь, которая какъ-то ускользала изъ глазъ, хотя и была все время на нихъ, потому что, благодаря этому, ей удалось ярко выразить свою идею, свое лицо... И этого больше чѣмъ достаточно, чтобы составить эпоху; признавать больше значитъ идолопоклонствовать.

Присмотримся къ „Запискамъ охотника“.

Несомнѣнно, что никакой спеціальной любви къ мужику и вѣры въ особое его предназначеніе Тургеневъ не испытывалъ. Это слишкомъ ясно, хотя бы изъ его переписки съ Герценомъ, чтобы нужны были особыя доказательства. Насмотрѣвшись на ужасы крѣпостного права въ имѣніи своей матери, онъ возненавидѣлъ сеньоріальныя права, сеньоріальную дикость и буйство нашихъ рабовладѣльцевъ. Въ одну хорошую минуту онъ далъ свою „аннибаловскую клятву“ бороться съ крѣпостнымъ правомъ до послѣдней капли крови. Но дѣйствительные его интересы были и шире и уже освобожденія. Они были шире потому, что Тургеневъ, человѣкъ высшей культуры и образованности, носилъ въ себѣ запросы и искусства, и гегелевой философіи, и гражданской свободы; они были уже потому, что подъ освобожденіемъ народа, крестьянъ Тургеневъ понималъ только освобожденіе отъ сеньоріальныхъ правъ помѣщиковъ, и ни откуда не видно, чтобы идея освобожденія вырастала въ немъ до тѣхъ размѣровъ, какъ не только уже у Чернышевскаго, но даже, напримѣръ, у Герцена или Огарева.

Натура артистическая прежде всего, поклонникъ изящнаго и прекраснаго, готовый видѣть единственную цѣнность и смыслъ жизни въ служеніи красотѣ, онъ и въ мужикѣ, народѣ старался выдвинуть на первый планъ — и это всегда ему удавалось — артистическія стороны его духа.

Герои изъ крестьянъ его „Записокъ охотника“, за немногими исключеніями, п о э т ы. Вспомните „пѣвцовъ“, „Касьяна съ Красивой Мечи“, Ермолая и т. д. Не только поэты, иногда немного юродивые и праведники, и за прелестью ихъ образовъ далеко не часто

и далеко не ярко чувствуется глухая стѣна крѣпостного права, о которую судорожно бьется живая человѣческая личность.

Ужасы, конечно, есть. Подчасъ, когда вы перечитываете, напримѣръ, „Муму“, „Постоялый дворъ“, „Бурмистръ“, васъ начинаетъ душить жалость. Эта отвратительная фигура помѣщицы, которая какъ самодержица какая разговариваетъ со своими „подданными“, сидя на креслѣ „съ куполомъ“, и грабитъ ихъ, какъ разбойникъ на большой дорогѣ; этотъ сытый Аркадій Павловичъ Пѣночкинъ, возлѣ котораго валяется на землѣ истерзанный и разоренный старикъ Антонъ; эта барыня-самодурка, отнимающая отъ несчастнаго дворового послѣднюю радость его жизни, любимую собаку, — все это вызываетъ гнѣвъ, печаль, злобу. Но рядомъ (въ крестьянской жизни) столько свѣту и воздуху, столько праведности, дѣтскаго незлобія, столько чистоты душевной, поэзіи и красоты, и пѣсенъ, и своеобразной христіанской философіи, столько, наконецъ, силы смиренія и непротивленія злу, что гнѣвъ и злоба вашей души расплываются въ нихъ, какъ дымъ въ воздухѣ...

На первомъ планѣ въ „Запискахъ охотника“ тотъ народъ и тѣ стороны его духа, которымъ поклонялись славянофилы, потомъ Герценъ, позже Щедринъ, Успенскій, Златовратскій, наши народники вообще; здѣсь красота смиренія („Живыя мощи“), праведности („Касьянъ съ Красивой Мечи“), таланта, незлобія.

Быть можетъ, здѣсь нѣтъ никакой преднамѣренной идеализаціи, хотя Чернышевскій и упрекалъ въ этомъ Тургенева. Тургеневъ бралъ изъ народной жизни, что ему подходило. Какъ баринъ со своими „кровными связями“, какъ эстетикъ, какъ пессимистъ, онъ, конечно, не имѣлъ даже силы для того протеста, который зажигаетъ кровь. „Письма Бѣлинскаго къ Гоголю“ онъ, конечно, написать не могъ. Все равно какъ, по его же словамъ, идея смерти и ужасъ передъ ней расплывались для него въ „славянскомъ туманѣ“, такъ не въ туманѣ уже, а въ призрачномъ, бездонномъ небѣ „эстетическаго созерцанія“ расплывалась его аннибаловская клятва.

Его оскорбляли жестокость и произволъ помѣщиковъ, онъ чувствовалъ жалость и умѣлъ возбуждать жалость къ несчатнымъ подданнымъ Аркадія Павловича; но когда мнѣ говорятъ, какъ говоритъ Тургеневъ своими „Записками“: страданія, зло, неправда, дикое насиліе преображаются въ душѣ человѣка въ праведность, въ кристальную чистоту духа, я не согласенъ видѣть здѣсь протестъ и борьбу.

Если вы человѣкъ нѣжный, немного даже чувствительной (какъ всѣ мы русскіе) души, вы будете при чтеніи этихъ записокъ охотника столько же негодовать, сколько умиляться.

Въ свое время это рѣзко подчеркнулъ Чернышевскій:

„...Читайте повѣсти изъ народнаго быта гг. Григоровича и Тургенева со всѣми ихъ подражателями—все это насквозь пропитано запахомъ „шинели“ Акакія Акакіевича.

Прекрасно и благородно, въ особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза изъ этого народу? Для насъ польза, дѣйствительно, была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслажденіе получили мы отъ сострадательныхъ впечатлѣній, сладко щекотавшихъ нашу мысль ощущеніемъ нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастію, проливать надъ нимъ слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрѣе и лучше... нѣтъ, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрѣе и лучше, но мы чувствовали себя добрыми и хорошими. Это очень большая пріятность, ее можно сравнить только съ тѣмъ удовольствіемъ, какое получалъ покойный мужъ Коробочки отъ чесанія пятокъ“...

Не чесаніе пятокъ, нѣтъ; это выраженіе — дерзость шестидесятника, ненавидѣвшаго барство всѣми силами своего духа; но и не протестъ, всю нужную глубину котораго вы найдете въ письмѣ Бѣлинскаго или въ знаменитомъ разсказѣ Достоевскаго о помѣщикѣ, затравившемъ собаками ребенка на глазахъ его матери... У Тургенева — гуманность, жалѣніе и восторгъ [82]) художника передъ христіанскою красотой талантливой народной души.

Въ смыслѣ протеста не художественныя акварели Тургенева могли сыграть роль, а грубыя, мѣстами прямо лубочныя повѣсти Григоровича „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“. Недаромъ Бѣлинскій, дошедшій къ тому времени до полнаго отрицанія официальной русской дѣйствительности, такъ восторгался ими. Здѣсь, особенно въ „Горемыкѣ“, сдѣлано все, чтобы жалость, жалость безъ конца мучительно истерзала ваше сердце.

Но самое главное, конечно, что масса, народъ стали съ этихъ поръ необходимыми элементами литературной мысли.

Это и есть реализмъ прежде всего.

Литературное вліяніе города.

Въ томъ же направленіи дѣйствовалъ и ростъ городской жизни. Процессы жизни въ городѣ быстрѣе, энергичнѣе, разнообразнѣе, контрасты въ немъ ярче, горизонтъ интересовъ въ немъ шире; не-

[82]) И все это не безъ оттѣнка покровительства, конечно, не безъ стихійнаго сознанія своего превосходства. То же, но грубѣе, у Щедрина или у Некрасова.

довольство своимъ положеніемъ быстрѣе проникаетъ въ душу, потому что вокругъ человѣка и рядомъ съ нимъ приманки, соблазны, раздраженіе... Городъ освобождаетъ человѣка отъ власти обычая и развиваетъ въ немъ голодъ, волчій даже голодъ по части радости, наслажденій, правъ, разнообразія и шири жизни.

Городомъ, въ строгомъ смыслѣ слова, у насъ, до послѣднихъ дней, были однѣ столицы. Ихъ мотивы и настроенія первыми вторглись въ литературу. И для того, чтобы это случилось, нуженъ былъ такой чуткій талантъ, какъ Гоголь, нѣсколько дней растерянности, пережитыхъ имъ при вступленіи въ столицу, а вообще надо было много пережить и перечувствовать. Это было очень большимъ и смѣлымъ шагомъ узаконить въ литературѣ земледѣльческаго народа странные типы и фигуры, созданные жизнью большого города, ихъ своеобразное, въ общемъ негодующее мышленіе и фантастическія картины безумной роскоши, разврата и одиночества, доводящаго до сумашествія.

Вмѣстѣ съ столицей вступилъ въ литературу и пролетарій, чтобы затянуть свою пѣснь отчаянія, злобы, растерянности и гнѣва. Это было, повторяю, совсѣмъ странно и ново въ земледѣльческой странѣ.

10. Гоголь.

Первымъ, кто постарался осмыслить столицу, и именно Петербургъ, былъ Гоголь. Чѣмъ-то глубоко поразила и потрясла она его, и онъ задумался надъ прихотливыми и огромными арабесками ея жизни. Оно и понятно: вѣдь въ извѣстномъ смыслѣ онъ, какъ и Некрасовъ, могъ сказать про себя, что пришелъ въ столицу съ котомкой за плечами искать счастья, и сердце его сразу сжалось отъ ужаса и чувства одиночества. Его судьба повернулась удачно, но ощущеніе не исчезло. Оно тревожно просилось на бумагу. Уже къ 1831-му году относится отрывокъ изъ задуманной имъ повѣсти съ характернымъ заглавіемъ: „Повѣсть. Изъ книги подъ названіемъ „Лунный свѣтъ въ разбитомъ окошкѣ чердака на Васильевскомъ островѣ, въ 16 линіи“.

Въ этомъ отрывкѣ, впрочемъ, мало замѣчательнаго. Есть только какіе-то штрихи, изъ которыхъ вышли потомъ гоголевскія картины петербургской жизни: непогода, юнопа, жмущійся отъ холода, жажды приключенія, ожиданія случайнаго.

Въ 1833-мъ и 34-мъ гг. Гоголь написалъ „Портретъ“ и „Невскій проспектъ“. Обѣ повѣсти нѣсколько въ романтичномъ стилѣ. Истинный ихъ герой — столица, которая все развращаетъ, все дѣлаетъ продажнымъ. Въ „Невскомъ проспектѣ“ продажна красота, въ „Пор-

третѣ" талантъ. И тамъ и здѣсь гибнутъ люди, зараженные столичнымъ ядомъ. Самъ Гоголь въ ужасѣ и его воображеніе создаетъ фантастическія картины, почти бредъ...

„И кромѣ фонаря, ниши, онъ, все дышитъ обманомъ. Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущенной массой наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и налевыя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, міріады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы только для того, чтобы показать все „не въ настоящемъ видѣ". „И кромѣ фонаря все дышитъ обманомъ"... Это смыслъ обѣихъ петербургскихъ повѣстей Гоголя. Въ „Невскомъ проспектѣ" онъ не находитъ словъ, чтобы описать дивную красоту дѣвушки, встрѣченной юнымъ художникомъ на улицѣ; и что же? она, къ великому ужасу, оказывается самой обыкновенной проституткой.

— „Такая красавица, такія божественныя черты лица. И г д ѣ ж е, въ какомъ мѣстѣ? вотъ все, что онъ (художникъ) могъ выговорить".

Гоголь добавляетъ отъ себя: „Въ самомъ дѣлѣ, никогда жалость не овладѣетъ нами такъ сильно, какъ при видѣ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Всѣ черты ея (проститутки) были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы развратъ уже распустилъ надъ нею свои страшные когти. Она бы составила неоцѣненный перлъ, весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга... Но увы, она была какой-то волею адскаго духа, жаждущаго разрушить гармонію жизни, брошена съ хохотомъ въ эту страшную пучину"...

Прекрасна женщина. Еще прекраснѣе мечта художника, безкорыстіе и благородство его творчества, и страшна гибель его вдохновенія. И эту тему, все еще юную и свѣжую, несмотря на то, что она стала обычной, Гоголь вставилъ въ ту же фантастическую рамку столичной жизни. Онъ написалъ „Портретъ". Здѣсь молодой художникъ, подкупленный счастливой случайностью и развращенный дешевымъ успѣхомъ, понемногу теряетъ свой талантъ. До поры до времени онъ доволенъ. „Всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту; золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цѣлью". Совѣсть молчала. Но вотъ онъ увидѣлъ истинно геніальное произведеніе, присланное изъ Италіи. Онъ изъ зависти хотѣлъ было унизить его своимъ авторитетнымъ приговоромъ. Но... „рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и

онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы... Съ минуту неподвижный и безчувственный стоялъ онъ среди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ его, вся жизнь была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова... Боже! И погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности... Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ душѣ его всѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ, весь обратился онъ въ одно желаніе... Но увы! Фигуры его, позы, мысли ложились принужденно и несвязно". Въ концѣ концовъ, „имъ овладѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства"; онъ сталъ скупать и уничтожать все цѣнное, прекрасное, значительное, что видѣлъ гдѣ-нибудь.

11. Петербургскія пѣсни Некрасова.

Въ столицѣ же Гоголь откопалъ своего Акакія Акакіевича („Шинель").

Но у Гоголя есть столичныя драмы и нѣтъ настоящаго столичнаго героя — пролетарія, нищаго, на долю котораго выпадаютъ двѣ жестокія борьбы: борьба за жизнь и борьба за славу[88]), потому что въ томъ-то и заключается истинная особенность большого города, что обѣ эти борьбы идутъ въ немъ рука объ руку.

Но этотъ герой, пролетарій, не замедлилъ явиться, какъ только образовалась и выяснилась „гоголевская школа литературы". Онъ явился сразу въ двухъ видахъ и какъ герой произведенія и какъ ихъ авторъ. Некрасовъ и Достоевскій, самые крупные таланты, съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности подхватили „петербургскіе мотивы" Гоголя.

Много пѣсенъ посвятилъ Некрасовъ Петербургу. Быть можетъ, даже, это лучшія его пѣсни. Въ нихъ отчаяніе нищеты, ужасъ одиночества, жалобы неудовлетвореннаго самолюбія, гнѣвъ и злоба на несправедливость жизни. Здѣсь — ничего придуманнаго. Некрасовъ, хотя и недолго, но все же былъ близокъ къ голодной смерти. Однажды, когда его вышвырнули изъ квартиры, онъ нашелъ пріютъ у нищихъ.

Большой, шумный городъ это цѣлая поэма. Онъ „стираетъ" человѣка и въ то же время раздуваетъ его „я" до безконечности. Онъ раздражаетъ, соблазняетъ и держитъ во всемъ ужасѣ и без-

[88]) Борьба за славу, т. е. за лучшее положеніе, за большее признаніе, принимаетъ форму борьбы за право, разъ она воспринята массой.

силіи одиночества, онъ сводитъ его на нѣтъ и въ то же время внушаетъ, что все доступно:

Все жалитъ, все язвитъ,
Все руку къ искушенью
Нетвердую манитъ...

Онъ вдохновилъ Некрасова на сарказмъ („Современная ода". „Нравственный человѣкъ" и т. д.), гдѣ поэтъ осмѣиваетъ тупо-самодовольную пошлость, на пѣсни нищеты, на горькую иронію, на гнѣвъ и стоны. Онъ внушилъ ему колыбельную пѣсню, самую циничную изъ всѣхъ, которыя когда-либо являлись на свѣтъ, и эта колыбельная пѣсня („Спи, пострѣлъ, пока безвредный", т. I, 9) лучше всего даетъ возможность измѣрить глубину отчаянія и невѣрія, до которой онъ доходилъ. Чтобы Некрасовъ, такъ любившій дѣтей, такъ бережно, такъ любуясь разсказывавшій намъ о тревогахъ и радостяхъ дѣтской души, могъ написать подобную вещь, надо, чтобы горечь, накопившаяся въ сердцѣ, была воистину невыносима, чтобы вся жизнь въ минуту раздраженія и отчаянія представилась однимъ мутнымъ потокомъ мошенничества, низости и подлости. Самъ поэтъ не побоялся оставить эту вещь въ собраніи сочиненій, хотя, разумѣется, ни у кого изъ насъ не хватитъ силы пропѣть ее надъ колыбелью чьего бы то ни было ребенка. Это тотъ предѣлъ, до котораго можетъ довести несчастнаго человѣка большой городъ съ его самодовольствомъ, его жестокой борьбой за существованіе. Некрасовъ возмущался, негодовалъ, язвилъ и плакалъ.

Пѣсни, на которыя вдохновили Некрасова картины петербургской нищеты, дѣйствительно и смѣло раскрываютъ язвы столицы. Тамъ скрыты ужасы, тамъ таится убогій развратъ, тамъ разыгрываются сцены изъ Дантова ада. Я не преувеличиваю: вспомните знаменитое „Ѣду ли ночью по улицѣ темной" и эти строфы:

Помнишь ли день, какъ, больной и голодный,
Я унывалъ, выбивался изъ силъ?
Въ комнатѣ нашей, пустой и холодной,
Паръ отъ дыханья волнами ходилъ.
Помнишь ли трубъ заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвѣтъ, полутьму?
Плакалъ твой сынъ, и холодныя руки
Ты согрѣвала дыханьемъ ему...
Онъ не смолкалъ, и пронзительно-звонокъ
Былъ его крикъ... Становилось темнѣй...
Вдоволь поплакалъ и умеръ ребенокъ...
Въ разныхъ углахъ мы сидѣли угрюмо.

Помню, была ты блѣдна и слаба.
Зрѣла въ тебѣ сокровенная дума,
Въ сердцѣ твоемъ совершалась борьба.
Я задремалъ. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, какъ будто къ вѣнцу,
И черезъ часъ принесла торопливо
Гробикъ ребенку и ужинъ отцу.
Голодъ мучительный мы утолили,
Въ комнатѣ темной зажгли огонекъ,
Сына одѣли и въ гробъ положили...
Случай насъ выручилъ? Богъ ли помогъ?
Ты не спѣшила печальнымъ признаньемъ,
Я ничего не спросилъ;
Только мы оба глядѣли съ рыданьемъ,
Только угрюмъ и озлобленъ я былъ...

Бѣдняки расходятся въ концѣ концовъ. Онъ теряетъ ее изъ виду... Стихотвореніе заканчивается сильной и печальной строфой:

...Всѣ безъ изъятья
Именемъ страшнымъ тебя назовутъ,
Только во мнѣ шевельнутся проклятья
И безполезно замрутъ...

Некрасовъ, какъ поэтъ большого города, особенно поучителенъ. Въ немъ печаль и гнѣвъ, боязнь затеряться въ толпѣ и упустить жизнь. Въ немъ нѣтъ примиренія. Онъ хочетъ взять свою долю во что бы ни стало, и если односторонне объяснить его психологію очарованіемъ милліона, какъ это дѣлалъ Достоевскій, то надо согласиться, что борьба за славу пережита имъ полностью.

Отчаянія въ душѣ бездна, но смиренія нѣтъ и слѣда. Тамъ и здѣсь какое-то особое насмѣшливое отношеніе къ жизни, желаніе неудачника сорвать маску съ того, кто, красуясь своею добродѣтелью, такъ спокойно и привольно чувствуетъ себя въ этой сумрачной столицѣ. Сколько злобнаго упрека въ этихъ заключительныхъ строкахъ:

Верстъ за тысячу въ окружности
Повѣстятъ свой добрый нравъ,
А осудятъ по наружности:
Неказистъ, такъ и не правъ.
Пишутъ, какъ бы свѣтъ весь заново
Къ общей пользѣ измѣнить,
А голоднаго отъ пьянаго
Не умѣютъ отличить...

Ода „Нравственный человѣкъ" дышитъ настоящей злостью, которой осталась всего одна ступень, чтобы стать безнадежно непримиримой, холодной и твердой, какъ ледъ.

Очевидно, что столица создала уже матеріалъ для новыхъ соціальныхъ чувствъ, приготовила для нихъ почву. Пустая и холодная комната, близость къ бездѣ, нищеты порождаетъ другія настроенія, чѣмъ барская усадьба и густолиственныхъ кленовъ аллея.

Въ этихъ огромныхъ каменныхъ домахъ, блестящихъ окнахъ магазиновъ, въ роскошныхъ нарядахъ женщинъ, ихъ соблазнительныхъ улыбкахъ, въ этой шумной толпѣ, въ угарѣ и безуміи жизни, гдѣ, по словамъ поэта *), „золото и кровь", гдѣ

Камни, мысль въ себя вонзившіе,
Мгла широкихъ площадей...
Тихо крадется безуміе
Въ черепа живыхъ людей...

таится постоянный соблазнъ, жгучая жажда наслажденія, борьбы и побѣды, отъ которой не можетъ не проснуться человѣкъ. И, хотя бы только въ минуту своего пробужденія онъ съ презрѣніемъ и злобой отпихнетъ отъ себя слова обычной морали, оправдывающія его нищету, и укажетъ проповѣднику, задыхаясь отъ негодованія:

Въ дружбу къ сильному влѣзть не желаешь ты,
Чтобы успѣху дѣлишекъ помочь,
И безъ умыслу съ нимъ оставляешь ты
Съ глазу на глазъ красавицу дочь...
Не спрошу я, откуда явилося
Что теперь въ сундукахъ твоихъ есть:
Знаю, съ неба тебѣ все свалилося
За твою добродѣтель и честь.

За свое униженіе нищій мститъ злой ироніей.

12. Достоевскій.

На ту же дорогу, какъ Некрасовъ, выступилъ нѣсколько раньше Достоевскій, и въ теченіи 45—49 годовъ создалъ много произведеній, въ которыхъ и большой городъ и матеріальная сторона жизни даютъ чувствовать себя съ особой силой. Но въ этомъ случаѣ Некрасовъ гораздо откровеннѣе и проще Достоевскаго. Некрасовъ отъ всей души ненавидитъ ту жизнь, которая хочетъ подмять подъ себя и его самого и подобныхъ ему; поэтому онъ ее проклинаетъ, бросаетъ ей въ лицо самыя оскорбительныя обвиненія. Въ каждомъ словѣ его вы чувствуете, что онъ ни за что не примирится. Онъ возмущенъ до глубины души, онъ не знаетъ пощады. Достоевскій же былъ такимъ человѣкомъ, который всегда старался найти какой нибудь примиряющій выходъ. Ему непремѣнно нужно оправданіе или примиреніе: при одномъ проклятіи

*) Рукавишникова.

и голомъ протестѣ остаться онъ не могъ. „Всѣ мы вышли изъ Гоголевской „Шинели“, говорилъ онъ про себя, и на самомъ дѣлѣ, на первыхъ порахъ, по крайней мѣрѣ, онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на мірѣ мелкой петербургской нищеты. „Здѣсь мы находимъ въ зародышѣ всѣ его идеи и настроенія, но пока въ упрощенномъ видѣ.

Онъ живетъ интересами міра униженныхъ и оскорбленныхъ, но для него на первомъ планѣ не ихъ борьба съ униженіемъ и оскорбленіемъ, а рѣшеніе задачи, какъ они, эти несчастные, все же примиряются со своей жизнью, какой выходъ находятъ они изъ ужаса своего положенія, какъ и чѣмъ успокаиваютъ и обманываютъ они себя. Это задача совершенно реальная, потому что на самомъ дѣлѣ, „когда человѣку плохо, онъ всегда старается доказать себѣ, что ему хорошо или что это по какимъ-либо высшимъ соображеніямъ совершенно необходимо, чтобы ему было плохо, почему съ высшей точки зрѣнія его страданія и ужасъ его жизни имѣютъ особенный, исключительный даже смыслъ, дѣлающій опять-таки его „плохое хорошимъ“. Но съ такой задачей мы, конечно, должны вступать въ область совершенно особой психологіи, гдѣ все будетъ „совсѣмъ наоборотъ“: несчастье окажется счастьемъ, а зло добромъ. Бѣдняки Достоевскаго доходятъ въ этомъ смыслѣ до чисто іезуитской софистики. Имъ нуженъ обманъ, имъ нужно оправданіе, нужно всячески не только разъяснить свое положеніе, но и признать его единственно возможнымъ, даже лучшимъ изъ возможныхъ. Объ этомъ громко вопіетъ обида, накопившаяся въ ихъ сердцѣ. Смѣло сказать жизни въ лицо, что она построена на неправдѣ, насиліи, лжи они не могутъ, просто не смѣютъ: слишкомъ робки они и задавлены. Только изрѣдка какія-то протестующія нотки слышны въ ихъ голосѣ, но и тѣ быстро замолкаютъ. Зато въ діалектикѣ своей они доходятъ до бреда, до такой изворотливости, что за человѣка страшно. Вѣдь, конечно, это чувство собственнаго достоинства заставляетъ ихъ продѣлывать всѣ такія махинаціи, потому что имъ жить хочется и жадно хочется жить, но жизнь не дается и идетъ мимо. Сидитъ себѣ какой нибудь несчастный Дѣвушкинъ въ сѣрой петербургской комнаткѣ и сочиняетъ свою теодицею, свое оправданіе бытія, и нѣтъ—нѣтъ ему на самомъ дѣлѣ удастся внушить себѣ, что все такъ прекрасно устроено какъ это только можетъ быть, что о лучшемъ и мечтать-то не слѣдуетъ, потому что это лучшее оно уже есть и нигдѣ иначе, какъ въ судьбѣ самого Дѣвушкина [84]).

---

[84]) А. Скабичевскій удачно назвалъ Достоевскаго „сыномъ города“.

Совсѣмъ, какъ видите, новыя темы, новыя настроенія. Странныя и необычайныя даже послѣ цѣлаго ряда произведеній, взрощенныхъ сытостью или пресыщеніемъ. Здѣсь передъ вами неудачникъ вмѣсто „разочарованнаго“; тоска и унынiе вмѣсто скуки; простой, настоящій голосъ вмѣсто міровой скорби. Этому моменту нашего литературнаго развитія я придаю совсѣмъ особое значеніе, потому что нѣтъ ничего дѣйствительнѣе и радикальнѣе, какъ сблизить какую-нибудь отвлеченную, прекрасную какъ богиня и холодную какъ она, мысль съ фигурой бѣдняка, пролетарія. Конечно, на всѣхъ ступеняхъ нашей цивилизаціи пролетарій былъ и есть, но его, очевидно, не всегда можно замѣтить: бредетъ онъ себѣ по улицѣ никому ненужный и ничтожный, и культура въ такомъ случаѣ принимаетъ самоувѣренный и самодовольный видъ. Прогрессъ науки, искусства, техники,—все это до того прекрасно, просто и соблазнительно, что имъ можно отдаться всецѣло, до самозабвенія и даже съ полнымъ безкорыстіемъ. Все это увлекательно въ своемъ вѣчно развивающемся процессѣ, все это дѣлаетъ жизнь человѣка болѣе утонченной, духовной. Правда, всему этому грозитъ опасность утерять подъ собой всякую почву, уйти въ изысканность, въ хлыстовщину эстетизма, въ вычурность формы, педантизмъ академиковъ, потому что источникъ здороваго свѣжаго вдохновенья, набранный въ свое время въ массѣ, изсякаетъ; но тутъ уже дѣло исторической удачи: выдвинутъ ли обстоятельства во-время на сцену проблему нищеты и пролетаріата или нѣтъ, сумѣетъ ли эта проблема заинтересовать людей въ достаточной степени, согласятся ли они хоть на время отказаться отъ своихъ утонченностей или нѣтъ? Ихъ спасеніе только въ томъ случаѣ, если они скажутъ да.

Впрочемъ, пока мы присутствуемъ при первыхъ всходахъ. То же явленіе, но уже въ грандіозныхъ размѣрахъ, мы увидимъ въ 60-е годы. Пока же намъ надо ограничиться немногими штрихами.

Некрасовъ и Достоевскій не единственные, кто вдвинулъ въ литературу мотивы большого города и городской нищеты. Они только самые крупные. Остальные забыты нами: ихъ голосъ оказался слишкомъ слабъ, чтобы долетѣть черезъ десятилѣтія.

Только для полноты картины хочется напомнить мнѣ имя Буткова, тоже писателя конца сороковыхъ годовъ, работавшаго въ то время въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Эксцентричный субъектъ, какъ бы прообразъ Рѣшетниковыхъ, Успенскихъ, Левитовыхъ, Помяловскихъ и т. д. слѣдующаго поколѣнія. При журналѣ и его издателѣ Краевскомъ онъ состоялъ чѣмъ-то въ родѣ крѣпостного, потому что Краевскій выкупилъ его изъ-подъ красной шапки и теперь заставлялъ от-

рабатывать на себя. Въ редакціи Бутковъ держалъ себя молча въ сторонкѣ, точно весь обмазаный глиной, и ходилъ онъ туда лишь для того, чтобы—какъ онъ полунасмѣшливо, полупечально объяснялъ А. Милюкову—„не попрекнули за непочтительность“. Жилъ онъ гдѣ-то въ Пассажѣ, въ какой-то норѣ; не любилъ днемъ выходить на улицу. а идя по улицѣ, держался сторонки. Было въ немъ много и напуганности, и робости, и застѣнчивости, была и злость на всю эту „цивилизацію парикмахерскую“, какъ впослѣдствіи не то обозвалъ, не то обругалъ нашу культуру Рѣшетниковъ. Выводилъ онъ въ своихъ произведеніяхъ „на чистоту“ счастливыхъ карьеристовъ, ловкихъ удачниковъ, осмѣивая и оплевывая ихъ въ мѣру своего таланта, но больше всего любилъ писать о голодныхъ, какъ онъ самъ, и тутъ страшныя, прямо фантастическія, часто дикія и неуклюжія картины выходили изъ-подъ его пера. Вотъ, напр., содержаніе одного изъ его разсказовъ:

Двое пріятелей бѣдняковъ жили вмѣстѣ, питались чѣмъ Богъ послалъ. Одинъ переписывалъ бумаги, другой служилъ гдѣ-то въ департаментѣ. У каждаго изъ нихъ было по единственной парѣ сапогъ. но у одного новая, у другого старая. Владѣлецъ новой пары какъ-то схватилъ страшное воспаленіе и умеръ. Когда покойника клали въ убогій гробъ, то надѣли на него новые сапоги, а оспротѣвшему пріятелю досталась совсѣмъ истрепанная пара. И вотъ ночью бѣдняка взяло раздумье: „На что покойнику надѣли новые сапоги? Если бы покойный очнулся теперь на минуту, то, конечно, отдалъ бы мнѣ ихъ и сказалъ: на, братъ, носи, мнѣ не надо. И правда, не щеголять же въ могилѣ“. И вотъ бѣднякъ принялся стаскивать сапогъ съ покойника и вдругъ остановился, пораженный мыслью: „не грѣхъ ли это? Вѣдь живой человѣкъ, какъ ни тяжело ему, можетъ со временемъ поправиться, нажить не только сапоги, а вдругъ и галоши, а покойникъ“... и. т. д.

Неуклюже это—не спорю. Но что же вы хотите отъ первыхъ шаговъ?

Литературный пролетарій только присматривается. Онъ не нашелъ еще себѣ мѣста, ему неловко среди благообразныхъ фигуръ нашихъ баръ, наполнявшихъ въ большинствѣ случаевъ редакціи. Но онъ думаетъ и крѣпко думаетъ, какъ бы заставить ближнихъ своихъ заняться самыхъ для него важнымъ и несомнѣннымъ—проблемой голодныхъ и холодныхъ, какъ бы сорвать мишуру отвлеченныхъ формулъ и философскихъ терминовъ съ правды жизни, ея суровой и страшной дѣйствительности.

Это его первые шаги, но и по нимъ уже можно видѣть, какъ

и въ какомъ смыслѣ далъ знать себя литературѣ большой городъ, его нищета, его борьба за славу.

Но все здѣсь начатое, здѣсь намѣченное доросло до крупнаго лишь въ 60-е годы, къ которымъ и перехожу. Важно запомнить, что въ это время идея свободы признала своими опорами науку, экономическую организацію, знаніе дѣйствительности и счастье массы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Борьба съ идеями дворянской литературы.

1. 60-е годы.—2. Ликвидація дворянства.—3. Разночинецъ.—4. Отрицаніе, какъ опредѣляющій мотивъ воли.—5. Журналистика и ея роль.—6. Идея личности въ нигилизмѣ и реализмѣ.—7. Подвижническіе и просвѣтительные элементы нигилизма.—8. Базаровъ.—9. Нигилизмъ и естествознаніе.—10. Идея полезнаго.—11. Нигилизмъ и любовь.—12. Нигилизмъ и трудъ.—13. Нигилизмъ и исторія.—14. Эстетика нигилизма.—15. Нигилизмъ и миссія русскаго народа.—16. Тупики нигилизма.—17. Соціализмъ и народничество 60-хъ годовъ.—18. Подготовка народничества собственно.

1. 60-е годы.

„Воля освобождаетъ, ибо воля есть творчество. И только для творчества должны мы учиться. Творчество... Вотъ великое спасеніе отъ страданія, великое облегченіе труда".

Въ этихъ словахъ стремленіе и нашихъ 60-хъ годовъ. Воля и знаніе, заслоненныя, затушеванныя мистическими идеями русскаго мессіанизма, офиціальнымъ гнетомъ, меланхоліей и пресыщеніемъ барства, попытались выдвинуться на первую сцену, и этой своей попыткой создали своеобразную полосу нашего литературнаго развитія.

Ей предшествовалъ севастопольскій погромъ, на ея сторонѣ было сознаніе самого правительства, что надо ликвидировать, по крайней мѣрѣ, наиболѣе темныя стороны прежней жизни (крѣпостное право, взяточничество, судебную волокиту); противъ нея и ея жажды обновленія—обычный тяжкій грузъ русской жизни—невѣжество и нищета, безличіе русскаго человѣка, выросшаго въ безправіи, подчиненіи стихіямъ и произволу.

Господствующія идеи можно свести къ слѣдующимъ:

a) Полное отрицаніе прошлаго, патріархальнаго, дворянскаго, во имя освобожденія личности и общественнаго строя.

b) Требованіе отъ каждаго человѣка гражданской, общеполезной работы.

с) Стремленіе раціонализировать жизнь, устранить изъ нея все мистическое, традиціонное, патріархальное, противорѣчащее разуму и устроить ее по логикѣ полезнаго.

Во всемъ этомъ, конечно, много временнаго, случайнаго, историческими обстоятельствами вызваннаго и вмѣстѣ съ ними исчезнувшаго.

„Но вотъ важное подъ этой случайной оболочкой: уваженіе къ достоинству человѣка какъ человѣка, каковъ бы онъ по своему происхожденію ни былъ, признаніе полнаго равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественныхъ отношеній. И все это слилось въ одномъ маленькомъ и даже чуждомъ для насъ словѣ — эмансипація. Это ключъ къ пониманію эпохи. Эмансипировались крестьянинъ отъ помѣщика, женщина отъ семейной кабалы, гражданинъ отъ государства, мысль отъ преданій и кумировъ прошлаго. Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. И въ этомъ „боевая“ красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму“ [85]).

Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. Застоявшаяся, утомленная ожиданіемъ, безконечными сѣрыми буднями, Россія всколыхнулась, и былъ даже такой мигъ, когда она повѣрила въ возможность полнаго своего обновленія и счастья всего народа.

Настроеніе, вылившееся потомъ въ „эпоху великихъ реформъ“, въ радикальную публицистику Герцена и „Современника“, въ нигилизмъ „Русскаго Слова“, въ безпощадный приговоръ надъ офиціальной Россіей, росло и повышалось съ поразительной быстротой. Повидимому, разрозненные, но, въ сущности, исходящіе изъ того же повышеннаго самочувствія и имъ объединенные факты дадутъ намъ понятіе объ этомъ ростѣ и повышеніи. Рядъ этихъ фактовъ идетъ непрерывно съ 1855 г., порожденный нашими неудачами въ Крыму. Въ этихъ неудачахъ многіе видѣли залогъ нашего обновленія. За ними жадно слѣдили, ихъ ждали, обиженные, правда, въ своемъ патріотизмѣ, но понимая, что этой старой, зазнавшейся Россіи, игравшей не только у себя дома, но и во всей Европѣ роль „охранителя“, нуженъ жестокій урокъ. Печально и вмѣстѣ торжествуя встрѣчали „лучшіе люди“ извѣстія о пораженіяхъ при Альмѣ, у Черной рѣчки, подъ Карсомъ. Они же истолковали смерть Николая I-го, какъ конецъ „системы“. Новое царствованіе, еще ничѣмъ себя не заявившее, внушило неопредѣленныя, но радостныя ожиданія, что такъ обычно въ самодержав-

[85]) Мои „Очерки“ глава „60-ые годы“, а также очерки Страхова „Литературный нигилизмъ“.

ныхъ государствахъ. Отдѣльныя слова, случайные циркуляры, слухи о поданныхъ царю и принятыхъ имъ „запискахъ“, объ отставкѣ какого-нибудь ненавистнаго и наканунѣ еще всемогущаго лица (напр., Клейнмихеля), о тостахъ за „общественное мнѣніе“ (какъ извѣстный тостъ К. Аксакова) и пр. и пр.,—все это поддерживало общественное возбужденіе. Скоро подошли разговоры и разсужденія о предстоящей отмѣнѣ крѣпостного права и заняли первое мѣсто. „Ополченцы“ разнесли по всей Россіи вѣсть, что французскій главнокомандующій потребовалъ этой отмѣны, какъ необходимаго условія для заключенія мира. Это волновало, тревожило, возмущало, радовало. Но приходили въ восторгъ и отъ мелочей. Отвѣтъ новаго государя на вопросъ о русскомъ платьѣ и бородѣ: „а мнѣ какое дѣло... пусть одѣваются какъ хотятъ“ облетѣлъ славянофильскіе кружки и помѣстья. Здѣсь возликовали, и 50-лѣтній ребенокъ, Хомяковъ, писалъ: „Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли, какъ вызовъ къ самомышленію“. Одновременно К. Аксаковъ радуется, что „камергеровъ переименовываютъ въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ“... Изобиліе слуховъ, разнообразныхъ и для николаевской Россіи необычныхъ, поразительно. „Государь намѣренъ лично слушать докладъ только министровъ Двора, финансовъ и военнаго, а прочіе будутъ докладывать комитету и Государственному Совѣту“. „Преслѣдованіе раскольниковъ прекращено“. „Императрица подарила Тютчевой Маколея“. Сообщенія важныя и неважныя сливались въ одинъ возбужденный хоръ. Вдохновеніе проникло въ глубокія темныя дебри нашей провинціи и даже старческой скупой души Погодина. „Жили себѣ, разсказываетъ С. В. Ковалевская, жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились. И вдругъ, откуда ни возьмись, объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое грозило подточиться подъ самый строй тихой патріархальной жизни. О какой дворянской семьѣ ни спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: дѣти поссорились съ родителями. И не изъ-за какихъ-нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ-за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. „Не сошлись убѣжденіями“—вотъ только и всего. Дѣтьми, особенно дѣвушками, овладѣла въ то время словно эпидемія какая—убѣгать изъ родительскаго дома: то у того, то у другого помѣщика убѣжала дочь; которая за границу учиться, которая въ Петербургъ къ нигилистамъ“. Я говорю, что всколыхнулась и старая скупая душа Погодина. Онъ подалъ записку „о царевомъ времени“, гдѣ говорилъ, что время царское дороже всего, что царь физически не можетъ вѣдать самъ каждое дѣло, что Государственный

Совѣтъ и гласность должны облегчить ему непосильную работу. Въ то же время К. Аксаковъ доказывалъ, что „въ необходимыхъ случаяхъ было бы полезно совѣщаться съ сословіями, по предметамъ непосредственно ихъ касающимся“, а Кавелинъ создалъ свой проектъ освобожденія крестьянъ, „благосклонно“, по его собственному выраженію, принятый въ высшихъ сферахъ, и. т. д.

Мысль о ликвидаціи крѣпостного права и освобожденіи „крещеной собственности“ давала всему этому движенію единство, силу, напряженность. „Съ этимъ надо во всякомъ случаѣ покончить“, какъ будто говорили всѣ либерально мыслящіе элементы общества, и эти слова были лозунгомъ. Они вдохновили. „Умственное вдохновеніе было тогда чрезвычайное. Была настоящая лихорадка мысли“. Какъ бы въ доказательство того, что въ обществѣ существуетъ общая мысль, отдѣльныя безчисленныя брызги которой разбросаны тамъ и здѣсь, совпадали и вырастали въ грозный строй ряды одинаковыхъ фактовъ, стремленій, словъ, пожеланій. Въ литературномъ преддверіи этого момента стоитъ работа Чернышевскаго „Объ эстетическомъ отношеніи искусства къ дѣйствительности“, гдѣ подъ нѣсколько схоластической формой бурлитъ жажда жизни, работы, земного счастья. Рядомъ съ Чернышевскимъ, но уже въ ореолѣ славы и общепризнаннаго, любимаго, я бы даже сказалъ „нужнаго“, поэта, стоитъ Некрасовъ, чьи стихотворенія въ 1856 г. за какія-нибудь двѣ недѣли расходятся въ 4.000 экземпляровъ. Немного раньше съ выходомъ первой части „Полярной Звѣзды“, начинается политическая дѣятельность Герцена за границей. Заработалъ вольный станокъ, раздалось вольное слово, а въ 1857 г. передъ нами уже „Колоколъ“ съ эпиграфомъ: „vivos voco“— призываю живыхъ...

Живые были, и они откликнулись. Дворянскій крѣпостной строй Россіи, подъѣденный какъ червемъ безалаберной, лѣнивой жизнью, осужденный мыслью и новыми экономическими отношеніями, давно уже сложившимися на Западѣ, поддерживаемый лишь полицейской охраной государства, ждалъ съ минуты на минуту своего офиціальнаго приговора. Его часъ пробилъ. Его враги были сильны, бодры и наносили ему каждый день все новые мѣткіе удары, потому что они шли рука объ руку съ жизнью, исторіей, исполняя ихъ рѣшеніе. Мы простимъ ихъ самообманъ, ихъ иллюзію (будто они сами все это сдѣлали): въ этомъ самообманѣ таился богатый запасъ силы, вдохновенія.

Психологія эпохи, по крайней мѣрѣ, ея начала—первый подъемъ. О немъ говоритъ С. В. Ковалевская въ вышеприведенныхъ строкахъ, говоритъ Д. И. Писаревъ въ своихъ университетскихъ воспомина-

ніяхъ, Шелгуновъ, Н. К. Михайловскій. Впрочемъ, было бы даже трудно перечислить всѣхъ свидѣтелей, чьи показанія единодушны и почти слово въ слово повторяютъ другъ друга. „Если лѣтъ пять-шесть такъ продлится, общественное мнѣніе, могучее и просвѣщенное, сложится,—писалъ Кавелинъ, (то) и позоръ недавняго еще безправія хоть немного изгладится". Забѣгая впередъ, скажемъ, что 5—6 лѣтъ такъ оно не продлилось и позоръ безправья сгладился очень немного.

Но пока, во второй половинѣ 50-хъ годовъ, подъемъ духа очевидный и захватившій широкіе слои. Настоящій весенній разливъ жизни. Ему нужно было литературное выраженіе, и онъ нашелъ его, по въ журналистикѣ, въ теоріяхъ и статьяхъ Чернышевскаго, въ стихахъ Некрасова, въ звонѣ Герценовскаго „Колокола".

Мы видимъ любовь къ жизни, къ дѣйствительности. Мысли и формулы, потомъ затерявшіяся, забытыя, появились на сцену, какъ въ фокусѣ собирая лучи настроенія. „Прекрасное есть жизнь", сказалъ Чернышевскій.

Онъ такъ развивалъ и доказывалъ свой тезисъ:

Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь: ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любитъ онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все таки лучше жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется что опредѣленіе: „прекрасное есть жизнь", или другія подобныя ему: „прекрасно существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна она быть по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который высказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни", — удовлетворительно объясняютъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго"...

Въ этихъ словахъ чувствуется гимнъ, готовность къ гимну, по крайней мѣрѣ. Жизнь мила и прекрасна, какъ что-то родное, драгоцѣнное. Она мила и прекрасна, потому что обѣщаетъ человѣку наслажденіе и счастье, даетъ ему радости, заставляющія сильнѣе биться его сердце и чувствовать себя хозяиномъ своей собственной судьбы, природы. Въ этихъ словахъ бодрость, сознаніе своей силы, вѣра въ успѣхъ, въ удачу, и какая противоположность меланхоліи и унынію предшествующаго барскаго періода литературы, находившаго утѣшеніе лишь въ мечтахъ и грезахъ!

„Намъ не нужно искусства, намъ не нужно никакого самообмана. Мы еще не жили и страстно хотимъ жить. Пока всяческими мѣрами, грубымъ насиліемъ, лукавыми увѣреніями жрецовъ (что человѣкъ назначенъ для страданія и что единственный его выходъ въ смиреньи) насъ держали

вдали отъ жизни. Но теперь пробилъ и нашъ часъ. Мы готовы бороться и не боимся борьбы, потому что вѣримъ и знаемъ, что побѣда на нашей сторонѣ".

Такъ говорили „новые" люди. Они декретировали волю жизни, и ихъ оптимизмъ, ихъ торжествующій тонъ естественны и понятны.

Воля жизни и дѣятельности возможна лишь съ признаніемъ жизни прекрасной, интересной и способной подчиниться человѣку.

Хотѣть жить значитъ ощущать свою власть надъ жизнью.

Наше барство отъ тяжелой дѣйствительности, отъ ея обидъ уходило въ мечты русскаго мессіонизма, въ созерцаніе прекраснаго, въ искусство и абстракціи. Эти воздушные полеты были его отдыхомъ, утѣшеніемъ, пристанищемъ, иногда — самою жизнью.

Новый человѣкъ, охваченный потокомъ в о л е в о г о напряженія, призналъ, что дѣйствительность — его истинная сфера, что ничего, кромѣ дѣйствительности, онъ не хочетъ и знать, что она больше всего дорога ему, какъ сфера работы, гдѣ единственно онъ можетъ проявлять свое собственное „я".

Это не было признаніемъ жизни, какъ она есть, и преклоненіемъ передъ фактомъ. Онъ не меньше другихъ зналъ ужасы окружающей его обстановки, нищету народа, духовное ничтожество общества; но, вдохновляемый вѣрой въ себя и въ возможность измѣнить жизнь сообразно съ требованіями разума и идеаломъ „чтобы всѣмъ было хорошо", онъ искалъ борьбы и работы въ самой дѣйствительности. Онъ пересталъ бояться ея и почувствовалъ надъ нею свою силу. Онъ хотѣлъ знать всю правду о ней, всю ея грязь, всѣ неприглядныя ея стороны и дать всему этому рѣшительную битву. Онъ радовался натиску обличительной литературы: она говорила ему о той правдѣ жизни, которую надо преодолѣть во имя другой, высшей.

Часто этотъ новый человѣкъ удивляетъ скромностью своихъ желаній. Онъ какъ будто готовъ примириться съ маленькимъ мѣщанскимъ счастьемъ, крошечнымъ достаткомъ и благосклонно относится къ такимъ сѣренькимъ людямъ, какъ Молотовъ. Но, во-первыхъ, когда это „скромное" требуется въ равной долѣ для всѣхъ, оно уже безмѣрно; а, во-вторыхъ, онъ такъ боялся барской пресыщенности, эстетической безмѣрности барскихъ мечтаній! Онъ надѣлъ на себя рабочую блузу и съ гордостью говорилъ, что ему нужна самая простая рабочая обстановка, лишь бы „роскоши и достатка ея хватило на всѣхъ". Онъ смѣло и увѣренно звалъ къ тому новому, что неестественно и лицемѣрно отрицалось всѣмъ прошлымъ: къ личному счастью, которое добыто умомъ, работой, знаніемъ. Онъ говорилъ на страницахъ своей настольной книги — романа Чернышевскаго „Что дѣлать": „Поднимайтесь изъ вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь,

это не такъ трудно; выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить въ немъ и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте. — Развитіе, развитіе! Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ — ихъ книги радуютъ сердце; наблюдайте ихъ — наблюдать интересно: думайте — думать завлекательно. Только и всего. Жертвъ не требуется, лишеній не спрашивается. Ихъ не нужно. Желаніе быть счастливымъ, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи; въ немъ счастье. О, сколько наслажденій развитому человѣку! Даже то, что другой чувствуетъ какъ жертву, онъ чувствуетъ какъ удовлетвореніе себѣ, какъ наслажденіе, а для радостей какъ открыто его сердце и какъ много ихъ у него! Попробуйте — хорошо"...

Въ этихъ строкахъ бьетъ ключемъ сознаніе радости жизни, развитія. Они любопытны, какъ показатель настроенія. Но не будемъ увлекаться и тутъ же отмѣтимъ, что Чернышевскій написалъ ихъ въ крѣпости, наканунѣ вѣчной каторги. Этотъ призывъ къ свободѣ и счастью изъ-за ограды тюрьмы—не символъ ли онъ всей эпохи... ея благороднаго порыва, натолкнувшагося на стѣну? Но объ этомъ послѣ.

Еще одна характерная иллюстрація на ту же тему.

Казалось бы, что общаго между печальной поэзіей Некрасова и ея тяжелыми картинами нищей и закабаленной народной жизни и этою радостью самочувствія? Однако, мы видимъ и здѣсь странное явленіе: эта поэзія понималась, прежде всего какъ призывъ. Въ указаніи того, что положеніе мужика такъ ужасно, видѣли лишь самое крупное утвержденіе, что надо работать и работать, не покладая рукъ.

„Около 40 лѣтъ тому назадъ, пишетъ Златовратскій въ 1902 г., мы, юное поколѣніе, ни въ одномъ изъ прежнихъ поэтовъ не находили такого бодрящаго, возвышающаго настроенія, какъ у Некрасова, несмотря на то, что онъ уже въ то время называлъ свою музу „печальной спутницей печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданій и оковъ". Мнѣ и теперь такъ ясно вспоминаются тѣ лѣтніе вечера, когда наши молодыя компаніи, ходя за городомъ или по деревенскимъ полямъ, распѣвали только что входившую въ моду пѣсню „Не гулялъ съ кистенемъ...", и сколько вкладывалось въ эту пѣсню отваги и бодраго чувства! Вспоминаю я, какъ, послѣ одного чтенія изъ Некрасова, мой дядя, молодой учитель, вдругъ схватилъ подъ мышки моего младшаго братишку и, поднявъ его къ себѣ

на плечо, восторженно вскричалъ: „Видишь ли Москву, малышъ? Да что Москву... Видишь ли Русь, нашу Русь, будущую Русь, великую, могучую, свободную? Видишь?" И съ беззавѣтнымъ чувствомъ свѣтлой вѣры и упованія онъ весело декламировалъ намъ и „Школьникъ" и „Пѣснь Еремушки" — эти излюбленныя пѣсни освобожденія".

Некрасовъ, очевидно, вліялъ въ тѣ дни не столько какъ „печальникъ горя народнаго", сколько какъ народолюбецъ. Его пѣсни звали къ просвѣщенію, къ учительству, къ тому, чтобы поднять народъ до умной книги. „Сѣйте разумное, доброе, вѣчное, сѣйте: спасибо сердечное скажетъ вамъ русскій народъ", твердили всѣ и каждый, понимая подъ вѣчнымъ прежде всего грамоту.

Культурная, просвѣтительная волна была очень высока, и еще выше была готовность принять дѣйствительность, какъ она есть, и эту глупую, нищую Россію, заклейменную игомъ рабства и черную отъ черной неправды судовъ, сдѣлать свободной, богатой, умной...

2. Ликвидація дворянства.

Мысль о новой реформированной Россіи преслѣдовала умы. Эта новая Россія представлялась прежде всего какъ б е з с о с л о в н а я, въ которой каждая сила, каждое дарованіе находили бы примѣненіе и просторъ.

Дѣло шло не только объ освобожденіи крестьянъ, а о ликвидаціи дворянскихъ привилегій, дворянства, какъ государственнаго сословія вообще. Это ясно понималось всѣми, и самими дворянами прежде всего, которые думали, что „наступилъ ихъ смертный часъ". Правда, смертный часъ не наступилъ, сошелъ на компромиссы, но въ тѣ дни онъ казался желательнымъ, близкимъ и возможнымъ.

Здѣсь я хочу указать на одну особенность нашей прошлой государственной жизни. Эта особенность — ея близость къ дворянской идеѣ. Николай Павловичъ назвалъ себя первымъ русскимъ дворяниномъ, графъ Уваровъ связывалъ крѣпостное право съ самодержавіемъ имперіи. Человѣкъ, который въ 70-хъ — 80-хъ годахъ проповѣдывалъ государственность во всемъ ея каменномъ тупоуміи, М. Н. Катковъ, получилъ отъ московскаго дворянства въ даръ серебряную чернильницу, какъ другъ дворянства...

Странную вообще роль играло дворянство на Руси въ теченіе XIX-го вѣка. Оно, создавшее нашу литературу и закрѣпившее ея міровую роль, другимъ концомъ своимъ, гдѣ буйствовалъ и невѣжничалъ красный околышъ, было всегда главной опорой реакціи. Дворянская

идея шла рука объ руку съ реакціей. Лишніе милые люди, герои Герцена и Тургенева, и рядомъ съ ними г-да Пѣночкины, Ноздревы, Прокопы...

Вѣрнѣйшій признакъ наступленія реакціи — это, когда дворянская идея поднимаетъ голову. Вѣрнѣйшій признакъ глубины реакціи — это угрожающій видъ дворянской идеи. И, конечно, наоборотъ.

Оно понятно, почему дворянство, хотя разнѣженное и разслабленное бюрократіей, твердо связано всѣми своими воспоминаніями и традиціями съ дореформеннымъ крѣпостнымъ строемъ. Та эпоха — эпоха его силы и огромнаго значенія. „У меня 100.000 даровыхъ полицей-мейстеровъ“, говорилъ Павелъ I про помѣщиковъ, отводя имъ не особенно почетную, но, несомнѣнно, внушительную роль...

Такъ или иначе, вся реакціонная литература наша связана съ дворянской идеей.

Въ 60 — 61-е годы государство лишило дворянъ ихъ соціальной почвы — владѣнія крестьянами, но сохранило дорогую ему дворянскую идею, которая въ годы реакціи гордо подняла голову и мечтала о возстановленіи блаженныхъ временъ крѣпостного права. Вообще же дворянство подверглось жестокому натиску.

Кн. Мещерскій въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ о томъ, что „въ тѣ дни все было направлено противъ дворянъ“. Онъ имѣетъ въ виду при этомъ главнымъ образомъ наши канцеляріи, наше чиновничество. Несомнѣнно, онъ правъ. Сила бюрократіи значительно возросла послѣ эпохи реформъ. Бюрократія воспользовалась обстоятельствами, разрослась за счетъ дворянскаго самоуправленія и сеньоріальныхъ правъ помѣщиковъ. Но, конечно, не только чиновничество было противъ дворянства: противъ него была мысль новой нарождавшейся Россіи, всѣ тяжелыя воспоминанія прошлаго, весь складъ новой предстоявшей народу работы.

Я говорилъ выше о томъ, какъ жестоко третировалъ Чернышевскій „лишнихъ“ людей, этихъ лучшихъ представителей нашего дореформеннаго барства. Онъ безъ церемоніи называлъ ихъ трутнями. Даже Герценъ и Огаревъ не получили отъ него признанія. Добролюбовъ дѣлалъ исключеніе для Герцена, но всѣ эти Рудины, Бельтовы, Онѣгины представлялись ему лишь разновидностью Обломовыхъ, ненужными и вредными людьми. Быть дворяниномъ, не отрекаясь отъ дворянства, считалось позорнымъ.

Если въ семьяхъ происходила борьба отцовъ и дѣтей, драма между ними, то въ обществѣ борьба двухъ сословій, двухъ поколѣній: Кирсановыхъ съ Базаровыми и „молодой Россіи“ со всѣми традиціями барства. Только непомѣрная власть государства и его сила

не дали этой борьбѣ развиться до ясныхъ размѣровъ, до разрѣшенія спора въ европейскомъ смыслѣ. Правда и то, что „молодая Россія“ была слишкомъ, какъ увидимъ, слаба.

Дворянство сходило со сцены. Достаточно вліятельное еще въ правительственныхъ сферахъ, оно было почти что вытѣснено изъ литературы. Въ этой послѣдней не могло удержаться даже вліяніе Герцена. Старались быстро и рѣшительно покончить съ барскимъ міросозерцаніемъ, барскими идеями и кумирами. Тургеневъ разсорился съ передовой литературой. Чистое искусство, служеніе красотѣ, метафизика презирались прежде всего потому, что между ними и барствомъ установилась прочная историческая связь. Эстетика и барство были синонимами.

Идея вражды сословій противоположныхъ интересовъ и ихъ духовнаго строя проникла въ литературу, въ сознаніе. Западная жизнь давала для этой идеи формулы яснѣе и ярче, чѣмъ то позволяла русская жизнь. Противоположное дворянству сословіе называло себя неопредѣленнымъ именемъ: интеллигенціей“. Оно на самомъ дѣлѣ было неопредѣленно, случайно, и потому безсильно.

Но, несмотря на это, овладѣвъ первенствомъ только въ области мысли, оно попыталось обосновать идею свободной личности, свободной жизни на другихъ началахъ, чѣмъ это дѣлалось раньше.

3. Разночинецъ.

Литературный герой эпохи — разночинецъ. Пытаясь собрать воедино его общія, типичныя черты, я въ свое время далъ ему такую характеристику:

„Баринъ 40-хъ годовъ сильно чувствовалъ, разночинецъ 60-хъ — страстно хотѣлъ.

Разночинецъ голоденъ. Голодъ можно понимать буквально, какъ голодъ физическій (былъ и такой), но вѣрнѣе, что на первомъ планѣ былъ голодъ духовный. Долгое время содержимый въ черномъ тѣлѣ, встрѣчая передъ собою большею частью запертыя двери, не находя доступа къ вліянію на общество, видя близкихъ своихъ въ кабалѣ и приниженности, разночинецъ вздыхалъ. Даже въ литературѣ, гдѣ существовалъ своего рода табель о рангахъ, гдѣ на разночинца косились, какъ на выскочку, гдѣ заклевали Полевого за его „купечество“, гдѣ исключеніе, да и то съ оговорками, было сдѣлано для одного Бѣлинскаго, разночинецъ чувствовалъ себя въ значительной степени чужимъ. Тамъ, въ высшихъ сферахъ, по крайней мѣрѣ, требовалось столько красоты, изящества, такой преданности интере-

самъ отвлеченной философіи, что удовлетворить этимъ требованіямъ онъ не могъ. Тонъ литературѣ 50-хъ годовъ задавалъ Тургеневъ. Поставьте теперь рядомъ съ этой благообразной, съ головы до ногъ барской фигурой какого-нибудь коряжистаго Рѣшетникова, и вы увидите, что Рѣшетникову до того момента, какъ на сцену выступили практическіе вопросы, когда понадобилась правда и только правда, а искусство замѣнилось дѣломъ, настоящаго мѣста въ литературѣ не было: онъ могъ говорить лишь — и это безъ всякихъ прикрасъ — о гноѣ и язвахъ жизни. Но вотъ голодному алкавшему и для себя и для другихъ всякихъ благъ жизни разночинцу была предоставлена возможность и право высказаться. Въ экзотическую, созданную барином культуру, которая дѣлала для человѣка возможнымъ послѣ восторговъ передъ Жоржъ-Зандъ итти въ ломбардъ закладывать крестьянъ, онъ вступилъ варваромъ. Но хорошій это былъ варваръ, съ здоровыми чувствами, съ здоровымъ, хотя часто злымъ и мстительнымъ, настроеніемъ. Изъ дебрей и трясинъ жизни принесъ онъ ничѣмъ не прикрашенные разсказы о страданіи массы, ея голодѣ, нищетѣ, невѣжествѣ; разсказы такіе же сухіе, лишь ужасомъ фактовъ своихъ поражающіе, какъ судебные отчеты. Но онъ сказалъ еще, что эта вотъ сѣрая масса хочетъ жить и всячески ищетъ путей для своихъ мечтаній. Какъ же удовлетворить это хотѣніе жизни, какъ облегчить исканіе путей? Разночинецъ весь отдался этому вопросу, а по дорогѣ, не безъ злобы и раздраженія, разбивалъ барскіе кумиры, временно ему ненужные; разбивалъ ихъ съ суровымъ фанатизмомъ протестанта, вопіялъ противъ красоты, противъ соблазновъ художественнаго творчества, отвлекавшихъ человѣка отъ дѣла, и не столько не понималъ, сколько боялся цвѣтовъ поэзіи, созданій искусства, ихъ притягивающаго и одуряющаго аромата. Наука, знаніе, какъ средство наилучшаго воздѣйствія на практическую жизнь, стальной скальпель, а не скальпель діалектическій, анатомія организмовъ, а не силлогизмовъ, — вотъ что обѣщало ему побѣду. И онъ склонился передъ этимъ новымъ, но уже своимъ кумиромъ".

Онъ стремился къ положительному знанію, положительной нравственности, положительной религіи, положительному міросозерцанію вообще, проповѣдывалъ естествознаніе и статистику, потому что, повторяю, господствующимъ началомъ его психологіи была жажда власти надъ жизнью и распоряженіе ею.

Конечно, не съ него и не отъ него это началось. Въ статьяхъ Герцена вы найдете гораздо больше научнаго духа и лучшую оцѣнку естествознанія, найдете больше положительнаго мышленія, чѣмъ у Чернышевскаго, Щапова или Писарева, но Герценъ смѣшалъ свой

позитивизмъ съ русской мистикой и тѣмъ обезцѣнилъ его. Разночинецъ этого не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать этого.

Въ эти дни городъ вообще, столица въ особенности получили великую притягательную силу. Тронулась Русь, и даже подлиповцы и глумовцы, эти полудикіе герои Рѣшетникова, потянулись въ невѣдомые края въ поискахъ за мѣстами, гдѣ лучше. Литературный разночинецъ облюбовалъ Петербургъ. Здѣсь онъ развернулъ свои замыслы... Взращенные ненавистью къ крѣпостному состоянію, къ дворянской Руси, вѣрой въ массу, въ ея силу и силу науки, они были велики и разнообразны. Развиваясь по программѣ полнаго отрицанія прошлаго и признанія въ грядущемъ быстраго торжества соціалистическихъ идеаловъ, они создали бурное броженіе мысли. Чернышевскій уже видѣлъ передъ собою Русь, покрытую рабочими ассоціаціями, Русь, какъ великую земледѣльческую общину, воплотившую въ своей жизни мечты Фурье... Могло ли казаться что-нибудь невозможнымъ, разъ исчезло крѣпостное право? Правда, настойчиво звучалъ скептическій голосъ Добролюбова, который то и дѣло указывалъ на ничтожество и слабость нашей интеллигенціи, на нашу разрозненность, на нашу глупость вообще: но и Добролюбовъ вѣрилъ въ народъ, въ его скрытую мощь, „его добрыя расположенія", которымъ нужна лишь свобода, чтобы проявиться въ блескѣ и красотѣ... Это, повторяю, не легкомысліе, а жизнерадостность, повышенное самочувствіе, щедрость духа. Щедро и съ ликованіемъ привѣтствовали женское движеніе, всякое независимое проявленіе личности. Устраивали коммуны, чтобы перешагнуть черезъ семью. Вотъ тутъ, рядомъ, чуялась совсѣмъ новая жизнь по Фурье, по Оуэну, самостоятельная, безъ опеки и собственности... Умная книга казалась самымъ лучшимъ путемъ, и умныя книги переводились въ невѣроятномъ для вчерашняго дня количествѣ. Особенно любили англичанъ Спенсера, Милля, Бокля, Смайльса, потому что они далеки отъ всякой метафизики и никогда не забываютъ указать, *что надо дѣлать*. Рождались проекты и замыслы все возлѣ тѣхъ же задачъ освобожденія личности, переустройства общества. Далеко забѣгала мысль, создавая, какъ всегда, свое царство Божіе, до котораго землѣ такъ мало дѣла.

4. Отрицаніе, какъ опредѣляющій мотивъ воли.

Не забудемъ, однако, что крѣпостная Россія была лишь вчерашнимъ днемъ, что она завѣщала месть, злобу, раздраженіе, что эти чувства глубоко сидѣли въ разночинной Руси, что и торжествую-

ніе мотивы ими окрашивались, пожалуй, въ нихъ и почерпали свою силу.

Характерны для психологіи „разночинца" біографіи такихъ людей, какъ Рѣшетниковъ, Левитовъ, Помяловскій, Щаповъ; высоко поднята ихъ на минуту волна жизни, чтобы сбросить потомъ въ нищету, озлобленіе, пьянство.

Помяловскій... „среди знакомыхъ только и толковалъ о разныхъ „пріятностяхъ" бурсачества; въ свѣтскихъ обществахъ съ какимъ-то болѣзненнымъ раздраженіемъ разсказывалъ сцены одна другой циничнѣе и отвратительнѣе".

— „Вотъ вы узнайте, какая жизнь создала нашего брата: я покажу вамъ, что значитъ бурсакъ, я заставлю васъ призадуматься надъ этой жизнью"...

„Вслѣдствіе этого и другихъ причинъ, Помяловскій сильно измѣнился, сталъ желченъ, придирчивъ, возненавидѣлъ окончательно всякую офиціальность и отсутствіе искренности, готовъ былъ на всякій скандалъ, чтобы только досадить ненавистному для него барству. Въ то же время онъ началъ заводить знакомства въ бѣднѣйшихъ кварталахъ".

— „Надоѣло мнѣ это подчищенное человѣчество, говорилъ онъ съ желчью: я хочу узнать жизнь во всѣхъ ея видахъ, хочу видѣть наши общественныя язвы, нашъ забитый, изможденный нуждою людъ, на который никто и смотрѣть не хочетъ"...

Въ этихъ словахъ злоба, вызовъ. Нельзя отбросить этихъ элементовъ въ психологіи разночинца: его воля опредѣлялась прежде всего отрицаніемъ.

Напитавшись воздухомъ и ужасомъ петербургскихъ трущобъ. Помяловскій говорилъ: „вотъ ужо выставлю эти картины на показъ нашему обществу, пусть полюбуются".

„Ему надо было сказать правду о погибшихъ, досказать то недосказанное, что таилось у нихъ на душѣ; проклятіе ихъ и слезы ихъ надо было выразить, и такъ, чтобы затрепетали сердца людей, чтобы задрожали они отъ ужаса, отъ этихъ смрадныхъ картинъ нищеты, отъ этихъ ея оголенныхъ язвъ, отъ промозглыхъ трущобъ, гдѣ таится она. Вѣдь эти трущобы — кладбище, и тутъ похоронены неудачные порывы талантливыхъ натуръ, робкіе мечты о счастьи, надломленныя непосильнымъ трудомъ силы, загубленныя жестокой и холодной жизнью души людей, эти все же святыя души, несмотря на всю грязь, все униженіе, въ какое попали онѣ. Грустныя, скорбныя тѣни маленькихъ дѣтей, погибшихъ отъ холода и голода, таинственныя и печальныя, съ невысказанной безсильной жалобой на кро-

нечныхъ личикахъ, съ предсмертнымъ недоумѣніемъ въ этихъ правдивыхъ хорошихъ глазкахъ; тѣни всѣхъ, кто хотѣлъ счастья, самаго маленькаго, законнаго человѣческаго счастья, но не сумѣлъ рѣшить мудреной задачи жизни и могъ лишь неслышно спрашивать: „за что?“ рѣютъ надъ этими трущобами... И Помяловскій хотѣлъ быть мстителемъ за нихъ“.

„Пусть полюбуются“ — это такое же восклицаніе, какъ вырвавшееся у Рѣшетникова: „эхъ, ты, цивилизація парикмахерская“...

Въ отношеніи всего офиціальнаго прошлаго дворянскаго у разночинца всегда готово на языкѣ злое слово. Его воля опредѣлялась, говорю я, прежде всего отрицаніемъ. И Нечаевъ своей формулой: „мы считаемъ дѣло разрушенія настолько громадной и трудной задачей, что отдаемъ ему всѣ наши силы“—уловилъ существенное.

Въ этой ненависти почерпалъ свою силу порывъ впередъ... Что дѣлать? Страданіе и смерть учатъ мудрости, ненависть любви... Чтобъ изъ „общественнаго животнаго“ обратиться въ личность, человѣкъ долженъ постичь глубину отрицанія, и безъ кощунства люди не приближались къ Богу...

Пусть здѣсь преувеличеніе, чрезмѣрность гнѣва. Но гдѣ же та правда прежняго, передъ которой стоило бы склониться? Была ложь насилія, жизни на чужой счетъ, ласкающихъ и утѣшительныхъ самообмановъ, ложь „великой“ Россіи, опирающейся на нищій, закабаленный, полудикій народъ... Это надо было показать, надо было сорвать всѣ сто ризокъ съ кумировъ и идоловъ, чтобы на расчищенной почвѣ выросла новая жизнь.

Долго на сценѣ разночинецъ, конечно, не удержался... Самъ слабый, безъ прошлаго, безъ всякой опоры въ общественной жизни (*все еще въ то время на три четверти крѣпостной и дворянской*), зараженный съ дѣтства чахоткой и алкоголизмомъ, онъ или быстро уходилъ изъ литературы или погружался въ непробудное пьянство. Онъ гибнулъ, пропадалъ, но не хотѣлъ мириться. Въ немъ жилъ буйный протестъ противъ обмановъ краснваго слова, мишуры культурныхъ начинаній. Въ немъ жило пониманіе всей грубой и страшной правды жизни, всего ужаса дѣйствительности. Культура, такъ въ сущности недружелюбно встрѣтившая его и поманившая на первыхъ только порахъ своимъ ласковымъ вниманіемъ, въ концѣ концовъ, представилась ему рядомъ недостойныхъ, болѣе или менѣе прикрытыхъ приличной внѣшностью, лоскомъ и фразой, мошенничествъ и обмановъ. Не находившую себѣ выхода въ жизнь силу онъ или заливалъ водкой или тратилъ на сплошное, огульное отрицаніе.

Казалось бы, что можно было сдѣлать при этихъ условіяхъ. А

между тѣмъ, прослѣдите въ литературѣ вліяніе хотя бы только Добролюбова и Чернышевскаго и вы удивитесь его огромности. Разночинецъ умѣлъ ненавидѣть, умѣлъ хотѣть и не мириться на насъ возвышающихъ обманахъ.

И въ этомъ его сила.

5. Журналистика и ея роль.

Была тревога и нетерпѣніе души, жажда обновленія и работы. Это создало своеобразную литературу.

Журналистика заняла первое мѣсто. Ея коротенькія стремительныя формулы, ея близость къ жизни, дѣйстительности какъ нельзя лучше отвѣчали боевому настроенію момента. „Еще никогда, вспоминаетъ Шелгуновъ, не бывало на Руси такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856 — 1858 гг. Главными мѣстами изданій, какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербургъ".

За эти дни журналистика успѣла утвердить свое властное вліяніе надъ умами русскаго читателя. Она вела его за собой, давала на все готовые опредѣленные отвѣты, тревожила вопросами и намеками, подкупала своимъ прогрессивнымъ и оппозиціоннымъ характеромъ. По сложности и значительности многихъ своихъ темъ, по основательности ихъ разработки она стояла въ уровнѣ съ книгой; по близости къ дѣйствительной жизни смѣло могла замѣнять газету, которая въ тѣ дни только зарождалась, особенно для провинціи. Память Бѣлинскаго, отдавшаго всего себя журналу и сказавшаго какъ-то: „умирая, закажу положить себѣ въ гробъ № Отечественныхъ Записокъ", судьба Михайлова и Чернышевскаго, Писарева и Шелгунова, постоянныя преслѣдованія повысили ея значеніе, создали ея ореолъ. Она была разнообразно чутка, интересна. По ея статьямъ вы легко можете опредѣлить, что волновало читателя того времени.

Журналистика 60-хъ годовъ особенно много вниманія удѣлила: 1) крестьянскому вопросу, настаивая на освобожденіи крестьянъ „съ землей и общиной", 2) женскому вопросу, требуя для женщинъ равноправности и образованія, проповѣдуя въ то же время „свободу любви въ смыслѣ свободы чувства", 3) западно-европейской жизни, откуда выбирали „полезное и нужное" для Россіи. Несомнѣнно, что она имѣла и яркую политическую окраску. Катковъ въ своемъ „Русскомъ Вѣстникѣ" (до 62-го года либеральномъ) пропагандировалъ англійскій строй и самъ мечталъ о томъ, что будетъ русскимъ лордомъ; Добролюбовъ постоянно говорилъ о конституціи, называя ее „гарантіей", хотя мечталъ о большемъ; Герценъ въ своемъ „Колоколѣ" говорилъ о той же конституціи и отдавалъ „подъ судъ" всю

офиціальную чиновничью Россію. Немного спустя, „Русское Слово“ въ лицѣ Писарева, Шелгунова, Зайцева, Н. Соколова и т. д. взяло на себя главнымъ образомъ популяризацію историческихъ и естественно-научныхъ знаній, заинтересовало насъ рабочимъ вопросомъ на Западѣ и пропагандировало „эмансипацію“ личности вплоть до того, что въ то время называлось „нигилизмомъ“.

Надо отмѣтить огромный потокъ обличительной литературы. Ему положили начало „Губернскіе очерки“ Щедрина и „Свистокъ“ Добролюбова. Съ 1859 г. Герценъ завелъ въ „Колоколѣ“ отдѣлъ „подъ судъ“, гдѣ выводилъ на свѣжую воду нашу администрацію[86]). Обличеніе, особенно фактическое, частичное, сосредоточилось въ концѣ концовъ, въ сатирическомъ журналѣ „Искра“... Раскрывая новые №№ „Колокола“ или „Искры“, мѣстные администраторы „дрожали какъ осиновые листы“. Обличались взяточничество, судебная волокита, фаворитизмъ начальства, общая скука и пошлость провинціальной жизни, гдѣ царятъ праздность, произволъ, непомѣрное пьянство. Это былъ серьезный и у насъ на Руси первый натискъ гласности на представителей офиціальной жизни, еще вчера чувствовавшихъ себя такъ спокойно и увѣренно подъ прикрытіемъ общаго молчанія.

Вся передовая журналистика представляетъ картину пересмотра дѣйствительности, всѣхъ завѣтовъ прошлаго, стремленія выработать начала правовой жизни. Каждый № „Колокола“ приносилъ статьи объ освобожденіи крестьянъ съ землею, о земской волѣ, о свободѣ Польши; каждый № „Современника“ знакомилъ съ соціализмомъ, намекалъ на возможность его немедленнаго осуществленія у насъ; „Русское Слово“ напряженно и страстно боролось съ авторитетами, мистическими идеями, поклоняясь Разуму, какъ Верховному Существу.

Выражая в о л ю жизни, журналистика въ эту эпоху оттѣснила художественную литературу на второй планъ. Къ художественной литературѣ она подходила съ неизмѣннымъ вопросомъ: „что этимъ доказывается?“ Поставивши этотъ вопросъ драмамъ Островскаго, Добролюбовъ извлекъ изъ нихъ великое поученіе, что экономическая зависимость человѣка отъ человѣка является наиболѣе тяжкой, унизительной и обезличивающей и что величайшее зло русской жизни въ произволѣ, царящемъ во всѣхъ ея сферахъ. На примѣрѣ Базарова Писаревъ показываетъ, какимъ путемъ „интеллигентъ можетъ достичь наибольшей свободы для себя, принося въ то же время наибольшую пользу людямъ“. Художественная литература разсматривалась исключительно какъ р а з ъ я с н е н і е жизни; она играла служебную роль. Больше даже: журналистика, все повышаясь въ своемъ нрав-

[86]) Обличеніе пользовалось успѣхомъ и въ наукѣ. Вспомнимъ огромный авторитетъ Костомарова, развѣнчавшаго столько героевъ прошлаго.

ственномъ и общественномъ цензѣ, пыталась сдѣлать изъ нея орудіе пропаганды. Свои революціонныя и соціалистическія мечты Чернышевскій воплотилъ въ романѣ „Что дѣлать“, который породилъ цѣлую подражательную литературу. Потянулся рядъ романовъ, откуда читатель долженъ былъ извлекать для себя „полезные уроки“. Въ центрѣ ихъ обыкновенно стоитъ „просвѣщенный человѣкъ“, мыслящій реалистъ, который проповѣдуетъ разумъ, знаніе и свободу, обличаетъ своекорыстіе и пошлость и помогаетъ новымъ людямъ освободиться отъ гнета родителей и семьи. Онъ вдохновляетъ ихъ на разрывъ съ прежней обстановкой, повышая въ ихъ глазахъ цѣнность собственной личности и независимой жизни. Они идутъ за нимъ учиться и работать.

Въ десяткахъ и сотняхъ этихъ произведеній, теперь въ большинствѣ случаевъ забытыхъ, васъ подкупаетъ ихъ глубина запросовъ, ихъ увѣренный тонъ, ихъ дѣтская вѣра, что „мертвецы прошлаго“ зарыты такъ глубоко, что не встанутъ больше никогда. Какъ легко рѣшались самые сложные и запутанные узлы личной психологіи и общественной жизни! И эта легкость не легкомысліе, а подъемъ силы, повышенное самочувствіе, нервное возбужденіе. Идеи смерти, подавляющей безсмыслицы жизни, ложнаго и страннаго пути, какимъ идетъ исторія человѣчества, грозныхъ стихійныхъ силъ, стоящихъ препятствіемъ на пути къ свободѣ и счастью,—всѣ эти мысли, такія близкія и родныя нашей барской литературѣ, какъ бы погасли въ умѣ. Оправдывались замѣчательныя слова Спинозы: „homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapeintia non mortis sed vitae meditatio est“ —„свободный человѣкъ ни о чемъ такъ мало не думаетъ, какъ о смерти, и мудрость его въ постиженіи не смерти, а жизни“.

6. Идея личности въ нигилизмѣ и реализмѣ.

Освобожденіе личности—центральная тема. Къ ней приходили, о чемъ бы ни начинали говорить. Въ наукѣ, критикѣ, соціализмѣ видѣли путь къ свободѣ человѣка. Шли еще дальше и проповѣдывали ученія Фурье и Роберта Оуэна, приспособляя ихъ къ русской дѣйствительности. Едва намѣченная раньше мысль, что „экономическая зависимость, нищета и бѣдность главные враги свободы“, благодаря Добролюбому и Чернышевскому, сдѣлалась родною и близкою.

Человѣкъ мыслитъ себя въ противорѣчіи со всѣмъ укладомъ, со всѣми путями и настроеніями предшествующей эпохи. Онъ отходилъ какъ могъ далеко отъ приказаній официальной Россіи и завѣтовъ ея дворянскаго и патріархальнаго строя. Онъ мыслилъ и чувствовалъ себя въ состояніи борьбы, рѣзкой противоположности и отрицанія, призваннымъ быть

не только судьей, но и привести въ исполненіе свой приговоръ. Создавая свое „новое", онъ разрушалъ, нетерпѣливо и страстно преслѣдуя своихъ враговъ.

О соціалистическихъ грезахъ эпохи — послѣ. Опредѣлимъ пока ту высшую точку, до которой дошло самосознаніе личности. Не колеблясь скажу, что это было достигнуто въ такъ называемомъ нигилизмѣ [87]), этомъ характерномъ и сложномъ явленіи русской жизни, такъ ярко и страстно освѣщающемъ нашу своеобразную психологію.

Мы встрѣтились уже съ нимъ раньше. Герценъ прямо утверждаетъ, что въ немъ — ничего неожиданнаго. Вспоминая о тридцатыхъ годахъ, онъ пишетъ: „Къ этому времени принадлежатъ первыя зарницы нигилизма". „Нигилизмъ, продолжаетъ онъ, съ тѣхъ поръ расширился, долею сталъ доктриной, принялъ въ себя многое изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами. Все это неоспоримо. Но новыхъ началъ, принциповъ онъ не внесъ".

Своимъ произволомъ, дѣлавшимъ обидной случайностью счастье и несчастье человѣка, русская жизнь упорно подготовляла нигилизмъ.

Своимъ полнымъ отдѣленіемъ правительства отъ земли, отъ общества, отъ человѣка русская жизнь упорно подготовляла нигилизмъ.

Личность закрѣпощенная, угнетаемая, никакъ и ничѣмъ не воплощавшая въ жизни своего творческаго „я", не знала, чѣмъ и дорожить, и не могла, въ концѣ концовъ, дорожить ничѣмъ.

Все вокругъ было проникнуто такимъ формализмомъ, какъ очевидно поддерживалось лишь матеріальной силой, что достаточно было малѣйшаго толчка, — и вчерашніе боги сегодня обращались въ картины и статуи, въ столбъ и камень.

Надо удивляться не тому, что у насъ были нигилисты, а тому, что ихъ было такъ мало, что лишь единицы, какъ исключеніе, дошли до конца своей логики и до тупиковъ своей отрицательной мысли.

Въ большинствѣ случаевъ нигилизмъ является „частичнымъ", и въ этомъ смыслѣ кто изъ видныхъ людей 60-хъ годовъ не послужилъ ему? Все что отрицало русскую дѣйствительность, что эмансипировало личность, шло ему на пользу, обогащало его арсеналъ.

Но въ русской душѣ онъ умѣщался съ вѣрой и признаніемъ, фактической даже вѣрой и признаніемъ, а общепризнанный глава нигилизма, Чернышевскій, былъ подвижникомъ и соціалистомъ.

Даже Страховъ обмолвился такими вотъ словами: „Отрицаніе нити-

---

[87]) Беру терминъ, обычный въ тѣ дни. Но, какъ увидимъ, онъ покрывалъ обширное и разнообразное содержаніе. Въ него включали и все р е а л и с т и ч е с к о е мышленіе.

лизма это его здоровая и правильная черта. Все, что можетъ служить опорою для отрицанія, все, что даетъ отрицанію разумность и право, — все это идетъ впрокъ нигилизму, составляетъ его законную пищу, законный источникъ. Безобразія, которыми переполнена русская жизнь, являются распространенною и общедоступною пищей отрицанія. Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть упускаема изъ виду".

Я нарочно привелъ мнѣніе Страхова, который всю жизнь свою боролся съ нигилизмомъ. Отъ своего журнальнаго врага (а такіе враги самые злые) нигилизмъ получилъ и признаніе и оправданіе. Порою кажется даже, что Страховъ любитъ нигилизмъ. „Нигилисты, пишетъ онъ, напр., выгодно отличаются отъ общей массы. Они просты, серьезны, ищутъ дѣла и занимаются дѣломъ, презираютъ мелочи; у нихъ нѣтъ той фальшивой наружности, о которой такъ много хлопочутъ другіе; поэтому, приходя въ соприкосновеніе съ ними, невольно чувствуешь свѣжее впечатлѣніе живой души"...

Мнѣ кажется, что и мы продолжаемъ чувствовать то же свѣжее впечатлѣніе, перечитывая тургеневскій романъ „Отцы и дѣти". Въ фигурѣ Базарова есть что-то крупное, подкупающее, а его смерть—какъ давно и негодующе замѣтилъ Катковъ—это настоящій апофеозъ.

Конечно, въ значительной степени все это отрицаніе, но главнѣе и больше всего отрицаніе русской жизни, русской дѣйствительности и идей, взрощенныхъ ея барскимъ строемъ.

7. Подвижническіе и просвѣтительные элементы нигилизма.

Въ разгаръ движенія, всякаго, кто отрицалъ эстетику, авторитеты частные и общіе, видѣлъ въ естествознаніи единственную настоящую науку, кто возставалъ противъ деспотизма патріархальной семьи, кто не ходилъ въ церковь или носилъ длинные волосы, пледъ и синія очки, — всѣхъ одинаково называли нигилистами. Одинъ журналистъ написалъ: „Нигилизмъ это атеизмъ, матеріализмъ, эмансипація, свободная любовь, анархія и распутство"; словомъ, „въ Бога не вѣруетъ и въ баню не ходитъ"...

Нигилизмъ, говорятъ, это отрицаніе прежде всего. Не совсѣмъ такъ: рядомъ съ отрицаніемъ была жажда обновленія, жажда стать совершенно новымъ человѣкомъ и по одеждѣ, и по образу жизни, и по мыслямъ, и по вѣрѣ. Да, и по вѣрѣ: потому что, кромѣ хулигановъ этого движенія, всякій нигилистъ былъ прежде всего вѣрующій человѣкъ... „Въ принципы не вѣритъ, а въ лягушекъ вѣритъ", саркастически замѣчаетъ о Базаровѣ Павелъ Петровичъ Кирсановъ. И его сарказмъ не

далекъ отъ истины. Кто вѣрилъ въ лягушекъ, кто въ фаланстеры Фурье, кто, какъ Писаревъ, въ обновленіе русской жизни раціональной работой умственнаго пролетаріата.

Признаннымъ нигилистомъ былъ сотрудникъ „Русскаго Слова" Зайцевъ. Но вотъ какими словами отвѣтилъ онъ на упреки, сдѣланные ему въ этомъ смыслѣ:

„Клянусь вамъ, что мы не были нигилистами, какъ вы насъ называете. Это была ошибка, согласенъ, но мы были глубоко убѣждены въ томъ, что, проповѣдуя полную свободу личности, мы боремся за счастье всего человѣчества, и каждый изъ насъ охотно пошелъ бы на эшафотъ и сложилъ бы свою голову за Молешотта и Дарвина"...

Интересно одинаково выслушать слова Писарева. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ матери онъ, въ самый разгаръ своей „нигилистической" проповѣди, пишетъ:

„Теперь, къ моему характеру присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и, главное, возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ"[88]).

Повторяю, есть нигилизмъ и нигилизмъ.

8. Базаровъ.

Въ рѣчахъ Базарова мы находимъ цѣлый кодексъ прямолинейнаго нигилизма... Попробуйте собрать нѣкоторыя изъ его изрѣченій.

1) „Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта".

2) „Я уже доложилъ вамъ, что ни во что не вѣрю; и что такое наука—наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, знанія; а наука вообще не существуетъ вовсе".

---

[88]) Еще любопытно отмѣтить, что Раскольниковъ, въ своемъ нигилизмѣ предвосхитившій Ницше и оправдывавшій кровь, не разъ удостоивается отъ Свидригайлова прозвища—Шиллеръ. Въ сущности, „Шиллеромъ" онъ и былъ.

3) „Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ".

4) — „Что бы ему дать (т. е. отцу почитать)?" спросилъ Аркадій. — Да я думаю Бюхнерово „Kraft und Stoff" на первый случай, отвѣтилъ Базаровъ.

5)— „Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, говорилъ между тѣмъ Базаровъ: подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они и даромъ не нужны".—Что же ему нужно, по вашему? Послушать васъ, такъ мы прожили внѣ человѣчества, внѣ его законовъ. Помилуйте, логика исторіи требуетъ. — „Да на что намъ эта логика? Мы и безъ нея обходимся". — Какъ же? — „Да такъ же. Вы, надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этой отвлеченности!" Павелъ Петровичъ взмахнулъ руками. — „Я васъ не понимаю послѣ этого. Вы оскорбляете русскій народъ. Я не понимаю, какъ можно не признавать принциповъ, правилъ. Въ силу чего же вы дѣйствуете?" — Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ, промолвилъ Базаровъ. — Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе, и мы отрицаемъ. — „Все?" — Все. — „Какъ? Не только искусство, поэзію... но и... страшно сказать"...—Все,—съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ. Павелъ Петровичъ уставился на него. Онъ этого не ожидалъ, а Аркадій даже покраснѣлъ отъ удовольствія. — „Однако, позвольте, заговорилъ Николай Петровичъ: вы все отрицаете, или, выражаясь точнѣе, вы все разрушаете... Да вѣдь надобно и строить". — Это уже не наше дѣло. Сперва нужно мѣсто расчистить"...

6) „Мы ничего не проповѣдуемъ, сказалъ Базаровъ: это не въ нашихъ привычкахъ".—Что же вы дѣлаете? — „А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда... А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидѣли, что такъ называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда насъ душитъ грубѣйшее суевѣріе".

7) — „А я, говоритъ въ заключеніе Базаровъ, тогда буду готовъ согласиться съ вами, когда вы представите хоть одно установленіе въ современномъ нашемъ быту, семейномъ или общественномъ, которое не вызвало бы полнаго и безпощаднаго отрицанія".

Большая часть этихъ мыслей Базарова была развита потомъ Писаревымъ и вошла органической частью въ нашу литературу.

Очевидно, прежде всего, что здѣсь дѣло не въ одномъ отрицаніи.

Базаровъ отрицаетъ поэта и признаетъ химика. Отрицаетъ науку вообще (т. е. философію) и признаетъ науки. Находитъ, что въ наше время полезнѣе всего отрицаніе; значитъ, признаетъ пользу. Отрицаетъ природу какъ храмъ, и признаетъ ее какъ мастерскую. Отрицаетъ искусство и признаетъ знаніе. Словомъ, на каждый минусъ у него есть плюсъ.

Такъ, а не иначе, понялъ его и Писаревъ; такъ, а не иначе, „проповѣдывалъ“ онъ его своимъ читателямъ...

Базарова можно упрекнуть не въ нигилизмѣ, а въ противорѣчіяхъ, потому что его увѣренія, что онъ отрицаетъ „все“ и еще разъ „все“, лишены рѣшительно всякаго основанія.

Но въ этомъ случаѣ надо быть очень осторожнымъ. Преступленія противъ логики никогда и ни въ какомъ случаѣ нельзя вмѣнять въ вину человѣку, потому что психологія человѣка въ огромномъ большинствѣ случаевъ ирраціональна. Можно, напр., ясно, какъ дважды-два четыре, понимать весь вредъ ревности, всю ея незаконность и въ то же время ревновать. Можно любить ненавидя и ненавидѣть любя, что давно уже отмѣтилъ поэтъ. Можно всю крайность отрицанія соединять съ фанатизмомъ вѣры. Это значитъ лишь то, что у разума своя алгебраическая логика, а у живого человѣка, съ его живыми кипящими страстями, полными темныхъ стремленій и „темнаго“ пониманія, своя другая логика, и выводы первой то же, что щепка на волнахъ. Ну что можетъ быть ирраціональнѣе, какъ готовность умереть за Дарвина и Молешотта со стороны „нигилиста“, человѣка, признающаго право каждаго на собственное счастье и радости жизни? что ирраціональнѣе любви Базарова къ Одинцовой, потому что полюбить Одинцову значитъ полюбить не только искусство и красоту, но и „роскошь“, и изящество, и многое другое, что имѣетъ прямое отношеніе къ природѣ какъ къ храму, а не какъ мастерской...

Психологія нигилизма ирраціональна, стихійна, противорѣчива. Надо ближе присмотрѣться къ нему и элементамъ его ученія.

9. Нигилизмъ и естествознаніе.

Свою философскую доктрину, или, лучше сказать, свою вѣру—матеріализмъ нигилисты разнесли по большинству журналовъ того времени, по умамъ молодежи, сумѣвъ придать ей боевой характеръ, сдѣлать ее не только модной, но и необходимой для мыслящаго человѣка тѣхъ дней.

Это одно изъ характерныхъ нашихъ увлеченій. Откуда оно и какъ его объяснить? Откуда эта странная гордая радость, что надъ всѣмъ міромъ явленій, страстей, желаній царятъ законы механики и химіи, или что человѣкъ есть только продуктъ эволюціи? Однако, люди 60-хъ годовъ поздравляли себя въ тотъ день, когда урина была искусственно добыта въ лабораторіи, когда Пастеръ доказалъ невозможность самозарожденія организмовъ, а Зайцевъ клялся, что онъ и его товарищи готовы были умереть за Дарвина и за Молешотта [89]).

Матеріалистъ мыслитъ всю жизнь какъ одну непрерывную эволюцію атомовъ. Онъ уничтожаетъ различіе между органическимъ и неорганическимъ міромъ, между человѣкомъ и животнымъ, душой и тѣломъ. Естествознаніе для него основа всѣхъ наукъ и философіи. Физіологія—продолженіе химіи, психологія—отдѣлъ физіологіи. Человѣкъ не занимаетъ ни отдѣльнаго, ни привилегированнаго положенія среди другихъ существъ. Онъ—сложная и своеобразная комбинація химическихъ элементовъ. Его мышленіе и нравственность тѣ же, что у животныхъ, и разница лишь количественная, въ степени, а не по существу.

Всѣ эти краткія формулы въ свое время были догматами. „Зараженіе“ Запада и въ этомъ случаѣ, конечно, сыграло свою роль. На первомъ планѣ тутъ, какъ и въ большинствѣ случаевъ, чисто хронологическое совпаденіе. „Какъ разъ въ десятилѣтіе съ 50-го по 60-й годы естественныя науки на Западѣ не только сдѣлали большіе успѣхи сами по себѣ, но проникли собою и своимъ методомъ чуждую имъ до того область обществовѣдѣнія. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Вирхова обозначаютъ собою такой подъемъ естествовѣдѣнія, что за эту эпоху оно совершенно затмило собою прочія науки“. Любопытно еще отмѣтить, что въ 1855 г. вышла „Сила и Матерія“ Бюхнера—книга, которую Базаровъ совѣтуетъ читать вмѣсто Пушкина; въ 1856 г.—„Микрокосмъ“ Лотце; въ 1859 г.—„Происхожденіе видовъ“ Дарвина; въ 1869 г.—„Жизнь Христа“ Ренана; въ 1858 г.—„Къ критикѣ“ Маркса и т. д. Бюхнеръ, Фохтъ, Молешоттъ, Бокль, Милль, Спенсеръ, Лотце, Пастеръ — это истинные духовные вожди 60-хъ годовъ; одни, какъ представители матеріализма въ прямомъ смыслѣ слова, другіе, какъ ученые, примѣнившіе методъ естествознанія къ общественнымъ наукамъ. Особенною популярностью пользовался у насъ Бокль и его книга „Исторія цивилизаціи“. Это потому, что Бокль отрицалъ провиденціализмъ въ исторіи, свободную волю человѣка, и ввелъ статистику въ объясненіе жизни.

---

[89]) Мои „Очерки“, глава „60-е годы“, а также очерки Страхова „Литературный нигилизмъ“.

Западъ съ плеядой знаменитыхъ естествоиспытателей, съ блестящими открытіями—какъ спектральный анализъ, динамо-машина—заражалъ, гипнотизировалъ, открылъ безконечныя перспективы научному изслѣдованію. Онъ былъ вдохновителемъ и руководителемъ нашего умственнаго движенія, и, въ сущности, ни въ какую эпоху мы не стояли такъ близко къ Европѣ, какъ именно въ 60-е годы.

Если увлеченіе естествознаніемъ выразилось у насъ прежде всего какъ увлеченіе матеріализмомъ, то повинны были въ этомъ и многія домашнія обстоятельства.

Несомнѣнно, что значительную часть этого увлеченія объясняетъ Бюхнеръ въ своей знаменитой книгѣ, называя матеріализмъ единственной доктриной, чуждой всему сверхчувственному и даже враждебной послѣднему.

Правильно или неправильно, но въ этомъ сверхчувственномъ люди 60-хъ годовъ видѣли главнаго своего врага. Въ области познанія они были или стремились быть чистыми, даже грубыми раціоналистами и признавать только то, „что видятъ и осязаютъ". Они не хотѣли вѣрить, а только знать и точно знать, такъ, чтобы можно было провѣрять свои убѣжденія и мысли со скальпелемъ, вѣсами или статистическими таблицами въ рукахъ. Въ нихъ жилъ настоящій „священный ужасъ" передъ всѣмъ, что должно было приниматься на вѣру. И въ этомъ проявлялась не только гордыня ихъ разума, а и негодованіе на прошлое, злая память о немъ, ибо это прошлое знало одну только формулу: „вѣрь, какъ тебѣ указано"...

Здѣсь дѣло не столько въ матеріализмѣ, сколько именно во враждебности къ супранатуральному, сверхчувственному, въ которомъ прошлое искало, а по изреченію „ищите и обрящете" находило всегда непреложную и нерушимую санкцію всего строя своей жизни, вплоть до крѣпостного права. Додумались же въ свое время люди до мысли, что крѣпостное право учрежденіе „божественное". Съ этой точки зрѣнія, нашъ матеріализмъ это борьба съ государствомъ, съ официальной народностью, поскольку тѣ искали оправданія и опоры въ ученіи церкви.

Дальше—это доктрина, обѣщавшая въ то время наибольшую власть надъ природой и жизнью, потому что для всѣхъ было очевидно, что успѣхи естествознанія вызываютъ и обусловливаютъ успѣхи техники. Но есть еще и „въ третьихъ". Проповѣдуя матеріализмъ, Чернышевскій, напр., особенно настаивалъ на томъ его положеніи, что человѣкъ находится въ полной зависимости отъ среды. Въ случаѣ голода число преступленій непремѣнно увеличивается. Разъ людямъ хорошо, имъ не зачѣмъ поступать дурно. Горькая нужда чаще всего на-

талкиваетъ на злое и преступное. Измѣняя среду къ лучшему, вы тѣмъ самымъ измѣняете къ лучшему и человѣка. Свободная воля, злая воля выдуманы для оправданія насилія и жестокости. Тѣ же начала были положены въ основу нравственныхъ ученій. Опять отрицаніе прошлаго и борьба съ нимъ. Официальная нравственность знала одну санкцію—авторитетъ, признавала единственную добродѣтель—послушаніе. Разночинная интеллигенція 60-хъ годовъ попыталась утвердить нравственность на идеѣ полезнаго.

10. Идея полезнаго.

Въ исторіи нашего развитія этой идеѣ пришлось сыграть значительную роль. Ее знали, разумѣется, и раньше, но въ 60-хъ годахъ она явилась съ превосходной рекомендаціей англійской философіи Бентама, особенно же Милля и Спенсера, и стала центральной. Искусство, наука, поведеніе разсматривались исключительно съ ея точки зрѣнія. Она не только пришлась по плечу, но и подошла къ настроенію, которое искало работы и практической дѣятельности. Въ годы ученія, торопливыхъ проектовъ и ихъ торопливыхъ рѣшеній, воскресныхъ школъ, огромной переводной (преимущественно естественно-научной) литратуры, когда человѣкъ разсматривалъ себя прежде всего какъ работника,—иначе не могло и быть.

Идея полезнаго въ области нравственности, т. е. утилитаризмъ, учитъ, что человѣкъ въ основѣ своей эгоистъ, ищетъ полезнаго и пріятнаго, при чемъ, путемъ расчета, старается сообразно съ обстоятельствами выбирать наиболѣе полезное и наиболѣе пріятное (или наименьшее страданіе). Такимъ образомъ онъ достигаетъ или стремится достичь счастья.

Очевидно, что разъ дѣло въ выборѣ,—чѣмъ человѣкъ умнѣе, чѣмъ больше онъ знаетъ, тѣмъ онъ нравственнѣе.

Здѣсь начинается небольшая путаница, почти непзбѣжная во всѣхъ нашихъ идейныхъ увлеченіяхъ, но легко обходимая, благодаря стремительности чувства.

Когда человѣкъ спрашивалъ, какъ ему поступить въ томъ или другомъ случаѣ, ему неизмѣнно отвѣчали: „надо поступить такъ, какъ выгоднѣе“. Но выгода понималась очень различно. Въ общемъ смыслѣ, подъ выгодой разумѣлось достиженіе наибольшей радости и счастья съ наименьшей затратой силъ. Что же такое радость и счастье? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ радость и счастье дѣлились на высшія и низшія. Знаменитая фраза Милля, что недовольный Сократъ выше довольной свиньи,

подкупала. Въ концѣ концовъ, подъ высшей радостью и счастьемъ стали понимать сознаніе, что такой-то поступокъ или такая-то жизнь принесли обществу пользу, содѣйствовали его развитію и просвѣщенію, что стремиться лишь къ собственному благополучію низко и презрѣнно.

Утилитаризмъ переходилъ естественно въ свою противоположность — въ идею служенія ближнимъ, хотя и продолжалъ настаивать на излюбленныхъ формулахъ, что человѣкъ эгоистъ, что развитіе нравственности прямо пропорціонально развитію ума. Быть можетъ, книга Бокля „Исторія цивилизаціи въ Англіи", тогда настольная, какъ и „Утилитаризмъ" Милля или его же объ „эмансипаціи женщинъ", пришлась по вкусу именно благодаря тому, что на ряду съ уваженіемъ къ естествознанію и статистикѣ, даже преклоненіемъ передъ ними, въ ней проводилась и эта идея.

Но, какъ всегда, причинъ успѣха надо искать въ „оппозиціонномъ" характерѣ ученія. Все это оправдываетъ офиціальную Россію и ея офиціальныя доктрины, можетъ, разумѣется, имѣть фактическую силу, но заранѣе обречено на невниманіе со стороны русскаго читателя...

Оппозиціонный характеръ идеи пользы слишкомъ даже очевиденъ. Въ ней есть остріе и жало. Въ жизни, гдѣ властвуютъ мертвецы, гдѣ всемогуща власть традиціи, примѣненіе идеи пользы разрушительно, какъ примѣненіе огнестрѣльнаго оружія противъ рыцарской брони, обаянія рыцарской непобѣдимости, замкнутаго желѣзнаго строя.

Она утверждаетъ, что каждый человѣкъ стремится къ наслажденію и счастью, и узаконяетъ, оправдываетъ это стремленіе, видя въ немъ своего рода законъ природы.

Санкцію нравственнаго она отъ Бога и начальства переводитъ внутрь человѣка—къ его разуму, расчету, разсудку.

Стихійное понятіе долга она замѣняетъ разсудочнымъ—выгоды. Она требуетъ отъ человѣка дѣла, поступковъ, а не чувства, не созерданія. Она враждебна барскому эстетическому мышленію, потому что враждебна прекрасному.

„Идея красоты, несомнѣнно, мирилась съ идеалами патріархальнаго строя, какъ мирится она со всѣмъ мистическимъ и даже ищетъ его, но идея полезнаго—эта элементарнѣйшая формула раціоналистическаго міровоззрѣнія съ ея требованіемъ очевидной выгоды—съ этими идеалами ни въ какомъ случаѣ мириться не можетъ. Идея полезнаго разсчитываетъ и подсчитываетъ, она сравниваетъ, что больше и меньше, во всемъ ищетъ она, въ концѣ концовъ, матеріальнаго, осязаемаго ядра. Она враждебна мистическому ореолу, и дерзко противопоставляетъ ему свою ариѳметику. Исключительно земная, одаренная большимъ здравымъ практическимъ смысломъ, лукавая и насмѣшливая, какъ Фигаро,

она не забываетъ никогда, что одинъ плохонькій солдатъ можетъ сдѣлать неизмѣримо больше, чѣмъ армія призраковъ и спектровъ, хотя бы эти призраки и спектры были исключительно Танкредами и Роландами, или что корка хлѣба можетъ напитать больше, чѣмъ удивительно нарисованное поле пшеницы. У ней, этой идеи, разумѣется, много увлеченій и крайностей, есть постоянная наклонность переходить въ плоскій подсчетъ и пошлую нравственную ариѳметику, но критическое остріе ея какъ нельзя болѣе дѣйствительно въ отношеніи ко всякимъ ложнымъ и загробнымъ претензіямъ. Она очень грубое освободительное орудіе. Ударами молота очищаетъ она красивый обликъ свободной человѣческой мысли и свободнаго человѣческаго чувства, отъ вѣками накопившейся на немъ грязи. И эту свою роль она, несомнѣнно, сыграла въ рукахъ шестидесятника-разночинца, тѣмъ болѣе, что общее приподнятое настроеніе приподнимало и ее вплоть до подвига и жертвы“ [90]).

11. Нигилизмъ и любовь.

Пока, очевидно, отрицаніе идетъ вездѣ рука объ руку съ признаніемъ. Въ чемъ же тутъ нигилизмъ? Если онъ и есть, то никакъ не въ формулахъ, а въ этомъ гордомъ и смѣломъ возстаніи противъ всего завѣщаннаго прошлымъ, въ этомъ страстномъ желаніи сбросить съ себя иго преданія, традиціи стихійныхъ и мистическихъ влеченій.

Герой Чернышевскаго Лопуховъ „очень просто“ распутываетъ узелъ своей семейной жизни. Убѣдившись, что жена его не любитъ, онъ, по теоріи наибольшей пользы или наибольшаго счастья, передаетъ свою Вѣру Павловну Кирсанову, а самъ, устроивши фиктивное самоубійство, удаляется въ Америку, чтобы „не мѣшать“. Онъ устраиваетъ такимъ образомъ счастье любимаго существа, спасаетъ ея силы и силы Кирсанова для „общеполезной работы“, берется и самъ за работу вмѣсто того, чтобы ревновать, мстить или въ слезахъ и унынiи сидѣть надъ развалинами своего семейнаго очага...

Другая героиня Чернышевскаго, убѣдившись, что двое любятъ ее съ одинаковой силой и не могутъ безъ нея ни жить ни работать, рѣшается принадлежать имъ обоимъ.

Конечно, все это „слишкомъ просто“. Изъ прошлаго изъ пещерной жизни своей человѣкъ вынесъ такъ много эгоизма и властолюбія въ отношеніи женщины и своей любви, что рѣшеніе Лопухова или „другой героини“ еще и теперь представляется намъ теоретическимъ и какъ бы

[90]) См. мои „Очерки“.

невозможнымъ въ дѣйствительной жизни. Мертвецы властвуютъ надъ нашими чувствами полнѣе, чѣмъ надъ разумомъ [91]).

Во всякомъ случаѣ, не можетъ быть и рѣчи о проповѣди „разврата, безпорядочнаго полового сожительства и т. д.“. Ничего подобнаго не было даже въ знаменитыхъ коммунахъ, наводившихъ такой ужасъ на провинцію. Подъ фразами и формулами, которыя на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, „все“ допускали, скрывалось, въ сущности, подвижничество и жажда его. Самый „смѣлый“ человѣкъ эпохи, Чернышевскій, такъ охотно уничтожавшій всякое принципіальное различіе между человѣкомъ и животнымъ, доказалъ это всей своей жизнью и 25-ю годами каторги, которую перенесъ молча, безъ жалобъ и, быть можетъ, безъ сожалѣнія. Къ тому же (если это нужно), онъ самъ былъ страстно влюбленъ въ свою „законную“ жену.

Правда, потомъ мелькнула формула: „любовь только физіологическая потребность организма“. Но вѣдь это тупикъ, до котораго надо было дойти или д о в е с т и, на что такъ способна русская жизнь.

Отъ любви требовали искренности, свободы отъ всякихъ посторонникъ соображеній. Бракъ считался дѣйствительнымъ и длящимся, пока существовала любовь. Иначе онъ обращался въ насиліе, кабалу, цѣпи. Проповѣдывали, конечно „гражданскій бракъ“. Преступное различіе, которое все еще дѣлаетъ наша жизнь между законными и незаконными дѣтьми, стерлось. Особенно преслѣдовали „ревность“. Въ ней видѣли переживаніе тяжелыхъ временъ, когда мужчина безусловно господствовалъ, женщина безусловно подчинялась... Бракъ обращался въ союзъ, товарищество, но союзъ и товарищество, скрѣпленные любовью.

Надо понять самую простую вещь: человѣкъ того времени считалъ себя прежде всего „призваннымъ“. Онъ смотрѣлъ на себя какъ на работника, которому продстоитъ обновить и образовать Россію, сдѣлать ея жизнь свободной, ея трудъ производительнымъ.

Все должно было служить этой цѣли, все подчинялось ей. Должна была подчиняться и любовь и страсть. Ее считали однимъ изъ величайшихъ источниковъ вдохновенія, творчества. Пусть же познаетъ ее каждый и пусть каждый въ своей жизни испытаетъ ея живительную силу, возрождающую мощь ея наслажденій.

Если этого нѣтъ, если „супружество“ обратилось въ „обязан-

---

[92]) Если во взглядахъ 60-хъ годовъ на любовь и есть ошибка, то лишь въ томъ, что они свою простую точку зрѣнія, свою с в о б о д у возводили въ правило, въ норму, и не принимавшихъ ее предавали осмѣянію и анаѳемѣ. Какіе, на самомъ дѣлѣ, могутъ быть правила, принципы и нормы въ отношеніи живого человѣка? Какіе догматы и формулы для интимной жизни!..

ность", томительную для обѣихъ сторонъ, если люди не понимаютъ другъ друга, или вмѣсто вдохновенія ихъ связь даетъ имъ скуку, усталь,—надо расходиться...

Надо расходиться немедля, безъ проволочекъ, безъ взаимныхъ обидъ и раздраженія. Ибо жизнь требуетъ работы, на которую способенъ только свободный, жизнерадостный человѣкъ. А эти пары, скованныя навѣки, влачащія цѣпи долга или приличія, съ обидой и злобой другъ противъ друга, развѣ не преступленіе онѣ противъ свободы и достоинства человѣка, противъ трудовой жизни вообще?

12. Нигилизмъ и трудъ.

Трудъ, его идея, его цѣнность безмѣрно повысились въ глазахъ „просвѣтителя" этихъ дней. „Только тотъ, кто трудится, имѣетъ право на существованіе. Паразитизмъ общественный долженъ быть уничтоженъ въ корнѣ своемъ, а паразиты наказаны презрѣніемъ и лишены возможности жить". Такова формула.

Но, конечно, не всякій трудъ представлялся въ такомъ ореолѣ. Ему ставили разныя условія: быть полезнымъ обществу, служить прогрессу, быть сознательнымъ и творческимъ. Опять формула: „трудъ долженъ соотвѣтствовать призванію человѣка и осуществлять его призваніе". „Мартышкинъ" трудъ уваженія не заслуживаетъ.

Идеи Фурье вошли въ теорію труда, въ представленіе о немъ. Фурье училъ, что люди покончатъ со страданіемъ и обратятъ землю въ рай, если трудъ ихъ обратится въ *постоянное творчество и изобрѣтеніе*, если онъ станетъ наиболѣе производительнымъ.

Наиболѣе производительнымъ трудъ можетъ стать лишь въ томъ случаѣ, если ему будутъ служить влеченія и страсть.

Ни одна крупица человѣческой силы не должна быть потеряна даромъ. Работа должна быть одушевленной и вдохновенной, должна обратиться въ *игру*, на которой человѣкъ каждую данную минуту сосредоточивалъ бы весь свой интересъ, все свое вниманіе.

Влеченіе указываетъ, за какой трудъ долженъ взяться человѣкъ. Тщеславіе, самолюбіе, жажда похвалъ, любовь женщины (или женщинъ), любовь, являющаяся какъ вѣнецъ и награда, — вдохновляютъ трудъ.

Трудъ — основа жизни, ея царь. Онъ долженъ быть окруженъ роскошной обстановкой, производиться въ веселіи духа, на свѣжемъ воздухѣ, вперемежку съ музыкой и танцами, среди начинающихся привязанностей. Трудъ рука объ руку съ игрою страстей. Какихъ — это все равно, лишь бы онѣ одушевляли. Фурье вѣрилъ въ человѣка, вѣрилъ въ жизнь и думалъ,

что нѣтъ такой страсти и нѣтъ такого влеченія, которыми нельзя было бы воспользоваться съ выгодой для человѣчества. „Кто любитъ копаться въ грязи, тотъ пусть убираетъ соръ и грязь на улицахъ; кто любитъ хорошо ѣсть, пусть готовитъ изысканныя блюда въ общественныхъ кухняхъ“, и т. д.

Власть, правительство имѣли въ глазахъ Фурье значеніе силы, организующей и направляющей трудъ общества, не больше.

Быть можетъ, кажется наивнымъ увлеченіе фурьеризмомъ въ „бѣдной и глупой“ Россіи? Оно, конечно, наивно, какъ и всѣ вообще увлеченія русскихъ людей, которые на каждое первое число слѣдующаго мѣсяца назначали полное обновленіе жизни. Но въ этой наивности они шли за Фурье, Оуэномъ, С.-Симономъ.

Тѣмъ болѣе, что фурьеризмъ это только праздничная мечта, жажда хотя бы въ идеѣ освободиться отъ всякаго принужденія. Для будней оставляли будничную работу — тяжелую, подготовительную, даже черную.

Фурьеризмъ интересенъ, какъ конечная идея, въ которой примиряются такія озлобленныя другъ на друга противоположности, какъ „свобода“ и „трудъ“. Для насъ это было совсѣмъ ново, ибо въ крѣпостной Россіи мы знали не трудъ, а лишь „службу“, каторгу, повинность, барщину.

13. Нигилизмъ и исторія.

Просто смотритъ Чернышевскій на исторію. Въ этомъ отношеніи очень характерна его статья „о причинахъ паденія Рима“. Конечно, не Римъ интересуетъ автора, а Россія. Его задача убѣдить читателя, что каждое новое поколѣніе можетъ начать совершенно новую жизнь.

„Говорятъ, пишетъ онъ, что римскій міръ истощилъ свои жизненныя силы, что же, развѣ люди, его составлявшіе, утратили свою человѣческую натуру? Развѣ они перестали родиться имѣющими человѣческій умъ и человѣческія наклонности, или развѣ, по какому то особому случаю, всѣ люди въ Римской имперіи рождались идіотами? Что за вздоръ! Пока общество состоитъ изъ людей, оно имѣетъ въ себѣ всѣ свойства человѣческой натуры. Отживаетъ свою жизнь организмъ отдѣльнаго человѣка; но съ каждымъ новымъ родившимся человѣкомъ является новый организмъ, съ новыми свѣжими силами, и при каждой смѣнѣ поколѣній возобновляются силы народа“.

„Какъ же это общественныя силы могутъ истощаться! Какъ можетъ уменьшиться въ обществѣ сила и молодость, пока родятся люди!“

Для Чернышевскаго ясно, что Римъ погибъ не отъ истощенія, а только отъ нашествія варваровъ. Варвары всколыхнулись отъ Амура до Рейна и за-

топили Римскую имперію. Это уже стихійная случайность исторіи, которую надо принимать, какъ землетрясеніе, какъ ударъ грома.

Если это ясно для Чернышевскаго, то для его читателей еще яснѣе должно было быть другое: то, именно, что каждымъ новымъ поколѣніемъ общество и народъ могутъ начать жизнь съ начала, что никакіе варвары съ Амура Россіи не грозятъ. Пусть историки говорятъ о силѣ традиціи и силѣ наслѣдственности, пусть доказываютъ они всякіе ужасы, въ родѣ того, что у народа и общества есть своя колея, освященная традиціей, вѣками прошлаго, — все это пустяки: съ каждымъ новымъ человѣкомъ является новый организмъ съ новыми свѣжими силами, и при каждой смѣнѣ поколѣній возобновляются силы народа. Все равно какъ для Римской имперіи никакой внутренней необходимости смерти не было, такъ нѣтъ никакой необходимости застоя для любого общества. Прошлое ушло. Его уже нѣтъ, и съ нимъ нечего считаться. Пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ, передъ живыми каждую данную минуту возможность прогресса, уничтоженія зла, возможность полнаго обновленія съ головы до ногъ.

Исторія въ этихъ строкахъ потеряна, упразднена во имя разума и постоянно, съ каждымъ новымъ поколѣніемъ возрождающейся жизни [92])...

14. Эстетика нигилизма.

Но я уже говорилъ выше, что 60-е годы надо разсматривать (и это въ значительной степени), какъ борьбу съ дворянскимъ строемъ, дворянскими идеями, дворянскимъ направленіемъ вообще. Въ этой борьбѣ есть раздраженіе, злая насмѣшка, месть. Здѣсь отрицательные импульсы вдохновенія.

Дворянство, какъ строй жизни, какъ главный ея устой, въ своемъ протестѣ противъ офиціальной народности привило нашему мышленію идею прекраснаго. Видя въ окружающемъ полное ея противорѣчіе, полную невозможность ея воплощенія, оно отмежевало ей область созерцанія и главною своей цѣлью поставило удаленіе отъ жизненной грязи, задачу сохранить „добро“, истину и красоту внутри себя.

Человѣкъ, „призванный къ жизни и работѣ надъ ней“, не могъ разсуждать такимъ образомъ. Его воля, жажда переустройства, ненависть къ дворянству опредѣлили его отношенія къ эстетикѣ.

Мы уже видѣли, какъ Чернышевскій отводилъ искусству вторую роли цѣнилъ въ немъ лишь напоминаніе „драгоцѣнной дѣйствительности“, и уж ни въ какомъ случаѣ не соглашался промѣнять простую здоровую жизн на созерцаніе [93]).

---

[92]) См. мои „Очерки“.

Еще дальше пошелъ Д. И. Писаревъ, его преемникъ и во многомъ важномъ (кромѣ соціализма) ученикъ...

„Тутъ-то, въ этой самой распластанной лягушкѣ (т. е. въ естествознаніи), говоритъ онъ, и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа".

Отсюда онъ дѣлаетъ дальнѣйшіе выводы въ своей защитѣ реализма (Разрушеніе эстетики, т. IV), написанной по поводу „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности".

„Чернышевскій, говоритъ Писаревъ, вѣрилъ, что эстетика порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность".

„Эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ физіологіи и гигіенѣ".

Истинное и чистое искусство есть чужеядное растеніе, которое постоянно питается соками человѣческой роскоши". „Истинное искусство съ величайшей готовностью превращало себя въ лакея роскоши".

„То обстоятельство, что въ странѣ строилось значительное количество безполезныхъ и великолѣпныхъ зданій, доказываетъ, конечно, что въ данной странѣ были въ данное время такіе люди, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ огромные капиталы. А на этой канвѣ политической и соціальной безалаберщины полная фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогрѣваемая хорошимъ жалованьемъ или страхомъ наказанія, конечно, должна была вышивать самые великолѣпные узоры. Видѣть въ этихъ узорахъ проявленіе народнаго міросозерцанія, а не индивидуальной фантазіи, непозволительно".

Писаревъ, эта поразительно богатая натура, этотъ благороднѣйшій отщепенецъ своей барской среды, этотъ писатель, подчинившійся идеямъ разночинной эпохи и ставшій во главѣ одной изъ ея вѣтвей („эмансипаціи"), вполнѣ согласенъ съ Чернышевскимъ, что „прекрасное въ живой дѣйствительности всегда стоитъ выше прекраснаго въ искусствѣ", и что обязанность искусства „воспроизводить все интересное для человѣка въ жизни, что искусство, въ концѣ концовъ, есть напоминаніе дѣйствительности или пропаганда идей". Во взглядахъ Писарева вы видите преклоненіе передъ естествознаніемъ и широкій демократизмъ. Онъ хочетъ, чтобы искусство проявляло народное міросозерцаніе, служило массѣ.

„Итакъ, по моему мнѣнію, заканчиваетъ онъ, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое

вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ—или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный „рыцарь духа", какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или же ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ—или титанъ, потрясающій горы вѣкового зла, или же козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина".

Таковъ смыслъ „разрушенія эстетики". Я думаю, что мишенью служитъ не искусство собственно, а его соціальныя основанія: роскошь немногихъ, большіе капиталы, сосредоточенные въ отдѣльныхъ рукахъ, зависимость и лакейство художниковъ, непричастность массы къ искусству, ея отчужденіе отъ него [94]).

15. Нигилизмъ и миссія русскаго народа.

Идея русскаго мессіанства, выращенная и всколенная барской средой въ одинаковой степени ея славянофилами и западниками К. Аксаковымъ и А. И. Герценомъ, естественно не пользовалась никакимъ кредитомъ въ 60-е годы. Вспомните, какъ зло смѣялся надъ нею Добролюбовъ въ своемъ „Свисткѣ". Писаревъ изъ своей любимой формулы „мы бѣдны и глупы" выводилъ, что намъ надо учиться. У М. Михайлова и Чернышевскаго мессіанизмъ отразился лишь раціоналистически, какъ признаніе крестьянской общины основой грядущаго коммунизма...

Оно и понятно, потому, во-первыхъ, что мессіанизмъ выросъ и формулировался въ эпоху крѣпостной Россіи; потому, во-вторыхъ, что эта идея опиралась на признаніе нѣкоторой метафизической сущности русскаго народа; потому, наконецъ, что при взглядѣ на человѣка, какъ на развитое животное, на „потомка геніальной обезьяны", смѣшно даже говорить объ особенностяхъ русскаго человѣка.

Нигилизмъ космополитиченъ. Наука, знаніе, личность — вотъ единственное, чему онъ поклоняется. Но эти начала не знаютъ народности.

---

[94]) Еще: сколько краснваго возлѣ могилы, въ развалинахъ, въ гордой и самоувѣренной жестокости „бѣлокураго звѣря"! Въ глубинѣ эстетическаго воспріятія очарованіе граціи, силы, свободы, никакъ не любви и жалости. Это совсѣмъ другая категорія, чѣмъ категорія добра и зла. А въ нашемъ „нигилизмѣ" скрытое подвижничество, альтруизмъ, жажда помочь массѣ и постоянная дума о ней. Эстетика обязательно шла на смарку [95]).

[95]) На самомъ дѣлѣ не утеряно-ли нами величайшее изъ искусствъ—искусство жить?

Станете ли вы ему говорить о „чудной“ силѣ русскаго народа, онъ разсмѣется въ отвѣтъ.

Онъ отвѣтитъ вамъ цитатами изъ „Свистка“, сдѣлаетъ язвительную вылазку въ сторону „допотопныхъ“ взглядовъ славянофильства, или выскажетъ мысли, развитыя потомъ въ дѣйствительно замѣчательной книгѣ Щапова: „Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа“.

Это въ самомъ дѣлѣ любопытная книга, своего рода квинтъ-эссенція реализма.

Щаповъ видитъ въ русской жизни выраженіе низшаго типа, низшей культуры. Въ своемъ доисторическомъ періодѣ русскіе люди исключительно питались рыбою, и Щаповъ, вооруженный естествознаніемъ, дѣлаетъ отсюда очень нелестные для насъ выводы. Онъ подтверждаетъ свои взгляды измѣреніями череповъ XII-го или XIII-го столѣтій...

„Его книга есть исторія русскаго мозга и русскихъ нервовъ и, въ связи съ этимъ, исторія развитія изъ непосредственныхъ впечатлѣній отвлеченныхъ понятій реалистическаго характера. Авторъ видитъ въ русской исторической жизни рѣшительное преобладаніе непосредственныхъ впечатлѣній и необыкновенно медленное развитіе понятій отвлеченныхъ, общихъ началъ“.

Наше историческое (доисторическое — рыба) горе въ томъ, что отрѣзанные отъ классическаго міра и его великой цивилизаціи, мы подчинились византійскому вліянію, византійской схоластикѣ, нудному цезареопапистическому строю Византіи. Петръ I великъ, какъ раціоналистъ, какъ двигатель реальныхъ знаній. Но мы, не слѣдуя его завѣтамъ, малы.

Мы все еще хотимъ обособиться. Куда? Въ византизмъ? Щаповъ говоритъ о немъ съ ненавистью. Мы все еще считаемъ себя „избранными“. И это при нашемъ невѣжествѣ, при отсутствіи общихъ идей, при чертахъ низшаго типа.

У насъ, думаетъ Щаповъ, одна дорога: на Западъ, въ его науку, въ его реальную мысль, въ его отреченіе отъ мистики.

16. Тупики нигилизма.

Былъ, однако, непродолжительный періодъ, когда нигилизмъ дошелъ до подобострастія естествознанію, до фатализма, до полнаго отчужденія отъ массы, и сталъ говорить лишь о физіологическихъ потребностяхъ.

Это уже конецъ 60-хъ годовъ, періодъ непродолжительный, какъ бы дремота мысли передъ наступавшимъ народническимъ экстазомъ. Но все же онъ былъ...

Нигилизмъ сгорѣлъ скоро. Дѣйствіе „Отцовъ и дѣтей", слова Базарова относятся, по обозначенію Тургенева, къ 1859 году; дѣйствіе „Нови", гдѣ на сценѣ совсѣмъ другія лица и совсѣмъ другія дѣла, гдѣ все уже полно призывомъ „въ народъ", — къ 1868-му. Остальныя данныя подтверждаютъ эти цифры.

Нигилизмъ катился съ высокой горы. Онъ началъ съ мечты о новомъ обществѣ, о новомъ человѣкѣ. И новое общество и новаго человѣка онъ понималъ, какъ только что родившееся, не связанное ни преданіями, ни традиціей, ни вѣками исторической жизни. Въ его глазахъ они были чистыми листами бумаги, на которыхъ разумъ, здравый смыслъ, естествознаніе, система Фурье, больше всего самъ человѣкъ могли написать все, что нужно для прогресса. Будущее одинаково представлялось чистымъ листомъ бумаги. Отъ Чернышевскаго и Писарева нигилизмъ докатился до грубаго нравственнаго матеріализма, упалъ въ него, въ идолопоклонство передъ Молешоттомъ и Дарвинымъ. Онъ зналъ свои развѣтвленія, въ которыхъ мысль человѣка доходила до тупика.

Нигилизмъ, говорю я, катился съ высокой горы. У Чернышевскаго онъ былъ осложненъ заботами объ общинѣ, мечтами о крестьянскомъ царствѣ, глубокими подвижническими инстинктами его натуры. Писаревъ былъ, правда, совершенно равнодушенъ къ народу; но онъ ограничивалъ свое отрицаніе наукой, демократизаціей просвѣщенія, своеобразнымъ рыцарствомъ въ проповѣди популярнаго естествознанія. Дальше все проще, меньше, уже... Вспоминая объ этихъ тупикахъ нигилистической мысли, г. Михайловскій пишетъ:

„Въ романахъ и романсахъ говорилось о пламенной любви, преданности, глубокомъ уваженіи... о великомъ значеніи женщины по части смягченія нравовъ... Мы не замедлили развѣять слащавый идеализмъ, окружавшій женщину фальшивымъ ореоломъ, и якобы реалистическая формула: любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ—восторжествовала для многихъ".

„Искусство есть обособленный отъ жизни и возвышающійся надъ нею міръ чудныхъ звуковъ и прекрасныхъ образовъ, въ которыхъ человѣкъ долженъ находить отдохновеніе отъ жизненной грязи. Такъ смотрѣли и практиковали наши отцы... Мы предлагали художнику обратиться въ фотографическій аппаратъ".

„Нравственно все, что естественно; человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ. Законы исторіи непреоборимы: человѣкъ есть животное. Вотъ еще рядъ краткихъ формулъ, къ которымъ мы пришли"... [96]).

[96]) Н. К. Михайловскій, „Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ" (т. I и II-ой п. с. с.)

Это тупики нигилистической мысли. Къ нимъ привели духъ противорѣчія, травля со стороны всѣхъ осторожныхъ и благонамѣренныхъ, „удаль“ русскаго ума, никогда не чувствующаго подъ собой исторической основы и уваженія къ прошлому, жажда умственнаго разгула послѣ столькихъ стѣсненій, жажда разгула вообще и, быть можетъ, отчаяніе...

Не спорю, оно не всегда и не вездѣ. Разрушеніе эстетики, авторитетовъ и Пушкина (или Лермонтова) производилось съ веселіемъ духа, что видно хотя бы изъ писемъ Писарева. Но вѣдь не было же это сплошнымъ карнаваловъ. Во имя Молешотта и Дарвина часто отрывалось отъ сердца самое дорогое. Натуры подвижническія, полныя жажды самоотверженія, грубо говорили, что „жертва — это сапоги всмятку“. Глубочайшія стыдливость и цѣломудріе прятались подъ ясной и короткой формулой, что любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ. Люди, готовые итти на костеръ и на плаху, только ждавшіе „слова“, которое вывело бы ихъ изъ растерянности, утверждали, что человѣкъ есть животное. И мы знаемъ этихъ людей, знаемъ ихъ даже по свидѣтельству враговъ. Какъ разъ такія лица попадаются даже въ „дикихъ“ романахъ Лѣскова (напр., дѣвица Ванскокъ въ „Некуда“), чтобы не ходить далеко за примѣрами. Отрицаніе вообще вещь тяжелая и мучительная. Когда оно искренно, оно своего рода подвигъ: глубокія натуры, вступившія на его путь, въ большинствѣ случаевъ погибли.

Винить людей нечего. Надо поискать въ жизни тѣхъ условій, которыя обращаютъ просвѣтительное движеніе въ нигилизмъ и заставляютъ бѣдную человѣческую мысль, жаждущую простора и свободы, вгонять себя въ тиски короткихъ и ясныхъ формулъ. Была, очевидно, полоса, когда не за что было ухватиться, когда сама жизнь ударилась или собиралась удариться въ тупикъ. И тутъ печаль и отчаяніе забрались въ душу людей. И они хватились за „отрицаніе всего“, стараясь грубостью словъ заглушить естественное сожалѣніе, разочарованіе. Они обманывали себя, что все такъ просто и ясно: ихъ собственная неудовлетворенность лучше всего показывала, что нѣтъ ничего простого и яснаго.

17. Соціализмъ и народничество 60-хъ годовъ.

Я разсмотрѣлъ нигилистическое теченіе мысли. Я хотѣлъ показать, что въ немъ гораздо больше реализма и отрицанія русской офиціальной жизни, чѣмъ нигилизма, т. е. отрицанія вообще. Одно признаніе науки, хотя бы въ формѣ естествознанія и статистики и свободы личности, освобождаетъ нашъ нигилизмъ отъ излишнихъ упрековъ. Въ немъ нѣтъ самодовольства, есть сознаніе, что жизнь — въ перемѣнѣ, въ движеніи...

Но рядомъ съ нигилизмомъ, то враждуя, то мирно уживаясь въ

одной и той же статьѣ и въ одномъ и томъ же человѣкѣ (прежде всего, Чернышевскомъ), то уступая его молодому натиску, то побѣждая его своею суровостью, глубиною своего нравственнаго содержанія,—жили и нашъ соціализмъ и наше народничество.

Ихъ почва—уже раньше узаконенное, раньше формулированное отношеніе къ народу.

Выдвигая на первый планъ освобожденіе личности вплоть до анархіи, нигилизмъ порою, напр., у Писарева, былъ склоненъ забывать о крестьянской массѣ. Онъ говорилъ объ обществѣ, образованіи, развитіи вообще, но не о мужикѣ. Мужикъ не былъ для него интересенъ, онъ не питалъ къ нему „спеціальныхъ“ чувствъ. Онъ просто видѣлъ въ немъ человѣка, котораго надо учить, чтобы онъ былъ умнѣе и богаче. Главный врагъ Писарева, какъ и нигилизма вообще, это предразсудки, переживанія, невѣжество.

Боевое настроеніе личности, несомнѣнно, заглушало мотивы „служенія“. Однако, рядомъ съ „Русскимъ Словомъ“ существовалъ „Современникъ“. Рядомъ съ вліяніемъ Писарева и Зайцева вліяніе Герцена, Добролюбова, М. Михайлова.

Конечно, и они за личность, за ея свободу, даже за естествознаніе. Но прежде и больше всего за счастье народа.

Они думали, что свобода личности и счастье народа развиваются тѣмъ же путемъ, что здѣсь нѣтъ противорѣчія. Все, что личность пріобрѣтаетъ для себя, все это она отдастъ народу. Мало того, она должна отдать народу.

Въ суровой подвижнической натурѣ Добролюбова идея долга, хотя и не называемая имъ, нашла своего жреца. Онъ говоритъ даже о религіи, т. е. о самомъ дорогомъ для человѣка дѣлѣ, ради котораго тотъ готовъ отдать свою жизнь. Это дѣло — счастье людей. Наиболѣе яркими своими статьями, какъ „Темное царство“ и „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“, педагогическими замѣтками онъ служилъ первымъ интересамъ времени: борьбѣ съ патріархальнымъ строемъ, освобожденію личности; но онъ мѣтилъ дальше — въ соціализмъ, ибо такъ глубоко, какъ немногіе, понималъ онъ весь ужасъ экономической зависимости человѣка, этого новаго рабства. Онъ былъ противъ всякой идеализаціи народа, но еще болѣе противъ его униженія. Онъ видѣлъ въ немъ великую, несомнѣнную возможность, которой европейская наука и европейская гражданственность помогутъ перейти въ дѣйствительность. Кажется, наиболѣе полно онъ высказался съ слѣдующихъ строкахъ:

„Народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и (прежде всего) слѣдуетъ строго различать въ немъ

Андреевичъ.

послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсѣмъ не заглохли, какъ многіе думаютъ".

„Съ довѣріемъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно (т. е. безъ промежуточнаго помѣщичьяго слоя), чтобы вызвать на живое дѣло крѣпкія свѣжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому онѣ такъ часто подвергаются при современномъ порядкѣ вещей"...

Все это очень обычныя рѣчи для любого „просвѣтителя" 60-хъ годовъ. Только въ подчеркнутыхъ мною словахъ („если еще не больше") видна особая симпатія Добролюбова къ народу, которая, впрочемъ, находитъ свое естественное объясненіе въ глухой его ненависти къ барству. Чего хотѣлъ онъ для народа? Освобожденія отъ крѣпостной зависимости, прежде всего, полноты человѣческаго развитія, а дальше соціалистическаго устройства. Припомните его горячую статью о Робертѣ Оуэнѣ, взгляды и программы котораго онъ такъ горячо рекомендуетъ; вспомните, что вѣнцомъ человѣческихъ усилій онъ ставитъ задачу, „чтобы всѣмъ было хорошо", чтобы каждый человѣкъ былъ призванъ къ разумному, производительному труду, чтобы все общество организовалось въ рабочую ассоціацію. Единственное условіе счастья личности онъ видѣлъ въ счастьи всѣхъ.

Чернышевскаго народники считаютъ обыкновенно своимъ духовнымъ отцомъ. Это справедливо, хотя онъ и слишкомъ раціоналистъ для этого. Онъ гораздо больше говоритъ о невѣжествѣ народа, о его духовной темнотѣ, чѣмъ о его страданіяхъ и о его величіи. Въ немъ нѣтъ и слѣда покаяннаго настроенія, мысль о расплатѣ за прошлые грѣхи не смущаетъ его. Совершенно просто смотритъ онъ на дѣло: онъ видитъ передъ собой огромную массу народа, правда, темную, но въ жизни которой есть такіе уклады, какъ община, міръ, воззрѣнія на земельную собственность, которые, если ими только воспользоваться, могутъ послужить основаніемъ для будущаго соціалистическаго „царства здѣсь на землѣ".

Его защита „общины" и освобожденія крестьянъ съ землей (конечно, не въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ оно совершилось) очень вліятельная страница нашей литературы. Община имѣетъ въ его глазахъ абсолютную цѣнность. Это не только обезпеченіе отъ пролетаріата, но и переходъ въ новую жизнь, гдѣ нѣтъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни частной собственности, ни насилія или эксплоатаціи. Община это преддверіе къ фаланстеру Фурье.

„Дайте намъ, говорилъ онъ, такой бытъ, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы занимать положеніе поселянина собствен-

ника, или другое положеніе равнозначительное ему, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы работать дѣйствительно въ свою пользу".

Онъ требовалъ этого какъ „первую ступень", но, вдумавшись даже въ эту первую ступень, вы увидите, что требованіе громадно. Очевидно, предполагается созданіе такого огромнаго земельнаго фонда, откуда каждый могъ бы получить свой участокъ, или, попросту, предполагается націонализація земли. Изъ этой же программы ясно, что соціализмъ въ Россіи представлялся Чернышевскому какъ земледѣльческій, прежде всего. На самомъ дѣлѣ, онъ рѣшительно высказывается противъ всякаго обмѣна. Его мечта и вѣра въ томъ, что Россія можетъ обойтись безъ капиталистической стадіи развитія, которая, кромѣ вреда, истощенія народа и земли, ничего принести съ собою не можетъ[97]).

Это одинъ изъ догматовъ народничества.

Но, повторяю, у Чернышевскаго оно очень раціоналистично. Въ немъ мало „специфическаго". Нѣтъ невѣрія въ Западъ, нѣтъ голоса совѣсти, нѣтъ культа мужика. Чернышевскій прежде всего интеллигентъ. Онъ знаетъ, что мужикъ недалеко ушелъ отъ первобытнаго состоянія. Онъ одобряетъ разсказы Н. Успенскаго. Онъ смѣется надъ „пряничными" мужиками Тургенева и Григоровича. Онъ стоитъ во главѣ народничества, больше всего благодаря признанію общины; кромѣ того, его нравственныя качества, его судьба, его подвижничество сближаютъ его съ героями слѣдующей эпохи.

18. Подготовка народничества собственно.

Представителемъ народничества въ эту эпоху остается, въ сущности, Герценъ, и довольно неожиданно звучатъ его излюбленные мотивы у близкаго къ Чернышевскому человѣка, М. Михайлова.

Нервно, съ явной ненавистью ко всѣмъ врагамъ русскаго соціализма развиваетъ Михайловъ[98]) свой взглядъ...

„Въ послѣднее время, писалъ онъ, расплодилось у насъ много преждевременныхъ старцевъ, жалкихъ экономистовъ, взявшихъ свой теоретическій опытъ изъ нѣмецкихъ книжекъ.

Хотятъ сдѣлать изъ Россіи Англію и напитать насъ англійскою зрѣлостью. Но развѣ Россія по своему географическому положенію, по своимъ естественнымъ богатствамъ, по почвеннымъ условіямъ, по количеству и качеству земель имѣетъ что-нибудь общее съ Англіей? Развѣ англичане на русской землѣ вышли бы тѣмъ, чѣмъ они вышли

---

[97]) Рѣзкую критику капиталистическаго хозяйства Ч. далъ въ своихъ дополненіяхъ и примѣчаніяхъ къ политической экономіи Милля.

[98]) Товарищъ Чернышевскаго по „Современнику" и каторгѣ.

на своемъ островѣ? Мы уже довольно были обезьянами англичанъ (!). Нѣтъ, мы не хотимъ англійской экономической зрѣлости, она не можетъ вариться русскимъ желудкомъ.

Нѣтъ, нѣтъ, нашъ путь иной,
И крестъ не намъ нести.

Пусть несетъ его Европа.

Да и кто можетъ утверждать, что мы должны итти путемъ Европы, путемъ какой-нибудь Саксоніи или Англіи, или Франціи, кто беретъ на себя отвѣтственность за будущее Россіи? Кто можетъ сказать, что онъ умнѣе 60-ти милліоновъ, умнѣе всего населенія страны, что онъ знаетъ, что ей нужно, что онъ приведетъ ее къ счастью? Гдѣ та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взглядъ безошибоченъ? По крайней мѣрѣ, мы не знаемъ такой науки. Мы знаемъ только, что Гнейсты, Роберты Моли, Рау, Рошеры раскапываютъ навозныя кучи, и гниль прошедшихъ вѣковъ хотятъ сдѣлать закономъ для будущаго. Пусть этотъ законъ будетъ ихъ закономъ; а мы для себя попытаемся поискать другой... Мы не только можемъ, мы должны притти къ другому. Въ нашей жизни лежатъ начала, вовсе неизвѣстныя европейцамъ. Нѣмцы увѣряютъ, что мы придемъ къ тому же, къ чему пришла Европа. Это ложь. Мы можемъ точно притти, если надѣнемъ на себя петлю европейскихъ учрежденій и ея экономическихъ порядковъ; но мы можемъ притти къ другому, если разовьемъ тѣ начала, какія живутъ въ народѣ.

Мы народъ запоздалый, и въ этомъ наше спасеніе. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ея несчастіе, ея безвыходное положеніе урокъ для насъ. Мы не хотимъ ея пролетаріата, ея аристократизма, ея государственнаго начала.

Мы похожи на новыхъ поселенцевъ; намъ ломать нечего. Оставимте наше народное поле въ покоѣ, какъ оно есть; на немъ нужно выполоть ту негодную траву, которая выросла изъ сѣмянъ, налетѣвшихъ къ намъ съ нѣмецкими идеями объ экономизмѣ и государствѣ“... (1861 г.).

Эта нѣсколько длинная выписка вплотную подходитъ къ позднѣйшему народничеству. Характеренъ даже грубоватый тонъ Михайлова, который нашелъ, все равно какъ и его взгляды, дальнѣйшее свое развитіе въ статьяхъ Г. Елисѣева.

Мысль о нашемъ особомъ пути, эта излюбленная мысль славянофиловъ, лежитъ, какъ видно, въ самыхъ истокахъ нашего на-

родническаго движенія. „Пусть этотъ законъ будетъ нхнимъ закономъ", не безъ чувства гордой удовлетворенности говоритъ Михайловъ, а мы для себя попытаемся поискать другой. Любопытны одинаково выраженія: „пусть несетъ крестъ Европа", „петля европейскихъ учрежденій". или, что „мы народъ запоздалый, и въ этомъ наше спасеніе". и т. д.

Теоретическая мысль народниковъ рѣдко шла дальше подобныхъ фразъ.

Соціализмъ въ эти дни понимался, прежде всего, какъ фурьеризмъ. Оттого-то Чернышевскій могъ такъ свободно дѣйствовать на оба фронта: провозглашать полную свободу личности и организацію производства.

Это опять утопическій соціализмъ. Его путь—путь немедленнаго полнаго обновленія жизни. Это обновленіе должна была произвести интеллигенція и народныя массы.

Но неужели это представлялось такимъ легкимъ дѣломъ? Легкимъ — нѣтъ, но осуществимымъ и возможнымъ — да. Въ легкомысліи ни Чернышевскаго, ни Михайлова, ни Добролюбова обвинять нельзя Они не авантюристы, не бреттеры. Въ Добролюбовѣ столько же скептицизма, сколько вѣры.

Не надо обманывать себя внѣшностью, особенно внѣшностью статей Чернышевскаго или Михайлова. Ихъ торжествующій тонъ — это призывъ къ борьбѣ, радость побѣды (потому что побѣда надъ старымъ дѣйствительно б ы л а), „ура" при штурмѣ крѣпости и при паденіи такихъ устоевъ, какъ крѣпостное право.

Но предстояла задача обезпечить счастье народа. Тутъ не до жизнерадостности, не до личнаго счастья и свободной любви. Все это, во всякомъ случаѣ, откладывается до наступленія н а с т о я щ а г о дня. П о к а же подвигъ, суровыя лишенія, и вотъ загнанныя слова „долгъ", служеніе, самоотверженіе подъ другимъ видомъ возвращаются въ литературу.

Въ знаменитомъ романѣ Ч-аго „Что дѣлать" есть суровая, стоящая въ сторонѣ фигура Рахметова. Это юноша, богатый п о м ѣ щ и к ъ, который живетъ, однако, какъ чернорабочій и готовится къ большому дѣлу, великому подвигу [99]).

Рахметовъ не дѣйствующее лицо въ романѣ, или, лучше сказать, все его „дѣйствіе" ограничивается тѣмъ, что онъ говоритъ съ Вѣрой Павловной, съѣдаетъ кусокъ ветчины, выкуриваетъ сигару и ложится спать. Однако (съ добавленіями изъ случаевъ его прошлой

[99]) К. Головинъ, „Русскій романъ".

жизни), онъ производитъ впечатлѣніе человѣка, неизмѣримо болѣе сильнаго, чѣмъ всѣ его окружающіе. Это человѣкъ долга, идеи, воля котораго настолько сильна, что сумѣла претворить этотъ долгъ въ свою вторую натуру. Настоящимъ Рахметовъ не живетъ, онъ весь въ будущемъ — въ служеніи народу, къ которому и готовится, какъ къ схимѣ или постриженію. Пока онъ самъ считаетъ себя на положеніи послушника, и лишь закаляетъ свою душу и тѣло. Естественно, что онъ аскетъ, ѣстъ случайно и наскоро, какъ въ походѣ, спитъ на доскѣ, утыканной гвоздями, съ какимъ-то наслажденіемъ вырывая изъ себя всѣ остатки барства. Но это совсѣмъ не значитъ, что онъ стремится къ состоянію полнаго безразличія. Напротивъ, онъ живой человѣкъ, который не только понимаетъ, но и любитъ всѣ радости бытія, но только онѣ „не для него“.

Рахметову почти нѣтъ дѣла до окружающей его жизни. Если онъ вмѣшивается въ нее, то развѣ какъ большой и взрослый въ дѣтскую игру, и ласково, слегка насмѣшливо смотритъ на всѣ эти перипетіи влюбленности, жизни сердца, маленькихъ просвѣтительныхъ предпріятій. Онъ давно уже пережилъ все это, давно уже понялъ, что картонныя лошади бѣгать сами не могутъ; но онъ, по высшей своей деликатности, никого не разочаровываетъ и таитъ про себя свое знаніе и мысли.

Его время еще не пришло, но оно близко, и, чувствуя всѣмъ своимъ существомъ его наступленіе, онъ всячески готовится, чтобы достойно встрѣтить его. Ему ясно, что быстро спадетъ волна приподнятаго общественнаго настроенія, что замолкнетъ веселый и бодрый смѣхъ людей, радующихся тому, что они „эмансипировались“, что страданія и нищета массы призовутъ къ себѣ на Голгоѳу.

Пока онъ въ сторонѣ. То мы видимъ его на Волгѣ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ бурлаками подъ именемъ Никитушки Ломова, тянетъ лямку, не давая себѣ никакихъ послабленій; то въ столицѣ, гдѣ онъ учится, пріучаетъ себя къ выносливости и пыткамъ ради все того же будущаго.

Рахметовъ — это крупная фигура и крупное предчувствіе. Создавъ его, Чернышевскій проявилъ, несомнѣнно, нѣчто большее, чѣмъ полемическое остроуміе, критическое чутье, діалектическую ловкость — онъ угадалъ и усмотрѣлъ нарожденіе новаго человѣка, новой полосы общественнаго развитія, наступленіе которой жизнь отсрочила, однако, почти на 10 лѣтъ. Это потому, конечно, что Рахметовъ жилъ въ немъ самомъ [100]).

---

[100]) Съ огромнымъ художественнымъ тактомъ и огромною проницательностью

Рахметовъ — подвижникъ и герой. Герой не въ смыслѣ главнаго лица и руководителя, а человѣка, который сознательно беретъ на себя грѣхи и страданія ближнихъ. Нѣкоторыя черты его характера — лучшій ключъ къ пониманію „тревожной“ эпохи народничества. Между прочимъ, какъ я говорилъ, ему пришла фантазія спать на доскѣ, утыканной гвоздями. На вопросъ, зачѣмъ онъ это дѣлаетъ, Рахметовъ застѣнчиво и нехотя объяснялъ: „можетъ быть, пригодится“... Ему-то, навѣрное, пригодилось.

Что вдохновляетъ Рахметова, ясно, несмотря на всю скупость его словъ. Это, разумѣется, не подвижничество ради подвига, не аскетизмъ ради усмиренія плоти. Самъ помѣщикъ и сынъ помѣщика, Рахметовъ ищетъ расплаты съ народомъ за долгую жизнь поколѣній на счетъ мужицкаго труда и счастья, ищетъ искупленія. Это герой „возмущенной совѣсти“; онъ уже слышитъ призывъ на Голгоѳу, потому что эта Голгоѳа въ немъ самомъ. Вмѣстѣ съ этимъ, народная жизнь разгорѣлась въ его глазахъ яркимъ, ослѣпительнымъ свѣтомъ высшей правды. Униженная, задавленная непосильнымъ бурлацкимъ трудомъ, каждую минуту оскорбляемая, она стоитъ передъ нимъ въ ореолѣ смиренія и святости, и онъ не знаетъ той жертвы, которую можно было бы пожалѣть ради нея...

Въ центрѣ самосознанія 60-хъ годовъ мысль, что мы бѣдны и глупы. Бѣдны и глупы потому, что лѣнивы, невѣжественны, а главное потому, что рабы. Мы рабы патріархальнаго строя своей жизни, рабы бюрократіи, собственныхъ предразсудковъ.

Самой жизнью, правительствомъ, интеллигенціей былъ поставленъ вопросъ: какъ увеличить производительность народнаго труда и труда отдѣльныхъ лицъ?

Этой цѣли служило и освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной кабалы, и кое-какое обезпеченіе отъ произвола, и воскресныя школы, и... проповѣдь фурьеризма. Несмотря на все разнообразіе теченій, на разные кривые пути мысли и преобразованій, все стихійно стремилось къ этой цѣли. Нѣкоторые моменты эпохи поражаютъ своимъ единствомъ и стройностью.

Люди жили съ открытыми глазами. Русская дѣйствительность представлялась имъ во всемъ ея ужасѣ, невѣжествѣ, безобразіи насилія и произвола. Они не скрывали отъ себя истинныхъ размѣровъ предстоящаго имъ дѣла. Они знали, что мы бѣдны и глупы, а „мы“ — это 60 милліоновъ людей. И они стремительно шли къ своей

Чернышевскій сдѣлалъ изъ Рахметова дворянина. Въ этой фигурѣ, хотя и неясно, какъ бы въ облакѣ, психологія покаянія и подвижничества.

цѣли, забѣгая мыслью за вѣка впередъ. Они переоцѣнивали силу разума, науки, естествознанія, но предъ глазами проницательнѣйшихъ изъ нихъ, несмотря на проповѣдь „эгоизма", достиженіе „настоящаго" для Россіи дня уже представлялось какъ подвигъ.

Они хотѣли учиться и учить, хотѣли работать съ возможной экономіей силъ, съ возможной производительностью труда. Они поняли, что хорошо трудиться можетъ только свободный, жизнерадостный человѣкъ, который знаетъ, для чего и во имя чего онъ работаетъ.

Они оцѣнили жизнь и радость жизни, уважали человѣка. Онъ представлялся имъ устроителемъ своей судьбы, источникомъ всего разумнаго и прекраснаго. И они стремились освободить его отъ всего внѣшняго: власти исторіи, гнета патріархальнаго строя, политической безправности экономической кабалы, самодурства во всемъ его разнообразіи.

Много боевого, много вызывающаго было въ ихъ настроеніи. Они боролись, какъ умѣли, со всѣмъ, что носило печать мистицизма, религіознаго правовѣрія. Только разумное имѣетъ право на существованіе, только земныя цѣли должны имѣть въ виду люди, только къ земному счастью должны они стремиться.

Они вѣрили въ разумъ, науку, возможность земного счастья всѣхъ людей.

Эпоху 60-хъ годовъ можно назвать вѣкомъ нашего просвѣщенія. Правда, вѣкъ былъ не дологъ и просвѣщеніе поверхностно, но ничего другого и нельзя было ожидать въ Россіи съ 60-ю милліонами вчерашнихъ рабовъ. Какъ бы то ни было, критическая работа, пересмотръ всего прошлаго съ точки зрѣнія разума были рѣшительны.

Въ господствующихъ мысляхъ чувствуется здоровая прямолинейность, душевная бодрость. Того покровительственнаго гуманизма, соединеннаго съ нѣкоторой сантиментальностью, который выработала литература дореформенной Россіи, нѣтъ на сценѣ. Они понимали, что народъ дикъ и ему неоткуда было взять ни ума ни добродѣтелей. Призывовъ къ жалости, состраданію мы одинаково почти не находимъ. Надо не жалѣть, а поднимать до себя. Надо разумно перестроить жизнь, чтобы некого было жалѣть. Это возможно, достижимо, это нужно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда жалость выступала на сцену, ея мотивы такъ перемѣшивались съ мотивами негодованія, злобы, мстительнаго настроенія, что заглушались ими и не производили свойственнаго эффекта. Одинаково ни о какомъ покаяніи не могло быть и рѣчи, ни о какихъ угрызеніяхъ совѣсти, ибо не въ чемъ было каяться и не за что было грызть себя.

Мужика не „жалѣли", искали правды о его жизни и вмѣстѣ съ Некрасовымъ говорили, что въ народѣ надо сѣять „разумное, доброе, вѣчное"...

Я уже сказалъ выше, что психологія эпохи есть прежде всего психологія волп, активности. Вѣра въ прогрессъ и разумъ стояли на первомъ планѣ. Отсюда эти простыя теоріи, эта простая философія, стремительныя и краткія формулы, ненависть къ схоластикѣ, метафизикѣ и всему мистическому. Въ идеалѣ богатой, умной, свободной Россіи воля находила свое положительное опредѣленіе. Въ ненависти къ патріархальной, крѣпостной и дворянской Россіи — отрицательное.

Мы знаемъ, что эпоха продержалась недолго. Послѣ первыхъ же реформъ поднялись трусливые голоса и стали пугать государство нигилизмомъ, революціей, анархіей. Возникновеніе „молодой Россіи", пожары въ Апраксиномъ рынкѣ, въ которыхъ видѣли проявленіе терроризма, процессы Михайлова и Чернышевскаго, а главное, возстаніе поляковъ какъ бы подтверждали опасеніе, не слишкомъ ли далеко зашли мы, не распустили ли мы неблагонадежные элементы... Эти намеки и жалобы дѣлали свое дѣло, а послѣ 63-го года реакція полностью завладѣла положеніемъ.

Это было слишкомъ нетрудно при 60-ти милліонахъ вчерашнихъ рабовъ.

Но все же общимъ планомъ своимъ, общимъ построеніемъ своей мысли и своихъ стремленій эпоха 60-хъ годовъ подкупаетъ насъ. Своей вѣрой и бодростью, опредѣленностью желаній, своей формулой, что сила человѣка въ знаніи и разумной работѣ, своей вѣрой въ человѣка она ярко выдѣляется на общемъ сѣромъ фонѣ нашего прошлаго.

Мы хотѣли быть сильными, хотѣли власти надъ жизнью[101]).

[101]) Я позволю себѣ въ заключеніе прибавить нѣсколько штриховъ страничкой изъ своихъ воспоминаній: въ ней, кажется, вырисовывается нѣчто среднее изъ разнообразныхъ движеній 60-хъ годовъ, культурническое и сдѣлавшее свое дѣло.

...„Былъ я недавно у одного человѣка, почтеннаго и занимающаго почтенное мѣсто по выборамъ. Какъ-то случайно разговорились все на ту же тему—о взаимномъ непониманіи отцовъ и дѣтей. Вспомнили Салтыкова, его „Больное мѣсто" и „Господъ Молчалиныхъ", вспомнили Шелгунова, и пришли къ печальному выводу, что иначе не можетъ и быть въ нашей русской жизни съ ея своеобразной логикой, ея китайской общественностью и самыми послѣдними европейскими идеями.

— Но вѣдь этого могло и не быть, сказалъ мой собесѣдникъ, и тутъ же вытащилъ изъ ящика письменнаго стола пачку пожелтѣвшихъ писемъ и разложилъ предо мной.

Я сталъ разсматривать.

Каждое письмо начиналось обращеніемъ „Дорогой Миша", было помѣчено разными числами 61-го, 62-го, 63-го годовъ и заканчивалось подписью „твой отецъ".

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Народничество 70-хъ годовъ.

1. 70-е годы. Лозунгъ эпохи.—2. Литература и капитализмъ. Первыя стычки.—3. Народничество первой половины 70-хъ годовъ.—4. Еще борьба съ западомъ.—5. „Кающійся дворянинъ“ и идея расплаты съ народомъ.—6. Обращеніе къ мужику и природѣ.—7. Община и культъ народа.—8. Идея личности.

1. 70-е годы. Лозунгъ эпохи

Лозунгомъ эпохи были слова: „въ народъ!“ И подъ знакомъ этого лозунга разыгрался послѣдній актъ разсказанной мною выше „драмы русскаго барства“.

...„Шли къ мужику, раздавали свое имѣніе, надѣясь обновить себя, успокоить встревоженную совѣсть, отрѣшиться отъ „проклятаго“

—Это къ вамъ?

— Да. Я родился въ 60-мъ году. Отецъ писалъ мнѣ письма, когда мнѣ было одинъ, два, три года. Я прочелъ ихъ, конечно, гораздо позже, 18-ти лѣтъ, но писались они именно въ тѣ числа и годы, какими помѣчены.

— Что-нибудь въ родѣ завѣщанія?

— Пожалуй... Во всякомъ случаѣ, эти письма въ моей личной жизни сдѣлали совершенно невозможной драму „Отцовъ и дѣтей“.

— Любопытно...

Это цѣлая литература. Здѣсь одинъ изъ скромныхъ работниковъ 60-хъ годовъ, какъ онъ самъ себя называетъ, одинъ изъ помощниковъ Заруднаго, одинъ изъ скромныхъ авторовъ „Судебныхъ уставовъ 64-го года“ разсказываетъ своему сынишкѣ, только что родившемуся, потомъ только что начинавшему лепетать, ползать, ковылять на своихъ толстыхъ ножонкахъ, что имъ сдѣлано и что онъ хочетъ сдѣлать еще для „упроченія правды и милости въ русскихъ судахъ“.

Удивительно все просто, дѣловито, точно, но съ какой-то огромной, скрытой въ словахъ и тонѣ писемъ, силой надежды, вѣры и убѣжденности. Мало краснорѣчія, лиризма, внѣшней красивости, но зато цѣлыя страницы разсужденій—и самыхъ обстоятельныхъ: почему именно сдѣлано то-то, а не другое. Въ каждой строкѣ слышится прямо подавляющая увѣренность, что вотъ именно это-то и нужно, что вотъ это-то и есть самое главное, безъ чего Россія не можетъ обойтись ни одного дня больше.

Человѣкъ, авторъ этихъ писемъ, очевидно, не только состоялъ при большомъ

царства, а потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, тѣмъ напряженнѣе шли къ мужику осуществить идеалъ крестьянскаго царства. На мужика надѣялись, его идеализировали, считали его носителемъ не только „зоологической правды"—правды, выработанной властью земли и вѣками общинной жизни, но правды вообще, способной обезпечить счастье всѣхъ. Но мужикъ спалъ и спалъ глубоко въ какой-то одури отъ своего труда

дѣлъ, но жилъ этимъ казавшимся ему большимъ дѣломъ и радовался каждому его шагу. Всю душу, всю свою гордость, честолюбіе, весь свой идеализмъ вложилъ онъ въ него и эти чувства постарался передать своему сыну.

Желтые листки, пожелтѣвшія страницы, выцвѣтшія чернила... но сколько во всемъ этомъ настоящей живой жизни, заправскаго вдохновенія не своимъ, а огромнымъ общественнымъ дѣломъ. Изъ-подъ тяжести цѣлаго минувшаго сорокалѣтія и его гробовой плиты, столько задавившей, ключемъ бьетъ гордая вѣра въ науку, знаніе, въ возможность для человѣка разумно и справедливо устроить свою неразумную, несправедливую жизнь. Здѣсь вдохновеніе, призывной и торжествующій колокольный звонъ, радостная мысль, что правда и милость воцарятся въ судахъ, что всѣ эти кляузы, волокиты, взяточничество, заставившія поэта воскликнуть о Россіи: „въ судахъ черна неправдой черной", всѣ эти „Ябеды", эти унылыя поговорки: „что три раза погорѣть—одинъ разъ посудиться",—отойдутъ въ область преданія и уже дѣтямъ будутъ казаться тяжелымъ сномъ, кошмаромъ. „Не разбѣгаться отъ суда, не видѣть въ немъ татарское нашествіе или холеру, а смотрѣть на него, какъ на естественнаго защитника противъ всякой обиды, пропзвола, насилія, долженъ „русскій народъ", писалъ этотъ давно уже умершій идеалистъ 60-хъ годовъ.

Въ этихъ письмахъ ясно и рѣзко выступаетъ чисто художественный характеръ той далекой эпохи, о которой даже В. Розановъ полагаетъ, что „послѣ гигантскаго усилія сбросить ихъ (т. е. 60-е годы) съ плечъ нашей исторіи, все-таки надо окончить ихъ п р и з н а н і е м ъ"... „Они, т. е. 60-е годы, внесли новое и сильное въ нашу жизнь, внесли благотворное. Лично намъ болѣе всего симпатично въ нихъ какъ бы выпрямленіе русскаго характера, получившаго въ самыхъ шероховатостяхъ тѣхъ лѣтъ какъ бы закалъ трезвости, ясности взгляда на вещи, простоты въ отношеніи къ людямъ. Человѣкъ 60-хъ годовъ есть человѣкъ не фальшивый—это до сихъ поръ. Прямое, грубоватое отношеніе къ дѣлу, не дипломатическое и не риторическое—вотъ, такъ сказать, одежда, въ которую переодѣли русскаго человѣка, русское общество, всю Россію люди тѣхъ лѣтъ".

Но все равно...Я хочу сказать, что въ этихъ пожелтѣвшихъ листкахъ бьется настоящая жизнь, несмотря на бездну сорока лѣтъ. Живая жизнь общественнаго творчества, повышенныхъ общественныхъ интересовъ, стремленіе сдѣлать всю окружающую человѣка обстановку разумной и справедливой. Это стремленіе вдохновляло и облагораживало. Въ немъ ключъ къ пониманію своеобразной эстетики того времени, вдохновлявшагося мечтой о прекрасной человѣческой жизни, о прекрасной дѣйствительности.

И какъ это на самомъ дѣлѣ трогательно: сдѣлать своего сына какъ бы участникомъ своей работы, изложить весь ея ходъ отъ перваго до послѣдняго шага, чтобы имѣть возможность въ послѣдней строчкѣ послѣдняго письма съ спокойной, увѣренной въ себѣ гордостью воскликнуть: „мы сдѣлали, что могли". И какого сына: маленькаго, едва лепечущаго, едва ковыляющаго на толстыхъ ножонкахъ.

Отецъ, очевидно, писалъ свои письма-завѣщаніе для будущаго, для сына-юноши. Онъ не даетъ никакихъ совѣтовъ, не навязываетъ никакихъ указаній: онъ просто и дѣловито разсказываетъ, что было, что есть, что и во имя чего онъ дѣлалъ".

и заботъ. Въ то время, какъ интеллигенція шла къ нему съ своей гордой, самонадѣянной вѣрой, съ своей мечтой о возрожденіи человѣчества, онъ былъ еще въ эпохѣ Даждь Бога и молился аллилуевой женѣ, безъ мысли о собственномъ достоинствѣ, собственныхъ правахъ, забитый и заколоченный тяготой недоимокъ, весь—продуктъ и порожденіе крѣпостного права. Онъ былъ по скорбно-саркастическому опредѣленію Щедрина, конягой, поражавшимъ своей живучестью, и только“ [102]).

На этой почвѣ хожденія въ народъ, идеализаціи народа, жажды подвига за народъ и выросла литература 70-хъ годовъ, та ея часть, по крайней мѣрѣ, которая о с т а л а с ь.

Насколько эта часть заключаетъ въ себѣ „вѣчныхъ элементовъ“ и переживаетъ ли она „вѣка“—вопросъ лишній. Очевидно, что для насъ съ каждымъ днемъ становится все болѣе чуждымъ ея настроеніе, все менѣе понятными ея вынужденные цензурой намеки, ея эзоповскій языкъ. Прелесть многихъ художественныхъ образовъ остается во всей неприкосновенности еще и теперь, но, такъ какъ въ обычаѣ эпохи, духѣ ея было жертвовать художествомъ проповѣди и пропагандѣ, это наслѣдство, надо думать, незначительно.

Какъ бы то ни было, это очень характерный періодъ нашей литературы, къ которому мы всегда будемъ обращаться, чтобы опредѣлить ея особенное, теперь уже рѣзко и быстро мѣняющееся „лицо“.

Стремленіе сказать свое слово, отдѣлить путь своего народа отъ путей западной Европы достигло въ 70-хъ годахъ высшаго напряженія. Это, быть можетъ, наша послѣдняя и самая страстная борьба съ Западомъ, возстаніе на его науку, искусство, общественность во имя тѣхъ х р и с т і а н с к и х ъ и к о м м у н и с т и ч е с к и х ъ началъ, которыя, хотя бы задавленныя и загаженныя, обобранныя, такъ сказать, крѣпостнымъ правомъ, заключаются въ общинно-земледѣльческихъ устояхъ жизни нашего крестьянства. Вы видите эту напряженную борьбу съ Западомъ по всей линіи. Ярче всего она выражается лозунгомъ „въ народъ“, такими идеями, какъ „расплата съ народомъ“, служеніе народу, въ знаменитомъ, хотя, къ сожалѣнію, чисто схоластическомъ спорѣ о томъ, какъ надо поступать: по „м н ѣ н і ю ли народа или въ его и н т е р е с а х ъ“, въ упорной враждѣ къ либерализму, затѣмъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, Толстого, Щедрина, Михайловскаго, П. Л. Лаврова. Ищутъ примиренія, синтеза и, разочаровавшись, наконецъ, въ возможности найти его, идутъ—кто направо, въ народъ, вплоть до опрощенія, до отказа отъ всего западно-европейскаго, какъ Толстой, или налѣво, въ западно-европейское общественное движеніе съ его политическими

[102]) См. мои „Очерки“.

программами, какъ „Отечественныя Записки“ конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ.

Дальше: по своимъ соціальнымъ основамъ литература 70-хъ годовъ опять дворянская, барская, Разночинецъ-шестидесятникъ къ этому времени усталъ, стерся, сошелъ на нѣтъ и подчинился идеямъ и настроенію высшаго класса, съ которымъ онъ наканунѣ такъ страстно и побѣдоносно враждовалъ. Теперь на сценѣ отрицаніе сдѣланнаго имъ, отрицаніе его отрицанія, прежде всего его нигилизма во имя положительныхъ основъ жизни. Нигилизмъ, какъ мы видѣли, дошелъ до тупика; поворотъ былъ неизбѣженъ, и, благодаря тому, что первая роль въ литературѣ опять перешла къ барину — Некрасову, Щедрину, Герцену (его идеямъ), Толстому, Михайловскому, онъ совершился въ смыслѣ возвращенія къ идеямъ 40-хъ годовъ, хотя уже и преображеннымъ „бурей и натискомъ“ разночинца... Опять мы видимъ идеализацію народа, исканіе абсолютныхъ основъ жизни и нравственности, стремленіе создать „религію“, т. е. такое ученіе, которое, выдѣляя и гипостазируя нѣкоторыя цѣнности человѣческой жизни, подчиняло бы имъ всѣ остальныя. Для семидесятниковъ такими безусловными цѣнностями были: счастье народа, мораль подвига и самоотреченія, идеалъ прекрасной жизни въ смыслѣ общаго мира, братства и равенства.

Отношеніе къ нигилизму не только отрицательное, но и прямо враждебное. Ничего болѣе естественнаго для эпохи и ея литературы, которая всѣ свои силы сосредоточила на вѣрѣ.

Подъ знакомъ мужика составляются программы поведенія, вырабатываются формулы прогресса, критикуется дѣйствительность Европы и Россіи; на устояхъ его жизни (какъ община и земледѣльческій трудъ) сосредоточена любовь, надежды, мечты. Эти устои вырисовываются въ лучезарномъ освѣщеніи, и нищую, полуразвалившуюся крестьянскую общину охотно смѣшиваютъ (по духу, по существу) съ братской и гонимой общиной первыхъ вѣковъ христіанства.

Сколько трогательнаго и страннаго въ отношеніи къ мужику! О немъ—помыслы и думы; въ жертву его счастью—свое собственное личное счастье, своя свобода, свое развитіе. Разошлось сердце, расплакалась, застонала совѣсть... Страдалецъ-народъ звалъ къ себѣ на помощь, наполняя душу жаждой подвига и жалостью. Къ нему подходили съ благоговѣніемъ, съ трепетомъ, зная, что внутри его таится сокровище, большее чѣмъ всѣ сокровища сказочныхъ принцевъ: правда трудовой жизни. Долгъ передъ нимъ вырастаетъ до такихъ размѣровъ, что, по словамъ г. Михайловскаго, напр., „всѣхъ благъ культуры, которыя мы, при полномъ самоотреченіи, можемъ дать народу, не хватитъ на уплату однихъ процентовъ (нашего долга ему).

Приведу небольшой характерный разговоръ того времени:

— „Съ чего это, сказалъ Сицкій, мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу передъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти; представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоющимъ человѣкомъ. Это во-первыхъ... — Значитъ, есть и во-вторыхъ?— Есть и во-вторыхъ и въ третьихъ. Во-вторыхъ, какой-нибудь физическій трудъ, мастерство, что-нибудь, вообще какая-нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юродивымъ да блаженнымъ прощаетъ... А въ третьихъ, подвигъ...—Какой?—Какой подвигъ, это вы можете изъ исторіи узнать“ [103]).

Мужикъ, служеніе народу, расплата съ народомъ, подвигъ—это центральныя идеи времени. Я еще вернусь и не разъ вернусь къ нимъ, пока же замѣчу, что только въ эту эпоху раскрылось все содержаніе нашей литературы, вся своеобразность ея личности, глубина ея нравственныхъ запросовъ и все вліяніе особенной создавшей ее исторіи. Здѣсь она дѣйствительно сказала свое слово, и это слово—народничество.

Откуда это?

Нужно было во многомъ разочароваться и много перестрадать, нужно было пережить и реакцію, и нигилизмъ, дождаться, пока нигилистическая мысль не дошла до тупика, до „Собакевичей и Ноздревыхъ нигилизма“, нужно было, наконецъ, чтобы разночинецъ утерялъ весь свой задоръ, а барство, хотя бы преображенное, опять выступило на сцену,—и только тогда народничество оформилось, стало системой и религіей.

60-е годы близки. Для „семидесятниковъ“ они—вчерашній день. Многіе ихъ представители и идеи живы еще. Но ожили и мечты и настроенія людей 40-хъ годовъ. Ожила „драма“ барской литературы; дописывался эпилогъ къ роману между интеллигенціей и народомъ. Дописывался больше на дѣлѣ, чѣмъ на словахъ, но, въ концѣ концовъ, это было тѣмъ же самымъ, или, лучше сказать, синтезомъ двухъ эпохъ. Рахметовъ, помѣщикъ и дѣятель, выступилъ на сцену. А Рахметовъ—это жажда покаянія за грѣхи крѣпостного права, жажда подвига за счастье народа и „культъ мужика“.

Синтезъ, т. е. примиреніе или соединеніе и сліяніе идей, поучителенъ. Пока—только его формулы:

а) Идея прекраснаго (идея 40-хъ гг.) въ своемъ примиреніи съ идеей полезнаго порождаетъ идею героическаго. Героизмъ

---

[103]) Н. К. Михайловскій, „Въ перемежку“.

полезенъ, т. е. нуженъ, ибо онъ проявляется во имя блага народа, и прекрасенъ, т. к. въ немъ вся сила и величіе духа.

b) Признаніе первенства искусства надъ наукой, интуиціи надъ разумомъ (догматъ всѣхъ идеалистовъ 40-хъ гг.), въ сліяніи своемъ съ признаніемъ верховенства науки надъ искусствомъ (догматъ шестидесятниковъ), создаетъ искусство-науку, т. е. философію Лаврова (за нимъ—Михайловскаго), т. н. субъективный методъ соціологіи, философію критической и гармонически развитой личности. Это искусство-наука не есть исканіе необходимыхъ законовъ развитія общества, а исканіе правды общественной жизни и путей ея осуществленія. Наукѣ отводится не познавательная, а созидающая людское счастье роль. Превосходно подчеркнулъ это Михайловскій, говоря: „Я не могу не восхищаться поразительной внутренней красотой (слова „правда")... Кажется, только по-русски истина и справедливость называются однимъ и тѣмъ же словомъ и какъ бы сливаются въ одно великое цѣлое. Правда-истина, разлученная съ правдой-справедливостью, правда теоретическаго неба, отрѣзанная отъ правды практической земли, всегда оскорбляла, а не удовлетворяла меня... И наоборотъ, благородная житейская практика, самые высокіе нравственные и общественные идеалы представлялись мнѣ всегда обидно безсильными, если они отворачивались отъ истины и науки. Я никогда не могъ повѣрить и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя". Синтезъ очевидный: искусство создаетъ идеалы (т. е. идеалы добра, счастья, красоты); наука познаетъ истину. Искусство-наука ищетъ правду. Это искусство воплотить идеалъ въ жизнь.

c) Герой эпохи, „кающійся дворянинъ", одинаково своего рода „синтезъ". Въ этомъ случаѣ опять характерно указаніе Н. К. Михайловскаго. Онъ пишетъ: „Въ то время, какъ большинство тогдашней (60-хъ годовъ) молодежи старалось проводить программу (чистой и святой жизни), въ это самое время всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши и пр. знать не хотѣли никакихъ эпитимій и знакомились съ бѣлой горячкой. Они были полны ненависти, и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалѣченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно, своею ненавистью, и изъ этой близости возникли чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину (?). Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія,

гдѣ мы себѣ устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свѣжаго воздуха. Такъ что они, со всѣмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ"... Переводя эти слова на діалектическій языкъ, мы видимъ, что настроеніе „кающагося дворянина" явилось изъ сліянія эпитиміи и ненависти. Эпитимья—за вчерашній день. Ненависть—къ сегодняшнему, неоправдавшему надеждъ и мучительному для народа. „Кающійся дворянинъ" этихъ дней, повторяю, синтезъ. Онъ вылетѣлъ изъ разореннаго помѣщичьяго гнѣзда, но переработанъ разночинцемъ.

d) „Абстрактный героизмъ" или прекраснодушіе, т. е. непримиреніе со зломъ и пошлостью жизни, удаленіе отъ нихъ какъ можно дальше и выше (въ область искусства, созерцанія), какъ этическій принципъ барскаго идеализма въ соединеніи съ утилитарной этикой разночинца, создаетъ мораль подвига, жертвы собою до конца. Ни о какомъ компромиссѣ, уступкѣ не можетъ быть и рѣчи. Непримиримость полная. Надо побѣдить или умереть. Такъ надо. Этого требуетъ счастье народа, счастье всѣхъ.

Приходилось выше не разъ отмѣчать тотъ фактъ, что для насъ, русскихъ, нравственные вопросы имѣютъ особое значеніе. Въ объясненіе этого факта указываютъ на слабое развитіе теоретической мысли, на вліяніе цензуры и жизни, тщательно охранявшихъ насъ отъ „политики", на крѣпостное право, которое зачастую понималось, да и не могло не пониматься, какъ личная отвѣтственность, личный грѣхъ дворянина. Не стану возвращаться къ этому вопросу, скажу только, что нѣтъ ничего естественнѣе, если народничество организовалось на почвѣ нравственныхъ запросовъ. Ближайшей же и практической его задачей было рѣшеніе вопроса: какъ избавить Россію отъ пролетаріата и буржуазіи, которые, какъ всякій чувствовалъ, совершенно неизбѣжны при ничтожныхъ надѣлахъ, полученныхъ крестьянствомъ, при тяжести выкупныхъ платежей, при начавшихся немедленно же послѣ освобожденія сатурналіяхъ банковыхъ, желѣзнодорожныхъ и биржевыхъ.

Для полной зрѣлости народничества оказалось совершенно недостаточнымъ тѣхъ импульсовъ, къ которымъ обращались шестидесятники, желая пробудить въ человѣкѣ гражданскія чувства. Утилитарная мораль постепенно теряла свой кредитъ, уступая мѣсто требованію долга, обязательства, абсолютнымъ началамъ вообще. Быстро выросли авторитеты Щедрина и Лаврова—людей, остававшихся въ тѣни въ теченіе 60-хъ

годовъ, возбуждавшихъ даже зачастую негодованіе за отрицательное отношеніе къ матеріалистической философіи, утилитарной морали, нигилизму... Поэзію Некрасова стали понимать какъ музу „мести и печали", а совсѣмъ не какъ бодрящій призывъ къ „просвѣщенію народа". Постепенно вся неприглядность, вся безобразная нагота дѣйствительности открывалась человѣку, переходила въ сознаніе, готовя къ мысли, что для побѣды надъ зломъ нужны героическія усилія, и что съ однимъ расчетомъ наибольшей пользы или воскресными школами, или популярными статьями по естествознанію рѣшительно ничего подѣлать нельзя. Въ высшихъ сферахъ послѣ петербургскихъ пожаровъ, польскаго возстанія, каракозовскаго дѣла закрѣпилась реакція. Д. Толстой, Катковъ и Леонтьевъ вводили въ Россіи классическое образованіе, которому, какъ оказалось, во всемъ его неслыханномъ озорствѣ пришлось просуществовать болѣе 30-ти лѣтъ... Чиновничество и дворянство, какъ бы ступевавшіяся въ эпоху великихъ реформъ, нѣсколько огорошенныя общимъ увлеченіемъ, опять подняли голову. Это давно предвидѣли и предсказывали. Было очевидно, что только общество можетъ защитить земство отъ посягновеній администраціи. „А общественное мнѣніе, для того чтобы являться истинно дѣйствительнымъ и вліятельнымъ, должно выражаться печатнымъ словомъ, а въ Россіи печатное слово подневольное. Гласность — первое и самое необходимое условіе; безъ нея всякія учрежденія останутся призраками, а при существованіи гласности даже плохія учрежденія могутъ приносить пользу"... [104])

Жизнь шла въ темнотѣ, въ незнаніи самой себя, въ смѣнѣ странныхъ слуховъ, нетерпѣливыхъ и тревожныхъ ожиданій, среди которыхъ выяснился тотъ фактъ, что всѣ реформы 60-хъ годовъ были, въ сущности, полуреформами. Это было особенно очевидно въ отношеніи крестьянъ, которые недостаточностью своихъ надѣловъ, архаизмомъ спеціально для нихъ сочиненныхъ законовъ, громадностью выкупныхъ платежей были поставлены въ самое тяжелое положеніе. Пресловутая община, взрощенная крѣпостнымъ правомъ, оказывалась во многихъ случаяхъ не меньшей тяготой, чѣмъ оно. Если послѣ реформъ власть помѣщика была сведена къ нулю, то власть чиновника и землевладѣльца выросла до огромныхъ, одинаково самодержавныхъ размѣровъ. Явилась новая власть—кулака, міроѣда, и кабала юридическая сразу же смѣнилась кабалой экономической.

---

[104]) Сборникъ „За сто лѣтъ".

2. Литература и капитализмъ. Первыя стычки.

Надвигалось на Россію и нѣчто новое, грозное: промышленный строй, который на первыхъ порахъ принялъ исключительную форму хищничества.

Огромныя, хотя и бумажныя, деньги вдругъ получила Россія послѣ освобожденія крестьянъ. 400 милліоновъ выкупныхъ платежей, столько же въ видѣ ссудъ изъ земельныхъ банковъ, столько же, если не больше, въ видѣ желѣзнодорожныхъ концессій вошли въ обращеніе. Началась дикая биржевая сатурналія, разнузданная пляска милліоновъ, гомерическія мошенничества, кутежи, крахи и обогащенія...

Перечитайте Щедрина. Это поразительная картина того времени и всего разврата, который вноситъ и въ душу человѣка и въ общественную жизнь жажда наживы.

„Хищникъ, писалъ Щедринъ еще въ 73-мъ году, вотъ истинный представитель нашего времени, вотъ высшее выраженіе типа новаго человѣка... Хищникъ проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, захватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгораетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и опять стремится... Хищникъ— это дикій, въ полномъ смыслѣ этого слова; это человѣкъ, у котораго на языкѣ нѣтъ другого слова, кромѣ глагола „отнять“. Но такъ какъ кусковъ разбросано много, и это заставляетъ глаза разбѣгаться, такъ какъ, съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало, и строгаго распредѣленія занятій между ними не имѣется, то понятно, какая масса злобы должна накипѣть въ этихъ вѣчно алчущихъ сердцахъ. Самое „торжество хищника“ является озлобленнымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще нѣчто впереди и, во-вторыхъ, есть счеты позади“.

Рядомъ съ этимъ торжествующимъ хищникомъ народничество наше вырастаетъ въ трагическую фигуру...

Хищникъ былъ вездѣ. Онъ былъ въ столицахъ и участвовалъ въ пляскѣ милліоновъ. „Министерство путей сообщенія, говоритъ „очевидецъ“ кн. В. П. Мещерскій, въ началѣ 70-хъ годовъ представляло главный пунктъ, гдѣ тогда сосредоточивалась вся вакханалія желѣзнодорожной горячки во всемъ ея разгарѣ. Тогда уже произносились имена желѣзнодорожныхъ Монтекристо, вчера нищихъ, а сегодня милліонеровъ; никто не могъ понять, почему такіе люди, какъ Меккъ, Дервизъ, Губонинъ, Башмаковъ и проч., которые не имѣли, во-первыхъ, ни гроша денегъ, а во-вторыхъ, никакихъ инженерныхъ познаній, брались за концессіи какъ ни въ чемъ не бывало и въ два-три года

дѣлались милліонерами. Среднимъ числомъ концессіи выдавались по такой цѣнѣ за версту, что въ карманъ входило около 50-и тысячъ съ версты. А 500 — 600 верстъ концессіи составляло капиталы въ 25 — 30 мил. рублей. Для суженія района конкурентовъ, концессіонеры прибѣгали, разумѣется, къ крупнымъ взяткамъ, и эти-то взятки и были главною причиною крупныхъ, баснословныхъ наживъ".

Щедринъ этому новорожденному хищнику посвятилъ много превосходнѣйшихъ страницъ, напр., Губонину въ „Дневникѣ провинціала", или разнымъ Егорамъ Груздевымъ, Осьмушкинымъ, Колупаевымъ и Разуваевымъ въ „Убѣжищѣ Монрепо". Въ его изображеніи весь этотъ людъ только „пакостникъ", „чумазый" и ничего больше. „Въ послѣднее время, пишетъ онъ, русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто въ родѣ буржуазіи, т. е. новый культурный слой, состоящій изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцовъ и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ... Въ короткій срокъ эта праздношатающаяся тля успѣла опутать всѣ наши Палестины: въ каждомъ углу она сосетъ, точитъ, разоряетъ и вдобавокъ нахальничаетъ. Въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она подла и невыносима. Это ублюдки крѣпостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но, несомнѣнно, болѣе воровской"...

Дальше Щедринъ разсказываетъ карьеру Егорки Груздева, который, „миновавши чудеснымъ образомъ каторгу", откуда-то добываетъ себѣ шитый мундиръ и окончательно дѣлается Егоромъ Ивановичемъ господиномъ Груздевымъ. Онъ пьетъ кровь уже вьявь и въ то же время сознаетъ себя „столпомъ"... Уѣздныя власти заѣзжаютъ къ нему и по пути и безъ пути и, въ случаѣ административныхъ затрудненій, прибѣгаютъ къ его помощи. Батюшка обѣдни не начинаетъ до пріѣзда его въ храмъ; волостной старшина совмѣстно съ писаремъ контракты для него сочиняютъ, „конми закрѣпляютъ въ пользу его степенства всю волость".

Господинъ Груздевъ не просто хищникъ, онъ уже власть и „столпъ"... Онъ зорко посматриваетъ по сторонамъ за тѣмъ, кто „книжки читаетъ", кто народъ смущаетъ, кто соблазнъ заводитъ, и при случаѣ нашептываетъ... Онъ „слопалъ" окрестныхъ помѣщиковъ и усадьбы, все разорилъ до послѣдняго камня, „лопаетъ" и крестьянъ, создавая себѣ изъ нихъ своими кабальными записями новыхъ крѣпостныхъ рабовъ. По неисповѣдимымъ судьбамъ онъ охраняетъ начала, блюдетъ порядокъ, почему и пользуется особой поддержкой властей.

„Чумазый человѣкъ въ виду у всѣхъ; человѣкъ свѣжій, непреклонный и расторопный, который навѣрное освободитъ охранителей отъ

половины гнетущей ихъ обузы. Нѣтъ нужды, что онъ не достаточно еще вскоблился, что онъ не тронутъ наукой, равнодушенъ къ памятникамъ искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: распивочно и на выносъ... Охранитель видитъ въ этомъ не препятствіе, а залогъ... Чѣмъ меньше бродитъ въ обществѣ превыспренностей, тѣмъ прочнѣе онъ стоитъ — это истина, которая нынѣ бьетъ въ глаза даже будочникамъ... Ахъ, тѣмъ-то и дорогъ чумазый человѣкъ, что, имѣя его подъ рукой, о всѣхъ вообще фикціяхъ можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно. Ему ни „общество", ни „отечество", ни „правда", ни „свобода"—ничто заподлинно неизвѣстно. Ему извѣстенъ только грошъ,— ну, и пускай онъ подѣлаетъ изъ него пятаковъ".

Чумазый шелъ, расхищая все на пути. Въ жизни чувствовалось мертвое дыханіе его ненасытной алчности, его грошевыхъ расчетовъ, сытаго самодовольства. Онъ выводилъ лѣса и парки, обмелялъ рѣки, сгонялъ съ лица земли все живое. Тамъ и здѣсь и все въ большемъ количествѣ дымились его фабрики. Осмотрѣвшись и увидѣвъ, что не боги горшки обжигаютъ, онъ постепенно захватилъ въ свои руки города и земства. Пользуясь своимъ положеніемъ охранителя и столпа, онъ, гдѣ могъ, дѣйствовалъ насиліемъ и на законномъ основаніи, въ иныхъ случаяхъ обманомъ, мошенничествомъ, соблазномъ. Въ его исторіи соблазнъ легкаго способа наживать пятаки, дешевой водки, гнилого яркаго ситца, фабричнаго заработка долженъ занять большое и важное мѣсто.

Наши народники всегда смотрѣли столько же назадъ, сколько и впередъ; назадъ, гдѣ имъ чудился золотой вѣкъ „простого сотрудничества" и „общаго равенства", пожалуй, больше, пристальнѣе, во всякомъ случаѣ, одинаково любовно, какъ и впередъ. Тамъ имъ видѣлись призраки прекрасные и заманчивые—міръ, община, удалая русская пѣсня, народная интеллигенція, святая и праведная, власть земли, правда и справедливость земледѣльческаго труда. И эти призраки представлялись имъ гораздо больше дѣйствительностью, чѣмъ та, которую несъ съ собой „чумазый". На ихъ глазахъ расхищалъ онъ самое дорогое, что было: поэзію и самобытность мужицкой жизни, подкапывался подъ „устои", вносилъ въ деревню развратъ своей „дешевки", своихъ денежныхъ расчетовъ и хищническихъ инстинктовъ... „Денегъ подавай", кричали новыя времена и ихъ господинъ, „чумазый", — и всѣ помыслы мужика сосредоточились на рублѣ. Большая часть трагедій, разсказанныхъ Успенскимъ, разыгрывается на томъ, что, вотъ, „въ Слѣпомъ-Литвинѣ" или гдѣ тамъ живетъ крестьянинъ Иванъ Афанасьевичъ — живой образецъ мужика, поставленнаго въ „необходимость бросаться изъ стороны въ сторону, чтобы гдѣ-нибудь и какъ-нибудь захватить въ свои руки этотъ проклятый рубль серебромъ". Разъ явилась эта, вызванная

новымъ строемъ, необходимость въ рублѣ, о цѣлости устоевъ или власти земли нечего было и говорить. „Развратъ", нищета, разслоеніе деревни на богатыхъ и закабаленную массу, на хозяевъ и батраковъ надвигались на крестьянскую жизнь со всѣхъ сторонъ, принимая самыя разнообразныя формы: керосина, замѣнившаго лучину, трехкопеечныхъ папиросъ, козловыхъ ботинокъ, фабричной пошлой пѣсни, хамской угодливости передъ человѣкомъ, который можетъ дать рубль. Красота, поэзія, самобытность, первобытная суровость жизни исчезали... И все это шло нога въ ногу съ „чумазымъ".

Легко понять, какою ненавистью должны были ненавидѣть его наши народники. Они были оскорблены въ самыхъ лучшихъ своихъ чувствахъ, въ своей религіи. Святыня народной жизни была отдана на позоръ и поруганіе. Все, что происходило, казалось тяжелымъ кошмаромъ, который давилъ и мучилъ. Эта отданная на пожраніе чумазому крестьянская „правда" представлялась чьей-то огромной, неискупимой обидой.

„Чумазаго" ненавидѣли, презирали, оплевывали. Щедринъ не находитъ для него достаточно оскорбительныхъ словъ. Для него это „тля", „нахалъ", „праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивѣйшій забулдыга, которому, благодаря слѣпой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кишащія вокругъ него массы ротозѣевъ, рохлей, дураковъ". Подѣлать съ Разуваемымъ-чумазымъ нельзя ничего: „Плюешь Разуваеву въ лицо — онъ утрется, своротишь ему скулу — онъ въ баню сходитъ и опять ее на старое мѣсто вправитъ. Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступись, онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще запоетъ: „веселися храбрый россъ" и заставитъ слушать себя стоя".

Совершенно такой же тонъ у Успенскаго, Некрасова. Поэма послѣдняго „Современники", героями которой являются наши буржуа, это сплошная картина низости, циничесной наглости, скотскаго распутства. У Некрасова больше чѣмъ гнѣвъ — тутъ ярость, клокочущая пѣной у рта, сплошная пощечина направо и налѣво, мстительное издѣвательство... „Мѣняло" додумывается до того, что

Мысль центральнаго дома терпимости —
Такова наша мысль...

Савва Антихристовъ разсказываетъ съ чувствомъ полнаго удовлетворенія о своихъ мошенничествахъ, оправдывая ихъ тѣмъ, что

графа дивиденда
краснорѣчивѣе словъ говоритъ.

Общій смыслъ поэмы Некрасовъ высказалъ стихами:

Да, постигла и Россія
Тайну жизни, наконецъ:
Тайна жизни — гарантія,
А субсидія — вѣнецъ...

3. Народничество первой половины 70-хъ годовъ.

Какъ реакція, какъ протестъ, какъ крикъ обиженнаго въ самыхъ лучшихъ своихъ чувствахъ сердца, какъ вопль возмущенной совѣсти и жалѣнія, раздался призывъ: „въ народъ!“

Кто первый высказалъ его? По документамъ, имѣющимся въ нашемъ распоряженіи,—Бакунинъ. Онъ былъ повторенъ Герценомъ. Его властное значеніе мы видимъ уже въ „нечаевскомъ дѣлѣ“... Онъ сталъ ученіемъ и теоріей въ трудахъ Миртова (Лаврова).

„Относясь къ одному изъ первыхъ фазисовъ подземнаго движенія, говоритъ по этому поводу „Вѣстникъ Европы“, нечаевское дѣло соединяетъ въ себѣ, однако, многія характеристическія черты дальнѣйшихъ политическихъ процессовъ; тайное общество 1869 г. является какъ бы образцомъ для послѣдующихъ; дѣятельность Нечаева — прототипомъ позднѣйшихъ формъ; личный составъ подсудимыхъ—нормой, повторяющейся на будущее время съ небольшими только варіантами. Здѣсь встрѣчается впервые лозунгъ: „въ народъ“ [105])...

Этотъ лозунгъ, за которымъ была вся сила исторической традиціи, вся особенность нашей земледѣльческой культуры, въ сущности, и создалъ наше народничество, сдѣлалъ изъ него ученіе, литературу, религію

По словамъ одной офиціальной записки:

„Въ первой половинѣ 70-хъ годовъ обнаружилось то новое явленіе, что многіе молодые люди, изъ которыхъ нѣкоторые бросили ученіе, одѣлись въ крестьянскіе костюмы, запаслись фальшивыми видами и въ качествѣ простыхъ чернорабочихъ двинулись, по ихъ выраженію, „въ народъ“, имѣя задачей развивать его“.

Офиціальная записка, которую я цитирую, приводитъ это „движеніе въ народъ“ въ связь съ нѣкоторыми изъ предшествующихъ событій:

„Еще въ концѣ 60-хъ годовъ, читаемъ мы дальше, въ Петербургѣ и Москвѣ въ средѣ учащейся молодежи стало проявляться стремленіе къ образованію ассоціацій, кружковъ съ цѣлью взаимнаго денежнаго вспомоществованія, обмѣна мыслей и дополненія путемъ чтенія и бесѣдъ пробѣловъ школьнаго ученія. Эти „кружки самообразованія“, какъ ихъ называли сами участники, вначалѣ имѣли лишь вышеприведенную задачу, и программа ихъ дѣятельности не переходила чисто теоретическихъ литературныхъ споровъ и юношескихъ увлеченій. Матеріальныя же средства, собираемыя другъ съ друга, шли исключительно на поддержку бѣдныхъ товарищей и покупку книгъ дозволеннаго содержанія. Нѣтъ

[105]) Сборникъ „За сто лѣтъ“.

никакого сомнѣнія, что направленіе, принятое въ ту пору нашею, такъ называемою, обличительною печатью... съ громкими фразами о нуждахъ, пользѣ и бѣдственномъ положеніи низшихъ классовъ народа, не могло пройти безслѣдно и не повліять на впечатлительную и незнакомую съ дѣйствительными условіями нашей общественной и государственной жизни молодежь, столь естественно стремящуюся въ своихъ мечтахъ къ возможности осуществленія въ жизни недосягаемыхъ идеаловъ всеобщаго братства, равенства, свободы. И вотъ, въ средѣ упомянутыхъ кружковъ самообразованія стали все чаще подниматься и обсуждаться вопросы о причинахъ существованія и средствахъ облегченія и устраненія того безвыходнаго положенія нашихъ рабочихъ классовъ, о которомъ писалось и говорилось на всѣ тоны и который провѣрить для учащейся молодежи не представлялось возможности. При сужденіи объ этомъ предметѣ указывалось на безграмотность нашей народной массы, какъ на одну изъ главнѣйшихъ причинъ ея угнетеннаго положенія, и на необходимость, поэтому, прежде всего позаботиться о поднятіи уровня ея умственнаго и нравственнаго развитія. Такими, въ сущности, совершенно безвредными кружками были кружки студентовъ СПб. университета и академій Медико-хирургической и Петровско-земледѣльческой, а позднѣе и воспитанниковъ семинарій, гимназій и прочихъ учебныхъ заведеній, какъ въ столичныхъ, такъ и многихъ губернскихъ городахъ".

„Съ 1873 г., продолжаетъ записка, кружки самообразованія теряютъ свой первоначальный, т. е. теоретическій характеръ, между прочимъ, и подъ вліяніемъ статей Лаврова. Кружки петербургскіе и московскіе приходятъ къ убѣжденію, что пора итти въ народъ и развивать его"... [106]).

Записка указываетъ дальше на массовый характеръ этого движенія и насчитываетъ 770 замѣтныхъ его участниковъ, изъ которыхъ 612 мужчинъ и 158 женщинъ.

Нечего, я думаю, и говорить, что движеніе было гораздо шире, чѣмъ могла охватить его офиціальная записка.

Раціоналистическія основанія его очень несложны. Въ сущности, они укладываются въ немногія строки Лаврова:

„Для русскаго спеціальная почва, на которой можетъ развиться будущность большинства русскаго населенія въ томъ смыслѣ, который указанъ общими задачами нашего времени, есть крестьянство съ общиннымъ землевладѣніемъ. Развить нашу общину въ

---

[106]) Сборникъ „За сто лѣтъ".

смыслѣ общинной обработки земли и общиннаго пользованія ея продуктами; сдѣлать изъ „міра" основной элементъ русскаго общественнаго строя, поглотить въ общинной собственности частную; дать крестьянству то образованіе и то пониманіе его общественныхъ потребностей, безъ котораго оно никогда не сумѣетъ воспользоваться своими легальными правами, какъ бы они широки ни были, и никогда не выйдетъ изъ-подъ гнета,—вотъ спеціально русскія цѣли, которымъ долженъ содѣйствовать всякій русскій, желающій прогресса своему отечеству".

Вся произвольность этихъ строкъ слишкомъ ясно бросается въ глаза, чтобы стоило ихъ оспаривать. Очевидно, что Лаврову прежде всего надо было доказать прочность нашей общины и ея способность къ развитію, чтобы выставленныя имъ спеціально русскія цѣли имѣли прочное основаніе. Но онъ не сдѣлалъ этого, не могъ этого сдѣлать[107]), а самое главное, ему совершенно не нужно этого дѣлать. Все равно какъ вѣрующему нечего доказывать, что мощи суть мощи, такъ интеллигенту 70-хъ годовъ не требовалось аргументовъ для утвержденія его вѣры въ „святыню общиннаго землевладѣнія".

Это была заповѣдь, догматъ. Оттуда естественно вытекалъ другой: „для насъ, русскихъ, путь западно-экономическаго развитія не обязателенъ. Мы можемъ пойти своимъ путемъ, опираясь на устои крестьянской хозяйственной (общины) и обычно правовой (міръ, сходка) жизни"... „Развивая и совершенствуя эти устои, мы обезпечимъ за каждымъ человѣкомъ, каково бы ни было его положеніе, равное участіе въ пользованіи общинной землей, возможность производительнаго труда, а значитъ и возможность счастья".

Оба эти догмата слишкомъ сельско-хозяйственны, что ли, и если ихъ, быть можетъ, достаточно для какой-нибудь политической партіи, то для широкаго общественнаго движенія, религіознаго по существу, по своей абсолютной морали, по фанатизму, ихъ, очевидно, мало.

Это только соціализмъ или коллективизмъ, перенесенный на русскую почву и приспособленный къ условіямъ русской дѣйствительности. Это алгебра народничества, а надо поискать тѣхъ психологическихъ основаній, которыя возвели эту алгебру на степень религіи.

Эти основанія:

1) Борьба съ Западомъ.

2) Полный разрывъ съ офиціальнымъ міромъ и офиціальной жизнью.

3) Больная совѣсть кающагося дворянина.

---

[107]) Возможно, впрочемъ, что извѣстныя статьи объ общинѣ Чернышевскаго онъ считалъ въ данномъ случаѣ рѣшающими.

Къ народническимъ формуламъ, или, лучше, къ народническому вѣроисповѣданію мы пришли долгимъ кружнымъ путемъ.

Мы пришли къ нему діалектикою мысли, возставши противъ отрицанія 60-хъ годовъ въ ихъ нигилистическомъ теченіи. Мы пришли къ нему діалектикой жизни, которая, на смѣну потребительнаго хозяйства дореформенной Россіи, выдвинула мѣновое, хищническое, выдвинуло зарождавшійся промышленный капитализмъ. Мы защищали въ немъ свое старое, намъ дорогое и наше цѣнное: устои земледѣльческой жизни, „братство и христіанскій коммунизмъ“ русской общины.

Славянофильство и западничество какъ бы примирились здѣсь. Славянофильство вошло своимъ культомъ мужика, общины, своей вѣрой въ особыя силы и пути русскаго народа. Западничество —своимъ утопическимъ соціализмомъ, своей вѣрой въ личность, критику, разумъ, которые могутъ направить жизнь по намѣченному и выработанному руслу.

Два направленія, въ началѣ какъ будто расходившіяся подъ малымъ угломъ, затѣмъ развернувшія свое содержаніе и ставшія враждебными, рано выяснились въ народничествѣ. Сначала между ними существовали незамѣтные переходы. Это направленія Лаврова-Миртова и гр. Толстого. Между ними — „Отечественныя Записки“.

У Лаврова, несмотря на весь его раціонализмъ, идея „расплаты“ съ народомъ, признаніе безусловной цѣнности крестьянской общины, какъ основы будущаго экономическаго строя, призывъ къ героизму и подвижничеству. Это дѣлало его близкимъ къ эпохѣ человѣкомъ не только по идеямъ, но и по настроенію.

У Толстого преклоненіе передъ народомъ, боязнь внести въ его жизнь плоды развращенной культуры. Его главная мысль, что изъ жизни надо сдѣлать работу и воплощеніе совѣсти, а не проявленіе силы.

Конечный свой идеалъ Лавровъ искалъ и нашелъ на Западѣ. Толстой, этотъ нашъ послѣдній великій руссофилъ, ничего не хотѣлъ брать на Западѣ. Онъ шелъ за истиной къ первоначальному христіанству и къ ученію нашихъ сектантовъ.

Лавровъ не могъ не притти къ политикѣ, все равно какъ Толстой къ религіи.

На этомъ все раздвигавшемся полѣ угла двухъ теченій происходила борьба, споры подъ знаменемъ вопроса — „народъ и интеллигенція“. Только во второй половинѣ 70-хъ годовъ опредѣлилось, кто за кого, кто кому дороже.

Надо ли поступать согласно съ мнѣніями или интересами народа? Тѣ, кто все дальше уходилъ въ политику, разумѣется, отвѣчали: „интересами“; тѣ, кто вѣрилъ въ народную правду, отвѣчали: „согласно съ

мнѣніями". Большинство отвѣтовъ, впрочемъ, давалось на-двое, но въ основѣ ихъ все же лежала мысль: „мы можемъ поступить, какъ хотимъ".

Разсмотримъ прежде всего то общее, что есть въ обоихъ направленіяхъ, какъ самое для русской литературы характерное. И въ этомъ общемъ большой разумъ народничества: его любовь и ненависть, голосъ земледѣльческой стихіи. Это общее продолжалось недолго—лишь первую половину 70-хъ годовъ. Въ немъ культъ народа, идея расплаты за прошлое, ненависть къ подлой, какъ выражался Некрасовъ, дѣйствительности, вѣра въ христіанскія и коммунистическія основы русской крестьянской жизни, исключительная вѣра въ силу нравственныхъ началъ, пренебреженіе къ политикѣ... И, если мы не забыли этого нашего вчерашняго дня, мы скажемъ: онъ дѣйствительно нашъ.

4. Еще борьба съ Западомъ.

Въ главѣ о славянофильствѣ я уже достаточно говорилъ о ней, и здѣсь достаточно нѣсколькихъ словъ. Я указывалъ тамъ на трагизмъ положенія народа, вынужденнаго жить чужимъ умомъ и чужими учрежденіями. Неизбѣжность этого трагизма нисколько не облегчаетъ его ужаса. Форма, въ какую воплощается вліяніе чужой культуры, отрицательна, а для массы народа сводилась обыкновенно лишь къ замѣнѣ палокъ и батоговъ фухтелями и шпицрутенами. Спасеніе, которое обѣщаетъ чужой умъ, далеко проблематично, невидно для большинства, недоступно для пониманія. Стихійный страхъ русской массы передавался и въ высшіе слои.

Всякій организмъ, всякій народъ хочетъ быть самимъ собой, имѣть свое лицо. „Свое" всегда является предметомъ гордости, законной, хотя въ большинствѣ случаевъ и близорукой. Оно свидѣтельствуетъ о творческой силѣ, вынесенныхъ за него страданіяхъ, оно притягиваетъ къ себѣ всей тяжестью за вѣка нависшихъ на немъ воспоминаній.

Мы думали, что у насъ есть свое, скромное и цѣнное: народная жизнь въ ея общинно-земледѣльческомъ выраженіи. Мы увлеклись ею до фанатизма, чувствовали къ ней любовь, какъ къ чему-то дорогому и милому намъ. И какъ ни могущественно было вліяніе Европы, какъ ни велико ея очарованіе, это „свое" значило въ нашихъ глазахъ неизмѣримо больше. Признавши его, мы доходили до крайности, мы говорили о томъ, что Европа сгнила или гніетъ, что только мы, русскіе, разъ навсегда способны рѣшить ея экономическія противорѣчія. Великая задача справиться съ нищетой, утвердивъ и оздоровивъ общинную

жизнь крестьянина, была, очевидно, достаточной, чтобы стать мечтой цѣлаго поколѣнія.

Мы говорили, что Европа гніетъ, сгнила. Это слова славянофиловъ. Герцена, Достоевскаго... Люди совсѣмъ другого настроенія, какъ, напримѣръ, Михайловъ, твердили, хотя другими словами, то же самое. „Несчастіе Европы, ея безвыходное положеніе — урокъ для насъ", говорилъ онъ.

„Свергнуть съ себя иго Европы, ея культуру, ея науку и искусство, ея гражданственность" совсѣмъ не утопія, принадлежащая славянофиламъ и Толстому, а въ той или другой степени всѣмъ народникамъ безъ исключенія.

Посмотрите, какъ они колеблются, путаютъ, противорѣчатъ себѣ, когда заходитъ рѣчь о томъ, гдѣ лучше: у насъ съ нашимъ рабствомъ или на Западѣ съ его „свободой". Холодный умъ говоритъ: конечно, на Западѣ лучше; но вся стихія человѣка, весь его организмъ, его воля кричали, что нѣтъ, что лучше у насъ, несмотря на гнетъ, невѣжество, нищету [108]).

„У насъ лучше"; „у насъ не хуже"; „у насъ есть свое, настолько цѣнное, что передъ нимъ ничтожны блага, добытыя кровью и потомъ Европы"... Признаніе одной изъ этихъ формулъ мы непремѣнно найдемъ въ каждой народнической доктринѣ, прокламаціи, въ каждомъ искреннемъ художественномъ словѣ народника. Народники, если уважали Европу, то съ огромными оговорками; они любили Россію, а любовь слѣпа, или хочетъ быть слѣпой. Мы услышали бы, разумѣется, и еще болѣе рѣшительныя заявленія по этому вопросу, если бы не естественная робость людей передъ непосильной для нихъ задачей.

Все было на сторонѣ Европы, когда говорилъ умъ, политическія соображенія, уваженіе къ достоинству человѣка, высшимъ благомъ котораго является возможность свободнаго развитія своей личности и своихъ творческихъ силъ. Все было на сторонѣ русскаго народа, когда говорило сердце, естественная привязанность къ своему, жалость къ людямъ, идеалъ ихъ взаимныхъ отношеній, основанныхъ на любви — для чего русская община казалась самой подходящей, — мысль о расплатѣ съ народомъ за грѣхи отцовъ и поколѣній.

Казалось, что итти по пути западной Европы значитъ все больше увеличивать свой долгъ народу, обращать въ свою пользу его тяжелый бурлацкій трудъ, доходить до возможной высоты и утонченности душевнаго развитія, не обращая вниманія на то, что все это дѣлается за счетъ счастья тѣхъ,

---

[108]) Особенно ярко у Г. Успенскаго.

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусства, науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ...

Пролетаріата — вотъ чего не могли простить мы Европѣ. „Какъ, среди всей этой роскоши, спрашивали у насъ, послѣ милліоновъ кровавыхъ усилій, рядомъ съ Лувромъ, парламентомъ, рядомъ съ Бетховеномъ и Дарвиномъ кишитъ голодная нищета, матери продаютъ своихъ дѣтей подростковъ, честные труженики, какъ преступники, заключаются въ рабочіе дома?“ „Нѣтъ, мы не хотимъ этого... Мы не хотимъ никакихъ теорій и ученій, которыя оправдывали бы такое положеніе дѣлъ... Мы не хотимъ для себя ни правъ ни свободы, потому что это купится цѣною пролетаріата. Мы не хотимъ искусства и науки, пока народъ бѣденъ и нищъ. Мы не хотимъ обѣщаній медленнаго прогресса и улучшеній: наша любовь не позволитъ намъ ждать. И больше всего мы не хотимъ спокойной совѣсти западнаго человѣка, который самодовольно сидитъ на вершинахъ пирамиды, давя низшіе слои“...

Такъ говорятъ народники, и ихъ слова — возстаніе на Европу.

5. „Кающійся дворянинъ“ и идея расплаты съ народомъ.

„Въ кающемся дворянинѣ прежде всего и слышнѣе всего голосъ совѣсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благороднѣйшія побужденія, и на все у него готовъ одинъ отвѣтъ: „все оттуда же, все изъ условій крѣпостного состоянія, въ которомъ цѣлые вѣка томился народъ; и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одѣвалъ, услаждалъ моихъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнѣ, полнымъ пренебреженіемъ къ личности человѣка“... „Кающійся дворянинъ“ можетъ, конечно, успокоить себя вотъ какимъ разсужденіемъ: „мои („дворовые“) пріятели, Ѳедька и Яковъ, проданы, и этою цѣною оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ создался образованный, гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширитъ предѣлъ гуманности, образованности, развитія и либерализма“; но онъ не хочетъ, не можетъ сдѣлать этого. Его мучитъ совѣсть. Его тяготитъ дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвѣтить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спѣшитъ, торопится, хотя каждый шагъ дается ему не легко... Онъ точно взбирается на высокую гору, и часто лишь отчаяннымъ приступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

„Но, во имя правды, восклицаетъ онъ: пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости"! Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впослѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое.. Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху, свѣта! Какъ не каяться, если совѣсть мучитъ? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да вѣдь мучитъ. Это фактъ"...

Въ центрѣ психологіи „кающагося дворянина" г. Михайловскій ставитъ муки совѣсти и к р а с о т у этихъ мукъ. Герой его романа „Въ перемежку", Темкинъ, восклицаетъ: „Приходи же ты скорѣе, большой человѣкъ, ты, умный, талантливый и любящій, приходи, желанный, и разскажи за меня и за другихъ, какъ зарождается покаяніе. Заткни глотки всѣмъ, кто говоритъ, что красота погибла, что ея нѣтъ; покажи, что та красота, которую художники испоконъ вѣка выслѣживаютъ въ первой любви, ничто, плоскость въ сравненіи съ первой красотой перваго проблеска покаянія".

Въ изображеніи г. Михайловскаго личность кающагося дворянина довольно непріятна. Это порядочно избалованный, капризный ребенокъ, который каждыя 10 минутъ любуется самъ собой и поетъ гимны красотѣ своей духовной жизни и горделиво провозглашаетъ себя современнымъ русскимъ типомъ. Правда, самъ г. Михайловскій говоритъ намъ, что были и другіе кающіеся дворяне, не такіе самолюбивые и тщеславные, какъ герой его романа „Въ перемежку", но онъ ихъ едва показываетъ. На первомъ же планѣ его Григорій Темкинъ, который кается и любуется собой.

Дворянскую психологію надо, очевидно, брать во всей ея полнотѣ и цѣлости. Въ ней есть обычная примѣсь, хотя бы самая капелька того, что мы называемъ самовлюбленностью, и только въ самыхъ рѣдкихъ исключеніяхъ эта самовлюбленность уходитъ куда-то совсѣмъ на задній планъ.

„Съ тѣхъ поръ, продолжаетъ Темкинъ, какъ стоитъ святая Русь, никто болѣе насъ поэтическаго апоѳеоза не заслуживалъ. И мы его, наконецъ, получимъ. Ахъ, если бъ я былъ первоклассный художникъ, если бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ, я воспѣлъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисти, потому что, отвѣдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не запоешь подблюдныхъ пѣсенъ... Но дѣло такъ ярко говоритъ само за себя, что даже я, вполнѣ сознавая ничто-

жество своихъ силъ, надѣюсь дать вамъ, по крайней мѣрѣ, намекъ на дивную красоту нашего покаянія“ [109]).

Кается Темкинъ въ томъ, въ чемъ могутъ или могли каяться всѣ гг. дворяне. Здѣсь разныя мелкія, хотя бы и случайныя, несправедливости въ отношеніи „къ меньшому брату“, припомнившіяся послѣ просвѣтленія и исторгающія изъ души вопль: „Ѳедька, великодушный, прости меня!“ Здѣсь главное — гнетъ сознанія, что личное развитіе, личная жизнь куплена цѣною мужицкаго труда и счастья. Это сознаніе особенно не даетъ покоя, заставляетъ тревожно искать выхода, даже заподозрить всю нашу цивилизацію.

„Для того (разсуждаетъ Темкинъ и за себя и за всѣхъ будущихъ Темкиныхъ), чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, то-есть нужны Ѳедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ вольные, но во всякомъ случаѣ приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся“...

Въ этихъ строкахъ передъ нами, очевидно, общіе штрихи той духовной драмы, которую такъ величественно пережилъ Левъ Толстой. Эта драма, выросшая изъ мысли, изъ сознанія, что все, что есть у меня и во мнѣ, чужое, купленное огромной цѣной страданій и труда меньшого брата, заставила его совсѣмъ отказаться отъ благъ цивилизаціи, проклясть искусство, науку и политику.

Темкинъ, очевидно, идетъ въ другую сторону. Какую, мы не знаемъ хорошенько, но исходная точка его та же самая: воспоминаніе о грѣхахъ молодости, жажда оправданія своей жизни, очищенія своей совѣсти. Онъ доходитъ въ этомъ направленіи до удивительныхъ и благородныхъ мыслей, высказать которыя онъ, впрочемъ, не можетъ, не замѣтивъ немедленно же, что эти мысли и удивительны и благородны. Но простить ему эту маленькую слабость (которая, однако, по мнѣнію многихъ критиковъ, въ большихъ размѣрахъ повторяется даже въ Толстомъ) — и тогда своеобразная драма изъ жизни русской дворянской совѣсти и въ этой новой обстановкѣ покажется намъ интересной и значительной.

Вѣдь если не въ Темкинѣ, то въ другихъ она разыгрывалась съ тѣмъ же подъемомъ мечты, жажды духовнаго обновленія, жажды праведности, съ тѣмъ же надрывомъ, но въ обстановкѣ гораздо болѣе су-

---

[109]) По существу, однако, здѣсь ничего новаго. Это все тѣ же мотивы, что у Радищева, Герцена, Огарева, также нѣкоторыхъ декабристовъ. Кающійся дворянинъ создалъ нашу литературу, и ограничивать сферу его дѣятельности 70-и годами нельзя. Самъ Михайловскій этого не дѣлаетъ, причисляя къ кающимся дворянамъ Писарева (!).

мрачной, разыгрывалась „вперемежку“ не съ разсужденіями о красотѣ покаянія, а цѣлыми полосами тоски унынія, сознанія собственнаго своего безсилія, доходившаго до отчаянія. „Удивительныя же по благородству мысли“ являлись лишь какъ рѣдкія праздничныя минуты, какъ лучи солнца въ туманную осень.

Быть можетъ, дѣйствительно бываютъ обстоятельства, при которыхъ „красота первыхъ проблесковъ покаянія“ превосходитъ въ неизмѣримой степени красоту первой любви, но, вообще, работа совѣсти тяжелая и мучительная. Она всячески требуетъ „сокращенія бюджета личной жизни“, т. е. послѣдовательнаго самоограниченія. Это уже болѣе, чѣмъ элементарно, что покаянная совѣсть ищетъ жертвы и искупленія, радуется страданію. Припомните Раскольникова изъ „Преступленія и наказанія“, Макбета, или даже Никиту изъ „Власти тьмы“ Толстого, и вездѣ вы увидите то же самое: человѣкъ, какъ личность, теряетъ въ своихъ глазахъ всякую цѣнность, грѣхъ не даетъ ему покоя, преслѣдуя его своими галлюцинаціями, какъ тѣнь Банко, какъ убитая старушка-процентщица, какъ хрустящія косточки новорожденнаго задавленнаго „ребеночка“. Покаянная совѣсть даетъ не силу, а безсиліе, и оттого-то она всегда ищетъ оградить себя чѣмъ-нибудь внѣшнимъ: стѣнами тюрьмы, принужденіемъ каторги, догматическимъ уставомъ какимъ-нибудь, чтобы довести до конца свой искусъ, наложенный на себя въ минуту покаяннаго экстаза. Въ долгой драмѣ совѣсти, пережитой Толстымъ, нѣтъ ни одной свѣтлой страницы: все уныло и мрачно, все проникнуто духомъ эпитимьи [110])...

---

[110]) Апоѳеозъ совѣсти чисто историческая категорія. Вырабатывается постепенно другой взглядъ на нее. Особенно глубока ея переоцѣнка въ романѣ Горькаго „Трое“. Поучителенъ и такой взглядъ на нее:

„Вопреки всѣмъ сантиментальнымъ, мистическимъ тирадамъ, мы видимъ, что въ угрызеніяхъ совѣсти нѣтъ ничего священнаго, даже ничего достойнаго уваженія. Разъ нѣтъ никакой надобности, чтобы виновный страдалъ, нѣтъ надобности, чтобы онъ страдалъ и отъ угрызеній совѣсти. Что такое эти угрызенія? Вещь вполнѣ естественная, психологическое слѣдствіе извѣстныхъ поступковъ; въ ней нѣтъ ничего таинственнаго или божественнаго. Очень часто угрызенія бываютъ полезны, но сами по себѣ они вовсе не составляютъ блага. Мы можемъ желать, чтобы виновный исправился только силою своего разума, влеченіемъ къ добродѣтели, не чувствуя никакого страданія; угрызенія же совѣсти могутъ быть только крайнимъ средствомъ для исправленія, замѣняющимъ безъ всякаго преимущества разумъ. Если бы на нихъ лежала миссія справедливости или, точнѣе, мстительная миссія, то надо признаться, что они удивительно плохо приспособлены къ ней, такъ какъ слишкомъ мало соразмѣрны съ совершеннымъ проступкомъ. Съ одной стороны, отъ привычки они съ поразительной скоростью притупляются, такъ что закоренѣлый преступникъ, наприм., гораздо меньше чувствуетъ угрызенія со-

Жертва, подвигъ, самоограниченіе — этого требуетъ покаянная совѣсть. Разработайте эти мотивы до конца, и вы необходимо придете къ полному отказу не только уже отъ наслажденій и соблазновъ жизни, но и рѣшительно отъ всякаго проявленія своего „я“. Придавленное покаяніемъ, это „я“ никогда не посмѣетъ заявить о своихъ правахъ, должно, по существу, радоваться, когда возрастаетъ его иго, ловить и цѣловать наказующую его руку. Сущность покаянія въ томъ и заключается, чтобы человѣкъ оказался ничтожнымъ, презрѣннымъ и достойнымъ всякаго униженія въ своихъ глазахъ.

Нужно было, конечно, все безобразіе, весь развратъ, весь ужасъ нашей „пошехонской старины“, нужны были вѣка гнета, насилія и издѣвательства надъ себѣ подобными, чтобы совѣсть, завопивъ о расплатѣ, могла сыграть возрождающую роль. Обстоятельства жизни сложились такъ, что этой возмущенной совѣсти былъ немедленно же предложенъ спасительный выходъ — подвижничество за народъ.

„Общество должно расплатиться съ народомъ, возвратить свой долгъ народу“. Такъ формулировала свои требованія совѣсть.

Эта идея „расплаты“, мелькавшая уже передъ Герценомъ и особенно Огаревымъ, стала тревожить нашу литературу еще съ середины 60-хъ годовъ. По крайней мѣрѣ, въ № 9-мъ „Современника“ за 1865 годъ мы находимъ любопытную статью: „Какъ измѣрить правильно долгъ народу привилегированныхъ классовъ?“...

Идея „расплаты“ формулирована и развита Лавровымъ. Послѣ него Михайловскимъ. Совершенно ясно и опредѣленно высказался Лавровъ уже въ 1868 г. въ своихъ „историческихъ письмахъ“.

„Дорого, пишетъ онъ, з а п л а т и л о человѣчество за то, чтобы нѣсколько мыслителей въ своемъ кабинетѣ могли говорить о его прогрессѣ... Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибшихъ въ минувшемъ въ борьбѣ за его существованіе и оцѣнить работу ряда поколѣній, трудившихся только для поддержанія его жизней и для развитія другихъ, и если бы в ы ч и с л и т ь, сколько потерянныхъ человѣческихъ жизней и какая цѣнность приходится на каждую личность, нынѣ живущую нѣсколько человѣческою жизнью, —

вѣсти, чѣмъ ребенокъ послѣ перваго своего непослушанія. Съ другой стороны, что гораздо важнѣе, наиболѣе чистыя и, слѣдовательно, наиболѣе совѣстливыя души часто мучаются угрызеніями совѣсти за самые ничтожные проступки свои. Итакъ, мы не понимаемъ, какъ можно придавать угрызеніямъ совѣсти таинственную роль нравственнаго искупленія; это есть обыкновенное, часто полезное с л ѣ д с т в і е проступка, а не н а к а з а н і я,—такое же естественное чувство, какъ гнѣвъ, страхъ или сожалѣніе“. (см. „Журн. для всѣхъ“ 1893 г., сент.).

если бы все это сдѣлать, то, вѣроятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капиталъ крови и труда израсходованъ на ихъ развитіе"...

Установивъ затѣмъ, что каждое поколѣніе *отвѣтственно* предъ потомствомъ за то лишь, что оно *могло сдѣлать и чего не сдѣлало*, Лавровъ продолжаетъ:

„Мы должны признать, что выгоды современной цивилизаціи оплачены не только неизбѣжнымъ зломъ, но еще огромнымъ количествомъ совершенно *ненужнаго* зла, отвѣтственность за которое лежитъ на предыдущихъ поколѣніяхъ цивилизованнаго меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодѣйствію всякой цивилизующей дѣятельности. Исправить въ прошедшемъ это зло мы уже не можемъ. Страдавшія поколѣнія умерли, не облегченныя въ своемъ трудѣ. Нынѣшнее цивилизованное меньшинство пользуется ихъ трудомъ и страданіями. Мало того: оно пользуется еще страданіями и трудомъ огромнаго числа своихъ современниковъ и можетъ вліять на увеличеніе труда и страданій ихъ внучатъ. Такъ какъ за это послѣднее обстоятельство мы несли и будемъ нести нравственную отвѣтственность передъ потомствомъ, то историческое изслѣдованіе цѣны совершавшагося прогресса приводитъ къ слѣдующему практическому вопросу: какія средства имѣетъ настоящее поколѣніе, чтобы уменьшить свою отвѣтственность? Что намъ дѣлать, чтобы не отвѣчать передъ потомствомъ за новыя страданія человѣчества?"

Идея расплаты является у Лаврова, очевидно, въ самомъ „благоразумномъ" освѣщеніи. Онъ настаиваетъ не столько на расплатѣ за прошлое, сколько на отвѣтственности за будущее. Но и въ его спокойномъ изложеніи есть уже фразы, къ которымъ особенно экспансивно должна прилѣпиться возмущенная совѣсть. Это фразы о „капиталѣ крови и труда", затраченномъ на образованное меньшинство, объ огромномъ количествѣ совершенно ненужнаго зла, какимъ оплачены выгоды современной цивилизаціи, и, быть можетъ одно соображеніе, особенно настойчиво смущавшее русскую совѣсть: „впрочемъ, говоритъ Лавровъ, слѣдуетъ ужаснуться не тому, что прогрессъ меньшинства обошелся дорого, но развѣ тому, что обошелся *такъ* дорого, и что за эту цѣну сдѣлано *такъ мало*"...

Это соображеніе кажется мнѣ особенно важнымъ потому, что за нимъ немедленно же слѣдовало (въ видѣ ли рѣшительнаго признанія или колеблющагося намека) другое: „если капиталъ труда и крови такъ безмѣрно великъ, и если выгоды цивилизаціи такъ незначительны, то не ясно ли, что, отдавши народу всѣ эти выгоды, мы все же не уплатимъ и однихъ процентовъ? Не лучше ли, поэтому, не смущать даже народъ

сомнительными и ничтожными дарами прогресса, не мутить его чистой жизни, внося въ нее элементы, изъ которыхъ каждый — результатъ кроваваго насилія, безмѣрнаго страданія, ненужнаго зла? Не правильнѣе ли будетъ опроститься самому, чѣмъ вводить меньшую братію на тотъ путь страданія и жертвъ, который современную Европу привелъ лишь къ сословному государству, экономическому рабству массъ, тупому самодовольству сильныхъ?“...

Легко понять всю соблазнительность этой мысли для насъ, русскихъ. Во-первыхъ, мы всегда были людьми, жившими чужими идеями, которыя (хорошо или плохо) только приспособливали къ потребностямъ своей жизни. Мы не были работниками и творцами, и высшая прелесть завоеваній прогресса, т. е. сознаніе въ немъ с в о е г о, н а м и въ него внесеннаго, нашего л и ч н а г о въ немъ участія, оставалось для насъ совершенно чуждой. Въ X-мъ вѣкѣ насъ научили христіанству, а въ XVIII-мъ стали отучать отъ него и пріучать къ атеизму или матеріализму; великой борьбы за свободу совѣсти, вѣры и мысли мы не пережили. Намъ дѣйствительно ничего не стоило сказать: „сдѣлано такъ мало“, потому что мы никогда не знали, какъ это дѣлалось и что, въ сущности, значило сдѣланное. Во-вторыхъ, изъ того малаго, чего достигалъ Западъ, мы получали всегда малѣйшее и даже худшее, часто какую-нибудь одну подробность цѣлаго, не имѣвшую рѣшительно никакого смысла, въ родѣ пудренныхъ косичекъ у солдатъ. Въ т р е т ь и х ъ, всѣ соображенія о благахъ прогресса, падая на возмущенную совѣсть, могли показаться даже преступными: они говорятъ о новыхъ жертвахъ, новыхъ страданіяхъ, объ увеличеніи капитала крови и труда... Мы же имѣли передъ собою крестьянскую земледѣльческую жизнь, міръ и общину, мы толковали это какъ высшій типъ развитія, мы видѣли здѣсь всю возможность, всѣ условія счастья, осуществленіе котораго единственно и могло успокоить совѣсть, и тщательно цѣплялись за всякій призывъ къ опрощенію, за всякій аргументъ въ его пользу.

Другимъ языкомъ, съ большей страстью говоритъ о расплатѣ съ народомъ, т. е. объ излюбленной идеѣ эпохи, Михайловскій.

„На извѣстной ступени развитія человѣкъ не можетъ н е с о д р о г а т ь с я при мысли о томъ количествѣ жизней, которыя оплатили собой его личное развитіе. Если онъ не въ состояніи представить себѣ съ достаточной ясностью всю эту необъятную перспективу невольныхъ жертвъ, то его все-таки смутно тянетъ к ъ у п л а т ѣ д о л г а. Для насъ этимъ стремленіемъ даже измѣряется высота развитія человѣка“...

„Мы поняли, что с о з н а н і е о б щ е ч е л о в ѣ ч е с к о й п р а в д ы и о б щ е ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ и д е а л о в ъ д а л о с ь н а м ъ, т о л ь к о б л а г о д а р я в ѣ к о в ы м ъ с т р а д а н і я м ъ н а р о д а. Мы не

виноваты въ этихъ страданіяхъ народа, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ... Логическимъ ли теченіемъ идей или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловѣческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія, — мы пришли къ мысли: мы должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хотя, можетъ быть, не всегда вполнѣ сознательно. Долгъ лежитъ на нашей совѣсти, и мы его отдать желаемъ". „Вы, продолжаетъ Михайловскій, обращаясь къ Достоевскому, смѣетесь... за мысли о продпочтительности соціальныхъ реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значитъ? Для „общечеловѣка", для citoyen'a, для человѣка, вкусившаго плодовъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанныя съ этой свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвѣтка, мы не хотимъ правъ и этой свободы. Да будутъ они прокляты, если только они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ. А, г. Достоевскій, вы сами citoyen, вы сами знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ее во что бы то ни стало, для нея самой и для самого себя. Вы, значитъ, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія" [111]).

Я говорю, что въ этихъ строкахъ уже совсѣмъ другой языкъ и другое настроеніе, чѣмъ у Лаврова. Гораздо больше экспансивности, даже экстаза. Въ нихъ, дѣйствительно, слышенъ духовный надрывъ и голосъ больной совѣсти, которая постоянно твердитъ человѣку, что онъ должникъ народа, что пора приняться за расплату, и смущаетъ его мыслью, что „нашъ долгъ неисчислимъ, и того, что мы въ настоящую минуту имѣемъ и знаемъ, не хватитъ даже на уплату процентовъ".

Выше я же указывалъ на то, что раціоналистическія основы народ-

[111]) Н. К. Михайловскій, I с.

ничества очень слабы. Въ сущности, и приведенныя разсужденія еще разъ подтверждаютъ ту мысль, что вліяніе логики въ дѣлахъ человѣческихъ ничтожно, что въ созданіи сектъ, „ученій", даже при очень широкомъ распространеніи послѣднихъ, логика играетъ едва ли не послѣднюю роль. Первая и важнѣйшая принадлежитъ психологіи, органическому воспріятію, в о л ѣ, которая образуется не алгеброй логическихъ формулъ, а всѣми данными натуры, всѣми впечатлѣніями жизни. „Я хочу" неизмѣримо больше опредѣляетъ мое „я думаю", чѣмъ „я думаю" —мое „я хочу".

Поэтому намъ можно оставить пока въ сторонѣ логическую путаницу, окружавшую идею расплаты съ народомъ. Для меня важно лишь то, что это была идея о р г а н и ч е с к а я, въ которой выражалась в о л я извѣстной части нашей интеллигенціи. И, если вспоминать, до чего въ этомъ отношеніи доходили люди тѣхъ дней, мы признаемъ, что воля была огромная — воля подвижниковъ и мучениковъ. Не ищите здѣсь ея полной характеристики: нуженъ большой литературный талантъ и полная свобода слова, чтобы еще разъ заставить насъ пережить ту экзальтацію, тотъ экстазъ, который вызывается такой чуждой для насъ идеей, какъ идея расплаты, такой, по существу, христіанской мукой и такимъ христіанскимъ стыдомъ, какъ стыдъ и мука за свое общественное положеніе, за грѣхи отцовъ, за обиды, нанесенныя въ дѣтствѣ товарищамъ изъ крѣпостныхъ дѣтишекъ, за свое знаніе физики и химіи, за возможность наслаждаться Бетховеномъ и Моцартомъ... Мы такъ далеки отъ этой кающейся дворянской совѣсти, что я боюсь: не разбираемъ ли мы только звуки того времени, не понимая ихъ значенія?

Люди шли въ народъ, дѣлались простыми рабочими изъ ненависти къ привилегіямъ своей среды, своего происхожденія. Только нечестный человѣкъ можетъ смѣяться надъ неуклюжими формами этого „опрощенія", или иронизировать надъ тоской интеллигента, что онъ „не можетъ кормиться рубцомъ и печенкой на гривенникъ въ день и ходить въ посконной рубахѣ". Совсѣмъ не смѣхъ, во всякомъ случаѣ, должна вызвать сцена, разсказанная Новодворскимъ изъ жизни одного кающагося дворянина, который нанялся на барку таскать бревна:

„Въ эту минуту на берегу раздался рѣзкій крикъ подрядчика: „Эй, вы, принимайся"... Мужики встали, перекрестились, скинули съ себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два бѣлорусса подавали бревна, остальные, каждый по одному, носили ихъ по перекинутой съ барки доскѣ на берегъ. Въ какомъ-то сладострастномъ опьяненіи подошелъ я къ полѣну, но... въ этомъ полѣнѣ, казалось, сосредоточилось, какъ въ фокусѣ, все тяжелое—такое тяжелое, что при попыткѣ поднять его

меня всего бросило въ жаръ. „Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту“. плаксиво притворился я, якобы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство... Ахъ, какое это было чувство, прекрасная читательница... Если бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ выѣхавшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ бала свалилось платье, если бы только что обвѣнчавшійся страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на ласки любимой женщины можетъ отвѣчать лишь слезами отчаянія, — ни та, ни другой, навѣрно, не испытали бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю. Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его, я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки. „Ха, ха! Небось, не сладко?“ слышались голоса товарищей. Я смутно сознавалъ все происходившее вокругъ. Мнѣ было невыносимо жутко. „Ну, парень, серьезно проговорилъ старый рабочій: это, видно, не твое дѣло: тебѣ бы сюда не соваться... Дай, помогу, что ли?“ Но мнѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шапку и тихо, шатаясь, пошелъ прочь. „Утекъ, хлопцы, ей-Богу... ха, ха, ха!“ слышалось сзади. — Ишь, щелкоперъ“. — „Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно, парень хворый. Изъ лакеевъ, должно быть“. А у меня полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ наудачу, едва различая предметы, въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось: „хворый, хворый“... [112]). Освистанный актеръ бросается съ моста въ воду...

Здѣсь нѣтъ уже и въ поминѣ того барскаго самолюбованія и тщеславія, которые намъ пришлось отмѣтить въ дворянинѣ Темкинѣ. Здѣсь, дѣйствительно, муки совѣсти и высшая совѣстливость, святая жажда сохранить полную красоту и цѣломудріе своего духа, не загадить его мерзостью нашихъ экономическихъ отношеній, допускающихъ господина и раба, наемъ и эксплуатацію...

Попытаемся, однако, сдѣлать еще шагъ въ пониманіи идеи „расплаты“...

Первое и самое важное, что мы имѣемъ для этого, состоитъ въ признаніи неизмѣримости долга; второе, что всѣ успѣхи прогресса, выгоды цивилизаціи, завоеванія науки, пріобрѣтенія искусства, вмѣстѣ взятые, недостаточны даже на уплату процентовъ по долгу, и третье—

---

[112]) Новодворскій.

тайная, но настойчивая мысль, что прогрессъ, культура, цивилизація, созданные неравенствомъ, раздѣленіемъ труда, кровью и потомъ меньшого брата могутъ, въ сущности, лишь испортить его жизнь, а никакъ не обезпечить его счастье.

Идея расплаты попадала въ безвыходное положеніе потому, что платить было нечѣмъ.

Продолжая нить аргументаціи Л. Н. Толстого, г. Михайловскій, очень въ то время близкій къ нему по своему отношенію къ культурѣ, говоритъ:

„Безъ сомнѣнія, въ „Ванькѣ-ключникѣ“ и „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“ нѣтъ той тонкости и разнообразія и отдѣлки, какими блестятъ Пушкинъ и Бетховенъ; они ниже послѣднихъ въ смыслѣ степени развитія, но они принадлежатъ къ высшему типу развитія, находящемуся пока на низкой ступени, но могущаго имѣть свой прогрессъ. Эту возможность развитія, болѣе широкаго и глубокаго, чѣмъ какимъ вы обладаете сами, вы отнимете, если вамъ удастся подсунуть Пушкина вмѣсто „Ваньки-ключника“ и Бетховина вмѣсто „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“ вы оберете мужика въ духовномъ отношеніи, прямо сказать, ограбите его. Ограбите даже въ томъ случаѣ, если вамъ удастся всучить мужику именно такіе свои перлы и адаманты, какъ Пушкинъ и Бетховенъ“...

„Если дать народу Пушкина и Бетховена значитъ ограбить его“... если выработанное обществомъ сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ, наука, искусства, техника не достаточны на уплату однихъ только „процентовъ по долгу народу“, если расплатиться съ народомъ можно только безостановочнымъ движеніемъ науки, которое покупается, однако, потомъ и страданіемъ трудящейся массы, т. е. все новымъ увеличеніемъ „долга“,—то какъ же на самомъ дѣлѣ можетъ состояться расплата?

Когда впослѣдствіи эти вопросы были предъявлены Михайловскому, онъ не зналъ, что отвѣтить [113]). Логика нашего народничества не логика теоретической мысли, а самой жизни. Когда вѣрили въ мужика, въ общину, когда тѣшили себя мыслью, что намъ предоставлены право и возможность выбрать изъ западно-европейской цивилизаціи что намъ, интеллигенціи, угодно (федерализмъ земледѣльческихъ общинъ, аккумуляторы и пр.), можно было не замѣчать противорѣчій. Интелигенція говорила: мы пожертвуемъ собой и спасемъ общину, преобразовавъ ее въ коммуну, „фаланстеръ“.

Здѣсь только плохая логика, плохая философія, чрезмѣрная вѣра

---

[113]) Г-мъ Яковенко въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ 1887 г.

въ разумъ и силу интеллигенціи[114]). Жизнь этихъ разсчетовъ не оправдала. и не лучше ли вообще смотрѣть на наше народничество, особенно въ тѣхъ его мысляхъ и стремленіяхъ, гдѣ звучатъ надорванные аккорды измученной совѣсти, какъ на лирику души, красивую и глубокую по своему содержанію?

Когда вы читаете въ памятникахъ прошлаго, даже подземныхъ, такое объясненіе, что человѣкъ шелъ въ народъ, отказывался отъ образованія, комфорта и привилегій, становился простымъ рабочимъ, терпя лишенія и голодъ, для того, чтобы поднять экономическое благосостояніе мужика и массы,—этому вѣрить нельзя. Это слишкомъ просто, алгебраическая формула незаконно поставляется вмѣсто симфоніи самыхъ разнообразныхъ звуковъ и настроеній. Для того, чтобы поднять экономическое положеніе массы или чтобы научить крестьянина класть сегодня печи лучше, чѣмъ онъ клалъ вчера, не надо героизма и подвижничества.

Но оно стало необходимымъ, когда рѣчь зашла о расплатѣ съ народомъ, о служеніи народу, о примиреніи съ своей совѣстью.

Вѣдь тутъ, повторяю, послѣдняя наша борьба съ Западомъ, послѣдняя борьба, которую дала сходившая со сцены земледѣльческая Россія нарождавшейся Россіи городской, промышленной, капиталистической.

6. Обращеніе къ мужику и природѣ.

Мнѣ кажется, что мы подошли къ центральному пункту народничества, особенно первыхъ его дней, его „романтической юности", совпавшей съ первой половиной 70-хъ годовъ. Объ этой романтической юности и розовыхъ мечтахъ самоотверженнаго служенія народу съ благодарностью и умиленіемъ вспоминали потомъ всѣ, кого судьба и внѣшнія обстоятельства заставили пойти другой и часто страшной дорогой.

И кающаяся дворянская совѣсть, и разочарованіе разночинца въ культурѣ, и защита общинно-земледѣльческихъ основъ русской жизни, по существу примитивныхъ, даже первобытныхъ, такъ сказать, архаическихъ, мысль о расплатѣ съ народомъ и другая герценовская мысль, что въ народѣ сохранилась „красота и праведность духа",—все это порознь или вмѣстѣ взятое не могло не придать народническому движенію, вначалѣ еще компактному не дифференцировавшемуся на толки и секты, яркой окраски о п р о щ е н і я.

---

[114]) Теперь совершенно непонятно, на чемъ основывалась такая вѣра. Если мы спросимъ себя, была ли въ то время интеллигенція, придется сказать: „нѣтъ, была только м о л о д е ж ь и нѣсколько писателей"...

Опрощеніе—это невысказанное тогда слово, которое мы потомъ совершенно неправильно прицѣпили къ ученію одного Толстого — было если не на языкѣ, то въ сердцѣ у всѣхъ.

Толстой, съ его невѣріемъ въ культуру, былъ тогда не въ сторонѣ, а въ центрѣ движенія. Онъ былъ уже на высотѣ, всѣмъ виденъ. На страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“ рядомъ съ статьями Лаврова развивалъ онъ свои „опрощающія“ мысли, и редакція журнала по существу присоединялась къ нимъ.

Мысли Толстого, вызвавшія сочувствіе „Отечественныхъ Записокъ“, заключались прежде всего въ томъ, что нѣтъ ничего болѣе преступнаго, какъ давать народу нашу культуру и цивилизацію, наше искусство и науку; что если „ввесть дитя народа въ этотъ міръ... онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выйти въ него“; что „сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, ненужны для народа; что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, что это искусная эксплуатація“, что „требованія народа отъ искусства законнѣе требованій испорченнаго меньшинства“; что „лубочная картина чорта въ кувшинѣ возбудитъ въ народѣ болѣе высокія чувства, чѣмъ картина Иванова“; что „передъ Венерой Милосской явится лишь законное отвращеніе, какъ передъ наготою и наглостью разврата“; что квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, а лучшее произведеніе Пушкина — наборомъ словъ“... Дальше Толстой говорилъ, что „цивилизація куплена за счетъ крови и пота народной массы, которая ею не пользуется“, и что „всей тяжестью она лежитъ на нашей совѣсти, слишкомъ уже развращенной, чтобы почувствовать весь ужасъ такого положенія“, и т. д.

Что же дѣлать, въ такомъ случаѣ? Для Толстого стало вскорѣ яснымъ, что единственный выходъ — отказаться отъ надстроекъ культуры и уйти въ природу, въ опрощеніе.

Съ нимъ не заигрывали тѣ, которые въ эту романтическую эпоху народничества сочувственно говорили о его мысляхъ. Эти мысли лежали въ стихійныхъ глубинахъ русскаго самосознанія. Ихъ любили не только какъ наивную дѣтскую сказку, а какъ мудрость покаянія, которая ищетъ подвига и самоограниченія. Такъ ярко и красиво вырисовывался тутъ культъ мужика, жалость къ массѣ, такъ безпощадно снимались всѣ сто ризокъ съ общественнаго строя, основаннаго на неравенствѣ, насиліи и эксплуатаціи, такъ отчетливо звучалъ голосъ совѣсти...

Въ немъ, этомъ голосѣ, надо искать разгадку и разъясненіе многихъ, теперь странныхъ, почти фантастическихъ, явленій того времени.

Совѣсть, постоянно напоминая о тѣхъ, „чьи работаютъ грубыя руки“, не могла не видѣть своего рода соблазна и грѣха, увеличенія долга народу въ занятіяхъ искусствомъ и наукой, въ эстетическихъ наслажденіяхъ поэзіей Пушкина или музыкой Бетховена. Духовно сближая и объединяя съ народомъ, возводя этотъ послѣдній на пьедесталъ страданія, создавая даже въ крайнихъ, но не исключительныхъ случаяхъ себѣ изъ него кумиръ, она невольно, но неизбѣжно заставляла подражать ему. Это начиналось съ обстановки, съ отказа отъ ея комфорта, въ стремленіи пріучить себя все къ болѣе и болѣе ригористическому образу жизни, переходило на языкъ, пріемы мышленія и способы обсужденія. Все равно какъ Толстой старался писать возможно болѣе дѣловито, просто и неуклюже, такъ возможно больше дѣловито, просто и неуклюже старались говорить и писать другіе. Подражаніе, повторяю, было непзбѣжное и невольное. Неизбѣжное и невольное, потому что, съ одной стороны, существуетъ необходимая связь между тревогами совѣсти и упроненнымъ, даже аскетическимъ образомъ жизни; съ другой, какъ же было не подражать мужику, чья жизнь объявлялась „высшимъ типомъ развитія“? Аскетизмъ — все равно, въ какой степени — успокаиваетъ, устраняя съ глазъ и изъ личной жизни постоянные упреки въ служеніи грѣху. Если я ограничилъ себя въ пищѣ, одеждѣ, эстетикѣ, то этимъ, правда, я нисколько не расплатился съ народомъ, зато гораздо меньше народнаго труда и страданія идетъ теперь на меня лично. Это уже хорошо. Это уже первая ступень. Второй, разумѣется, будетъ жизнь на свой счетъ физическимъ трудомъ, польза и необходимость котораго очевидны для всѣхъ. Этотъ физическій трудъ не то что литература или искусство, которыя, въ сущности, только „искусная эксплоатація“ массъ. Дальше требованія совѣсти дойдутъ до полнаго отреченія отъ самого себя, до жертвы собою за счастье другихъ, т. е., въ данномъ случаѣ, мужика, народа. Въ томъ же, конечно, смыслѣ дѣйствовало и признаніе крестьянской жизни высшимъ типомъ, признаніе за ней праведности. Что-то иконописное мы видимъ въ изображеніяхъ мужика того времени. Была вѣра въ его внутреннюю силу, правдивость, высшій смыслъ и разумѣніе того, что нужно людямъ для счастья, равенства и братства.

Не одинъ Толстой подготовлялъ путь къ опрощенію, къ мужику. И Некрасовъ, и Щедринъ, и Успенскій, и Златовратскій, и забытые теперь dii minores, когда-то нужные и интересные, какъ люди той же господствующей идеи, закрѣпляли культъ крестьянскаго царства.

На его сторонѣ и философія Михайловскаго въ ея главныхъ основаніяхъ [115]).

---

[115]) Это предразсудокъ, въ значительной степени закрѣпленный самимъ Михайлов-

Онъ исходитъ изъ представленія о цѣлостной, гармонически развитой (т. е. физически, умственно и нравственно) человѣческой личности, къ возстановленію которой должны стремиться люди. Но она была когда-то назади прогресса, въ золотомъ вѣкѣ прошлаго, гдѣ господствовало „простое сотрудничество". Процессъ исторіи представляется ему распаденіемъ и разложеніемъ цѣльнаго человѣка. „Раздѣленіе труда одолѣло". „Исторія вступила на ложный и страшный путь". Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стиралъ непосредственность взаимныхъ отношеній и дробилъ индивидуальную цѣлостность"... Это, правда, обусловливало возможность развитія. Но и здѣсь нечего радоваться, нечего ликовать: „это развитіе, какъ исторія вообще, пахнетъ трудовымъ потомъ, кровью, горемъ и страданіемъ".

Онъ рисуетъ рѣзкую противоположность дикаря и современнаго фабричнаго рабочаго.

„Дикарь собирается построить себѣ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цѣли деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозитъ ихъ на мѣсто, самъ дѣлаетъ срубъ и доканчиваетъ хижину. Во все время работы онъ жилъ полною жизнью. Въ то время, какъ онъ потѣлъ и надрывался въ лѣсу, онъ работалъ не только физически: выборъ деревьевъ, мѣста для провоза ихъ, мѣста для постройки — все это требуетъ извѣстной умственной напряженности. Кромѣ того, во все время работы, дикарь думаетъ о своей будущей жизни въ той хижинѣ, надъ постройкой которой онъ бьется, о тѣхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всѣ свои физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живетъ во время работы всѣмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тѣхъ областяхъ труда, которыя подверглись наибольшему числу дифференцированій. Напримѣръ, производство карманныхъ часовъ, по Боббеджу, состоитъ изъ ста двухъ отдѣльныхъ операцій, такъ что изъ сотни людей, занятыхъ этимъ дѣломъ, каждый всю жизнь сидитъ надъ одними и тѣми же колесами или винтиками, или зубчиками, и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умѣетъ дѣлать что-нибудь, кромѣ своего спеціальнаго дѣла. Понятное дѣло, что это однообразіе занятія исключаетъ какую бы то ни было умственную дѣя-

---

скимъ, будто онъ, Михайловскій, всю жизнь проходилъ въ „одномъ сюртукѣ" и умеръ съ тою же программой, тѣми же взглядами на жизнь, съ какими вступилъ въ литературу. Въ юности онъ вплотную подходилъ къ народникамъ, и не только своей красной рубахой-косовороткой. Вѣру же ихъ въ особые пути русскаго прогресса онъ, дѣйствительно, сохранилъ почти до конца дней.

тельность, или, по крайней мѣрѣ, низводитъ ее до возможнаго minimum'а. Какъ говоритъ Шиллеръ: вѣчно возясь съ какимъ-нибудь обрывкомъ цѣлаго, человѣкъ и самъ изъ цѣлаго превращается въ обрывокъ“ [116]).

Фабричный рабочій для Михайловскаго символъ западной промышленной цивилизаціи. Наше с ч а с т ь е, что у насъ нѣтъ его, и что у насъ есть крестьянинъ и крестьянскій трудъ...

„Исторія вступила на страшный и ложный путь“.

„Прежде каждый членъ общества умѣлъ строить жилища и ловить звѣрей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но зато научилась управлять, лѣчить, гадать и т. д. Слѣдующій шагъ къ соціальной разнородности есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и шагъ дальнѣйшей индивидуальной спеціализаціи, т. е. однородности. Правящій классъ распадается на свѣтскихъ и духовныхъ правителей. Одни сосредоточиваютъ свои силы и способности, главнымъ образомъ, на войнѣ, а другіе на собственно интеллектуальной дѣятельности, въ предѣлахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затѣмъ каждый изъ представителей того и другого подкласса избираетъ себѣ все болѣе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, увеличеніе разнородности общества въ цѣломъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недѣлимомъ. Нѣкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цѣломъ ряду поколѣній какъ бы атрофируются, перестаютъ дѣйствовать, и это отзывается, разумѣется, и на физической организаціи“ [117]).

Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, пока не дошло до современнаго положенія, когда человѣкъ обратился въ „палецъ отъ ноги“, въ незамѣтный винтикъ безконечно сложной машины государственной и промышленной жизни.

Всѣ посылки къ проповѣди опрощенія были у Михайловскаго, особенно если вспомнить, что онъ не считалъ даже возможнымъ расплатиться съ долгомъ народу: по его аргументаціи выходило, что надо опять заложить трудящуюся массу, чтобы выкупить ее изъ кабалы, или еще безмѣрно увеличить долгъ народу, чтобы уменьшить его [118]).

---

[116]) Культуры безъ раздѣленія труда нѣтъ и быть не можетъ. Отрицать раздѣленіе труда en bloc, какъ это дѣлаетъ Михайловскій, и потомъ мечтать о благахъ культуры значитъ проповѣдывать очевидную несообразность о грушѣ на вербѣ. Безъ раздѣленія труда возможно, говорятъ, дикое счастье. Но кто, когда и гдѣ его видѣлъ—неизвѣстно.

[117]) Соціологія Михайловскаго зародилась изъ утопіи первобытнаго простого сотрудничества, котораго никогда не было, потому что самъ же Михайловскій въ этомъ парадизѣ отмѣчаетъ „рабское положеніе женщины“. Трудно сказать, чѣмъ онъ восторгается и почему онъ считаетъ нужнымъ такъ длинно и талантливо разсуждать о томъ, что было бы, если бы раздѣленія труда не было.

[118]) Г-мъ Яковенко въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ 1887 г.

Если все же мы не услышали отъ него проповѣди опрощенія, то только потому, что Михайловскаго „спасла“ отъ нея вѣра въ интеллигенцію, ея героизмъ, или, говоря его словами: „предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные своею властью или своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ въ этомъ пути“, т. е. въ устроеніи общаго равенства, минуя буржуазію, капитализмъ, конституцію.

Г. Михайловскій вѣритъ, что въ концѣ концовъ люди вернутся къ простому сотрудничеству; по крайней мѣрѣ, онъ считаетъ нравственной обязанностью каждаго содѣйствовать такому возвращенію. Какъ публицистъ, онъ постоянно приглашаетъ къ этому содѣйствію: какъ русскій публицистъ, онъ видитъ особенно удобный моментъ для этого.

Моментъ представляется удобнымъ потому, конечно, что существуетъ страна — Россія, гдѣ огромная подавляющая часть населенія живетъ въ условіяхъ, близкихъ къ простому сотрудничеству, т. е. въ условіяхъ русской земледѣльческой общины, гдѣ сохранился еще мужикъ, по условіямъ жизни своей напоминающій первобытнаго дикаря, гдѣ нужно было не создавать условія золотого вѣка, а только сохранить ихъ, минуя промежуточную стадію европейскаго развитія, т. е. раздѣленіе труда, обмѣнъ, сложное сотрудничество, капитализмъ, парламентъ.

Отмѣчу, какъ это было уже сдѣлано мною, что характеристика, данная Михайловскимъ дикарю, какъ нельзя лучше подходитъ къ мужику-общиннику. На самомъ дѣлѣ, развѣ нельзя сказать про послѣдняго того же, что и про перваго, т. е., что онъ „и охотникъ и пастухъ, онъ и лодки дѣлаетъ и оружіе, и жилище себѣ строитъ. Онъ совмѣщаетъ въ себѣ силы и способности, равныя силамъ и способностямъ всякаго другого члена общины. Община же сама по себѣ однородна, но каждый общинникъ, отдѣльно взятый вполнѣ разнороденъ“ и т. д.

Если къ этому признанію г. Михайловскаго, что путь цивилизаціи ложенъ, заслуживаетъ суроваго нравственнаго осужденія, прибавить приведенныя мною выше мысли его, обезцѣнивающія всѣ блага культуры, его догматъ, что мы имѣемъ возможность перешагнуть изъ общины въ коммуны, его очевидное предпочтеніе русской земледѣльческой массы „испорченному меньшинству“, хотя это послѣднее и выдвинуло изъ себя Бетховена и Пушкина, его рѣшительное заявленіе, что дать народу наше искусство значитъ о г р а б и т ь его, — то не получимъ ли мы ученія, включавшаго въ себя много и много опростительныхъ элементовъ? Только все обострявшаяся борьба съ офиціальной Россіей и

возраставшее разочарованіе въ крестьянствѣ и общинѣ заставили Михайловскаго окончательно перейти *налѣво*...[119]).

Гдѣ же тотъ философскій принципъ, который и раньше являлся и теперь можетъ явиться основой всякаго опростительнаго ученія? Этотъ принципъ очевиденъ, вѣрнѣе, впрочемъ, не принципъ, а принципы: это *равенство* и *братство*.

Прежде всего, конечно, *равенство*.

Изъ знаменитаго трехчлена конца XVIII в. — свобода, равенство и братство первый членъ, какъ видите, исключается. Любопытное признаніе дѣлаетъ по этому поводу г. Михайловскій.

„*Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы*, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя, не привилегій только—объ этомъ и говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ, того, что въ старину называлось естественнымъ правомъ. Мы были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслѣ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпѣвать всякія невзгоды. Конечно, это отреченіе было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромѣ акридъ и дикаго меда, никто ничего не предлагалъ: но я говорю о настроеніи, а оно именно таково было и доходило до предѣловъ даже маловѣроятныхъ, о чемъ въ свое время скажетъ исторія. „*Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же*" — вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи".

Здѣсь рѣчь идетъ, разумѣется, о внѣшней, т. е. политической свободѣ, и, конечно, народничество не могло ставить ее во главу угла. Не говоря уже объ отсутствіи чувства чести и борьбы за право въ нашемъ барствѣ, не говоря уже о томъ, что кающаяся совѣсть требуетъ не „расширенія, а сокращенія бюджета личной жизни", стремленіе слиться съ народомъ, подражать ему вело къ обоготворенію равенства и братства, а не свободы.[120]).

Наша постоянная настойчивая критика западно-европейской жизни,

---

[119]) Брать культуру частичками, на вкусъ и выборъ, трудно, едва ли даже возможно, особенно при полной своей некультурности. Нельзя одинаково соединять идею прогресса, какъ чего-то лучшаго, съ христіанской моралью. Христіанская мораль любви, самоотреченія, какъ это прекрасно понималъ и доказывалъ Вл. С. Соловьевъ, органическая часть христіанства, какъ цѣлаго, органическій выводъ изъ его пессимизма отрицанія земли и всего земного. Въ христіанствѣ нѣтъ идеи прогресса и развитія. Оно предсказываетъ не счастье на землѣ, а общее разложеніе жизни, страшный судъ, пришествіе Антихриста и мерзость запустѣнія. Здѣсь такая же несообразность, какъ и во взглядахъ на раздѣленіе труда. Скажутъ: любовь къ ближнему проповѣдывалъ и Моисей. Но рядомъ съ этимъ и „око за око".

[120]) Г-мъ Яковенко въ „Сѣв. Вѣст." 1887 г.

особенно ея промышленнаго строя, заставила насъ давно уже заподозрѣть принципъ свободы. Мы знали, что на Западѣ, на ряду съ свободными учрежденіями, свободой слова устнаго и печатнаго, свободой вѣры и совѣсти, существуетъ еще „свобода умирать съ голоду“. Всегда особенно чуткіе и чувствительные къ экономической сторонѣ вопроса, мы эту „свободу умирать съ голоду“ поставили въ огромный, часто уничтожающій всѣ плюсы, минусъ Европѣ и даже принципу свободы вообще.

Мы объявили нашу земледѣльческую общину высшимъ типомъ экономической жизни, чѣмъ промышленный строй Англіи. Понятно, почему: намъ казалось и долго казалось (пока этого предразсудка не разрушилъ Успенскій и знакомство съ дѣйствительностью вообще), что эта община спасаетъ насъ отъ пролетаріата, что среди общинниковъ господствуетъ равенство и братство, что если равенство и братство не осуществлены въ достаточной степени, то все же стремленія къ нимъ живутъ въ сердцѣ крестьянина и составляютъ первую заповѣдь народной интеллигенціи. Мы слишкомъ поздно ознакомились съ процессомъ внутренняго разложенія общины; мы утѣшали себя мыслью, что мужикъ бѣжитъ низъ общины, а въ общину, и заводитъ ее гдѣ только возможно — на Алтаѣ, въ Пріамурьѣ, на далекомъ сѣверѣ. Мы не вѣрили, что община больше всего обязана своимъ существованіемъ государству, которое поддерживаетъ ее ради своихъ фискальныхъ цѣлей. Мы перевели эту русскую общину на французскій языкъ и увидѣли въ ней преддверіе комунизма.

Равенство и братство—вотъ что, казалось, могъ предъявить намъ народъ, вотъ святыя слова, которыя мы разбирали на тысячелѣтнемъ крестѣ его жизни. Мы думали, что свобода родится отъ нихъ, и считали ложнымъ обратный путь исторіи.

И, вообще, какъ бы ни понимали мы свободу, очевидно, что въ тотъ моментъ нашего развитія, когда борьба съ нигилизмомъ стояла на первомъ планѣ, когда страстно воспринятая идея расплаты съ народомъ за грѣхи отцовъ и цивилизаціи опутывала интеллигентную совѣсть, когда въ отреченіи отъ себя видѣли смыслъ жизни, когда высшія проявленія личной свободы — наука и искусство были заподозрѣны какъ продуктъ испорченнаго меньшинства, — очевидно, говорю я, принципъ свободы долженъ былъ отступить на второй планъ передъ принципомъ братства и равенства, носителями которыхъ казался русскій народъ.

7. Община и культъ народа.

Культъ народа, преклоненіе передъ народомъ достигало въ нашемъ своемъ теченіи апогея.

Для Златовратскаго, напр., община не только устой, не просто результатъ инстинктивнаго приспособленія, а идеалъ, сознанный и прочувствованный крестьянствомъ. Въ подтвержденіе этого я могъ бы привести много цитатъ, но ограничусь наиболѣе характернымъ. „Вотъ, говоритъ онъ, какія широкія и глубоко-гуманныя основы, для совмѣстнаго существованія человѣческихъ индивидуумовъ, выработалъ народъ. Эти же основы — краеугольный камень нашей народной жизни; на нихъ покоится все міровоззрѣніе народа, его инстинкты, его будущее". Община не только „коллективное рыло", нѣтъ: по чувству справедливости она является даже „покровительницей нравственной индивидуальной свободы". Самая народная жизнь сохранила, къ нашему счастью, въ своихъ еще мало извѣданныхъ глубинахъ драгоцѣнные чистые перлы, тѣ великіе зачатки общинныхъ идеаловъ, которые она излюбила когда-то и которые пронесла неприкосновеными черезъ весь ужасъ стихійной борьбы. Какъ ни глубоко затерялись эти перлы подъ игомъ всевозможныхъ внѣшнихъ историческихъ воздѣйствій, какъ ни трудно, повидимому, открыть ихъ теперь, но при мало-мальски честномъ, добросовѣстномъ наблюденіи народнаго быта, ихъ присутствіе чувствуется всюду: они, какъ золотой песокъ, разсыпаны по жиламъ народнаго организма. А тамъ, гдѣ сила внѣшнихъ вліяній была наименьшая, была сведена до нуля, тамъ уже теперь есть цѣлые самородки, блистающіе яркимъ, свѣтлымъ отблескомъ первобытнаго идеала"...

Оба тома собранія сочиненій Златовратскаго только иллюстрація къ этому панегирику общины. Златовратскій облюбовалъ устои народной жизни, облюбовавъ „праведныхъ и святыхъ", которыхъ эта народная жизнь выдвигаетъ изъ своихъ глубинъ, и такъ и остался навсегда при своей ветхозавѣтной вѣрѣ. Отношеніе къ интеллигенціи и интеллигентности у него вообще скептическое. Онъ знаетъ, что основы народной жизни здоровы, хороши, идеальны, что эти основы выдержатъ, въ концѣ концовъ, какія угодно сотрясенія и что все сольется въ крестьянскомъ мірѣ. Дѣтской, наивной и прозрачной вѣрой вѣетъ отъ этихъ вотъ словъ старика Мина, излюбленнаго героя Златовратскаго:

„Такъ вотъ, говорю вамъ, кулакамъ и міроѣдамъ не жить... А не жить имъ потому, что у нихъ сытости нѣтъ... Коли сытости нѣтъ — шабашъ, пропало... А у нихъ, милые, даже ни чуточки ея нѣтъ. У барина хоть малость да было, а у кулака нѣтъ, у него одна злоба, жадность, гладъ душевный и тѣлесный. Чѣмъ больше жретъ, тѣмъ больше утроба проситъ. Вотъ,

что у пьяницъ: чѣмъ больше пьетъ, тѣмъ больше хочется. Онъ думаетъ: вотъ, волью еще, буду въ довольствѣ, сытости, а его пуще алчба мучаетъ. Вотъ отъ этого самаго. А отчего эта алчба? Отъ неправоты. Правоты въ своемъ положеніи не видитъ... Коли кто правоту чувствуетъ свою, онъ всегда и сытость чувствуетъ, у него есть предѣлъ, у него довольство въ себѣ есть. Вотъ, милые, гдѣ ихъ гибель ожидаетъ".

Здѣсь вся возможная народническая философія, облюбованіе мужика, преклоненіе передъ его правдой. Она наивна. Признаніе русской идеи, русскаго мессіанизма сквозитъ въ каждомъ словѣ.

И Златовратскій стоитъ на той же дорогѣ, какъ Толстой, хотя и не заходитъ такъ далеко. Къ этимъ двумъ именамъ я прибавилъ бы еще третье — имя Юзова, съ его недовѣріемъ къ либерализму, его требованіемъ предоставить народъ самому себѣ, его излюбленной мыслью, что все „доброе и хорошее народъ сдѣлалъ самъ для себя", а интеллигенція и чиновникъ только мѣшали ему [121]), но я боюсь обидѣть кого-нибудь сопоставленіемъ этихъ именъ.

Задача дѣятельности Успенскаго другая, болѣе сложная. Онъ скептикъ. Онъ изображалъ народную жизнь не въ ея устояхъ, какъ Златовратскій, а въ ея разложеніи или разслоеніи. Онъ видѣлъ, какъ это разслоеніе надвигается на деревню и дѣлитъ ее на богатыхъ и бѣдныхъ, какъ на деревнѣ каждый день все больше замѣтно развращающее вліяніе города.

Очень трудно опредѣлить его отношеніе къ культурѣ. Нерѣдко можно слышать по адресу его произведеній, что это „проповѣдь невѣжества", что „идеалъ" Успенскаго назади, въ эпохѣ крѣпостного права. Разумѣется, ничего подобнаго. Но несомнѣнно, что на такъ называемую культуру Успенскій посматривалъ очень искоса.

Въ его душѣ жива русская вѣра, что мы побѣдимъ міръ любовью и общиной. Но эта вѣра не выработалась у него ни въ идиллію, ни въ героическую поэму. Этой вѣрѣ онъ, а не кто другой, нанесъ самые неизлѣчимые удары. И надо думать, что здѣсь почва, на которой разыгралась его душевная драма.

Иногда онъ пѣлъ гимны культурѣ. У него хватало бодрости, чтобы на нѣсколькихъ страницахъ нарисовать картину той будущей счастливой жизни, когда каждая деревенская изба заведется собственнымъ аккумуляторомъ или электрическимъ проводомъ, но ему сейчасъ же

---

[121]) Особенно интересные выводы Юзовъ дѣлаетъ изъ манифеста Пугачева, видя въ немъ настоящее, коренное проявленіе „народной воли".

становилось скучно отъ такой роскоши. Мужикъ общинникъ, живущій по всей правдѣ и совѣсти, въ тяжелыхъ, но по существу прекрасныхъ условіяхъ земледѣльческаго труда. — вотъ что любилъ онъ... Онъ вообще любилъ этого мужика съ его запахомъ трудового пота, мозолями его рукъ, своеобразною наивностью міросозерцанія.

Сейчасъ же, однако, возникаетъ въ его скептическомъ умѣ вопросъ: откуда всѣ эти превосходныя качества мужицкой души, гармонія крестьянской жизни? И онъ отвѣчаетъ:

„Онъ живетъ, лишь подчиняясь волѣ своего труда... А такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ разнообразныхъ законовъ природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой своей мысли. Вынуть изъ этой жизни, гармонической, но подчиняющейся чужой волѣ, хотя капельку, хоть песчинку,— и уже образуется пустота, которую надо заполнить своей волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а это такъ трудно, такъ мучительно“...

„Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, иныя въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ. А между тѣмъ, эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ. Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ учить, и, въ концѣ концовъ, получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліонъ разъ умнѣе и лучше выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строенія безъ собственнаго ума, а просто такъ. И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, стройна, гармонична, красива просто такъ“.

Передъ вами красота, но красота чисто зоологическая: красота типа, лишенная сознанія и воли. Въ другомъ мѣстѣ артель и общину Успенскій приравниваетъ къ той артели и общинѣ, которую каждую весну образуетъ волжская рыба сазанъ.

„Сазанъ“, „галка“, „кобыленка, машущая хвостомъ“ — лучшихъ сравненій Успенскій подобрать не могъ.

Нужны ли, въ концѣ концовъ, мужику школа, наука, аккумуляторы, община, просвѣтленная до фаланстера или коммуны?

Какъ сказать...

Въ крестьянской жизни, въ земледѣльческомъ трудѣ онъ, вмѣстѣ съ Толстымъ, находитъ и стихійную и этическую красоту.

„Тутъ все дѣлается, думается, такъ, что даже нельзя себѣ представить, какъ могло бы дѣлаться иначе при тѣхъ же условіяхъ. Лжи, въ смыслѣ выдумки, хитрости, здѣсь нѣтъ: не перехитришь ни земли, ни вѣтра, ни солнца, ни дождя, а стало быть, и нѣтъ ея и во всемъ жизненномъ обиходѣ. Въ этомъ отсутствіи лжи, проникающемъ собою всѣ даже, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основаніе той вѣры въ себя, о которой говоритъ Герценъ. У насъ милліонныя массы народа живутъ, не зная лжи въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ, — вотъ въ чемъ держится наша вѣра. Впослѣдствіи мы постараемся разсказать нѣсколько самыхъ, повидимому, возмутительныхъ жестокостей въ народной жизни, и всѣ онѣ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбѣжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби".

Высшая этическая красота народной жизни стихійна. Она держится не разумомъ и волей, а законами природы, законами примитивнаго земледѣльческаго труда. Измѣните „хотя капельку", „хотя песчинку" въ этихъ послѣднихъ, — и „высшая этическая красота" пропадаетъ, какъ дерево безъ влаги, жизнь безъ солнечнаго свѣта...

Опростительная тенденція глубоко проникала собою душу Успенскаго, и въ наиболѣе искреннихъ и вдохновенныхъ мечтахъ своихъ онъ рисовалъ себѣ крестьянина, живущаго въ курной избѣ, съ лучиной вмѣсто керосиновой лампы, подъ „властью земли", въ суровой обстановкѣ праведнаго земледѣльческаго труда.

„Что дѣлать?" — онъ не зналъ. Онъ старался вѣрить, что интеллигенція способна просвѣтить народъ до соціализма, все равно какъ старался вѣрить въ аккумуляторы, земскія больницы... Но эта его вѣра была непрочная.

„Проникнувшись непреложностью и послѣдовательностью взглядовъ, исповѣдуемыхъ Иваномъ Ермолаевичемъ, я почувствовалъ, что они совершенно устраняютъ меня съ поверхности земного шара", говоритъ онъ о себѣ, какъ интеллигентѣ. Отъ крестьянскаго обихода крестьянской жизни вообще онъ слышалъ одно непреклонное: „не суйся".

А вѣдь онъ несъ въ народъ свою истерзанную, измученную раздвоеніемъ душу. Онъ несъ ее, какъ культурный человѣкъ, который въ его глазахъ былъ человѣкомъ, „выгнаннымъ изъ рая невѣдѣнія" въ пустыню, въ голую безжизненную степь, на полную волю. Но эта полная воля давала ему не счастье, а муки. Счастье было гдѣ-то

тамъ. позади. Онъ тоже лишній. отверженный. не умѣющій и не могущій сдѣлать ничего.

Онъ только смотрѣлъ и видѣлъ... Смотрѣлъ и видѣлъ, какъ трактирная нелѣпая цивилизація мутными волнами просачивается въ жизнь деревни, какъ „напросы фабрики Лафермъ" и керосиновая лампа, нужда въ деньгахъ, нужда во что бы то ни стало раздобыть рупь-цѣлковый развращала и коверкала душу крестьянина, пріобщая къ „древу познанія", внося въ нее ложь, лицемѣріе, продажность...

Мнѣ кажется, что народническое теченіе, которое я назвалъ правымъ, выяснилось намъ въ достаточной степени. Я уже говорилъ, что высшее выраженіе далъ ему Толстой, и поэтому намъ еще придется встрѣтиться съ нимъ. Толстой договорилъ его до конца, сказавъ, что интеллигенція должна „учиться" у народа... Учиться и жить по „правдѣ" его трудовой земледѣльческой жизни.

Несли въ народъ свою разбитую, раздвоенную душу и умилялись, встрѣчая простоту и цѣльность народнаго мировоззрѣнія. Вырастала идеализація мужика, народа, артели, общины. „Правые" гнали интеллигенцію прочь отъ всѣхъ этихъ святынь, звали къ опрощенію, къ сліянію.

Формулы народной жизни выливались въ нравственные термины. Указывали на кротость и благодушіе мужика, на его общественные инстикты, защиту вдовъ и сиротъ. Выходило красиво и умилительно, прежде всего потому, что на душѣ интеллигента было уже слишкомъ скверно.

Правда, слѣдуя внушенію Запада, наши народники говорили о свободѣ личнаго развитія и сочиняли одну формулу прогресса за другой. Особенно настойчиво дѣлали это самые передовые изъ нихъ, сгруппировавшіеся, въ концѣ концовъ, возлѣ „Отечественныхъ Записокъ", и эти-то самые передовые люди не хотѣли понять и видѣть, какъ противорѣчитъ ихъ культу народа и идея личности и остроумнѣйшія формулы прогресса. Имъ нужно было народное счастье въ примитивной обстановкѣ общинной жизни, нужна была праведность, какъ высшая степень этической красоты, нужно было потребительное хозяйство, какъ оплотъ противъ капитализма и пролетаріата, нужна была красота земледѣльческаго строя. Желѣзная дорога, дѣйствительно, не нужна, чтобы любить своего ближняго.

Идеалъ счастья одинаково противорѣчитъ идеалу развитія и свободы, потому что счастье есть только равновѣсіе между потребностями

и средствами ихъ удовлетворенія. Разъ потребности скудны и ничтожны, то счастье возможно при одинаково скудныхъ и ничтожныхъ средствахъ удовлетворенія. Лишенія и постоянное самоограниченіе, вообще говоря, гораздо болѣе вѣрный путь къ счастью, чѣмъ расширеніе своей личности и ея запросовъ. Счастье это полная удовлетворенность, точка, поставленная стремленіемъ. Счастливъ только тотъ, кто сказалъ себѣ: больше я ничего не хочу и ничего не ищу.

Въ этомъ правомъ народничествѣ на первомъ планѣ внушенія убогаго общинно-земледѣльческаго строя и много разочарованій, мукъ совѣсти, безплодныхъ исканій интеллигентнаго строя.

Лѣвое народничество, подъ давленіемъ обострявшейся борьбы съ офиціальной жизнью, все рѣшительнѣе переходило на путь политической мысли.

Правда, оно продолжало твердо держаться вѣры въ общину, доводя его до догматическаго исповѣданія, но на первый планъ какъ активную силу оно выдвигало науку, культуру, интеллигенцію.

Его врагъ—надвигавшійся капитализмъ и тѣ формы правовой жизни, которыя обезпечиваютъ поддержку и даже побѣду буржуазіи.

Оно шло путемъ борьбы, все дальше уходя „отъ народа въ Европу“.

Оно не колеблясь утверждало, что обязанность интеллигенціи поднять народъ до себя, дѣйствовать прежде всего въ его интересахъ, выбравъ пригодное для того на Западѣ...

Оно превратилось въ соціализмъ, сохранивъ лишь свой „земледѣльческій“ характеръ.

8. Идея личности.

Казалось бы, что въ эпоху, когда такъ высоко стоялъ культъ простого народа и общины, когда идея расплаты съ массой за грѣхи цивилизаціи властвовала надъ умами, когда слово совѣсть звучало такъ гордо и требовательно, когда подвижничество за другихъ сосредоточивало весь смыслъ жизни, когда отказъ отъ личнаго счастья возводился въ догматъ, когда люди жили для будущаго, а въ настоящемъ видѣли только то, что его надо преодолѣть,—было бы странно говорить о личности, такъ же какъ и о свободѣ.

Литература 70-хъ годовъ развернула весь скрытый въ русской натурѣ гуманизмъ. Она была дѣйствительно христіанской, она создала истинную р е л и г і ю ж а л о с т и. Идея личности не могла не быть под-

чиненной, на второмъ планѣ. Не за себя шла борьба и не для себя. Такъ по крайней мѣрѣ говорили и вѣрили. За счастье народа...

„Правое народничество стремилось скрыться въ массѣ, раствориться въ ней. Философіи личности нечѣмъ отсюда обогатить себя.

Но странно и, быть можетъ, противорѣчиво съ общимъ настроеніемъ эпохи,формула личнаго развитія и совершенствованія не сходила со сцены. У такого центральнаго человѣка какъ Михайловскій, она стояла даже на первомъ планѣ.

Конечно, тутъ вліяніе Запада. Но больше всего та оппозиція, то противодѣйствіе всему офиціальному, всѣмъ признаннымъ устоямъ русской государственной жизни, которая дошла теперь до высшей степени. И это состояніе взвинчивало личность, ея самосознаніе. Борьба переходила въ жизнь, принимала политическую окраску.

Здѣсь много путаницы, много противорѣчиваго, чего нельзя понять, не принявши во вниманіе, что личность 70-хъ годовъ объявила себя на военномъ положеніи. Она признала свое право на богатство, глубину и разнообразіе жизни; идеалъ сверхчеловѣка, человѣка-бога былъ ея идеаломъ, она декретировала свою самозаконность, автономію, анархію, но, поставивши своей главной цѣлью освобожденіе народа и борьбу съ офиціальнымъ міромъ, окружила себя строжайшимъ уставомъ.

Въ лѣвомъ крылѣ народничества, какъ бы параллельно, существовали двѣ нравственности: языческая и христіанская, полной свободы и полнаго подчиненія, настоящаго боевого дня и дня осуществленныхъ мечтаній, красоты развитія и красоты подвижничества, силы и долга. Личность вся цѣликомъ приносилась въ жертву будущему. Въ утѣшеніе же ей предоставлялась мысль, что, когда настанетъ „настоящій“ день, ея внуки или правнуки вкусятъ отъ всей полноты развитія.

Этому учили и Лавровъ, и Михайловскій, и Щедринъ. Все для будущаго, все равно какъ у христіанъ все для царствія небеснаго.

Мы видѣли, какъ высоко цѣнитъ Н. К. Михайловскій идею личности. Онъ весь настражѣ ея интересовъ. Тотъ путь исторіи, который дисциплинировалъ ее, онъ считалъ ложнымъ и страшнымъ. Онъ требуетъ ея цѣлостности, гармонически полнаго ея развитія въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ; онъ принимаетъ полностью ея жажду красоты, истины и праведности, онъ хочетъ, для нея единства міросозерцанія, т. е. религіи, онъ проклинаетъ разслоеніе общества, раздѣленіе труда. Другъ, отчасти ученикъ Ножина, проповѣдовавшаго въ свое время а н а р х и з м ъ, онъ даетъ такую формулу прогресса:

„Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безправ-

ственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно, полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ".

Личность есть *недѣлимое*, долженствующее въ себѣ сосредоточить „конецъ и начало". Ея совершенство вѣнчаетъ всѣ усилія человѣчества. Она съ точки зрѣнія интересовъ своего развитія судитъ прошлое, устрояетъ будущее. Ея совѣсть и правда ея самосознанія—трибуналъ исторіи.

Но въ это „анархическое" вмѣшивается эпоха, идея расплаты съ народомъ, стихійный разумъ русскаго человѣка, ищущій опрощенія, культъ мужика, борьба съ Западомъ, создавшимъ пролетаріатъ, единственно пережитая нами мораль христіанства, жалости, альтруизма.

„*Индивидуализмъ* Н. К. Михайловскаго требуетъ *служенія народу*: вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ индивидуализмъ, возставая противъ союзовъ, стѣсняющихъ человѣческую личность, предполагаетъ существованіе союзовъ другого рода—союзовъ, которые были бы крѣпки волею и сознаніемъ своихъ членовъ, расширяли и облегчали бы ихъ личное существованіе. Онъ не только противникъ разнузданности личности, но и высказывается противъ усиленной разработки вопросовъ личной нравственности, оторванной отъ общественной почвы, въ чемъ онъ упрекаетъ, напримѣръ, Писарева и Л. Толстого. Интересы общества, въ широкомъ смыслѣ интересы народа „стали краеугольнымъ камнемъ политическаго мышленія" людей семидесятыхъ годовъ. Противополагая себя народу, они готовы были на всякія жертвы для его блага; они желали бы даже отказаться отъ собственной индивидуальности, „утонуть, расплыться въ этой сѣрой грубой массѣ народа, утонуть безповоротно", сохранивъ лишь свѣточъ истины и идеала" [122]).

Вы съ полнымъ недоумѣніемъ можете спросить себя: при чемъ тутъ индивидуализмъ?

Выше мы видѣли, какъ у того же Михайловскаго отростительная тенденція боролась съ культурною. Онъ долго колебался, противорѣчилъ себѣ, смущалъ своихъ сторонниковъ и пѣлъ похвалы Толстому, пока идеи

---

[122]) *С. Рамскій:* „Апоѳеозъ личности въ произведеніяхъ Михайловскаго". Нѣтъ, объ апоѳеозѣ личности здѣсь нѣтъ и рѣчи. Великая, талантливая любовь къ массѣ, жалѣніе ея — другое дѣло. Особенно узки принципы народнической литературной критики. Отъ писателя (и художника) требовали „идеи и служенія" съ такой же неумолимой настойчивостью, съ какой въ обычной жизни требуется паспортъ. А за „безписьменность", т. е. за безыдейность (отсутствіе прогрессивной идеи) преслѣдовали неумолимо... Но все же привожу эту цитату, чтобы показать на странное представленіе у насъ объ *„апоѳеозѣ"* личности...

Запада. Лаврова. политики не вытѣснили въ немъ настоящей русской закваски.

А она, думается, сидѣла въ немъ очень глубоко, во всякомъ случаѣ, глубже, чѣмъ онъ самъ себѣ въ этомъ признавался потомъ, когда сердито открещивался отъ прозвища „народникъ". Жалость, ужасъ передъ жертвами прогресса тянули его въ опрощеніе.

Онъ заставилъ въ себѣ замолчать эту тягу, особенно когда Толстой связалъ ее съ „непротивленіемъ злу". Онъ присоединяется къ теоретическому рѣшенію, что надо дѣйствовать „въ интересахъ" народа, а „не по его мнѣніямъ". Искусственно, напряженно приподнялъ онъ роль интеллигенціи въ русской общественной жизни, роль личности вообще.

Но эту, имъ же изукрашенную формулами прогресса личность онъ сейчасъ же отдавалъ на „служеніе народу"... какъ же было обойтись безъ „служенія" ему, выросшему въ покаяніи? Въ этомъ „служеніи" весь пережитокъ христіанской морали, какъ и въ мысли о ложномъ пути исторіи [123]). Михайловскій вообще смыслъ морали видѣлъ лишь въ альтруизмѣ, гуизмѣ, самопожертвованіи.

Уваженіе къ личности боролось въ немъ съ элементарнымъ страхомъ, какъ бы личность въ своемъ стремленіи къ свободѣ не дошла до разнузданности. Этимъ главнымъ образомъ опредѣлилось его отношеніе къ новой литературѣ, марксизму, декадентству. Въ отказѣ отъ идей 70-хъ годовъ онъ видѣлъ лишь „современную смуту умовъ".

Въ общинѣ былъ для него залогъ осуществленія соціалистическихъ идеаловъ, заслонъ противъ пролетаріата. Въ свое время онъ не чуждъ былъ идеи закрѣпостить вліяніе общины, лишь бы не допустить разложенія послѣдней. И рядомъ съ этимъ проповѣдь святыни человѣческаго достоинства!..

Христіанская мораль, религія жалости низводили къ нулю имъ же возведенную личность.

Лавровъ—это вѣра въ интеллигенцію, въ роль „критической" личности и соціализмъ, но рядомъ вѣра въ общину, проповѣдь расплаты съ трудящейся массой за благо цивилизаціи.

Въ основѣ его ученія о нравственности—идея развитія личности. Любопытно, однако, посмотрѣть, въ какіе термины облекается она: „Внутренняя элементарная обязанность для личности, говоритъ онъ, обязанность развиваться".

„Такъ какъ она возникла въ прогрессѣ работы мысли, то она

---

[123]) Ея первоисточникъ, конечно, исторія грѣхопаденія.

представляется объективно, какъ о б я з а н н о с т ь работы мысли надъ всѣмъ, что ею достигнуто, какъ о б я з а н н о с т ь к р и т и к и".

„Нравственная дѣятельность, имѣющая цѣлью развитіе, достиженіе высшаго состоянія, видитъ одну свою страсть въ стремленіи къ высшему благу—къ истинѣ, и это стремленіе становится одною изъ высшихъ о б я з а н н о с т е й л и ч н о с т и".

„Рядомъ съ влеченіемъ къ развитію въ человѣкѣ присутствуютъ и многія другія влеченія, чуждыя этому элементу. Отдѣленіе нравственныхъ влеченій отъ влеченій низшихъ есть первая о б я з а н н о с т ь, именно, обязанность составить себѣ убѣжденіе".

„Развитой человѣкъ о б я з а н ъ осуществлять свое убѣжденіе въ жизни".

„Раціональная научная этика признаетъ о б я з а н н о с т ь ю каждаго человѣка бороться всѣми силами противу всего, что останавливаетъ развитіе и критику"... И т. д.

Какъ настойчиво въ каждой изъ этихъ формулъ повторяется слово обязанность! Наиболѣе свободная отъ русской традиціи, мысль Лаврова не можетъ выбраться изъ круга христіанскихъ терминологій. Правда, въ развитіи, въ творчествѣ общественныхъ формъ онъ видитъ высшее проявленіе личности, но и въ его ученіи видъ торжествуетъ надъ особью, обязанность надъ свободой.

И т о г и. Таковы главныя идеи 70-хъ годовъ, переданныя намъ въ философскихъ системахъ, ученіяхъ о нравственности, художественныхъ образахъ.

На первомъ планѣ народъ, мужикъ, служеніе имъ, огражденіе Россіи отъ безземельнаго пролетаріата, отъ капитализма и напряженная борьба съ офиціальнымъ міромъ.

Страшная борьба... Въ каждой статьѣ того времени, въ каждой формулѣ вы чувствуете непримиримость, даже ожесточеніе. Бичомъ свиститъ по воздуху сатира Щедрина, гнѣвно поражая ненавистную ему бюрократію и формализмъ жизни вообще. Въ царство любви, міра и равенства зоветъ его сатира, взывая къ подвижничеству, самоотверженію. Его мечта опять крестьянское царство, но переработанное культурой, то царство, гдѣ господствуетъ братство и коммунизмъ. Сначала веселая и торжествующая, упоенная собственнымъ смѣхомъ, комизмомъ жизненныхъ противорѣчій, вѣрой въ торжество излюбленныхъ началъ, она становится все болѣе саркастической, злой и печальной. Юморъ уходитъ, вмѣсто него—негодованіе. Негодованіе и мысль, что народническое дѣло

проиграно, что у жизни есть своя страшная и суровая логика, которая не считается съ мечтами и грезами людей, обращаетъ въ „забытыя" слова тѣ, которыя вчера еще возбуждали готовность къ подвигу, къ „костру и плахѣ".

Разрывъ народнической мечты съ окружающей жизнью полный. Борьба непримирима, безъ пощады, безъ отдыха, пока не надломились силы.

Но объ этомъ послѣ. Пока же вопросъ итога: что осталось отъ народничества?

Говорятъ: плохая философія [124]). Да, философія была плоха. Еще вѣрнѣе, совсѣмъ не было никакой философіи. Вмѣсто философіи всегда на сцену выходилъ какой-нибудь добрый-добрый мужикъ Марей, утѣшающій ребенка, какой-нибудь Парамонъ юродивый съ полупудовымъ желѣзнымъ колпакомъ на головѣ, сѣдой Власъ въ веригахъ, старый Минъ, поговорить съ которымъ то же, что сходить въ церковь, „живыя мощи", правда трудовой земледѣльческой жизни, вѣра въ общину, которой никто не зналъ, и въ интеллигенцію, которой не было.

Была готовность жертвовать собой и личнымъ своимъ счастьемъ за мечту. И это уже многое. Было страстное стремленіе отстоять „гармонію" крестьянскаго земледѣльческаго быта отъ насилій и гнета, былъ ужасъ передъ нищетой и разложеніемъ духа, грозящими мужику.

Была жалость, безмѣрная жалость, религія ея... и не въ этомъ ли вся философія, всѣ аргументы, вся суть „попытокъ теоретическаго обоснованія народничества?" Общественное значеніе литературы, ея роль какъ пропаганды совершенно упразднили ее какъ искусство.

Народничество—доктрина, поскольку оно соціализмъ [125]) и вѣра, религія во всемъ, что касалось мужика, общины, особыхъ путей русскаго народа, его особой внутренней силы.

Жалость на первомъ планѣ. Жалость, питавшаяся ненавистью къ произволу, взращенная всѣми ужасами крѣпостного права, окрѣпшая въ мукахъ кающейся совѣсти. Я уже говорилъ о ней выше (см. гл. I). Теперь нѣсколько штриховъ, ибо 70-е годы—ея эпоха.

Въ послѣдней четверти XVIII в. Радищевъ ѣдетъ изъ Петербурга въ Москву. „Ямщикъ все плачетъ свою пѣсню; Радищевъ все думаетъ свою думу и, не доѣхавъ до Чудова, онъ вдругъ вспомнилъ, какъ онъ въ

---

[124]) Поучительно изслѣдованіе г. Кистяковскаго „Русская соціологическая школа и категорія возможности при рѣшеніи соціально-этическихъ проблемъ", посвященная преимущественно Михайловскому. „Проблемы идеализма" 295—392. См. также извѣстную книгу Волгина.

[125]) Конечно, утопическій. Утописты разсчитывали на филантроповъ. Народники на доброе расположеніе интеллигенціи.

Петербургѣ когда-то ударилъ своего Петрушку за то, что онъ былъ пьянъ, да и заплакалъ... и, не краснѣя за „дворянскую честь", имѣлъ мужество написать: „О, если бы онъ тогда, хоть пьяный, опомнился и отвѣчалъ бы мнѣ соотвѣтственно"...

Съ этихъ двухъ строкъ Герценъ готовъ начать „поворотъ" въ русской исторіи, тягу къ мужику, народу. Но эти же строки—первыя дѣйствительныя строки покаянія и жалости. Ихъ мотивъ не замолкаетъ. Не стану уже говорить о старцѣ Зосимѣ. Но вотъ радикалъ и соціалистъ Темкинъ, герой романа г. Михайловскаго „Въ перемежку" и alter ego автора, въ 70-хъ годахъ XIX-го уже вѣка вспомнилъ о какой-то обидѣ, нанесенной имъ дворовому мальчику Ѳедькѣ (еще во дни ребячества) и восклицаетъ: „Ѳедька, великодушный, прости меня!.." И ему тоже до боли жаль, что въ свое время Ѳедька не отвѣтилъ ему соотвѣтственнымъ...

Что-то въ этомъ наивное и милое.

Читатель помнитъ, какъ петрашевецъ Момбелли сокрушается о „голодномъ", смѣшанномъ съ землею хлѣбѣ крестьянъ. Это было въ 1846 году. То же на 60 лѣтъ раньше—у Радищева, на 20—у декабристовъ и 25—30 лѣтъ спустя буквально въ тѣхъ же выраженіяхъ, съ тѣми же слезами въ голосѣ у народниковъ 70-хъ годовъ. Перечтите процессы этого десятилѣтія, и вездѣ обычный припѣвъ: „я былъ въ деревнѣ и видѣлъ ужасное положеніе нашихъ крестьянъ". „Хлѣбъ, который они ѣли, едва ли вообще можно назвать хлѣбомъ", и. т. д.

Въ концѣ народничества стоитъ печальная и безумная фигура Гаршина. Въ жалости, въ страданіи за другихъ видѣлъ онъ какъ бы назначеніе и смыслъ писателя. „Писатель страдаетъ за всѣхъ", говоритъ онъ и мы знаемъ, что для него такъ дѣйствительно оно и было.

Герценъ, Щедринъ... десятки другихъ именъ просятся тутъ на перо. Просится чуть ли не вся наша литература и безчисленные примѣры изъ нея. Но оставлю ихъ въ сторонѣ, потому что вездѣ не только то же самое, а и тѣ же слова.

Дальше въ этомъ народническомъ завѣщаніи мораль подвига и самоотреченія, полный разрывъ съ офиціальной жизнью, углубленная мысль, что соціальныя и даже экономическія условія лежатъ въ основѣ общественныхъ отношеній, общественной правды и неправды.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Послѣднія слова народничества и его разложеніе.

1. 80-е годы.—2. Отчего умерло народничество?—3. Обращеніе къ своему „я".—4. Вліяніе Достоевскаго.—5. Ученіе Толстого. 6. Культура, какъ „развратъ".—7. Поэзія Чехова.

1. 80-е годы.

Это были скучные годы.

Ихъ привѣтствовалъ Катковъ знаменитымъ восклицаніемъ: „господа, встаньте, правительство возвращается"...

И оно на самомъ дѣлѣ вернулось, это правительство, какъ бы рѣшившееся вычеркнуть изъ нашей памяти и эпоху великихъ реформъ и 70-е годы.

Начались, повторяю, скучные „крутые годы", безъ всякаго „впередъ" и даже безъ стремительнаго назадъ, но съ однимъ грознымъ, настойчивымъ „стой".

На этомъ „стой" нечего было даже особенно настаивать. Само общество, въ сущности, шло ему навстрѣчу, или, лучше сказать, ждало его. Оно не вызвало борьбы и протеста. Бездарное, во всякомъ случаѣ, чѣмъ-то утомленное поколѣніе никуда и не хотѣло итти. Въ его душѣ какъ будто что то оборвалось. Человѣкъ тѣхъ дней видѣлъ крушеніе всѣхъ „народническихъ" надеждъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ крушеніе того высокаго духа, которымъ онѣ сопровождались. Прибой закончился, и открылся голый песчаный берегъ... Не Богъ знаетъ какой скачекъ сдѣлали мы наканунѣ, но и онъ оказался слишкомъ смѣлымъ для насъ.

Капитализмъ развивался медленно, перерабатывая духовную структуру общества, дѣлая постепенно невозможными и омертвѣлыми идеи и идеалы, зародившіеся еще въ дореформенной Россіи.

Медленно шла жизнь; день за днемъ тянулась она унылая и

однообразная, создавая ту страшную скуку, которая, какъ сырость, пронизывала все существо.

Печальна оказалась участь тѣхъ, кто провелъ въ эти годы свою молодость: они быстро состарѣлись. Ихъ неокрѣпшія мечты, ихъ некрѣпкія, но слишкомъ юныя убѣжденія отцвѣли, не успѣвши расцвѣсть. Старыя идеи отжили свое время, новыя еще не народились. Кругомъ — никакихъ событій, отъ которыхъ бы волновалось сердце, кипѣла кровь. Бѣлый, лучше сказать, сѣрый терроръ жизни какъ будто мстилъ, и жестоко мстилъ за вчерашнія увлеченія.

Былъ „крахъ души", крахъ народничества.

Лучшее въ человѣкѣ съежилось, призадумалось, ушло въ себя. Оно молча и терпѣливо нащупывало новые пути мысли и жило ихъ предчувствіемъ.

Весь цинизмъ, всю распущенность, которыми опозорила себя литература тѣхъ дней, всю ея слабость, утвердившую могущество „Московскихъ Вѣдомостей" и „Новаго Времени", всю ея запуганность, такъ пронизавшую и опошлившую ея мысли, весь этотъ трепетъ „третьяго предостереженія" оставлю въ сторонѣ. Все это рано или поздно должно составить предметъ огромной и отвратительной картины, на первомъ планѣ которой пресмыкались полураздавленныя трусостью души... Пришлось опять пережить весь шаблонъ русской реакціи, скуку возрожденныхъ переживаній и жестокость возставшихъ изъ гроба мертвецовъ.

Дворянская идея, какъ всегда въ эпоху реакціи, подняла голову. Вспомнили о крѣпостномъ правѣ и мечтали возстановить его. Не рѣшившись на это, завели институтъ земскихъ начальниковъ. Красный околышъ сталъ опять символомъ власти [126]).

Классицизмъ въ школѣ принялъ мрачный, инквизиторскій характеръ. Капиталъ орудовалъ, какъ и раньше, безбожно расхищая силы земли. Крестьяне бросились переселяться.

Литература растерялась. Либеральный „Голосъ", радикальныя „Отеч. Запис." выбыли изъ строя. Щедринъ перешелъ въ „Вѣстникъ Европы", чувствуя себя растерянно и странно среди „отставныхъ профессоровъ" и дѣйствительныхъ академиковъ нашего либерализма. Большинство романовъ и повѣстей представляли реляціи о совершенныхъ въ разное время и разными лицами адюльтерахъ. Донашивались народническія формулы и формулы русскаго радикализма. Стали входить въ моду беллетристическіе протоколы. Съ большими претензіями пре-

[126]) Свѣдующіе люди говорятъ, что у первыхъ кадровъ этихъ земскихъ особей была неотразимая потребность драть и драться.

повѣдывали малыя дѣла, обновленіе земледѣльческой Руси молодыми просвѣщенными помѣщиками, „честную и сознательную“ работу въ департаментахъ.

Было и многое другое, преимущественно того же типа, той же категоріи вырастающаго на пустомъ мѣстѣ. Въ обществѣ ползали блѣдныя мысли о суетѣ суетъ и тщетѣ всего земного. Увлекались Шопенгауэромъ, Гартманомъ, буддизмомъ, нирваной, но и эти увлеченія были безъ крови, безъ мускуловъ. Отмѣчаютъ тотъ фактъ, что явилось сразу нѣсколько десятковъ лирическихъ поэтовъ, но „коль скоро они пришли, толь же скоро и ушли“ и, безъ шутки, неизвѣстно куда: въ нерасроданные сборники, въ газеты, юмористическіе журналы... Въ общемъ— осень и слякоть, вдохновившая Левитана на его „Вечерѣетъ“, Чехова на его „Въ сумеркахъ“, его „Хмурыхъ людей“... Да, это были скучные годы!...

2. Отчего умерло народничество?

Мѣсто на самомъ дѣлѣ было пусто. Лѣвое народничество рухнуло. Выжило изъ него лишь то, что вплотную примкнуло къ западному соціализму. Правое, въ лицѣ Толстого, собиралось сказать свое послѣднее слово. И это послѣднее слово, какъ всегда, означало близкую смерть движенія.

Отчего умерло народничество?

Оттого, конечно, что ему не стало чѣмъ жить. Оно жило своей вѣрой въ народъ, общину, интеллигенцію; чуждое идеѣ необходимости, экзальтированное, чистая секта съ абсолютными догматами и абсолютной моралью, оно долго и упрямо, несмотря ни на что, стремилось въ свою обѣтованную землю, пока не оказалось, что такой обѣтованной земли нѣтъ. Жизнь все рѣшительнѣе и громче говорила, что въ крестьянской общинѣ нѣтъ общиннаго духа, что крестьянство разслаивается на богатыхъ и бѣдныхъ, что въ отвѣтъ на проповѣдь коммунизма (будто бы соотвѣтствующую общинному строю деревни) деревня можетъ только представить самого проповѣдника къ становому.

Все равно какъ въ 12-мъ году мужички топили „француза“, обѣщавшаго имъ освобожденіе отъ крѣпостного ига, такъ теперь ловили они „сицилистовъ“.

„Попытки теоретическаго обоснованія народничества“ такъ и остались попытками, отъ которыхъ рѣшительно никому ни тепло ни холодно: никого онѣ не задѣли, никого и задѣть не могутъ. Народничество было прежде всего настроеніемъ, жалостью къ мужику, голосомъ совѣсти за свои общественныя привилегіи, ненавистью къ

офиціальной Россіи. Оно было прекрасно и могущественно, когда жило въ сердцѣ человѣка; но когда „народъ ушелъ изъ сердца“, исчезло и народничество, и когда этотъ фактъ былъ сознанъ, русскій интеллигентъ почувствовалъ себя какимъ-то ненужнымъ и совсѣмъ одинокимъ. Еще вчера все было такъ ясно: былъ кумиръ, идолъ, которому слѣдовало поклоняться; были устои, которые надо было защищать; ими опредѣлялась и любовь и ненависть; было самое важное—было сознаніе своего родства, своей духовной близости съ молчаливой сѣрой массой; былъ и выходъ, совершенно ясный и опредѣленный, изъ своего положенія. „Въ народъ“... и это слово, написанное на знамени, заключало въ себѣ цѣлую программу, цѣлую философію, цѣлый кодексъ морали. Оно было жизненно и способно наполнить собою бытіе. Вспомните, на самомъ дѣлѣ, созданные 70-и годами типы народнаго учителя и особенно „учительки“, земскаго врача, земца просто, и для васъ станетъ яснымъ, какъ много внутренняго содержанія заключалось въ этомъ коротенькомъ словѣ „народъ“. И слезы кающихся дворянъ, и цѣломудріе духа, отвернувшагося отъ соблазновъ жизни, и жажда самопожертвованія, и вѣра въ чудное будущее этой сѣрой массы, только что освободившейся отъ крѣпостной опеки, и понятная, законная гордость отъ сознанія, что и т ы участвуешь въ великомъ процессѣ созиданія новой жизни, все шло въ дѣло, все соединялось для того, чтобы создать одно изъ самыхъ оригинальныхъ общественныхъ теченій... и все это рухнуло, или, лучше сказать, все это расплылось въ мутномъ туманѣ сѣренькой жизни, въ которой орудовалъ хищникъ.

Одного Успенскаго было бы достаточно, чтобы подсѣчь вѣру въ к о м м у н и с т и ч е с к і я стремленія народа. Но одинаковыя внушенія шли со всѣхъ сторонъ. „Нѣтъ общины, нѣтъ братства, и все въ народной жизни противъ этого“. Чтобы какъ-нибудь удержаться на позиціи, пытались создать народничество безъ народа. Все для него, но безъ него. Все во имя его интересовъ и противъ мнѣній. Все для его блага, но безъ его согласія. Эта мечта лѣваго народничества, быть можетъ, подкупаетъ своимъ благородствомъ, героическимъ одушевленіемъ своихъ представителей, но, являясь одной изъ варіацій насильственнаго водворенія въ рай, или своего рода просвѣщеннымъ абсолютизмомъ, по существу своему безплодна.

Опора, которую народничество находило въ дѣйствительности, была ничтожна. Непрочны и такіе его устои, какъ покаянное настроеніе барина, какъ проповѣдь подвижничества.

Надо жертвовать собой, надо быть героемъ, учило народничество, потому что больше нечему было учить при его программѣ.

Народническое настроеніе, вошедшее въ плоть и кровь, есте-

ственно обращалось въ жажду подвижничества и прямо-таки требовали этого подвижничества, потому что на пути народнаго счастья и идеала крестьянскаго царства было слишкомъ много преградъ. Ни перескочить черезъ нихъ, ни обойти было невозможно: надо было сдвинуть ихъ съ мѣста, чтобы очистить дорогу, и сдвигать приходилось горы. Тутъ нуженъ былъ духовный восторгъ, фанатическая вѣра и фанатическая любовь. Если устами одного изъ своихъ вождей 60-е годы говорили: прекрасное есть жизнь, и что при извѣстной умѣренности желаній можно быть счастливымъ здѣсь на землѣ, то огромность задачи сдѣлать народъ счастливымъ, и развившееся (пожалуй, что до художественной полноты) противорѣчіе между административными и интеллигентными стремленіями потребовали другихъ формулъ: „жизнь есть борьба и подвижничество“ и „личное счастье, при несчастьи народа, незаконно“. Для всего этого надо быть героемъ.

Но герой безъ вѣры немыслимъ. Вѣра же умерла. И вотъ въ дни умиранія народничества все больше и чаще раздаются унылыя похоронныя пѣсни Надсона, Гаршина, Новодворскаго. Въ этихъ пѣсняхъ стонъ, раздвоеніе души человѣческой, глубочайшій разладъ съ собою[127]). Все внушенное, завѣщанное зоветъ на подвигъ и говоритъ о его нетлѣнной красотѣ. Но человѣкъ чувствуетъ, какъ малъ онъ и слабъ для подвига. Въ немъ жажда личнаго счастья. Но онъ *не смѣетъ* считаетъ незаконнымъ это свое личное счастье и изнываетъ въ разладѣ, въ непримиренномъ противорѣчіи...[128]).

3. Обращеніе къ своему „я“.

Эти заунывныя пѣсни, выросшія на почвѣ разлагающейся народнической вѣры и его революціонной мечты, предшествуютъ 80-мъ годамъ собственно.

Повторяю — скучные годы „краха души“, духовной растерянности.

Надо было посмѣть сказать всю правду о себѣ, хотя это была, въ сущности, печальная правда.

Надо было признаться въ томъ, что гражданственность по плечу только герою, что аскетизмъ 70-хъ годовъ слишкомъ труденъ, что запросы личнаго счастья вопіютъ о себѣ, что нельзя жить одною гражданственностью, что есть человѣческое „я“, которое для человѣка дороже всего.

---

[127]) ...„Твоя любовь казалась мнѣ слѣпой, моя любовь *преступной* мнѣ казалась“, говоритъ Надсонъ. Можно ли жить съ такимъ самоотрицаніемъ въ душѣ?

[128]) Самоубійство на почвѣ внуренняго разлада было болѣе чѣмъ обычно въ тѣ дни (См. Достоевскій „Дневникъ“).

Это было трудно, почти невозможно. За годы внушенія самоотверженная мораль семидесятниковъ осѣла въ душѣ, и ея формула, что великъ и прекраснъ лишь подвигъ, не давала покоя. Внѣ народа и самопожертвованія человѣческое „я“ казалось такимъ ничтожнымъ и презрѣннымъ. Хотя мертвыя уже, но формулы прежняго были могущественны. Отъ нихъ легко отдѣлывались лишь цинизмомъ и развратомъ мысли, насмѣшкой... Но, вѣдь, это не выходъ...

Нужно было что-нибудь другое, цѣнное, что дало бы личности право заявить о себѣ. Это было трудно. И естественно, если лишь робко и медлительно люди уходили въ другую сторону, уходили въ себя.

Какъ бы для того, чтобы усугубить тяжесть положенія, Западъ не приходилъ на помощь. Тамъ одинаково были крахи. Крахъ „интернаціонала“, крахъ парижской коммуны, заколотой французскими же штыками, и основаніе Германской имперіи ясно говорили, куда идетъ жизнь и чего она хочетъ. Буржуазія съ своими акціями и облигаціями или сама усѣлась на тронъ, какъ во Франціи, или подчинила его себѣ, какъ въ Англіи, или обратила его въ бронированный кулакъ, какъ въ Германіи. Она хотѣла новыхъ рынковъ, усиленнаго производства, милліардовъ наживы, и поддерживала свою волю милліонными арміями. У себя на родинѣ въ эти дни Ницше не видѣлъ ни науки, ни философіи, ни литературы—одного Бисмарка. Соціалъ-демократія была далека не только отъ побѣды, но и отъ признанія. Для насъ, русскихъ, она въ тѣ дни даже не существовала: народничество пріучило насъ къ мысли, что у насъ с л а в а Б о г у, рабочаго движенія нѣтъ и быть не должно.

Новая мысль является къ намъ обыкновенно подъ конвоемъ иностраннаго авторитета. Не видя на мысли иностраннаго клейма, мы невнимательны къ ней и даже глухи. Все прошлое какъ бы вопіетъ: „не вѣрь своему“, „бойся своего“.

Естественно, если на большинствѣ восьмидесятниковъ лежитъ печать скуки, разочарованія, ненужности. Они быстро сошли со сцены, признавъ себя людьми „обреченными“. Они рано поняли, что имъ надо приниматься за карьеру, или долгую, скучную старость.

Совсѣмъ, конечно, жизнь замереть не можетъ. Кругомъ были развалины, „поле, усѣянное мертвыми костями“, какъ говорилъ и писалъ Михайловскій, пустыя слова старыхъ мыслей, коконы старыхъ формулъ. Но тамъ и здѣсь таилось исканіе вчера утерянной правды и смысла жизни.

Человѣкъ уходилъ въ себя. Лучшій человѣкъ, конечно, и чѣмъ

лучше онъ былъ, тѣмъ глубже уходилъ онъ въ жизнь своего духа, въ таинственные вопросы бытія и смерти, въ тяжелую работу самосовершенствованія.

Безъ энергіи, безъ воли, растерявшійся въ новой обстановкѣ капитализма и долго не могшій осмыслить ее, онъ все же искалъ выхода. Усталость и растерянность давали знать себя и въ увлеченіяхъ. И онъ увлекался тѣмъ, что говорило ему прежде всего и больше всего о немъ самомъ, о правдѣ личной жизни, достижимой въ любой общественной обстановкѣ и даже несмотря на нее... Онъ увлекался Достоевскимъ, ученіемъ Толстого, въ разной степени, но все съ той же надеждой оправдать въ своихъ глазахъ безцѣльность своего существованія.

4. Вліяніе Достоевскаго.

Поразительно выросло вліяніе Достоевскаго, которымъ такъ обидно пренебрегали его современники. Это понятно: Достоевскій прежде и больше всего приковываетъ къ „вопросамъ личности". Какъ одного изъ его героевъ Кириллова, „Богъ его всю жизнь мучилъ". Также и безсмертіе души. Онъ зналъ вѣру, зналъ и отрицаніе. Нигилистъ и монахъ какъ-то странно уживались въ его исполненной противорѣчій натурѣ. Онъ изъ ищущихъ, но ищущихъ нервно, нетерпѣливо, истерически. Его художественное воображеніе доходило до кощунственныхъ образовъ, прилѣплялось къ нимъ, возилось съ ними и вдругъ, какъ бы испугавшись, отшатывалось въ сторону и, ужаснувшись своего невѣрія, становилось на колѣна передъ образомъ. Ницше считалъ его однимъ изъ своихъ учителей: изъ тѣхъ же посылокъ, той же концепціи мира дошелъ до чистаго атеизма. Достоевскій не рѣшился дойти до этой черты. Онъ изображалъ лишь муки невѣрія, жажду вѣры и невозможность вѣрить. Во всякомъ случаѣ, религіозные вопросы стояли у него на первомъ планѣ. Въ сущности, всякій вопросъ онъ мыслилъ какъ религіозный. Исканіемъ Бога, борьбой съ нигилизмомъ, отрицаніемъ Христа объяснялъ онъ русское революціонное движеніе. Несомнѣнно, онъ понималъ всю глубину его нравственныхъ запросовъ, видѣлъ въ немъ таинственную и страшную бездну, но когда ему приходилось переводить свои образы на публистическій языкъ, онъ проклиналъ его.Какъ въ Гоголѣ, какъ въ огромномъ большинствѣ русскихъ людей, вскормленныхъ еще крѣпостной Россіей, въ немъ была жажда къ чему-нибудь прислониться, на что-нибудь опереться. И онъ прислонялся, онъ находилъ опору... десять опоръ въ переживаніяхъ патріархальнаго строя. Онъ не былъ особенно разборчивъ и проповѣдывалъ смиреніе гордымъ, работу праздным, наказаніе (вплоть до ка-

торги) преступникамъ, идею русскаго мессіанизма всѣмъ космополитамъ и отрицавшихъ Россію, Бога невѣрующихъ, страданіе ищущимъ искупленія, духовную красоту русскаго мужика хищникамъ... Это все было какъ бы повтореніемъ славянофильства и гоголевской „переписки съ друзьями“. Но, разумѣется, не по этимъ страницамъ учился Ницше, и не ради нихъ читали и читаютъ Достоевскаго. Его значеніе не въ поученіяхъ, а въ „вопросахъ личности“. „Личность“ интересовала и тревожила его въ моменты своего возстанія, протеста, ниспроверженія всего завѣщаннаго, обычнаго, традиціоннаго. Задыхаясь слѣдилъ онъ за этимъ возстаніемъ, и увлеченный и напуганный имъ. Въ наличности онъ чувствовалъ такую бездну накопленной мести, гнѣва, обиды за прошлое, что она казалось, все была готова уничтожить, черезъ все „преступить“. Ему уже представлялись всѣ узы порванными, всѣ святыни поверженными: такой разгаръ преступленія, карамазовщины, всего жестокаго, хищнаго и мятежнаго, такая жажда крови, разрушенія, невѣрія и цинизма, что онъ въ ужасѣ начиналъ кропить жизнь евангельскими текстами, обрывками славянофильскихъ формулъ, разогрѣтой моралью прописей. И опъ звалъ, настойчиво звалъ человѣка въ себя, въ свою душу, говоря ему вѣчно о Богѣ и чортѣ, раѣ и адѣ, спасеніи и гибели.

5. Ученіе Толстого.

Въ томъ же направленіи вліялъ и Толстой.

„Ученіе“ Толстого, распространенное имъ въ 80-е годы, было и послѣднимъ словомъ праваго народничества и проповѣдью самосовершенствованія, аскетизма праведности.

Еще глубже въ себя ушелъ человѣкъ, еще дальше отъ „неотложныхъ задачъ русскаго прогресса“, продиктованныхъ эпохой 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Толстой всѣмъ ищущимъ и мятущимся указалъ „путь спасенія“. Это не новый путь, частью уже извѣданный раньше. Толстой требовалъ только, чтобы, вступивъ на него, люди шли *до конца*. Толстой звалъ въ народъ, въ массу; звалъ къ мужику, проповѣдывалъ опрощеніе, отказъ отъ всѣхъ удобствъ и цѣлей матеріальной культуры, занятіе единственно чистымъ и праведнымъ земледѣльческимъ трудомъ. Опять передъ нами кличъ „въ народъ“, опять опрощеніе, но уже безъ компромиссовъ, безъ уклоненій въ сторону, безъ какихъ бы то ни было революціонныхъ и политическихъ цѣлей. Цѣль одна—*достиженіе чистой праведной жизни*, примиреніе съ совѣстью, со всѣмъ естественнымъ и съ природой, отъ которой такъ далеко ушелъ культурный человѣкъ.

Культура, т. е. расширеніе власти человѣка надъ природой, замѣна естественнаго искуственнымъ, ростъ потребностей, еще разъ подверглась отрицанію, какъ противорѣчащая нравственному сознанію человѣка.

Во всемъ этомъ лично для Толстого проблема совѣсти стояла, несомнѣнно, на первомъ планѣ. Сначала онъ думалъ о себѣ. Задача обновить всѣхъ людей, обновить жизнь всего человѣчества по опростительной русской программѣ явилась позже.

Въ концѣ 70-хъ годовъ, т. е. приближаясь къ 50-лѣтнему возрасту, Толстой, подъ вліяніемъ наступавшей старости, охваченный ужасомъ смерти, задалъ себѣ вопросъ: зачѣмъ онъ жилъ, что онъ сдѣлалъ?—и увидѣлъ себя вынужденнымъ отвѣтить, что жилъ онъ отчасти для процесса жизни, главнымъ образомъ для славы и самоудовлетворенія, и что сдѣлалъ онъ хотя и много такого, за что его хвалили люди и платили большія деньги, но, въ сущности, все сдѣланное имъ или ненужно или вредно.

Вопросъ о смыслѣ и праведности личной своей жизни перешелъ или выросъ въ вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни вообще и о томъ, какъ сдѣлать ее согласной съ природой и совѣстью.

Съ своими сомнѣніями онъ обратился къ наукѣ, но скоро увидѣлъ, что она не можетъ ни въ чемъ помочь ему, потому что „это не ея дѣло". Онъ взялся за Евангеліе, но и оно удовлетворило его не вполнѣ. Онъ понялъ, что повѣрить въ Христа-Бога, въ Евангеліе, какъ божественное откровеніе, онъ не можетъ. Онъ извлекъ изъ него лишь нравственное ученіе съ основнымъ догматомъ непротивленіе злу и требованіемъ любви къ ближнему, и на время, по крайней мѣрѣ, почувствовалъ, что владѣетъ чѣмъ-то несомнѣннымъ.

Но это былъ лишь остовъ ученія. Въ подробностяхъ его развитія, въ его дальнѣйшихъ формулахъ воплотился весь жизненный опытъ Толстого, его натура и нѣчто еще большее — опростительная тенденція русскаго барства. Въ источникѣ стоитъ голосъ кающейся совѣсти и не только недовѣріе къ Западу, но и рѣшительное признаніе, что путь западно-европейскаго развитія, путь культуры и техники, науки и раціонализма безусловно ложенъ.

Въ ученіи Толстого возродились многія излюбленныя мысли славянофиловъ, напр., о превосходствѣ интуиціи и художественнаго воспріятія надъ пониманіемъ небходимости не только подчинить политику нравственности, но и совершенно упразднить политическую жизнь, о крестьянской жизни, какъ образцѣ для всѣхъ.

Словомъ это нѣчто большее. Это дѣйствительный итогъ нашей „борьбы съ Западомъ", нашего народничества и жажды опрощенія.

Ученіе Толстого — тяга въ деревню, въ природу, массу, отказъ отъ сдѣланаго „разумомъ" и отрицаніе этого сдѣланнаго.

Вначалѣ и какъ разъ въ самую темную эпоху 80-хъ годовъ это было воистину философіей смерти. Не стану приводить тѣхъ строкъ и страницъ изъ „Исповѣди", гдѣ Толстой разсказываетъ объ ужасѣ передъ могилой, овладѣвшемъ его душой, и преслѣдовавшей его мысли убить себя, о томъ, какъ изъ-за каждаго молодого смѣющагося лица на него глядѣлъ безобразный черепъ. Я только напоминаю объ этомъ. И въ моихъ глазахъ оно важно. Смерть, мысль о смерти, ея призракъ и предчувствіе, дала, какъ я говорилъ выше, мудрость нашему барству. Та же смерть продиктовала Толстому его полную переоцѣнку всѣхъ цѣнностей.

Онъ увидѣлъ полную безсмыслицу и ничтожество всѣхъ дѣлъ человѣческихъ. Онъ увидѣлъ нищету всѣхъ нашихъ стремленій и усилій. Мысль о томъ, что исторія идетъ „ложнымъ и страшнымъ" путемъ, стала его господствующей мыслью. Отказавшись отъ всѣхъ „ложныхъ" задачъ, онъ постигъ, что единственно „истинная" задача человѣка это спасти самого себя въ морѣ лжи, разврата и лицемѣрія и подготовить себя къ смерти, о которой онъ такъ легкомысленно забываетъ. Опираясь на Евангеліе, на Будду, а больше всего на самого себя, конечно, онъ сталъ говорить о непротивленіи злу, о томъ, что пора „одуматься". Онъ проповѣдывалъ „недѣланіе", какъ пріостановку жизни въ ея обычныхъ культурныхъ формахъ, что дало бы человѣку возможность понять суету его работы, его желаній. Онъ шелъ дальше и училъ полному воздержанію отъ любви, т. е. шелъ навстрѣчу мысли о самоубійствѣ всего человѣчества и прекращеніи жизни.

Обезцѣненная призракомъ смерти, жизнь въ его глазахъ представилась однимъ огромнымъ обманомъ, ареной насилія, жестокости, лжи и разврата. Съ отвращеніемъ отвернулся онъ отъ нея и ея соблазновъ. Всякое проявленіе внѣшней силы показалось ему преступленіемъ, какъ и всякое стремленіе продолжать жизнь.

Тутъ былъ цѣлый долгій періодъ, не скажу затменія, но какой-то узкой и ограниченной заботы о себѣ, о чистотѣ своего нравственнаго міра: была боязнь запачкаться отъ соприкосновенія съ дѣйствительностью, причемъ вся проповѣдь Толстого сводилась къ отреченію отъ жизни. Проповѣдь эта создала, какъ извѣстно, безжизненное движеніе, родившееся чахлымъ и слабосильнымъ, съ выцвѣтшими глазами и дряхлымъ сердцемъ—нашу „толстовщину".

Къ этому голосу смерти присоединился, однако, голосъ кающейся совѣсти, и онъ-то, вмѣстѣ съ могучимъ темпераментомъ, скоро указалъ

Толстому путь къ возрожденію. Воспитанный русской жизнью, этотъ голосъ толкнулъ его къ мужику.

Все покаянное настроеніе, бывшее въ нашемъ барствѣ, по крайней мѣрѣ, въ лучшихъ его представителяхъ, совѣсть которыхъ была смущена сначала крѣпостнымъ положеніемъ безправной массы, потомъ воспоминаніями объ этихъ мрачныхъ временахъ, тѣхъ, кому не шелъ впрокъ хлѣбъ, воздѣланный рабами, кто давалъ „ганнибалову клятву" бороться до конца съ ужасами крѣпостного строя Россія.—все это сосредоточилось въ Толстомъ. Привилегія его собственнаго положенія, его титулъ, его богатство—вотъ что мучило его постоянно. За довольствомъ своей собственной жизни онъ лишь рѣдко могъ забывать, на чей счетъ оно куплено, чьими трудами обезпечивается. И, не забывая объ этомъ, онъ казнился и тоской, и раскаяніемъ, и муками требовательной совѣсти... Какъ давно это началось! Еще юношей задумывается онъ надъ этими вопросами. Сначала, правда, простой народъ не существовалъ для него, но все же всегда при встрѣчѣ съ крестьянами и крестьянками онъ „испытывалъ безсознательное сильное смущеніе"; потомъ, подъ вліяніемъ литературы XVIII вѣка, въ немъ развились филантропическія мысли, и онъ пишетъ: „Я выхожу изъ университета, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло (жизни) заключается въ самомъ жалкомъ, бѣдственномъ положеніи мужиковъ. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я буду отвѣчать Богу?" Всей своей жизнью и дѣятельностью Толстой доказалъ, что въ этой юной и напыщенной фразѣ были не только красивыя слова „просвѣщеннаго абсолютизма", что это не просто цитата изъ наказа. Ибо что такое вся философія, вся проповѣдь Толстого, какъ не требованіе отъ русскаго помѣщика и барина расплатиться со своими крѣпостными, отъ привилегированнаго—съ массой униженныхъ, и обиженныхъ, отъ нашей цивилизаціи—съ народомъ?

Въ концѣ этого долгаго періода сближенія съ мужикомъ, и именно въ 1887 г., Толстому пришлось побывать въ Московскихъ притонахъ и ночлежныхъ домахъ, между прочимъ, и въ знаменитомъ ляпинскомъ домѣ. Картина нищеты и разврата поразила его. „И прежде, пишетъ онъ, чуждая мнѣ и странная городская жизнь теперь опротивѣла такъ, что всѣ радости роскошной жизни, которыя прежде мнѣ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душѣ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ безъ раздраженія видѣть ни своей ни чужой гостиной, ни чисто барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній. Я не могъ не видѣть рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей ляпинскаго дома".

Наша жизнь ушла изъ деревни въ городъ, забыла о простомъ крестьянскомъ обиходѣ, создала массу искусственныхъ потребностей,— и вотъ, зараженная развратомъ, она гноится. Эти ея гнойныя язвы— пріюты городского пролетаріата. Назадъ надо, въ деревню, надо вернуться къ земледѣльческому труду и устоямъ общинной жизни. Потому что „такъ (какъ мы) нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя".

Цивилизація основана на рабствѣ и нищетѣ массъ, все равно какъ отдѣльная жизнь отдѣльнаго привилегированнаго человѣка на эксплуатаціи чужого труда, на узаконенномъ грабежѣ— вотъ что понялъ Толстой.

Все прошлое, всѣ впечатлѣнія заставили увидѣть это спасеніе въ жизни, какъ она устроена мужикомъ.

Несомнѣнно, что онъ идеализировалъ и народъ, и мужика, и общину. Но вѣдь это такъ просто и естественно. Отъ жалости къ человѣку и отъ того, что чувствуешь свой грѣхъ передъ нимъ, до идеализаціи одинъ шагъ. И въ этомъ Толстой не первый и не послѣдній, но, конечно, онъ больше и ярче другихъ.

Съ обычной своей прямолинейностью Толстой пошелъ дальше другихъ. Если, разсуждалъ онъ, мужики лучше, чище, нравственнѣе насъ, то и надо во всемъ быть какъ они. Онъ одѣлся въ крестьянскую одежду, сталъ заниматься крестьянской работой и теперь, чувствуя подъ ногами твердую почву, началъ жестокую борьбу противъ образованной и привилегированной жизни.

Въ перлъ созданія возвелъ онъ все, чему научила его деревня, община, сектанты: и земледѣльческій трудъ, и простоту потребностей, и великую молчаливую силу смиренія, какъ бы подтверждавшую христіанское „не противиться злому".

Лучше по-мужицки, по-дурацки, чѣмъ такъ, какъ мы живемъ. Безконечно лучше. Тамъ, въ этомъ общинно-земледѣльческомъ міросозерцаніи спасеніе и истина.

„Поэзія Толстого развернула всю мощь и силу, всю нравственную красоту, все волевое содержаніе, всю гамму чувствъ идеи общины и мужика, и въ то же время все ея жизненное практическое безсиліе. Исконная русская стихія высказалась въ немъ съ небывалою, неслыханною полнотой и смѣлостью. Она прокляла его устами искусственную цивилизованную жизнь, мышленіе, лишенное нравственнаго содержанія, искусство, не одушевленное идеей служенія, разумъ, поскольку онъ хочетъ быть устроителемъ жизни, волю, поскольку она хочетъ власти надъ другими; она дала послѣднее грандіозное сраженіе западно-европейскому раціоналистическому міросозерцанію и, въ концѣ концовъ, должна была отступить передъ исконнымъ своимъ врагомъ и пойти на уступки.

О пораженіи тутъ не можетъ быть и рѣчи: тутъ, говорю я, можетъ быть рѣчь только объ отступленіи".

„Подчиняясь прежде всего чувству, Толстой ненавидитъ все, что стало достояніемъ привилегированныхъ, что помогаетъ имъ упрочить свою власть надъ другими, себѣ подобными, надъ этой огромной неисчислимой массой рабовъ. Онъ громитъ науку, технику, искусство, все утонченное, просвѣщенное, наполняющее жизнь праздныхъ; создаетъ свое государство юродивыхъ, видитъ въ цивилизаціи источникъ всякаго зла и рабства, и всѣ вопросы общественной жизни подчиняетъ голосу совѣсти. У него полное отсутствіе юридическаго и политическаго самосознанія, у него верховная, всѣмъ управляющая мечта о совмѣстной жизни людей, цементируемой лишь любовью, взаимнымъ довѣріемъ, но не въ какомъ случаѣ не договоромъ. У него покаянная жажда уйти въ массу народа, растворить похотливые и властные порывы личной жизни въ ея жизни, стереть съ лица земли свое гордое, самонадѣянное, избалованное „я" и всего себя отдать въ распоряженіе стихіи; и вмѣстѣ съ этимъ у него то же стихійное самосознаніе, какъ и у русскаго народа, отрицающее силу отдѣльнаго „я" и даже его право на существованіе" [129]).

Жизнь человѣческая, училъ Толстой, управляется не разумомъ. Отрицаніе науки и техники, отрицаніе западно-европейской раціоналистической цивилизаціи, презрѣніе къ договору—отсюда. Вслѣдъ за Хомяковымъ Толстой все сводитъ къ вѣрѣ, въ ней одной видитъ онъ исходъ, спасеніе, истинную силу жизни. Вполнѣ послѣдовательно ставитъ онъ интуицію выше знанія, искусство выше науки, нравственность выше политики. Онъ хочетъ для человѣка свободы, даже безграничной свободы, но это совсѣмъ не та свобода, которая влечетъ къ себѣ западно-европейскаго, гордаго своимъ разумомъ человѣка. Это свобода одинаково доступная и осуществимая на всѣхъ степеняхъ общественнаго развитія, это свобода „округлаго человѣка", Платона Каратаева—раба фактически и юридически. Потому что, въ концѣ концовъ, гораздо больше, чѣмъ свободы, Толстой хочетъ расплаты за грѣхи, хочетъ успокоенія своей возмущенной совѣсти.

Въ своей критикѣ окружающаго Толстой всегда говоритъ отъ лица русской земледѣльческо-общинной жизни. Въ сущности, больше, чѣмъ кто-нибудь другой, онъ имѣетъ на это право. Насколько возможно это ему, кровному русскому барину, онъ дѣйствительно приблизился къ крестьянскому міру (преимущественно выразившемуся въ сектантствѣ и расколѣ), и оттого его окончательные итоги, „мѣдные барельефы и бронзовые фигуры" его формулъ особенно цѣнны.

По Толстому, смыслъ нашего земледѣльческо-общиннаго міросо-

---

[129]) См. Мои „Очерки".

зерцанія сводится къ тому, что не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ, что внутренняя истинная свобода не зависитъ отъ внѣшнихъ формъ его жизни, что истинныя основы жизни—нравственныя, продиктованныя взаимной любовью, сознаніемъ братства и равенства между людьми, а не юридическія или правовыя, т. е. обезпеченныя договоромъ, что цѣль жизни—въ осуществленіи общины первыхъ вѣковъ христіанства.

Это и есть какъ разъ то, что часто зовется русской мистикой. Тутъ отрицаніе культуры и юридическихъ нормъ жизни, какъ чего-то внѣшняго, „не противиться злу“ и „Богъ есть любовь“.

Въ періодъ 80-хъ годовъ, когда развилось ученіе Толстого, оно нашло себѣ много сторонниковъ. Сколько—трудно сказать. Покойный Шелгуновъ насчитывалъ ихъ около 100.000. Въ одной Смоленской губерніи было, какъ говорятъ, до 50 интеллигентныхъ земледѣльческихъ колоній. Толстой увлекалъ не только обаяніемъ своего имени, но и тѣмъ, что давалъ „выходъ въ русскомъ стилѣ“ и остаткамъ народническаго духа и всѣмъ запросамъ личнаго самосовершенствованія, личной правды. Въ далекомъ же будущемъ свѣтится идеалъ возрожденія всѣхъ людей, всего человѣчества.

Толстой мудро устроилъ свое ученіе. Оно охватывало не только всю жизнь человѣка, но и весь его д е н ь, не только религіозное мышленіе, но и пищу, одежду, подробности работы. Оно было уставомъ. Требованіе подвижничества онъ довелъ до аскетизма. Но, не пренебрегая мелочами, зная всю огромную власть ихъ внушенія, Толстой въ то же время не затерялъ въ нихъ своей главной руководящей мысли, которую можно формулировать такъ:

„Надо уйти въ опрощеніе отъ культуры, которая есть л о ж ь, н а с и л і е, р а з в р а т ъ“.

Именно, развратъ. Это центральное понятіе.

6. Культура, какъ развратъ.

Въ прямолинейномъ развитіи своей стремительной, не знающей удержа мысли, Толстой, особенно въ дни подъема пессимистической волны, такъ расширялъ понятіе разврата, что оно включало въ себя и куреніе табаку, и питаніе „убоиной“, и употребленіе спиртныхъ напитковъ, и всю половую жизнь человѣка. Но, освобождая его мысль изъ-подъ плитъ этихъ мелочей, сектантской нетерпимости и мрачнаго пессимизма, мы видимъ, что для него „р а з в р а т ъ есть жизнь на ч у ж о й счетъ; развратъ возможенъ лишь потому, что можно покупать трудъ другого человѣка, или заставлять этого другого человѣка работать на себя. Словомъ, источникъ разврата—неравенство, сословныя привилегіи, насиліе“.

Особенно ярко выразилась эта мысль въ ученіи Толстого объ искусствѣ и наукѣ.

Его отношенія къ современному искусству и наукѣ исполнены сарказма и печали, и даже болѣе сарказма, чѣмъ печали. Онъ одинакого стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что „единственное знаніе, нужное человѣку, это знаніе добра и зла“ и что, при огромной затратѣ на наши искусства и науки людьми и средствами, выгоды ихъ *для массы* или ничтожны или отрицательны.

„Нынче, вѣдь, куда ни пойди, говоритъ онъ: въ книжный магазинъ, въ посудный, ювелирный,—вездѣ искусство, и не какое-либо любительское, а патентованное, съ дипломами и золотыми медалями. Пойдите въ театръ—тамъ опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задираетъ. И эта гадкая глупость не только не считается неприличнымъ дѣломъ, а напротивъ, возводится въ нѣчто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится даже въ газетахъ постоянное мѣсто, на ряду съ величайшими міровыми событіями. Нѣкоторые же органы печати имѣютъ еще для этого и постоянныхъ цѣнителей, которые часто ночью, прямо изъ театра, ѣдутъ въ типографію и тамъ немедленно, при грохотѣ машинъ, пишутъ свои впечатлѣнія, поспѣшая, дабы міръ заутра могъ уже знать, какъ именно вчера такая-то госпожа въ такомъ-то театрѣ ноги вверхъ задирала“.

Современное намъ искусство Толстой выводитъ изъ эпохи возрожденія—той эпохи, когда культурные и привилегированные классы окончательно отдѣлились отъ народа и утеряли всякую способность и склонность къ религіозному мышленію.

Въ лучшемъ произведеніи послѣднихъ лѣтъ, „Что такое искусство“, Толстой подробно развиваетъ эти взгляды. Здѣсь я могу передать ихъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

„Всегда, во всякое время и во всякомъ человѣческомъ обществѣ есть общее всѣмъ людямъ этого общества религіозное сознаніе того, что хорошо и что дурно, и это-то религіозное сознаніе и опредѣляетъ достоинство чувствъ, передаваемыхъ искусствомъ. И потому всегда у всѣхъ народовъ искусство, передававшее чувства, вытекающія изъ общаго людямъ этого народа религіознаго сознанія, признавалось хорошимъ и поощрялось“...

Въ средніе вѣка „искусство было настоящимъ искусствомъ, потому что соотвѣтствовало религіозному міровоззрѣнію народа, среди котораго оно возникло“...

„И такъ это было до того времени, пока не явилось въ высшихъ, богатыхъ, болѣе образованныхъ сословіяхъ европейскаго общества сомнѣнія въ истинности того пониманія жизни, которое выражалось като-

лицизмомъ. Когда же послѣ Крестовыхъ походовъ, высшаго развитія папской власти и злоупотребленій ею, послѣ ознакомленія съ мудростью древнихъ люди богатыхъ классовъ, съ одной стороны, увидали разумную ясность ученія древнихъ мудрецовъ, съ другой стороны, увидали несоотвѣтствіе господствовавшаго ученія съ ученіемъ Христа, люди этихъ высшихъ богатыхъ классовъ потеряли возможность вѣрить какъ прежде въ католическое ученіе".

„И вотъ среди этихъ-то (утерявшихъ вѣру) людей стало выростать искусство, расцѣниваемое уже не потому, насколько оно выражаетъ чувства, вытекающія изъ религіознаго сознанія людей, а только потому, насколько оно к р а с и в о, другими словами, насколько оно доставляетъ наслажденіе".

Оно перестало быть искусствомъ истиннымъ, которое в с е н а р о д н о выражаетъ высшее религіозное міросозерцаніе общества, и стало искусствомъ развратнымъ, которое служитъ только привилегированнымъ.

„Съ тѣхъ поръ, продолжаетъ Толстой, какъ высшія сословія христіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, искусство высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа, и стало два искусства: и с к у с с т в о н а р о д н о е и и с к у с с т в о г о с п о д с к о е".

Между ними пропасть взаимнаго непониманія.

Господское искусство „могло возникнуть только на рабствѣ народныхъ массъ и можетъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока будетъ это рабство—и того, что только при условіи напряженнаго труда рабочихъ спеціалисты-писатели, музыканты, танцоры, актеры могутъ доходить до той утонченной степени совершенства, до которой они доходятъ, могутъ производить свои утонченныя произведенія искусства, и что только при этихъ условіяхъ можетъ быть утонченная публика, цѣнящая эти произведенія. О с в о б о д и т е р а б о в ъ к а п и т а л а и н е л ь з я б у д е т ъ п р о и з в о д и т ь т а к о г о у т о н ч е н н а г о и с к у с с т в а".

Господское искусство „совершенно непонятно для народа". „0,99 нашихъ европейскихъ людей, поколѣніе за поколѣніемъ, живутъ и умираютъ въ напряженномъ трудѣ, необходимомъ для производства нашего искусства, не пользуясь имъ". „Чувства чести, патріотизма, влюбленія, составляющія главное содержаніе теперешняго искусства, вызываютъ въ человѣкѣ трудовомъ только недоумѣніе, презрѣніе или негодованіе".

А между тѣмъ, современное господское искусство стоитъ страшно д о р о г о. Подсчетъ того, что оно стоитъ, обращается у Толстого въ обвинительный актъ. „Для всякаго балета, цирка, оперы, оперетки, выставки, картины, концерта, печатанія книги нужна напряженная

работа тысячъ и тысячъ людей, поневольно работающихъ часто губительную и унизительную работу".

На поддержаніе искусства тамъ, гдѣ на народное образованіе тратится только одна сотая того, что нужно для доставленія всему народу средствъ обученія, даются милліонныя субсидіи отъ правительства на академіи, консерваторіи, театры. Въ каждомъ большомъ городѣ строятся огромныя зданія для музеевъ, академій, консерваторій, драматическихъ школъ, для представленій и концертовъ. Сотни тысячъ рабочихъ—плотники, каменьщики, красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики—цѣлыя жизни проводятъ въ тяжеломъ трудѣ для удовлетворенія требованій искусства, такъ что едва ли есть какая-нибудь другая дѣятельность человѣческая, кромѣ военной, которая поглощала бы столько силъ, сколько эта.

Но мало того, что такіе огромные труды тратятся на эту дѣятельность: на нее, такъ же какъ на войну тратятся прямо жизни человѣческія: „сотни тысячъ людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ всѣ свои жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертѣть ногами (танцоры), другіе (музыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы умѣть перевернуть всякую фразу на всякіе лады и ко всякому слову подыскать риѳму. И такіе люди, часто очень добрые, умные, способные на всякій полезный трудъ, дичаютъ въ этихъ исключительныхъ, одуряющихъ занятіяхъ и становятся тупыми ко всѣмъ серьезнымъ явленіямъ жизни, односторонними и вполнѣ довольными собой спеціалистами, умѣющими только вертѣть ногами, языкомъ и пальцами".

И, стоя такъ дорого, искусство служитъ лишь наслажденію п р а з д н ы х ъ. Стремясь удовлетворить ихъ „утонченный", т. е. пресыщенный вкусъ, оно, разумѣется, развращаетъ ихъ. Не боясь слова, Толстой прямо называетъ его блудницей.

„Какъ ни страшно это сказать, съ искусствомъ нашего круга и времени случилось то, что случается съ женщиной, которая свои женскія привлекательныя свойства, предназначенныя для материнства, продаетъ для удовольствія тѣхъ, которые льстятся на такія удовольствія".

Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей. И это сравненіе вѣрно до малѣйшихъ подробностей. Искусство такъ же всегда разукрашено, такъ же всегда продажно, такъ же заманчиво и губительно.

Настоящее произведеніе искусства можетъ проявляться въ душѣ художника только изрѣдка, какъ плодъ предшествующей жизни, точно такъ же какъ и зачатіе ребенка матерью. Поддѣльное же искусство

производится мастерами-ремесленниками безостановочно, только были бы потребители.

Настоящее искусство не нуждается въ украшеніяхъ, какъ жена любящаго мужа. Поддѣльное искусство, какъ проститутка, должно быть всегда изукрашено.

Причиной появленія настоящаго искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство, какъ для матери причина зачатія есть любовь. Причина поддѣльнаго искусства есть корысть, точно такъ же какъ и проституція.

„Послѣдствіе истиннаго искусства есть внесенное новое чувство въ обиходъ жизни, какъ послѣдствіе любви жены есть рожденіе новаго человѣка въ жизнь. Послѣдствіе поддѣльнаго искусства есть развращеніе человѣка, ненасытность удовольствій, ослабленіе духовныхъ силъ человѣка".

Такъ что:

„Если бы былъ поставленъ вопросъ о томъ, что лучше нашему христіанскому міру: лишиться ли в с е г о того, что теперь считается искусствомъ, вмѣстѣ съ ложнымъ, и в с е г о хорошаго, которое есть теперь, то я думаю, что всякій разумный и нравственный человѣкъ опять рѣшилъ бы вопросъ такъ же, какъ рѣшалъ его Платонъ для своей республики и рѣшали всѣ церковные христіанскіе и магометанскіе учители человѣчества, т. е. сказалъ бы: „лучше пускай не было бы никакого искусства, чѣмъ продолжалось бы то развращенное искусство, или подобіе его, которое есть теперь".

Передъ нами цѣлая философія исторіи „паденія человѣчества" и роста его развращенности. Источникъ этой послѣдней в ъ э к с п л у а т а ц і и т р у д а, въ томъ, что высшія сословія выдѣлились изъ массы народа и зажили своей жизнью, исполненной праздности и невѣрія. Для своей утѣхи они создали науку, отвѣчающую лишь на вопросы праздная любопытства и утонченное искусство, служащее какъ блудница наслажденію и разврату.

Истинное искусство всенародное, понятно и доступно всѣмъ. Оно „возникаетъ только тогда, когда какой-либо человѣкъ изъ народа, испытавъ сильное чувство, имѣетъ потребность передать его людямъ". Оно всѣмъ нужно, потому что учитъ какъ жить, выражаетъ высшее религіозное самосознаніе своего времени и, заражая людей тѣми же чувствами, укрѣпляетъ ихъ единеніе и братство. Оно не можетъ обратиться въ профессію, оно стихійный взрывъ человѣческаго творчества, стихійный отвѣтъ вдохновеннаго человѣка на вопросъ о смыслѣ жизни, служеніе истинному богу, который есть любовь, братство и равенство.

Много нареканій, упрековъ, обидныхъ рѣзкихъ словъ вызвало въ свое время ученіе Толстого. Полемика была злая, размашистая, часто недостойная. Доходила до обвиненій Толстого въ какихъ-то расчетахъ на наживу (Н. К. Михайловскій), на страницахъ газетъ объявляли о своемъ желаніе дать ему пощечину за отношеніе къ женщинѣ и женскому вопросу У насъ, впрочемъ, всегда такъ: озлобленно, размашисто, безъ удержу: или „въ ноги“ или въ „ухо“.

Толстого винили за то, что онъ отвлекаетъ молодыя силы отъ „активной роли въ жизни“, проповѣдуетъ смиреніе, отказъ отъ борьбы съ „официальной народностью“, не уважаетъ науку, смотритъ на политическія программы, какъ на мыльные пузыри.

Очень трудно подсчитать вину Толстого въ этомъ отношеніи, особенно въ тѣ дни, когда объ активной роли никто и не мечталъ. Но упреки въ смиреніи, разумѣется, смѣшны. На словахъ, по формѣ смиреннымъ человѣкомъ былъ въ свое время протопопъ Аввакумъ. Казалось бы даже— чего смиреннѣе? Бьютъ его по правой щекѣ, онъ подставляетъ лѣвую. На языкѣ только ласкательныя слова. Всѣхъ своихъ палачей онъ благодаритъ и „жалѣетъ“. И въ то же время какая сила неповиновенія и отрицанія! Никакой уступки, ни одного шагу навстрѣчу никоніанцамъ, дикое торжество при мысли, что они, преслѣдуя его, губятъ себя, сатанинская гордость отъ сознанія, что только онъ знаетъ истину и владѣетъ ею...

Изъ того же „камня“ и смиреніе Толстого. Конечно, онъ училъ, что не надо противиться злу. Но онъ училъ и другому, что злое, напр., государство, должно быть бойкотировано, что надо удалить его изъ своей жизни, что ни въ какомъ случаѣ нельзя итти къ нему *на службу*. Въ этомъ смыслѣ онъ близокъ къ расколу и сектанству въ такихъ его проявленіяхъ, какъ духоборчество.

Въ своей мысли онъ преодолѣлъ и государство и церковь. Онъ хотѣлъ, чтобы люди преодолѣли ихъ вліяніе и власть въ своей жизни. Онъ говорилъ, что война, торговля, судъ, частная собственность, власть человѣка надъ человѣкомъ есть зло... Что же дѣлать? Прежде всего—*не подчиняться*. Не брать въ руки оружія, *жить только своимъ трудомъ*.

Это „неподчиненіе“ есть, разумѣется, возстаніе. И ничего удивительнаго, если „смиреннаго“ Толстого предали анаѳемѣ. Это было напряженное и трудное исканіе той правды общественной и личной, которая мирилась съ совѣстью человѣка, не отуманенной соображеніями о личной выгодѣ. Это было возстаніе противъ государства, которое постепенно приняло въ глазахъ Толстого значеніе и смыслъ „организованнаго насилія“ для эксплуатаціи труда народа и труда массъ, и церкви, услужливо

оправдывавшей и это насиліе и эту эксплуатацію. Это была великолѣпная попытка вернуться къ христіанскому міропониманію и жизни.

Тѣнь смерти, пресыщенности, старческаго пессимизма, густо лежащая на нѣкоторыхъ страницахъ ученія Толстого (напримѣръ, „Крейцерова соната"), ослабила критическую часть его ученія. Но несомнѣнно, что эта „критика" скрасила даже блѣдныя попытки его послѣдователей воплотить ученіе въ жизнь. Толстовцы основывали свои колоніи и земледѣльческія коммуны, свое общежитіе не только внѣ обычаевъ, регламентаціи, офиціально признанныхъ уставовъ и статей свода законовъ, но и противъ нихъ. Они не хотѣли брать оружія въ руки. Это было уже „преступленіемъ" съ государственной точки зрѣнія.

Толстой увлекалъ собою тѣмъ, что онъ, повторяю, договорилъ многое недоговоренное, и скрытыя, таившіяся въ русской жаждѣ опрощенія мысли вывелъ наружу въ рѣзкой, прямолинейной формулировкѣ.

Жизнь должна быть проявленіемъ совѣсти, а не силы. Она должна воплощать жажду любви къ людямъ и общенія. Надо отбросить соблазны западной культуры: комфортъ, раздѣленіе труда, подчиненіе слабаго сильному, борьбу за право и славу. Единственно нормальный, здоровый и праведный трудъ—это трудъ земледѣльческій, крестьянскій. Не мужика учить надо, а у ч и т ь с я у м у ж и к а.

Это было бѣгство изъ растущихъ городовъ, обращеніе къ землѣ и земледѣльческому труду, доведенное до конца стремленіе слиться съ народомъ и, какъ всегда, борьба съ офиціальной жизнью. Это было бѣгство за лѣса и болота, въ скиты, въ горныя ущелья, бѣгство отъ вѣры какъ обязанности, работы какъ повинности, бѣгство человѣческаго „я" отъ церкви, государства и рынка.

Если жизнь воплотила ученіе Толстого въ формы, сравнительно, блѣдныя и вялыя, если большинство „коммунъ и скитовъ" распалось отъ лѣни, отъ борьбы тщеславій, то ученіе собственно мало въ этомъ повинно. Оно протоптало для „интеллигенціи" небольшую, едва замѣтную тропинку къ расколу и замолчало, или замерло, уступивъ мѣсто рабочему движенію. Самъ Толстой ушелъ отъ себя, а въ сущности, цѣликомъ онъ никогда и не былъ въ своемъ ученіи.

Но все же толстовство—самое замѣтное въ жизни 80-хъ годовъ. Въ немъ опредѣленность, полнота, безпокойная мысль, что нельзя жить такъ, какъ мы живемъ. Ничего равнаго въ этомъ смыслѣ 80-е годы не дали.

На поверхность выплывало то славянофильство, обновленное Данилевскимъ и Страховымъ, то полная противорѣчій философія Вл. С. Соловьева, проповѣдывавшаго какое-то наивное подобіе христіанскаго соціализма, а одно время „переходъ православной церкви въ католицизмъ,

блѣдныя исканія религіозной мысли, вегетаріанскія морализированія „апостоловъ“ въ родѣ Фрея. Всплыла, наконецъ, какъ блѣдный свѣтъ на ночномъ горизонтѣ, поэзія Чехова.

7. Поэзія Чехова.

Въ одномъ изъ своихъ частныхъ писемъ Чеховъ какъ-то сказалъ, что русскимъ людямъ надо пожелать „умѣть желать“. Людей сосредоточенной сильной воли, опредѣленнаго хотѣнія и опредѣленныхъ цѣлей онъ на самомъ дѣлѣ не видѣлъ около себя въ дни своей юности, и впечатлѣніе сумерекъ, дождливой осени навсегда осталось въ немъ. Вся его юность заполнена рутиной русской реакціи, свинцовыми впечатлѣніями 80-хъ проклятыхъ годовъ, такъ измочалившихъ русскую душу. Сначала молодость брала свое, и Чеховъ смѣялся надъ нелѣпой и скудной жизнью, смѣялся такъ заразительно и весело. Но жизнь ущемила сердце, тоска забиралась въ него... Рѣла мысль, что на сценѣ „обреченное“ поколѣніе безъ цѣли, безъ воли, безъ будущаго. На любимый настойчивый русскій вопросъ—что же дѣлать, не находилось отвѣта: ни въ обноскахъ народническихъ формулъ, ни, конечно, въ испуганномъ молчаніи русской жизни, гдѣ орудовалъ хищникъ, гдѣ тоскливо перебивались изо дня въ день ограбленная имъ природа, ограбленныя имъ люди. Все пріуныло въ жестокой распутицѣ, все слилось въ одну сѣрую массу; въ мглѣ осеннихъ сумерекъ не было ни большого ни малаго, ни нужнаго ни ненужнаго, одно безцвѣтное.

Ощущеніе растерянности и нелѣпости—вотъ главное, что остается отъ чтенія чеховской беллетристики или его драмъ. Чувствуется вездѣ „дыханіе огромной, но сѣренькой и убогой жизни, омытой безпомощными слезами, тяжелымъ трудовымъ потомъ, а нѣтъ-нѣтъ и покрытой пятнами человѣческой крови“. Напоминать образы, называть имена нечего....

Человѣка нѣтъ, личности нѣтъ, и вмѣсто этого одна нелѣпость жизни, до того густая и вязкая, что въ ней безсильно застреваетъ всякая мысль.

Поговорка гласитъ: „трудно сохранить величіе въ болотѣ и на проселочной дорогѣ“.

Русская жизнь попала на самомъ дѣлѣ на проселочную дорогу. Въ грязи и подъ дождемъ великое становилось смѣшнымъ; въ общемъ туманѣ большое равнялось съ малымъ, смѣлое и характерное стало какъ

бы не нужнымъ и сѣрымъ. Только хищный капитализмъ (большой, средній и малый) продолжалъ свои завоеванія.

Чеховъ пришелъ уже на оголенное хищниками и кулаками мѣсто, и оно поразило его своимъ унылымъ однообразіемъ, своею безжизненностью, слѣдами разрушенія, печатью отчаянія и ненужности. Точно на какомъ то пожарищѣ, маленькіе, грязные, ошеломленные несчастіемъ люди копошатся, разворачивая обуглившіеся обломки. Огонь хищничества, дѣйствительно, истребилъ и рыбу въ водѣ, и птицъ въ воздухѣ, и народническое настроеніе въ душѣ интеллигента... Мнѣ думается, что рѣчь доктора Астрова въ „Дядѣ Ванѣ“ чисто символическая и понимать ее надо шире.

Астровъ говоритъ о томъ, какъ прежде богатая природа обратилась едва не въ пустырь. „Исчезли и люди, и лебеди, и глухари“. „Отъ прежнихъ выселковъ, хуторковъ, скитовъ, мельницъ слѣда нѣтъ“.

„.....Тутъ мы имѣемъ дѣло съ вырожденіемъ, вслѣдствіе непосильной борьбы съ природой, непосильной борьбы за существованіе. Это вырожденіе отъ косности, отъ невѣжества, отъ полнѣйшаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человѣкъ, чтобы спасти остатки жизни, чтобы спасти своихъ дѣтей, инстинктивно, безсознательно хватается за все, чѣмъ только можетъ утолить голодъ, согрѣться, разрушаетъ все, не думая о завтрашнемъ днѣ. Разрушено уже почти все, но взамѣнъ не создано еще ничего...“

Разрушено, растаскано, расхищено почти все. Человѣкъ боленъ, голоденъ, ошалѣлъ отъ угрозъ завтрашняго голоднаго дня, отъ невѣжества и нищеты,—это разореніе и есть та соціологическая почва, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненныя драмы.

Вчерашній день для Чехова это борьба за счастье народа; сегодняшній его день, какимъ онъ жилъ, это разочарованіе въ борьбѣ, усталость отъ нея, это скука обывательской пошлости.

И онъ отдалъ себя изображенію этой обстановки, не воспѣвая ее, конечно, но и не гнѣваясь на нее, не проклиная ее. Онъ пристально смотрѣлъ, чутко вслушивался и подводилъ итоги. У него, крупнаго художника, конечно, свои цѣнности. Не тѣ, которыя были въ жизни, узаконенныя и оправданныя торжествующей свиньей русской реакціи, русскаго мѣщанства и канцеляріи. Цѣнность той же категоріи, какъ и у Толстого, но и при такомъ сближеніи своеобразныя. Ихъ трудно назвать, часто онѣ неуловимы, благодаря скрытности Чехова и его полному нежеланію высказаться о т ъ с е б я. Онъ прежде всего художникъ, съ огромнымъ интересомъ

къ жизни. Въ его творчествѣ много элементовъ изученія, познанія. Онъ признавалъ силу факта, дѣйствительности, умѣлъ видѣть ихъ во весь ихъ ростъ и не обманывать себя насчетъ ихъ истиннаго значенія. Онъ понималъ, что всѣ сорокъ лѣтъ нашихъ разговоровъ о народѣ, фразъ о народѣ и его счастьи все же оставили этотъ народъ невѣжественнымъ, нищимъ и грязнымъ. Онъ понималъ какъ слаба и ничтожна наша интеллигенція, какъ на самомъ дѣлѣ ея нѣтъ у насъ. Хочется (по общему тону его произведеній) приписать лично ему эти вотъ слова одного изъ его героевъ:

„...У насъ въ Россіи, работаютъ пока очень немногіе. Громадное большинство той интеллигенціи, какую я знаю, ничего не ищетъ, ничего не дѣлаетъ и къ труду пока не способно. Называютъ себя ителлигенціей, а прислугѣ говорятъ „ты“, съ мужиками обращаются какъ съ животными, учатся плохо, серьезно ничего не читаютъ, ровно ничего не дѣлаютъ, о наукахъ только говорятъ, въ искусствѣ понимаютъ мало. Всѣ серьезны, у всѣхъ строгія лица, всѣ говорятъ только о важномъ, философствуютъ, а между тѣмъ громадное большинство изъ насъ, девяносто девять изъ ста, живутъ какъ дикари: чуть что—сейчасъ зуботычина, брань, ѣдятъ отвратительно, спятъ въ грязи, въ духотѣ, вездѣ клопы, смрадъ, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, всѣ хорошіе разговоры у насъ для того только, чтобы отвести глаза себѣ и другимъ. Укажите, гдѣ у насъ ясли, о которыхъ говорятъ такъ много и часто, гдѣ читальни? О нихъ только въ романахъ пишутъ, на дѣлѣ же ихъ нѣтъ совсѣмъ. Есть только грязь, пошлость, азіатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезныхъ физіономій, боюсь серьезныхъ разговоровъ. Лучше помолчимъ“.

Онъ понималъ, какъ грузна русская жизнь и какъ легко теряется въ ней человѣкъ. Онъ понималъ, какъ легкомысленно относимся мы къ этой грузной русской жизни, навязывая ей (т. е. въ разговорахъ, журналистикѣ и пр.) пути развитія, какъ непрочны мы сами, интеллигенты, слишкомъ скоро устающіе, разочаровывающіеся, въ массѣ—мелкіе, ничтожные и пустые.

Огромная, хотя убогая ж и з н ь—стихійный, медленный и мутный потокъ—стояла у него впереди всѣхъ теорій, всякой мечты, впереди ч е л о в ѣ к а. Человѣкъ носитъ въ себѣ эту же стихію, всю ея тяжесть и часто, слишкомъ даже часто оказывается подавленнымъ и даже раздавленнымъ ею. Надорванныя силы, растерянныя мысли, парализованная до безсилія пошевельнуть пальцемъ воля—вотъ что несетъ за собою возстаніе на жизнь.

Мы такъ малы... Даже свои маленькія домашнія дѣла мы не умѣемъ устроить, и безпомощно разводимъ руками. Въ скуку, пошлость и нищету

окружающей жизни мы не вносимъ ни улыбки, ни мысли, ни радости. Богъ знаетъ, какъ калѣчимъ мы свои чувства, не смѣя отдаться даже призыву любви. У насъ ни уваженія къ себѣ, ни уваженія къ другому человѣку, а наше возстаніе, недовольство, непримиреніе переходитъ не въ дѣло, а въ тяжелое похмѣлье усталой мечты.

Мы не умѣемъ, не можемъ бороться. Но что же дѣлать? Уйти отъ борьбы... Но куда? Въ эту жизнь? Признать фактъ какъ онъ есть? Подчиниться господствующему теченію наживы, хищничества? Но это е щ е х у ж е. Человѣкъ въ футлярѣ, герой „Крыжовника“ подчинились факту; Анисья въ „Оврагѣ“, Лопахинъ въ „Вишневомъ саду“ служатъ господствующей идеѣ, спокойно перешагиваютъ черезъ людей и даже дѣтскіе трупы. Они довольны, счастливы, быть можетъ, но гдѣ красота, свобода, гдѣ честь ихъ жизни?

Опять—что же дѣлать? гдѣ выходъ?..

Почему, однако, нужны непремѣнно программа и выходъ? Чеховъ не учитель жизни, не проповѣдникъ. Онъ—великое раздумье, онъ самъ на распутьи, добрый, ласковый, ироническій, мудрый въ своемъ признаніи стихійнаго и необходимаго (что человѣку такъ часто представляется случайнымъ); онъ—„п р е д р а з с в ѣ т н о е“, и въ тысячѣ его разсказовъ, образующихъ одну большую поэму—утренній холодокъ, неразсѣянные мглистые призраки ночи, заспанныя или измученныя безсонницей лица людей, не ясный, но могучій шумъ пробуждающейся жизни.

Народничество догорало. Но вліяніе его еще чувствовалось. Дѣйствительность все настойчивѣе сводила на нѣтъ его формулы, но онѣ жили еще въ журналахъ, поддерживались такими авторитетами, какъ Михайловскій, а главное, конечно, тѣми плотинами, которыя устраивало полицейское государство новой жизни.

Чеховъ не любилъ заглядывать въ будущее. Если собрать воедино всѣ его предсказанія и пророчества, на которыя, вообще говоря, такъ щедры русскіе люди, получится очень немногое, да и это немногое проникнуто легкой ироніей. Нѣтъ-нѣтъ, кто-нибудь изъ героевъ Чехова пообѣщаетъ гдѣ-то тамъ вдали, черезъ 200—300 лѣтъ какую-то новую лучшую жизнь, и пообѣщаетъ ее въ такихъ формахъ, какъ будто успокаиваетъ трудно больного или ласково-равнодушно говоритъ: „Богъ вамъ подастъ, бѣдные“...

Для него это не существенно. Онъ жилъ настоящимъ, русскими буднями, безцвѣтной пошлостью обывательскаго дня. На его глазахъ доживали ветхіе люди, умирала пережившая себя, еще на половину

крѣпостная, патріархальная Русь, и онъ хоронилъ ее, какъ, напр., своего дядю Ваню или владѣльцевъ вишневаго сада, или трехъ сестеръ. Онъ хоронилъ ихъ безъ сожалѣнія и гнѣва, съ легкой грустью, неизбѣжной при видѣ раскрытой могилы, съ легкой ироніей, одинаково неизбѣжной для того, кто постигъ всю суровую необходимость дѣлъ человѣческихъ.

Его называютъ прямымъ преемникомъ Гоголя. Какъ всѣ общія формулы, вѣрна отчасти и эта: Гоголь одинаково хоронилъ крѣпостную Россію, понявъ, что ей нечѣмъ жить. И Чеховъ говорилъ, что жить намъ нечѣмъ. Особенно чуткій къ пошлости, онъ видѣлъ всю ея безмѣрность въ нашей жизни, видѣлъ, какъ пропалъ, затерялся, увязъ въ ней человѣкъ. Этой стороной своего дарованія онъ входитъ въ общее русло русской сатиры, которая такъ близка къ трагедіи [130])

Прекрасно многое, написанное Чеховымъ. Но я не знаю ничего болѣе прекраснаго и глубокаго, какъ его „Дядя Ваня". Какъ сгустились тутъ сумерки жизни, какая здѣсь невылазная грязь, какъ безнадежно умалился здѣсь человѣкъ и все человѣческое: личность, собственное достоинство, честь...

Что-то здѣсь до того нелѣпое, русское, что и спросить нельзя, откуда это и зачѣмъ?..

Невольно приходитъ въ голову желаніе приложить здѣсь аршинъ нашей „разумной", раціоналистической критики 60-ыхъ годовъ.

Изъ-за чего же на самомъ дѣлѣ всѣ эти страданія, вопли, слезы, выстрѣлы? Я думаю, что разумъ, самый скромный человѣческій разумъ не оправдаетъ ихъ, не найдетъ въ нихъ ничего осмысленнаго. Дядя Ваня приноситъ себя въ жертву чурбану-профессору и сумѣлъ внушить маленькой миленькой Сонѣ, что приноситъ себя въ жертву чурбану-профессору самое лучшее дѣло жизни. Елена Николаевна кружитъ голову Дядѣ Ванѣ и Астрову, а затѣмъ оставляетъ ихъ ни съ чѣмъ. Мужа она не любитъ. Сплошь четыре акта измѣняетъ ему словами, взглядами, „преступными" поцѣлуями, но все же держится его до конца, и ѣдетъ съ нимъ въ Курскъ, Харьковъ и еще куда-то лѣчить подагру. Дядя Ваня не человѣкъ, а „позоръ и поношеніе человѣка"; 15 лѣтъ читалъ профессорскія брошюры и не могъ понять, что онѣ глупы; потомъ влюбился въ профессоршу, и тутъ постигъ. Талъ что профессоръ, который какъ-то понялъ, что вокругъ него все глупые, смѣшные люди, готовые сдѣлать все, что имъ прикажутъ, 20 лѣтъ къ ряду ѣсть кашу на коноплянномъ маслѣ, чтобы другой кормился трюфелями,—право умнѣе ихъ всѣхъ.

---

[130]) Думается, что вообще соединеніе трагизма и сатиры, все равно какъ тоски и юмора, одна изъ самыхъ любопытныхъ сторонъ русскаго творческаго духа. О Чеховѣ, какъ сатирикѣ, я писалъ давно („Жизнь" 1900 г., № 1).

Подойдите къ „Дядѣ Ванѣ“ съ точки зрѣнія разума, логики, и кромѣ драмы на почвѣ человѣческой глупости и трусости вы не увидите ничего... Лопуховъ, Кирсановъ, Писаревъ черезъ пять минутъ разобрались бы во всей этой исторіи и во всякомъ случаѣ никого бы не пожалѣли

Если люди настолько глупы, ограничены, если они не умѣютъ бороться и завоевывать, если они боятся своего счастья, то стоитъ ли ими интересоваться? Живые мертвецы, предоставленные естественному процессу разложенія... Стоитъ ли съ ними и о нихъ разговаривать?.. Пусть учатся, если могутъ, читаютъ брошюры по естествознанію, пусть постараются понять, что жизнь прекрасна, и что человѣкъ не въ правѣ отдавать ее въ „жертву предразсудкамъ“, что искреннее чувство законно.

Но мы знаемъ, что жизнь не силлогизмъ, и что разумъ, разсудокъ играютъ въ ней послѣднюю роль. И съ этой другой точки зрѣнія „Дядя Ваня“—настоящая драма.

Дядя Ваня влюбился, въ немъ заговорило его „я“, проснулось чувство собственнаго достоинства, чувство чести, и онъ спросилъ себя: кому и чему я приношу себя въ жертву?

— Чурбану-профессору.

Нѣтъ, такъ оно продолжаться не можетъ. Рабъ хочетъ свергнуть своего. Рабъ возсталъ. Онъ возмущенъ. Онъ красивъ моментами. Но, увы, дядя Ваня никогда не умѣлъ жить чувствомъ чести. Ни вчера ни 10 лѣтъ тому назадъ оно не существовало для него. Онъ привыкъ къ своему игу, какъ привыкъ къ своему халату. Буря возмущенной чести улеглась, и онъ идетъ извиняться передъ профессоромъ, укутывать его ноги пледомъ и, издавъ послѣдній вздохъ, принимается за грошевую бухгалтерію.

Вѣдь это ужасъ какое паденіе, какая прострація... Вѣдь страшно жить возлѣ такихъ вотъ дядей, о которыхъ чурбаны-профессоры вытираютъ ноги...

Да, страшно, какъ и отъ всей поэмы произведеній Чехова. Была у насъ поэма „Мертвыя души“, Чеховъ далъ другую—„Живые мертвецы“.

Итакъ:

1) 80-е годы—это годы разложенія и догоранія народничества.

2) Народничество умерло отъ внушеній дѣйствительности, не оправдавшей надеждъ ни на мужика общинника, ни на русскую интеллигенцію.

3) Толстой доводитъ до конца скрытую идею народничества—его борьбу съ западнымъ раціонализмомъ, и рѣшительно выдвигаетъ на первый планъ проблему личнаго спасенія.

4) Уставшая отъ разочарованій 70-хъ годовъ, отъ властныхъ, деспотическихъ, но давно уже мертвыхъ формулъ служенія крестьянскому царству, личность обращается къ себѣ, въ себя.

5) Наиболѣе зараженный картиной разоренія (какъ матеріальнаго, такъ и духовнаго), краха души, Чеховъ даетъ намъ поэму огромной и убогой жизни, которой нечѣмъ жить, некуда итти, въ которой нѣтъ силы и рѣшительности, нѣтъ знанія и мужества,—жизни скупой, гнетущей, унижающей. Онъ даетъ картину долгой осени, гдѣ въ сырости и слякоти происходитъ своеобразное разложеніе прежнихъ цѣнностей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Современная мысль, какъ проблема свободы и необходимости.

1. Переоцѣнка цѣнностей. —2. „Голубиная книга" русской жизни. —3. Кризисъ. —4. Особый характеръ русскаго капитализма.— 5. Мѣщанство. — 6. Индивидуализмъ. —7. Потонувшій колоколъ.—8. Индивидуализмъ и эстетика.— 9. Догматизмъ и доктринерство.—10. Такъ назыв. декаденты.—11. Проблемы идеализма. —12. Мудрая мысль.—13 Идея необходимости. Марксизмъ.—14 Л. Андреевъ.—15. М. Горькій.—16. Свобода и необходимость.

1. Переоцѣнка цѣнностей.

Подведемъ сначала нѣсколько итоговъ.

Что браться за подведеніе итоговъ не рано—это такъ же очевидно, какъ очевиденъ самый огромный совершающійся на нашихъ глазахъ переломъ жизни. Мы разными словами обозначаемъ этотъ переломъ и зовемъ его или „разложеніемъ общинно-земледѣльческаго строя жизни", или развитіемъ капиталистическаго хозяйства, или началомъ „рабочаго движенія", но всѣ эти разныя слова по существу означаютъ то же самое, т. е., что средневѣковая, по преимуществу земледѣльческая, деревенская, патріархальная Россія дожила или доживаетъ свои послѣдніе дни.

Это тяжелый процессъ, ибо на первомъ планѣ здѣсь переоцѣнка цѣнностей, отказъ отъ тѣхъ мечтаній, которыми мы такъ долго жили.

Кто станетъ защищать теперь идею русскаго мессіанизма и увѣрять, что назначеніе Россіи—спасти Европу, обновить ея культуру, указать ей выходъ въ идеалахъ крестьянской общины или въ экономической организаціи, основанной на доброжелательствѣ, взаимномъ довѣріи и взаимной любви богатыхъ и бѣдныхъ, предпринимателей и наемниковъ? [131]) Кто станетъ тѣшить себя дѣтскими надеждами на праведность

[131]) Мысль, которую, между прочимъ, любовно отстаивалъ Вл. С. Соловьевъ,—человѣкъ несомнѣнно крупный, но ветхій.

земледѣльческаго труда, правду общинной жизни, возможность внутренней свободы безъ внѣшняго обезпеченія? Кто умилится теперь отъ увѣреній народниковъ, что кулакамъ, міроѣдамъ не жить, а не жить имъ потому, что у нихъ „сытости нѣтъ“ и все растущая „алчба“? Кто станетъ открещиваться отъ городовъ и науки, или пѣть гимны русской интеллигенціи.

Отъ многаго—большого и малаго, прекраснаго и смѣшного приходится намъ отказаться. Формула Герцена, что въ Россіи человѣкъ будущаго это мужикъ; его же преклоненіе передъ особой внутренней силой русскаго народа; величавая мысль Толстого, что культура должна быть проявленіемъ совѣсти, а не силы; шаблонные восторги передъ русской удалью и безшабашностью,—все это отжило и сдано въ архивъ. А еще вчера это было еще такъ живо, и не гдѣ нибудь, а на вершинахъ мысли. Увлекаясь когда-то своей исключительной любовью къ своему, русскому, даже Толстой писалъ: „Это было то неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому—ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра“... Въ чемъ же выражается это неопредѣленное, исключительно русское чувство? „Это то чувство, говоритъ Толстой, вслѣдствіе котораго охотникъ-рекрутъ пропиваетъ послѣднюю копѣйку, запившій человѣкъ перебиваетъ зеркала и стекла (!) безъ всякой видимой причины и зная, что это будетъ стоить ему его послѣднихъ денегъ,—то чувство, вслѣдствіе котораго человѣкъ, совершая (въ пошломъ смыслѣ) безумныя дѣла, какъ бы пробуетъ свою личную власть и силу, заявляя присутствіе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью“... Толстой не останавливается на этомъ и, давая характеристику различнымъ народностямъ, говоритъ: „Нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины. Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично какъ умомъ, такъ и тѣломъ непреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ, и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко себя и другихъ. Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было вполнѣ знать что нибудь. Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ, и тверже ихъ всѣхъ, и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, и которая для него есть абсолютная истина“...

Эти „истины“ Толстой высказываетъ съ полнымъ спокойствіемъ.

Во время созданія „Войны и Мира“ русскія симпатіи его были энергичны и почти не допускали сомнѣній. Его преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа заставило его преклониться и передъ русскимъ характеромъ.

Эти умиленія и восторги Толстого кажутся теперь такими же странными, какъ и другіе—передъ русскими „авось, небось и какъ-нибудь“, передъ прославленнымъ русскимъ демократизмомъ [132]) передъ „всечеловѣчностью“ русскаго характера [133]), передъ особой свободой русскаго ума [134]).

Во всемъ, что прославлено нами, какъ намъ исключительно свойственное, слишкомъ много выработаннаго вѣками нищеты, молчанія и рабства. Больше всего этого „выработаннаго“ на „праведной“ крестьянской жизни и на „святой“ русской общинѣ. На русской душѣ, русскомъ характерѣ обидно много позорныхъ рубцовъ отъ розогъ, шпицрутеновъ, произвола, чтобы было чѣмъ гордиться. Нигилизмъ и сектанство не свобода, а другая неизвѣстна и недоступна намъ.

Старыя слова умерли или умираютъ въ затяжномъ процессѣ старческой агоніи. „Это значитъ, говоритъ Тардъ, что родились новыя“.

Старыя слова—это „свобода въ рабствѣ“, „равенство въ нищетѣ“. Россія деревня, вся деревянная, обновляемая каждыя 10—20 лѣтъ однимъ пожарами, и потому не помнящая ни родства ни вчерашняго дня, сходитъ со сцены вмѣстѣ съ старыми словами.

Родились новыя слова: сила, свобода, необходимость.

Каждый день все болѣе опредѣленно и властно говоритъ намъ, какъ отъ многаго и многаго надо отказаться. Быть можетъ отъ гораздо большаго, чѣмъ мы ожидаемъ.

Наши передовые умы всегда съ презрѣніемъ относились къ политикѣ, превознося этику и этику. Еще вчера Толстой утверждалъ, что вели-

---

[132]) [133]) [134]) А. Хомяковъ, Достоевскій, Герценъ. Несомнѣнно, что эти восторги въ значительной степени вызвали и нигилистическую реакцію. Такъ, напр., можно привести четверостишіе Тютчева и пародію на него:

Тютчевъ:

Умомъ Россіи не понять
Аршиномъ общимъ не измѣрить,
У ней совсѣмъ другая стать:
Въ Россію можно только вѣрить.

Пародія:

Умомъ Россіи не понять
Аршиномъ общимъ не измѣрить,
У ней совсѣмъ другая стать...
— Россію можно лишь похерить.

главная ошибка Запада въ томъ, что политика тамъ отдѣлена отъ этики. Этика должна поглотить политику. Это дорогая мысль и для Герцена, и для Достоевскаго, и для Толстого, и для всѣхъ, кто шелъ за Лавровымъ. Мы вѣрили этому... и что же? Наша жизнь осталась не только безъ политики, но—и безъ этики.

„Намъ не надо сухого раціоналистическаго знанія, достаточно интуиціи. Не надо культуры, надо одуматься"... Въ результатѣ—ни знанія, ни интуиціи, ни культуры, и очень сомнительно, одумались ли мы?

Россія никогда не будетъ juste milieu [135]), гордо писалъ Герценъ Мишле. Мы стремились къ крайнему, ко в с е м у.

„Русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успокоиться: дешевле онъ не примирится,—конечно, пока дѣло только въ теоріи", утверждалъ Достоевскій, подчеркивая нашъ теоретическій романтизмъ и нашу практическую безпомощность, которая, послѣ первыхъ же взрывовъ молодого негодованія и протеста, отдаетъ человѣка въ„безотчетную" власть безконечныхъ мелочей и непролазнаго хамства русской дѣйствительности.

Мнѣ кажется, что рѣшительному пересмотру подлежатъ слѣдующія идеи:

1) И д е я р у с с к а г о м е с с і а н и з м а. Мы видѣли какъ была она дорога и славянофиламъ, и западникамъ (такимъ какъ Герценъ), и народникамъ 70-хъ годовъ, и Толстому. Совсѣмъ не избѣжали ее даже раціоналистическіе (или, лучше, хотѣвшіе быть раціоналистическими) 60-е годы (М. Михайловъ, отчасти Чернышевскій).

2) И д е я о л о ж н о м ъ и с т р а ш н о м ъ п у т и и с т о р і и. Путь исторіи страшенъ, конечно: это—груды человѣческихъ костей, отвратительный дымъ костровъ инквизиціи, вѣчные стоны въ застѣнкахъ, нищета, голодъ. Но онъ не ложенъ, ибо л г а т ь н е к о м у. Онъ только такой, какимъ можетъ быть.

3) Идея, будто р у с с к а я и н т е л л и г е н ц і я обязана и, больше того, въ состояніи исправить ложный путь и сдѣлать изъ него путь истинный. Выше я говорилъ, что эта идея пользовалась вѣсомъ уже въ тѣ дни, когда никакой интеллигенціи у насъ не было, а была лишь молодежь и нѣсколько писателей, о достоинствѣ которыхъ можно спорить. Ниже я попытаюсь доказать, что такія надежды во всякое время наивны.

Если ужъ кому и браться за измѣненіе ложнаго и страшнаго пути, то, конечно, не интеллигенціи, а всѣмъ, т. е. массѣ, народу.

---

[135]) Т. е. мѣщанской и довольной собой.

2. „Голубиная книга“ русской жизни.

Теперь мы переживаемъ тревожное время, кризисъ, предчувствіе новаго, пониманіе, что старое невозможно... Постоянно растущее и никогда не удовлетворенное чувство чести, самосознаніе личности, какъ таковой, это скучное топтаніе жизни на томъ же мѣстѣ, геній Ницше, вдохновеніе перваго полемическаго періода марксизма, страстный призывъ Горькаго къ свободѣ,—все это дѣлаетъ наше время тревожнымъ и нервнымъ.

Тревожно настроенная, растерянная, но всегда ищущая современная мысль бѣжитъ на первый болотный огонекъ, въ родѣ огонька о. Петрова, подкупается первымъ красивымъ и будто бы свободнымъ словомъ, ежедневно создаетъ себѣ новые кумиры и ежедневно же разбиваетъ ихъ.

Нервное время, ищущее время, и когда подумаешь, на что въ большинствѣ случаевъ уходитъ это нервное исканіе, становится какъ-то не по себѣ. Мы, русскіе люди, еще не доросли до возможности просто и откровенно высказывать свои мысли и называть вещи своими именами. Мы ходимъ вокругъ и около, выражаемся эзоповскимъ языкомъ, и наше исканіе или совсѣмъ не находитъ своего удовлетворенія или находитъ только частичное, исполненное недомолвокъ и намековъ и „умолчаній по этому поводу“. Въ жизни нѣтъ рѣшительно никакихъ условій, обезпечивающихъ ищущему возможность, выслушавъ одно мнѣніе, выслушать и ему противоположное. У насъ нѣтъ свободы слова. Народъ безмолвствуетъ, и кто знаетъ, о чемъ онъ молчитъ, что думаетъ.

Вся безтолочь и неудовлетворительность нашихъ исканій объясняется прежде всего этимъ.

Волей-неволей на эзоповомъ жаргонѣ приходится изъясняться нашей журналистикѣ. Нужно имѣть ключъ къ нему, чтобы понять хоть что-нибудь. Для посторонняго человѣка это зачастую китайская грамота. Это шарада и ребусъ, это страницы, наполненныя недоговореннымъ и недописаннымъ. Это печальныя страницы, въ которыхъ бѣдная русская мысль безсильно ищетъ дозволенныхъ словъ и дозволенной формы, чтобы выразить себя, и, благодаря этому, оказывается совершенно не въ состояніи выполнить свою общественную задачу.

Хорошихъ, не продажныхъ газетъ у насъ почти нѣтъ, а тѣ, которыя есть, такъ же безпомощны, какъ и наши журналы. „Обществъ“ мало, и съ ихъ дѣятельностью мы знакомимся лишь по краткимъ формальнымъ отчетамъ въ хроникахъ. Никакого способа выраженія общественная жизнь не находитъ для себя. Общество разсѣяно, разбито на

единицы, на кружки партнеровъ въ винтъ или на кружки и союзы почему-то не разрѣшенные и преслѣдуемые.

Мы живемъ впотьмахъ, мы бродимъ впотемкахъ. Наша жизнь—голубиная книга за семью печатями. Благодаря этому, она имѣетъ какой-то жалкій штрафованный видъ. Какъ будто промошенничалась, бѣдная, проворовалась, прожилась и попала подъ опечатаніе....

Наша общественая мысль, наше общественное настроеніе—клубящаяся туманность, гдѣ, очевидно, совершаются различныя вихреобразныя движенія: частицы матеріи притягиваются, сталкиваются, организуются, но какъ и во что—это одинаково чей-то большой секретъ, чья-то большая тайна.

Петербургъ—чиновникъ. Петербургъ бюрократъ занялъ величественную позицію и рѣшительно ничѣмъ не смущается. Онъ великолѣпно самоувѣренъ. Къ нему пристаютъ съ жалобами, сообщеніями, проектами, предположеніями. Онъ выслушиваетъ всѣхъ и каждаго, всѣмъ и каждому даетъ совѣты, указанія, приказанія. Въ этихъ потемкахъ, въ этомъ сплошномъ секретѣ русской жизни, который тяготитъ насъ всѣхъ, обезсиливаетъ нашу мысль и вдохновеніе, онъ, Петербургъ, ни на минуту не теряетъ своего спокойствія. Ему все ясно, потому что онъ видитъ, знаетъ, хочетъ видѣть и хочетъ знать только самого себя. Онъ идетъ своей дорогой, или, лучше, своей колеей, онъ сознаетъ себя хозяиномъ положенія; своимъ вліяніемъ и значеніемъ онъ не хочетъ дѣлиться ни съ кѣмъ. Ему никто не нуженъ и, въ сущности, никто даже не интересенъ. Онъ слишкомъ вѣлливъ, чтобы сказать Россіи: „какъ ты мнѣ, матушка, надоѣла“, но эти слова ясно и крупно написаны на его надменной физіономіи, чтобы ихъ не разобрать.

Такимъ образомъ, вырѣшить вопросъ о настроеніи массы въ настоящую минуту такъ же затруднительно, какъ прочесть грамоту неизвѣстнаго народа, неизвѣстными письменами писавшаго на неизвѣстномъ языкѣ. Масса была и есть для насъ таинственный незнакомецъ. Что-то бродитъ, что-то дѣлается на этомъ днѣ нашей общественной жизни, потому что нѣтъ-нѣтъ—получаются огорашивающія извѣстія о самосожигателяхъ, духоборахъ въ Канадѣ или о томъ, что чуть-чуть не каждая деревушка обзавелась своей кассой ссудъ. Узнаемъ мы много, но все это недоговоренное, случайное,—книга, разорванная на тысячу кусочковъ, которыхъ никакъ не склеишь.

Казалось бы, гораздо ближе, гораздо виднѣе намъ интеллигенціи. Вѣдь она около, она говоритъ, пишетъ, вся собрана въ крупныхъ центрахъ; однако, и здѣсь все происходитъ какъ будто въ туманѣ. Ясно, что русская мысль мѣняетъ свое русло, отказывается отъ доктринерства, ищетъ своего обновленія въ философіи, религіи, жадно ищетъ путей

обновленія, но все это—общіе крупные штрихи, рисунокъ пересѣкающихся, путанныхъ линій, дешифрировать которой не берется никто.

Когда люди живутъ впотьмахъ, нѣтъ ничего болѣе естественнаго, что каждый огонекъ кажется имъ особенно привлекательнымъ и манящимъ. Имъ кажется, что этотъ огонекъ конецъ тяжелаго пути, отъ котораго устали ноги, наболѣла и намозолилась душа. Возлѣ этого огонька тепло, уютно, опредѣленность положенія. Ну, и бѣжимъ, спотыкаясь о кочки и бревна, лишь гдѣ-нибудь зажжется огонекъ, лишь что-нибудь пообѣщаетъ разъяснить смыслъ безтолковой, томящей своей безсмыслицей жизни. Столько лучшихъ порывовъ истратили мы на эти исканія, столько подметокъ истрепали, бѣгая за этими блуждающими и блудящими огоньками, что—простите за каламбуръ—намъ естественно было обратиться въ босяковъ, по крайней мѣрѣ, временно увлечься босячествомъ, хотя босячество само по себѣ, внѣ романтической поэзіи Горькаго, пусто, ничтожно и жалко.

Современная мысль хочетъ отдать себѣ ясный и полный отчетъ въ окружающей дѣйствительности, ясный и полный отчетъ въ томъ, что она сама изъ себя представляетъ. Въ туманѣ недосказаннаго и недоговореннаго, полусловъ и полунамековъ она задыхается, „впотьмахъ“ она блѣднѣетъ и чахнетъ. Предоставленный ей выходъ въ лицемѣріе, неискренность, фарисейство—не выходъ, а униженіе.

Но прибываніе въ вѣчномъ полусвѣтѣ, въ вѣчныхъ потемкахъ и туманѣ дѣлаетъ ее больной, раздражительной, заставляетъ то и дѣло ходить вокругъ и около, стукаться лбами людей одной любви, одной ненависти... Это слишкомъ печально и слишкомъ понятно, чтобы стоило распространяться объ этомъ.

Жить въ туманѣ недоговореннаго, неяснаго, въ туманѣ намековъ до послѣдней степени тяжело. Царство тумана—это царство причудливыхъ, обманчивыхъ призраковъ; это кажущіяся чудовища тамъ, гдѣ ихъ въ дѣйствительности нѣтъ, это горы на ровномъ мѣстѣ, это царство безъ горизонта, въ которомъ теряются всѣ дороги и всѣ пути.

Обостренное, все растущее чувство современной мысли—это чувство чести. Честь требуетъ отъ человѣка быть правдивымъ и искреннимъ до конца, быть самимъ собой, являться передъ другими въ полнотѣ своей индивидуальности и проявлять себя въ жизни. И, конечно, современная мысль больше всего страдаетъ отъ этого неудовлетвореннаго своего чувства чести. Окруженная туманомъ, бродящая въ потемкахъ, обезсиленная вѣчнымъ спотыканіемъ по болотамъ, кочкамъ, она естественно хандритъ, вянетъ и ничего не можетъ сдѣлать противъ крикливыхъ самозванцевъ. Чудовища и призраки, порожденные туманомъ, еще больше сбиваютъ ее съ дороги.

Она идетъ ощупью, а слово, выражающее ее, косноязычно.

Хотѣлось бы вѣрить, что безъ этого не было бы той смуты умовъ, которую, повидимому, мы переживаемъ опять.

Правда, въ этой смутѣ нѣтъ ничего позорнаго. Въ ней тоска и исканіе. Въ ней часто слышатся лучшіе порывы чувства, сознаніе огромныхъ предстоящихъ ей задачъ, огромной работы. Современная мысль мечтаетъ объ измѣненіи своего философскаго и религіознаго міросозерцанія, а больше всего о томъ, чтобы имѣть возможность высказаться до конца, добиться полнаго знанія окружающей ее дѣйствительности и получить вліяніе на послѣднюю.

Ей нужна свобода, чтобы творить и работать, и безъ этого вянетъ она; становится вялой, сѣрой и какъ будто даже ненужной свобода мысли, слова, организаціи борьбы.

* * *

Мнѣ бы хотѣлось въ нижеслѣдующихъ страницахъ помочь читателю разобраться во всей этой путаницѣ. Ни на что исчерпывающееся не претендую; не претендую даже на полноту своихъ характеристикъ. Но все же это будетъ обширная трудная работа; съ самаго начала выскажу нѣсколько общихъ идей, которыхъ держусь, какъ руководящихъ:

1) Высшимъ благомъ для человѣка я считаю его творчество.

2) Я думаю, что при нормальныхъ условіяхъ общественной жизни всякій можетъ быть въ той или другой области творцомъ, т. е. создателемъ новыхъ идей, новыхъ лучшихъ пріемовъ работы, новыхъ семейныхъ и общественныхъ отношеній.

3) Творческая способность, какъ высшее проявленіе индивидуальности личности, настойчиво требуетъ выхода въ жизнь, въ дѣйствительность, въ работу. Гигіена души и творчества превосходно выражаются слѣдующимъ афоризмомъ: „природа души человѣческой есть жизнь, акція, инициатива... Пассивность же наша достигла великой степени уже къ концу московскаго періода, и съ тѣхъ поръ все увеличивается. Невыносимо это для души человѣческой. Дайте сотворить человѣку, иначе онъ умретъ или завертится (какъ хлысты, скопцы и пр.)“.

4) Свою историческую санкцію и вдохновеніе творчество нашихъ дней получаетъ въ идеѣ пролетаріата и личности.

3. Кризисъ.

Благодаря реформамъ 60-хъ годовъ, мы освободились отъ власти земли, а въ значительной степени и отъ власти патріархальнаго государства. Вмѣстѣ съ единовластіемъ послѣдняго пошатнулось и самовластіе патріархальной семьи. Дворянство утеряло подъ собой общественную почву—крѣпостное право. Началась борьба женщинъ за эмансипацію, т. е. за самостоятельность и равноправность. Дворяниномъ, барномъ считаетъ теперь себя тотъ, кто богатъ. Богатство дастъ власть не меньшую, чѣмъ давало раньше происхожденіе. Деньги распоряжаются городами и уѣздами. Какъ вездѣ и всегда, вмѣстѣ съ разрушеніемъ патріархальнаго строя выступаетъ на сцену личность. Лучше сказать: она уже выступила на сцену и формулируетъ свои требованія.

Это одинаково вѣрно для всѣхъ слоевъ общества, между прочимъ, и для крестьянъ, въ жизни которыхъ упрощеніе паспортной системы, отмѣна круговой поруки, растлевающая дѣятельность міроѣдовъ, фабрика, переселеніе, близость умножающихся городовъ и желѣзнодорожныхъ станцій сыграли ту же роль, что Ницше, Гауптманъ, Ибсенъ, а отчасти декаденты въ жизни интеллигенціи.

Мы живемъ въ капиталистическомъ обществѣ, и это такъ же вѣрно, какъ то, что наши отцы жили въ обществѣ патріархальномъ. Отсюда различіе задачъ и совершенно естественное взаимное непониманіе.

4. Особый характеръ русскаго капитализма.

Кризисъ нашей жизни—это замѣна стараго дореформеннаго хозяйства, хозяйствомъ капиталистическимъ. Вторженіе этого новаго элемента, или, лучше сказать, новой стихіи мы замѣтили очень давно, но сначала питались несбыточными надеждами задушить его въ самомъ началѣ и прямо изъ крестьянской общины перешагнуть въ царство коммунизма; затѣмъ мы стремились доказать и дѣйствительно доказали его историческую неизбѣжность, и выслушали предложеніе итти къ нему на выручку и на борьбу съ нимъ, но думаю, что только теперь наша мысль дѣйствительно переживаетъ его, потому что имъ и противорѣчіями его строя она создана и вскормлена.

Доказывать, что нашъ строй капиталистическій по преимуществу, мнѣ думается, нечего. Но вѣдь капитализмъ капитализму рознь. Будучи исторической категоріей, онъ имѣетъ свои подкатегоріи, свои для каждой страны и для каждаго періода характерныя особенности, которыя не-

избѣжно отражаетъ на себѣ и порожденная имъ общественная мысль. Вотъ мнѣ и думается, что если мы хотимъ отдать себѣ отчетъ въ „смутѣ умовъ", то прежде всего мы обязаны опредѣлить, что такое представляетъ изъ себя нашъ капитализмъ.

Это, конечно, далеко не то, что капитализмъ Франціи, Англіи, Соединенныхъ Штатовъ, нѣчто болѣе близкое къ капитализму Германіи и Японіи, но еще болѣе сѣрое, хищническое и, прямо скажу, мизерное по своему идейному содержанію.

У своего знаменитаго историка и теоретика западно-европейскій капитализмъ вырвалъ такую характеристику, которую мѣстами нельзя не назвать восторженной. Приведу ее, хотя она и общеизвѣстна.

„Исторія европейскаго мѣщанства долгая, многовѣковая, сначала тихая и медленная, почти неслышная, потомъ торжествующая и побѣдоносная, и мнѣ нельзя обойтись безъ нѣкоторыхъ штриховъ ея общей картины.

Главныя событія, послужившія основой могущества для западно-европейскаго мѣщанства, которое раньше было то сословіе торговцевъ и ремесленниковъ, угнетенныхъ подъ игомъ феодаловъ, то вооруженною, самоуправляющеюся общиной горожанъ (commune), то вольнымъ торговымъ городомъ и почти всегда вѣрной опорой монархіи въ ея борьбѣ съ феодализмомъ. Феодальная организація земледѣлія, цеховое устройство, церковная десятина, словомъ всѣ феодальныя имущественныя отношенія оказались не соотвѣтствующими вызваннымъ къ жизни производительнымъ силамъ. Эти отношенія, эта готическая, средневѣковая надстройка всевозможныхъ привилегій и исключительныхъ правъ стѣсняли производство, связывая его по рукамъ и ногамъ всѣмъ, начиная съ крѣпостного права и отсутствія вольныхъ работниковъ. Они стали его цѣпями; ихъ нужно было ниспровергнуть. Всюду гдѣ мѣщанство достигало своего господства, оно разрушало всѣ средневѣковыя патріархальныя отношенія между людьми. Оно безтрепетно рвало пестрыя и путанныя феодальныя нити связывающія человѣка съ его повелителями, и не оставило въ обществѣ никакой связи, кромѣ связи расчета, договора, контракта. Старый девизъ „nulle terre sans seigneur" (нѣтъ земли безъ господина и безъ повинностей) смѣнился новымъ: l'argent n'a pas de maitre (у денегъ нѣтъ господина и не должно быть повинностей); въ холодной водѣ эгоистическаго расчета мѣщанство потопило порывы набожной мечтательности, рыцарскаго воодушевленія, чувства чести и все же человѣчной сантиментальности. Оно превратило въ мѣновую стоимость титулы, заслуги предка, честь и личное достоинство человѣка, и на мѣсто безчисленнаго множества видовъ благопріобрѣтенной и патентованной свободы оно поставило одну, чуждую всякихъ иллюзій, свободу торговли.

Словомъ „присвоеніе“, прикрытое религіознымъ, нравственнымъ и политическимъ этикетомъ, оно замѣнило присвоеніемъ прямымъ, открытымъ и величественнымъ въ своемъ безстыдствѣ“.

Вспомнивъ эту характеристику, каждый, думается, долженъ будетъ согласиться, что ничего подобнаго въ нашемъ капитализмѣ найти нельзя. Его характеръ и поднесь слишкомъ купеческій или кулацкій. Онъ мелкій хищникъ, несмотря на свои многомилліонные обороты. Ему мало той прибавочной стоимости, которую онъ получаетъ на законномъ основаніи: онъ никакъ не можетъ обойтись безъ мелкихъ плутней: фальшивыхъ гирь, аршина въ 14 или 18 вершковъ длиною, часовъ, растягивающихъ рабочее время какъ резину, ни тому подобныхъ „штукъ“, спасающихъ капиталисту гроши. Никакого романтизма мысли и настроенія онъ не знаетъ. Никогда ему не приходитъ въ голову говорить о правахъ человѣка, никакихъ политическихъ мечтаній у него нѣтъ. Онъ очень доволенъ, что можетъ получать на рупь—рупь, и при первой возможности пристраивается на содержаніе къ казнѣ. Такъ поступаютъ наши сахарозаводчики, металлурги, нефтепромышленники, для которыхъ сочиняются особыя нормировки, торговые договоры, тарифы и пр.

Уже изъ одного этого обстоятельства вытекаетъ кое-что существенное. Я, разумѣется, далекъ отъ мысли „унижать“ западнаго буржуа и увѣрять, что онъ не хищникъ. Онъ тоже хищникъ—это его неотъемлемое, но не только хищникъ. И потому съ нимъ должна быть и другая политика и другое обращеніе. Напомню поэтому случай Щедрина, который въ одномъ изъ своихъ очерковъ пытался было по умному разговаривать съ Разуваевымъ, но кончилъ все же тѣмъ, что такъ-таки взялъ и плюнулъ ему въ личность. И, вообразите себѣ, оказалось, что какъ разъ съ этого-то и надо было начать, потому что Разуваевъ уразумѣлъ и проникся. Но очевидно, что съ Родсомъ или Чемберленомъ такой штуки вы не сдѣлаете; да вамъ и въ голову не прійдетъ подобный образъ поведенія, хотя разуваевская мощна одинаково, можетъ быть, безграничныхъ размѣровъ. Но у Разуваева хотя и бываетъ игра ума, но настоящей предпріимчивости, духа промышленнаго мессіанизма нѣтъ и въ поминѣ. Онъ даже внутренняго обозрѣнія не читаетъ и нисколько имъ не интересуется. Русскій капитализмъ не создалъ пока ничего цѣннаго, но разорилъ уже очень и очень много. Благодаря ему, атмосфера, которой мы дышимъ, есть прежде всего атмосфера разоренія. Въ ней разыгрываются всѣ тѣ драмы, которыя по имени человѣка, особенно ярко выставившаго передъ нами весь ихъ ужасъ, могутъ быть названы „чеховскими“. Подкладка этихъ драмъ въ томъ, что озябшій, голодный, больной человѣкъ долженъ всю свою жизнь вести непосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послѣднее, что попадается ему подъ

руку, потому что ему, подъ угрозой голодной смерти дѣтей, нельзя и думать о завтрашнемъ днѣ, объ устроеніи и созиданіи жизни. Дѣло тутъ въ опустошенной, расхищенной природѣ и въ опустошенной, тоже „расхищенной", душѣ человѣка, коснѣющаго въ нищетѣ и невѣжествѣ, ошалѣвшаго и ополоумѣвшаго отъ нищеты, невѣжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было въ прекрасной и богатой природѣ, а теперь ничего нѣтъ: все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цѣлые уѣзды точно повторяютъ собою картины прошлаго послѣ нашествія татаръ, а народъ, населяющій ихъ, идетъ въ кабалу къ преуспѣвающему хищнику, который и является истиннымъ вершителемъ судебъ.

Но какъ ни грозенъ капитализмъ, онъ не единственная сила жизни. Первенствующей властной силой жизни остается все еще государство съ его безчисленной арміей чиновниковъ, бюджетомъ въ 2 милліарда рублей, съ огромными промышленными предпріятіями въ своемъ распоряженіи. Это государство, представляемое бюрократіей, ни съ кѣмъ не дѣлится и не хочетъ дѣлиться своей традиціонной властью.

Оставляя въ сторонѣ его полицейскія функціи, отдадимъ себѣ отчетъ въ его промышленномъ, хозяйственно-предпринимательскомъ ростѣ, пользуясь для этого работой одного опытнаго и знающаго чиновника-публициста.

„Громадность нашего казеннаго хозяйства дѣйствительно поражаетъ каждаго, знакомаго съ нашими финансами... Казна у насъ является предпринимателемъ во всѣхъ политическихъ сферахъ, отъ постройки церквей въ Западномъ краѣ и Сибири до содержанія танцовщицъ. Только цирка не содержитъ уже она, какъ въ 40-хъ, 50-хъ годахъ. На первомъ планѣ стоитъ желѣзнодорожное хозяйство. Большинство новыхъ желѣзныхъ дорогъ строитъ казна (болѣе 2.000 верстъ въ годъ). Эксплуатація уже открытыхъ для движенія казенныхъ линій требуетъ около 350 милліоновъ. Когда откроются дороги Маньчжурская, Сѣдлецкая, новая Екатерининская, Петербурго-Вятская, обороты казенной эксплуатаціи дойдутъ до полумилліарда рублей въ годъ! Но и это не исчерпываетъ участія казны въ желѣзнодорожномъ хозяйствѣ. Казна имѣетъ казенные элеваторы, желѣзнодорожныя фабрики и мастерскія, даетъ ссуды; недавно вѣдомство путей сообщенія построило заводъ для приготовленія торфянаго угля, обходящагося втрое дороже другихъ видовъ топлива. Другая колоссальная операція казны—это кредитъ. Казна имѣетъ Государственный банкъ съ 122 провинціальными конторами и отдѣленіями. Дворянскій банкъ и Крестьянскій банкъ съ ихъ отдѣленіями (65), Русско-Китайскій банкъ и цѣлую сѣть сберегательныхъ кассъ;

казначейства и почтовыя учрежденія обращены также въ казенныя кредитныя учрежденія. О размѣрѣ кредитныхъ операцій казны можно судить по тому, что въ однѣхъ операціяхъ государственнаго банка затрачивается до 350 милліоновъ руб. казенныхъ денегъ; для казенныхъ ипотечныхъ банковъ казна заняла около 800 милліоновъ. Третья по размѣру казенная операція—это винная монополія, охватившая всю Имперію. Уже въ 1901 г., не считая цѣнности акциза(320 мил.), отъ нея ожидали дохода свыше 170 милліоновъ руб. Монополія повлекла за собою монополію ректификаціи спирта и несомнѣнно повлечетъ за собою и монополію выдѣлки водокъ и ликеровъ. Извѣстно, что самые выгодные водочные заводы, какъ вдовы Поповой, предпочитаютъ ликвидироваться, а въ Парижѣ я пилъ уже въ ресторанахъ прекрасный анизетъ въ бутылкахъ нашей монополіи. Винная монополія въ извѣстной степени монополизируетъ въ рукахъ казны торговлю стеклянною посудою (отчего она упала въ цѣнѣ) и пробкою. Казна завела уже казенный пробочный заводъ для конкуренціи съ существующими частными. Она устроила въ Москвѣ собственное угольное производство, и какіе-то офиціозные публицисты рекомендуютъ казнѣ завести собственный стеклянный заводъ, также заводы капсюлей, смолки и др. предметовъ укупориванія и, наконецъ, продавать сахаръ въ винныхъ лавочкахъ. Означенныя три крупныя отрасли казеннаго хозяйства затмеваютъ, конечно, остальныя, но и тѣ вовсе не маловажны и притомъ весьма разнообразны".

„Казна чеканитъ сама монету и занимается очисткой и сплавомъ шлиховаго золота, что за границею дѣлается частными предпринимателями. Она имѣетъ многочисленные рудники, горные и солеваренные заводы, государственные конскіе заводы, пороховые и патронные заводы, арсеналы и интендантскія мастерскія. Желѣзное судостроеніе производится главнымъ образомъ средствами казенныхъ верфей. Казна эксплуатируетъ телефоны во многихъ городахъ; ею же эксплоатируются важнѣйшія минеральныя воды и ванны. Она содержитъ для заграничныхъ пароходныхъ сообщеній Добровольный флотъ. Мурманское, Дунайское и Восточно-Сибирское пароходныя Общества тоже почти казенныя предпріятія. Типографское дѣло въ обширныхъ размѣрахъ эксплуатируется Экспедиціей заготовленія кредитныхъ бумагъ, типографіями: Сенатскою, Синодальною и Государственною и безчисленными казенными типографіями въ столицахъ и провинціи. Всѣмъ извѣстно множество казенныхъ періодическихъ изданій, особенно техническихъ и губернскихъ вѣдомостей. Въ Царствѣ Польскомъ казна занимается страхованіемъ. Для памяти можно прибавить объ огромномъ доходѣ казны отъ лѣсовъ, соли, нефти и разныхъ оброчныхъ статей. Во многихъ изъ нихъ казна является или собирается явиться предпринимателемъ и коммерческимъ

конкурентомъ частнымъ лицамъ. Лѣсной доходъ казенныхъ дачъ дошелъ уже до 60 мил. рублей и растетъ что то ужъ очень быстро. Очевидно, производится нерасчетливая выборочная рубка. Еще важнѣе торговыя операціи казны по заготовленію хлѣба для голодающихъ, для интендантства и для поддержки помѣщиковъ. Недавно эти заготовки, хотя и на десятки милліоновъ рублей, являлись случайными; теперь, съ переходомъ изъ рукъ земства въ руки казны продовольственной операціи, эти заготовки станутъ явленіемъ обычнымъ. Такъ же развиваются постепенно и общественныя работы на казенный счетъ".

Нарисовавъ эту поразительную картину русскаго государственнаго соціализма, авторъ ея замѣчаетъ: „Самымъ дурнымъ послѣдствіемъ обширнаго казеннаго хозяйства является безмѣрное размноженіе всякихъ агентовъ фиска, чиновниковъ и контролеровъ; число ихъ увеличивается десятками тысячъ, а нынче и безъ того каждое государство, даже западное, имѣетъ тенденцію увеличить число казеннослужащихъ, отъ увеличенія числа учебныхъ заведеній, почтово-телеграфныхъ бюро и т. п. Вся эта армія агентовъ, а равно ихъ дѣти и семейства требуютъ обезпеченія въ старости и т. п. Это дѣлаетъ грознымъ и вопросъ о пенсіяхъ. Въ той или другой формѣ будутъ созданы эти пенсіи, все равно онѣ потребуютъ огромныхъ приплатъ изъ государственнаго казначейства, а въ случаѣ созданія эмеритуръ—отпуска особыхъ капиталовъ".

„Я не говорю уже о сторонѣ политической. Страна, гдѣ огромная часть населенія существуетъ исключительно на жалованье и пенсіи и всего ждетъ отъ администраціи, даже хорошей погоды, конечно, иначе думаетъ, иначе разсуждаетъ, иначе учится, иначе пишетъ и вѣритъ, чѣмъ страна, гдѣ частная предпріимчивость, торговля и промышленность развиваются въ широкой степени на свободѣ" [138]).

Однако, если мы хотимъ полноты, то на ряду съ силою капитализма и государства намъ придется поставить еще и растущую силу пролетаріата. Это, быть можетъ, самый крупный фактъ переживаемой нами капиталистической эры...

Любопытно, что самосознаніе четвертаго сословія появилось у насъ, относительно говоря, гораздо раньше, чѣмъ на Западѣ. Начало, напр., капитализма во Франціи и Англіи относится къ 80-мъ и 90-мъ годамъ XVIII в. между тѣмъ, пролетаріатъ выступаетъ на сцену лишь 50 лѣтъ спустя. Тамъ цѣлыхъ 50 лѣтъ капитализмъ былъ единственнымъ хозяиномъ и дѣлалъ, что хотѣлъ. У насъ не то. У насъ четвертое сословіе по-

[138]) См. мои „Очерки".

явилось одновременно съ третьимъ, а его классовое самосознаніе прямо-таки опередило классовое самосознаніе третьяго, т. е. нашей буржуазіи.

Какъ видите, сама жизнь не представляетъ ничего единаго, стройнаго, опредѣленнаго. Въ ней еще хаосъ и броженіе...

Наша современная мысль создана, говорю я, не патріархально-землѣдельческимъ строемъ, какъ мысль нашихъ отцовъ и предковъ, а строемъ капиталистическимъ. Между тѣмъ, въ этомъ послѣднемъ нѣтъ ничего яснаго, опредѣленнаго, кромѣ грубой, почти физической силы. Онъ, нашъ капиталистическій строй, вдѣланъ въ патріархальную оправу абсолютной бюрократіи, православія, собственнаго невѣжества, купеческихъ и кулацкихъ замашекъ и традицій. Въ немъ, повторяю, нѣтъ даже того элементарнаго правового сознанія, которое полагается ему по западно-европейскимъ штатамъ. Оттого-то современная мысль не является и не можетъ явиться ни его безусловнымъ апологетомъ ,ни его безусловнымъ противникомъ. Ей постоянно приходится дѣлить свое вниманіе между очень различными элементами современнаго общественнаго строя и часто теряться въ ихъ сложныхъ запутанныхъ отношеніяхъ.

Наше государство, напр., противъ либерализма, поскольку оно всемогущая бюрократія, и не прочь отъ нѣкотораго либерализма, насколько оно предприниматель и промышленникъ.

Нашъ капитализмъ, несмотря на свой почтенный возрастъ,— хищникъ и въ значительной степени находится на содержаніи у государства, т. е. у бюрократіи. Кромѣ того, онъ прямо-таки напуганъ четвертымъ сословіемъ. Онъ, пожалуй бы, и не прочь лично для себя воспользоваться въ той или другой степени комфортомъ либерализма, но его смущаетъ мысль, что вдругъ это пойдетъ на пользу и настоящему его врагу? Что станетъ тогда съ его аршиномъ длиною въ 20 вершковъ, съ нормировкой, субсидіей и гарантіей? Наше четвертое сословіе только выступаетъ на сцену. Нашего крестьянства мы не знаемъ. Я полагаю, что при этихъ условіяхъ значительная путаница, неясность и нервность мысли неизбѣжны. Они еще больше оттого, что факты жизни держатся въ секретѣ.

5. Мѣщанство.

Бѣдная личность! Она такъ много говоритъ о себѣ, такъ много жалуется на стѣсненія со стороны государства и общества, такъ рѣшительно отказывается отъ служенія идеѣ долга, такъ недовольна поло-

жительной наукой, которая будто бы оставляетъ безъ вниманія самые серьезные и святые ея запросы, что можно было бы подумать, что она дѣйствительно очень сильна и могущественна. А между тѣмъ ей приходится дѣйствовать на нивѣ, разоренной хищниками, въ странѣ, къ которой все еще какъ нельзя лучше приложимы слова Писарева: мы бѣдны и глупы. Для выраженія своихъ высокихъ чувствъ и мыслей ей приходится прибѣгать къ эзоповскому языку. Всякая ея попытка къ инціативѣ, къ самодѣятельности встрѣчаетъ неодолимыя препятствія. Она подбодряетъ себя, какъ можетъ, модными словами „автономія", „самозаконное нравственное сознаніе", „мистическая нравственность", „религіозно-философское мышленіе", но въ то же время не можетъ не чувствовать, какъ непрочно ея положеніе, какъ обидно презрительно относится къ ней жизнь. То, что ее породило, капитализмъ, является главнымъ ея врагомъ, потому что политика капитализма въ отношеніи личности чисто предательская. Ему нужны извѣстная степень ея иниціативы, ея творчества, ея свободы, но, въ концѣ концовъ, больше всего ему нужна ея несвобода, ея рабство, ея экономическая зависимость, возможность дешево купить ея работу, ея вдохновеніе. Обманывая ее иллюзіей свободы, перспективой удачи и успѣха, онъ ловко вводитъ ее въ кругъ своей потогонной системы и, выжавши изъ нея лучшіе соки, бросаетъ на улицу какъ ненужную шелуху.

Мѣщанство затягиваетъ ее своей пошлостью, скукой, идейнымъ ничтожествомъ, капиталистическій процессъ быстро истощаетъ ее, превращая въ инвалида. Капитализмъ дѣйствуетъ насиліемъ и, какъ болѣе культурный, чѣмъ патріархально-полицейское государство, развратомъ. Онъ развращаетъ личность. Въ томъ, что онъ все мѣняетъ на золото— честь, совѣсть, талантъ, цѣломудріе,—заключается величайшій его соблазнъ и величайшая опасность.

Кто не помнитъ геніальной характеристики, которую далъ нашъ Герценъ западно-европейскому мѣщанству и капитализму? Я все же приведу ее здѣсь, потому что, немотря на всю свою односторонность, она поразительно хороша и, думается, теперь, въ эту вотъ минуту исторической жизни гораздо ближе подходитъ къ нашему, чѣмъ западному строю.

„Какъ рыцарь былъ первообразомъ міра феодальнаго, такъ купецъ сталъ первообразомъ новаго міра; господа замѣнились хозяевами. Купецъ самъ по себѣ лицо стертое, промежуточное, посредникъ между однимъ, который производитъ, и другимъ, который потребляетъ: онъ представляетъ нѣчто вродѣ дороги, повозки, средства".

„Рыцарь былъ больше онъ самъ, больше лицо и берегъ, какъ понималъ, свое достоинство, оттого-то онъ, въ сущности, и не зависѣлъ ни отъ богатства, ни отъ мѣста; его личность (т. е. честь) была главное;

въ мѣщанствѣ личность прячется и не выступаетъ, потому что не она главное: главное товаръ, дѣло, вещь, главное собственность. Рыцарь былъ страшный невѣжда, драчунъ, бреттеръ, разбойникъ и монахъ, пьяница и піэтистъ, но онъ былъ во всемъ открытъ и откровененъ: къ тому же онъ всегда готовъ былъ лечь костьми за то, что считалъ правымъ; у него было свое нравственное уложеніе, свой кодексъ чести, очень произвольный, но отъ котораго онъ не отступалъ безъ утраты собственнаго уваженія или уваженія равныхъ. Купецъ—человѣкъ мира а не войны, упорно и настойчиво отстаивающій свои права, но слабый въ нападеніи; разсчетливый, скупой, онъ во всемъ видитъ торгъ и, какъ рыцарь, вступаетъ съ каждымъ встрѣчнымъ въ поединокъ, только мѣрится съ нимъ—хитростью. Его предки, средневѣковые горожане, спасаясь отъ насилій и грабежа, принуждены были лукавить; они покупали покой и достояніе уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь въ поясъ, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они сосѣдямъ о своей бѣдности, а между тѣмъ потихоньку зарывали деньги въ землю. Все это естественно перешло въ кровь и мозгъ потомства и сдѣлалось физіологическимъ признакомъ особаго вида людского, называемаго среднимъ состояніемъ. Подъ вліяніемъ мѣщанства все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, гордость обидчивостью, изящные нравы нравами чинными, вѣжливость чопорностью, парки огородами, дворцы гостиницами, открытыми для всѣхъ, т. е. для всѣхъ, имѣющихъ деньги. Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами пріобрѣтать, а имущій хранить и увеличивать свою собственность; флагъ, который поднимаютъ на рынкѣ для открытія торга, сталъ хоругвью новаго общества. Человѣкъ de facto сталъ принадлежностью собственности, жизнь свелась на постоянную борьбу изъ за денегъ. Политическій вопросъ съ 1830 г. дѣлается исключительно вопросомъ мѣщанскимъ, и вѣковая борьба высказывается страстями и интересами господствующаго состоянія. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣняльныя лавочки и рынки: редакціи журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить въ лавочной номенклатурѣ, что называютъ свою старую англиканскую церковь „old shop“.

...„Во всемъ современно-европейскомъ глубоко лежатъ двѣ черты, явно идущія изъ-за прилавка: съ одной стороны лицемѣріе и скрытность, съ другой выставка и étalage. Продать товаръ лицомъ, купить за полцѣны, выдать дрянь за дѣло, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условіе, воспользоваться буквальнымъ смысломъ, казаться, вмѣсто того чтобы быть, вести себя прилично, вмѣсто того, чтобы вести себя хорошо,

хранить внѣшній respectabilität, вмѣсто внутренняго достоинства. Въ этомъ мірѣ все до такой степени декорація, что самое грубое невѣжество получило видъ образованія. Мѣщанское р а с т л е н і е пробралось во всѣ тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатывалось такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ буржуазія".

„Дворянство обязывало. Разумѣется, такъ какъ его права были долею фантастическія, то обязанности были фантастическія, но онѣ дѣлали извѣстную круговую поруку между равными. Католицизмъ обязывалъ съ своей стороны еще больше. Рыцари и вѣрующіе часто не исполняли своихъ обязанностей, но сознаніе, что они тѣмъ нарушили ими самими признанный общественный союзъ, не позволяло имъ ни быть свободными въ отступленіяхъ, ни возводить въ норму своего поведенія. У нихъ была своя праздничная одежда, своя офиціальная постановка, которая не была ложью, а скорѣе ихъ идеаломъ".

„Намъ теперь нѣтъ дѣла до содержанія этого идеала. Ихъ процессъ рѣшенъ и давно проигранъ. Мы хотимъ только указать, что мѣщанство, напротивъ, ни къ чему не обязываетъ, ни даже къ военной службѣ, если есть охотники, т. е. обязываетъ per fas и nefas имѣть собственность. Его евангеліе коротко:„ наживайся, ужножай свой доходъ какъ песокъ морской, пользуйся и злоупотребляй своимъ денежнымъ и нравственнымъ капиталомъ, не разоряясь, и ты сытно и почетно достигнешь долголѣтія, женишь своихъ дѣтей и оставишь по себѣ хорошую память".. (т. VIII, 360—370).

Мѣщанство, буржуазія э т о с а м о д е р ж а в і е с о б с т в е н н о с т и. Въ созданномъ имъ строѣ деньги, рубль развертываютъ скрытое въ нихъ содержаніе и стремятся къ политической власти. Здѣсь вся иллюзія за свободу личности, вся реальность противъ нея. И это ужасно тѣмъ болѣе, что могущество мѣщанства безмѣрно...

Если мы возьмемъ его въ высшемъ проявленіи, такихъ странахъ, какъ Англія и Америка, то увидимъ, что буржуазія растетъ и богатѣетъ, мечтаетъ о завоеваніи міра и нисколько не смущаясь „силой рабочаго сословія", идетъ наперекоръ его кровнымъ интересамъ, старается обзавестись не только дешевымъ трудомъ, но и рабами, ради чего въ англійскія колоніи выписываются уже китайскія „кули". Въ то же время буржуазія образовываетъ изъ себя наслѣдственную касту, и министръ-отецъ спокойно вмѣстѣ съ своими милліонами передаетъ свой портфель министру-сыну... На милліонахъ вырастаютъ династіи. Американскіе милліардеры побили всѣ рекорды, и нѣкоторые изъ нихъ (Рокфеллеръ, Бледъ, Морганъ и т. д.) довели свои доходы до 10—15-ти милліоновъ р. въ годъ .Чувствуя свою силу, они строятъ университеты и навязываютъ имъ свои программы. У нихъ свои проповѣдники, оправдывающіе милліоны и нищету. Война

и миръ въ ихъ рукахъ. Рабочій, провинившійся въ стачкѣ или протестѣ, легко можетъ не найти себѣ работы во всей Америкѣ. Сами рабочіе молчатъ, безработные умираютъ съ голоду...

Но если на верхахъ мѣщанства стремленіе къ силѣ, власти и завоеванію, то внизу нѣчто болѣе, скромное — стремленіе къ рентѣ.

Рента на самомъ дѣлѣ значитъ много. Это идеалъ мѣщанина чуть не съ пеленокъ, это органическое стремленіе его натуры, закрѣпленное наслѣдственностью. Во имя ренты онъ работаетъ, не досыпаетъ ночей, лишаетъ себя и семью часто необходимаго, подавляетъ свои страсти и прихоти, лицемѣритъ, лжетъ, унижается, проводитъ большую часть жизни въ черномъ тѣлѣ. Онъ хочетъ во что бы то ни стало имѣть ренту, спокойную, обезпеченную, огражденную отъ всякихъ случайностей, и съ этой точки зрѣнія разсматриваетъ общественный строй и провѣряетъ свои политическія симпатіи. Какой-нибудь общей мѣрки, общихъ принциповъ у него нѣтъ, или, лучше сказать, этой общей мѣркой, этимъ общимъ принципомъ является все та же всесильная и всемогущая рента, обезпечивающая человѣка отъ всякихъ житейскихъ бурь и неожиданностей. Эта рента говоритъ о вынесенныхъ трудахъ и лишеніяхъ, питаетъ гордость, указывая на то, что труды и лишенія потрачены и вынесены не даромъ, что главный богъ нашихъ дней, богъ успѣха и удачи, нѣтъ-нѣтъ милостиво улыбался своему служителю и милостиво оцѣнилъ, въ концѣ концовъ, его настойчивость и упорство. Да, это хорошая вещь— рента. Сытые глаза собственника спокойно и увѣренно смотрятъ на свѣтъ Божій, не проникая и не стараясь проникнуть въ его глубину и тайну; они, скользя по поверхности, впитывая въ себя синеву неба, зелень деревьевъ, съ горделивой удовлетворенностью слѣдятъ за торопливыми движеніями людей: за ихъ поисками, ихъ бѣгомъ, ихъ свалкой. Доносится шумъ большого города: тамъ идетъ борьба, суровая и ожесточенная, перемежаясь съ преступленіями и проклятіями, съ криками торжествующей радости, борьба все за ту же всесильную, всемогущую ренту,— и какъ хорошо чувствовать себя не только въ сторонѣ отъ этой свалки, но и выше ея, какъ хорошо встрѣчать на лицахъ проходящихъ заискивающія улыбки, ловить ихъ завистливые взгляды и твердо, съ вѣсомъ прекращать долгіе споры и разсужденія увѣренными словами: „лучшее правительство это то, которое обезпечиваетъ безопасность нашей ренты. Лучшая нравственность заставляетъ стремиться къ ней. Лучшая религія не мѣшаетъ накопленію“.

Психологія ренты—это почти психологія мѣщанства. Мѣщанство не въ мягкой мебели, не въ томъ комфортѣ, которымъ вы себя

окружаете, не въ сытомъ обѣдѣ, даже не въ сытыхъ взглядахъ, а въ томъ, что рента стала кумиромъ и фетишомъ, что до нея—трудъ, заботы, лишенія, а за ней, кромѣ спокойной удовлетворенности, ничего, развѣ неопредѣленные, слегка пугающіе призраки загробнаго міра. Больше же всего мѣщанство въ томъ, что деньги сильнѣе, нужнѣе человѣка, что человѣкъ покупается и продается, что онъ идетъ на рынокъ какъ товаръ.

Высшимъ благомъ человѣка, истиннымъ его назначеніемъ является свободное, безкорыстное творчество, раскрывающее тайны природы, раздвигающее границы невѣдомаго. Нѣтъ ничего болѣе цѣннаго и прекраснаго, какъ творческая мысль, а именно поэтому-то ея положеніе въ современномъ обществѣ исполнено трагизма. Вмѣсто того чтобы быть безкорыстной, она продажна, вмѣсто того, чтобы быть господиномъ, она рабъ.

Почему?

Это страшно большой и больной вопросъ. Натолкнувшись на него, я не могу оставить его совсѣмъ безъ отвѣта, но не стану вдаваться и въ подробности. Скажу прямо и коротко, что положеніе мысли, творчества въ нашемъ обществѣ—печальное и даже трагическое. Иногда это Прометей, прикованный къ скалѣ; чаще это царь свободной страны, плѣненный и прислуживающій за столомъ побѣдителя, какъ германецъ у римлянина; чаще же всего это наивный, безсовѣстно обираемый геній, красота и цѣломудріе, проданное похоти, порывъ въ безграничное, какимъ-то противоестественнымъ способомъ котируемый на биржѣ. Своей творческой мыслью Эдиссонъ поработилъ электричество человѣку: Америка наканунѣ образованія электрическаго треста; электричество разноситъ по міру больше рабства, т. е. безсилія человѣка, чѣмъ свободы, электричество примѣнено къ самому гнусному дѣлу—смертной казни (электрокуція); на электричествѣ наживаются, имъ казнятъ, имъ спекулируютъ, имъ порабощаютъ. Теперь какая-то группа ученыхъ, затаивъ дыханіе, съ тѣмъ трепетомъ, который сопровождаетъ раскрытіе великой и, быть можетъ, страшной тайны природы и мірозданія, наблюдаетъ, какъ матерія переходитъ въ энергію (на радіѣ), и посмотрите, черезъ 5—6 лѣтъ этотъ опытъ (какъ фонографъ) послужитъ темой для игрушки, потомъ пойдетъ въ услуженіе промышленности, поведетъ къ образованію треста. Опять повторяю: нѣтъ той гадости, которой бы не сдѣлала мысль человѣка изъ своего творческаго порыва въ невѣдомое, изъ своей все выростающей власти надъ природой. Ея величіе при ней и остается, но это величіе плѣненнаго и порабощеннаго героя, чьи дѣти и внуки дѣлаются рабами „по совѣсти“ или безъ совѣсти. Мысль, творчество человѣка, по существу, безкорыстны, и однако наша

культура торгуетъ ими, продаетъ оптомъ и въ розницу и, по жестокому выраженію Толстого, дѣлаетъ изъ нихъ блудницъ.

Словомъ, виновата не мысль, конечно, а ея общественное положеніе, ея рабство, ея невольная продажность; виноватъ желтый билетъ, выданный ей торгашеской культурой, виновато то, что прямого выхода она въ жизни не имѣетъ, а вся она въ рукахъ агентовъ и комиссіонеровъ, которые съ ней соотвѣтственно поступаютъ. Это тоже цѣлый классъ торговцевъ живымъ товаромъ, а для насъ, людей, не только живымъ, но и святымъ. И отсюда всѣ болѣзни мысли. Далекая отъ жизни, отъ непосредственнаго общенія съ ней и непосредственнаго вліянія на нее, она вырождается или въ мысль буддійскую или диллетантскую, всегда близкую къ нравственному безразличію; постоянно продаваемая, видящая, какъ изъ нея дѣлаютъ самое неподходящее употребленіе, возмущаемая, какъ возмутился Эдиссонъ, получивъ предложеніе усовершенствовать электрическое кресло для казни преступниковъ, чаще порабощающая людей и народы вмѣсто прямой задачи освобожденія,—она или пугливо сторонится отъ жизни или проникается презрѣніемъ къ себѣ, недовѣріемъ къ своимъ силамъ.И, разумѣется, вся тяжесть этого зла особенно даетъ себя чувствовать въ носительницѣ мысли—интеллигенціи.

Существуютъ единицы тепла и свѣта, вольты и амперы. Предположимъ, что существуютъ и единицы творческой мысли человѣка. Тогда любопытно было бы подсчитать, сколько ихъ, этихъ творческихъ единицъ, уходитъ на безкорыстное служеніе наукѣ и искусству и сколько на ложь, дипломатію, изворотливость ума, предательство, продажныя услуги нашимъ и вашимъ, оправданіе и защиту всякой мерзости! Страшно подумать, но кажется порою, что активъ творческой мысли едва ли будетъ великъ.

Въ жизни нашей мысли скрытъ великій трагизмъ. Тотъ же трагизмъ въ ея общественномъ положеніи. Ей не довѣряютъ, ею торгуютъ, ее унижаютъ. Господинъ рынокъ, какъ воевода Мицкевича,

> не искалъ онъ, не страдалъ онъ:
> серебромъ лишь побряцалъ онъ—

и мысль идетъ ему въ услуженіе. Она предательствуетъ, разсказываетъ сцены изъ народнаго быта, льститъ и лицемѣритъ, подаетъ калоши, изобрѣтаетъ электрическія кресла, пулеметы Максима, усовершенствованные способы разврата, и съ подобострастной улыбкой повторяетъ заискивающій вопросъ Вольтера Людвику XV-му: „est-ce que Trajan est content?“

Оторванная отъ жизни, варящаяся въ собственномъ соку, безъ широкаго выхода въ жизнь и безъ вліянія на нее, она доходитъ до нравственнаго помѣшательства, безстыдства и безразличія, и разнуздываетъ въ

человѣкѣ или звѣря или похотливое насѣкомое. Отданная на содержаніе, включенная въ штатъ домашней прислуги и прихвостней, она упражняется въ хамствѣ и холопствѣ. Оттого-то и можетъ быть такая противоестественная ассоціація, какъ „мысль“ и „развратъ“, творчество и продажность (или хамство).

...Творческая мысль человѣка— святыня, но эта святыня у насъ въ такомъ же почетѣ, какъ изображеніе Франциска Ассизскаго у продавца въ одномъ изъ прелестныхъ разсказовъ Мопассана: имъ затыкаютъ кроличьи дыры, оно идетъ и на другія домашнія надобности и, пока у торговца, все въ навозѣ и грязи. Но это небрежность и глупость. Страшнѣе боязнь и ненависть къ мысли, такая же боязнь и ненависть, какъ у великаго инквизитора къ Христу. Страшнѣе всего ея общественное положеніе прислуги, наемница домашняго льстеца и разсказчика сценъ, ея нищета и ея нищенство. Вѣдь есть она во многихъ и многихъ, быть можетъ, въ большинствѣ, затерявшемся теперь въ трущобахъ жизни, но она заглушается—она величайшая цѣнность, цѣнность въ себѣ,—не принося пользы людямъ, не использованная ими, ими отвергаемая и часто осмѣиваемая. Она тратитъ себя на развратъ, на кабацкій разгулъ, на тоску одиночества, сходитъ съ ума въ безсиліи своего одиночества, тратитъ себя на безпощадное бродяжничество по лицу родной земли, на непосильную борьбу съ самодовольствомъ и пошлостью окружающей среды. Она, высшій даръ природы, скрыта въ темнотѣ и сырости, она подтачивается голодомъ и холодомъ, она извращается и калѣчится обидами, торгуетъ собой, предательствуетъ, а безъ нея вся жизнь становится жалкой и скучной и безцвѣтной, какъ осенняя дорога, размытая дождемъ...

Мы боимся творчества и творческой мысли, а еще больше—мы не бережемъ ее, проматываемъ ее, заглушаемъ всякое ея проявленіе.

Таково мѣщанство въ области мысли. Посмотримъ на его семью. Здѣсь мѣщанинъ создаетъ невыносимую духоту, скудность, скуку.

На этой почвѣ разыгрываются ежедневно тысячи невидныхъ драмъ.

Эти драмы въ большинствѣ случаевъ печальны, но между ними есть одна, быть можетъ, самая печальная и часто повторяющаяся. Это драма „отцовъ и дѣтей“, разлада между ними.

Говорятъ—чисто русская драма, и, кажется, это дѣйствительно такъ. Литература Запада во всякомъ случаѣ не знаетъ такихъ произведеній, какъ „Отцы и дѣти“ Тургенева, не знаетъ разсказа Некрасова о самоубійствѣ сына Зацѣпы, не знаетъ, дальше, „Дѣтей Ванюшина“ или „Мѣщанъ“.

Это „заправская русская драма, настоящая, духъ захватывающая“, какъ выражался Салтыковъ, представляетъ собой что-то до такой степени

ужасное, возмущающее душу, что одной ея достаточно для упроченія въ насъ тоски и жажды пробудиться. Ибо она наше домашнее, общее дѣло, всѣхъ тревожащее и, быть можетъ, всѣмъ предстоящее.

Наша драма отцовъ и дѣтей разыгрывается на почвѣ чисто нравственныхъ запросовъ. Когда дѣтямъ не за что уважать отцовъ, и сами отцы чувствуютъ, по крайней мѣрѣ въ глубинѣ души своей чувствуютъ, что ихъ дѣйствительно не за что уважать, и стараются поэтому импонировать своею властью, сѣдиною своего опыта, — всѣ элементы драмы на лицо.

Нужно имѣть въ своей личной жизни хоть какое-нибудь цѣнное воспоминаніе, какой-нибудь подвигъ—большой или маленькій, видный или невидный—все равно, чтобы имѣть возможность открыто посмотрѣть въ глаза собственному сыну или собственной дочери. Надо разсказать имъ что-нибудь цѣнное, повышающее и облагораживающее мысль, и непремѣнно изъ личной своей жизни, чтобы избѣжать заправской русской драмы.

Признаюсь, становится какъ-то не по себѣ и даже немного страшно, когда подумаешь о томъ, что могутъ разсказать своимъ дѣтямъ отцы-мѣщане. Пока еще рѣчь идетъ у нихъ о собачкахъ, кошкахъ и обезьянкахъ, ничего: дѣло ладится... Ну, а дальше? Вдругъ сынъ или дочь захотятъ узнать, во имя чего „отцы“ жили, боролись, жертвовали собственнымъ достоинствомъ; на что, въ какихъ увлеченіяхъ истратили они свою юность—этотъ лучшій, героическій періодъ въ жизни русскаго человѣка.

Юность ихъ совпала съ 80-ми годами... Поэтъ того времени вѣрно сказалъ, что

„Наше поколѣнье юности не знаетъ...
Юность стала сказкой миновавшихъ дней...

Она совпала съ сѣрыми и скучными днями попиженной общественной жизни, полнаго крушенія всѣхъ лучшихъ надеждъ. Что-то было „свинцовое“ и подавляющее въ тѣ времена; цѣлое поколѣніе ушло только на то, чтобы своимъ безсильнымъ растерянным исканіемъ, своей безсильной тоской удобрить будущіе всходы исторіи. Торжествовали какія-то темныя силы.

А между тѣмъ, въ эту, по виду такую сѣрую эпоху въ общественной жизни довершался процессъ развитія и укрѣпленія м ѣ щ а н с т в а. Давно уже выступившая на сцену, эта новая общественная группа стала какъ бы даже задавать тонъ жизни, выставляя противъ всякаго идеалистическаго порыва, послѣ всего святого и цѣннаго въ жизни свои грубые матеріальные расчеты, свой низменный пошлый вкусъ, свою приниженную погрязшую въ тинѣ мелкихъ стычекъ борьбы за существованіе натуру.

Распространялся не только уже капитализмъ, а духъ капиталистическаго общества—безыдейный, ограниченный и по существу жестокій.

А главное пропала мечта. Пропала та мечта, которая красила яркимъ блескомъ своимъ предшествующіе дни. О народѣ перестали уже говорить, на народъ махнули рукой. Проповѣдывали маленькія дѣла и спокойную карьеру. Ничего не было вдохновляющаго, ничто въ жизни не приподнимало, не облагораживало человѣка. Всѣ грезы разлетѣлись, и осталась скучная дѣйствительность, съ заботами о собственной сытости и собственномъ благополучіи.

Вянетъ человѣкъ безъ мечты. Сначала тоскуетъ, растерянно думаетъ, куда бы ему прилѣпиться. А потомъ машетъ на все рукой. Безъ мечты все низкое, мошенническое, плутовское, все жестокое, что есть въ человѣкѣ, выплываетъ наружу. Безъ мечты онъ злой, самодовольный и скучный. Онъ серьезно вѣритъ, что его маленькая жизнь есть самое главное. и забываетъ, что въ немъ есть щедрость духа, жажда творчества, жажда обновленія жизни. Онъ ползаетъ, и ползающій онъ отвратителенъ. Мечта приподнимаетъ и сдерживаетъ. Только съ нею окружающая жизнь такъ полна, красива, разнообразна, что некогда слишкомъ уже думать о себѣ, о своемъ довольствѣ.

Раньше была мечта: сдѣлать невѣжественный народъ умнымъ и внести науку и правду въ его жизнь, сдѣлать бѣдный народъ богатымъ, дать каждому трудящемуся возможность жить, учиться, развиваться, быть довольнымъ и счастливымъ. Эта мечта рухнула, развалилась, да она и не по плечу мѣщанамъ. И имъ нечѣмъ вспомнить свою юность, нечего разсказать своимъ дѣтямъ.

Что же удивительнаго, если дѣти, явившіяся на смѣну, потребовали отчета и когда отцы оказались безсильными предъявить въ своей жизни что-нибудь благородное, заслуживающее уваженія, то заправская русская драма вступила въ свои права, стала злободневной, и расколъ двухъ поколѣній опять на лицо, опять волнуетъ, тревожитъ, создаетъ что-то печальное, что-то гнетущее въ жизни.

Надо имѣть что-нибудь разсказать своимъ дѣтямъ, надо имѣть что-нибудь разсказать и себѣ. Въ личной жизни своей, въ заботахъ о собственномъ благополучіи, въ трусливомъ созиданіи собственной карьеры человѣкъ, въ сущности, живой мертвецъ. И этимъ живымъ мертвецамъ, какъ Ванюшины, Безсѣменовы, Рыбаковы („Въ туманѣ“ Л. Андреева), естественно приходится, въ концѣ концовъ, услышать горькое слово отъ своихъ дѣтей. Люди вообще, молодежь въ особенности, любятъ красоту и силу. Только красотѣ и силѣ поклоняются они, только красота и сила очаровываетъ ихъ. Когда въ прошломъ „отцовъ“ красота и сила не играли ни-

какой роли, ихъ жалѣютъ, къ нимъ относятся снисходительно, но ихъ не уважаютъ и не слушаютъ. Вѣдь дѣти правы, когда говорятъ: „мы бы хотѣли гордиться своими отцами и итти за ними. Но гордиться нельзя, итти некуда. Они сами не хотѣли настойчиво ничего, ничего настойчиво не искали—что же общаго между нами?!“.

Страшный вопросъ, но онъ имѣетъ серьезныя основанія. На его-то почвѣ разыгрывается та драма, о которой я все время говорю. Въ этой драмѣ месть за униженную человѣческую жизнь, за то, что она прожита безъ возвышающей душу мечты, безъ подвига, за то, что она вся ушла на мелкія работы обыденнаго существованія. Дѣти судятъ и судятъ жестоко, но они правы, потому что въ ихъ юныхъ порывахъ нѣтъ ничего общаго съ тусклымъ и сѣренькимъ существованіемъ отцовъ. Дѣти, молодость, новое поколѣніе вносятъ въ жизнь новую мечту. Современные отцы-мѣщане обошлись какъ-то безъ нея. Имъ нечѣмъ вспомнить своей юности, и въ огромномъ большинствѣ случаевъ они чужіе тому, что дѣлается около нихъ, чужіе тѣмъ грезамъ, надеждамъ, упованіямъ, которыя заставляютъ „бродить дѣйствительность“ и наполняютъ ее зеленымъ весеннимъ шумомъ.

Драмы умножаются.

Мечта о безсмертіи—самая простая, естественная и даже необходимая для человѣка. Человѣкъ умѣетъ или хочетъ жить для вѣчности. Поэтъ творитъ, между прочимъ, и для того, чтобы жить въ памяти людей „отнынѣ, до незапамятныхъ временъ!“ Большинство хочетъ возродиться въ своихъ дѣтяхъ или внукахъ, въ будущихъ поколѣніяхъ вообще. Но увы! у насъ русскихъ, это какъ-то особенно рѣдко удается, и самая простая, естественная и даже необходимая мечта остается неудовлетворенной. Цѣлыя поколѣнія еще при жизни своей оказываются похороненными, заколоченными въ гробъ и отпѣтыми. Они какъ будто ничего не оставляютъ въ наслѣдство своимъ дѣтямъ или оставляютъ лишь что-то такое, отъ чего тѣ всячески спѣшатъ отказаться. Да, это „совсѣмъ не Англія“, гдѣ отецъ тори смѣло можетъ разсчитывать, что и сынъ его будетъ тори, всегда будетъ гордиться именемъ, какое онъ носитъ, и пойдетъ въ жизни подъ знаменемъ тѣхъ же убѣжденій, только расширяя и совершенствуя ихъ во имя новыхъ потребностей общественной жизни.

Въ тридцать-сорокъ лѣтъ человѣкъ въ нашей жизни оказывается обыкновенно ненужнымъ, лишнимъ, сданнымъ въ архивъ, оставленнымъ за штатомъ. Отъ него уже не ждутъ ничего. Съ точки зрѣнія развитія и совершенствованія жизни, онъ, въ большинствѣ случаевъ, тяжелый балластъ или даже отрицательная величина.

Русскіе слишкомъ скоро старѣютъ, слишкомъ рано становятся жи-

вими мертвецами и какъ-то постыдно-равнодушны къ тому, что новые люди, новое поколѣніе отнѣваетъ ихъ, еще по всѣмъ видимостямъ здравствующихъ.

Человѣкъ живетъ, только когда онъ творитъ, когда онъ осуществляетъ свою мечту, не считаясь съ жертвами и лишеніями, когда онъ подвижникъ въ большомъ или маленькомъ дѣлѣ, когда онъ идетъ навстрѣчу призыву новой жизни и радостно встрѣчаетъ ея ростки. Тогда только нечего ему бояться старости и заправской русской драмы, вырастающей не только на почвѣ непониманія, но больше—неуваженія дѣтей къ отцамъ и, увы, въ большинствѣ случаевъ справедливаго.

Что вы сдѣлали? спрашиваетъ юность... Что, по крайней мѣрѣ, хотѣли вы сдѣлать? какая мечта, какой идеалъ были святынями вашей жизни? За что можно и должно уважать васъ?

Рано или поздно каждому изъ насъ придется отвѣтить на эти вопросы. Судный день не сегодня—завтра настанетъ. Наши формуляры окажутся ненужными. Нужными будутъ лишь „пожелтѣвшія письма прошлаго", разъ они есть, гдѣ мы были работниками и поэтами жизни, въ которыхъ наша вѣра, наши мечты и борьба за нихъ.

И я думаю, что эта мечта, это поэтическое стремленіе, жажда творчества новыхъ и лучшихъ формъ жизни живетъ въ каждомъ изъ насъ. Но мы не даемъ ей простора. Мы трусливо подрѣзаемъ ей крылья, топимъ свой идеализмъ въ мѣщанскомъ благоразуміи. Отъ такихъ, естественно, отворачиваются „дѣти", юность, какъ отворачиваются они, отъ всего безсильнаго, дряхлаго, заживо мертваго.

Этимъ они только напоминаютъ, что жизни нужны живые люди. что сами они готовы признать только тѣхъ отцовъ, которые о многомъ мечтали и много хотѣли.

Но мѣщанству все это не по плечу.

Наши драмы отцовъ и дѣтей—симптомы болѣзни общества, зараженнаго мѣщанствомъ. Эти драмы все умножаются; значитъ, болѣзнь серьезна. Противъ нея одно лѣкарство: измѣнить идеалъ. Вмѣсто свободы накопленія признать и осуществить свободу жизни, личности, свободу творчества.

Но этого лѣкарства прописать нельзя.

6. Индивидуализмъ.

Западно-европейскій капитализмъ создалъ три главныхъ теченія общественной мысли; либерализмъ, индивидуализмъ и соціализмъ. Несомнѣнно, что и у насъ всѣ эти три теченія имѣются на лицо, но какъ, въ какомъ видѣ?

Начнемъ съ индивидуализма.

Мнѣ кажется, надо отличить два его типа:

a) мѣщанскій и b) пролетарскій.

Мѣщанскій индивидуализмъ и на Западѣ выяснилъ уже полную свою несостоятельность. Его нравственное и идейное содержаніе оказалось въ высокой степени ничтожнымъ. Въ хищническомъ своемъ выраженіи, т. е. въ наиболѣе для него типичномъ и наиболѣе русскомъ, онъ начинаетъ съ того, что кастрируетъ личность, освобождая ее отъ общественнаго содержанія. Въ представленіи мѣщанина нѣтъ общества, или общество понимается какъ арена борьбы между индивидами за богатство, славу, женщинъ, какъ ристалище конкуренціи и карьеризма. Самъ верховный принципъ накопленія, который провозглашаетъ мѣщанскій индивидуализмъ, слишкомъ узокъ. Здѣсь все величіе и все ничтожество мѣщанства. Величіе, потому что принципъ накопленія, промышленной иниціативы и предпріимчивости даетъ, даже ригористически примѣняемый, огромный толчокъ развитію производительныхъ силъ, безъ котораго, разумѣется, человѣчеству не только нельзя сдѣлать хотя бы шага впередъ, но и жить. Ничтожество, потому что вызванное такимъ образомъ національное богатство даетъ слишкомъ мало для духовнаго развитія людей, и скорѣе даже ведетъ ихъ къ одичанію, что блистательно подтверждаютъ трансваальскіе и китайскіе подвиги, совершенные культурной Европой за послѣднее время, или эта ничтожная литература завитковъ и завитушекъ, на которое перешла американская и французская беллетристика и поэзія, на которые переходитъ и наша. Принципъ накопленія и роста разсматриваетъ человѣка лишь какъ орудіе, какъ средство, и очевидно, что мысль о полнотѣ его развитія даже не можетъ входить въ его содержаніе. Все равно какъ въ области „добродѣтели“ мѣщанство можетъ возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, такъ въ сферѣ жизни вообще оно можетъ охранять всѣ права собственника и никогда достоинство человѣка. Потому что идеи справедливости и человѣческаго достоинства относятся къ принципу распредѣленія, а не накопленія. Задачи же распредѣленія мѣщанства на себя не береть, чувствуя, что здѣсь оно встрѣтится съ разными неожиданными препятствіями и сюрпризами. Оно естественно предоставило ее игрѣ стихійныхъ силъ и случайностей, на биржѣ довело эту случайность до азарта. Это все равно какъ въ игорномъ домѣ: расплата за проигрышъ и выигрышъ можетъ быть скрупулезно честна, но при чемъ тутъ справедливость? И я люблю, когда мѣщане говорятъ о промышленной предпріимчивости и ростѣ національнаго богатства: это выходитъ у нихъ хорошо, даже восторженно; и я ничего не имѣю, когда они го-

ворятъ о добродѣтели и честности: это, можетъ быть, по ихъ части; но терпѣть не могу, когда они разсуждаютъ о справедливости. Что имъ справедливость и что они ей... Ибо справедливость—изъ области распредѣленія.

Съ этимъ мѣщанскимъ индивидуализмомъ, почти не встрѣчавшимъ протеста, мы ознакомились въ печальной памяти 80-е годы. Иллюстраціи къ нему обильны, какъ скоро увидимъ, и въ наши дни.

Пролетарскій индивидуализмъ, признающій товарищество и организаціи въ сферѣ экономической и безграничную свободу личности въ сферѣ жизни и мысли, только вырабатывается въ своей борьбѣ съ мѣщанствомъ и его хищнымъ индивидуализмомъ.

Тотъ индивидуализмъ, который мы чаще видимъ на сценѣ, есть, разумѣется, соединеніе философской мысли съ тѣмъ или другимъ типомъ. Присмотримся къ нему въ разныхъ проявленіяхъ. Начну съ чужого—съ образа „литейщика" Генриха въ „Потонувшемъ колоколѣ" Гауптмана [136]).

7. Потонувшій колоколъ.

Магда напоминаетъ Генриху, что онъ сдѣлалъ для людей, для нея самой. Она говоритъ ему съ точки зрѣнія общественной пользы и культурничества вообще:

Ты, человѣкъ высоко одаренный,
Засыпанный дарами отъ небесъ,
Вездѣ хвалы снискавшій и любимый
Въ своемъ искусствѣ мастеръ. До сихъ поръ
Безъ отдыха ты весело работалъ
И создалъ больше ста колоколовъ:
На сотнѣ башенъ голосомъ протяжнымъ
Они, гудя, поютъ тебѣ хвалу
И, какъ изъ чашъ глубокихъ, проливаютъ
Твоей души живую красоту
Надъ деревнями, селами, полями.
Съ пурпурной кровли вечера, съ сіяньемъ
Зари Господней, въ золотѣ горящей,
Ты смѣшиваешь голосъ думъ своихъ...
...Ты, вкусившій радость
Быть щедрымъ...
Ты, чуждый благодарности, враждебно
Глядишь на трудъ рабочихъ дней своихъ...

---

[136]) Я говорю о Гауптманѣ по тѣмъ же причинамъ, по которымъ раньше—о западномъ романтизмѣ, о Гегелѣ и т. д. „Потонувшій колоколъ" особенно важенъ, какъ живой образъ философіи Ницше.

Не враждебно, нѣтъ. Но „индивидуалисту и ницшеанцу" Генриху нужно другое, и радость деревень, прислушивающихся къ просвѣтительному голосу его колоколовъ, не радуетъ его болѣе.

Я больше не хочу служить „долинамъ", отвѣчаетъ Генрихъ Магдѣ:

Ихъ миръ не успокаиваетъ больше
Мою всегда стремительную кровь...
Все, что въ моей душѣ теперь хранится,
Съ тѣхъ поръ какъ побылъ я среди высотъ,
Стремится вновь къ заоблачнымъ вершинамъ
Свѣтло блуждать надъ моремъ изъ тумана,
Творить созданья силою вершинъ...

Жажда свободной творческой мысли, религіозной, знающей лишь отвѣтственность передъ собой,—вотъ что владѣетъ Генрихомъ, и другой отвѣтственности онъ не признаетъ уже. Что выйдетъ изъ его новыхъ созданій? Добро ли, зло ли людямъ, ему нѣтъ дѣла... Передъ нимъ, какъ индивидуалистомъ, религіозная, а не общественно-полезная задача; не демократія, не конституція, не миръ и счастье деревень, а с в о я свобода, а дальше свобода человѣческаго духа вообще.

Мейстеръ Генрихъ отказывается служить миру и счастью долинъ. Его творчеству тѣсно въ предѣлахъ, указанныхъ общественной пользой и христіанской моралью, поставившихъ заповѣдь любви къ ближнему выше всѣхъ другихъ заповѣдей. Онъ хочетъ освободиться отъ ея оковъ, тѣмъ болѣе, что давно уже слышитъ голосъ природы—Раутенделейнъ, языческой природы, зовущей его къ себѣ. Смущенный этимъ призывомъ, но полный еще обаянія старыхъ боговъ, онъ создаетъ свой потонувшій „колоколъ", въ которомъ, однако, все прежнее, утилитарное, общественно полезное, обѣщающее тихій отдыхъ послѣ честнаго труда, хорошій сонъ при спокойной совѣсти, награду за добродѣтель. Съ грустью говоритъ Генрихъ про это послѣднее свое созданіе:

Онъ для долинъ, онъ не для горъ высокихъ,
Объ этомъ знаю только я одинъ.
Объ этомъ пасторъ ничего не знаетъ.

Что же надо ему? Онъ не хочетъ больше служить долинамъ, т. е. счастью людей. Ихъ „миръ не успокаиваетъ больше" его „всегда стремительную кровь"...

Генрихъ уходитъ въ горы къ красавицѣ Раутенделейнъ. Ею возвращенный къ жизни, онъ возлѣ нея, этого новаго источника своего вдохновенія, опять принимается за работу. Имъ овладѣла безумная мечта создать языческій колоколъ, въ которомъ звучала бы сама природа, а не христіанскій призывъ къ братству, любви, единенію. На

словахъ онъ уже клянется „лошадиной головой, пѣтухомъ, лебедемъ". Экстазъ языческаго безцѣльнаго творчества владѣетъ имъ: „Я исцѣленъ, я обновленъ, говоритъ онъ пастору.—...Я слышу

Дыханье возрожденія во всемъ:
Въ моей груди, исполненной блаженства,
Какъ будто въ ней расцвѣлъ веселый май,
Въ моей рукѣ, какъ будто бы желѣзной,
И въ пальцахъ, напряженныхъ точно когти
Могучаго орла, что, въ пустотѣ
Паря, ихъ разжимаетъ и сжимаетъ...
Творить, творить, лишь только бы творить!

Творчество для творчества, ради творчества, ради проявленія въ немъ желѣзной силы своихъ пальцевъ, своей мощи, сознанія радости жизни, переполнившей его грудь,—вотъ его девизъ, его блаженство, его цѣль. Тайна, чудо, веселіе въ немъ самомъ. И ихъ голоса хочетъ онъ воплотить въ своемъ созданіи.

„Свобода творчества" опьяняетъ его. Онъ не ставитъ ему никакихъ цѣлей, не думаетъ, что выйдетъ изъ него: чуждый какихъ бы то ни было утилитарныхъ соображеній, онъ сначала съ ироніей, потомъ съ печалью отвѣчаетъ на вопросы христіанскаго пастора: „кто вамъ далъ заказъ?" и „кто за трудъ вашъ платитъ?"...

„Кто вамъ далъ заказъ?" Генрихъ даже не понимаетъ этого вопроса. Его творчество—сама жизнь. Оно такъ же просто, стихійно и естественно, какъ прозябаніе цвѣтка, какъ ростъ ели. И онъ говоритъ, что заказъ ему далъ

Тотъ, кто сказалъ вонъ той высокой ели,
Чтобы она надъ пропастью росла!..

Въ этомъ разговорѣ его съ христіанскимъ пасторомъ, разговорѣ, полномъ намековъ, важны и такія строки:

Ваша церковка отчасти
Разрушилась, отчасти погорѣла...
И потому тамъ, высоко въ горахъ,
Хочу я заложить фундаментъ новый—
На новомъ основаньи новый храмъ.

Въ этомъ новомъ храмѣ творчество человѣка свободно и безкорыстно. Упрекъ, печаль, негодованіе слились въ отвѣтѣ Генриха на вопросъ: „а кто за трудъ вашъ платитъ?"...

Кто мнѣ за трудъ мой платитъ? Пасторъ, пасторъ!
Вы счастіе хотите осчастливить!

Награду нужно вамъ вознаграждать!
Зовите трудъ мой, какъ его я назвалъ:
Зовите колокольнымъ звономъ...

Этотъ колокольный волшебный звонъ возродитъ старую забытую пѣсню языческой эпохи. Въ ней, этой пѣснѣ, гимнъ солнцу, гимнъ радости жизни, гимнъ безумной свободѣ творчества...

Эта пѣсня,
Погибшая, забытая, родная,
Возставшая изъ ясной дали дѣтства,
Найденная въ глубокомъ родникѣ
Прозрачныхъ сказокъ,—вѣдомая всѣмъ,
Но до сихъ поръ не спѣтая ни разу.
Она принесетъ возрожденье жизни:
Въ сердцахъ у всѣхъ внезапно вспыхнетъ ледъ
И вскроется,—и ненависть, и скорби,
И бѣшенство, и мракъ тоски и пытки
Растаютъ въ ласкѣ теплыхъ, теплыхъ слезъ...

Не только жизни принесетъ возрожденіе волшебная пѣсня, но и самому христіанству. Подъ ея звуки

Освобожденный солнцемъ,
Спаситель мертвый члены расправляетъ,
И, вновь живой и вѣчно молодой,
Смѣется онъ, входя въ сверканье мая...

Въ мечтахъ безумца Христосъ становится Діонисомъ и Вакхомъ. Пасторъ, „съ отвращеніемъ и ужасомъ“ выслушавъ страстную рѣчь Генриха, сурово упрекаетъ его: „вы забыли добро и зло!“

Но какое дѣло Генриху въ его новомъ состояніи до добра и зла, грань между которыми проведена людьми и христіанствомъ.

Адамъ въ своемъ раю
Не зналъ ихъ...

отвѣчаетъ онъ, и вы чувствуете, что какая-то огромная мысль бьется въ этихъ его словахъ... О какомъ раѣ можетъ говорить человѣкъ нашего времени? Этотъ рай—свобода творческой мысли, отказъ отъ всякихъ обязательствъ передъ обществомъ и семьею.

Возврата къ семьѣ для Генриха нѣтъ. Онъ прекрасно понимаетъ, что „это невозможно“. Онъ уже презираетъ и ненавидитъ людей. О женѣ и дѣтяхъ, этомъ всемогущемъ обязательствѣ, или, лучше, цѣлой системѣ обязательствъ, онъ говоритъ:

Отъ моихъ богатствъ избыткомъ свѣтлымъ
Я не могу съ ней, скудной, подѣлиться.
Мое вино ей будетъ желчь и ядъ,
И тотъ, чьи руки—когти хищной птицы,
Какъ можетъ онъ ласкать лицо ребенка,
Когда онъ плачетъ? да спасетъ ихъ Богъ...

Послѣднія слова этого смертнаго приговора женѣ и дѣтямъ дышатъ холодомъ.

Генрихъ весь жажда новаго, свободнаго творчества, безкорыстнаго, не христіанскаго: онъ сознаетъ въ себѣ безмѣрныя силы для созданія его образовъ, но пока эти образы лишь смутная мечта. Что хочетъ воплотить онъ въ нихъ?

Все, что теперь въ душѣ моей хранится,
Съ тѣхъ поръ, какъ я побылъ среди высотъ,
Стремится вновь къ заоблачнымъ вершинамъ
Свѣтло блуждать надъ моремъ изъ тумана,
Творить созданья силою вершинъ...

Онъ призвалъ къ себѣ на помощь гномовъ, но дѣло не клеится и съ ними. Гномы плохо повинуются ему. Умный водяной Никельманъ, наблюдая изъ своего колодца за его сизифовой работой, какъ одна готовая форма за другой разлетаются вдребезги подъ молоткомъ разъяреннаго гнома или неудовлетвореннаго художника, говоритъ:

Оставь! Оставь! Ты борешься напрасно,
Ты съ Богомъ въ бой вступилъ...

Но борьба Генриха не столько противъ Бога, сколько противъ людей, противъ рода человѣческаго, который его свободную (въ самосознаніи) личность такъ давно держалъ въ рабствѣ, заставляя служить себѣ и своимъ коллективнымъ цѣлямъ, для него стараться, на него работать и лить все тѣ же колокола, полные призыва къ любви, миру, единенію.

Генрихъ гибнетъ въ этой борьбѣ. Вѣдьма Виттихенъ объясняетъ смыслъ этой гибели:

Все кончено—говоритъ она Генриху—
Ты побороть не можешь
Ту тяжесть, что гнететъ тебя къ землѣ.
И м е р т в е ц ы т в о и ч р е з м ѣ р н о с и л ь н ы...

Въ этой чудной трагедіи индивидуализма, разсказанной Гауптманомъ, мы находимъ всѣ мотивы современнаго возстанія личности противъ общества, слабые, безцвѣтные отзвуки которой настойчиво повторяются

и нашей литературой. Свободное творчество, свободное проявленіе своей личности—вотъ основная мечта, и во имя ея происходитъ борьба съ моралью утилитаризма и близкой ей по духу церковно-христіанской моралью, показывающей высшій смыслъ человѣческой жизни въ жизни для ближнихъ и въ томъ, чтобы за нихъ полагать душу свою.

Не первый день идетъ эта борьба, поощряемая и разжигаемая всѣми матеріальными условіями современнаго строя: борьбой за существованіе, конкуренціей, борьбой за славу. Эта борьба наполняетъ нашу жизнь шумомъ и стонами. Каждый часъ, каждую минуту новыя жертвы, новые побѣдители, захватившіе добычу, новые герои, увѣнчанные лаврами.

Страшная борьба... и, ею окруженные съ дѣтства, впитавшіе ея начала съ молокомъ матери, какъ можемъ мы оставаться чуждыми ея духу? Личность и ея самосознаніе проснулись отъ толчковъ и ударовъ, полученныхъ ими въ дикой свалкѣ на торжищѣ жизни, и это пробужденіе замѣтно во всѣхъ уголкахъ жизни, во всѣхъ ея настроеніяхъ.

Индивидуализмъ, отражая въ себѣ всю неурядицу, всю распущенность нашихъ экономическихъ отношеній, является, повторяю, субстратомъ современной жизни. Не считаться съ ними нельзя.

Индивидуализмъ литейщика Генриха—высшее проявленіе этого бурнаго потока мысли. Въ немъ вся его мощь и все его безсиліе. Мощь возставшаго раба, очарованнаго призракомъ свободы и ея призывомъ, и безсиліе одиночества.

Литейщикъ Генрихъ достигъ высшаго выраженія человѣческой ч е с т н о с т и. Онъ честенъ передъ собой. Послушный голосу своего творчества и вдохновенія, онъ оставляетъ семью и близкихъ, чувствуя, что жить съ ними онъ больше не можетъ, что дальнѣйшая совмѣстная жизнь была бы рядомъ обмановъ и лицемѣрныхъ поступковъ съ его стороны. Примириться съ этимъ онъ не можетъ—въ этомъ все его оправданіе, если вообще оправданіе нужно въ данномъ случаѣ.

Быть самимъ собой, проявить свою личность въ художественныхъ образахъ единственная мечта Генриха. И эта же мечта его единственное обязательство. У него хватило великаго мужества сказать рѣшительное „нѣтъ“ всей своей прежней жизни.

Она, эта прежняя жизнь, представляется ему ничтожной и презрѣнной. Больше всего рабской. Онъ чувствуетъ, что онъ рабъ семьи, рабъ общества, мирно живущаго въ долинахъ, что онъ весь идетъ на служеніе и въ жертву Великому Фетишу—стремленіе вида сохранить себя и добиться счастья здѣсь на землѣ. Сознавши эти цѣпи, онъ пытается сбросить ихъ, потому что такъ дальше онъ не можетъ. Его манятъ вершины горъ, гдѣ нѣтъ людей, нѣтъ системы обязательствъ, обращающихъ жизнь

въ рабство и жертву, нѣтъ пастора съ его тепленькими словами, исполненными, однако, угрозъ, нѣтъ семьи, подчиняющей человѣка любовью и жалостью.

И у него хватаетъ мужества сказать всему этому суровое „нѣтъ".

Онъ чувствуетъ, что здѣсь внизу, хочетъ ли онъ того или нѣтъ, его творчество по необходимости продажно. На деньги, на любовь ближнихъ, на славу мѣняетъ онъ свое вдохновеніе. Каждымъ помысломъ своимъ онъ служитъ интересамъ вида. Догматическій альтруизмъ, догматическое христіанство опутали его личность. За послушаніе, за покорное рабство ему обѣщаютъ награду здѣсь на землѣ и другую, большую награду тамъ на небесахъ. Но не награда нужна ему. Ему нужна языческая радость жизни, оргіазмъ, сознаніе своей силы и могущества, ему нуженъ безпредѣльный просторъ для творчества. Христіанскія церковническія добродѣтели и ихъ обаяніе выдохлись въ его душѣ. Онъ вѣритъ въ горы, въ царство Бога Пана, идетъ на борьбу съ моралью, съ своей переработанной христіанствомъ природой, и гибнетъ въ этой борьбѣ.

Всякому извѣстно, что начатая на Западѣ борьба съ переживаніями христіанства, его духомъ аскетизма, его плачемъ и сокрушеніемъ о грѣхахъ своихъ, его альтруистической моралью, стремленіе обновить обветшавшія формы религіозныхъ вѣрованій оргіастическимъ духомъ язычества, или, лучше сказать, эллинизма, оправдать гордыню своего „я", противопоставить холодъ эллинской мысли филантропической сантиментальности и лицемѣрному, неискреннему альтруизму—отразилась и у насъ. Пока еще очень трудно сказать, насколько такое „отраженіе" достойно великаго прошлаго нашей литературы, и что положительнаго даетъ оно намъ, но мнѣ думается, что даже въ современномъ своемъ видѣ оно подтверждаетъ то положеніе, что субстратомъ современной мысли является индивидуализмъ.

Спросимъ же себя, что можетъ сказать намъ индивидуалистъ нашего времени, на котораго оказываютъ еще властное вліяніе народническое прошлое, его призывъ расплатиться съ народомъ, его постоянное обращеніе къ общественной совѣсти человѣка? Мнѣ кажется слѣдующее:

„Если въ насъ остались героическіе и абсолютные порывы, то точка приложенія ихъ не та, что раньше. Это не мужикъ, не альтруизмъ, не жалость и жалѣніе, не любовь къ ближнему.

Отказавшись отъ всего этого, мы, быть можетъ, отказались отъ самаго цѣннаго и дорогого; но что дѣлать, если это самое цѣнное и дорогое написано такими письменами, которое едва-едва мы умѣемъ разбирать по складамъ. Это прошлое—пелазгическія постройки, постройки титановъ и гигантовъ. Имъ можно удивляться, жить въ нихъ нельзя.

Мы не титаны и не пелазги, мы люди, простые смертные люди. Мы

хотимъ жить, мы алчемъ жизни—просторной, широкой жизни, а не подвижничества. Мечъ отцовъ слишкомъ тяжелъ для насъ, и мы не можемъ не видѣть къ тому же, что онъ весь въ зазубринахъ.

Фетишизмъ общественной пользы не соблазняетъ насъ. Мы противъ него, какъ противъ всякаго фетишизма вообще.

У насъ нѣтъ той любовной связи съ мужикомъ и народомъ, которая была, или казалась, что была у нашего барина, кающагося дворянина, нашей литературы вообще. На чувствѣ жалости, жалѣнія, сознаніе своей вины передъ народомъ мы не строимъ и не можемъ строить ничего. Одинаково мы не можемъ ничего строить на любви къ ближнему.

Любовь, жалѣніе... Есть что-то другое, не большее, быть можетъ даже меньшее, но другое. Это свобода человѣческой мысли и творчества, это удовлетворенное чувство чести.

Мы отрицаемъ какіе бы то ни было обязанности, кромѣ тѣхъ, которыя возлагаются на насъ признаніемъ святости человѣческой личности. Въ сущности, даже единственная наша обязанность—полная искренность и правдивость въ отношеніи своей мысли и чувства, какія бы они ни были.

Источникъ всего человѣчески „добраго, полезнаго и прекраснаго" мы видимъ лишь въ свободномъ проявленіи своей личности, а не въ слѣдованіи догмѣ, какая бы она ни была. То, что человѣкъ дѣлаетъ противъ себя, можетъ быть „общественно полезно" и можетъ даже спасти ближняго, но оно безнравственно, какъ грѣхъ передъ собой, какъ нарушеніе цѣлостности своего духовнаго я. Въ концѣ концовъ, это насиліе надъ собой никогда не проходитъ даромъ. Это лучшій путь къ полному разврату мысли, проказѣ лжи и лицемѣрія"...

Мнѣ думается, что индивидуализмъ въ такой формѣ не имѣетъ ничего отталкивающаго. Онъ необходимая стадія развитія, въ которой изъ общественнаго животнаго вырабатывается человѣкъ.

Прежде чѣмъ притти къ нему, мы совершили длинный путь. Наша литература стремилась выработать изъ человѣка подвижника, страдальца за народъ. Правда, больше всего она вырабатывала доктринеровъ и догматиковъ, но въ значительной степени это вина не ея, а внѣшнихъ обстоятельствъ.

Въ жизни нашъ индивидуализмъ имѣетъ очень серьезныя основанія. Все равно какъ запоздали мы съ капитализмомъ, который у насъ наступилъ почти сто лѣтъ спустя послѣ своей эры во Франціи и на полвѣка позже, чѣмъ въ Германіи, такъ запоздали мы и съ нашимъ индивидуализмомъ. Этотъ послѣдній—идейное отраженіе переживаемой нами экономической революціи. Деревенская Русь становится городской, ея хозяйство капиталистическимъ, ея строй и нравы мѣщанскими.

Литература отражаетъ эту экономически-общественную революцію. Подъ вліяніемъ этой революціи субстратомъ ея является индивидуализмъ.

Альтруистическіе мотивы, обожествленіе другого „я" или массы чужды современному мышленію. Въ нихъ гнетъ и ярмо. Современная мысль эгоистична: она согласна на сліяніе интересовъ, но не на сліяніе душъ, на самоограниченіе кооперацій союзомъ, но приходомъ или церковью никогда. Подозрительно и недовѣрчиво относится она ко всему, что стремится подчинить ее себѣ. Она слишкомъ полна гордаго сознанія своего могущества, въ ней жажда высшаго искусства, высшаго творчества, единственное условіе котораго—свобода.

Свое развѣнчанное самовластіе альтруистическіе мотивы передали мотивомъ чести. Ростъ этого чувства самое отрадное зрѣлище въ современной жизни. Правда, онъ тихъ и робокъ. Правда, зачастую честь полагается не въ томъ, въ чемъ бы слѣдовало для гражданина обширнѣйшаго въ мірѣ государства, но и къ этимъ исходамъ нельзя относиться съ пренебреженіемъ. Надо вспомнить, какія преграды и препятствія ставила передъ нимъ всегда русская жизнь и русская дѣйствительность. Европа никогда не пускала Россію дальше своей прихожей, бюрократія никогда не пускала дальше прихожей русское общество; самъ русскій человѣкъ всегда сомнѣвался, имѣетъ ли онъ достаточное право жить, дышать, любить, распоряжаться собой. Всегда и въ жизни и въ литературѣ онъ бывалъ лишь способенъ на анархическіе взрывы собственнаго достоинства. Онъ и въ этомъ случаѣ только „кутилъ", какъ рекрутъ передъ солдатчиной. Но сознаніе чести никогда еще не было постояннымъ и дѣятельнымъ элементомъ его жизни. Все это надо выработать въ себѣ, надо завоевать. И это огромный, трудный процессъ, который никакъ нельзя догматизировать и вытягивать въ одну линію. Вѣдь начинать приходится почти что ни съ чего. Даже въ нашемъ барствѣ мораль господъ такъ переплелась съ моралью рабовъ, гордыня власти съ хамствомъ, что нельзя разобрать, гдѣ и въ чемъ его суть. Искать чувства чести у нашихъ чиновниковъ Молчалиныхъ и чиновниковъ Карениныхъ или у нашихъ промышленныхъ хищниковъ, какъ Кокоревъ и Губонинъ, то же, что ананасовъ въ сосновомъ лѣсу. Самый чуткій микроскопъ не расмотритъ чувства чести у Платоновъ Каратаевыхъ, старцевъ Акимовъ и Поликушекъ. Монгольское иго, приказъ и канцелярія, розги выѣли у русскаго человѣка это святая святыхъ его духа. Благороднѣйшіе порывы его нравственнаго и личнаго самосознанія уходили на расплату со старыми грѣхами на самооправданіе передъ своей совѣстью. Но, слава Богу, кое-гдѣ даже мужикъ начинаетъ считать наказаніе роз-

гой позоромъ для себя. Есть другой классъ общества, еще болѣе чуткій къ голосу своей чести и достоинства.

Все, что выработала наша прошлая литература по части освобожденія личности и общества, вошло необходимымъ элементомъ въ современное мышленіе. „Смыслъ жизни въ томъ, чтобы перерабатывать формы общественной жизни своимъ критическимъ сознаніемъ; смыслъ ея въ творчествѣ новыхъ формъ, представляющихъ полный просторъ человѣческому развитію. Смыслъ жизни въ томъ, чтобы она стала дѣйствительно прекрасной"... Этому, м е ж д у п р о ч и м ъ, учила литература въ прошломъ. И тутъ нечего оспаривать. Но рядомъ съ этимъ шла другая проповѣдь—проповѣдь расплаты за грѣхи вольные и невольные. Высчитывалось, сколько каждый изъ насъ долженъ человѣчеству. Говорили о покаяніи, о подвижничествѣ, какъ обязанности. Проповѣдь свѣта и освобожденія переплелась съ проповѣдью студійскаго устава, и была заглушена ею. По этому поводу я сказалъ уже, что все, годившееся, быть можетъ, для барской дворянской Руси, для кающихся плантаторовъ и ихъ прямыхъ наслѣдниковъ, совершенно не годится для настоящей разноплеменной и разночинной Руси.

8. Индивидуализмъ и эстетика.

Что мы не разстались окончательно ни съ доктринерствомъ, ни съ догматизмомъ, это понятно. Жизнь, все та же русская жизнь не разрѣшаетъ свободы мысли, потому что одну мысль она охраняетъ, другую преслѣдуетъ. Но все же мы на пути къ этому.

За всей сутолокой настроеній современной мысли вы чувствуете, однако, общее стремленіе освободить человѣческую личность отъ той системы обязательствъ, которыми она была окутана какъ въ области теоретической мысли и практической дѣйствительности, такъ и въ области искусства. Это „я" мыслящаго и творящаго человѣка настойчиво выдвигается, какъ высшая цѣнность и высшій критеріумъ,—тамъ сливаясь съ жаждой общественной самодѣятельности, тамъ отрываясь отъ земли и залетая въ надзвѣздныя метафизическія сферы, тамъ идя рука объ руку съ пробужденіемъ пролетаріата. Ницшеанствуя, декаденствуя, впадая въ пессимизмъ или въ мистику или объединяя свои стремленія съ стремленіями новаго сословія, выступившаго на сцену всего 10 — 15 лѣтъ тому назадъ, личность разными путями переоцѣниваетъ цѣнности, все больше порывая связи съ прошлымъ, которое тамъ и здѣсь начинаетъ уже окутываться дымкой легенды.

Искусство становится все болѣе романтическимъ. Свой тяжелый

балластъ поученія оно выбросило за бортъ. Оно ищетъ Свободы Прекраснаго, преклоняясь порою передъ знаніемъ, но ему нечего дѣлать больше съ Моралью. Въ то же время теоретическая мысль хочетъ имѣть дѣло только съ Истиной, а не съ тѣми утопіями или тою п р а в д о й (то-есть требованіями человѣческаго сердца), которыми жили наши отцы.

Любопытна въ этомъ отношеніи перемѣна нашихъ взглядовъ на роль искусства, на свободу художника-творца, которому мы такъ рѣшительно предъявляли требованія пушкинской толпы, на эстетику вообще.

Мы возненавидѣли эту послѣднюю въ 60-е годы и, въ сущности, мы были правы, потому что стремились сосредоточить всѣ силы человѣка на общественной борьбѣ, на образованіи и освобожденіи народа; а главное потому, что эстетизмъ и барство были синонимами въ нашихъ глазахъ [137]).

Мы не твердимъ теперь какъ заповѣдь: „поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ“. Избави Боже налагать на когонибудь какія-нибудь обязанности... И дальше: „развѣ въ человѣкѣ, въ концѣ концовъ, цѣненъ гражданинъ, а не просто человѣкъ?“

Все это старыя формулы нашей критики, созданныя „осаднымъ положеніемъ“ интеллигенціи и „усиленной охраной“ свободы.

„Надо предположить въ будущемъ огромный, невиданный доселѣ расцвѣтъ эстетики“.

„Настанетъ пора еще высшаго увлеченія искусствомъ, чѣмъ та, которую люди видѣли въ XIII—XV-мъ столѣтіяхъ. Тогда была только проба, только предчувствіе, захватившая лишь верхи европейскаго общества. Эстетика, благородная любовь къ искусству и наукѣ сосредоточилась въ нѣсколькихъ личностяхъ. Вокругъ же было рабство, позоръ и униженіе человѣка. Оттого увлеченіе ею было непрочнымъ, а многимъ даже казалось обиднымъ“.

Область эстетики, повидимому, и есть та, гдѣ люди найдутъ спасеніе отъ вѣчно грозящей имъ пошлости. Узнавъ муки и радости творчества, человѣкъ повышается духовно. Подышавъ свѣжимъ воздухомъ горныхъ высотъ науки, онъ будетъ, конечно, съ отвращеніемъ избѣгать всякихъ міазмовъ лжи, лицемѣрія.

„Мы не знаемъ будущаго человѣка и можемъ лишь гадать на него. Но трудно представить его иначе какъ работникомъ-эстетикомъ, внося-

---

[137]) Вѣрнѣе всего, мы искали прекраснаго въ жизни, а не въ искусствѣ. Мы хотѣли сдѣлать прекрасной жизнь, а не писать хорошіе стихи, романы. Тоже эстетика, но глубже, человѣчнѣе господствующей.

щимъ въ свое дѣло всю свою любовь, весь темпераментъ, всю артистичность своей натуры".

Конечно, въ наши дни еще трудно говорить объ этомъ несомнѣнно далекомъ будущемъ. Но у работника артиста и эстетика есть уже свои пророки и предшественники, какъ В. Моррисъ или Дж. Рескинъ, которые умѣютъ свой эстетизмъ соединять съ радикальными и даже соціалистическими идеями. И у насъ дома нѣтъ уже прежняго ригоризма въ отношеніи прекраснаго. Мы говоримъ о необходимости эстетическаго элемента въ воспитаніи; къ обычнымъ вопросамъ нашей критики: что здѣсь сказано или что этимъ доказывается?—мы не забываемъ прибавлять: „какъ это сказано".

Мы понимаемъ, что эстетизмъ не мѣшаетъ ничему, что наша безобразная жизнь такъ же мало выдерживаетъ критику съ точки зрѣнія „прекраснаго", какъ справедливаго или гуманнаго.

9. Догматизмъ и доктринерство.

До недавняго времени русскій читатель всегда искалъ такую книгу, гдѣ было бы все сказано, былъ бы данъ отвѣтъ на всѣ запросы чести, совѣсти и поведенія, а русскій писатель всегда старался написать такую книгу.

Русское мышленіе стремилось вылиться въ догму и катехизисъ. Въ нетерпимости мы никогда не чувствовали недостатка. Самая свободолюбивая теорія на нашей почвѣ немедленно же обращалась въ „уставъ о воинской повинности".

Что дѣлало насъ догматиками? Многое. И роль журнала, какъ политической трибуны, и склонность къ нравоученію некультурнаго общества, и первенствующій голосъ совѣсти, и фанатизмъ нравственнаго чувства, и благородство, и неразвитость. А главное, конечно, это состояніе борьбы, гнетъ преслѣдованій.

Наша литература—проповѣдь прежде всего. Проповѣдь стремится выразить себя въ догмѣ.

Главный вдохновитель нашей прошлой литературы—голосъ возмущенной совѣсти. Совѣсть догмами ограждала себя отъ соблазновъ и искушеній міра.

„Русская интеллигенція привержена къ догмѣ. Какъ ни часто мѣняется эта догма, преданность каждому новому катехизису является почти что самоотверженной. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ у насъ была догма гегеліанская, въ 60-хъ матеріалистическая, въ 70-хъ народническая, въ 80-хъ индивидуалистическая, въ 90-хъ марксистская. По нашей юной культур-

ности, съ одной стороны, по лѣности мысли и горячей впечатлительности сердца обойтись безъ догмъ мы не можемъ. Въ прошломъ только скромные ученики Запада, мы такъ привыкли къ этому ученичеству, что, сами думая, чувствуемъ себя въ состояніи полной растерянности. Наша философская мысль дѣйствительно очень слаба, прямо таки плачевна. Мало оригинальнаго и цѣннаго. Даже свое собственное народничество мы разработали такъ плохо съ логической стороны, что у насъ нѣтъ никакой возможности предъявить эту разработку въ качествѣ законченной системы. Больше того: само по себѣ логическое развитіе идей интересуетъ насъ очень мало. У насъ нѣтъ той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневѣковая схоластика, и, подступая къ какой нибудь системѣ, мы прежде всего смотримъ на ея послѣднюю страницу—ея нравственные выводы, и всегда и во всемъ ищемъ правилъ поведенія. Мысль въ нашихъ глазахъ *сильна только своимъ нравственнымъ содержаніемъ*. Въ любой теоріи мы ищемъ не системы доказательствъ, не стальной цѣпи логическихъ аргументовъ: мы ищемъ лишь оправданія своего нравственнаго существа, выхода для накопившейся жажды общественной дѣятельности, стремленія помочь обездоленнымъ, этого стремленія завѣщаннаго намъ всей нашей хорошей и честной въ главномъ своемъ руслѣ русской литературой".

Исторія нашихъ догматическихъ увлеченій, печальная страница изъ исторіи нашей мысли. Необходимая—да, но все же печальная, какія бы оправданія и объясненія ни подыскивали мы ей. Сколько грѣховъ и насилія совершено было надъ личностью человѣка, сколько грѣховъ и насилія самъ человѣкъ совершилъ надъ собственной своей личностью. Мы всегда жили евангеліями и клялись словами учителей [138]).

Въ этомъ есть что-то комическое и, повторяю, печальное. Комическое, потому что ясно, какъ мало вообще какая-нибудь книга, какой-нибудь катехизисъ могутъ отвѣтить на всѣ запросы сложной человѣческой жизни. Комично, потому что за одной книгой всегда слѣдовала другая, во имя которой первая предавалась анаѳемѣ. Гегеля прокляли во имя Молешотта и Бюхнера; Молешотта и Бюхнера осмѣяли во имя Конта и народническаго идеализма. Народническій идеализмъ развѣнчали во имя Маркса и стихійной эволюціи; теперь Маркса и стихійную эволюцію развѣнчиваютъ кто во славу Фихте, кто во славу Бернштейна и либерализма, кто субъективнаго метода въ соціологіи, кто ницшеанства и т. д. То, что вчера чтилось, становится сегодня позорной кличкой. Сегодня человѣкъ съ гордостью говоритъ о себѣ: „я марксистъ", а завтра: „ни въ какомъ смыслѣ не будучи

---

[138]) См. гл. II-ую и VI-ую этой книги.

правовѣрнымъ марксистомъ, полагаю и т. д.“... Вѣра, убѣжденія прекрасны; догматъ отвратителенъ.

Но это лишь одна сторона медали. Если вспомнить, сколько страсти, чувства фанатической непримиримости кристаллизовалось въ нашемъ догматизмѣ, его исторія становится печальной и трагической. Въ немъ такъ много вынужденнаго, что готовое вырваться противъ него жестокое слово замираетъ недоговореннымъ, и негодованіе распускается въ тяжеломъ раздумьи.

Рѣшительно нельзя забывать, что нашъ догматизмъ зародился отъ чрезмѣрнаго уваженія къ книгѣ и печатному слову вообще. Онъ окрѣпъ въ преслѣдованіяхъ. Онъ воспитывался и выросталъ въ кружкахъ. Его катехизисы по тысячѣ одной причинѣ не могли подвергаться всестороннему обсужденію. По тѣмъ же причинамъ въ нихъ всегда было что-то недоговоренное. Обыкновенно они возбуждали преслѣдованіе и ненависть, и этого было достаточно, чтобы мысли, высказанныя людьми, получали ореолъ святости, чтобы буква ихъ возбуждала любовь и вражду между людьми.

Намъ казалось когда-то, что честный человѣкъ не можетъ не быть матеріалистомъ, что кто не вѣритъ въ естествознаніе, тотъ погибшій для общественнаго дѣла и пошлый „мѣщанинъ“, что кто любитъ искусство и музыку, тотъ аристократъ и бѣлоручка, что кто говоритъ о Богѣ, тотъ предатель своего отечества и народа.

Во всемъ этомъ, въ нашемъ отношеніи къ искусству и наукѣ— потому что и наука дѣлилась имъ на настоящую, некущуюся объ общественномъ благѣ, разрѣшающую наши нравственные запросы, и н е н а с т о я щ у ю, удовлетворяющую лишь праздную любознательность,— во всемъ этомъ отражались суровость и аскетизмъ подвижническаго міросозерцанія.

Мы въ теоріи преклонялись, конечно, передъ свободой мысли и совѣсти, но ихъ практику откладывали до лучшихъ дней. Въ ожиданіи ихъ мы предавали другъ друга анаѳемѣ.

Громогласная и постоянная, полная злобы и ненависти, она не сходитъ со сцены [139]). Начиная съ 60-хъ годовъ, она ежедневно раздается по церквамъ и приходамъ нашей журналистики. Ослѣпленная фанатизмомъ нравственности, идолопоклонствомъ катехизису, она очень часто не различала своихъ отъ чужихъ. Ея могущество и ея слѣпоту испытали на себѣ Достоевскій, Тургеневъ, Толстой. Что же говорить о другихъ, меньшихъ?

---

[139]) Наша полемика похожа на анекдотическій разговоръ русскаго съ туркомъ: другъ друга они не понимали, но разговаривали „п о о ч е р е д и“.

Еще о нѣкоторыхъ проявленіяхъ литературнаго индивидуализма.

Въ соотвѣтствіи съ духомъ времени, въ немъ есть, разумѣется, крикливыя мѣщанскія теченія, какъ наше, такъ называемое, декаденство, есть и открытыя двери въ мистику и метафизику.

10. Такъ называемые декаденты.

Впрочемъ, я не знаю, какъ назвать ихъ.

Они отказываются отъ клички „декадентовъ" и, кажется, видятъ сущность своей пропаганды въ индивидуализмѣ. Ихъ зовутъ еще „ультрафіолетовыми", или людьми четвертаго измѣренія, или „меонами". Но дѣло не въ имени. Важно то, что ихъ много. Они издаютъ разные сборники стиховъ и прозы подъ разными именами и заглавіемъ: „Сѣверные цвѣты", К. Бальмонтъ, „Грифъ", г. Мережковскій, „Скорпіонъ", г-жа Гиппіусъ. У нихъ есть свой журналъ „Вѣсы", свои философы, какъ В. Брюсовъ, критики, какъ гг. Коневскій, Антонъ Крайній и Андрей Бѣлый. У нихъ есть смѣлость, порою дерзость писать плохіе и непонятные, интригующіе какъ шарада стихи, разсказы, драматическія симфоніи, и взаимно расхваливать другъ друга. Словомъ, у нихъ есть бумага, станокъ, издатели, всѣ виды литературнаго оружія, распредѣленіе силъ, сознаніе своего единства и общности интересовъ, но нѣтъ таланта и нѣтъ вліянія...

Да, слишкомъ мало таланта. Оттого, быть можетъ, они такъ крикливы и съ такимъ неестественнымъ визгомъ говорятъ о себѣ, о своемъ демонизмѣ, о всепожирающемъ огнѣ своихъ страстей. Не въ ихъ пользу служитъ и то, что они умѣютъ шумѣть, что такіе безсмысленные будто бы стихи ихъ, какъ: „о, закрой свои блѣдныя ноги!" облетаютъ всю русскую печать... „Прекрасное должно быть величаво".

Въ большинствѣ случаевъ наше, такъ называемое, декаденство, разумѣется, переводъ, компиляція съ тѣхъ проявленій западной мысли, которыя М. Нордау обобщилъ подъ именемъ „Entartung" („Вырожденіе"). Но на Западѣ все это серьезнѣе, талантливѣе. Тамъ есть Верлэнъ и Бодлэръ, у насъ—?

Въ западномъ декаденствѣ есть много, что притягиваетъ къ нему многихъ. Въ немъ „новый романтизмъ", есть оригинальность, есть свое, есть на самомъ дѣлѣ вырожденіе, чувства устали и разочарованія—такія простыя и понятныя въ наше трудное время. Внутренній міръ человѣка для него безусловная цѣнность. Для него интересно все, даже мимолетное и случайное, что происходитъ тамъ. Словами и кистью старается онъ закрѣпить и летучія капризныя на-

строенія. Оно выросло на почвѣ отрицанія и невѣрія, разврата и нищеты большихъ городовъ [140]), шло рука объ руку съ низверженіемъ христіанской догмы,—съ убійствомъ Бога, какъ говоритъ Ницше,—съ скептицизмомъ Ренана, отбросивъ, разумѣется, вѣру послѣдняго въ науку. Оно такъ же далеко отъ признанія науки, какъ и откровенія. Какъ литературное теченіе, оно возстало противъ натурализма въ искусствѣ, противъ правильныхъ и шаблонныхъ линій, противъ требованія распускать личность въ средѣ и обстановкѣ. Въ немъ есть боевое настроеніе романтизма начала вѣка, и вмѣстѣ съ тѣмъ оно полно предчувствія смерти и вырожденія. При мысли о нихъ оно испытываетъ ужасъ, но они влекутъ его къ себѣ, какъ птицу раскрытая пасть змѣи. Это бредъ алкоголиковъ, муки сифилитика, кощунство атеизма или религіозный экстазъ на почвѣ полового психоза. Земля и люди обречены на смерть, земля и люди вырождаются. Міръ полонъ темныхъ, таинственныхъ и злыхъ силъ. Жизнь зло уже потому, что она неразгаданная загадка. Выходъ въ забвеніи, въ наркозѣ, пьянствѣ, музыкѣ, безуміи...

Свое уваженіе къ личности наши „декаденты“ доводятъ до самообожанія. У нихъ одинаково всѣ прежніе мотивы романтизма, но сведенные къ очень небольшому крикливому „я“... Что-то похотливое, ненужно-оголенное чувствуется въ ихъ любовныхъ пѣсняхъ, неясное и смутное въ ихъ философствованіи, потуга въ ихъ религіозныхъ исканіяхъ. Въ общемъ же безсиліе и слабость. Поэтому-то совершенно естественно, если черезъ одного изъ своихъ, именно г. Мережковскаго, они подаютъ руку самому странному и неожиданному прыжку нашей интеллигентной мысли—р е л и г і о з н о - ф и л о с о ф с к о м у.

На самомъ дѣлѣ здѣсь что-то неожиданное. Если взять основныя идеи одного изъ иниціаторовъ религіозно-философскаго движенія, г. Мережковскаго, то получимъ слѣдующее. Европа гніетъ или даже сгнила. Во всякомъ случаѣ, на обновленіе своего духа она уже не способна. Но это обновленіе тѣмъ болѣе необходимо, что кончина міра наступаетъ. До нея осталось какихъ-нибудь 2000 лѣтъ. Она уже чувствуется. На землѣ появились послѣдніе люди, и они видятъ всеобщую смерть своими „широко-открытыми“ глазами. Надо готовиться къ смерти, готовиться къ ней мистически и религіозно. Только христіанство можетъ помочь человѣку, но христіанство обновленное, какъ бы слившееся съ античнымъ язычествомъ, примирившее „плоть“ и „духъ“. Это великое дѣло, единственный выходъ, и исполнить его можетъ лишь русская церковь въ союзѣ съ „послѣднимп“ малыми и смиренными русскими интеллигентами.

---

[140]) Достаточно указать на настойчивость этихъ мотивовъ у Бодлера.

Нѣкоторые увидѣли здѣсь реставрацію славянофильства. Религіозная проблема выдвигается на первый планъ. Руководящая, рѣшающая роль отводится православію, „бѣлой Іоанновой церкви“, смиренной и кроткой. И, конечно, отраженія славянобѣсія и православнобѣсія здѣсь достаточно [141]).

Впрочемъ, что тутъ не отразилось! Только въ нѣсколько странной формѣ. Приблизительно такъ же, какъ ницшеанство въ нашей провинціи. По свидѣтельству одного изъ героевъ Чехова, Симеонова-Пищика: „Ницше... философъ... величайшій, знаменитѣйшій... громаднаго ума человѣкъ, говоритъ въ своихъ сочиненіяхъ, будто бы фальшивыя бумажки можно дѣлать...“ Да, что тутъ не отразилось!..

Литейщикъ Гауптмана мечтаетъ о томъ, какъ Спаситель, освобожденный солнцемъ, „вновь живой и вѣчно молодой“, смѣясь входитъ „въ сверканіе мая“. Слились язычество и христіанство, добро и зло, и люди не знаютъ ихъ различія, какъ „Адамъ въ раю не зналъ ихъ“...

Но за осуществленіемъ своей мечты литейщикъ Гауптмана не обращался къ пастору.

Г. Мережковскій обращается. Вмѣстѣ съ В. Розановымъ, Н. Минскимъ, В. Миролюбовымъ и пр. ему удалось основать религіозно-философское общество, теперь уже замолкшее, но въ 1903 году всѣмъ видное и шумное.

Общество имѣло ближайшей своей задачей объединить интеллигенцію и духовенство. Представилось зрѣлище интересное даже по внѣшности: рясы черныя, свѣтлыя и красныя появились среди „сюртуковъ литераторовъ и ученыхъ“... Зажглись горячія пренія о свободѣ совѣсти, о необходимости для церкви обновиться, принявъ участіе въ общей борьбѣ времени съ догматизмомъ, о положеніи раскольниковъ и раскола. Повидимому, церковь призывали къ вѣротерпимости, къ какой-то общественной роли. Но духъ митрополита Филарета, какъ выяснилось, былъ силенъ въ ней. Извѣстно, что когда Николай Павловичъ полюбопытствовалъ узнать, какъ смотритъ духовенство на освобожденіе крестьянъ, Филаретъ отвѣтилъ, что для церкви собственно безразлично, свободны ли крестьяне или въ кабалѣ, „лишь бы они были православными христіанами“... Даже Николай Павловичъ остался недоволенъ такимъ слишкомъ уклончивымъ отвѣтомъ.

---

[141]) Прочтя все, что говорится г. Мережковскимъ о православіи, хотя бы только въ предисловіи ко 2-му тому его изслѣдованія „Л. Толстой и Достоевскій“, читатель удивится: „какъ это такъ... вчерашній ницшеанецъ и вдругъ!..“ Но съ русскими писателями случается порою то же, что съ помѣщицами добраго стараго времени:

И обновила, наконецъ,
На ватѣ шлафрокъ и чепецъ...

70 лѣтъ мало измѣнили дѣло. Но со стороны духовенства все же было высказано, что обновленіе желательно, хотя „благовременность лучше всего можетъ быть опредѣлена Синодомъ и Господомъ"; что же касается до „единенія съ интеллигенціей", то, разумѣется, нельзя не привѣтствовать интеллигенцію, взявшую иниціативу и идущую навстрѣчу, но опять-таки лишь Синодъ можетъ указать, что изъ этого выйдетъ.

„Интеллигенты" говорили о вѣротерпимости, о свободѣ совѣсти, но такъ какъ задачею ихъ было „единеніе", то свобода совѣсти свелась въ ихъ рѣчахъ къ свободѣ внутри человѣка. Большаго прямо испугались. Г. Розановъ, напр., сказалъ, что „разрѣшите хлыстамъ пропаганду, и вся Рязанская губернія завертится". Ну, разъ есть страхъ передъ Рязанской губерніей, лучше уже совсѣмъ молчать, чѣмъ говорить о свободѣ совѣсти.

Напомню о нашей церкви слова покойнаго Вл. Соловьева, человѣка религіознаго: „Духовной самодѣятельности за собственной нравственной отвѣтственностью нашей церковью не допускается. Религіозная и церковная истина вся сполна находится на сохраненіи въ крѣпкомъ казенномъ сундукѣ, за крѣпкими казенными печатями и подъ стражей надежныхъ часовыхъ. Безопасность полная, но живого интереса никакого. Гдѣ-то далеко происходитъ религіозная борьба, но насъ это не касается. У нашихъ пастырей нѣтъ равноправныхъ противниковъ. Враги православія находятся внѣ сферы нашего дѣйствія; если же попадаютъ въ нее, то лишь со связанными руками и заткнутымъ ртомъ. Отъ настоящей серьезной борьбы за православіе мы избавлены государственной опекой. Но зато и само православіе... становится у насъ простымъ атрибутомъ и придаткомъ русской государственности... Вотъ требованіе ясное, простое и легко исполнимое: избавить нашу церковь отъ уголовной и цензурной охраны, при которой не можетъ быть прямой и открытой борьбы за религіозную истину. Упразднить принудительное православіе—вотъ первое элементарное средство для возрожденія истиннаго православія" (Приведено у Н. Булгакова „Отъ марксизма къ идеализму", 245).

В. Соловьевъ зналъ въ данномъ случаѣ, что говорилъ, и начиналъ „съ другого конца", никакъ не съ того, съ какого начинаютъ гг. Мережковскіе, Минскіе, Миролюбовы и Розановы.

II. Проблемы идеализма.

„Расширенная" личность, бросаясь въ разныя стороны для оправданія своего „безусловнаго значенія", призываетъ себѣ на помощь и метафизику. У насъ это сдѣлано въ сборникѣ „Проблемы идеализма", изд. въ 1902 году подъ ред. проф. Новгородцева.

Зная, какъ давно и долго чуждались мы чего-нибудь подобнаго, проф. Новгородцевъ говоритъ: „теперь уже нельзя, какъ 20 лѣтъ тому назадъ, однимъ произнесеніемъ слова „метафизика“ осудить то или другое ученіе“. Осудить, конечно, нельзя, но избавиться отъ разсмотрѣнія его посылокъ можно. Эти посылки и въ наши дни, какъ и 2000 лѣтъ тому назадъ, по существу все тѣ же: одинаково произвольны, одинаково бездоказательны и одинаково требуютъ согласія по вѣрѣ. Мѣняются имена изобрѣтателей, формы выраженія. Одни въ основу всего ставятъ воду, другіе идею, третьи всемірный разумъ, но дѣло не идетъ впередъ, и таинственная сущность жизни не дается человѣку.

Остановятся ли когда люди въ своихъ попыткахъ назвать эту послѣднюю или нѣтъ, сказать трудно. Но опыта 2000 лѣтъ отъ Ѳалеса до нашихъ дней достаточно, чтобы не утруждать себя вопросомъ, кто правъ (или неправъ)—Гераклитъ или Гегель? Ни одинъ математикъ не станетъ теперь разсматривать новаго рѣшенія трисекціи угла или квадратуры круга, зная, что все это лишь безплодныя попытки. Намъ также нечего утруждать себя посылками гг. Булгакова, Бердяева или Новгородцева[142]).

Нечего еще потому, что ихъ системы не просто метафизическія, а чисто компилятивныя и даже переводныя. Относительно г. Бердяева прочно установлено, что онъ перелагаетъ на русскій языкъ Вольтмана, и перелагаетъ плохо, ученически. Ему нравятся такія кабалистическія фразы, какъ „наша точка зрѣнія есть синтезъ идеи богочеловѣка и человѣкобога“, или: „признавая идеальный нормативный характеръ этого „я“ и общеобязательность присущаго ему нравственнаго закона, мы преодолѣваемъ какъ этическій эмпиризмъ, такъ и солипсизмъ“... Это тотъ же птичій языкъ, которымъ говорили у насъ люди 30-хъ и 40-хъ годовъ, называвшіе даже пьяную драку „бравадой субъективности“.

Но попутно метафизика дѣлаетъ любопытныя открытія; самыя посылки разныхъ системъ обыкновенно поучительны, какъ симптомы. Какъ симптомъ, интересенъ и нашъ идеализмъ. Съ уклоненіями въ сторону религіи и церкви у однихъ, или въ сторону рабочаго движенія и либерализма у другихъ, онъ прежде всего индивидуализмъ [143]).

„Новыя формы жизни, читаемъ мы въ предисловіи, представляются уже не простымъ требованіемъ цѣлесообразности, а категорическимъ ве-

---

[142]) Метафизика нашего идеализма сосредоточена возлѣ положенія, что ядромъ личности является извѣстная (т. е. неизвѣстная, *Анд.*) нравственная сущность, стремящаяся къ развитію, къ достиженію Высшаго, никогда не достижимаго блага и совершенства. Эта сущность будто-бы и обусловливаетъ начало безусловнаго значенія личности и ея право на автономію.

[143]) Кстати, это единственный пунктъ, который мнѣ интересно отмѣтить въ этомъ общемъ обзорѣ.

лѣніемъ нравственности, которая ставитъ во главу угла начало безусловнаго значенія личности".

Такимъ образомъ провозглашается автономія личности. Дальше на страницахъ сборника, развитіе этой же мысли, обильно приправленное словами „абсолютъ", „Богъ", „сущность". „Нравственная совѣсть есть отвѣтственность передъ самимъ собой, передъ своимъ духовнымъ „я". „Общество, общественное развитіе есть необходимое орудіе нравственнаго развитія человѣческой личности". „Только развитое [144]) „я" есть носитель духовнаго начала".

„Нравственная проблема не есть проблема стадности; она не рѣшается ни государственнымъ ни общественнымъ процессомъ, ни судомъ людей; это внутренняя индивидуальная проблема человѣческаго я, стремящагося къ идеальному совершенству".

„Индивидуальная жажда творчества, осуществленіе духовнаго „я" (что и составляетъ сущность нравственной проблемы) утоляется безпредѣльнымъ нравственнымъ развитіемъ, опирающимся въ духовное безсмертіе, и безпредѣльнымъ универсальнымъ развитіемъ, т. е. прогрессомъ культуры. Этими двумя путями человѣкъ идетъ къ верховному благу"...

„Личности принадлежитъ этическій (не соціологическій) примать надъ обществомъ".

И т. д.; какъ всякій видитъ, все это обычныя, элементарныя мысли нашихъ дней. Такъ же обыченъ и элементаренъ протестъ противъ „общества", „вида", служенія обществу и виду. „Во имя чего, спрашиваетъ г. Бердяевъ, можно подчинить человѣка общему благу и разсматривать его какъ средство?" „Почему счастье другого человѣка выше моего собственнаго счастья, если окончательнымъ критеріумомъ является все то же счастье... Почему мои поступки квилифицируются какъ нравственные, только когда я служу чужому счастью"...

Такъ говоритъ г. Бердяевъ. Г. Булгаковъ скрѣпляетъ все это соображеніями, кокетничающими съ религіей. „На ряду съ знаніемъ, пишетъ онъ, самостоятельныя права имѣетъ вѣра. „Религія станетъ основой мысли и дѣятельности людей".

Въ видѣ окончательнаго аргумента онъ приводитъ слѣдующій: „когда Учителя любви спросили, въ чемъ состоитъ главное содержаніе закона, Онъ выразилъ его въ двухъ заповѣдяхъ, при чемъ первая заповѣдь была о любви къ Богу, а вторая производная, о любви къ ближнему. Онъ указалъ этимъ правильное, нормальное соотношеніе между религіознымъ и общественнымъ интересомъ и, не умаляя въ его значеніи

---

[144]) Критеріумъ „развитого я" не указанъ. Возможны серьезныя непріятности въ данномъ пунктѣ.

послѣдняго, отвелъ ему, однако, второе мѣсто. Въ теперешнемъ человѣчествѣ утрачено это правильное соотношеніе“, и т. д.

Очевидно, что къ такимъ аргументамъ можно прибѣгать лишь за недостаткомъ лучшихъ. Если что тутъ и хорошо, то лишь нѣкоторая прямолинейность. Г. Булгаковъ понимаетъ, по крайней мѣрѣ, что абсолютный индивидуализмъ стремится принять религіозное опредѣленіе. Метафизика сама по себѣ, имѣя дѣло съ сущностями, „плохая религія“. Разъ вѣра поставлена рядомъ съ знаніемъ, то гдѣ ея границы? Ихъ нельзя указать... вплоть до тертулліановскаго: „credo quia absurdum“ — „вѣрю, потому что это безсмысленно“.

12. Мудрая мысль.

Мы сейчасъ видѣли, что здѣсь мистика, тамъ метафизика, тамъ крики о себѣ. Вездѣ, впрочемъ (изъ разсмотрѣннаго), то же самодовольство, та же самоудовлетворенность. Даже г. Мережковскій, несмотря на ожидающую его черезъ двѣ (*или* болѣе *или* менѣе) тысячи лѣтъ кончину міра, смотритъ бодро и, какъ рыцарь въ плащъ, побѣдоносно кутается въ рясу отца Григорія или отца Авдія. Отчасти это хорошо, ибо сказано: „сколько правды скрыто въ душевной бодрости, и даже малое препятствіе кажется неодолимымъ въ минуту душевной слабости и унынія“...

Слишкомъ понятенъ и этотъ взрывъ индивидуализма и эта индивидуалистическая окраска всѣхъ теченій современной мысли. Какъ ни разнообразны люди, въ духовной жизни поколѣнія всегда существуетъ нѣкоторый общій центръ.

Конечно, „я“, заботы о себѣ, о своей личности никогда въ дѣйствительности не сходятъ со сцены, но иногда это „я“ чувствуетъ себя до того подавленнымъ и робкимъ, что едва смѣетъ заявить о своемъ существованіи.

Въ настоящее время оно какъ будто переживаетъ новый романтическій возрастъ, новую самовлюбленность и новую тоску по сильной жизни, сильнымъ людямъ.

Но... всегда есть „но“, тѣмъ большее, чѣмъ больше утвержденія. Въ этомъ анархизмѣ расширенной личности много взвинченнаго, натопорщившагося, непомнящаго родства. Вѣдь для того, чтобы быть такимъ довольнымъ, надо многаго не видѣть или, по меньшей мѣрѣ, о многомъ забыть. Соціальная борьба не стала ни на золотникъ легче отъ всѣхъ этихъ красивыхъ сильныхъ словъ. Наше право въ жизни не выросло ни на волосъ отъ того, что „мы декретируемъ естественныя и абсолютныя права человѣка“. Она, какъ вчера, безконечно жестока, эта борьба—

борьба голодныхъ, униженныхъ и холодныхъ за кусокъ хлѣба, за здоровье своего ребенка, за честь дочери.

Герцена въ свое время безъ конца поразилъ разсказъ о мальчикѣ 10 лѣтъ, который бросился въ рѣку, чтобы утопиться, потому что видѣлъ, какъ надрываются его отецъ и мать, не зная, чѣмъ прокормить семью. Бѣдняжка хотѣлъ имъ облегчить заботу. Десятки такихъ же (по существу) фактовъ печатаются у насъ ежедневно въ газетной хроникѣ мелкимъ шрифтомъ. Мудрая мысль не забываетъ о нихъ. Весь трагизмъ, весь ужасъ и всю тяготу такого соціальнаго груза носитъ она въ себѣ.

„Свободу", „автономію", „цѣнность въ себѣ" личности обосновать не трудно. Съ такими словами какъ „Богъ", „безсмертіе души". „нравственная сущность" это ровно ничего не стоитъ сдѣлать, между прочимъ и потому, что это давнымъ-давно сдѣлано. И повтореніе всего этого не мудрость, а только указаніе, что мы переросли архаическія формы нашей государственной и экономической жизни.

Мудрой можно назвать лишь ту мысль, которая впитала въ себя всю тяготу соціальной борьбы, весь трагизмъ жизни... И теперь я обращаюсь къ ней.

13. Идея необходимости. Марксизмъ.

„Наибольшую вѣру въ свою силу, говоритъ о марксизмѣ С. Н. Булгаковъ, проявило одно соціологическое ученіе, вызвавши къ себѣ наибольшій энтузіазмъ и по сіе время составляющее вѣроисповѣданіе многихъ милліоновъ людей,—ученіе Маркса и Энгельса, теорія научнаго соціализма. Это ученіе хотѣло доказать данными научнаго опыта неизбѣжность наступленія соціалистическаго способа производства, составляющаго вмѣстѣ съ тѣмъ и идеалъ современнаго человѣчества; насколько оно касается будущаго, это ученіе представляетъ очень типичный и наиболѣе яркій примѣръ теодицеи, т. е. раскрытія высшаго разума, высшей цѣлесообразности въ ходѣ переживаемой человѣчествомъ экономической эволюціи".

Марксизмъ это научная теорія и соціальная система въ одно и то же время. Это крайнее западничество и культъ[145]) массы. Но

[145]) „Культъ"—это, разумѣется, напрасно. Марксизмъ, рабочій вопросъ—лишь историческія истины, т. е. такія, которыя способны организовать людей. Организующая роль—главная роль историческихъ истинъ. Надо еще отмѣтить, что полное невниманіе къ мужику—ошибка. Это было хорошо, какъ реакція противъ народничества. Но палку слишкомъ перегнули въ другую сторону. Она выпрямится, это несомнѣнно.

это не та масса, передъ которой преклонялась народническая интеллигенція 60-хъ и 70-хъ годовъ, не народъ-земледѣлецъ, а весь русскій пролетаріатъ. Это культъ въ значительной степени романтическій, предполагающій въ предметѣ своего поклоненія все лучшее, свѣтлое и прекрасное, что можетъ быть въ человѣкѣ вообще. Пролетаріатъ долженъ перѣсоздать нашу религію, нравственность, искусство, наше общежитіе и пріемы мышленія. Упразднивъ продажное, живущее законами спроса и предложенія, погрязшее въ борьбѣ за существованіе и борьбѣ за славу, признающее лишь право сильнаго буржуазное общество,—пролетаріатъ образуетъ свое, основанное на принципѣ безкорыстія. Въ немъ, этомъ новомъ пролетарскомъ обществѣ всякій человѣкъ получаетъ полную возможность проявленія своихъ силъ и способностей, всѣ выработанныя техникой наилучшія условія для ихъ развитія, полную поддержку со стороны своихъ ближнихъ, организованныхъ въ свободную ассоціацію трудящихся. Творчество человѣка станетъ свободнымъ, потому что никакіе корыстные мотивы не будутъ примѣшиваться къ нему, и ему не зачѣмъ тогда итти на торжище и рынокъ. Освобожденный отъ оковъ деспотизма, соблазновъ и всѣхъ эгоистическихъ и человѣконенавистническихъ чувствъ, связанныхъ съ правомъ и обычаемъ собственности, избавленный отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ и отъ всѣхъ матеріальныхъ заботъ о себѣ и своихъ близкихъ, человѣкъ всѣ свои силы, всю жажду развитія, господства, славы перенесетъ исключительно въ сферу духовныхъ цѣнностей. Тогда новые боги, новое искуство, новая религія и нравственность, и все это не только свободное, но и безкорыстное по самому существу своему. Тогда новое христіанство, какъ братство и единеніе людей, но безъ наградъ и наказаній на небесахъ, новое творчество, не отравленное не только подчиненіемъ рынку, но и близостью къ нему.

Этотъ новый культъ пролетаріата смѣнилъ собой старый культъ народа-земледѣльца, которымъ русская интеллигенція жила почти сорокъ лѣтъ.

Марксизмъ претендовалъ въ этой формѣ на роль новой вѣры, новаго подвижничества.

Но и новой науки одинаково. Именно въ научности [146])

---

[146]) Научный Марксизмъ въ отличіе отъ романтическаго (культа пролетарія) есть прежде всего матеріалистическое пониманіе историческаго процесса. „Основнымъ факторомъ общественнаго развитія объявлены производительныя отношенія. Сумма ихъ, по словамъ самого Маркса, составляетъ экономическую структуру общества, реальное основаніе, на которомъ возвышается правовая и политическая надстройка, и которому соотвѣтствуютъ опредѣленныя формы общественнаго сознанія. Не сознаніе опредѣ-

и была главная притягательная сила новаго евангелія, потому что въ теоретическомъ отношеніи наше народничество было оборудовано очень плохо. Оно питалось воспоминаніями о Стенькѣ Разинѣ, утопіями французскаго соціализма, главнымъ образомъ, утопіей Фурье, муками совѣсти кающагося дворянина, ненавистью къ окружающему, обманчивыми иллюзіями, которыя создавались существованіемъ въ народѣ общины, артелей, міра, и нѣкоторыми другими остатками первобытнаго коммунизма. Фундаментомъ марксизма была наука.

Идею и культъ мужика марксизмъ замѣнилъ идеей и культомъ пролетарія. Научная же сторона его теоріи если не отвѣчала на вопросъ, каковъ будетъ пролетарій, то доказывала всю роковую неизбѣжность наступленія его эры и всю чисто даже матеріальную несправедливость устройства современнаго буржуазнаго общества, которое путемъ естественнаго развитія противорѣчій сойдетъ на нѣтъ.

Несомнѣнно, что во многихъ и многихъ отношеніяхъ марксизмъ оказался старымъ знакомымъ. Элементъ культа массы (хотя уже другой: пролетарской массы) роднилъ его съ прежнимъ „богомъ", народничествомъ, и удовлетворялъ глубокую потребность безкорыстнаго обоготворенія, которая таится въ сердечныхъ глубинахъ нашей интеллигенціи. „Капиталъ" Маркса много лѣтъ пользовался огромнымъ уваженіемъ и авторитетомъ. Городской пролетарій, одинаково, не былъ какимъ-нибудь новымъ открытіемъ: о немъ говорили, на него разсчитывали уже давно, хотя все это и дѣлалось въ большей или меньшей степени случайно. Новой оказалась даже не научная теорія, провидѣвшая наступленіе пролетарской эры, а лишь примѣненіе этой теоріи къ русской жизни [147]).

Благодаря „марсистскому теченію мысли", выяснилось, что Россія

ляетъ формы ихъ бытія, но, напротивъ, общественное бытіе опредѣляетъ форму ихъ сознанія". „Каждый классъ общества представляетъ собою извѣстные, опредѣленные экономическіе интересы. Такъ: дворянство интересы земледѣлія, буржуазія—торговаго и промышленнаго капитала, пролетаріатъ—справедливаго распредѣленія и т. д. Борьба классовъ—смыслъ и ферментъ историческаго процесса. Марксъ доказываетъ, что тенденція общественнаго развитія—пройти черезъ эру образованія и господства крупнаго капитала, чтобы воплотиться въ форму пролетарской общественности. Къ образованію этой же пролетарской общественности стремятся и всѣ высшіе духовные интересы человѣчества".

[147]) Любопытно, что еще въ 60-хъ годахъ высказывались какъ программныя такія мысли: „экономическій бытъ народовъ былъ всегда краеугольнымъ камнемъ и заключалъ въ себѣ настоящее объясненіе ихъ политическаго существованія". Въ разныхъ видахъ эта мысль повторяется постоянно въ теченіе всего народническаго періода литературы. Такимъ образомъ, и экономическій матеріализмъ теоріи Маркса былъ старымъ знакомымъ.

переживаетъ фазисъ капиталистическаго развитія, что наше общество буржуазно, что интересы рынка и собственности играютъ въ немъ первенствующую роль, что крестьянское царство быстро разслаивается на пролетаріатъ и мѣщанство.

Выяснилось дальше, что путь нашего экономическаго развитія въ своихъ главныхъ крупныхъ штрихахъ параллеленъ западно-европейскому и представляетъ полную его аналогію, особенно поразительную при сопоставленіи съ Германіей.

Духовное родство марксизма съ народничествомъ обезпечило ему быстрый успѣхъ, тѣмъ болѣе что наступившаго уже у насъ господства капиталистической эры, хотя бы примитивной, мало культурной и преимущественно хищнической, не видѣли развѣ слѣпые или упрямые догматики. Какъ и народничество, марксизмъ привлекъ насъ прежде всего своимъ этическимъ смысломъ. Онъ говорилъ о массѣ, объ ужасѣ ея положенія, о чисто матеріальной [148]) несправедливости въ распоряженіи ея трудомъ и силами, онъ взывалъ къ чести и совѣсти; кромѣ того, строилъ свою мечту, свой воздушный замокъ на каменномъ фундаментѣ науки. Онъ говорилъ: такъ будетъ, потому что иначе не можетъ и быть. Онъ, такимъ образомъ, первый нашелъ и указалъ связь между высшими стремленіями человѣка и тенденціями мірового развитія.

Блестящая полемика марксистовъ съ народниками доставила марксизму широкую популярность, славу и даже, что конечно лишнее, сдѣлало его моднымъ.

Эта полемика, дѣйствительно замѣчательная, историческая, встряхнувшая всю русскую мысль, вызывалась, однако, не существомъ дѣла, а лишь формой его. Надо было оторвать интеллигентную мысль *не отъ массы*, а отъ *фетишей*, созданныхъ преклоненіемъ передъ устоями крестьянской общино-земледѣльческой жизни, надо было развѣнчать общину, артель, міръ, хотя процессъ этого развѣнчанія былъ едва ли не начатъ и даже совершенъ самими же народниками; надо было доказать, что общинный строй мужицкой жизни не имѣетъ ничего общаго съ коммунизмомъ, что нашъ мужикъ есть мѣщанинъ и буржуй въ дубленомъ тулупѣ или общественное стадное животное, а никакъ не коммунистъ, не фаланстеріанецъ и не святой, сошедшій съ иконъ.

Послѣ работы, сдѣланной въ этомъ направленіи самими народниками (особенно Г. Успенскимъ), марксисты легко справились со своей задачей. Фетиши народничества, давно уже пришедшіе въ ветхость, пали.

Самая блестящая, эффектная и плодотворная часть марксистской задачи была исполнена, повторяю, съ тѣмъ большей легкостью и быстро-

---

[148]) Т. н. теорія прибавочной стоимости.

той, что народничество, съ которымъ боролись, было уже разложившимся ученіемъ, пережившимъ самого себя, и напоминаю заржавѣвшіе рыцарскіе доспѣхи, валявшіеся среди всякаго мѣщанскаго и культурническаго хлама,—легенду, уже утерявшую свой живой духъ, а его представители, въ большинствѣ случаевъ лишь бывшіе оруженосцы, пажи и лакеи настоящихъ главарей, давнымъ-давно разстались съ истинными принципами народничества и занимались мелкой благотворительностью въ отношеніи народа, повтореніемъ задовъ Добролюбова и Чернышевскаго, умиленіемъ передъ кротостью тамбовскаго мужичка и добродѣтелью орловскаго.

Надо признаться, что марксизмъ послѣ побѣды надъ дряхлыми фетишами народничества оказался не на высотѣ положенія. Правда, много и много мѣшали ему внѣшнія обстоятельства (напр., закрытіе „Новаго слова“, „Начала“ и „Жизни“), но и самъ онъ какъ-то быстро раскисъ и заразился духомъ мѣщанскаго самодовольства. Лучшія силы его ушли въ жизнь, въ практическую дѣятельность; тѣ же, что остались въ журналистикѣ, занялись „семейно-литературной перепиской о рынкахъ“, а многіе быстро подпали подъ вліяніе пошлаго и сытаго ученія Бернштейна.

Духъ пролетарскаго мессіанизма оказался не по плечу текущей журналистикѣ. Въ литературномъ смыслѣ слова онъ не создалъ ничего. Великая идея безкорыстнаго общежитія, безкорыстнаго творчества не оставила послѣ себя ни одного замѣтнаго слѣда въ художественномъ словѣ.

Зато очень усердно занялись критикой и сочиненіемъ всякихъ „антиномій“. Это льстило самолюбію и казалось опять, что начинается новое серьезное дѣло—пересмотръ теоріи Маркса [149]).

Увы, это только казалось! Дѣйствительность выяснила другое: то, что завѣтной мечтой всѣхъ критиковъ, выступающихъ въ журнальной литературѣ, было о п р а в д а н і е м ѣ щ а н с т в а. Къ этому сводилось все. Догматъ марксизма утверждаетъ, что капиталъ не создаетъ никакихъ новыхъ цѣнностей, что всѣ новыя цѣнности создаются трудомъ. „Критика“ заступилась за „обиженный“ капиталъ, признала, что и онъ создаетъ цѣнность, и такимъ образомъ оправдала или пыталась оправдать капитализмъ и капиталистическую общественность.

[149]) Начало этой критики относится еще къ 1899 г. Явились труды Струве, Барановскаго, Бердяева и т. д. Мы имѣемъ право спросить себя: что положительнаго дала намъ эта критика? Пока ничего. Это подтверждается уже тѣмъ фактомъ, что и критики, особенно же гг. Бердяевъ и Струве, каждый день говорятъ намъ, что они находятся еще въ процессѣ выработки своего новаго міросозерцанія. Разъ имъ самимъ не извѣстно, къ чему они придутъ, намъ это извѣстно еще менѣе. Мы видимъ лишь, что изъ класса марксизма съ критикой съ успѣхомъ перешли въ классъ идеализма. Одинъ же изъ нихъ, кромѣ того, проходитъ курсъ дворянскихъ и буржуазныхъ либеральныхъ вожделѣній. См. ниже.

Это обстоятельство показало всѣмъ и каждому, что подъ именемъ марксистовъ были извѣстны самые разнообразные люди. Какъ ученіе модное [151]) и преуспѣвающее, марксизмъ собралъ подъ свои знамена массу людей, не имѣющихъ ничего общаго съ его сущностью. Либеральные дворяне, земцы и друг. тоже увлеклись одно время марксизмомъ, и эти марксистообразные, какъ ихъ называютъ, быстро проявили свою натуру [152]). Ни съ пролетарскимъ романтизмомъ, ни съ великой идеей безкорыстнаго общества, ни тѣмъ болѣе со всякаго рода разрушительными элементами марксизма имъ нечего было дѣлать. Бернштейнъ пришелся имъ по душѣ, онъ успокоилъ ихъ завѣреніемъ, что все спокойно и естественно идетъ къ лучшему, что священному праву собственности не грозитъ катастрофы.

Тѣмъ скорѣе это все случилось, что произошло нѣчто еще болѣе важное и поучительное.

Марксизмъ былъ возрожденіемъ русской общественной мысли, воспитанной духомъ народничества и его идеалами. Онъ явился не просто какъ теорія, а какъ ферментъ, какъ бродильное начало русской мысли вообще, затерявшейся и спустившейся въ безвременье 80-хъ годовъ. Онъ подѣйствовалъ какъ будильникъ, какъ толчекъ, какъ огромная встряска. Всѣхъ, которые безсильно рвались изъ шопота и лепета мысли, изъ

---

[150]) Относительно г. Струве это прочно установленный фактъ. Это именно имѣли въ виду возражавшіе ему гг. Масловъ, Неждановъ, Ильинъ, Карелинъ, В. Л—ъ и Н.—онъ.

[151]) Вспомнимъ, что одно время къ марксизму примыкалъ и покойный „Сѣверный Вѣстникъ", журналъ крикливо-декадентскаго направленія.

[152]) Едва ли можно сомнѣваться теперь, что въ марксизмѣ, на первыхъ порахъ, по крайней мѣрѣ, нашелъ себѣ пристанище и даже воплощеніе нашъ либерализмъ, какъ извѣстно, никогда не пользовавшійся кредитомъ у народниковъ и радикаловъ народническаго толка, и потому, естественно, примкнувшій къ ихъ противнику. Крупный намекъ на это дѣлаетъ г. Струве въ одной изъ послѣднихъ своихъ статей, говоря: „Марксизмъ исполнилъ очень важную задачу: онъ далъ (и неужели въ этомъ можно до сихъ поръ сомнѣваться?) научное объясненіе исторической необходимости капитализма въ Россіи. Такое объясненіе объемлетъ собою и условно историческое оправданіе капитализма. Такимъ образомъ, русскій марксизмъ исполнилъ ту задачу, которая вездѣ въ другихъ странахъ выпадала на долю „либеральной" политической экономіи и при томъ какъ офиціальной науки". Подчеркнутыя мною слова особенно характерны, тѣмъ болѣе, что г. Струве, напр,. пошелъ гораздо далѣе условно историческаго оправданія капитализма. Какъ бы то ни было, марксизмъ, по мнѣнію одного изъ своихъ иниціаторовъ, исполнилъ задачу, выпадавшую въ другихъ странахъ на долю либеральной экономіи. Это, конечно, не простая случайность. Марксизмъ исполнилъ и нѣсколько другихъ чисто либеральныхъ задачъ. Его борьба съ народничествомъ была вмѣстѣ съ тѣмъ борьбой съ пережитками патріархальнаго строя въ крестьянскомъ хозяйствѣ Россіи. Что же удивительнаго, если либералы сочли на первыхъ порахъ марксизмъ своимъ?

атмосферы наглаго самохвальства, созданной новаторами вродѣ Волынскаго, изъ компаніи кривлявшихся декадентовъ, марксизмъ, какъ серьезная и глубокая мысль внесенная въ нашу литературно-общественную жизнь, ободрилъ и увлекъ за собой, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ. Подъ его знаменемъ соединились люди самые разнообразные—культурники, либералы, индивидуалисты. Полемику, которую марксизмъ велъ сразу на два фронта и съ общими условіями, и съ фетишами народничества, позволяла быть вмѣстѣ людямъ, у которыхъ очень мало общаго. Марксизмъ, повторяю, это идея борющагося пролетаріата, сознавшаго свою общественную роль; что, кромѣ случайнаго и временнаго, можетъ быть у него общаго съ либералами и индивидуалистами?

Но и случайный союзъ оказался очень полезнымъ для людей двухъ послѣднихъ категорій. Они погрѣлись и пріободрились у разведеннаго огня. Они позаимствовали кое-что изъ одушевленія настоящихъ представителей новой идеи. Видя около себя смѣлую, бодрую и умную переоцѣнку народническихъ цѣнностей, они сами стали бодрѣе и умнѣе. Фетиши народничества перестали ихъ смущать. Они прекрасно поняли, что возвращеніе къ идеямъ 70-хъ годовъ совершенно невозможно уже, что смѣшно въ вѣкъ скорострѣльнаго оружія надѣвать на себя желѣзныя рыцарскія латы, что зоологическимъ принципамъ русской земледѣльческой общины нечего дѣлать въ вѣкъ кооперацій, въ вѣкъ пробудившагося сословнаго самосознанія.

Изъ марксистскаго Sturm und Drang'а выдѣлился либерализмъ и индивидуализмъ. Либерализмъ со своими надеждами на заложенное и перезаложенное во всѣхъ кассахъ ссудъ, частныхъ и государственныхъ ломбардахъ дворянство, на земство и городскія думы, въ девяти десятыхъ состоящихъ изъ хищниковъ, и индивидуализмъ, какъ общее теченіе.

Выше я говорилъ подробнѣе объ индивидуализмѣ; пока же замѣчу, что, освободивъ его отъ послѣдняго смущенія передъ великимъ мертвецомъ—народничествомъ, марксизмъ нашелъ въ немъ, однако, самаго сильнаго своего врага.

Иначе не могло и быть. Марксизмъ—это культъ массы, при извѣстныхъ обстоятельствахъ это подвижничество, это религія, или лучше сказать, первые штрихи религіи пролетаріата, первые заповѣди его—если и можетъ удовлетворить запросы личнаго самосознанія, то лишь въ высшемъ своемъ философскомъ выраженіи, а не тѣмъ нищенски-доктринерскомъ, которое ему дали мандарины. Но этого высшаго философскаго своего выраженія русскій марксизмъ не далъ.

Ни своего отношенія къ теоріи познанія, ни своего отношенія къ вопросамъ о свободѣ и необходимости, роли личности въ исторіи, т. е.

самымъ дорогимъ для личности вопросамъ, марксизмъ не выяснилъ. Онъ ушелъ въ „семейно-литературную переписку о рынкахъ", которая хотя ничего о рынкахъ не сказала новаго, но раскрыла мѣщанскую, либеральную натуру нѣкоторыхъ вождей.

Не сосчитавшись съ индивидуализмомъ, не удовлетворивъ его запросы, марксизмъ самъ подготовилъ неизбѣжную реакцію противъ себя. Быстрые полемическіе успѣхи вскружили ему голову; вмѣсто того, чтобы итти дальше въ томъ же направленіи, онъ остановился на первыхъ же шагахъ и попытался вылиться въ доктрину, въ катехизисъ,—узкую и неправильную, какъ всѣ доктрины и катехизисы вообще. Духъ его творческой, миссіонерской мысли оказался слишкомъ слабъ пока. Онъ не увлекся, едва ли даже понялъ во всей ея полнотѣ великую предстоявшую ему задачу—переоцѣнить всѣ общественно-философскія, религіозныя и нравственныя, всѣ политическія цѣнности съ точки зрѣнія пролетаріата и ввести индивидуализмъ въ русло пролетарской мысли.

Марксизмъ далъ идею необходимости. Онъ выяснилъ намъ экономическую эволюцію какъ слѣпую, стихійную, развивающуюся сообразно своимъ законамъ, а не желаніямъ русской интеллигенціи. Суть не въ желаніи, а въ состояніи производительныхъ силъ, въ соотношеніи силъ разныхъ общественныхъ классовъ. Не статьи „Отечественныхъ Зап.", какъ думалъ Михайловскій, могутъ помѣшать русской буржуазіи съѣсть русскій народъ, а равная ей общественная сила.

Если отбросить въ сторону сантиментальность и лицемѣріе, взглянуть дѣйствительности прямо въ глаза, какъ она есть, придется признать, что право есть сила, и что только сила даетъ право.

Кто хочетъ имѣть права, долженъ имѣть достаточно силы не только для того, чтобы пріобрѣсти ихъ, но и чтобы защищать. Ни о какомъ естественномъ правѣ не можетъ быть рѣчи въ нашей жизни. Американскій tramp, англійскій пролетарій, русскій батракъ могутъ одинаково сказать, что такое естественное право человѣка.

„А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы имѣть право на слово", сказалъ Ламене народу послѣ іюльскихъ дней. И въ этихъ словахъ старая какъ міръ, всегда забываемая, впрочемъ, истина...

Насъ оскорбляютъ такія формулы, слишкомъ рѣзкія для дней, привыкшихъ слышать отъ народниковъ, что не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ; но—что дѣлать?.. Крестьяне были освобождены не добрыми пожеланіями нашихъ добрыхъ баръ, а принудительной силой государственнаго и экономическаго развитія. Кому надо побѣдить нашъ капи-

тализмъ, тотъ долженъ быть сильнѣе его знаніемъ, и организаціей, и волей.

По ученію Маркса, капитализмъ это необходимость такая же стихійная, независящая отъ воли человѣка и людей, какъ смѣна однихъ геологическихъ пластовъ другими. Онъ не вѣченъ, разумѣется, онъ только „историческая категорія", общественная формація, потому что рядомъ съ нимъ растетъ и развивается его противорѣчіе—рабочее сословіе [153]).

14. Л. Андреевъ.

Слишкомъ легко говорить о своей свободѣ и автономіи, уцѣпившись за фалды или рясу „Абсолюта". Но, повторяю, нѣтъ мудрости въ той мысли, которая не побывала „на днѣ" жизни, не поняла всего ужаса дѣйствительности, ея трагизма, не хочетъ понять, по крайней мѣрѣ.

Мудра мысль Толстого, когда онъ говоритъ:

„Не можетъ быть того, что въ обществѣ людей, связанныхъ между собою, было бы хорошо однимъ, другимъ худо. Въ особенности же не можетъ этого быть, если худо большинству. Хорошо же всѣмъ можетъ быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на которомъ держится общество".

Одинаково мудра его мысль, когда онъ говоритъ о рабствѣ людей или разсказываетъ хорошенькія сказки о томъ, какъ Богъ нѣсколько разъ вмѣшивался въ жизнь людей, но, увидѣвъ, что жизнь отъ этого все хуже, предоставилъ ихъ, наконецъ, самимъ себѣ. Но едва ли мудръ онъ, увѣряя, что „стоитъ только людямъ захотѣть", или „стоитъ только людямъ повѣрить", какъ все будетъ хорошо. Эти „стоитъ захотѣть" и „стоитъ повѣрить" едва ли многаго стоятъ.

Мудръ М. Горькій своимъ „На днѣ", этой такой же чудовищно-великолѣпной картиной для нашихъ дней, какой былъ „Адъ" для людей XIII в. Другіе, наши „грѣшники" на сценѣ—нищіе, жертвы человѣческой злобы, жертвы своего безсилія или своихъ надорванныхъ силъ, но и здѣсь, какъ у Данте, „выхода нѣтъ". Блуждающими огоньками свѣтитъ религія, мечты, самообманъ, и при ихъ мерцаніи люди гибнутъ, падая въ какую-то пропасть тяжелыми тѣнями. Чудовищно-великолѣпная картина, и—безпощадный приговоръ.

Мудра мысль Л. Андреева, полная ужаса передъ жизнью.

---

[153]) У капиталиста и другой врагъ—в ы р о ж д е н і е. Но это такъ далеко отъ литературы, что останавливаться не стану.

Его герои—одинокіе люди. Его идея—трагическое столкновеніе личности со стихіей и той ложью, которую внесъ (какъ только могъ и умѣлъ) въ жизнь этой стихіи человѣкъ.

Между прочимъ у него есть разсказъ, который такъ и называется „Стѣна". Стѣна, конечно, символическая. Это то непреодолимое препятствіе, черезъ которое людямъ не перешагнуть. Она вся въ крови, возлѣ нея ползаютъ прокаженные, на нее карабкаются вѣка и народы. Но стѣна попрежнему неподвижна и крѣпка, точно изъ желѣза. Все новые холмы труповъ будутъ расти возлѣ нея.

Чѣмъ-то безконечно несчастнымъ представляется Андрееву человѣкъ, чѣмъ-то безумнымъ его иллюзія свободы. Андреевъ похожъ на извѣстнаго и страннаго скульптора Бьегаса. Тотъ одинаково любитъ лѣпить всякихъ чудовищъ. Эти чудовища огромны, страшны и уродливы, какъ божества дикихъ народовъ, питавшіяся человѣческими жертвами. Они безмѣрны по сравненію съ людьми до такой степени, что, быть можетъ, такъ же не замѣчаютъ ихъ, какъ мы не замѣчаемъ микробовъ. Человѣкъ для Бьегаса что-то дрожащее, робкое, напуганное, завертѣвшееся въ вихрѣ міровданія, окруженное тайными, его непонимающими, ему чуждыми стихіями. Между прочимъ, у него есть великолѣпная скульптура „Книга жизни". Вы видите передъ собою огромную, безстрастную фигуру—мужчины или женщины, неизвѣстно,—которая своими чудовищными кулачищами уперлась въ страницы раскрытой передъ ней книги. Въ этой книгѣ должно быть все самое нужное, самое дорогое для человѣка, какая-нибудь разгадка, которая сдѣлала бы его великимъ и счастливымъ. Но на каменномъ лицѣ чудовища слишкомъ ясно сказано, что оно никогда не отпуститъ своихъ кулаковъ, и человѣкъ никогда не узнаетъ этого самаго нужнаго ему и дорогого. И вообще отъ всей скульптуры вѣетъ безпощадностью, отчаяніемъ, ужасомъ смерти.

Страшную и своеобразную область отмежевалъ себѣ Андреевъ. Его главный мотивъ—одиночество человѣка. Люди, даже самые близкіе, живутъ, не понимая другъ друга, не способные раскрыть свои души и высказаться. Между ними стѣны.

Но есть нѣчто и еще болѣе страшное. Порою, когда герои Андреева чувствуютъ себя особенно свободными и могучими, оказывается, что здѣсь-то, въ этотъ-то моментъ они самые ничтожные и раздавленные. Даже еще проще—они сумасшедшіе. Свобода обращается въ иллюзію, въ трагическую насмѣшку надъ человѣкомъ...

Красива и глубока повѣсть Андреева объ отцѣ Ѳивейскомъ. Это былъ какой-то несчастный человѣкъ, на котораго одна бѣда сыпалась за другой. И случилось дѣйствительно страшное: утонулъ единственный сынъ Ѳивейскаго. Матушка затосковала, запила и, вновь зачавши пьяная и

безумная, родила идіота. Маленькое, злое чудовище вносило въ домъ ужасъ и несчастіе. Какъ-то въ лѣтнюю страду, когда самъ Ѳивейскій работалъ въ полѣ, а матушка валялась пьяная, случился пожаръ. Все сгорѣло, кромѣ идіота. И все же Ѳивейскій, прощаясь со своей умирающей обугленной женой, твердилъ какъ раньше: „вѣрую, Господи". Онъ вѣровалъ съ глубиной и страстью отчаянія, которое уже переходило въ безуміе. И по мѣрѣ того, какъ росло безуміе, росла и вѣра Ѳивейскаго. Духъ его бушевалъ и какъ бы вихремъ носился надъ жизнью. Однажды, отпѣвая покойника, Ѳивейскій почувствовалъ себя особенно восторженнымъ, радостнымъ и сильнымъ. Онъ служилъ такъ, какъ бы отливалъ въ скрижали прочитанныя молитвы. И вѣра его возносилась все выше, достигла самаго неба, и тогда Ѳивейскій, наклонясь къ мертвецу, сказалъ ему: „встань". Но мертвецъ не всталъ. Онъ только выпалъ изъ гроба, потрясеннаго безумцемъ. Всѣ разбѣжались въ ужасѣ, и Ѳивейскому показалось, что небо упало на землю, что все разлетѣлось на куски, вдребезги. Совсѣмъ овладѣвъ имъ, безуміе убило его тутъ же на мѣстѣ.

Есть въ томъ разсказѣ эпизодъ, освѣщающій идею. Единственный человѣкъ, облагодѣтельствованный Ѳивейскимъ, мужикъ Мартынъ, всю жизнь голодавшій, поступилъ наконецъ въ работники на хорошее, сытное мѣсто. Отъѣлся и повеселѣлъ. То же и семья.Но тутъ же пришлось Мартыну ѣхать за пескомъ. Сытый, веселый онъ неосторожно сталъ подкапывать край оврага, и земля обрушилась на него и задавила его на мѣстѣ.

Случай? Да. Но и на отца Ѳивейскаго все время падаютъ одно несчастіе за другимъ. Опять случай? Да случай, рокъ, стихія... Ѳивейскій, очевидно, во власти силы, которая противъ него. Потомъ матушка стала страдать з а п о е м ъ. Новая стихійная сила на сценѣ. Сынъ родился идіотомъ. То же самое...

Гдѣ же с а м ъ человѣкъ? Онъ-то что можетъ сдѣлать? Ѳивейскій и послѣ смерти сына и послѣ смерти жены—единственнаго человѣка, который понималъ и любилъ его,—твердитъ: „вѣрую, Господи"... Но ему въ эти минуты надо еще твердить „вѣрую", убѣждать себя въ этомъ. Наконецъ, онъ повѣрилъ, совсѣмъ повѣрилъ... до безумія. И сказалъ горѣ, чтобы сошла и приблизилась. Но гора осталась на мѣстѣ.

Вотъ мотивы Андреевскаго творчества, здѣсь вмѣстѣ собранные. И полное одиночество хорошаго добраго человѣка среди людей, земныхъ братьевъ его, и чудовищная власть враждебныхъ человѣку стихій (запой, идіотизмъ, случай, безуміе), моментъ великаго свѣта въ душѣ, моментъ сознанія себя свободнымъ, всемогущимъ, моментъ полнаго, страстнаго сліянія съ божествомъ...

И этотъ моментъ—с у м а с ш е с т в і е.

О, какъ понятенъ этотъ ужасъ Андреева! Чѣмъ выше личность въ своихъ собственныхъ глазахъ, чѣмъ чутче она, нервнѣе, чѣмъ настойчивѣе только въ себѣ самой ищетъ она опоры, оправданія, санкціи,—тѣмъ яснѣе для нея трагизмъ жизни, тѣмъ неумолимѣе стихія.

Вы помните, какъ благополучно думали на этотъ счетъ 60-е годы. Они смотрѣли не только на человѣка, но и на страну, на народъ, какъ на чистую страницу, гдѣ можно написать любые законы, любыя правила поведенія. Стихія жизни прошлаго не значила н и ч е г о. Разумъ русскаго гражданина 60-хъ годовъ считался достаточнымъ, чтобы преодолѣть всѣ предразсудки.

Современная мысль не можетъ быть легковѣрной. Она помнитъ формулу Маркса, что „мертвые управляютъ живыми". Она не можетъ разсматривать эволюцію человѣчества внѣ эволюціи вселенной, человѣка внѣ природы, настоящее независимо отъ прошлаго, мысль внѣ экономическихъ условій, ее опредѣляющихъ и создающихъ.

Современная мысль считаетъ монизмъ для себя нужнымъ. Она не хочетъ больше путаться въ вѣчномъ противорѣчіи тѣла и духа, земли и неба, добра и зла. Она хочетъ единства, своей философской концепціи, чтобы не ослаблялась воля. Но всѣ мертвецы христіанской Европы за дуализмъ, за этотъ расколъ внутри человѣка, за духъ противъ тѣла, за добро противъ зла, за небо противъ земли, за аскетизмъ противъ радости, добродѣтель противъ грѣха, за жизнь для будущаго вмѣсто единственно возможной—жизни для настоящаго.

„Мертвецы управляютъ, а мы повинуемся, говоритъ Анатоль Франсъ.—Наши господа это тѣ, кто лежитъ на кладбищѣ. Вотъ могила законодателя, сочинившаго законъ, который я сегодня еще исполняю; вотъ скелетъ архитектора, построившаго мнѣ домъ, поэта, создавшаго фантастическіе, все еще волнующіе меня образы, оратора, убѣдившаго насъ еще до нашего рожденія. Вотъ авторы нашихъ знаній, вѣрныхъ или невѣрныхъ, нашей мудрости, нашихъ заблужденій. Кладбище это огромный аккумуляторъ всякаго рода властныхъ внушеній... Въ нихъ сила, послѣдовательность и продолжительность. Что такое наша воля въ теченіе одного дня передъ ихъ тысячелѣтнею волею..."

Самое тяжелое и грузное, что есть въ жизни людей,—ея экономическая сторона внѣ контроля и внѣ организаціи. Она управляетъ людьми, а не люди ею.

Да, говорю я, понятенъ ужасъ Андреева, тотъ пессимизмъ его, о которомъ такъ много уже наговорено. Они—реакція человѣка на часто мо-

гильное молчаніе жизни. То раздраженный и негодующій, то какъ бы уставшій, онъ слышится даже у Ницше, чей страстный призывъ къ обновленію жизни такъ часто смѣняется безнадежной скукой при мысли о томъ, что наша земная жизнь, вся наша „земля“ со всѣми ея муками и нелѣпостями уже повторялась безчисленные разы, слово за словомъ и строка за строкой, въ прошлой исторіи міроздания и еще тѣ же безчисленные разы повторитъ себя въ будущемъ.

Но я не стану углубляться въ эти вопросы, тѣмъ болѣе, что всякій понимаетъ, что дѣло здѣсь не въ характеристикѣ Андреева, а лишь въ указаніи нѣкоторыхъ сторонъ его творчества.

Пусть несомнѣненъ его ужасъ жизни, пусть прямо изъ сердца вырвался страшный вопль прокаженнаго, обращенный къ жизни: „убійца! отдай мнѣ самого себя“, пусть заключительныя слова „Стѣны“: „горе... горе... горе!“ заключительныя слова и всего міросозерцанія Андреева,— все же нельзя забывать его отношенія и къ нашей обыденной жизни, его тоски о нашемъ рабствѣ, тѣхъ нѣжныхъ и „влюбленныхъ“ словъ, какими онъ говоритъ о человѣкѣ, хотя бы на минуту только глотнувшемъ свѣжаго воздуха. Всѣмъ нуженъ этотъ глотокъ свѣжаго воздуха, мечта (или пѣснь) о свободѣ, оргіазмъ борьбы, и безконечно лучше выходъ въ „темную даль“, чѣмъ входъ сюда въ это царство нелѣпаго, пошлаго и общепринятаго. „Обычная“ мораль развѣ это не тѣ же цѣпи и колодки, въ которой забивается свободное влеченіе человѣческой природы, и она, пусть малая, но и великая въ своемъ порывѣ къ недостижимому, выходитъ изъ нихъ запуганная, оробѣвшая и развращенная привычкой ко лжи и лицемѣрію...

Всѣ городовые и сыщики нашей литературы, „охраняющіе“ добродѣтель, и разныя старыя бабы набросились какъ-то на Андреева за его разсказъ „Въ туманѣ“. Я остановлюсь на немъ, ибо въ немъ многое характерное для отношенія автора къ нашему соціальному „строю“. Здѣсь та же излюбленная тема объ одиночествѣ человѣка въ мірѣ, въ обществѣ, семьѣ.

Въ свое время мнѣ много приходилось говорить объ одиночествѣ героевъ Андреева.

Тотъ же трагизмъ одиночества въ жизни Павла Рыбакова (героя „Въ туманѣ“), трагизмъ еще болѣе ужасный, потому, что всю тяжесть и проклятіе его приходится выносить мальчику, только что начавшему жить. Съ внѣшней стороны все обстоитъ благополучно. Отецъ, мать и сестра окружаютъ его и даже любятъ по своему, насколько вообще способны любить эти легковѣсные люди. Но въ критическую минуту жизни онъ ни съ кѣмъ не можетъ быть откровененъ. Его мать, свѣтская дама, вся ушла въ визиты и пріемы, и все, что относится къ глубинамъ внут-

ренней жизни дѣтей, нисколько ее не интересуетъ, или, лучше, простотаки недоступно ея пониманію. Отецъ, умный, блестящій дѣлецъ, слишкомъ занятый, чтобы удѣлить сыну много вниманія и добиться его дружбы и довѣрія, живетъ постоянно внѣ дома и дому своему онъ чужой. Благодаря этому, въ семьѣ Рыбаковыхъ царятъ не любовь, не дружба, а только приличіе. О, да! Тамъ дѣйствительно все до послѣдней степени прилично. Никто не позволитъ себѣ войти въ комнату Павла, не постучавшись предварительно, или заглянуть безъ разрѣшенія въ книгу, которую онъ читаетъ, дневникъ, который онъ ведетъ. Горячаго или браннаго слова здѣсь не услышишь. За завтракомъ и обѣдомъ семья вмѣстѣ, и всѣ держатъ себя, какъ за приличнымъ табльд'отомъ первоклассной гостиницы. Въ комнатѣ сына отецъ держитъ себя и разговариваетъ такъ, какъ будто онъ сидѣлъ въ гостиной у почетныхъ людей и занималъ ихъ почтенными разговорами о почтенныхъ вещахъ. Приличіе, выдержка, свѣтскость сковали всю жизнь этой семьи мертвымъ сномъ. И въ этомъ огромное зло. Никто, конечно, не споритъ, что приличіе слѣдуетъ соблюдать и въ семейныхъ отношеніяхъ и, чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Но тамъ, гдѣ все основано на приличіи, тамъ уже не кровный союзъ, предполагающій прочную, способную выдержать самыя тяжелыя испытанія связь между ея членами, и значитъ, и горячія чувства, и любовь, и полное довѣріе. Приличіе только тамъ можетъ управлять отношеніями людей, гдѣ эти отношенія формальны и случайны.

Изъ того, что отецъ стѣсняется и всячески избѣгаетъ задать сыну тревожащій его вопросъ, и въ томъ, что сынъ одинаково стѣсняется раскрыть передъ отцомъ свой страхъ, свое отчаяніе и муки, вы видите, что установившіяся между родителями и дѣтьми отношенія, приличія совсѣмъ не соотвѣтствуютъ извѣстному назначенію семьи—быть поддержкой, товарищемъ и другомъ человѣка, каковъ бы онъ ни былъ, въ какихъ бы ужасныхъ обстоятельствахъ и бѣдахъ ни очутился онъ.

Живому мальчику Павлу душно и невыносимо въ такой обстановкѣ, тѣмъ болѣе, что онъ какъ разъ переживаетъ критическій возрастъ. Тутъ мало того, что въ юношѣ пробуждается мужчина, тутъ человѣка начинаютъ осаждать всякіе неизбѣжные въ наше время проклятые вопросы, слѣдъ которыхъ мы находимъ въ дневникѣ Павла. Онъ самъ смущенъ и растерянъ тѣмъ, что странную, фантастическую и пугающую роль въ его жизни начинаетъ играть „женщина“, что онъ пересталъ быть ребенкомъ, вышелъ изъ зачарованнаго круга своего дѣтскаго эгоизма, изъ сказочнаго царства игрушечныхъ интересовъ, и вдругъ передъ нимъ открылся широкій Божій міръ съ невыразимо сложными взаимными отношеніями людей, среди которыхъ онъ долженъ опредѣлить свою роль и мѣсто.

Приличная семья, въ лицѣ отца, по крайней мѣрѣ, видитъ, что съ

Павломъ творится что-то неладное, но дѣлаетъ единственное, что возможно для приличной семьи: оставляетъ его одного и въ покоѣ. И когда онъ захворалъ, когда по невѣдѣнію счелъ себя безнадежно загрязненнымъ и погибшимъ, продолжается все то же самое. Это что-то поистинѣ ужасное и отвратительное. Тутъ за перегородкой лежитъ страдающій человѣкъ, и не просто даже человѣкъ, а родной сынъ, но до него какъ будто никому нѣтъ никакого дѣла. Мать заглядываетъ къ нему между двумя визитами, чтобы справиться объ его здоровьѣ, показать ему, какая она все еще молодая и красивая, и дать ему поцѣловать свою выхоленную руку. Забѣгаетъ сестренка, но ея милый дѣтскій лепетъ для Павла—далекое прошлое, золотой сонъ минувшихъ дней, отъ которыхъ онъ навсегда отдѣленъ своею грязью и развратомъ и болѣзнью. Отецъ знаетъ если не все, то кое-что. Случайно попадается ему въ руки клочекъ бумаги, утерянный Павломъ, съ гадкимъ рисункомъ. Этотъ рисунокъ открываетъ отцу глаза на многое. Онъ бы и хотѣлъ помочь сыну, но откровенный разговоръ возбуждаетъ въ немъ стѣсненіе и брезгливость. Чужимъ людямъ вообще не о чемъ откровенно говорить другъ съ другомъ, пожалуй, что и не надо. А болѣе прочная семейная связь давно уже утеряна, и отецъ, повторяю, не находитъ въ критическую минуту нужныхъ словъ. Онъ говоритъ много и долго, говоритъ красиво. Конечно, въ гостиной его заслушались бы. Но все это ненужное для Павла; все это изъ умной книги, а не изъ чуткаго человѣческаго сердца.

Передъ нами, такимъ образомъ, новая трагедія одиночества, по смыслу совершенно такая же, какъ въ „Разсказѣ о Сергѣѣ Петровичѣ“, „Молчаніи“, „Мысли“,—трагедія, опять разрѣшившаяся самоубійствомъ. И говорить объ этомъ важно не только потому, что для художника важно хорошо говорить обо всемъ, что происходитъ въ жизни человѣка, но еще и потому, что тотъ с р е д н і й кругъ нашего общества,—не мужики, не рабочіе, не аристократія, а именно средніе люди, наполняющіе наши города все растущей своей толпой, откуда Андреевъ беретъ своихъ героевъ,—въ значительной степени даетъ тонъ нашей жизни. Этотъ кругъ и есть какъ разъ тотъ, который мы называемъ мѣщанами и мѣщанствомъ, особенно въ менѣе культурныхъ его слояхъ.

О томъ, что здѣсь семейная рознь не случайность, не исключеніе, а что-то неизбѣжное и роковое, подсказанное и вынужденное всѣмъ ходомъ жизни, мы, думается, даже за послѣднее время наслушались болѣе чѣмъ достаточно. Надо только припомнить, какъ изображается семья въ „Мѣщанахъ“ Горькаго, въ драмѣ Найденова „Дѣти Ванюшина“. Родители и дѣти живутъ въ разныхъ этажахъ, говорятъ на разныхъ языкахъ и ни въ чемъ не могутъ столковаться. Они встрѣчаются, какъ знакомые поневолѣ, и другъ для друга они послѣдніе, къ кому пойдутъ они, чтобы

раскрыть свою душу. Въ низшихъ слояхъ этого круга всѣ помыслы, всѣ надежды, всѣ силы сосредоточены исключительно на заботахъ о томъ, чтобы какъ-нибудь прожить завтрашній день; въ высшихъ на томъ, чтобы нажить, пріобрѣсти какъ можно больше денегъ. Все вытянуто въ одну прямую линію. Маленькая, ничтожная идейка воцарилась надъ жизнью людей и властно ею распоряжается опредѣляя каждый шагъ, каждую мысль. Маленькая, ничтожная идейка душитъ всякіе порывы, всякія мечты, которыя прямо и непосредственно не служатъ ея интересамъ. Она совсѣмъ поработила человѣка, сдѣлала изъ него какого-то маніака, гипнотика, все сводящаго къ расчету и выгодѣ, все подчинившаго этимъ двумъ кумирамъ. Жизнь стала приниженной и невыносимо скучной. Только въ подслѣповатыя грязныя оконца заглядываетъ въ нее солнечный свѣтъ, только изъ листковъ распивочной прессы доносится до нея гулъ и волненія окружающаго, да и то въ формѣ городскихъ происшествій или скандальной хроники. Тутъ, какъ говорилъ Успенскій, съ человѣкомъ тихо. Тутъ все сведено къ рублю, къ наживѣ. Тутъ ближній или пайщикъ, съ которымъ надо дѣлиться, или конкурентъ, который оберетъ тебя, разъ ты самъ не поторопишься это сдѣлать. На спокойный завтрашній день здѣсь промѣнена красота человѣческой жизни. Изъ общественныхъ отношеній рознь переходитъ въ семью. Вѣдь и этой послѣдней нужно вдохновеніе, нужна какая-нибудь большая мысль, какое-нибудь большое чувство, чтобы ея внутренняя связь не была формальной связью и знакомствомъ жильцовъ той же квартиры или обитателей того же дома. Но когда нѣтъ ни вдохновенія, ни чувства, ни мысли, семья исчезаетъ, и дѣти и родители живутъ въ разныхъ этажахъ, по разнымъ комнатамъ, говорятъ на разныхъ языкахъ.

Пустую ничтожную сущность своей жизни Рыбаковы прикрыли внѣшнимъ лоскомъ и приличіемъ. Но этого внѣшняго лоска и приличія хватило только на то, чтобы являться въ глазахъ своихъ знакомыхъ порядочными, а быть можетъ, даже передовыми людьми, потому что здѣсь на столахъ лежатъ умныя книжки, здѣсь не бьютъ, не бранятъ дѣтей, здѣсь не устраиваютъ семейныхъ сценъ, мужъ и жена не бьютъ другъ о друга посуду, говорятъ красиво какъ въ гостиной, здѣсь все дышетъ довольствомъ, сытостью, все, повидимому, очень хорошо. Но всего этого очень хорошаго оказалось совсѣмъ недостаточнымъ, чтобы спасти несчастнаго Павла, гибнущаго жертвой темныхъ стихійныхъ силъ и своего печальнаго, тоскливаго, но неизбѣжнаго въ выростившей его средѣ одиночества.

Да, страшная вещь наша жизнь...

Надо всячески разрушать предразсудокъ, что все хорошо, все благополучно;надо срывать маску самодовольства и приличія съ той жизни, которая таитъ въ себѣ развратъ, лицемѣріе, духовную нищету. Андреевъ

только и сдѣлалъ то, что показалъ, какъ гибнетъ самое дорогое, т. е. дѣти,—гибнетъ жертвой разврата, самого пошлаго и грязнаго, въ томъ обществѣ, которое брезгливо отворачивается отъ всего, что есть свобода и правда.

15. М. Горькій.

И все же мы живемъ и даже хотимъ жить, будемъ жить.

И все же мы идемъ дальше, все впередъ, все выше, не зная куда и зачѣмъ. Мы какъ будто взбираемся на высокую крутую гору, не видя, что за ней—обѣтованная ли земля или обрывъ въ пропасть. Но разъ мы живемъ, надо жить... съ возможной для человѣка мудростью, свободой и щедростью.

Въ стремленіи современнаго человѣка къ свободѣ, къ неприкосновенности своей личности есть нѣчто фатальное. Оно необходимо и естественно, разъ гаснетъ въ душѣ человѣка идея Бога, безсмертія души, загробнаго возмездія. Прежде было утѣшеніе: т а м ъ разсчитаемся, т а м ъ Уголино будетъ глодать черепъ своего тюремщика, т а м ъ будутъ поджаривать ростовщика на вертелѣ. Ну, а теперь все сведено къ тому, чтобы з д ѣ с ь...

Въ прошломъ человѣчества всякій общественный строй, гдѣ были рабы и господа, искалъ религіозной санкціи и религіознаго оправданія. Всякій такой общественный строй былъ въ томъ или другомъ видѣ теократіей. Наше общество одинаково раздѣлено на рабовъ и господъ, но санкція такого дѣленія уже исчезла. Нѣтъ ее. Внушить современному человѣку, что все идетъ на свѣтѣ такъ, какъ надо, что это чья-то непререкаемая воля—ему голодать, его дочери быть проституткой—вещь довольно затруднительная. У него растетъ своя, д р у г а я воля, которая говоритъ, что такъ не надо и что ни какой тутъ „воли“ нѣтъ.

Эта другая воля, по свойственной человѣку слабохарактерности, по обилію въ немъ переживаній, разнаго мистическаго и метафизическаго груза, ищетъ, какъ мы видѣли выше, на что бы ей прислониться и на что бы опереться. Прислоняется къ „отцамъ“ Григорію и Матвѣю, къ новооткрытой метафизической сущности, къ славянофильскимъ переживаніямъ въ родѣ русской „миссіи“ и православія, прилѣпится, быть можетъ, къ „мокроступамъ“ и „свѣтописи“ для ради уничтоженія „калошъ“ и „фотографіи“, и къ „мертвецамъ“ [154]).

[154]) Мертвецы—иначе п е р е ж и в а н і я, р у д и м е н т ы. Этихъ рудиментовъ (такихъ какъ ушныя раковины, напр.) Мечниковъ насчитываетъ около в о с ь м и д е с я т и изъ 100 съ небольшимъ органовъ человѣка! А сколько ихъ въ обще-

Мнѣ плохо вѣрится во всѣ виды такого индивидуализма, въ ихъ жизнеспособность, потому что въ нихъ нѣтъ мудрости, а есть самовлюбленность, нѣтъ тѣхъ могущественныхъ отрицательныхъ чувствъ и настроеній, которыми личность такъ успѣшно пользовалась всегда для своего самоопредѣленія. Эти отрицательныя чувства, на которыя я такъ настойчиво указывалъ въ главахъ о личности и о 60-хъ годахъ, такъ же необходимы, какъ разложеніе зерна, прежде чѣмъ оно дастъ ростокъ. Безъ отрицанія никакого утвержденія быть не можетъ. Ихъ сила прямо пропорціональна. Не отвергнувъ рѣшительно и смѣло цѣлаго ряда явленій нашей жизни, нечего въ сущности и утверждать. Мысль неизбѣжно будетъ безкрыла и плоска, и, какъ на „пагубный“ примѣръ, укажу на г. Мережковскаго, который хотѣлъ воспарить къ Богу, а залетѣлъ на православную колокольню, гдѣ и пребываетъ.

Безъ протеста и негодованія о какомъ стремленіи къ свободѣ можетъ быть рѣчь въ наши дни, когда бокъ о бокъ существуютъ непримиренныя противорѣчія—наука и церковь, биржа и лачуга? Какъ забыть о нихъ? Какъ обойти ихъ? Какъ успокоиться на словахъ? Развѣ для нашихъ дней—дней тревожнаго ожиданія, нетерпѣливыхъ замысловъ, уже сознанной борьбы классовъ, богатства и бѣдности, несомнѣннаго кануна обновленія меньше подходитъ истинный поэтъ Писарева, чѣмъ 40 лѣтъ тому назадъ? А вотъ что говорилъ онъ объ истинномъ поэтѣ: „любовь [155]) неразрывно связанная съ ненавистью, составляетъ и непримѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души“, или: „чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно глубоко сознательно любить и ненавидѣть“.

Если стремленіе къ свободѣ фатально и исторически обусловлено, то обоснованіе его въ нашей литературѣ часто случайно и представляетъ изъ себя не только „переживаніе“, но и „пережевываніе“ давно пройденнаго. Подходить къ этому стремленію безъ своей любви и безъ своей ненависти нельзя. Человѣкъ нашихъ дней можетъ осмѣлиться и спросить себя не только о томъ, что даетъ ему право на автономію, но и о томъ, что собственно даетъ окружающему такую безпощадную власть надъ нимъ? чѣмъ оно выше его? Переоцѣнивъ это окружающее, онъ увидитъ, что оно не выше. Склониться не передъ чѣмъ.

И теперь я добавлю къ тому, что говорилъ о мудрой мысли. Она не только вырастаетъ на признаніи трагическаго и необходимаго въ жизни,

---

ственной жизни: розги, паспортъ, лишеніе мужика гражданскихъ правъ, греческій языкъ въ школѣ и византійскія идеи въ семьѣ и департаментахъ и т. д., и т. д.

[155]) Для Писарева къ идеямъ добра, истины, красоты.

но и на дѣйствительной переоцѣнкѣ тѣхъ цѣнностей, которыя стоятъ на пути къ свободѣ и автономіи.

Раздувши себя мистикой и метафизикой, она вырастетъ лишь призрачно, только подпрыгнетъ къ своему величію. Переоцѣнка будто бы превышающихъ человѣка цѣнностей это уже не прыжокъ, это возведеніе фундамента.

Несомнѣнно, что главнымъ представителемъ этого вотъ движенія взятаго во всей его глубинѣ и силѣ, является Максимъ Горькій [156]). Неожиданно и прекрасно было появленіе его въ литературѣ, потому что мы такъ давно не видѣли смѣлыхъ людей, такъ привыкли къ озирающемуся „творчеству“ и этой кучѣ произведеній, гдѣ своя мысль замѣнялась свидѣтельствомъ о радикальной благонадежности или удостовѣреніемъ какого-нибудь „досточтимаго журнала“ о любви автора къ народу и пожеланіяхъ ему, этому народу, „всего хорошаго“.

Проводятъ параллель между Горькимъ и Ницше. Конечно, кое-что общее есть: та же ненависть къ избитымъ фразамъ и обноскамъ разныхъ засвидѣтельствованныхъ авторитетами формулъ, то же презрѣніе къ пониженному и трусливому существованію мѣщанства, то же требованіе отъ человѣка быть холоднымъ или горячимъ, но не теплымъ. та же жажда личной свободы и независимости. Но Ницше слишкомъ учитель, слишкомъ проповѣдникъ, нелѣпо и грубо презирающій массу народа, и въ его проповѣди и поученіяхъ то и дѣло теряется и сознанный имъ трагизмъ жизни и все ея стихійно необходимое.

Молодая, просторная, обвѣянная свѣжимъ воздухомъ степей, полная воли и гнѣва поэзія Горькаго, въ которой такъ много свѣта и воздуха. далека отъ учительства. Въ ней тоска, негодованіе, жажда простора и жизни, неудовлетворенность безпокойно мятущейся души. Это порывъ. въ которомъ столько молодости. силы и красоты, и въ немъ чувствуется вся грозная сила отрицанія и ненависти. Это проклятіе, печаль о человѣкѣ-рабѣ, это гордость духа, гордость личности, перевитая съ тоской одиночества и неудовлетворенности. Это мудрое сознаніе ужаса человѣческаго положенія и въ то же время протестъ, оргіазмъ борьбы. Это великое предчувствіе великихъ катастрофъ. Это Буревѣстникъ, который говоритъ про себя: „то волны крыломъ касаясь, то стрѣлой взлетая

---

[156]) Мнѣ очень много приходилось писать о Максимѣ Горькомъ. Вотъ что я помню: „Русское богатство“ № 8, 1898 г. (библіографія); „Жизнь“ №№ 4, 6, 8, 1902 г.; „Socialistische Monatshefte“ 1901 г., май; Книга о Максимѣ Горькомъ и А. Чеховѣ. Спб. 1900 г. откуда нѣсколько главъ приведено въ Contemporary Review 1901 г.

къ тучамъ, онъ кричитъ, и тучи слышатъ радость въ смѣломъ крикѣ птицы... Въ этомъ крикѣ жажда бури. Силу гнѣва, пламя страсти и увѣренность въ побѣдѣ слышатъ тучи въ этомъ крикѣ... Глупый пингвинъ робко прячетъ тѣло жирное въ утесахъ... Только гордый буревѣсникъ рѣетъ смѣло и свободно надъ сѣдымъ отъ пѣны моремъ"...

Горькій всегда онъ самъ. Это не перепѣвъ, не пересказъ, это созданіе новой жизни и новаго отношенія къ ней. Это порывъ въ то будущее, гдѣ люди свободны, смѣлы и красивы. Это отвращеніе къ тому скупому, сытому, унизительному существованію, которое ведемъ мы.

Какъ-то въ одной провинціальной газетѣ было помѣщено характерное для Горькаго стихотвореніе, такъ просто выразившее основной мотивъ его произведеній, что я позволю себѣ привести его цѣликомъ. Вотъ оно:

Въ лѣсу надъ рѣкой жила фея;
Въ рѣкѣ она часто купалась;
Но разъ, позабывъ осторожность,
Въ рыбацкія сѣти попалась.
Ея рыбаки испугались...
Но былъ съ ними юноша Марко,
Схватилъ онъ красавицу фею
И сталъ цѣловать ее жарко.
А фея, какъ гибкая вѣтка,
Въ могучихъ рукахъ извивалась,
Да въ Марковы очи глядѣла
И тихо чему-то смѣялась...
Весь день она Марко ласкала,
А какъ только ночь наступила,
Пропала веселая фея...
У Марко душа загрустила...
И дни ходитъ Марко и ночи
Въ лѣсу надъ рѣкою Дунаемъ,
Все ищетъ, все стонетъ: „Гдѣ фея?"..
А волны смѣются: „Не знаемъ".
Но онъ закричалъ имъ: „Вы лжете!
Вы сами играете съ нею!"
И бросился юноша глупый
Въ Дунай, чтобъ найти свою фею.
Купается фея въ Дунаѣ,
Какъ раньше до Марка купалась,
А Марко ужъ нѣту...
Но все же,
. . . . . .
О Марко хоть пѣсня осталась.
А вы на землѣ проживете,
Какъ черви слѣпые живутъ,
Ни сказокъ про васъ не разскажутъ,
Ни пѣсенъ про васъ не споютъ!

„Но все же о Марко хоть пѣсня осталась“... Марко сгорѣлъ въ одномъ порывѣ и, съ точки зрѣнія пользы, расчета, конечно довольно таки безсмысленномъ. Онъ полюбилъ призракъ, за призракъ онъ пожертвовалъ своей молодой жизнью. И въ этомъ есть красота, понятая людьми, потому что они сложили о Марко пѣсню. Но тамъ, гдѣ нѣтъ порыва, гдѣ человѣкъ не чувствуетъ, что

...есть упоеніе въ бою
и бездны мрачной на краю,

тамъ для Горькаго нѣтъ и человѣческой жизни, а есть прозябаніе слѣпыхъ червей, или „былье травное, изъ котораго лопухъ вырастаетъ“...

Какая это на самомъ дѣлѣ смѣлая, великолѣпная мысль, что истинная человѣческая жизнь должна переходить въ сказку, легенду, пѣсню, а не въ лопухъ, не въ печальную надгробную надпись: „здѣсь почіетъ тѣло... раба божьяго, не дослужившаго двухъ мѣсяцевъ до чина титулярнаго совѣтника“... Бѣдный рабъ Божій! Быть можетъ, на него клевещутъ. Быть можетъ, ему и не хотѣлось никогда стать титулярнымъ совѣтникомъ. Но мало ли, что не хотѣлось. Надо еще имѣть смѣлость не-хотѣнія, надо осмѣлиться сказать жизни, какъ Марко: „нѣтъ, не хочу быть рыбакомъ, забрасывать сѣти, солить рыбу и торговать ею, хочу всего“,—и только въ такомъ случаѣ будетъ и сказка, и пѣсня, и легенда, которая заставитъ забиться сердца людей далекаго будущаго.

Въ этомъ настроеніи вы видите прежде всего романтика, мечтающаго о силѣ, смѣлости, красотѣ человѣческой жизни, о ея поэтической удали, бурно разрушающей оковы обыденнаго, общепринятаго. По формѣ, пожалуй, это тотъ романтизмъ, который пережитъ Европою около ста лѣтъ тому назадъ, а теперь возрождается. Юный и смѣлый, исполненный дерзновенія, явился онъ среди скучной прозы жизни со своими мечтами и грезами, своими порывами и призывомъ къ обновленію. Онъ перевернулъ вверхъ дномъ старое искусство, дерзко бросивъ ему въ глаза свой вызовъ; онъ побѣдилъ и разрушилъ его. На его знамени было написано „свобода творчества“, и онъ сталъ говорить о томъ, что думаетъ и какъ думаетъ, не стѣсняясь ни правилами, ни руководствами, ни учебниками. Изъ залъ школы и академіи онъ вышелъ на улицу, сталъ разсказывать о ея жизни, ея страданіяхъ и радостяхъ. Онъ первый заговорилъ о чердакахъ и подвалахъ, о нищетѣ и голодѣ, о бѣдной обыденной жизни, о плачущихъ маленькихъ оборванцахъ. Онъ былъ молодъ, и вся жизнь представлялась ему красивой и интересной, достойной любви, сожалѣнія, слезъ и смѣха. Онъ былъ молодъ и давалъ полный просторъ

своему воображенію. Грандіозные, яркіе, иногда чудовищные образы тѣснились у него въ головѣ, наполняли его фантазію, подчиняли его мысль. Онъ любилъ носиться по волнамъ безбрежнаго моря, прислушиваться къ легендамъ, сказкамъ прежнихъ вѣковъ, описывать упоеніе битвы, красоту и величіе подвига, всю подкупающую прелесть свободы и простора, все обаяніе таинственнаго. Онъ стремился не столько къ правдѣ описанія, сколько къ тому, чтобы бурное, полное неоформившихся еще стремленій новое воплотить въ достойныхъ его образахъ, которые, благодаря страсти, наполнявшей душу художника, принимали поражающіе размѣры—размѣры гигантовъ и великановъ.

По формѣ, говорю я, у Горькаго то же самое, по существу и содержанію нѣчто другое. Это романтизмъ, но пролетарскій, и онъ весь полонъ стихійнаго порыва къ освобожденію. Здѣсь новый общественный слой расправляетъ свои руки, пробуетъ силу своей мысли и гнѣва. У него нѣтъ еще опредѣленныхъ намѣреній и цѣлей, все это замѣняется ему негодованіемъ и удалью. И негодованіе и удаль одинаково велики.

Ѣхать въ Казань и искать Коноваловыхъ, ѣхать въ Астрахань, чтобы повидать Мальву и Серегу, въ Одессу, чтобы говорить съ Челкашемъ, смѣшно. Такихъ босяковъ мы никогда не найдемъ, но не въ этомъ и дѣло [157]). Дѣло въ основномъ мотивѣ, въ стихійной жаждѣ освобожденія цѣлаго новаго сословія и порыва къ нему. Эту жажду и этотъ порывъ Горькій воплотилъ въ своихъ босякахъ. Обездоленные, но гордые униженные, но не покорившіеся, искалѣченные жизнью, но не возложившіе на себя ея ярма, героп Горькаго сильны не сами по себѣ; пхъ сила въ пробужденіи новаго класса, его еще неясныхъ грезахъ, смутныхъ надеждахъ, не опредѣлившихся новыхъ нравственныхъ цѣнностяхъ, которыя онъ несетъ въ себѣ и съ собой.

Съ этой предрасвѣтною пѣснью—пѣснью пробужденія переплелись у Горькаго презрѣніе и ненависть къ мѣщанству. О! Какъ дразнитъ, какъ злитъ, какъ бичуетъ онъ это сѣрое, самодовольное мѣщанство, какимъ безобразнымъ грязнымъ уродцемъ выставляетъ онъ его. „Скуки ради“—это литературная смертная казнь.

Въ этомъ, я думаю, „смыслъ“ Горькаго.

Когда Горькій посмотрѣлъ на всю нашу трусливую, быстро обмѣщанившуюся, пониженную жизнь, на нашу культурную безтолочь, на всѣхъ этихъ шалѣющихъ и ошалѣвшихъ, онъ геніально „возмутился“.

---

[157]) Въ то же время это нисколько не лишаетъ Горькаго права на титулъ поэта дѣйствительности. Надо замѣтить, что главная „дѣйствительность“ для художника—онъ самъ. „Быть вѣрнымъ дѣйствительности“ значитъ для него быть прежде и больше всего вѣрнымъ самому себѣ.

Конечно, не только возмутился, но и далъ намъ жгучую радость и жгучее блаженство испытать хоть на минуту настроеніе просторной жизни, обвѣянной степнымъ воздухомъ, и опять хоть на минуту настоящей ненавистью возненавидѣть „условную ложь человѣческой жизни“, ея приниженную подлую трусость, ея всесовершенное хамство. Какъ хотите, не Толстой, а онъ сказалъ первое настоящее слово, и это слово пришлось сталью по камню, и, быть можетъ, больше всего черезъ Горькаго поняли мы, какою великою любовью любимъ мы жизнь... Только все еще не поняли мы его жестокаго вопроса: „да какъ же вы смѣете такъ паскудить своимъ всесовершеннымъ хамствомъ эту чудно-красивую человѣческую жизнь, въ помояхъ лжи и лицемѣрія начкать ея шелкъ и пурпуръ, за грошъ продавать ея достоинство и цѣломудріе!“ Этого мы не поняли.

Въ концѣ концовъ, Горькій имѣетъ право на свою смѣлость гнѣва и проклятія. За нихъ—стихія. „Впередъ“—его лозунгъ и лозунгъ породившей его стихіи.

Босякъ это лишь символъ пробуждающагося, но не опредѣлившагося еще пролетарскаго самосознанія [158]).

Что могло привлекать въ немъ Горькаго? Только то, что онъ самъ вложилъ въ него: его ненависть къ пошлости жизни. его непримиримый гордый духъ, его презрѣніе къ трусливымъ расчетамъ обыденнаго существованія, его сознаніе собственнаго человѣческаго достоинства. чувство гнѣва, которое таится въ его душѣ. Могла привлекать только смѣлость, какъ противорѣчіе и отрицаніе того трусливаго и робкаго, что дрожитъ и трепещетъ въ душѣ современника или огромнаго большинства изъ нихъ. Могли привлекать отзвуки пѣсни буревѣстника: „чайки стопутъ передъ бурей, стонутъ, мечутся надъ моремъ, и на днѣ его готовы спрятать ужасъ свой передъ бурей... И гагары тоже стонутъ—имъ, гагарамъ, недоступно наслажденье битвой жизни: громъ ударовъ ихъ пугаетъ“. Но „буревѣстникъ съ крикомъ рѣетъ, черной молніи подобный, какъ стрѣла пронзаетъ тучи, пѣну волнъ крыломъ срываетъ. Вотъ онъ носится, какъ демонъ,—гордый черный демонъ бури, и смѣется и рыдаетъ... Онъ надъ тучами смѣется, онъ отъ радости рыдаетъ“... Въ Горькомъ, повторяю, пролетаріатъ впервые заявилъ о себѣ, о своемъ правѣ на жизнь и счастье, а не только на жалость со стороны привилегированныхъ, какъ это было въ прежней нашей литературѣ.

---

[158]) Задаютъ себѣ смѣшной вопросъ: что будетъ дѣлать Горькій, исчерпавъ босяковъ? Забываютъ (произведеніе, поразительное по оригинальности) и Вареньку Олесову, и Маякиныхъ въ Фомѣ Гордѣевѣ, и „Отъ скуки“, и „Мѣщанъ“. Коротка у насъ память. Не всѣ еще пѣсни спѣты Горькимъ, хотя и спѣтыя уже цѣлый переворотъ.

Въ этомъ огромное значеніе Горькаго, дѣлающее его появленіе гранью двухъ историческихъ эпохъ.

16. Свобода и необходимость.

Что наша экономическая жизнь и самосознаніе личности переросли существующую организацію общественныхъ и семейныхъ отношеній, въ этомъ нельзя даже сомнѣваться. Если Погодинъ 50 лѣтъ тому назадъ додумался до записки о царевомъ времени, то до чего же можемъ додуматься мы, когда Россія по числу душъ (и живыхъ и мертвыхъ) стала больше чѣмъ вдвое многочисленнѣе! Наша организація общественныхъ и семейныхъ отношеній все еще патріархальна и архаична. Она едва согласилась на переименованіе незаконныхъ дѣтей во внѣбрачныхъ, на облегченіе развода; настаиваетъ на гражданской неравноправности крестьянъ и женщинъ, на отрицаніи частной и общественной самодѣятельности, на безгласности печати, на полицейскомъ контролѣ науки: держится еще мысли, что могущественное государство можетъ имѣть въ своемъ основаніи убого живущій народъ, невѣжественную поротую массу; все еще стремится къ единству всѣхъ въ языкѣ, вѣрѣ, убѣжденіяхъ.

Совершенно основательно пишетъ старый органъ нашего либерализма: „Немыслимо, чтобы люди, достигшіе извѣстной степени развитія, стали равнодушны къ свободѣ слова, совѣсти, личности: немыслимо, чтобы они застыли на первобытныхъ формахъ національнзма, игнорирующихъ чужія особенности".

Такъ говоритъ Вѣст. Евр., и это неудивительно. Неудивительно, пожалуй, и то, что вопіютъ камни: г. Розановъ присоединяется къ „программѣ либераловъ", а „Гражданинъ" пишетъ:

„Три главныя идеи господствуютъ надъ мыслью и чувствомъ нашего образованнаго общества: идея свободнаго слова, свободной совѣсти и свободной личности. Какъ обольстительныя видѣнія, эти три мечты носятся надъ нашей интеллигенціей, не давая ей успокоиться, сосредоточиться и посвятить себя продуктивной работѣ. Можно отодвинуть ихъ и замутить суровыми фактами дѣйствительности. Но вытравить ихъ изъ сознанія теперешнихъ людей нельзя. Всякая мѣра, направленная къ общественному устроенію, если она не коснется одной изъ сказанныхъ трехъ идей и не воплотитъ ихъ въ жизнь, будетъ принята лишь внѣшне, притворно и не успокоитъ умовъ. Доказательствомъ тому могутъ служить уѣздные и губернскіе комитеты особаго совѣщанія. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ они отвергли предложенную имъ программу обсужденія фактовъ и перешли къ обсужденію идей. Даже такой животрепещущій фактъ, какъ наше матеріальное убожество,

очевидно, стоитъ еще слишкомъ далеко отъ господствующихъ надъ нами идей. Чтобы сократить это разстояніе, чтобы заставить людей заняться фактомъ, не нужно ли прежде покончить съ идеей? Я могу жестоко ошибаться. Но мнѣ представляется, что покончить съ нынѣшней смутой въ умахъ, съ маразмомъ воли по приведенію въ порядокъ нашей гражданской жизни можно лишь безпристрастнымъ и громкимъ обсужденіемъ вопроса: насколько главнѣйшія идеи нашего времени осуществимы въ практической жизни? Успокоеніе, по моему, наступитъ мгновенно, какъ только туманъ мечты разсѣется, и воплощенныя въ фактахъ идеи дадутъ новый смыслъ нашей застывшей гражданской жизни".

Я говорилъ выше о растущемъ чувствѣ чести. Какъ совмѣстить его съ произволомъ? Очевидно, только при содѣйствіи палки, которая, въ концѣ концовъ, все же о двухъ концахъ.

Земледѣльческая патріархальная Русь со своими молебнами о дождяхъ, урожаяхъ, посланными Николаемъ угодникомъ, во Христѣ барствующими Апостолами изъ помѣщиковъ, святой общиной, юродивыми въ полупудовыхъ желѣзныхъ колпакахъ, замѣнявшими пророковъ древности и гласность нашихъ дней, оттѣснена въ даль прошлаго городомъ и капитализмомъ. И въ результатѣ этого призывъ къ обновленію, переоцѣнка цѣнностей по всему фронту.

Я разсмотрѣлъ эту переоцѣнку въ одномъ изъ господствующихъ теченій современной мысли, индивидуализмѣ. Другое, которое можно назвать пролетарскимъ, по многимъ уважительнымъ причинамъ оставлено мною въ тѣни.

Но все же и теперь можно подвести нѣкоторые итоги.

Во-первыхъ. Мы видимъ аморализмъ, т. е. стремленіе освободить художественную и научную мысль человѣка отъ власти этическихъ цѣлей.

Мысль должна быть не этической прежде всего, какъ мысль Толстого, литературы 70-хъ годовъ, христіанская мысль вообще, а свободной и творческой. Творчество ея стихія, источникъ ея безкорыстной радости, ея величія и силы. Мысль, создающая искусство и науку, порождающая новые образы, раздвигающая границы невѣдомаго, т. е. непознаннаго, должна сбросить съ себя всѣ оковы: одинаково, какъ оковы торгашеской цивилизаціи, такъ суроваго этико-общественнаго догматизма. Никому не продаваться, никому и ничему не служить—ея единственный законъ. Холопство передъ общественнымъ мнѣніемъ, рынкомъ, великими призраками прошлаго, великими мертвецами для нея такъ же унизительно, какъ холопство передъ общественной пользой. Она можетъ служить общественной пользѣ лишь въ томъ случаѣ, если

она не можетъ не служить ей, какъ не можетъ дерево не расти вверхъ и птица не вить гнѣзда для своихъ дѣтенышей, т. е. совершенно свободно.

Я напомню главныя свои положенія:

a) высшимъ благомъ для человѣка я считаю его творчество;

b) можно думать, что при нормальныхъ общественныхъ отношеніяхъ, т. е. при свободѣ отъ экономическаго рабства всякій можетъ быть въ той или другой степени, въ той или другой области творцомъ, т. е. создателемъ новыхъ идей, новыхъ лучшихъ пріемовъ работы, новыхъ семейныхъ и общественныхъ отношеній;

c) творческая способность, какъ высшее проявленіе индивидуальности личности, настойчиво требуетъ выхода въ жизнь, въ дѣйствительность, въ работу. Гигіена души и творчества превосходно выражается слѣдующимъ афоризмомъ: „природа души человѣческой есть акція. жизнь, инициатива. Пассивность же наша достигла великой степени уже къ концу московскаго періода, и съ тѣхъ поръ все увеличивается. Невыносимо это для души человѣческой. Дайте сотворить человѣку, иначе онъ умретъ или завертится“;

d) свою историческую санкцію и вдохновеніе творчество нашихъ дней получаетъ въ идеѣ пролетаріата и личности.

Во-вторыхъ. Естественно, что въ разночинной Руси проблемы чести и личнаго достоинства получили преобладаніе надъ проблемами совѣсти. Каяться намъ не въ чемъ, хотя, разумѣется, есть отъ чего и за кого мучиться.

Въ-третьихъ. Индивидуализмъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ распространенъ теперь въ интеллигентныхъ кругахъ, не проченъ. Это историческая категорія мысли, которая едва ли продержится дольше завтрашняго дня. Великія начала товарищества и организаціи шумно и властно вступаютъ въ нашу жизнь, чтобы измѣнить ея характеръ, а также и характеръ современнаго индивидуализма. Надо, впрочемъ, отдать ему справедливость. Даже въ медовый мѣсяцъ своего бытія этотъ послѣдній чувствуетъ какъ бы всю свою безпочвенность, и судорожно хватается то за метафизику („Проблемы идеализма“), то за рясу, и едва ли не готовъ провозгласить однимъ изъ своихъ пророковъ „фельетониста „Русскаго Слова“ и дѣйствительнаго члена общества трезвости“ отца Григорія Петрова.

Индивидуализмъ — историческая категорія. Страна, какъ Россія, которая становится капиталистической, не можетъ не пережить его, не можетъ не отдать дань восторговъ и увлеченія даже крайнимъ его проявленіямъ. Опытъ Европы, по пути которой мы идемъ, учитъ насъ, что эти крайности эфемерны и вызваны лишь иллюзіями, призра-

ками и обманами капитализма. Этотъ развратный и несправедливый по самому существу своему строй поступаетъ съ личностью, какъ опытная сводница. Ему, конечно, нужны другія силы, другія способности, чѣмъ тѣ, которыми пользовалась дореформенная Россія съ ея потребительнымъ хозяйствомъ, и она заманиваетъ личность иллюзіей свободы. Изъ ея развитія, изъ ея честолюбія, изъ ея творчества, ея соревнованія съ другими, изъ ея напряженія всѣхъ силъ умѣетъ онъ извлекать для себя огромныя выгоды, и дѣйствительно извлекаетъ. Патріархальные устои жизни по существу враждебны ему, и онъ можетъ только радоваться, когда личность все расшатываетъ ихъ и въ себѣ самой и вокругъ себя. Здѣсь-то и открывается для него широкое поприще, чтобы примѣнять свою потогонную систему, т. е. высосавъ изъ личности всѣ ея соки, выбросить ее въ свальную кучу, какъ ненужную шелуху. Всѣ же обѣщаемыя капитализмомъ „свободы" иллюзорны уже потому, что въ его строѣ личность является лишь орудіемъ накопленія, и надъ этими свободами высится грузная пирамида милліардовъ, сосредоточенныхъ въ однѣхъ рукахъ, чудовищныхъ трестовъ, ожесточенно оберегающей себя частной собственности, пошлости, скопидомства и разврата накопленія.

Нашъ индивидуализмъ въ большей или меньшей степени начинаетъ уже понимать, что капитализмъ его врагъ, но, повторяю, пристраивается пока къ метафизикѣ, какъ будто та за 2000 лѣтъ своего существованія не доказала своего безсилія, или даже къ богословію. Направившись въ эти области, онъ, очевидно, зачахнетъ отъ пустоты своихъ громкихъ словъ и отъ лицемѣрія. Но въ немъ все же есть свой историческій смыслъ, и этотъ смыслъ—полная переоцѣнка цѣнностей, завѣщанныхъ еще намъ крѣпостной дореформенной Россіей. Индивидуализмъ это костеръ, на которомъ перегораютъ остатки, преданія и устои (напр., община, патріархальная семья и т. д.) нашего прошлаго. На самомъ дѣлѣ личность является въ своихъ собственныхъ глазахъ самымъ важнымъ и самымъ цѣннымъ, что только есть въ жизни, и ей трудно признать надъ собой какую бы то ни было власть традицій и преданій.

Центральная задача нашихъ дней та же, которая стояла передъ жизнью въ 60-е годы. Это увеличеніе производительныхъ силъ народа. Средство для ея рѣшенія опять то же самое: расширеніе иниціативы и самодѣятельности (какъ личной, такъ и общественной). Это задача стихійная, понятая едва ли не всѣми (кромѣ, разумѣется, тѣхъ, кому первому бы слѣдовало понять ее) въ голодъ

въ 1891 г. Ни затушевать, ни замолчать этой задачи нельзя. Ее надо рѣшать такъ или иначе, т. е. въ сторону смерти или жизни, такъ какъ міровое капиталистическое хозяйство ни одному клочку земли прозябать не дастъ. Право на прозябаніе отнято.

Положительныхъ данныхъ для ея рѣшенія у насъ очень мало. Мы пока народъ-неудачникъ, народъ-недоросль. Съ нашествія блаженной памяти печенѣговъ и византійскихъ монаховъ вплоть до осады и разгрома Россіи идеями благонадежности и благонамѣренности намъ не везло. На насъ всегда сыпались всякія бѣдствія, которыя мы старательно увеличивали во стократъ своей полной пассивностью.

Мы народъ-неудачникъ. Мы, быть можетъ, единственный въ мірѣ народъ, который лучшихъ своихъ людей, такихъ, напр., какъ Герценъ, причисляетъ къ разряду „лишнихъ“. Но кто же въ такомъ случаѣ нуженъ? Не хочется даже отвѣчать на этотъ вопросъ при такой его постановкѣ. Мы, дальше, быть можетъ, единственный въ мірѣ народъ, гдѣ каждое десятилѣтіе или проклинаетъ предыдущее или съ особенной любовью и вниманіемъ доказываетъ, какіе же это были дураки....

Какъ народъ-неудачникъ, мы богаты всевозможнымъ горькимъ опытомъ. Мы превосходно знаемъ тысячи и тысячи такихъ вещей, которыхъ не надо. Все наше прошлое покрывается сплошнымъ: „не надо бы“. Мы такъ изощрили нашу критику, что, въ концѣ концовъ, не считаемъ даже нужнымъ ею пользоваться и прямо говоримъ „не надо“, проклиная, напр., какъ славянофилы и одно время Михайловскій, политическую жизнь, хотя никто никогда намъ и не предлагалъ ее. И не удивительно: вѣдь создала же исторія такую обстановку, гдѣ самая смѣлая и свободная мысль нашихъ дней не могла прицѣпиться ни къ чему другому, какъ къ образу босяка.

Такое отсутствіе цѣннаго и положительнаго мы инстинктивно стараемся вознаградить сектантскимъ и фанатическимъ увлеченіемъ быстро мѣняющагося догмата. Догматъ славянофильства—Россія, догматъ праваго народничества—мужикъ, догматъ лѣваго—мужикъ и интеллигенція (потомъ просто критическая личность, интеллигенція).

О послѣднемъ скажу нѣсколько словъ. Нѣтъ ничего неопредѣленнѣе слова интеллигенція, ничего нѣтъ пагубнѣе вѣры въ нее, какъ всемогущую силу. Это настоящее ребячество, особенно для насъ, у которыхъ никогда не было интеллигенціи, а была только молодежь, или, полнѣе, нѣсколько писателей и молодежь. Что такое интеллигенція, мы не знаемъ. Каждая эпоха опредѣляетъ ее по своему. Добролюбовъ не вѣрилъ въ ея существованіе, Писаревъ считалъ ею „мыслящихъ реалистовъ“, Лавровъ и Л. Тихомировъ всѣхъ революціонеровъ, марксисты „производителей такъ называемыхъ мнимыхъ цѣнностей“ и т. д. Смѣшеніе понятій

въ области было таково, что естественно, если теперь къ интеллигенціи причисляетъ себя всякій, носящій кокарду, а въ 60-хъ и 70-хъ годахъ интеллигентами называли себя всѣ, бывшіе безъ опредѣленныхъ занятій и „пившіе мертвую по причинѣ невыносимаго гнета правительства“...

Подъ интеллигенціей раньше, во всякомъ случаѣ, разумѣлось нѣчто хорошее. Въ этомъ-то и кроется предразсудокъ. Слава Богу, намъ уже не трудно отказаться отъ него. Толстой своей Анной Карениной и „Плодами просвѣщенія“, Чеховъ большею частью относящихся сюда произведеній, Горькій своимъ„ Ѳомой Гордѣевымъ“, „Варенькой Олесовой“ показали намъ русскую интеллигенцію въ ея отрицательномъ проявленіи. Надо отказаться отъ мысли, что интеллигенція есть нѣчто доброе. Она и доброе, и злое, и честное, и продажное, смотря по обстоятельствамъ. Назовемъ интеллигентомъ всякаго, кто обладаетъ достаточными свѣдѣніями, чтобы сдѣлать трудъ человѣка въ той или другой области болѣе производительнымъ [159]), кто способенъ осмыслить пеструю дѣйствительность и обладаетъ стремленіемъ къ развитію. Очевидно, что такой интеллигентъ только оруді е, которое можетъ служить и капиталисту и рабочему, и счастью ближняго и его разоренію, смотря по обстоятельствамъ. Интеллигенція, интеллигентность только умственная сила, направленіе которой зависитъ отъ влеченій, но не наоборотъ. Всѣ іезуиты интеллигенты и не изъ послѣднихъ.

Можно признавать какъ силу совершенствованія не интеллигенцію. а знаніе, не интеллигенцію, а науку, не интеллигенцію, а тотъ историческій опытъ, почти законъ, который говоритъ, что мысль, не нашедшая себѣ распространенія, творчество — выхода, народъ свободы—умираютъ.

Эта вѣра въ интеллигенцію, ея рѣшающая роль ведетъ къ неисчислимой массѣ заблужденій, во главѣ которыхъ стоитъ та смѣшная мысль, что мы можемъ устроить жизнь сообразно нашему усмотрѣнію и желанію.

Это совершенно неправильное рѣшеніе вопроса о свободѣ.

Мысль, которой мы особенно усердно служили и которой такъ долго и упрямо держались, была мыслью о ложномъ и страшномъ пути исторіи— мысль Библіи, пророковъ, цѣликомъ перешедшая въ христіанство съ его перспективой антихриста и мерзости запустѣнія. Эта мысль, воспринятая нами со временъ славянофиловъ быть можетъ, красива, но дѣ-

---

[159]) Принципъ экономіи силъ. Особенно настаивалъ на немъ Писаревъ; интеллигентная работа—его воплощеніе.

лать съ ней нечего. Исторія шла и идетъ какъ могла и можетъ, сводясь, въ концѣ концовъ, къ равнодѣйствующей всѣхъ принимающихъ въ ней участіе силъ. Помириться съ этимъ мы, выросшіе на сказкахъ объ Иванѣ- царевичѣ и коврахъ-самолетахъ, не хотѣли. Герценъ давно отмѣтилъ эту коренную ошибку нашего мышленія... Но вѣдь Герцена мы не знали, не знаемъ еще и теперь. Да и что значитъ одинъ Герценъ?

„Я думаю, что и въ природѣ и исторіи человѣкъ дома, но ни тамъ ни здѣсь онъ не самовластный хозяинъ. Человѣкъ оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ея самобытность очевидна для него; мы вѣримъ въ ея дѣйствительность, независимую отъ насъ, а въ дѣйствительность исторіи, особенно современной, не вѣримъ; въ исторіи человѣку, кажется, воля-вольная дѣлать, что хочетъ. Все это горькіе слѣды дуализма (т. е. христіанства), отъ котораго такъ долго двоилось у насъ въ глазахъ. Если бы мы не знали съ пятилѣтняго возраста, что исторія и природа совершенно разное, намъ было бы легко понимать, что *развитіе природы незамѣтно переходитъ въ развитіе человѣчества*, что это двѣ главы одного романа, двѣ фазы одного процесса, очень далекія на закраинахъ и чрезвычайно близкія къ серединѣ. Насъ не удивило бы тогда, что доля всего совершающагося въ исторіи подчинена физіологіи, темнымъ влеченіямъ“ (Герценъ).

Мы не только не „знали“, а всячески гнали отъ себя такую мысль и такую философію, преслѣдуя ее разными жупелами, какъ „фатализмъ“, „мѣщанство“, „равнодушіе къ страданіямъ ближняго“. Изучать дѣло трудное. Гораздо проще творить судъ надъ исторіей. Выходило нѣсколько безграмотно—„Сію Рукопись читалъ и Содержаніе Оной Нѣ Одобрилъ“. но зато крѣпко, православно, непосредственно: „мы народъ запоздалый, и въ этомъ наше спасеніе“, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Барство въ своемъ пессимизмѣ и увлеченіи Гегелемъ, 60-е годы со своей святыней естествознанія были близки къ признанію физіологіи и логики жизни. Но народники ея не одобрили. Не выпалитъ ли жизнь Пугачевымъ? ждали они и вначалѣ. Не выйдетъ ли конвента изъ русскаго болота? ждали они потомъ. Не выпалила и не вышло. Идея необходимаго и діалектики жизни привилась къ намъ только марксизмомъ на развалинахъ народническихъ утопій и не можетъ не крѣпнуть изо дня въ день. А раньше? Боже! Какъ разносили мы Спенсера (даже не дочитавъ его) за то, что онъ *не судитъ* исторіи и смотритъ на развитіе природы и человѣчества, какъ на единый процессъ; какія ребяческія исправленія дѣлали мы въ 70-хъ годахъ въ теоріи Маркса, какъ возставали противъ аналогическаго метода въ соціологіи, противъ дарвинизма въ общественныхъ наукахъ. И странно, по какому недоразумѣнію всю эту перебранку съ исторіей и эволюціей мы считали особенно прогрессивной, не понимая даже,

что въ основѣ ея лежало лишь упованіе: „по вѣрѣ нашей (въ общину, интеллигенцію, Ивана-царевича) дастся намъ“...

Выросшая на разочарованіяхъ, на тяжелыхъ урокахъ прошлаго, мудрость нашихъ дней идетъ навстрѣчу идеямъ трагическаго и необходимаго. Любопытенъ фактъ хотя бы послѣднихъ дней: увлеченіе Мечниковымъ и его ученіемъ. А вѣдь Мечниковъ говоритъ какъ разъ наоборотъ намъ привычному. Онъ вѣритъ только въ науку, его тема—изученіе природы въ человѣкѣ. Онъ настаиваетъ на жестокой медленности органической эволюціи (напр., на молодости и недоразвитости соціальныхъ инстинктовъ въ человѣкѣ), каждой страницей своей опровергаетъ самомнѣніе „случайныхъ потомковъ геніальныхъ обезьянъ“, т. е. людей, и т. д. Мы опять возвращаемся къ естествознанію и статистикѣ, къ реализму 60-годовъ. Мы видимъ въ жизни борьбу, гдѣ побѣждаетъ болѣе сильное, которое и склоняетъ равнодѣйствующую въ свою сторону.

Исторія—продолженіе жизни природы. Человѣкъ— самъ природа. Но природа это необходимость. О какой же свободѣ можетъ быть рѣчь?

Мнѣ кажется, что только здѣсь она и должна начаться; надо лишь отрѣшиться отъ того предразсудка, будто необходимость есть антиномія, противорѣчіе свободѣ, и что свобода человѣка растетъ на счетъ необходимости.

Это невѣрно. Необходимость не уменьшается. Она никогда не больше и не меньше, она всегда равна себѣ. Если формула Ньютона справедлива теперь, то она была справедлива и въ дни Адама. Молоко скисаетъ, а трупы гніютъ подъ вліяніемъ тепла и кислорода, и одинаково скисало молоко и гнили трупы до грѣхопаденія и послѣ него, до того, какъ поворачивала исторія на ложный и страшный путь, и при господствѣ простого сотрудничества со всѣми его опорами. Побѣдить необходимость нельзя, можно только приспособиться къ ней, угрѣвшись отъ холода у огня. Главное средство приспособленія— наука, власть надъ природой, къ которой человѣкъ пришелъ черезъ религію и метафизику. Вся сумма различныхъ приспособленій человѣка и есть культура [100]).

Повидимому, намъ придется примириться съ нею и оставить свою „славянофильско-народническую“ борьбу. Эта вотъ героическая битва „русскихъ съ кабардинцами“ обходится слишкомъ дорого, но результаты не высокаго качества, скорѣе даже лубочные.

---

[100]) До сей поры мы почти что игнорировали философію принципа экономіи силъ (Авенаріуса, Маха, Петцгольда). Жаль. Умная философія съ основной мыслью, что культура, прогрессъ, развитіе обусловлены все растущей возможностью достигать наибольшихъ результатовъ съ наименьшею тратою силъ, и что сами они только **экономія силъ**.

Никто не требуетъ преклониться. Не хочется даже повторять конечной формулы Герцена—„смиреніе передъ наукой и истиной". Кто не хочетъ смиряться, зная, что слѣдуетъ за этимъ противленіемъ, и готовъ полностью расплачиваться по его счету, тотъ пусть не смиряется.

Преклоняться нечего. Учиться надо многому. Современная культура и въ высшемъ своемъ проявленіи жестока и безобразна. Американцы пытали плѣнныхъ на Филиппинахъ, жгутъ негровъ, додумались до волчьихъ паспортовъ непокорнымъ рабочимъ и подкупаютъ науку въ университетахъ, правду въ печати. Нѣмцы буйствуютъ въ Польшѣ и въ своихъ африканскихъ владѣніяхъ, у себя дома въ казармахъ, все чаще прибѣгаютъ къ закрытымъ дверямъ при сомнительныхъ процессахъ. Мѣщанство процвѣтаетъ вездѣ на Западѣ. Передъ чѣмъ же могутъ преклоняться? Западная культура воспитана римскимъ правомъ, инквизиціей, монархіей „l'etat c'est moi" и частной собственностью. Какой же ей и быть? Но ея раціонализмъ, ея огромное знаніе—вотъ что дорого и открываетъ путь къ возможной для человѣка свободѣ, или, вѣрнѣе, къ борьбѣ за нее.

Это только та свобода, которая исключаетъ возможность какого бы то ни было физическаго и нравственнаго насилія человѣка надъ человѣкомъ. Но это совершенно невозможно при экономическомъ рабствѣ нашихъ капиталистическихъ отношеній, при существованіи частной собственности и дезорганизованнаго капиталистическаго производства. Въ этихъ условіяхъ проблема личности и общества, свободы и необходимости совершенно неразрѣшима. Все вызываетъ на борьбу одного съ другимъ, всѣхъ противъ каждаго. Нельзя на самомъ дѣлѣ сказать человѣку: „ты свободенъ", когда ему каждую минуту грозитъ нищета; нельзя и требовать отъ него подчиненія обществу. Ибо кому же собственно станетъ онъ подчиняться?

Словомъ, свои дѣйствительныя ограниченія и свою переработку идея свободы (совершенно такъ же, какъ мы видимъ это на Западѣ) должна получить со стороны точной науки и пролетарскаго мышленія. Наука внушаетъ намъ идею о полномъ безсиліи отдѣльной личности, какъ таковой, о безплодности метафизики и теологіи; пролетарское мышленіе разъяснитъ всю наобходимость товарищества и организаціи производственныхъ отношеній. Индивидуализмъ откажется отъ какой бы то ни было роли въ области экономики [161]) и ограничится единственной своей сферой—искусства, т. е. художественнаго творчества жизни и религіознаго творчества.

Вмѣсто мѣщанскаго, метафизическаго, оппозиціоннаго индивиду-

---

[161]) Я, конечно, имѣю ввиду организацію общества, намѣченную соціализмомъ.

ализма нашихъ дней не сегодня—завтра выступить на сцену индивидуализмъ пролетарскій. Онъ признаетъ полную свободу и полную независимость интимной стороны человѣческой личности, т. е. область вѣры и художественнаго творчества, и полное подчиненіе интересамъ мірового товарищескаго производства, выводамъ точной науки, общественной справедливости. Онъ скажетъ: „Все обусловлено... личность не меньше, чѣмъ погода, цвѣтъ неба, жизнь животныхъ и растеній. Выйти изъ-подъ власти стихій міровой и общественной жизни для нея такъ же невозможно, какъ освободиться землѣ отъ условій тяготѣнія. Но власть, тѣмъ болѣе насиліе человѣка надъ человѣкомъ въ интимныхъ сферахъ его бытія не имѣетъ за собой никакого основанія, кромѣ невѣжества и глупости".

Реальное, метафизическое значеніе и силу личность получитъ лишь въ экономической организаціи, гдѣ ея права и обязанности будутъ опредѣляться идеей кооперації, товарищества. Здѣсь только, освободившись отъ деспотическаго ига собственности, она найдетъ свою „равноправность и равноцѣнность". Вмѣстѣ съ этимъ она поймет ту простую истину, что сумма человѣческой свободы прямо пропорціональна суммѣ положительныхъ знаній, и что предѣломъ свободы являются лишь тѣлесная неприкосновенность, свобода интимной жизни и вѣры, умственная самостоятельность и равноправность въ экономическомъ товариществѣ.

Добьемся ли мы этого, не знаю. Но что мы боремся за это и съ каждымъ днемъ все напряженнѣе, умнѣе, все въ большемъ числѣ—это вотъ несомнѣнно.

БИБЛИОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Центральная Рабочая Библиотека
Инст. Губ. Соц. Проф. Союз

Библіотека

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

ПРЕДИСЛОВІЕ . . . . . III—VIII

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Особенный характеръ русской литературы.

1. Роль идеи въ русской литературѣ.—2. Нѣсколько мнѣній западной критики о русской литературѣ.—3. Требованія русской литературы къ себѣ самой.—4 Литература, какъ проповѣдь.—5. Аболиціонизмъ.—6. Литература и государство.—7. Исключительная обстановка литературной борьбы за освобожденіе.—8. Личность.—9. Роль западно-европейскаго вліянія.—10. Опрощеніе.—11. О нѣкоторыхъ народническихъ идеяхъ.—12. Еще о томъ же.—13. Литература и христіанская мораль.—14. Къ чему сводятся отличительныя черты русской литературы.—15. Діалектика литературной идеи . . . . . 1—49

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О нѣкоторыхъ моментахъ отдѣленія литературной личности отъ государства.

1. Литература государственная и академическая.—2. Меценатство.—3. Борьба съ крѣпостнымъ правомъ. Радищевъ.—4. Сантиментализмъ.—5. Романтизмъ.—6. Броженіе философской мысли. Идея развитія.—7. Скептицизмъ, сатира . . . . . 49—78

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Идеи дворянскаго періода литературы.

1. Классовое самосознаніе въ русской литературѣ.—2. Историческая справка о нашемъ дворянствѣ.—3. Административный путь русской исторіи.—4. Разложеніе дворянской жизни и дворянской идеи, какъ начало самостоятельной литературы.—5. Попытка дворянскаго самоопредѣленія. Славянофильство.—6. Борьба съ Западомъ.—7. Русскій мессіанизмъ.—8. Ученіе славянофиловъ.—9. Славянофилы и община.—10. Политика и этика въ ученіи славянофиловъ.—11. Славянофильство и традиція.—12. Итоги славянофильства.—13. Разложеніе славянофильства.—14. Западники.—15. Ферментъ западнической мысли. Идея личности.—16. Проблема чести и совѣсти въ западнической литературѣ. Герценъ. 17 Герценъ о личности.—18. Самоотрицаніе Герцена.—19. Честь и совѣсть.—20. Драма русскаго барства.—21. Предѣлъ самоотрицанія.—22. Еще штрихи барской психологіи.—23. Лишніе люди, эстетики, идеалисты. . . . . 78—147

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Всходы реализма.

Стр.

1. Бѣлинскій и его пропаганда.—2. Утопическій соціализмъ.—3. Народническая окраска первыхъ шаговъ соціализма.—4. Развитіе реалистической мысли.—5. Измѣненіе взглядовъ на литературу и искусство.—6. Обращеніе къ массѣ.—7. Что выдвинуло на сцену мужика.—8. Мужикъ въ литературѣ.—9. Литературное вліяніе города.—10. Гоголь.—11. Петербургскія пѣсни Некрасова.—12. Достоевскій . . . . . 147—173

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Борьба съ идеями дворянской литературы.

1. 60-е годы.—2. Ликвидація дворянства.—3. Разночинецъ.—4. Отрицаніе, какъ опредѣляющій мотивъ воли.—5. Журналистика и ея роль.—6. Идея личности въ нигилизмѣ и реализмѣ.—7. Подвижническіе и просвѣтительные элементы нигилизма.—8. Базаровъ.—9. Нигилизмъ и естествознаніе.—10. Идея полезнаго.—11. Нигилизмъ и любовь.—12 Нигилизмъ и трудъ.—13. Нигилизмъ и исторія.—14. Эстетика нигилизма.—15. Нигилизмъ и миссія русскаго народа.—16. Типики нигилизма.—17. Соціализмъ и народничество 60-хъ годовъ.—18. Подготовка народничества собственно . . . . . 173—218

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Народничество 70-хъ годовъ.

1. 70-е годы. Лозунгъ эпохи.—2. Литература и капитализмъ. Первыя стычки.—3 Народничество первой половины 70-хъ годовъ.—4. Еще борьба съ Западомъ.—5. „Кающійся дворянинъ“ и идея расплаты съ народомъ.—6. Обращеніе къ мужику и природѣ.—7. Община и культъ народа.—8. Идея личности . . . . . 218—267

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Послѣднія слова народничества и его разложеніе.

1. 80-е годы.—2. Отчего умерло народничество?—3. Обращеніе къ своему „я“.—4. Вліяніе Достоевскаго.—5. Ученіе Толстого.—6. Культура, какъ „развратъ“.—7. Поэзія Чехова . . . . 267—294

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Современная мысль, какъ проблема свободы и необходимости.

1. Переоцѣнка цѣнностей.—2. „Голубиная книга“ русской жизни.—3. Кризисъ.—4. Особый характеръ русскаго капитализма.—5. Мѣщанство.—6. Индивидуализмъ.—7. Потонувшій колоколъ.—8. Индивидуализмъ и эстетика.—9. Догматизмъ и доктринерство.—10. Такъ назыв. декаденты.—11. Проблемы идеализма.—12. Мудрая мысль.—13. Идея необходимости. Марксизмъ.—14. Л. Андреевъ.—15. М. Горькій.—16. Свобода и необходимость . 294—374